Т. К. Щеглова

Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке

Устная история

Монография

Барнаул
2008

УДК 930
ББК 63.211 + 63.3(2) + 63.3(253.37)

Книга издана при финансовой поддержке
Администрации Алтайского края в рамках краевой целевой программы
«Культура Алтайского края» на 2007–2010 гг.

Рецензенты:
д-р ист. наук, проф. В. А. Зверев,
д-р ист. наук, проф. В. П. Андреев

Щеглова Т. К.
Щ 334 Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история : монография. — Барнаул : БГПУ, 2008. — 528 с. : ил.

ISBN 978-5-88210-408-4

В монографии предпринята попытка соединить конкретно-историческое исследование с проблемами источниковедения. Рассматриваются вопросы создания, документирования, архивирования и интерпретации источников нового типа — устных исторических источников. Характеризуются их содержательные и формальные особенности, способы работы с ними, затрагиваются проблемы их классификации и типологии. Дискуссионные вопросы новейшей истории крестьянства предреволюционного, революционного и советского периодов рассматриваются с использованием подходов нового направления исторических исследований — устной истории (oral history) на основе созданных в 1990–2007 гг. в сельских районах Алтайского края и впервые вводимых источников. Предпринимаются также попытки исследования индивидуального и массового исторического сознания и менталитета сельского населения, в том числе отношения к власти, государственным деятелям, разрушению церквей, советской аграрной политике и т. д. Проводится сравнение оценок «повседневной жизни» в доколхозный и колхозно-совхозный период, а также восприятия исторических событий, явлений, процессов в «истории снизу» с некоторыми выводами советской и постсоветской исторической науки.

Монография может представлять интерес для историков, этнографов, социологов, лингвистов, культурологов и других специалистов в области социальных и гуманитарных наук, а также широкого круга читателей, интересующихся историей Алтайского края и проблемами исторической науки.

На обложке: первая страница — с. Чарышское Чарышского р-на Алтайского края. Фото 2004 г.; последняя страница — интервью с А. И. Аболихиной (1905 г. р.), с. Ново-Тырышкино Смоленского р-на. Фото 1993 г.

ISBN 978-5-88210-408-4

T. K. Shcheglova

The Village and the Peasantry of the Altai Territory in the XXth Century

Oral History

Monography

Barnaul
2008

UDK 930
BBK 63.211 + 63.3(2) + 63.3(253.37)

Opponents:
Professor V. A. Zverev, Ph. D. in History
Professor V. P. Andreev, Ph. D. in History

Shcheglova T. K.
The Village and the Peasantry of the Altai Territory in the XXth Century. Oral History: Monography. – Barnaul: BSPU, 2008. – 528 p. with illustrations.
ISBN 978-5-88210-408-4

The monograph represents an attempt to connect a specifically historical study with issues investigated in the science of source study. It considers questions of the origin, documentation processing, archive recording, and interpretation of new-type sources – oral historical sources. It also characterizes the source content and formal peculiarities, ways of working with them. It touches upon problems of their classification and typology. Debatable questions of newest peasant history including pre-revolution, revolution, and soviet periods are viewed in the light of approaches belonging to a new direction of historical investigations – to oral history. The offered study makes use of sources collected in 1990–2007 in rural districts of the Altai Territory.

The monograph also reveals an attempt to investigate individual and mass consciousness and mentality of rural people concentrating on their attitude to the State power, government representatives, church destruction, soviet agricultural policy, etc. The book contains a comparison of countrymen's judgments of their "every-day life" during pre-kolkhoz and kolkhoz-sovkhoz periods, their perceptions of historical events, social phenomena, processes in "history from the bottom" with the soviet and post-soviet history.

The monograph can be of interest to historians, ethnographers, sociologists, linguists, culturologists, and other specialists in the field of social and humanitarian sciences, and also to readers interested in the history of the Altai Territory or problems of the science of history.

ISBN 978-5-88210-408-4

Посвящается моему отцу
Кириллу Афанасьевичу Соколову

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве:
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.

И пусть поет в тоске и боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной русской доле
Под тихий плач и ветра свист.

Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет как всегда:
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший… в никуда.

Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой смертный час

Н. Мельников

Введение

Устная история (oral history) — одно из динамично развивающихся направлений исторических исследований новейшего времени. Оно базируется на введении в научный оборот нового типа источника — устных исторических источников, создаваемых интервьюированием, опросом и расспросом участников и очевидцев изучаемых исторических событий и явлений. Устная история, как и множество других новых синтезированных направлений исторических исследований: история повседневности, гендерная история, интеллектуальная история, история ментальности, микроистория, теоретическая история и др. — базируется на синкретизации междисциплинарных методов в изучении прошлого, создавая самостоятельную исследовательскую базу (источники, методы сбора и анализа) и предлагая свои подходы к историческому исследованию.

В предлагаемой монографии для реконструкции и интерпретации истории деревни и крестьянства Алтайского края в XX в., влияния на нее внешних событий и внутреннего состояния участников используется «устный архив», сформированный автором в ходе почти двадцатилетних (1990–2007 гг.) полевых исследований в сельских районах края. Полем устноисторической деятельности автора являлось деревенское информационное пространство с его материальными и духовными следами прошлой жизни и культуры, с мыслительными конструктами деятельности этнокультурных и этносоциальных групп алтайского села. Было проведено 18 комплексных исследований (ежегодные летние историко-этнографические экспедиции студентов, магистрантов и аспирантов исторического факультета) на территориях Солонешенского, Павловского, Третьяковского, Смоленского, Алтайского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Тальменского, Залесовского, Заринского, Мамонтовского, Кытмановского, Зонального, Бийского, Чарышского, Шелаболихинского, Тогульского, Быстроистокского районов Алтайского края с охватом опросом и интервьюированием населения всех существующих на их территориях сел (не менее 500 населенных пунктов), не считая регулярных тематических выездов и стационарных исследований небольшими группами по индивидуальным темам[1]. Создание устных исторических источников велось в русле разра-

[1] О полевых исследованиях и промежуточных итогах обработки устноисторических материалов опубликовано достаточно много материала в таких периодических изданиях, как «Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае: археология, этнография, устная история» (вып. 1–3), «Этнография Алтая и сопредельных территорий» (вып. 1–6), а также в других научных изданиях.

ботки и реализации исследовательских программ с использованием зарубежной (в основном англоязычной) и отечественной методики устной истории на базе сектора этнографии и устной истории (руководитель — д-р ист. наук Т. К. Щеглова), который начал работу с 1991 г. в лаборатории исторического краеведения (ЛИК БГПУ; заведующий — д-р ист. наук М. А. Демин), созданной при кафедре отечественной истории Барнаульского государственного педагогического университета. Среди них научно-практические программы «Города и села Алтайского края: историко-культурное наследие», «Народы Алтая: история и культура», «Депортации и репрессии на Алтае» и др., по которым в том числе организовывалась и учебная практика части студентов, пожелавших заниматься устной историей. В дальнейшем многие из них продолжили научно-исследовательскую деятельность в этом направлении.

Одной из основных задач в работе сектора являлось научно-методическое обеспечение устноисторических исследований. Для этого уже в 1991 и 1992 гг. на первых конференциях по проблемам устной истории России, проведенных Всероссийским обществом устной истории в городах Кирове и Калининграде, были обобщены первые результаты по формированию коллекции устных источников по истории исчезнувших сел Солонешенского и Павловского районов[1]. С целью актуализации устной истории в академической среде в 2001 г. на IV конгрессе этнографов и антропологов России (г. Нальчик) и в 2003 г. на V конгрессе этнографов и антропологов России (г. Омск) были организованы секции «Устная история: источники и метод». Наконец, приобретенный опыт, а также необходимость консолидации исследователей, работающих в области устной истории, позволили провести 25–26 сентября 2006 г. на базе БГПУ всероссийский семинар «Устная история: теория и практика», в котором приняли участие практически все российские центры устной истории. На нем обсуждались результаты и проблемы развития устной истории в России на рубеже XX–XXI вв.[2]

Универсальность методов устной истории позволяет ориентировать программу исследования на изучение любых исторических процессов, событий, явлений XX в. По новейшей истории деревни и крестьянства Алтайского края разрабатывались и использовались вопросники, с которыми можно работать в любом населенном пункте Алтайского края: например, «История снизу: оценки рядовыми участниками государственных и пар-

[1] Щеглова Т. К. Значение устных источников для изучения истории исчезнувших сел // Проблемы устной истории в СССР. Киров, 1991. С. 38–44; Щеглова Т. К. Устная история как объект краеведческой деятельности // Проблемы устной истории и современность. Калининград, 1992. С. 17–21.

[2] Устная история (oral history): теория и практика : Материалы Всерос. науч. сем. (Барнаул, 25–26 сент. 2006 г. / сост. и науч. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: БГПУ, 2007. 374 с. При поддержке РГНФ-Регион (проект 06-01-60182 Г/Т).

тийный деятелей СССР и РФ (1920–1990-е годы)», «Постсоветские миграции из Центральной Азии в 1990-е гг.: участники и очевидцы». Работа по изучению истории села в период советских государственных и партийных кампаний включала такие универсальные направления исторических интервью, как «Деревня в период единоличного хозяйствования», «Коллективизация, раскулачивание и репрессии в алтайской деревне в 1930-е гг.», «Война 1941–1945 гг. и село: женская судьба и детство в военных условиях»; «Село в период реорганизаций 1940–1980-х гг.: укрупнение колхозов; ликвидация неперспективных сел и развитие поселковой инфраструктуры». Вместе с тем встречались исторические сюжеты, связанные с конкретной территорией или региональной спецификой: например, проводился опрос по теме «Роговщина Причумышья: народная интерпретация» (антисоветские выступления на Алтае), «Казачество Чарышской станицы: белые и красные» (история Колывано-Кузнецкой оборонительной линии). На сегодняшний день находятся в работе несколько проектов по устной истории со своими комплектами вопросников[1].

Созданные на протяжении двух десятилетий устные исторические источники составляют основу источниковой базы монографии. Основная их часть создана самим автором и находится в личном архиве. Кроме них, используются и исторические интервью, проведенные по программе сектора этнографии и устной истории студентами, магистрантами и аспирантами исторического факультета БГПУ. Они оформлены в самостоятельный архив устных исторических источников при ЛИК БГПУ. На сегодняшний день этот «устный архив» насчитывает уже более 2 десятков фондов устных исторических источников (сотни документированных исторических интервью). Только количество часов цифровой записи составляет более 100, видеозаписи — более 10, звукозаписи — более 2 тыс., не считая документированных источников, оформление которых долгое время, до полного оснащения звукозаписывающей техникой всех участников интервьюирования, велось вручную.

Хронологические рамки монографического исследования охватывают 1900–1980-е гг. и включают разнородные периоды развития деревни и крестьянства Алтайского края: предреволюционный, революционный и советский. Отказ от соблюдения «магического рубежа» — 1917 года — связан с

[1] Последнее издание методических пособий было приурочено к проведению всероссийского научно-практического семинара с международным участием «Устная история (oral history): теория и практика» при поддержке РГНФ-Регион (проект 06-01-60182 Г/Т): Щеглова Т. К. Методика сбора устных исторических источников: Метод пособие. Вып. 2. Изд. 3-е, испр. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2006. (Сер. «Этнография и устная история»); Историческое и культурное наследие алтайской деревни: Материалы для полевых исследований по этнографии и устной истории. Метод. пособие / Науч. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: БГПУ, 2006. (Сер. «Этнография и устная история»).

рядом причин. Во-первых, это обусловлено возможностями индивидуальной и коллективной исторической памяти. Наиболее ранние события, которые сохранились в памяти непосредственных участников и очевидцев или в крайнем случае в пересказе старших поколений (отцов и дедов), относятся к началу XX в., и самыми яркими среди них являются семейные истории о переселениях на Алтай, основании деревень, взаимоотношениях этносоциальных и этнокультурных групп сельского населения. Во-вторых, «магической» датой в изучении социальной психологии и исторического сознания, как показал анализ устных исторических источников, являются 1930-е гг., которые разделили крестьянство на две группы — собственно носителей культуры и менталитета традиционного потомственного крестьянства и новое колхозно-совхозное крестьянство, воспитанное советской властью. Они отличались мировоззрением, совокупностью социальных и ценностных ориентацией, мотивацией к труду, системой материальных и духовных потребностей и интересов, нормами социального и бытового поведения и т. д.

Основное внимание уделяется советской истории, события и процессы которой интерпретируются носителями как традиционной крестьянской культуры, так и нового советско-социалистического мировоззрения. Сравнения их интерпретаций, толкований, оценок позволяли выявлять тенденции, закономерности или особенности в развитии таких общих и глобальных явлений, как менталитет, социальная психология, историческое сознание, судить о степени их изменчивости или устойчивости. Преимущественное внимание к советскому периоду истории обусловлено также тем, что как самостоятельная эпоха он закончился, имеет очерченные временные рамки, сопровождался глубокой трансформацией российского общества. С одной стороны, он является уже прошлым, с другой стороны, события советской истории хорошо сохранились в памяти основной части населения современной России (информанты 1920–1970-х гг. р.).

В соответствии с этим наибольшее внимание в монографии уделяется интерпретациям разными социальными и этнокультурными группами деревни Алтайского края таких исторических процессов, явлений и событий, как развитие сети сельских населенных пунктов, крестьянская и советская модели хозяйствования, влияние на сельское общество аграрной политики государства в 1920–1980-е гг. Через призму устной истории рассматривается переселение крестьян в начале XX в., развитие единоличного хозяйства, коммунарское движение, коллективизация, колхозно-совхозное строительство, раскулачивание, разрушение церкви, депортации, повседневная жизнь тыловой деревни в военное время, колхозно-совхозный быт и послевоенное переустройство деревни (слияние колхозов и ликвидация неперспективных сел) и т. д. Через анализ оценок, представлений,

интерпретаций рядовых участников или очевидцев уделяется большое внимание исследованию индивидуального и массового исторического сознания, менталитета, социальной психологии, самобытной культуры сельского населения Алтайского края. Затрагиваются многие дискуссионные проблемы: противостояние в годы гражданской войны на Алтае, социальная структура сельского общества и социальные отношения в доколхозный и колхозный периоды, взаимоотношения крестьянского общества и власти, отношение к партийно-государственным лидерам и т. д. Большое внимание уделяется сравнению оценок и выводов «официальной» и «народной» истории, сопоставляются сложившиеся стереотипы и мифологемы советской и постсоветской исторической науки с палитрой оценок и толкований «истории снизу», в том числе таких категорий, как «красные», «белые», «революция», «кулак», «батрак» и др.

Вместе с тем для исторической реконструкции прошлого алтайской деревни автор монографии широко использует традиционные и общепризнанные исторические источники: нормативно-законодательная базу аграрной государственной политики, массовые статистические источники о демографическом развитии и сети населенных пунктов, материалы периодической печати и краеведческих изданий, картографические источники, а также конкретно-исторические материалы полевых исследований 1990–2007 гг. и другие источники.

Опора на качественные и количественные источники позволила соединить историческое повествование о развитии деревни и крестьянства Алтайского края с определением, внутренней и внешней критикой устных исторических источников, анализом зарубежного и отечественного опыта и подходов к устной истории как к самостоятельной дисциплине со своими методами исследования, т. е. соединить конкретно-историческое исследование с источниковедческим подходом. Основанием к этому служил и многолетний опыт работы автора в области проблем источниковедения новейшей истории России, теории и методологии устной истории, методического и научного обеспечения интервью, взаимоотношения и взаимодействия рассказчика и расспросчика, в том числе обобщения опыта работы зарубежных и отечественных исследователей по сбору, хранению, интерпретации и публикации устных исторических источников, адаптации зарубежного опыта к отечественной практике. Самостоятельным направлением теоретических разработок, нашедших отражение в том числе и в монографии, является внимание автора к проблемам микроистории и работе с устными источниками в школе и вузе, а также взаимодействие государственных фондохранилищ и устных архивов при образовательных или культурных учреждениях.

Глава 1

Деревня Алтайского края в начале XX века: вымысел и правда в устной истории

1.1. Память и история: устные исторические источники

Устная история (oral history) является одновременно и древним, и новым методом исторического исследования, и ее назначение не ограничивается получением информации. Устная история — многозначное понятие, включающее процесс формирования исследователем нового источника на основе опроса очевидцев исторических событий и их интерпретации. Со времен Геродота и Фукидида история записывалась летописцами во время путешествий со слов очевидцев. Сейчас никто не отрицает, что процесс формирования устной истории охватывает время от ранних исторических примеров до «золотого века» социологии (идеи Вебера), в том числе работ российских краеведов на рубеже XIX–XX вв. Собственно, и работы Фукидида, и работы современников зарубежного средневековья и российского «золотого века» (А. С. Пушкин, Н. И. Надеждин) содержат следы «устных источников» или используют «устный источник» как исторический.

По мере дальнейшего совершенствования методов исторического исследования и формирования государственных хранилищ письменных документов роль устных рассказов в академической науке падает. Профессиональных историков не удовлетворяют несовершенство записи рассказа, потеря части информации, субъективность интерпретации прошлых событий, сомнительность приводимых рассказчиками фактов; сформировалось сначала недоверие, а затем отторжение историками любых форм «неграфического хранения информации». Фетишизация письменных источников в исторической науке в XIX в. способствовала и пренебрежительному отношению академических историков к работе краеведов, которые с конца XIX в. старались «подслушать то, что изучаемое общество не сумело или не позаботилось о себе рассказать» (А. Я. Гуревич), фиксировать социально-культурную информацию тех индивидов или общностей (социу-

мов), которые в силу разных причин, в том числе неграмотности, не могли оставить свой след в истории. Но, несмотря на это, устная история как метод фиксации устного нарративного текста и дальше использовалась летописцами революции и Гражданской войны, создателями истории фабрик и заводов, летописцами колхозно-совхозного строительства и т. д. И лишь во второй половине XX в., с появлением звукозаписывающей техники, начинается «ренессанс» и признание устной истории. В мировой научной практике появляются понятия «устная история» (oral history) и «историк с микрофоном». Поэтому многие исследователи стали говорить, что изменение техносферы, создание технических способов хранения информации привело к возрождению древнейшего метода исторического исследования и созданию полноценного исторического источника. Применение технических способов фиксации позволило превратить устную историю в профессиональную отрасль документалистики, архивоведения, источниковедения, она стала признаваться академической историей. В зарубежной практике устная история стала трактоваться как «создание новых документов при помощи записей интервью» [1, с. 27].

За рубежом устноисторические исследования с использованием звукозаписывающей аппаратуры появились еще в конце 1940-х гг. (1938–1940 гг.). Они были связаны с именем Алана Нэвиса и его первым проектом по сбору интервью у известных политических деятелей для изучения дипломатической и политической истории. Конечно, это утверждение является спорным, ибо традиция опроса очевидцев развита с древних времен. В частности, Д. Н. Хубова пишет, что «только в США (не учитывая богатого европейского опыта) „устная история“ впервые встречается за столетие до Нэвиса» [2, с. 18–19]. Далее она приводит несколько примеров раннего употребления термина: 1838 г. — Ш. Дайбл, 1844 г. — интервьюирование Л. Драпера, с середины 1890-х гг. — «устная история» мормонов Э. Енсена и др. Поэтому, по ее мнению, можно говорить, что благодаря послевоенной геополитической ситуации, мощной волне демократических и освободительных движений, НТР и техническим возможностям XX в. произошло возрождение термина «устная история», «очевидно, заимствованного из научной мысли прошлого столетия».

В этом ракурсе исследование новейшей истории методами устной истории стало массовым благодаря как раз протесту против элитарности, предпочтения истории «сильных мира сего», известных и видных деятелей. Альтернативой истории верхних этажей общества стала «история снизу вверх», интерпретация исторических событий представителями нижних этажей общества. В США на магнитофонную ленту, в противоположность деятельности А. Нэвиса, стали записываться рассказы метростроевцев и представителей этнических меньшинств [3, с. 213–216]. В по-

слевоенный период основное внимание стали уделять историческим событиям 1930–1960-х гг. Для США это были судьбы рядовых американцев в годы депрессии и «холодной войны», отношение к вьетнамской войне, для Европы — Вторая мировая война и послевоенная жизнь. В Германии, например, массовые исследования обыденных представлений и народно-исторических суждений были проведены в виде сочинений: «Мама, расскажи мне о Гитлере». На современном этапе устноисторические исследования проводятся повсеместно, созданы центры устной истории при университетах, архивах, библиотеках, музеях. В 1970-е гг. историки-хроникеры разных стран объединились в Международную ассоциацию по устной истории, которая с 1978 г. раз в два года проводит международные конгрессы по устной истории [4, с. 210–216]. Широкое распространение устной истории способствовало формированию страноведческой специфики, которая обусловлена особенностями социально-экономической, политической и культурной истории каждого общества. Но при разнообразии исторических вариантов методы устной истории оказались универсальными.

В отечественной историографии Д. Н. Хубовой, М. В. Лоскутовой предприняты попытки разработать периодизацию устной истории. Д. Н. Хубова выделяет 3 этапа: 1-й этап (1948 — начало 1960-х гг.) — «активное тиражирование» возрожденного метода и его терминологии, «пафоса записи» устных исторических воспоминаний и свидетельств, в которых выделяются самостоятельные направления — политическая биография, социальная история, «фабрикации» истории бесписьменных обществ; 2-й этап (конец 1960-х — середина 1970-х гг.) — взрыв 1968 г., появление «новой журналистики», «крайне левых», феминистских и «цветных» направлений в историографии, крушение «колониальной истории». В этот период на передний план выдвигаются изучение «маргинального» в истории, «человека с обочины» и публикация устных интервью с представителями ранее «немотствовавших» слоев общества; 3-й этап (конец 1970-х — начало 1990-х гг.) — время дисциплинарного становления, споров о методологии и генезисе устной истории, аспектах интервьюирования, этических и юридических проблемах; создание методологии «устных архивов». На последнем этапе стало уделяться большое внимание структуре личностей: коллективной, социальной — и их взаимосвязи с историей [2, с. 9].

Периодизация М. В. Лоскутовой построена на видовом многообразии устной истории. Исследовательница отмечает сформировавшиеся в историографии устной истории две противоположные тенденции: с одной стороны, «стремление подчеркнуть новаторство устной истории», с другой стороны, необходимость указать на ее глубокие корни, «т. е. представить дело так, что устная история существовала всегда» [5, с. 5] — и разделяет

использование методов устной истории и источников в исторической науке и ее академическое признание. Начальный этап развития устной истории она относит к 1948 г., когда при Колумбийском университете был создан первый в мире исследовательский центр по изучению устной истории; последующие этапы определяет присоединением к этому процессу других стран, указывая на специфику проблематики в каждой из них, обусловленную особенностями исторического развития:

1940–1960-е гг. — преимущественное развитие устной истории в США с «интересом к «великим людям и событиям» — большой политике, крупному бизнесу — и отчетливо выраженная тенденция воспринимать устную историю как отрасль архивного дела. Создание проектов, программ и учреждение центров устной истории с акцентуацией на «документализме» происходило в архивах и библиотеках. Назначение устной истории виделось в «заполнении лакун» в письменной документации и создании «чистого» устного источника «для будущего использования другими исследователями». По мнению американских устных историков, «именно это требование позволяет обеспечить большую объективность собранного материала — ведь у устных историков (устных архивистов) нет конкретной исследовательской гипотезы, которую им нужно доказать или опровергнуть» [5, с. 8].

1960–1980-е гг. — «переориентация устной истории в социальное движение... потребность перейти от изучения «великих людей и событий» к истории простых людей, истории дискриминируемых групп населения. В устной истории сформировался подход к истории «безмолвствующего большинства», изучение которой сосредоточилось в центрах устной истории при университетах. В каждой стране была своя история на нижних этажах общественной лестницы. Инициаторами нового подхода стали страны Западной Европы, которые пережили мировую войну и для которых не были характерны «архивный уклон» и интерес к выдающимся личностям. Так, в Англии сформировалась «рабочая история», история «лондонской бедноты и городского дна», «колониальная этнография». В Италии толчком к развитию устной истории стало изучение Сопротивления и партизанского движения в годы Второй мировой войны. В Германии «по́зднее становление устной истории (достаточно активно развивающейся там в настоящее время), несомненно, было связано с пережитым этой страной опытом нацистской диктатуры» [5, с. 14, 21]; с начала 1980-х гг. получило мощное развитие такое направление, как «история повседневности и т. д. Во Франции доминирующее влияние школы «Анналов» не способствовало развитию устной истории, и она возникла первоначально не в университетских центрах, а на периферии в рамках социальной микроистории.

В целом М. В. Лоскутова, описывая видовое многообразие устной истории за рубежом, приходит к выводу, что становление этой дисциплины было своеобразным протестом против «увлечения количественными методами, изучением масштабных социально-экономических структур и процессов, охватывающих длительные периоды», так как работы устных историков «возвращали читателя к привычным горизонтам человеческой жизни», «обещали возможность «непосредственного выхода» в историю — своеобразного «окна в прошлое» [5, с. 18]. К настоящему времени изучение методами устной истории исторического сознания, эмпирического опыта широко используется многими направлениями зарубежных гуманитарных исследований, такими, как «обыденная история», или «история повседневности» (Германия), «слуховая история» (Канада), этнология, локальная и рабочая история (Англия), социальная история (Франция) и т. д. [2, 6, 7].

Одной из сложных методологических проблем развития устной истории на современном этапе является выбор одного из двух сформировавшихся в международной практике подходов к ней. При первом исследователи не видят «никакой истории», т. е. устная история представляется как возможность «обойти» историческую интерпретацию, выйти «прямо в прошлое». В таком случае она развивается в русле документалистики и носит выраженный накопительно-архивный информационный характер. Сторонники этого подхода считают, что назначение устного исторического источника — помочь человеку соприкоснуться с прошлым без посредников-историков, поэтому устный источник вполне самодостаточен и является формой, в которой «свидетельство о прошлом предстает перед нами». Противники этого подхода считают, что такое отношение «наносит удар по господству истории как формы познания прошлого». Устный исторический источник, по их мнению, содержит одновременно историческую информацию и «определенную оценку событий», поэтому отношение к устной истории как к форме исторического анализа (подмена научного анализа народной интерпретацией, бытовым толкованием) придает устным свидетельствам «нечто прямо противоположное истории — альтернативный ей (истории) способ познания прошлого» [8, с. 52–65].

Приверженцы первого подхода предпочитают собирать устные исторические источники, документировать и архивировать их, т. е. создавать архивы устных исторических источников, в том числе аудио- и видеозаписей, и публиковать в чистом виде, в том числе создавать интернет-сайты электронных источников. В исторических повествованиях они используются целиком в описании тех или иных исторических событий. Примером является книга Стадса Теркеля «Тяжелые времена: устная история Великой депрессии», представляющая собой «колоссальную компиляцию из

более чем 150 рассказов американцев... отобранных из многих сотен интервью, в центре внимания которых находился опыт 1930-х гг. Интервью были отобраны, отредактированы и сведены в одну книгу». В подобных изданиях ценится их способность передать само ощущение того, что значило жить в то время.

При втором подходе («больше истории») устная история используется как «возможность расширить границы исторического повествования, показав прошлое угнетенных классов», или «безмолствующего большинства». Сторонники этого подхода считают устную историю источником исторической информации, которая затем используется традиционным образом для исторических повествований, абсолютизируют источниковое значение устной истории и пытаются создать на ее основе отстраненное и упорядоченное изложение результатов исторического исследования. Такой подход отражает традиционное понимание предмета и природы исторического анализа. Их оппоненты считают, что в устной истории «можно обойтись без самой интерпретации прошлого историками-профессионалами и соответственно избежать всех связанных с этим проблем элитарности исторического знания и неизбежного привнесения современного контекста», а также внесения «искажений в образ прошлого».

В связи с тем, что в зарубежной практике существует широкий спектр определений устной истории, ее параметров, подходов к анализу памяти носителей истории, целесообразно опираться на различные методические и методологические концепции, теоретические наработки зарубежных исследователей. Дело в том, что в России устная история получила официальное признание позже, в конце 1980-х гг. [9]. Как указывает Д. П. Урсу, «институализация устной истории в государствах бывшего СССР проходит с многолетним опозданием по сравнению с передовыми странами мира и встречается с немалыми трудностями. В этом проявился, с одной стороны, консерватизм академической науки, абсолютизирующей письменный документ, исходящий из бюрократических недр тоталитарного государства. Преклонение перед бумагой является, как известно, характерной чертой советского менталитета. С другой стороны, сбор и хранение устных источников требует больших финансовых затрат, наличия совершенной аудиовизуальной техники, профессионального мастерства» [10, с. 1].

Не вдаваясь в подробности дебатов вокруг внутренней и внешней критики устных исторических источников, что логичнее сделать при анализе устной истории алтайской деревни в XX в., отметим, что в последнее время устная история как самостоятельная научная дисциплина завоевывает все больше сторонников. И, что особенно важно, среди профессиональных историков все чаще утверждается конструктивное отношение к разным видам источников. Эту тенденцию лаконично сформулировала

Е. С. Сенявская: «Строго говоря, ни один вид источника нельзя считать бесполезным, непригодным для научного исследования. Вопрос заключается в том, для какого исследования тот или иной источник является наиболее адекватным, какие проблемы на его основе раскрываются наиболее прямо и ярко...». У историка не должно быть пренебрежительного отношения ни к одному виду источников, так как «они в разной степени соответствуют конкретным задачам его исследования, и источники, не востребованные в одной области исторической науки, могут быть плодотворно использованы на других направлениях» [11, с. 33].

Сформировавшаяся палитра подходов к устной истории обусловлена разнобоем в предмете устноисторических исследований. Для одних это память, для вторых — психология и менталитет, для третьих — событийная канва и т. д. При всей спорности предмета устной истории исследователи относят устные исторические источники, согласно принятой источниковой квалификации, к группе источников личного происхождения, хотя и называют их по-разному: «данные историко-социологических обследований в форме анкетирования участников исследуемых событий, которые могут поделиться своими воспоминаниями», «материалы устной истории в виде специально собранных воспоминаний-интервью», исторические интервью, историко-социологические источники, воспоминания-интервью, интервью-биография и т. д. Объединяет их с документами личного происхождения то, что источником информации в них является память рассказчика. Поэтому их иногда относят к разновидностям мемуаристики, считая «устные воспоминания особой категорией источников, которые существуют до тех пор, пока жив человек — носитель памяти об исторических событиях». Как об этом пишет Синявская, устный исторический источник является сочетанием «такого традиционного источника, как мемуары, с методикой социологических исследований, прежде всего интервьюированием». По ее мнению, «в последнее время, с широким распространением звукозаписывающих устройств, появилась возможность фиксации свидетельств и документов устной истории» [11, с. 40], перевода их на магнитные носители с последующей расшифровкой и созданием еще одной разновидности письменных источников — записи «воспоминаний-интервью».

Одной из причин позднего признания устной истории в России являлась традиция параллельного существования официальной (официально-государственной) академической исторической науки и устной «народной истории» в тоталитарном государстве. Многие важнейшие события XX столетия в интерпретации очевидцев (источники устного происхождения) не совпадали с версией советской письменной истории. Разрыв в оценках возрастал при переходе исследователя от макро- к микроуровню, от глобальных проблем и выявления общих закономерностей — к

судьбе рядового участника и детализированию исторических событий на региональном уровне. Это явилось одной из причин разгрома в 1930-е гг. краеведения и краеведческих обществ, опиравшихся на устные источники и семейные архивы, в которых отражались судьбы людей, их представления об исторических событиях, в том числе личностные жизненные оценки революции, Гражданской войны, жизненный опыт коллективизации, раскулачивания и т. д. Устноисторические исследования последних лет показывают сохранение данной тенденции в наши дни. Интерпретации исторических событий современными деревенскими жителями зачастую отличаются как от оценок советской исторической школы, так и от современной «демократической» истории. Нарастает также разрыв в оценках прошлого между провинциальным, в том числе сельским, обществом и центром, отражающим настроение жителей больших городов — Санкт-Петербурга и Москвы (в том числе «новых русских»); все отчетливее проявляется несовпадение взгляда на исторические события XX столетия «снизу» (опыта рядовых участников и очевидцев) и «сверху» (оценок официальной постсоветской истории). В такой ситуации формируется благоприятная среда для занятий устной историей, так как многие рассматривают ее как «повстанческое» направление в науке и противопоставляют «торжественно-пафосной» и «нормативно-правильной» истории. Раздельное и параллельное развитие политизированной (ангажированной) официальной истории и народного восприятия исторического прошлого в значительной степени объясняет неудачи современных общественно-политических преобразований и кризис исторической науки в изучении новейшей истории российского общества, в том числе сельской.

В тысячелетней истории и культуре России крестьянство, составлявшее 90% населения и являвшееся носителем общерусских традиций и национального сознания, играло огромную роль. XX век для России стал концом крестьянской цивилизации, периодом изменения мировоззрения крестьян, эволюции крестьянского менталитета и социального поведения. Через этот процесс прошли все страны Старого света. Но уровень его развития, темпы и форма были обусловлены всем предыдущим историческим и этнокультурным опытом народа, а также социально-политическими условиями в каждой конкретной стране. Для российского пути характерны волюнтаризм, максимальная бюрократизация, политизация и идеологизация экономических и общественных процессов. Поэтому большее значение приобретает изучение массового и индивидуального исторического сознания деревенского населения, что соответствует высокому уровню международной практики так называемых крестьянских исследований (peasant studies) — крестьяноведения. Расширение предметного поля этого научного направления зависит от привлечения новых методов и попол-

нения арсенала исследовательских приемов. Устная история является одним из способов изучения крестьянского прошлого. Однако многие профессиональные историки до сих пор не относятся к ней серьезно. Отчасти это происходит потому, что они являются «заложниками» методологического прошлого, в основе которого лежит отношение к устной истории как к направлению, изучающему только устную традицию, являвшуюся «особым типом исторического мышления и способом передачи исторической памяти» в бесписьменной культуре традиционного (доиндустриального) общества, народной традиционной культуре.

Разрушение деревенского мира в России произошло в короткие сроки, на глазах 3–4 поколений. Историкам Алтая представляется уникальная возможность собрать и сохранить воспоминания очевидцев и участников исторических событий, расширить источниковую базу, сформировать архивы устных исторических источников (oral historical source) и использовать их для объективного анализа истории российской деревни в XX столетии. Спецификой исторических обобщений, базирующихся на устной истории, является опора не столько на точные факты и детальные статистические данные, сколько на память — индивидуальную и коллективную, личную и историческую. А память, аккумулирующая жизненный человеческий опыт, является основным источником для рассказчика во время диалога «рассказчик — расспросчик». В силу ее особенностей историку и приходится иметь дело с разновидностями памяти. В частном случае запоминается «подчас не все существенное; на первый план могут выступать разрозненные и даже случайные факты, а события более значительные упущены, что-то может быть привнесено позднее, на основании других впечатлений или просто придумано…» [11, с. 37], т. е. процесс запоминания связан прежде всего с эмоциональным восприятием событий. Но вместе с тем частный случай является частью коллективной памяти, так как всегда отражает своеобразие исторических условий, в которых жил рассказчик, и черты сознания социальной группы людей, к которой он относится, во всей многогранности.

Территория Алтайского края на протяжении последних трех столетий (включая XX в.) являлась развитым аграрным регионом, с преобладанием сельского населения, хорошо сохранившего память о крестьянском прошлом и устную традицию. Деревенское общество создает свою информационную среду, содержащую сведения об истории малой родины, отражающей историю всей страны, так как крестьянский двор и крестьянская семья являлись прямыми и косвенными участниками исторических событий и многочисленных реорганизаций деревни, начиная от усилий монархической власти (например, семейные истории потомков столыпинских переселенцев на Алтай), буржуазно-демократической власти и кончая

большевистско-коммунистической (интерпретации коллективизации) и действиями современной власти (оценки гибели колхозов и становления фермерского хозяйства).

Особый интерес представляет коллективная память, отражающая историю целого поколения. Аналогом в зарубежной практике является «седая память», «народная память», «живая память», «устная память». В современной алтайской деревне выделяются содержательной субстантой по крайней мере два поколения — носители коллективной памяти доколхозной (единоличной) деревни (1900–1920-е гг.) и колхозно-совхозного периода (1920–1980-е гг.). Устная история помогает понять, что происходит в отношениях между памятью и теми историческими обобщениями в научных исследованиях, которые делает историческая наука по мере того, как эпоха (доколхозная, советская и т. п.), с которой связан напряженный коллективный опыт, уходит в прошлое. Отстраненная позиция историка-профессионала, делающего выводы и рассуждающего о вещах, которые он изучает «извне», отличается от рассуждений, интерпретаций, толкований людей, на себе лично испытавших воздействие исторических событий и характеризующих их «изнутри», с позиции той или иной социальной группы. В этом проявляется разрыв, противоречие и даже противопоставление «чистой» научной версии со всей ее ограниченностью и исторической коллективной памяти со всеми ее ошибками и провалами, противоречие между «историей сверху» и «историй снизу».

В первую очередь необходимо активизировать работу по записи воспоминаний о событиях 1910–1940-х гг., так как с естественным уходом из жизни очевидцев исчезает память об исторической эпохе переселений, революции, Гражданской войны, единоличного хозяйствования, коллективизации, раскулачивания и репрессий. Как правильно отмечает В. А. Бердинских, «мы сегодня отчетливо поняли, что целостная достоверная история прошлого невозможна без многих тысяч устных рассказов-воспоминаний граждан нашей страны. Живая коллективная память народа — это национальное богатство, величайшая культурная ценность общества. Живая историческая традиция народов России умирает с поколениями людей, родившихся в 1890–1920-е гг. Интервьюирование этих людей позволит не только создать новый исторический источник, но и написать историю народа, а не государства. Позднейшие поколения (родившихся с 1930-х гг.) — носители качественно другого исторического сознания советского человека» [12, с. 3].

Количественный анализ устноисторической источниковой базы показывает, что основная масса информаторов по возрасту относится к группе от 60 до 85 лет (корпус документированных интервью включает материалы опросов с 1990 по 2006 гг.). Большинство опрошенных сельских жи-

телей составляют потомственные крестьяне, рядовые колхозники и рабочие совхозов, меньшую часть — руководящие и партийные работники, а также представители советской интеллигенции, на чьей памяти происходили массовые кампании по преобразованию и модернизации алтайской деревни.

При создании устного исторического источника важно учитывать положение, которое человек занимал по отношению к рассматриваемым историческим событиям. М. Фриш выделяет два типа рассказчиков: рядовых участников с частным жизненным опытом (в нашем случае к ним относятся рядовые участники колхозно-совхозной жизни) и с публичным прошлым опытом, т. е. лица, игравшие главную роль на исторической сцене (в нашем случае это партийные и советские руководители колхозно-совхозного строительства). Спектр частного и публичного прошлого опыта фактически совпадает с положением человека в общественной иерархии, которая представляет собой два горизонтальных слоя: верхние этажи советского общества (к ним относятся не только «власти предержащие», но и образованная элита — люди творческих профессий, интеллигенция, управленцы и т. п.), и нижние этажи советского общества — рядовые участники, которых можно назвать по опыту зарубежной историографии «безмолвствующим большинством», «безголосым большинством»; аналогом в советской истории может служить «безгласное большинство», молчавшее в силу неграмотности или малограмотности и прямого запрещения инакомыслия в советское время.

Для исследователя важна также степень сопричастности рассказчика происходящему: одно дело — если люди непосредственно участвовали в событиях, другое дело — если рассказчик наблюдал происходящее на расстоянии, представляет в общих чертах и тем более — если знает понаслышке или в пересказе непосредственных участников. Вследствие этого одни устные исторические источники представляют собой частные детализированные описания прошлых событий, другие — абстрактные рассуждения об условиях жизни в прошлом. Но те и другие дополняют друг друга, позволяют полноценно реконструировать прошлое. В этом плане необходимо помнить, что ни один источник нельзя считать бесполезным, не нужным для научного исследования. Другое дело — необходимо определить, для какой темы он является наиболее адекватным и какие вопросы той или иной проблемы в нем раскрываются, в том числе при изучении исторической коллективной памяти целых поколений — доколхозного единоличного крестьянства или советского колхозно-совхозного общества. Даже указываемые академической наукой недостатки устных исторических источников — субъективизм, искажение фактов и т. п. — дают информацию по исторической или социальной психологии, социальной истории,

истории ментальностей, истории повседневности и т. д. Более того, намеренное умолчание, игнорирование, заблуждение, ложь и другие проявления субъективности рассказчика могут отражать психологический климат, общественную атмосферу изучаемой эпохи, дать исследователю больше материала, чем скрупулезный подсчет статистических данных.

Опыт устноисторических исследований показывает, что устные исторические источники различаются степенью «очевидности» и «мифологичности». Критерием является источник информации — «видел или участвовал сам» или «знает с чьих-то слов» (родителей, дедов, соседей, свидетелей, очевидцев). В этом отношении наиболее «историчным» является результат расспроса очевидца (участника или свидетеля). В некоторых научных школах только такой вид источника признается устным историческим источником, как наиболее «чистый»: «сам знает, видел, чувствовал» и т. д. В таких случаях историки работают только с категорией «очевидцев», участников тех или иных исторических событий как носителей личного, индивидуального опыта. Примером может служить индивидуальная память узника концлагеря, целинника, бывшего кулака, члена раскулаченной и сосланной семьи, очевидца разрушения церкви, участника боевых действий и т. д. Вместе с тем многие авторы не отрицают и историчность устных источников, созданных интервьюированием человека, абсорбировавшего информацию от очевидцев событий или транслирующего семейную историю, отразившую коллективный жизненный опыт (коллективная историческая память). В таком случае исследователи часто говорят об «устной традиции», видя в ней аналог устного исторического источника, требующий, однако, применения специфических методов работы, в том числе более широкого использования методов и приемов анализа текстов, лингвистики, этнопсихологии, лингвокультурологии и др.

Анализ комплекса устных исторических источников выявляет закономерность: чем к более далекому прошлому относятся описываемые рассказчиком события, тем более опосредованный характер носят информация и ощущения; чем ближе события к современности, тем «чище» воспоминания. Так, устные исторические источники 1990-х гг. по проблематике начала XX в., как правило, можно отнести к «устной традиции», по проблематике 1940–1980-х гг. — к устным историческим источникам, а промежуточная проблематика (интерпретация очевидцами, свидетелями или пересказ исторических событий 1920–1930-х гг.) позволяет работать как с «устной традицией», так и с устным историческим источником. Это условное деление необходимо учитывать как при создании и использовании, так и при интерпретации нового (устного) исторического источника, которым, по словам Д. Н. Хубовой, «несправедливо пренебрегали, забытого несколькими поколениями академических историков, и к различным аспектам

изучения и проявления которых снова обратились профессиональные интересы ученых, придав им актуальность и значимость» [2, с. 3].

Сквозной темой в истории алтайской деревни может стать изучение исчезнувших и существующих населенных пунктов Алтайского края, которое позволяет организовать с помощью тематических вопросников устноисторические исследования по изучению массового и индивидуального обыденного исторического сознания, индивидуальной и коллективной памяти, местной событийной истории, жизненных установок, ментальности, представлений ее участников. Письменная фиксация или видео-аудификация интервьюирования участника прошлых событий с личностной интерпретацией событий, личными оценками и суждениями создает новые исторические источники, которые могут стать основой для формирования коллекций, а затем архивов устных исторических источников (устных архивов). Особенно целесообразно формировать их при образовательных учреждениях Алтайского края в сельской местности. При организации научно-исследовательской работы устные архивы по истории населенных пунктов компенсируют отсутствие государственных архивов, письменных документов и библиотечных фондов в селе.

Проблематика устноисторических исследований в России обширна. Вместе с тем нужно отметить, что степень изученности устноисторическими методами новейшей истории зарубежных стран является более высокой, хотя представленная проблематика до сих пор не охватывает всего комплекса вопросов. На фоне достижений зарубежных историков устноисторические публикации отечественных исследователей по проблемам новейшей истории малочисленны, а потребности в них больше в силу особенностей советской истории. В России первые попытки устноисторических исследований были предприняты в конце 1980-х гг. с целью восполнить источниковые и историографические пробелы («белые пятна») новейшей (советской) истории России и одновременно поднять на новый уровень исследование ранее запретных тем (репрессии, нарушения прав человека, тоталитарность режима и т. д.). Созданное в СССР в конце 1980-х гг. Общество устной истории СССР на первых своих конференциях (Москва, 1989; Киров, 1989, 1991; Калиниград, 1992) ставило «задачи создания широкой источниковой базы прежде всего по истории СССР 1920–1950-х гг. Акцент в интервьюировании старожилов был сделан на проблемах нэпа, коллективизации, голода, Второй мировой войны, массовых депортаций населения, репрессий, культа личности Сталина» [13, с. 4].

Архивы устных источников являются альтернативой государственным фондохранилищам, которые зачастую не только не содержат адекватных изучаемой эпохе документов или слабо укомплектованы ими, но и не да-

ют материалов для решения многих проблем. Именно поэтому в 1989 г. А. Я. Гуревич задал вопрос: «Где искать источники, анализ которых мог бы раскрыть тайны коллективной психологии и общественного поведения людей в разных обществах?» [14, с. 116].

Занятие устной историей в России продиктовано прежде всего необходимостью создать адекватную источниковую базу по советской истории. И основанием для этого служат два фактора. Во-первых, нужно учитывать, что история Советского Союза (1917–1991 гг.) имеет принятые хронологические рамки и представляет собой достаточно цельное и оформленное явление в мировой истории. Во-вторых, благодаря хронологической близости событий историк может выступить инициатором и создателем документов на основе интервьюирования очевидцев по тем событиям, по которым государственные фондохранилища укомплектованы недостаточно в количественном или качественном плане. Именно поэтому работа устного историка не ограничивается поиском научных источников в фондохранилищах, но и включает создание этих документов по новейшей, в том числе советской, истории. Его деятельность начинается с составления опросников, которые должны во многом исходить из того, что этап советской истории завершен, но еще свеж в памяти его участников и очевидцев. При этом западный опыт может помочь российским историкам при создании программ изучения новейшей истории России, однако необходимо разрабатывать свою методику с учетом особенностей российской истории. Последнее особенно важно, так как современное общество не свободно как от идеализации общего прошлого и ностальгии по временам супердержавы, так и других крайностей — очернения или преуменьшения достижений прошлой экономической, политической, общественной жизни.

Устноисторические исследования могут одновременно вестись в двух направлениях.

1. Устноисторические исследования судьбы человека в период крупнейших событий XX в. и их отражение в местной истории (устная событийная или фактографическая история) или исторические события XX в. в истории села. Предметом исследования могут выступать события, которые были недостаточно или тенденциозно отражены в официальной истории (так называемые белые пятна) или не имеют адекватной или полной источниковой базы. В данном случае речь идет о проведении исторического интервью и событийно-фактологической природе устного источника с отражением личной степени участия и индивидуальной оценке, основанной на жизненном опыте:

— семейные истории об основании сел и переселениях на Алтай;

— революция и Гражданская война;

– алтайская деревня в 1920-е гг: единоличное хозяйствование, движение коммунаров и крестьянские выступления и т. д.;
– общественное движение в советский период: история образования и развития общественных организаций (октябрятской, пионерской, комсомольской, коммунистической, профсоюзной, массово-культурной и т. д.), их роль в жизни села;
– коллективизация и раскулачивание;
– история голода в 1930–1940-е гг.;
– миграции в XX в.: переселения, спецпереселения, депортации, репатриации;
– разрушение церкви и репрессии против священников в 1920–1930-е гг.;
– история сопротивления тоталитаризму репрессированных групп населения, организаций, общественных деятелей, интеллигенции;
– алтайская деревня в годы Великой Отечественной войны, влияние войны 1940–1945 гг. на крестьянское общество;
– деревня в период реформ 1950–1980-х гг.: укрупнение колхозов, ликвидация неперспективных сел и т. д.;
– история целины;
– история исчезнувших сел;
– политическая история (Ленин, Сталин) и т. д.

2. Устноисторические исследования индивидуального и массового исторического сознания и знаний, народных суждений, представлений и оценок происходящих событий (устная оценочная история). Основным направлением является изучение социально-психологических аспектов исторических процессов и народные (бытовые) оценки исторических явлений, событий, деятелей:
– крестьянское общество и власть: образы партийных и государственных деятелей советской и постсоветской эпохи (Ленин, Сталин, Хрущев, Маленков, Брежнев и т. д.) в массовом сознании, взаимоотношения крестьян с местной советско-партийной администрацией;
– социальная психология и трудовая этика крестьян. Эволюция социальных взглядов (отношение к земле, труду, собственности, богатству и т. д.);
– народные оценки исторических явлений 1920–1950-х гг.: красные, белые, партизаны, богатые, бедные, кулаки, коммунары и т. д. Социальная и политическая база формирования стереотипов;
– эволюция крестьянского менталитета и формирование тоталитарного мышления;
– культура российского крестьянства, традиционных общественных (сельских, приходских, колхозных) структур;

– оценки современной политики (колхоз, совхоз, частная собственность, фермерство, демократия и т. д.).

Возможно и третье направление – сельская (крестьянская) самобытная культура:

– занятия, семейное производство и традиции;
– семья, брак, родственные связи;
– отношение к земле, труду, дому, семье и т. д.;
– крестьянский опыт хозяйствования на конкретной земле;
– понятия о чести и совести и т. д.

Занятие устной историей может вестись самостоятельно, а может сопутствовать другим исследованиям, как научным, так и краеведческим. Главное – необходимо помнить, что историк обязан документировать (дословно или в форме аудиозаписи) результаты опросов или интервьюирования. Без выполнения этого требования нельзя говорить об устной истории, так как свободная запись вручную вслед за рассказчиком все же ведет к искажению как самой информации, так и образа рассказчика, его версии интерпретации прошлого и его жизненной или личной оценки событий.

Ограничивать круг интервьюирования изучением доколхозной или советской деревни неправильно. Большой интерес для устной истории представляет современность. Устный историк-практик, в отличие от историка, имеющего дело с архивной информацией о прошлом или работающего с современной текущей документацией и прессой, является своеобразным летописцем и может, выбрав для себя объектом исследования происходящее вокруг него, стать, фигурально выражаясь, современным Нестором, создающим «Повесть временных лет». Как считает В. А. Бердинских, историки в 1990-е гг. «отчетливо ощутили, что наступило время крупных исторических событий – событий, очевидцами которых мы с вами являемся. Важно не просто сохранить память наших современников об этих событиях, чрезвычайно важно зафиксировать сам процесс изменения исторических воззрений и психологии людей» [13, с. 4].

Такая работа по фиксации текущих изменений, собственно, велась и в советское время. Ее энтузиастами являлись краеведы. Именно они на основе опросов создали летописи колхозов, совхозов, общественных организаций и движений. Но методы их работы на каждом шагу нарушали принципы устной истории. Собираемые ими воспоминания не оформлялись должным образом, использовались для фактологического анализа, вольно пересказывались. В таком же ключе на начальном этапе постсоветского периода был создан огромный пласт литературы, о котором известный источниковед Д. П. Урсу сказал: «Следует преодолеть низкопробную псевдоисторическую публицистику типа писания Р. А. Медведева, которая дис-

кредитирует устную историю. Использование устных воспоминаний участников событий с таким грубым нарушением элементарных правил документирования может принести лишь вред науке» [10, с. 3]. Профессиональные же историки имеют сегодня уникальный шанс наблюдать коренную ломку воззрений, ценностных ориентацией людей и фиксировать ее с помощью устной истории. В. А. Бердинских даже предлагал «историкам, работающим в вузах… проводить хотя бы 2–3 раза в год (лучше ежемесячно) массовые опросы студентов», так как «целесообразно зафиксировать скорость и особенности смены ценностных ориентировок разных слоев населения учащихся, студентов, молодежи, безработных, женщин, рабочих, крестьян, интеллигенции, чиновников. Необходимо тщательно датировать опросы такого рода и сохранять в институтах и личных архивах» [13, с. 4].

Устный архив может создаваться в качестве как тематического, так и универсального, собственно, так же как и деятельность устного историка может определяться как тематической проблемой, так и комплексным документированием. Независимо от профиля занятие устной историей подразумевает поэтапную работу, при этом каждый из этапов представляет собой подпроцессы: содержанием первого является сбор устных исторических источников в контексте теоретических и концептуальных проблем с использованием методов устной истории, содержанием второго — оформление/создание устного исторического источника с последующим «институированием устных архивов» на основе взаимодействия и установления взаимосвязей с государственными архивами. Уже в ходе реализации этих этапов или следом за ними начинается длительный процесс интерпретации устных исторических источников (третий этап), что и делает устную историю самостоятельным научным направлением в контексте современного гуманитарного знания. Сферой деятельности устной истории является новейшая история со своими областями (социальная, этническая, политическая, культурно-антропологическая и т. д.); источниковой базой — созданные методами интервьюирования, опроса, анкетирования устные исторические источники; исследовательским инструментарием интерпретации или исторического повествования — междисциплинарные методы истории, социологии, архивоведения, исторической психологии, истории ментальностей, биографистики, мемуаристки, генеалогии, семиотики, литературоведения, культурологии, психологии, социо-, психо- и паралингвистики, фольклористики и других наук и дисциплин.

В ходе авторских полевых исследований 1990–2006 гг. по новейшей истории алтайской деревни на основе расспросов и рассказов очевидцев, свидетелей и хранителей устной традиции сформировался значительный архив, который используется в данной монографии не только для рекон-

струкции прошлого, но и для источниковедческого анализа и оценки устных исторических источников. В настоящей монографии предпринимаются также попытки решить ряд методологических проблем. Иначе говоря, данная работа преследует две цели: 1) показать ретроспективу истории алтайской деревни в XX в. под влиянием как внешних событий, так и внутреннего состояния ее участников; 2) раскрыть содержательные и формальные особенности и возможности устных исторических источников и способы работы с ними, что предполагает их внутреннюю и внешнюю критику.

1.2. Развитие сети населенных пунктов в начале XX века: лингвистический и этнокультурный дискурс устных источников

Образование населенных пунктов на территории Алтайского края является векторной темой истории заселения и социально-экономического развития Сибири. Длительную перспективу в развитии этой научной темы предоставляет расширение источниковой базы. К традиционному для исследователей поиску нового архивного и опубликованного документального материала необходимо добавить документированные устные свидетельства самих участников переселений, а также семейные предания и истории, устные повествования. В последние годы исследователи согласились с тем, что «несмотря на некоторую субъективность суждений, невольные искажения при передаче, отсутствие широких исторических обобщений, локальность, эти сведения позволяют выявить интересные бытовые и психологические подробности и детали, мотивировку и причины поступков, дают возможность почувствовать Человека в истории» [15, с. 64]. Подобные позиции историков показывают, что наметилось преодоление негативных установок отечественного источниковедения и академической истории, выражавшихся в том, что «в оппозиции мифа и знания устная история принадлежала первому, закономерно оставаясь за кадром исторических и исследовательских исследований» [2, с. 4].

Собранная историками устная информация всегда широко использовалась как в научных, так и в краеведческих исследованиях по истории заселения Сибири. Но исследователями традиционно извлекался этнографический материал, цитировались воспоминания о первопоселенцах и т. п. В последнее время стали широко публиковать отрывки из воспоминаний, записанных исследователями [15, 16]. В предпринимаемых попытках публикаций рассказов живых очевидцев не указываются методы сбора информации и способы ее фиксации. Подобный подход является традиционным для таких категорий исследователей, как фольклористы и этнографы, при записи вручную народной несказочной прозы (преданий, легенд, мифологических рассказов — быличек и бывальщины). Роль исследовате-

ля в данном случае ограничивалась записью (протоколированием) устной информации, бытующей в народной информационной среде в разных формах и жанрах устного народного творчества. В отличие от них, устные историки подчеркивают, что несоблюдение требований, предъявляемых к сбору, фиксации и оформлению материалов, ведет к искажению информации: вольной интерпретации услышанного, внесению своих впечатлений, комментариев, суждений, оценок и т. п.

Занятие устной историей не ограничивается сбором бытующих в устной среде готовых форм, а требует от исследователей иных усилий, в комплексе приводящих к созданию нового источника, начиная с инициирования постановки научной проблемы и получения информации путем опроса с помощью составленного инициатором вопросника и заканчивая применением методов анализа и синтеза полученной информации. На каждом из этих этапов существует свои трудности. Так сложность в извлечении информации из устного источника обусловлены процессами, происходящими в устной информационной среде в связи с особенностями индивидуальной и коллективной памяти, ее естественными свойствами — неустойчивостью, избирательностью, склонности людей к забывчивости и т. п. Со всеми этими проблемами прежде всего сталкивается исследователь, применяющий методы устной истории для изучения отдаленного во времени прошлого — заселения и освоения территории Алтайского края. Устные истории о переселении формируются часто спустя десятилетия и содержат ретроспективное описание (взгляд назад) и оценку событий далекого прошлого, а также связанных с ними мыслей, чувств, настроений их участников. Если рассматривать устные исторические источники в чистом виде, то, строго говоря, записанные семейные версии переселений не являются ими, так как устная история, как правило, обращается к живым современникам изучаемых событий. При этом принято считать, что наиболее важна фиксация свежих впечатлений «по горячим следам событий, когда в памяти сохраняются все их детали и подробности» [11, с. 40]. В этом смысле записанные на рубеже XX–XXI вв. в алтайской деревне рассказы об основании сел обычно являются не собственными воспоминаниями, а вторичными или многократно пересказанными версиями непосредственных участников переселений и основания населенных пунктов.

События, связанные с основанием населенных пунктов и переселениями, являются в памяти современных информантов наиболее удаленным временем, «прощупываемым» в устной памяти. Еще десять лет назад можно было записывать полноценные семейные версии о переселениях и образовании сел, о судьбе человека или крестьянской семьи в Гражданскую войну. Сейчас уже встречаются только фрагменты прошлых историй в пересказе детей, внуков, правнуков. Через несколько лет процент забытого

вырастет: одно забудется совсем и исчезнет из деревенского информационного пространства, другое схематизируется, третье мифологизируется и т. д. Но и с такими устными источниками историку необходимо научиться работать, привлекая междисциплинарные методы анализа.

В силу этих обстоятельств, и прежде всего высокой степени мифологизации информации, устные исторические источники о переселениях на Алтай и об образовании сети населенных пунктов особенно уязвимы для критиков устной истории. «Еще со времен Платона, — полагает Д. Н. Хубова, — миф фигурировал в резкой и четкой оппозиции к знанию, и, возможно, имплицитно, к исследованию. Традиционная оппозиция письма и устности, книжной и народной культур» [2, с. 4]. Корни этой оппозиционности находятся в XIX в., когда в ходе автономизации или институирования отраслей научного познания, а затем и институализации самой исторической науки «история сконцентрировалась на документе, перемещая фокус своего внимания к отдаленному прошлому, к архивам, а интервью и методы исследования современного общества стали прерогативой социологии. В результате сформировался стереотип, что история претендует на концепцию прошлого, а социология — настоящего. Сформировавшийся принцип неприемлемости устного опроса для „добывания исторической информации“ был прочно и взаимно закреплен этим союзом» [2, с. 4]. В процессе продолжавшейся автономизации научных дисциплин в сфере исторической науки устный опрос по историко-культурному наследию сохранился только в этнографии. Сама же историческая наука агрессивно ограждала свое поле деятельности от имманентной «мифологичности» устноисторических источников, которые признавались ненаучными.

Однако на современном этапе в условиях интегрирования процессов научного познания, когда разрабатываются комплексные подходы и методы гуманитарных исследований, работа с устными историческими источниками, основанными на устной традиции, не только допускается, но и предполагает их рассмотрение на различных семантических и структурных уровнях, для чего используется исследовательский инструментарий смежных наук и дисциплин. В частности, историко-культурная оценка прошлого в «голосах народа» эффективно осуществляется с помощью лингвистического анализа. Связано это с некоторыми особенностями устного источника. В устной истории действительность передается через субъективное восприятие и выражается через представления, мысли, чувства рассказчика, то есть «человеческое содержание» исторических событий. Оно отражается в устных исторических источниках через язык, стиль, терминологию, фразеологию и другие лингвистические формы, характеризующие специфику каждой эпохи. В устной истории переселений на Алтай позиционируются два пласта устного историко-культурного насле-

дия — старожильческое и переселенческое. Поэтому устные источники требуют от историка соответствующих методов анализа, которые должны быть адекватны им, среди них лингвистические приемы работы с целью получения историко-культурной информации. Особенно ярко историко-культурное измерение событий проявляется в речи рассказчиков — носителей старожильческой или переселенческой культуры. Субъективные интерпретации прошлого старожилами или пересенцами отражают объективную историческую реальность, которая маркируется в их речи лингвистическими формами. Их расшифровка дает целый спектр примет времени и историко-культурных форм социальной жизни.

Необходимо учитывать, что введение устных источников в историческое повествование без должного их анализа чревато негативными последствиями. Простой пересказ устных источников может привести, во-первых, к мифологизированию истории или сказительности, во-вторых — к превращению в публицистику, скатыванию к газетному стилю. Поэтому историку важно осознать необходимость междисциплинарного отношения к источнику, отказаться от монопольного права на его анализ только методами исторических исследований: отмежевание историка от анализа методами других наук приводит к ущербности научной интерпретации источников. Целесообразно комплексно использовать методический арсенал социо-гуманитарных наук. Они ставят и решают те же вопросы, что и история, но формулируют их в собственных категориях и терминах.

Синтез различных подходов в анализе устных источников на примере старожилов и переселенцев, казаков и крестьян, «курян» и «вятских» происходит на уровне прежде всего конкретно-исторических исследований. Ярким примером являются устные истории о заселении и формировании сети населенных пунктов в дореволюционный период. Характер повествования о тех далеких временах, язык, речевые обороты отражают конкретный жизненный опыт каждого информанта. В семейных преданиях отражается история появления их предков на Алтае, причины переселений, взаимоотношения первопоселенцев и новоселов. Фиксируемые историками семейные предания старожилов и переселенцев различаются степенью их достоверности и конкретности, отражают этнокультурные традиции, семейный и социальный опыт. Поэтому важнейшим методологическим принципом является регионализм. Каждый регион Алтайского края имеет свои природно-климатические условия, определявшие особенности его освоения и своеобразный этно-социальный и этнокультурный состав населения, отражающий особенности его заселения. Поэтому лингвистический анализ рассказов представителей этнокультурных, этнографических и этноконфессиональных групп из разных сельских регионов Алтая позволяет реконструировать пеструю мозаичную картину истори-

ческого прошлого. Устные интерпретации развития сети населенных пунктов содержат огромное количество лингвистических нюансов, которые воссоздают аромат времени. Вместе с тем существует значительная разница между устным наследием старожилов и устным наследием переселенцев, не только по содержанию, но и по форме хранения и трансляции коллективной памяти этих двух групп.

Рассмотрим в качестве примеров устные источники старожилов и переселенцев об образовании сел. Различие между ними состоит в том, что собранные старожильческие версии больше соответствуют понятию «устный источник», тогда как переселенческие рассказы можно назвать устным историческим источником. Как правило, старожильческое устноисторическое наследие, содержащее сведения об удаленных во времени событиях, представляет собой результат функционирования устной традиции и существует в виде устных преданий, которые бельгийский антрополог Ян Вансина называет устными сообщениями. Их формирование он связывает с особенностями передачи информации «из уст в уста в течение какого-либо времени… по крайней мере через одно поколение», а результатами этого процесса как раз и являются «устные сообщения», для которых характерна изменчивость при очередном пересказе «утверждений из прошлого, находящегося за пределами живущего поколения людей» [21, с. 67].

Собственно, относить устное сообщение к устной истории можно с определенными оговорками. Для современного историка больший интерес представляют «устные повествования» непосредственных участников процессов, т. е. «сообщения, передаваемые не дословно и выраженные повседневным языком» очевидцев событий. Таким требованиям больше отвечают семейные истории переселенцев, участвовавших в них как в зрелом, так и в младенческом возрасте или подробно знающих о них из рассказов родителей или дедов. В этом смысле устноисторические источники из наследия старожилов больше соответствуют характеру устных сообщений, дошедших до них через ряд поколений, а переселенческое устноисторическое наследие, транслируемое непосредственными участниками, более соответствует статусу «устный исторический источник», так как для него характерна свежесть информации, получаемой расспросчиком непосредственно от рассказчика, являющегося, по крайней мере пересказчиком в первом колене. Именно поэтому, в отличие от старожильческих повествований или свидетельств, затронутых процессом мифологизации, переселенческие устные истории имеют форму свободного рассказа, содержат непосредственные свидетельства о конкретных событиях. Во многих из них воспроизводятся повторяющиеся ситуации, обозначаются тенденции к воссозданию реальной обстановки. Речевые обороты и лингвистиче-

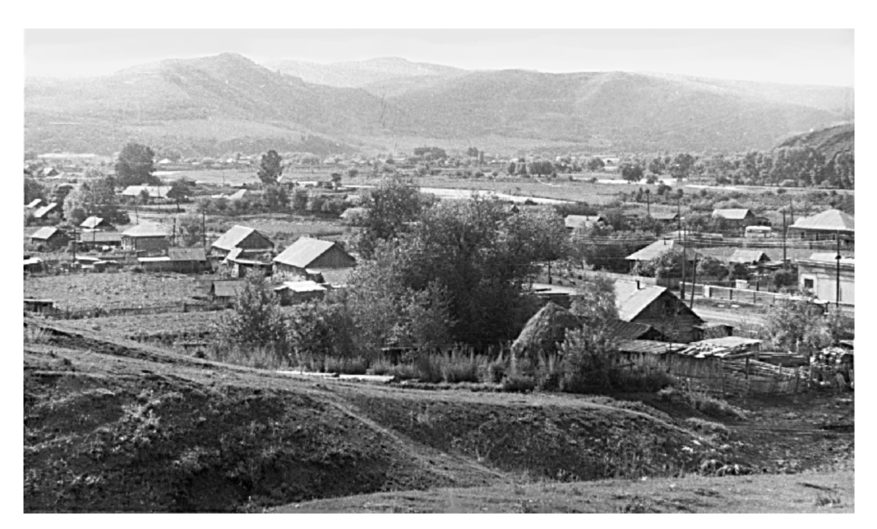
ские особенности переселенческих историй свидетельствуют о непосредственном наблюдении прошлой ситуации, а старожильческие отражают опосредованный характер передачи информации — «как говорили», «как говорят» и т. д.

Таким образом, среди собранных устных источников по форме информации и методах ее раскодировки выделяются две группы — устные сообщения старожилов (предания) и устные семейные истории переселенцев. В первую группу входят документированные интервью потомков старожилов, являвшихся первопоселенцами из Европейской России, Сибири и с Урала в XVIII — первой половине XIX в., основавших первые русские поселения, составившие костяк поселковой инфраструктуры края. Ко второй группе относятся записанные семейные истории российских мигрантов поздних волн со второй половины XIX — начала XX в., которые или подселялись к старожилам-первопоселенцам, или сами основывали новые населенные пункты, расширяя и уплотняя старожильческую сеть населенных пунктов. Такое четкое этносоциальное деление сформировалось на Алтае в результате политики Кабинета, распоряжавшегося землями Алтайского горного округа. Как известно, открытие месторождений драгоценных металлов привело XVIII в. к присоединению территории Верхнего Приобья к Российской империи. Благодаря крестьянской колонизации в этот же период сформировалась рабочая сила. Ее дальнейшее пополнение регламентировалось Кабинетом, охранявшим эту территорию в первой половине XIX в. от притока свободных переселенцев. До 1865 г. Алтай был закрыт для переселений, как вольных, так и принудительных (ссылки). В результате на Алтае сформировалось и развивалось в собственном социуме старожильческое население, у которого существовал своеобразный менталитет и которое идентифицировало себя как «старожилы», «сибиряки», что способствовало формированию чувства хозяина. Эти черты проявились у старожилов с 1865 г., когда Кабинет, переориентировавшись с доходов от горнозаводской промышленности, приходящий в упадок, на земельно-арендные статьи, открыл территорию округа для крестьян других регионов России. Новые мигранты столкнулись с тем, что старожилы считали себя собственниками земель. Как показали устноисторические источники, у сельского населения Алтая до наших дней сохранилась традиция деления сельчан на выходцев из семей старожилов и переселенцев.

Для документированных интервью старожилов характерна схематичность описания прошлого. Вследствие отдаленности событий во времени их рассказы отражают глубинные пласты истории, своеобразно преломившиеся в памяти нескольких поколений. Интервью с потомками старожилов показывают, что, в отличие от семейных историй первопоселенцев-переселенцев, они говорят об основании старожильческих сел со

слов односельчан или старейших членов семьи, на основе пересказа толкований, слухов, преданий. В данном случае исследователь сталкивается с проблемой передачи памяти о прошлом от одного поколения к другому. Но отражение прошлого в их коллективной памяти даже при отсутствии в их рассказах конкретно-исторический событийных деталей и подробностей достаточно достоверно и носит интуитивный характер. Джоан Сангстер говорит о такой особенности устных исторических источников: «Если мы собираемся выбрать в качестве „предмета исследования саму память“, нам следует очень осторожно подходить к тексту интервью, принимая во внимание то, кто говорит, какова его личная и социальная программа и какого рода события она описывает» [17, с. 62]. В интервью старожилов рассказы об их предках являются наиболее древними фиксациями прошлой жизни, поэтому социальная, этнокультурная информация, свидетельствующая о принадлежности собеседников к той или иной историко-культурной группе, закодирована в их языке и проявляется в употребляемых понятиях, фразеологизмах, представлениях. Их устные версии концентрируют прошлый опыт, маркируют атмосферу прошлой жизни, социальную и культурную дифференциацию в алтайской деревне.

Сопоставление устных (рассказы старожилов) с письменными (архивные документы) интерпретациями образования сел в XVIII и XIX вв. показывает, что они в принципе не противоречат друг другу и правильно отражают общие тенденции и закономерности колонизации юга Западной Сибири. Специфика исторических процессов на отдаленных территориях Алтая сформировалась вследствие того, что они долгое время были вне контроля окружной администрации и служили убежищем для разных категорий мигрантов и вольнопоселенцев, инакомыслящих и инаковерующих из разных концов России. Устные свидетельства старожилов об образовании сел в Алтайском, Солонешенском, Чарышском, Третьяковском районах подтверждают, что, несмотря на историческую малограмотность, они отразили эту особенность в семейных преданиях. Можно утверждать, что в данном случае в устных источниках объективная реальность далекого прошлого этих мест проявлялась через субъективное восприятие истории, которая, по словам Я. Вансины, «состоит из стереотипов или клише, остающихся на протяжении длительного времени практически неизменными и представляющих собой то настоящее сообщение, которое историк и призван расшифровать» [21, с. 68]. Эти стереотипы и клише в старожильческих рассказах имеет однотипную кодировку. В частности, язык устных повествований старожилов Солонешенского района, первыми освоивших предгорные и горные территории Алтайского края, отражает восприятие ими первых поселенцев как людей, ищущих в отдаленной гористой своего рода убежища, мест сокрытия от властей. К примеру, Лука



Село Сибирячиха (Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

Трофимович Денисов из старожилов с. Сибирячиха так интерпретировал образование Мульчихи на р. Сибирке: «*Беженцы с России*. Их стали *обижать* в России». Такая интерпретация подтверждается документально: еще в XIX в. все земли за военной линией (совр. Алтайский, Солонешенский, Смоленский и Советский районы) являлись территорией, вбиравшей всех беглых, прежде всего староверов разных толков и других людей, чья деятельность была внеправовой. На первом этапе знакомства представителей разных групп беглых существовала настороженность по отношению друг к другу. Это проявляется в отдаленных воспоминаниях через бытовые суждения о поселенцах, в которых видели чужаков, опасных своей непохожестью, например, отличались религией, говором, традициями, занятиями и т. д., что вызывало страх. Вследствие этого появлялись устные предания о непонятых сельчанами переселенцах. Так, в Мульчихе, по рассказу Денисова, среди «беженцев» из России жил «колдун»: «Хозяйство не держал. Сани делал. Было у него два сына и дочка...». Эта непохожесть хозяйственных традиций (хлебопашцы и кустарь) в культуре устного повествования трансформировалась в представление об их принадлежности к иному и, возможно, враждебному крестьянам миру, что привело к его противопоставлению православному сообществу.

При изучении устной истории дореволюционной деревни особое внимание необходимо уделять процессам этнокультурного и этнографического развития. Устные источники отличаются от письменных в первую очередь лингвистически оформленной этнокультурной информацией. Эта

особенность замечена зарубежными историками-хроникерами: «Начиная с середины 1980-х гг. устные историки все больше и больше проверяют язык как незаметную силу, придающую очертания устным текстам и наделяющую значением исторические события… Наши жизненные истории в таком случае начинают отражать культурные модели, присущие нам в такой степени, что мы становимся обыкновенными вариантами канонических форм культуры» [17, с. 68–69].

В устных историях потомственных крестьян-старожилов об отдаленном прошлом на первом месте стоит этнокультурный контекст. Именно этим объясняется то, что в основе интерпретации переселенческого движения старожилами юго-восточных районов лежит генетическая память о разных категориях «беженцев», так как их предками в их памяти являлись выходцы из беспоповцев-поморцев, кержаков, «поляков» и других старообрядческих толков и согласий, изначально также являвшихся беженцами, скрывавшимися от преследований за веру. Информация о первопричинах и путях переселений их предков сохранялась благодаря традиции устной передачи семейных историй и преданий, из которых можно извлекать факты, оформленные особыми речевыми оборотами, отражающими взгляды человека, его социокультурный уровень. В представлениях старожилов отдаленных территорий, первыми «переселенцами» были непокорные люди. В таком же свете они воспринимали все последующие миграции. Так, Лука Трофимович Денисов объяснил заселение Калинихи на рубеже веков миграцией людей, которые «*бежали из деревни в деревню без документов*», и тут же называет их «переселенцами». Такая лаконичность с четко обозначенным смыслом является результатом действия устной традиции как процесса передачи сообщения о прошлом через целую цепь рассказчиков, в которой каждый передатчик вносил свою «лепту» в оформление сообщения при отсутствии прямой цепи передачи информации (от деда к отцу, от него к внуку, от него к правнуку). В таких абстрагированных устных свидетельствах передача информации происходила непрерывно, принимала общественный характер и подвергалась трансформации с выкристализированием сути произошедших в прошлом событий.

Таким образом, устная традиция связывала образование сел в далеком прошлом в отдаленных горных, таежных местностях Алтайского горного округа с побегами непокорных людей, ищущих благодатные земли, неподведомственные или недоступные администрации. Такие земли в народной мифологии имели обобщенный образ — Беловодье. В устной истории старожилы переносили конкретный исторический опыт на все старожильческие села, образованные в XVIII–XIX вв.: «*первые беженцы* приехали в Сибирку (Сибирячиху), Бащелак, Большую Речку и *затерялись*» (Л. Т. Денисов). Такая народная интерпретация заселения ряда территорий Алтайско-

го округа (за военной линией, Рудный Алтай и др.) близка к официальной истории. В частности, по мнению историков, в заселении отдаленных земель Алтайского края большую роль играли староверы таких согласий, как странники, стариковцы, поляки, поморцы, беглые крестьяне и другие категории населения, действительно стремившиеся «затеряться» в укромных местах. Интересно, что устная традиция, отражающая освоение земель людьми с девиантными формами поведения, менее характерна для рассказов информантов степных и лесостепных районах Алтайского края, где большой процент населения составляют потомки крестьян-колонистов.

В целом из-за давности событий в старожильческой среде реже встречаются полновесные версии образования сел. В широко распространенных вариантах они строятся в жанрах устного народного творчества — преданиях, быличках, легендах, так как формируется в сельской общественной среде в пересказах односельчан в процессе функционирования устной традиции, в результате чего информация кодируется. Однако через словесную оболочку устного жанра легко просматривается историческая реальность, даже если рассказчики отходят от традиций устного повествования, для которого характерен повседневный язык, и передают сюжет формализованным языком почти дословно. Примером является записанное в Стан-Бехтемире устное сообщение, которое передавалось не по прямому каналу (межпоколенному семейному), а сразу многими людьми — многим людям (односельчанам). По устной информации, казаки в период продвижения по территории Алтая встретили на безымянной речке татар. Увидев их на другом берегу, они решили путем переговоров предотвратить вооруженное столкновение и стали кричать: «Мир! Мир!» Татары тоже не захотели воевать с казаками и с другого берега стали предлагать им мир на своем языке: «Бехте! Бехте!» Поэтому речка получила название «Бехтемир», «Бехтемирка», а возникший на ее берегу казачий стан — «Стан-Бехтемир». Старожилы с. Стан-Бехтемир в своей быличке донесли до нас достоверную информацию о роли этнокультурной группы старожилов-казаков в заселении Бийского Приобья в XVIII в. на примере основания казачьего поселения при строительстве Колывано-Кузнецкой оборонительной линии. Повсеместное бытование этой легенды, формализованные в соответствии с жанром предания языковые формы подтверждают, что информация, заложенная в этом сообщении, принимается и разделяется всем сельским обществом и восходит к толкованиям, сделанным современниками событий. Подобные устные сообщения, как правило, не фиксируют те или иные события, явления, а несут в себе обобщенную, иногда даже художественную оценку, имеющую мощный социальный контекст. В подобных источниках отражаются стереотипы и универсалии

массового исторического сознания, закодированные символами, знаками, содержащими этносоциальную и этнокультурную информацию. Такие источники фиксируют ментально-субъективную область коллективной исторической памяти.

Именно ментальная константа и социопсихологические представления рассказчиков подтверждают достоверность старожильческих интерпретаций. Наиболее яркой в старожильческих версиях является убежденность в приоритете первопоселенцев в пользовании землями, которые осваивали их предки. Т. М. Тарасова (Староалейское), повествуя о своих родителях и родственниках, постоянно использовала слова «пахарь», «пахать»: про соседа-старожила — «такой же пахарь, как и мы», «в 1923 г. вышла замуж за Тарасова, а свекр Федос — пахарь» и т. д. Контекст ее интервью является версией нефальсифицированного прошлого, удаленного от нее по времени.

Право на первоочередность в хозяйственной и общественной жизни дореволюционной деревни проявляется и в отрывке из интервью с И. А. Медведевым, из кержацкой семьи первопоселенцев с. Усть-Калманка. Его установка на превосходство перед переселенцами основана на информации, передаваемой в его семье через каналы семейной коммуникации. Интервью с Медведевым, в отличие от предания о Стан-Бехтемире носит характер свободного пересказа (повествования). Передача семейной истории от одного поколения к другому была организована упорядоченно с сохранением информации, которая подтверждала право старожилов на землю и оставляла «последнее слово» за ними:

«— Я здесь родился. *Мой прадед зачинал село* это.

— Калманку?

— Да, да.

— А расскажите, что вам рассказывал прадед. Откуда он пришел?

— С России они шли. Тогда назывались ходоками, земли эти заселять. Из Барнаула шли по реке[1], облюбуют село, где можно ставить: „Кто остается?“ — „Я!“ — „Оставайся здеся“. Так и дальше, и дальше, дальше, и все туда, пока Чарыш не кончился. Все заселяли так. *Мой прадед вот здесь облюбовал и поселился.*

— А как его звали, не помните?

— Нет. А дед у меня девяносто девять лет прожил. Давыд Палыч был.

— А отца как звали?

— А отец Алексей Давыдович. <…>

— А что они рассказывали?

[1] По Оби, а затем ее притоку — Чарышу. Старожилы действительно в XVIII в. расселялись по рекам Алтайского края и основали старейшие села по их берегам. Приречное расселение являлось первым этапом российской колонизации Верхнего Приобья.

— Ну, что… Когда *мой прадед организовал* эту Калманку, *нарезал* [землю][1], щас вот Новый Чарыш[2], от Ново-Чарышу под Коробейниково[3], нарезал туды землю под Михайловку[4], от Михайловки вдарил под Ново-Калманку. Так Огни обошел и с Ново-Калманки на Ельцовку повернул. От Ельцовки отрезал вот эту Пролетарку, сюды так за Чарыш. Вот так и нарезал, *столбы поставил — это земля его.* Все. *Кто будет заселяться, он будет тем земли давать. Так?* <…>

— А когда переселенцы приезжали, им землю давали?

— И им нарезали.

— А разве хватало земли?

— *Земли много было. Она вся в запасе была, в их* [старожилов]. Вот щас в 29-м году Чарышский совхоз построился, от моста щас и туды до Пономарей и до самой… там была Васильевка, Ясная Поляна [Алейский район], туда. Вот это вся земля пустовала. Вот этот совхоз заселил здесь все и забрал всю землю, в 29-м году, а то все пустовала. <…>

— А заимки где в основном были, по реке Калманке?

— Ну где тебе землю нарежут. Вот по 15–20 человек собирается, землю нарежут, вот тебе и заимка. Живи там.

— А мельницы у отца не было?

— Мельницы? А вот как раз я тебе скажу: *мой прадед, который заселял, он когда это все захватил,* вот щас река Ельцовка падает, Землянуха, Ново-Калманка падает — три речки сошлися. Дак вот он тут захватил [земли при трех притоках Чарыша], и прямо вот так отступил, там же камыш, где машину строить надо. Вот тут сделал себе мельницу, эта мельница у его работала на три жернова.

— Три жернова было, да? Большая.

— Да, да! <…> Дак вот у его три сына было: дед мой — Давыд; Трофим, Павел. Тогда, когда делилися… отец как делит своих сыновей, што тебе дал — дом поставил, скотины сколько дал, больше не спрашивай. Так вот тем сыновьям отдал мельницу, а моему деду не дал. Всем по жернову, а ему не дал. Дед прожил 99 лет и не ходил к ему [обиделся]. Отец помер, он и хоронить не пошел его, за это дело.

— А почему он не дал ему?

— А што я могу сказать? Кого-то полюбил, тому дал, а кого недолюбовал, тому не дал. <…>

— А у вас до раскулачивания заимка была где-нибудь?

[1] В квадратных скобках здесь и далее в цитируемых в монографии устных исторических источниках приводятся пояснения автора.

[2] Село Чарышское Усть-Калманского района, стоит на берегу Чарыша.

[3] Село Коробейниково Усть-Пристанского района, стоит на берегу Чарыша.

[4] Усть-Калманский район, стоит на р. Слюденке, притоке Чарыша.

— Была.

— А где была, в каком месте?

— Сперва была на ветер Ельцовского моста, а передел земли, не знаю сколо делали, досталася сюда под ветер, в тупик туда. Где там три речки падают: Землянуха, Елесовка [Ельцовка] и Ново-Калманка. Так вот тут, в тупику, у нас пашня была.

— И заимка была там же?

— Там, там.

— А на заимке вы и летом и зимой жили или только летом?

— Только летом, во время работы, хлеб сеяли, хлеб убирали, сено косили. А зимой со всею скотиной переезжали домой в Калманку.

— А кроме вас там еще кто-то был, какие-то семьи? Или только отец жил?

— Где это?

— Вот на заимке на этой.

– Дак нас там было на заимке человек пятнадцать, избушек, хозяев было, вот так вот. Понятно? Каждый себе хату какую может сделал: деревянную — деревянную, земляную — земляную, кто ее сделает, там и живет лето».

Подобные устные сообщения свидетельствуют о мнениях и ценностях, разделявшихся обществом, о менталитете крестьян. Ключ к пониманию строения исторической памяти дают такие составляющие рассказа, как используемые рассказчиком выражения, грамматические построения, фразы, интонация, диалекты. В приведенном отрывке маркировка общественных и экономических преимуществ старожилов при господстве обычного (семейно-общинного) права, их более высокий социальный статус, базирующийся на первоочередности в пользовании землей, закодирован в фразах: «мой прадед» — «заселил», «захватил», «организовал», «нарезал», «столбы поставил», «давать земли» и т. д. К такого рода устным источникам принадлежат и сокращенные варианты утверждения права первенства во многих устных источниках старожилов, например, С. И. Тырышкин, по материнской линии Тырышкин[1], лаконично сформулировал суть: «Прадеды мои больше 200 лет переселились из России. По им и село назвали. *Они и правили*» (С. И. Тырышкин, Ново-Тырышкино)

Язык является основой при формировании внутреннего мира человека в общении с членами социума. Посредством языка конструируется субъективная идентичность человека. Как системы значений (символов) субъектные идентичности являются способами фиксации различий. Забы-

[1] В народе предгорная территория сопредельных Смоленского и Алтайского районов носит название «край Тырышканов», по самой распространенной фамилии старожилов-переселенцев.

тая и донесенная до наших дней давняя семейная история старожилов маркируется неопределенными, но констатирующими давность поселения фразами: «там порожалися» (Шмакова Д. П.). А далее следуют пересказы об участии их предков в освоении земель.

Приведенные старожильческие интерпретации позволяют утверждать, что чем дальше в прошлое погружены воспоминания, тем больше прошлая действительность маркируется с помощью языка. Исторические обстоятельства проявляются как в лингвистической структуре, так и в этнокультурных стереотипах и бытовых рассуждениях, определяющих характер устных повествований. Подтверждением этому служат абстрагированные схематичные оценки старожилов, в которых утверждается их право на земли. Даже если в их памяти произошло смешение времени и исторических событий, в их интерпретации сохраняется уверенность в приоритете собственных интересов и прав. Именно переплетение этих качеств проявляется в рассказе старожила А. Т. Немчинова (с. Ивановка, Третьяковский район): «После войны люди приезжали из Рязани, с год поживут и уезжают. Вязниковцы вот только остались — из России они. Были и с Украины. Вот Кирилюк до войны приехали. В 1930-е годы оттуда много пришло на наше село. А как у нас малоземелье, их отвели на Чесноки, там они и выкорчевали, там и землю нажили».

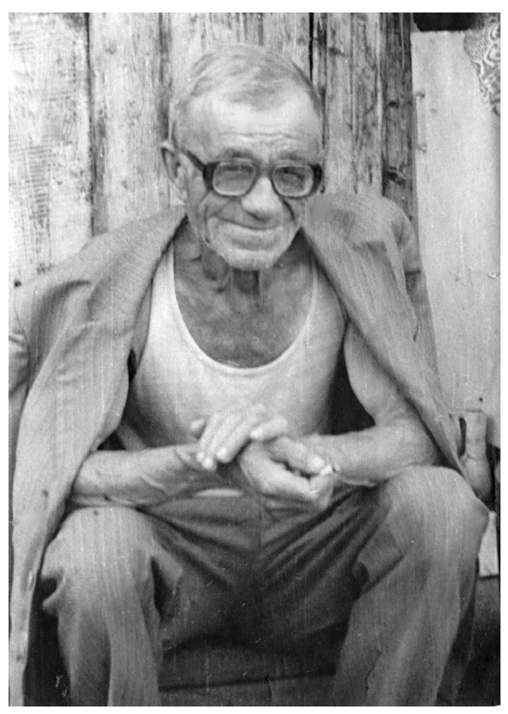
Самостоятельная ментально-культурная модель отразилась в устных рассказах участников переселения на Алтай из Европейской России конца XIX — начала XX в. Крестьяне из этнографических групп переселенцев по-другому интерпретируют историю сел, в образовании или развитии которых участвовали их предки. Переселенческая интерпретация имеет под собой иной жизненный опыт, нежели старожильческий, он приобретен в ходе организованных правительством России массовых переселений в Сибирь. Устные истории переселенцев также опираются на семейные предания, но построены на недавней истории (не ранее конца XIX в.). Они менее мифологизированы, более детализированы, этнографичны, конкретны и соответственно более адекватны прошлому. Связано это с особенностями памяти человека, имеющей две тенденции: к избирательности в сохранении недавних событий и мифологизации далеких событий. Именно поэтому интерпретация образования сел старожилами (переселенцев в «далеком прошлом») и собственно переселенцами (переселенцами второй половины XIX — начала XX в.) различается. В отличие от старожильческой традиции, в устной истории переселенцев лежит реальная семейная история, переданная через поколенные каналы (от дедов к внукам и правнукам). Старожильческие рассказы, сохранившиеся благодаря семейным каналам, как, например, интервью Медведева, встречаются редко.

И. А. Москалев (с. Лютаево, Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

Переселенческие устные исторические источники являются версиями рассказов самих участников описываемых событий или, по крайней мере, их детей и внуков. Рассмотрим в качестве примера устную историю с. Москалевки, записанную от потомка переселенцев-основателей села Москалевка (Солонешенский район) Ивана Антиповича Москалева. Его семейная история этнографична и детализирована: «*Деды приехали из Воронежской губернии* (мой отец родился в 1906 г.) и *основали деревню*. У них было два сына — Исакий и Антип — и пять дочерей». Показательно, что он не назвал имена сестер, что отражало традиционную психологию крестьян: дочери не приносили земли семье, нарезали только по мужским душам, или как говорили, «по едокам». Поэтому про женщин говорили «лишний рот», и стратегическое значение женщин в производственном семейном коллективе было меньше. Изложение событий в его рассказе, так же как и в других переселенческих преданиях, отражает субъективное восприятие исторического прошлого, базирующееся на реальных ситуациях. Отталкиваясь от реконструкции частных ситуаций, можно представить, как жили люди, способ, каким они строили свой мир, отношения в нем, как воспринимали себя в этом мире, как выстраивали отношения в семье и «миру».

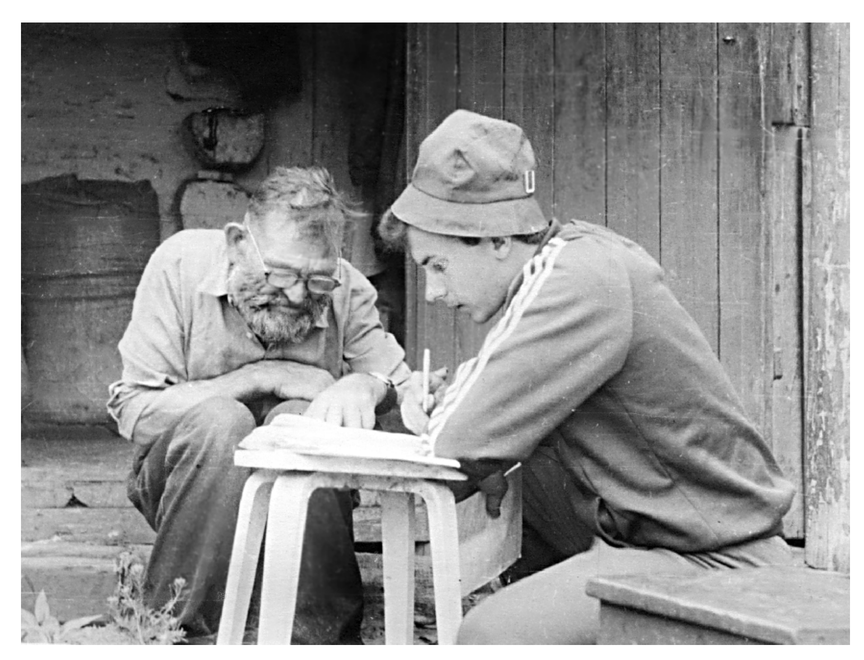
Достоверность переселенческих историй образования села подтверждается множественностью устных свидетельств, повторяемостью описываемых в них событий, имен, фактов, т. е. той устной информации, которая либо вообще отсутствует в старожильческих историях, либо представлена фрагментарно, переведена в иносказательную форму, мифологи-

зирована. В частности, подтверждением толкования образования Москалевки служит записанная от другого жителя села семейная история Д. С. Нормадских. Дмитрий Сидорович подтвердил версию образования Москалевки своей устной семейной традицией: «*Деды с Воронежа пришли* с Москалевыми. Наши родители были женаты на родственных девках. *Сначала пришли Москалевы, подсмотрели место. Отправили ходоков,* и нас 62 человека (нескольких семей Нормандских) пришли. Там был листвяк. Резали. Мой отец с 1899 г. р. Его маленьким привезли. Москалевых было 8 семей. А потом появились Кондрашины (6 семей) с Украины. Они поженились на Москалевых, Нормандских. С 1938 г. стали подъезжать с Солоновки, Песчанки, Карповки [соседние старожильческие села]». Дальнейшее описание Москалевым и Нормадским ранней истории переселенческой Москалевки совпадает. Оба рассказчика показывают, что, в отличие от старожильческих сел с хозяйством преимущественно скотоводческого направления, российские переселенцы были земледельцами и старались на новом месте (горная часть Алтайского края) продолжать хлебопашество. Поэтому и в Москалевке, окруженной горами, по семейным преданиям, использовали все благоприятные для земледелия возможности. Село располагалось на неблагоприятных для сельскохозяйственного производства землях, переселенцам выбирать не приходилось, старожилы успели занять лучшие места: «узкое место, река бежит, поэтому посевы все были к степи, только скот ходил, огородики были» (Д. С. Нормандских).



Д. С. Нормандских (с. Лютаево, Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

Переселенческие версии отличаются от старожильческих именно конкретно-историческими сведениями о пути их предков из Европейской России на Алтай (в старожильческих вариантах эта информация ограничива-



Интервью с И. С. Нормандских (с. Лютаево, Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

ется фразами «бежали», «пришли» и т. д.), об устройстве на новом месте, о взаимоотношениях со старожилами. Для семейных историй переселенцев характерно признание прав старожилов на землю и своего более низкого социального статуса. Например, переселенка А. И. Абалихина (с. Ново-Тырышкино, Смоленский район) рассказывала: «Я родилась в Черном Ануе, а крестилась в Белом Ануе. Отец и мать прожили по 92 года. *Отец мой приехал за 3 рубля из Самары* сначала в Талицу, а *приписки нигде не было*[1]. Они пока десятину жнут, их вши заедают. В Черном Ануе [куда переехала семья в поисках приписки] опять приписки не было. Их жило в Самаре [до переселения] семья: свекр и старший брат-хозяин, а *отцу жизни не было*. Видно, объявляли, что туда ехать можно. И *он задумал поехать, а денег-то нету, а земля раньше дадена на мужчин, а в семье женщин больше было*. Пускать не хотели. Но вырвался: *„Поеду на божью волю“*. Сестра плакала: „Тятя [свекор], дай хоть три рубля на дорогу». Отец [свекор] дал, и он поехал. Потом они приехали сюда искать где приписаться… в Березовку. Они приехали в Усть-Тауриху в 16–17-м году [1916–1917 гг.], а там две из-

[1] Старожилы неохотно разрешали переселенцам селиться в их селах и подолгу не давали приписку к сельскому обществу, что подразумевало наделение приписанных переселенцев землей из общинного фонда.

бушки всего. Привели 4 коровы. В кибитке везли троих детей — 5, 11, 14 лет. Лошадь была одна».

В семейных историях переселенцев исторический материал содержится в более доступном для историка виде (не закодирован, не мифологизирован, не схематизирован). П. Я. Нагибина (в девичестве Иевлева, с. Алтайское) не только называет конкретные даты переселений тех или иных семей, но и характеризует этнографический состав переселенцев, основавших села Сорокино и Барашек (исчезнувшие села Алтайского района): «Мы приехали в 1911 г. *Кто-то съездил на разведку* (все засобирались)[1], *сразу приехали 10 семей* — все горы заселили [переселенцы заселяли на Алтае земли, не занятые старожилами]... В Барашке были *вятские, вологодские, курские, орловские*. Сорокино было километров шесть от Барашка. Как ложок, так деревня. Везде заселились, обзавелись курами, коровами. Скотины много, счету не знали ни гусям, ни свиньям. В Сорокине мы приехали — было три двора (местные), а потом нас семей десять приехало. У нас было гектара три земли огорожено. Мы все болото огородили поскотиной и вечером туда скот выпускали. Было два табуна — старые, молодые» (П. Я. Нагибина). А. И. Аболихина рассказывала, что первым в Усть-Тауриху переехал ее отец в 1916–1917 гг., а за ним уже потянулись из других мест: «В 1922 г. из *Самары* приехали сестра отца с мужем. Жили за рекой. Дядя был интересный такой. Шутник был. Плясали мы, гуляли...*Орловские — те культурно выходили плясали*. Улицами собирались [переселенцы из губерний селились вместе краями или улицами], песни пели... *Люди-то отовсюду были. Каждый по-своему пел*...:

А как у бабушки козел,
У Варварушки другой.
Тили, тили, тилили,
Погляди, богачи, как бедны гуляют.
Погляди, богачи, как бедны гуляют...»

В подобных интервью содержится значительный материал для социальных историков и этнографов по адаптации переселенцев, их взаимоотношениям со старожилами, об общественном климате в деревне в период массовых переселений. Множественность и однотипность устных семейных свидетельств ставит под сомнение категоричность многих устоявшихся в социальной истории выводов, в частности о неразрешимом антагонизме старожилов и переселенцев, зажиточности старожилов и нищете переселенцев. Социальные отношения отличались динамичностью. В статичном (моментном) разрезе устные источники подтверждают историографические выводы о тяжелом материальном положении вновь прибывающих

[1] Здесь и далее в монографии фразы из интервью, заключенные в круглые скобки, являются пояснениями самого рассказчива.

А. И. Аболихина (с. Ново-Тырышкино, Смоленский р-н). Фото 1993 г.

переселенцев, о сопротивлении старожилов подселению обнищавших в дороге новоселов. Повсеместно по Алтаю гуляет устная легенда об испытаниях, которые устраивали старожилы переселенцам: «Вот так, говорили старики: „Вот вам лес, глина. Если поставите за день дом, собьете печь и ночью пойдет дым из трубы — мы примем вас в деревню“. Если они это не успевали, то ночью старожилы раскатывали их дом и отказывали в приписке». В контексте этого рассказа за видимой неприязнью старожилов к переселенцам просматривается своеобразное тестирование первыми вторых на трудолюбие и трудовые навыки. Это показывает, что социальные иерархические структуры основывались на трудовой модели и понимании потребностей крестьянского общества. Можно утверждать, что благополучие и материальная устойчивость сельской общины (в том числе выполнение государственных, земских и мирских повинностей, общинное содержание неблагополучных семей и т. п.) зависела от трудовых качеств приселяющихся. Сельское общество могло рассчитывать только на свои силы и было заинтересовано в сохранении благоприятных (в том числе земельных) условий для семейного производства, его устойчивости. Именно

этим объясняются многочисленные устные свидетельства об устраиваемых приселяющимся мигрантам испытаний, формы и срок которых определяли приписку переселенцев к сельскому обществу старожилов.

Переселенческие семейные истории показывают, что априорно настороженное отношение старожилов к новичкам не было категоричным. Старожилам не чужды были человечность и милосердие, христианское отношение к обездоленным дорогой переселенцам. Следует заметить, что роль религиозного сознания, являвшегося важнейшим фактором взаимоотношений в крестьянской среде, в формировании сельских сообществ раскрыта в отечественной исторической науке еще не до конца.

Интересная семейная история записана от переселенки А. З. Загуменной (с. Алтайское). Устное повествование подробно воспроизводит прошлое, начиная с деда — переселенца из Киевской губернии и бабки — старожилки с. Лежаново Алтайского района: «Мой *отец приехал из-под Киева* в 1912 году. *Работали на помещика всей семьей, батрачили*. Брат его Марк уехал в Сибирь… в Лежаново, где были уже дома старожилов. Видит, *земли вольные, люди неплохие*. Он и пишет Мирону [деду А. З. Загуменной]: выезжай. А у дедушки пять детей было, из них только один женат. Дедушка думал-думал и поехал до Омска, бабушка заболела… умерла… у него на руках осталось пять детей, и самому младшему полтора года. Приехал в Лежаново. Тут купил избу, *летом приехал в эту избу, на голую кочку*. А *бабушка моя была из старожилов* с. Лежаново. Они *жили хорошо*, коров держали — штук десять, детей у них было семь, и все работали в одном доме, в одной семье. Бабка и говорит своему сыну: „Ефимка, ну-ка выводи Буланку, запрягай“. Он вывел, запряг. Осенью это было. „Выносите два мешка муки, пшена, масла, мяса“. *Полный воз продуктов нагрузила*. „Девчонки, какую корову вам не жалко?“ — „Любую“. *Корову привязали к телеге*. „Ну, Ефимка, садись. К хохлу [так звали на Алтае переселенцев с Украины, в том числе деда рассказчицы] на подворье поедем, повезем. *Надо его поддержать*». Привозит. „Эй, хохол, выходи!“ Он вышел: „Что, женщина?“ — *„Бери, это все твоим сироткам!“*… А потом моя мама [дочь бабки из старожилов] вышла замуж за папу [сына деда-переселенца]».

Устные истории показывают, что в основе отношений старожилов и новоприбывших лежали прагматичные бытовые взаимоотношения, выстраивавшиеся в повседневной жизни на условиях взаимовыгодности, рациональности и определенных обязательствах, невзирая на хозяйственно-бытовые, социальные и культурные различия. Характер взаимоотношений основывался на традиционных долгосрочных долговых и трудовых отношениях, но на взаиморасчете. Взаимоотношения родителей — переселенцев-курян (с. Сорокино Алтайского района) с местным торговцем Ф. Шмелевым (с. Алтайское) описала П. Я. Нагибина: «Раньше купцы торго-

Тулатинские казаки. Семейный архив Ф. Р. Казаковой (с. Чарышское, Чарышский р-н)

вали, жили шибко хорошо... *Приехали они* [родители] *из России. Все же далеко ехали, и много не повезешь.* А он [старожил Шмелев] был купцом, торговал всяким добром, посудой. И отец говорит: „У меня семья большая, и денег нет». А он говорит: *„Бери в долг“.* Батя привез от него [в Сорокино из Алтайского] самовар, чашек, ложек... Он ему *целую телегу дал...* У отца было 4 сына, им посуду одинаковую сделал и нам (пять девок было) — девкам. Мать спрашивает: „Где ты все это набрал? Как без денег взял?“ *Даже не расписался.* Вот *наши пожили, обжились.* Отец к нему приехал и спросил: „Может, скотиной возьмешь?“ *Купец обрадовался, что он* [отец] *такой честный. Они договорились, что купец приедет и выберет себе потом скотину.* И он приехал и выбрал, и с тех пор мы так и жили. Он нам также без денег давал». Этот сюжет о роли старожила-купца в судьбе семьи переселенцев хранится в форме семейной истории. Во многих алтайских селах сохранились в семейной памяти воспоминания, уже превратившиеся в предания, о старожилах, которые помогали новоселам в период обустройства.

Совсем иной характер взаимоотношений переселенцев и местных старожилов, происходивших не из крестьянского, а из казачьего сословия, отражают семейные истории крестьян, оседавших на землях, расположенных вблизи казачьих межевых земель В качестве примера можно воспроизвести отрывок рассказа Х. А. Кузнецовой о переселении потомков-крестьян в с. Михайловку (Усть-Калманский район), основанную преимущест-

венно переселенцами из Воронежской области и оказавшуюся между двумя казачьими селами — ст. Антоньевской и пос. Слюденка: «Дед, мамин отец, Василий Федотов Остроухов… Они *пришли из России… Из Самарской губернии*. Бабушка здесь померла… Родитель был крестьянин, пимокат, рабочий мужчина, и мать тоже, тоже такая же. Детей много. Народили, выхаживали… У мамы много было — три девки, два сына… Пимы прям дома катал, тут, изба, огородки не было, печки. Чугуны эти. Пимы-то надо горячей водой. Чугун поставит. Вода нагреется. Горе… Ну, плохо прожили… *По чужим людям ходили зарабатывать хлеб себе*. Раньше молотилки были. Барабанщики. Кусок зарабатываешь. *Бедность, бедность* была целый век мой. Сейчас вот дети-то зажили хорошо. Да умирать надо… …Да корова, да конь, что у отца нашего было.

У нас клинами делали земли. Вот этот — сей [хлеб] здесь, а этот клин — скотина ходить. Тода в горах не садили. Скотина там была. Сеяли богатые люди много, запахивали [коней много было]. *Мы складывались с соседом. У соседа кони, да у нас кони. Вот сложатся, да и пашут*. Когда конь-то — на ровном месте можно пахать…

…*Казаки* у нас вон в Антоньевке и в Слюденке… В Слюденке немножко было и *русских людей*[1]. Но *казаки шибко били людей*[2]. У нас тут вот речка, Слюденка. Она туда бежит, мы тоже жили вон там повыше… как поедут наши туда за калиной, за хмелем — они бьют, казаки, наших [антитеза «наши (крестьяне-переселенцы)» — «чужие (казаки)»], бьют. Страшно, как казаки. *Казаки — плохие люди…*

Корреспондент. А почему они так делали?

Р. *Это была их земля. Тут по речке. Это их земля, забока. Там все, как родилось, все их*. Горе делали, *наших мужиков били, если люди нарвут калины*. Все за хмелем лазили. Хмель-то отнимали. Мужиков наших били. *Все их боялись*. Наши ездили туда. Почему-то там земли больше было. *Наши брали у них какую-то ренту*. Вот возьмут у них, посеют, арендой называлась.

К. Они богаче жили?

Р. *Побогаче-то русских, таких вот-то наших деревенских*».

Таким образом, переселенческие истории достоверно и адекватно отражают прошлые события: причины переезда из Европы в Сибирь, усложнение этнографического и этнического состава населения в алтайской деревне, уплотнение сети населенных пунктов. Контент-анализ переселенче-

---

[1] «Русскими» рассказчица называет крестьян-переселенцев из России, синонимом служат «деревенские» — пахари, хлебопашцы. Русские и деревенские противопоставляются казакам — служилым.

[2] «Люди» в ее интерпретации — крестьяне. Сословно-социальная идентификация, так же как и энокультурная, переводила отношения на уровень «свои—чужие», «мы—они».

Чарышские каза́чки. Фото из семейного архива Ф. Р. Казаковой (с. Чарышское, Чарышский р-н)

ских историй показывает, что причины переезда характеризуются сравнительными фразами-размышлениями очевидцев: с одной стороны (в Европейской России) — «работали на помещика», «барщина была», «батрачили», «мало земли», «земли барские», с другой стороны (в Сибири) — «вольные земли», «свободно было». В целом обоснование причин переезда дедов и прадедов в устной переселенческой традиции строится на сопоставлении

условий жизни семьи и семейного производства в местах выезда и местах прибытия.

Рассмотрим это на семейной истории В. М. Ляшенко. Он вспоминает: «В Сибирь приехали мои бабушка и дедушка. Родители были еще детьми. *Переселялись группами. Мои предки — из Черниговской губернии*. Переселились примерно в конце XIX в., потому что *там была большая плотность населения и мало земли*. Первые поселенцы могли подселиться в селения к старожилам, если место больно понравится, а могли облюбовать новое место... Первое время строили землянки, а потом отец построил избу. *Земли у нас, да у всех, было, кто сколько осилит...*»

Контент-анализ переселенческих версий показывает расширение под влиянием массовых переселений на Алтай этносоциальных представлений в крестьянской среде. Именно в устной традиции переселенцев отмечается дифференциация общества на ментальном и бытовых уровнях по этническому принципу — мордва, украинцы, чуваши и т. д. В отличие от рассказов переселенцев, в старожильческих устных историях дифференциация, как правило, происходит по этнографическому признаку: среди привилегированных групп деревенского общества — старожилы, кержаки, казаки; остальные — «российские»: мигранты и переселенцы. Вместе с тем переселенцы наряду с этнической принадлежностью воспроизводят этнографическую мозаику, но она отличается большей культурно-бытовой пестротой приезжих «российских», среди которых рассказчики идентифицируют воронежцев, курян, «рязань», тамбовцев и др. В этом плане переселенческие истории более научно этнографичны и являются важнейшим источником по этнической истории и этнокультуре деревенского мира. Устные семейные истории жителей из горных поселков Гремишка и Громотушка, например, показывают, что их образовали переселенцы с Украины, из Белоруссии, Мордовии: «В *Сибири ссылка была*. А *в России все земли были барские*. Тут какие были [переселенцы] — письма писали. А потом родственники и знакомые приезжали. *Тут свободно было. Паши, сей сколь хотишь, сколько сил у тебя хватит*. Приехали в Куяган, уже заиметь [земли] негде было [старожилы заняли все земли]. Вот Громотушку с Украины заселяли, с Белоруссии, а в Гремишку одна мордва приехала, а потом Гремишка смешанная была, мордвы наполовину».

Рассказчики отражают реальность, когда переселенцы, не принятые старожильческим сельским обществом, в данном случае куяганским, заняли земли, менее удобные для проживания и хозяйствования: на малых речушках[1], ручьях, ключах, в расщелинах расступившихся гор. Описанное рассказчиком село Гремишка, насчитывавшее около 35 домов, располага-

[1] Например, речках Громотушка и Гремишка, названных так из-за шумного течения по каменистой почве, протекали в горных ущельях.

Потомки казаков. На охоте (с. Чарышское, Чарышский р-н). 1980-е гг.

лось «в обширном ущелье. Сюда — горы, лес, сюда — самоток и горы. Долина вышла. Лощина обширная».

В семейных историях переселенцев содержится научно достоверный материал о ходачестве. Все рассказчики из переселенцев говорят, что переселялись на Алтай после предварительной разведки. Украинец В. И. Иващенко из с. Стан-Бехтемир Бийского района рассказывал: «Еще деды приезжали. Много их приехало... Жили *на Украине. Там барщина была.* <...> *Три дня на барина работали, три дня на себя... Ходили в город на зиму [на заработки]... Земли немного давал барин...* много народа ехало... *Сначала приехал дед Филипп, как ходоком, тут облюбовал место, написал письмо, а они оттуда три месяца ехали,* коров вели сюда, лошадей, кросны, соху, инструменты...».

Как показали устные истории, ходачество не только выполняло разведывательную задачу, но и являлось важнейшим этапом подготовки семьи к переезду. Очень многие ходоки на Алтае при первом посещении заводили посевы, чтобы по возвращении из поездки за семьей убрать хлеб и прокормить перевезенную семью. Вот как рассказывал (в пересказе рассказа деда Романа Федоровича Пенкина) Владимир Федорович Пенкин,

1907 г. р., историю о своей семье — переселенцах из Воронежской губернии, которые были в числе основателей с. Михайловки Усть-Калманского района: «*Там у Воронежа собирались люди. На новые места.* Суды куды-то. *И есть люди — ориентировались, не одному, а поболее. Вот он* [Роман Федорович Пенкин] *к одним подстроился* [с бабкой-женой, отцом Федором Романовичем Пенкиным и маленькой дочкой]. И, значит, поехали с ними оттуда. Есть кобыла, запряг и поехал. Вот… доехали до половины пути. Еще далеко… Ночевали… и у них лошадь и сдохла. А эти, которые подговорили за компанию ехать, и дали лошадь ту, другую. Запрягали и поехали. Это они *в подряд уже работали* [т. е. дед должен был на новом месте отработать за лошадь].

Приехал с ними, а у них [его попутчики были ходоками] уже тут посев, они уже убирать приехали сюды. Тут у них [дед] *начал прирабатывать. Наробил себе продуктов на зиму, и лошадку эту ему они благословили* [отдали, т. е. заработал на их поле, при уборке и обмолоте урожая]. И с этого начал жить[1]… …У деда была изба из палок. Установлены палки и глиной с обоих сторон. И в эту избу мы влазили. Труба сделана… Через трубу залазили туда. Там кое-что наберем из продуктов. Это он такую избу сделал себе. Палок навозил. Половина — из земли [дерном выложил]. Ну вот, по окошки из земли сделал [землянка]. Там жили, а *потом, когда отец стал помаленечку подыматься, то построил избу*. Ну, половину избы состроил, и его убили. В нашей деревне… Богачи. Богатые были в то время».

В заключение необходимо отметить, что устное наследие алтайского сельского населения отличается от устных преданий других регионов Сибири отсутствием мотивов ссылки как пути заселения территории Алтая. Встреченные рассказы подобного рода единичны. Примером является воспоминание И. М. Соколова (с. Смоленское): «Около нас жил Шульцев, а его звали в деревне и знали как Ерохин — по зятю. Из Тамбовской области. *Убил любимую собаку барина, и его сюда сослали.* Еще до революции, в столыпинщину». Этому есть историческое объяснение. В определенной степени это связано с тем, что в интересах развития кабинетского хозяйства территория Алтая в XVIII–XIX вв. была закрыта для каторги и массовой ссылки. Общая картина колонизации в интерпретации крестьян отражает переселение вольных, свободных людей, преобладание собственной инициативы. В коллективной исторической памяти отсутствует представление о «принудительной» форме заселения территории Алтая через каторгу и ссылку.

Однако в последнее время началась трансформация устного наследия о заселении и освоении Алтая под влиянием таких факторов, как рост об-

[1] Обеспеченный производитель был более надежен, чем нищий батрак.

разованности сельского общества, влияние средств массовой информации, популяризация исторических знаний. Но наибольшую роль в трансформации представлений о заселении Алтая сыграли последующие исторические события XX в. — насильственные миграции на Алтай. В советский период территория Алтая, как и всей Сибири, стала местом спецпереселений, депортаций, раскулачивания, политических репрессий. Приобретенный людьми новый жизненный опыт скорректировал в наши дни содержание транслируемого устного наследия. Советский исторический опыт закрепил в сознании деревенских жителей за Сибирью, а вместе с ней и Алтаем назначение места ссылки, высылки, каторги, т. е. наказания инакомыслящих. Под влиянием этой метаморфозы в народной интерпретации стала происходить подмена категорий «беженцев», «вольных людей», «беглых» (староверов, крепостных и приписных крестьян) — категориями «ссыльных», «выслатых» (раскулаченных, репрессированных, спецпереселенцев, депортированных и т. д.). В современном устном наследии сельского населения Алтая, транслируемым уже детьми и внуками переселенцев, встречается смешение реальных семейных историй, официальной письменной истории и собственного жизненного опыта. Оно впитало в себя общее представление о Сибири как о месте принудительной высылки разных категорий людей, совершивших некие правонарушения. Советские спецпереселения, депортации, высылки и ссылки закрепляли на бытовом уровне общие представления о принудительном характере заселения. Показательно рассуждение Ф. П. Лобановой (1917 г. р., с. Крутишка, Шелаболихинский район): «Ссылали сюда в тайгу ученых, богатых. Ленин, поди, в ссылке был здесь тоже?» Таким образом, происходит трансформация образа Алтая как вольной, свободной земли в антитезе — «барская Россия» или «каторжная Сибирь» — и «Беловодье (земля свободных людей)». Тем ценней становится фиксация всех устных историй об образовании сел Алтайского края, которые до сих пор бытуют в информационном деревенском пространстве.

1.3. 1917–1919 годы в памяти сельского населения

Сбор информации о событиях 1917–1919 гг. вызвал объективные затруднения в связи с хронологической отдаленностью событий, преклонным возрастом непосредственных рассказчиков, отсутствием непосредственных участников, искажениями в рассказах немногочисленных очевидцев. Эти трудности нарастали по мере углубления в прошлое. Конкретно-исторические сюжеты и жизненные рассказы о 1920, 1930, 1940-х гг. сменялись смутными припоминаниями о начале XX в., а далее вглубь прошлое становилось просто легендарным. В воспоминаниях о революциях и Гражданской войне намечалась привязка семейных преданий к опреде-

ленным событиям в повседневной жизни. Корпус устных источников включает семейные воспоминания о революционных и военных событиях, которые хранятся на уровне пересказов во втором-третьем поколении (информанты 1920–1930-х гг. р.) или смутных детских воспоминаний (1898–1910 гг. р.). Особенно большую роль в сохранении их в коллективной памяти сыграло поколение, родившее в начале XX в. Но механизм трансляции устных свидетельств не был отлажен. Устные интерпретации показывают, что старшее поколение не испытывало потребности в передаче своего реального жизненного опыта в годы революций и Гражданской войны. Интерпретация этих событий в советское время стала монополией партийно-тоталитарного государства.

Государство не востребовало ощущений и представлений очевидцев революционно-военных событий на нижних этажах российского общества, его не интересовали оценки рядовых современников, реальные, субъективно-объективные «истории снизу». Государственная советская интерпретация создавала на уровне академической науки и массовой публицистики героические страницы истории в духе классовой борьбы и революционных подвигов и поэтому не стала спрашивать у очевидцев этих «героических событий», как было «на самом деле». В официальной среде сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать словами Ричарда Пайпса: «Советское правительство, контролирующее основной корпус источников и начальствовавшее над историографией, желало, чтобы его источник легитимности — революция описывался сообразно его же установкам. Десятилетиями целеустремленной подачи исторических событий оно сумело не только установить каноны описания событий, но и определить их выбор» [18, с. 9]. Поэтому важны все свидетельства, даже в виде детских впечатлений или передачи рассказа родителей о событиях гражданской войны, общественного раскола и противостояния.

Важнейшее значение в сложившейся ситуации приобретает выбор оптимальной источниковой базы, прежде всего отражающей человеческие судьбы, из которых складывались представления о таких исторических событиях, как революция и гражданская война на Алтае. На сегодняшний день опубликованные источники, содержащие личные мнения людей, субъективный опыт или биографические повествования, находятся на разных полюсах. На одном полюсе (его условно можно назвать «белым») растет количество опубликованных документов личного происхождения — мемуаров и дневников участников «белого» движения, представляющих образованную часть российского общества, способную к письменной трансляции своих ощущений (военные, представители высших сословий, интеллигенция и т. д.). В частности, на современном этапе широкий размах получили публикации мемуаров белых генералов и докумен-

тов о «красном терроре». На другом, «красном» полюсе, представленном в большинстве своем участниками «красного» движения, объем материалов в виде воспоминаний и рассказов целенаправленно наращивался в советские десятилетия государственными и общественными музеями и архивами. Собранные по инициативе государства воспоминания красных партизан в советское время подверглись обработке, внешней и внутренней цензуре, приобрели «глянцевый», заказной характер. В этих документах была выхолощена прежде всего повседневность, которая либо не сочеталась с героической линией темы, либо подрывала создаваемый образ и идеологические шаблоны.

Примером формирования документов личного происхождения в советское время является деятельность Истпарта, который был создан в 1918 г. с целью сбора воспоминаний по истории Октябрьской революции, Гражданской войны и РКП(б). На всероссийском уровне практиковались анкетирование, сбор воспоминаний, проведение тематических интервью. На Алтае постановлением Алтайского губернского комитета РКП(б) была создана комиссия по сбору воспоминаний участников подполья, революции и Гражданской войны. А в декабре 1925 г. для содействия Истпарту была образована артель «Краевед», переименованная в Барнаульское общество ветеранов революции 1905 г. («Пятигодник») [19, с. 26].

Два источниковых полюса документов личного происхождения — «белых» и «красных» — отражают судьбы лишь незначительной пассионарной части общества, более политизированной, а голоса огромной массы населения, непосредственно не участвовавшего в противостоянии, не были зафиксированы, их ощущения и оценки не были услышаны потомками, а значит, не были созданы предпосылки, чтобы понять эпоху революционных событий. Эта эпоха осталась в источниках в «красно-белых» тонах. Тем бесценнее места и области индивидуальной и коллективной памяти об этих событиях, в том числе и в пересказах одного поколения другому, так как даже при стремлении ряда современных исследователей к объективности каждый, изучающий революционные потрясения, все равно вносит в представления об этих событиях свое отношение или передает мнения и формы прошлых пересудов и пересказов. Р. Пайпс писал: «Мне не приходилось читать исследователей по французской или русской истории, которые бы не выдавали со всей очевидностью, несмотря на все заверения авторов в бесстрастии, на чьей стороне лежат их симпатии... при самом научном подходе, истории... революций не могут быть свободны от личных оценок» [18, с. 10].

Работа с корпусом устных источников как рассказов рядовых очевидцев (а не участников) также нуждается в помощи лингвистов, которые имеют огромные навыки в работе со вторичными текстами, разными жан-

рами устного народного творчества. Историка при работе с этими документами может мало интересовать событийность или фактографичность устных преданий, т. е. их привязка к тем или иным фактам, что потребовало бы тщательной сверки данных устной истории с документальным архивным материалом. Для него важны именно ощущения человека, жившего в эпоху насильственных перемен, повседневные оценки той эпохи. Достоверность устных свидетельств как источника проявляется прежде всего в том, что в них отражается мировосприятие крестьян, в том числе их отношение к экстремальным событиям, восприятие этих событий детьми, женщинами, пожилыми людьми. Их свидетельства позволяют реконструировать взаимоотношения в крестьянском мире в период революционных потрясений и его взаимодействие с внешним окружением. Это были отношения крестьянского мира, ограниченного границами его производительного пространства и жившего собственными понятиями, и российского общества, представленного его политизированной частью, в которую входили представители государственно-административной номенклатуры и партийных лидеров, пролетаризированного и военизированного населения.

Для подавлюющей массы крестьянского населения Алтайского края, как показали исторические интервью, события 1917–1919 гг. остались непонятыми. В устных интерпретациях пожилых крестьян, слабее затронутых массовой агитационной обработкой в советский период, отсутствуют понятия «революция», «гражданская война», «большевики», «белогвардейцы». На Алтае их синонимами в устной народной истории выступают «заваруха», «переворот», «восстания», «войны», «красные», «чехи», «банды», «партизаны», «каракорумцы», «белоказаки». Кроме того, в отличие от более поздних пластов устных исторических источников, повествующих о советских событиях, для устных рассказов о революционно-военных событиях характерен взгляд на них не «изнутри», а «извне», «со стороны». Респонденты в своих рассказах являются не участниками, а свидетелями событий. Это подтверждают устойчивые речевые обороты в семейных историях, которые передавались от поколения очевидцев событий (дедов, родителей) к их детям (внукам). Примером может служить рассказ Д. П. Шмаковой, которая передает в пересказе представления и ощущения своей мамы: «*Переворот-то был, я даже не знаю, что это за переворот*. Это мама мне все рассказывала. Это вот в Огнях [село Усть-Калманского района] была война уже, э... *с какими-то чехами*, что ли, или кто они, рассказывала мама... В общем, вот в Огнях Красный Яр, там его, говорит, заполняли людьми, кровью было залито. Его так и звали: Красный Яр. Вот в Огни как едешь, от Мировой проедешь, вот там было это Красный Яр. А я у мамы спрашиваю: „Мам, а почему-то его Красный Яр зовут?“ –

„А он, — говорит, — был кровью залитый и людьми закидано. Стреляли вот какие-то этих коммунаров-то, в колхоз загоняли“. Ну и били, говорит. Хто не хочет, убивали. А видишь, хто знает, хто за кого, как щас деется, так и тогда. Ну и все, это я ниче не знаю, только что по разговору ли».

В пересказанном воспоминании матери Д. П. Шмаковой отсутствует сопричастность к этим событиям. Для самой рассказчицы характерно полное доверие к полученной информации. Она воспроизводит дословно фразы матери и не пытается понять, что за ними стоит (в ее рассказе произошло смешение событий Гражданской войны и коллективизации). Большинство записанных в 1990-е гг. рассказов строится в манере «взгляд со стороны» или «взгляд наблюдателя»: «Здесь [Ново-Тырышкино] *восстания были*. Искали Поповых. Ездили всякие. У нас конюшни были, там две лошади стояли. Их не нашли. А у других забирали лошадей» (Е. И. Тырышкина) Для устной народной интерпретации тех событий, даже в пересказе потомков потомственных крестьян, родившихся и воспитанных уже при советской власти, характерно то, что события в их собственной деревне не соотносятся ими с официально сформированной канонической историей революции и Гражданской войны. А. В. Рохлина вспоминает: «По нашей улице кирпичный дом стоит — Ломакина. А рядом Сафронова — двухэтажный, деревянный. У них лавочки были — богатые были. Тогда у многих лавочки были. *Заваруха-то была*... мы с девчонками мимо шли — там всякие детали от лампы валяются. Всякие побрякушки. Так мы набрали для игрушек. Потом их всех посослали».

Изолированности, обособленности, отсутствию связи между писанной официальной историей и эмпирическим семейным опытом в определенной степени способствовали различия революционно-военных исторических событий в центре (Санкт-Петербург, Москва, Дон) и на окраинах России (Сибирь). Устные свидетельства показывают, что между парадно-патриотической, отредактированной официальной историей революционных потрясений в Европейской России и жизненным опытом алтайских крестьян действительно мало общего. В отличие от официальной позиции исторической науки, разделившей историю России XX столетия на два периода: до и после революции 1917 г., крестьяне Алтая рубежом коренных преобразований деревенской жизни называют 1930-е гг. Народные оценки основаны на сопоставлении двух периодов: до и после 1930-х гг., когда коллективизация изменила их образ жизни, и это позволяет предположить, что события 1917–1919 гг. не внесли качественных изменений в повседневную жизнь алтайской крестьянской семьи. Хотя, конечно, необходимо помнить, что научный подход требует от историка критической оценки источников, в том числе устных, и честного отношения к материалу, в них почерпнутому.

Большую роль в анализе крестьянских представлений об описываемых событиях играет опыт лингвистов в работе с текстами как устной, так и письменной народной речи. При анализе восприятия этих событий алтайскими крестьянами необходимо помнить, что любая позиция или отношение к происходящему рассказчика (уверенность или сомнение) закодированы в тексте, что выражается в применении дискурсивных слов-импрессивов — «кажется», «видимо»; слов-квотитов — «говорят», «слышал», «будто»; оборотов-квотитов — «ходили слухи», «по легенде». Иногда сам рассказчик дает нарративу фольклорное обозначение — «байка», «слухи», «сплетни» и т. д. (т. е. устная информация сомнительной достоверности). Подобные речевые дискурсы демонстрируют нежелание говорящего брать на себя всю полноту ответственности» за устный рассказ [20]. В большинстве устных рассказов о революции и Гражданской войне ответственность за интерпретацию перекладывается на какого-либо другого человека — чаще мать, бабушку, отца, соседей, что является вполне естественным для сельских жителей.

Для крестьян, которые в начале XX в. долго оставались вне письменной культуры и книжной истории, фактически единственным источником знаний о прошлой жизни (истории) являлась устная традиция — пересказ семейных историй и представлений о прошлом. Поэтому во многих устных источниках респонденты пользуются фразами «как говорили», «рассказывали», «говорят, что», «по слухам» и т. д. Доверие к семейным рассказам отчасти объясняется тем, что семейные истории исстари являлись источником информации о предыдущей (исторической) жизни. Передаваемые из поколения в поколение, они канонизировались через стандартные фразы и выражения. Для историка эти штампы являются концентрированной оценкой или отражением представлений об исторических событиях рядовых участников и очевидцев. Их использование в воссоздании прошлого может значительно скорректировать создаваемую исследователями историю, так как они отражают ощущения массового зрителя исторической сцены, сегментированной на российские регионы, и этно-социальную ситуацию в регионах. Контент-анализ устных историй о революционных и последовавших за ними событиях подтверждает, что они не оставили в памяти алтайских крестьян большого следа, не вызвали существенных изменений крестьянского уклада.

Отсутствие слова «революция» в крестьянском словаре и замена его «переворотом» или «заварухой» отражает представления о ней как о верхушечном событии, не затронувшим повседневную жизнь основной массы населения Алтайского края. В отличие от многих европейских регионов России, для алтайской деревни памятными, а значит, и значимыми являлись события начала XX в., связанные с массовым переселением на Ал-

тай и Первой мировой войной. Из их рассказов следует, что первое событие повлияло на быт и хозяйство крестьян, второе запомнилось массовой мобилизацией мужчин, их гибелью на фронтах и последовавшими изменениями в мировоззрении и поведении. Примером является отрывок из интервью И. А. Медведева о двоюродном брате, вернувшимся в кержацкую деревню (Усть-Калманку) с фронта: «Вот у меня брат двоюродный был, в 17-м году, когда Ленин завоевывал власть-то себе, его взяли в армию, ему было 17 лет. Ну он попал к румынам в плен, еще в какую-то страну попал, так вот и скитался. Де-то с плена пришел в 22-м году ли, в 23-м, остался живым, не убит. Ну, и шо? *Он насобачился* [набрался, перенял] *всей этой процедуры, где это он был-то*! Да, вот тебе, один раз в субботу, эти все кержаки собираются в собор, в моленную, на веречню молиться. Один кержак идет, туды в собор-то, а этот *мой брат, с российскими ребятами*[1], один идет в гармонь играет, второй песни подпевает, а третий — подсвистывает, да ешо вперед забежит, да пляшет [такое поведение осуждалось кержаками]. И вот этот кержак идет и смотрит на эту процедуру-то. Ну и шо?! Молиться начили собираться, а этот кержак: „Обождите молиться! Надо разобраться. Тут *у нас некристи* [нехристи] *есть*“. Ну, тут все: „В щем дело?“ — „Дак вот я щас шел, *Герасима Давыдыча сын-то, пришел с плена-то, идет песни поет под гармошку. Надо с отцом разобраться, решить: то ли ему дозволять молиться, то ли нет*“. Ну, остановились, начинают разбираться, решили: *отца исключить из собора, чтоб он не ходил молиться, пока не исправит своего сына*. Ну, отец пришел домой, рассердился, ну и вздумал его побить. Тода мода была, что и жанатых били отцы. Ну, а этот не долго думавши берет отца в охапку, приподнял, поднес, на стол посадил: „Вот так, отец, сиди. *Надо тебе молиться — молись, хоть лоб разбей, но я вам молиться не буду*“. — „Как же так?“ — „Да вот так и так, иди им и своим кержакам объясни, што я им так сказал“. А тода еще мода была — все там собираются, тода волость была, а щас сельский совет. Вот тода у отца какого-нибудь сын сопротивляется, дак отец идет в волость, пожалиться там, вот все соберутся, несколько человек, и его вызовут, этого сына, там его начинают плетями бить. А этот им сказал, один какой-то: „Так его надо в волость вызвать и там с им справиться“. А *он им так ответил: „Я вас, гадов, в этой волости, сделаю кинжал, я вас, гадов, поперережу, хватит вам по старинке жить! Щас у вас советская власть уже!“*».

[1] В Усть-Калманке были две этнографические группы русских — «кержаки» из старожилов и «российские» из переселенцев. Респондент противопоставляет переселенцев, придерживающихся официального православия, и сибирских кержаков. Последним не разрешалось общаться с переселенцами, так как они верили и жили «не по-ихнему».

Памятник участникам Гражданской войны в селе Быстрый Исток.
Фото 2007 г.

Задокументированные устные свидетельства о революционно-военных потрясениях соответствуют устной традиции, но с трудом классифицируются по жанру (предания, повествования, рассказы). На наш взгляд, их можно систематизировать в соответствии с типологией сюжетов устных рассказов, основанных как на устной традиции, так и на реальном жизненном опыте, — это устные исторические источники, ядром которых выступает композиционно-повествовательный рассказ. Наибольшую часть составляют источники, созданные интервьюированием и представляющие собой рассказы бывших крестьянских детей, в которых переплелись собственные смутные воспоминания, рассказы матерей и судьбы близких людей, которые пострадали в эти годы. Примерами являются отрывки из интервью Христиньи Алексеевны Кузнецовой о событиях в Михайловке Усть-Калманского района: «*Какие-то войны и войны. Восстание было, что ли.* В 18-м году. Я не помню. Тятю тут тоже убили. *Чехи какие-то приходили.* Чехи... Приходили... А *наши-то вздумали уезжать.* Из села уезжали. Кони запрягут — и туда в горы. А они догоняют и убивают. У нас там тятю так убили там, на горе.... Всех сполна их — с косой. Догнали и убили. Осталась мама с пятью детьми... Наша жизнь плохая все время, и *войны, войны, войны...* Тут чехи к нам приехали. Чехи нас гоняли, тятю-то убили. *Чехи какие-то,* то ли антоньевские[1], их нанимали. Чехи тут с

[1] Респондент имеет в виду казаков из соседней станицы Антоньевской, которые притесняли переселенцев-крестьян, основавших рядом с казачьей межой Михайловку.

Памятник борцам революции (С. Верх-Ануйское, Быстроистокский р-н). Фото 2007 г.

нами воевали. Наши с пиками. Пики кованые. А у них-то винтовки были. Вот они тут сразу 17 человек убили и пошли... Этот отряд-то, их сразу сломали. Хто оно называется? Ну как будто стояли, их ограждали, чтобы они сюда не прошли. Но они все равно прорвались, чехи какие-то... Тут гора большая около „Пятилетки“ [название колхоза]. Они на гору затащили... этот пулемет и воевали... А тятю-то убили, догнали — и... Вечером они тут наступали... у них [казаков] была тут грань. С Антоньевской казаки. Казаки-то эти — наши[1]. Они, *казаки эти*, проломили. А тятя был раненый [в Первую мировую войну]...»

Контент-анализ выявляет в подобных рассказах дискурсивные слова, которые передают интерпретации другого человека (матери, соседей и т. д.). Так, образ врага проецируется на совершенно неизвестных деревенским жителям пришлых чужаков — чехов. Одним из лейтмотивов задокументированных устных историй о гражданской войне являлся фактор территории, ее границ, контроль над территорией как важнейший элемент антитезы «свои» — «чужие», в которой маркировка «свои» связана с их стремлением защитить территорию, обозначенную границами деревенского мира. Важной особенностью является то, что все проблемы в обо-

[1] Респондент имеет в виду, что местные казаки поддержали «чужаков» — чехов, или «наняли» чехов для наказания крестьян.

значенных границах считались «внутренним делом», и любое вмешательство чужаков воспринималось настороженно.

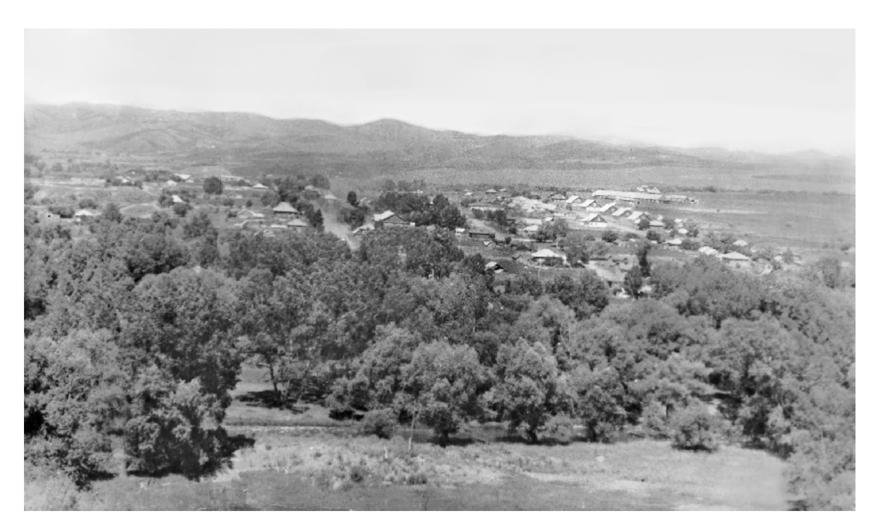
Много споров сейчас развернулось вокруг вопроса о борьбе белых и красных в годы Гражданской войны, в пылу которых часто слышатся крайние оценки, демонстрируются противоположные позиции. Одни для доказательства своей точки зрения ищут аргументы в мемуарах белых генералов, другие — красных командиров. Обращения к воспоминаниям рядовых старожилов показывают, что научная оценка не должна быть категоричной, тенденциозной, ангажированной. Более того, как показывает работа по созданию устных исторических источников, она регионально обусловлена. События 1917–1919 гг. были специфичны в каждом регионе, порой в границах нескольких населенных пунктов, некогда входивших в один церковный приход, имевших разный этнографический состав, и отличались степенью противостояния, массовости, втянутости в события местного населения на разных территориях: в Европейской России и в Сибири, в центре и в провинции, в промышленных и аграрных регионах. Алтай, в силу особенностей социального, этнокультурного и хозяйственного развития, административно-политического статуса в составе России, в период гражданского противостояния в Европейской России отличался своей историей, и рядовые очевидцы реконструируют прошлое, имевшее специфический колорит. На характер событий гражданской войны в селах влиял этнографический состав — из-за преобладания казаков, старообрядцев, переселенцев и т. д. Но и на Алтае, и в Европейской России исторический процесс развивался противоречиво. Однако только в устных исторических источниках проявляется главная особенность военно-революционных событий на Алтае — некая отстраненность крестьян от начавшегося противостояния до поры до времени, пока их не втягивали в это противостояние, что придало ему характер массовости.

Другой особенностью событий гражданской войны на Алтае являлось своеобразное представление о белых и красных. Первые, как правило, в устных исторических источниках предстают как «чужеземцы», «пришлые», а значит, иные, враждебные или потенциально опасные устоявшемуся деревенскому миру, не знающие его обычаев, законов и т. д. Обозначение белых в народном словаре имеет синонимы, среди которых наиболее распространенный — «банды». В эту группу крестьяне часто включают и своих казаков, чему способствовало застарелое противостояние между ними из-за земельных и других привилегий казачества. «Красные» остались в сознании крестьян как «наши». Жительница с. Староалейское Е. И. Дмух рассказывала: «Попадья у нас в Корболихе была. Выдавала красных белым. Красные пришли, босиком ее водили по Змеиногорску. Потом груди обрубили. Померла. За делом ей. Она *наших белым выдавала*». Свя-

зано это было, как показывают устные свидетельства, с тем, что на Алтае красными или партизанами являлись, как правило, не регулярные части Красной армии, как на Дону, в Поволжье, на Украине и т. д., а боевые группы, сформированные из местных мужиков-крестьян в ответ на насильственные мобилизации крестьянской молодежи, реквизиции скота и продуктов, для защиты своей семьи, хозяйства, земли. Это проявилось и в рассказе Е. Дмух: «*В переворот* у нас тут *много банд, Анненков, черные чехи, всего три банды* проходило... *Прятались по погребам. Потом наши придут — выдавят*. Те уходили в Змеиногорск. Пороли только белые, красные — нет. *Белые зверствовали. А красные-то — наши*. Пороли красных. Снимут штаны и порют до тех пор, что нельзя брюки одеть. Мужики в юбках ходили. А как пороли! Так, что обмажется [сходит под себя], так встань, прибери и снова ложись. *Хоронились. Как только банда, все бросали и уезжали в поле*».

Устные источники показали, что крестьяне предпринимали значительные усилия, чтобы остаться в стороне от событий Гражданской войны в период превращения своих территорий в места сражений. Наиболее распространенным способом, как показывает контент-анализ устных преданий, являлся побег мужского населения, а то и всей семьи «в горы», «в бор», «в степи». Интересный рассказ записан от А. Г. Загуменной о событиях в с. Лежаново (Алтайский район), когда территория Алтайского района превратилась в поле битвы с остатками белогвардейских армий, базировавшихся в Монголии и совершавших набеги на сопредельные территории Алтая. Самые кровавые воспоминания были связаны с каракорумцами: «Что они только творили! Нам *приходилось уезжать всем селом. Запрягут лошадей — и в горы*. Коров оставляли. Скрывались 2–3 дня: коровы орут. Резали [каракорумцы], уничтожали. Ну что хорошо, так они не жгли ничего. Ни один дом не сожгли».

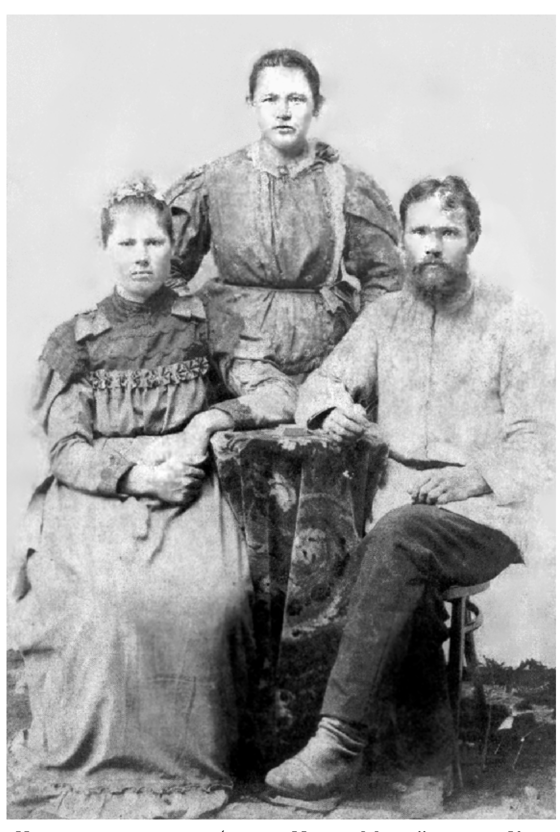
Своеобразной защитой против вторжения белых «чужаков» являлись, по мнению рассказчиков, сельскообщинные традиции и христианская этика. При появлении в селе или в окрестностях «чужих» крестьяне, несмотря на разное социально-экономическое положение, чтобы спастись, объединялись как «свои», деревенские. И эти личные взаимоотношения и общинные традиции в годы Гражданской войны были главнее агитации. Как показывают устные свидетельства, большевистская или белогвардейская агитация не играла в этот период большой роли в социальном поведении крестьян. Более того, некоторые свидетельства показывают, что в основе поведения крестьян лежали их христианские или традиционные ценности. Интересно отражается в семейных преданиях семьи Загуменных поведение отдельных членов деревенского общества (и купцов, и крестьян) с. Лежаново в период набегов каракорумцев: «*Купец Казаков не разрешал* [кара-



Село Верх-Алейское (казачья станица), Третьяковский р-н. Фото 1992 г.

корумцам] *жечь село*. Он их принимал. Как пристанище. Двор огромный, дом, завозня крытая. Под ней лошадей расположат всех. *А дочка его партизан выдавала, а жена спасала, наоборот*. Видит — каракорумцы едут, и скорее сообщит, сбегает к кому-нибудь. Всем скажет. *Спасла стольких людей*. И моего отца. А *дочь-то предательница*. Дочь потом забрали [после завершения Гражданской войны]. Так и не вернулась. И самого Казакова забрали, умер где-то в тюрьме. А жалко… Он, говорят, *такой добрый был*. Хорошо к людям относился. Он занимался в основном торговлей, но нанимал косить. Мама говорила: если они попросят убрать, то *рассчитаются втридорога*… к ним с удовольствием идешь, и *угостят, и за помощь рассчитаются, и в долг давали*…».

Самостоятельным композиционно-повествовательным построением отличаются на Алтае семейные казачьи истории: прежде всего они более эмоциональны и до сих пор носят личностный характер, показывающий, что если в крестьянском мире размежевание произошло между «своими», к которым относились крестьяне и партизаны, и «чужими», ассоциирующимися с чехами, анненковцами, белокаракалпаками, каракорумцами, то в казачьем мире огромная пропасть легла между самими казаками, разделив их на белых и красных. Особенно это характерно для Горного Чарыша. Интервью показывают, что до сих пор в семьях на уровне поколений не только детей, но и внуков-правнуков сохраняются личные обиды за конкретные события 1917–1919 гг. с подробным поименным перечислением виновных. До сих пор можно услышать фразы наподобие «А это наши де-



Чарышские казаки (семья Ивана Михайловича Казакова). Фото из семейного архива Ф. Р. Казаковой

ды угробили их», и наоборот. Для полученных в ходе интервью казачьих устных историй о революционно-военных событиях более характерны последовательность событий и сложность взаимоотношений с учетом коммуникативных факторов. При работе с устными казачьими историями особенно важно учитывать конкретно-исторические условия региона, в котором происходили события, а также характеристики персонажа, по отношению к которому строится сюжетообразующая ситуация.

При этом задокументированные устные истории показывают, что для рассказчиков было не важно, из-за чего разгорелся сыр-бор, но способ и логика изложения описываемых событий показывают, что главным оставался лейтмотив человеческих взаимоотношений. И самое удивительное, что в селах Горного Чарыша он до сих пор проявляется в личных и семейных взаимоотношениях. Способ интерпретации прошлых событий выстраивается в соответствии с мотивами мести. Соответственно порядок реконструкции отношений в гражданскую войну в устных казачьих историях начинается с проступка противоположной стороны и ответных действий. В Чарышском районе обе стороны в устных историях семейно и географически локализованы (обозначены): например, сосновские казаки (Малая Сосновка) — красные, чарышские казаки (ст. Чарышская) — белые. Сюжеты семейных устных рассказов сконцентрированы на прошлых взаимоотношениях семей, по-

томки которых до сих пор живут в селах, поэтому значительно персонифицированы и требуют соблюдения этических норм при работе с ними, особенно при использовании их для открытых публикаций. Примером могут служить два отрывка из рассказов потомков сосновских и чарышских казаков, фамилии которых мы по названным причинам не разглашаем. Речь в них идет о столкновении судеб «дедов» и драматических событиях — последствиях ответных действий с той и другой стороны. Одна семейная легенда (потомки чарышских казаков) гласит: «...Наши казаки скрылись в горах... [Ворвались сосновские казаки] на конях... Бабка спрятала двух внучат в сундук, сама села на него... Он зашел, зыркнул на бабку, согнал. Крышку поднял, а оттуда две головы пацанячьи в казачьих фуражках... Он одним взмахом сабли отсек... и ускакали. Наши вернулись... как увидели... По коням...». По семейной легенде потомков сосновских казаков: «Наши были в горах... А те прискакали... дядю двоюродного белые казаки закопали живьем... А у него осталась одна баба дома, беременная на 8-м месяце. Они дверь входную сняли да сверху ей на живот положили... Встали на нее... Пока не выдавили...».

Чарышские казаки (семья Казаковых).
Фото из семейного архива Ф. Р. Казаковой

И с той и с другой стороны записаны подобные истории. И во всех интервью, записанных в Чарышском, чарышские потомки рассказывают, как «красные» расправлялись в их станице. По их словам, «красные» казаки выгоняли детей и женщин из домов и рубали их на улицах, а «собаки растас-

кивали». А потом пришли «свои» казаки и оставшихся «красных» казаков зверски поубивали. А сосновские рассказывают о налете на их село и расправу с их женщинами и детьми.

Длительность существования выявленной парадигмы сюжетного построения казачьих историй (взаимная месть) объясняется отдаленностью территории и практически полным отсутствием внешних миграций. Основу современного населения в этом «медвежьем углу» составляют потомки старожилов, живших на этой территории на протяжении всего XX в. и втянутых в противостояние. Их дети, внуки и правнуки поныне сохраняют семейную память о тех событиях. Поэтому одно из главных различий крестьянских и казачьих устных историй видится в том, что первые рассказывают о событиях «извне», как их сторонние наблюдатели, которым непонятны истинные причины происходящего, а вторые — «изнутри», как участники. Вот как толковал происходящее в селах Ивановка и Шипуниха Третьяковского района крестьянин А. Т. Немчинов, проживавший в районе казачьей грани казаков станицы Верх-Алейской: «В гражданскую казаки были, казачья линия была. Они белыми назывались. Вот красные далеко были. Они и уезжали туда, уничтожать красных. А вот когда пошел за Лениным народ, вот против народу и не попрешь. Ленин сказал, и народ за ним пошел. А народу поначалу красные не нравились...». Потомки крестьян затрудняются в определении природы происходящего и не стремятся особенно разобраться и вникнуть в суть событий. Но вместе с тем очевидцы или пересказчики, особенно женщины, замечают и описывают последствия, существенные для их семьи, сводя все к очевидным вещам.

Анализ устных исторических источников позволяет выявить формы социального поведения сельских жителей. Ценность этих источников в том, что они отражают оценки и представления самого массового участника исторических событий — крестьян, казаков, выступавших, с одной стороны, как целое, с другой стороны, как группы, имевшие пестрый гендерный, этнокультурный, этносоциальный и возрастной состав: дети, женщины, старики. В частности, можно отметить, что в «детских крестьянских рассказах» стирается гендерный фактор. Интересно, что мужчины-информанты, сами не принимавшие участия в революционных и военных событиях и знающие о них понаслышке от старших или наблюдавшие их детьми, по своим оценкам приближаются к женщинам: для них так же непонятен внутренний смысл происходящего, они так же напуганы кровавыми последствиями и так же винят во всем «чужаков». Особенно запоминаются детям подробности убийств и увечий в уличных инцидентах. Именно дети, сами не участвовавшие в событиях, охотно описывают детали — одежду, коней, оружие, обращение непрошеных гостей с родителями. Анна Васильевна Рохлина, 1912 г. р., вспоминает: «Мы-то в *вой-*

ну в погребу прятались. А пули-то об дом тыр-тыр… Тятя высунулся, а пуля мимо просвистела… К нам какие-то в шубах залетели — *нерусские*[1]. А тятя коня запрягает… „Ты куда собрался?“ А тятя испугался: „Не знаю“. — „Нас повезешь“. А мать занесла большой котел с выжарками, разогрела, накормила. Они забрали валенки, побросали свои рваные вещи, тятины вещи одели. Коней тятиных забрали, у своих-то ноги посбили. Потом назад ехали — своих забрали, мы их выходили. А наших не вернули. А раз… Отца встретили в поле, так раздели и разули. Он голенький приехал. Только соломой ноги прикрыл». Об этом же сохранила детские воспоминания Е. В. Тырышкиной из с. Ново-Тырышкино: «*Здесь восстания были*. Ездили всякие. У нас конюшни были, там две лошади стояли. Их не нашли, а у других забирали лошадей». В детской памяти остался страх от появления «нерусских», к которым, как правило, рассказчики относили белых. Они так и говорят, что через их село «всякие проходили», и «белые», и «повстанцы», и «чехи», и «каракорумцы», и «анненковцы», и др. Детей учили хитрить в этой ситуации. Об этом говорит полулегенда, рассказанная А. И. Абалихиной: «В семнадцатом году едет полк белых. Плеточки (ленточки) фарфоровые на шапках. А у красных кисточки на шапках. Белые спрашивают: „У вас есть большевики?“ А нас, ребятишек, научили говорить: „У нас есть бо-о-ольшой мужик“».

У тех же информантов, кто был старше, как правило, подростком (1898–1905 гг. р.) акценты расставлены несколько по-иному. Детский страх более конкретизирован. Одни вспоминают реквизиции хлеба, другие — притеснения за веру и т. д. Особенно интересны задокументированные толкования, связанные с формирующимся образом новой советской власти, ее первыми конкретными делами, которые стали менять отношение к «нашим», пришедшим к власти. Так, у Т. М. Тарасовой из с. Староалейское, родившейся в 1904 г., установление новой власти ассоциировалось с изъятием хлеба: «Хлеб все выжимали. Дедушка Ефтей был священником в молебном доме австрийской веры [Белокриницкое старообрядческое согласие]. Он был Тарасов. Так они веровали в бога: „Наша вера лучше всех!“ Его догнали около нардома. Там много миру было, завалили, бороду дергали и волосы дергали. Намотают на палец и, как с кабана щетину, снимали. Мы с его дочерью подбежали — нас гнали. С нашего отца выжимали хлеб. Мы разверстку возили в Рубцовск — я девять раз возила. Часть заховали во втором подвале [речь идет об отцовском доме-связи]. Насыпали в ящик, а сверху — ящик с просом. Все равно у отца еще требо-

[1] Во всех устных исторических источниках «нерусскими» называются представители другого, не крестьянского мира. Это могли быть казаки, белогвардейские офицеры и солдаты, белочехи и т. д. Крестьяне не вкладывают в понятие «нерусские» этнического или национального смысла.

вали. Он — „нету!“ Его посадили с мужиками зимой в холодный подвал. Там был богатый дом. Их [богатых] выгнали. И вниз, в штаб, посадили тех, кто разверстку не платил. Не кормили. Мы наварим мяса, яиц, принесем, постучим, дадим и тем, кто караулит, чтоб отцу передали. Отец говорил, что ему немного доставалось — пока доползет[1], всё расхватают». Об этом же вспоминает А. В. Рохлина (Смоленское): «Под домом была яма. Я помню, тятя там хлеб прятал — как убирали. Сеял много, сами все убирали, косилку нанимали. Много замолотили — все конфисковали. Даже на поле необмолоченный забрали и конфисковали».

В заключение необходимо подчеркнуть, что метод устной истории предполагает создание информационного обеспечения решения проблем новейшей истории путем опроса или интервьюирования очевидцев или свидетелей событий, исторических процессов, явлений с обязательным документированием полученного материала. При этом историк должен максимально стремиться к получению «чистого» материала, т. е. к созданию условий для выражения человеком своей истинной позиции, высказывания своих оценок, мнений, представлений — того, что делает субъективный устный исторический источник объективным. Устная интерпретация личного жизненного опыта отражает позицию данного человека как представителя целой социальной группы, участвовавшей в исторических событиях, то, что в традиционной (позитивистской) истории называется субъективизмом. Но субъективность конкретного человека связана с объективными обстоятельствами его жизни, и для историка важно зафиксировать эту «объективную субъективность». Для этого требуется оградить рассказчика от влияния расспросчика, проявления его позиции и оценки, которые могут косвенно навязать рассказчику другое мнение или видение, заставить его подстроиться под интервьюера. Залогом успеха является и создание «ситуации успеха», которая, в частности, включает коммуникативные условия, позволяющие рассказчику абстрагироваться от сиюминутных политических моментов или перманентной политической ситуации и транслировать в своем рассказе «прошлые», а значит, более «чистые» представления и оценки.

Именно поэтому важнейшим требованием, предъявляемым к созданию устного исторического источника, все же является использование технических средств (лучшим способом считается видеозапись, более широко распространена аудиозапись), которые точно воспроизводят описание прошлого рассказчиком, его мимику, жесты, выражение лица.

Научная интерпретация источника предполагает расшифровку всей информации. Чтобы этого добиться, в работе с источником необходимо

[1] Михаил Григорьевич Климов возил вино на продажу, простудился, и ноги отнялись.

использовать междисциплинарные подходы. Часть информации лежит на поверхности и позволяет применять исторические методы — историко-сравнительный, историко-генетический, историко-системный. Но очень большая часть информации в устных исторических источниках закодирована. Она отражает психологию человека, индивидуальный и коллективный менталитет, реализует устную традицию, отражает этнокультурную принадлежность рассказчика и прочие типологические черты данной личности, характерные показатели или следы личной и коллективной памяти. Каждый устный исторический источник отражает социальный статус человека, этнически обусловленную картину мира, половозрастные особенности, общественный опыт и т. д. Подобная характеристика говорит о мире, в котором он жил, и этот мир он отражает в своем рассказе. Для расшифровки подобной информации необходимо привлекать методы других наук. С их помощью анализируется маркированный и закодированный материал.

Источники и литература

1. Глюк Шерна. В чем особенности женщин? Устная история женщин // Воспоминания женщин: устные истории переходного периода. Теория и практика: Сб. ст. Бишкек, 2001. С. 27–39.
2. Хубова Д. М. Устная история и архивы: зарубежные концепции и опыт: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1992.
3. Бэрг М. Устная история в США // Новая и новейшая история. 1976. № 3. С. 213–216.
4. Проблемы устной истории на VII международной конференции // История СССР. 1990. № 6. С. 210–216.
5. Лоскутова М. В. Введение // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербрге, 2003. С. 5–31.
6. Кузнецов Н. П., Суринов В. М. Устная история в практике работы зарубежных архивов и научных учреждений // Совет. архивы. 1980. № 1. С. 73–76.
7. Оболенская С. В. История повседневности в современной историографии ФРГ // Одиссей: Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. М., 1990. С. 182–198.
8. Фриш Майкл. Устная история и книга Стадса Теркеля «Тяжелые времена» // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введ., общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2003. С. 52–65.
9. Конференция молодых историков по проблемам устной истории // История СССР. 1990. № 5.
10. Урсу Д. П. Устная история как научная и учебная дисциплина // Проблемы устной истории и современность : Материалы III науч. конф. в г. Калиниграде. 23–24 сент. 1992 г. Калиниград, 1992. С. 1–3.
11. Сенявская Е. С. Психология Великой Отечественной войны: источниковедческие проблемы // Человек в истории России — XX век: Сб. метод. материалов для внеклас. работы. М., 2003. С. 32–52.

12. Бердинских В. А. Проблемы устной истории в СССР // Проблемы устной истории в СССР: Материалы второй науч. конф. в г. Кирове 14–15 мая 1991. Киров, 1991. С. 4–12.
13. Бердинских В. А. Устная история и современность // Проблемы устной истории и современность: Материалы III науч. конф. в г. Калининграде. 23–24 сент. 1992 г. Калининград, 1992. С. 3–5.
14. Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. М.: Наука, 1989. С. 114–135.
15. Майничева А. Ю. Рассказы о переселении // Традиционная культура русских Западной Сибири XIX–XX вв. Омск, 2003. С. 64–73.
16. Сибирь деревенская: публикации воспоминаний: Борискина Е. О. Обмороженное детство. Воспоминания двух сестер о нарымской ссылке; Зверев В. А. Деревенская кооперация и взаимопомощь на Алтае в начале XX века (из воспоминаний Ф. Д. Останина); Гриценко Н. И. Тихая жизнь. Семейная история в бабушкиных рассказах // Образ Сибири в общественном сознании россиян XVII – начала XX в.: Материалы региональной науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. И. В. Островского (Новосибирск, 14–15 апр. 2006 г.) / Под ред. В. А. Зверева. Новосибирск, 2006. С. 240–262; Бытовые рассказы старожилов // Бийский район: история и современность / Отв. ред. Т. К. Щеглова : В 2 т. Т. 1. Барнаул : Изд-во БГПУ, 2005. С. 315–330; Зверев В. А. Два семейных предания о переселении в Алтайский округ конца XIX в. // Этнография Алтая и сопредельных территорий: Материалы международ. науч.-практ. конф. Вып. 6 / Под ред. М. А. Демина, Т. К. Щегловой. Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2005. С. 159–163.
17. Сангстер Джоан. Рассказывая наши истории: дебаты феминисток и использование устных историй // Воспоминания женщин: устные истории переходного периода. Теория и практика: Сб. ст. Бишкек, 2001. С. 61–73.
18. Пайпс Ричард. Русская революция. М., 1994.
19. Гришаев В. Ф. Артель «Краевед» // Барнаул: Энцикл. Барнаул, 2006. С. 26.
20. Веселова И. С. О степенях достоверности фольклорного рассказа // Девятые Лотмановские чтения: Семиотика и типология устных традиций; http://www.ruthenia.ru/folklore/kitanina4.htm.
21. Вансина Ян. Устная традиция как история (главы из книги) // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введ., общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2003. С. 66–109.

Деревня и крестьянство Алтайского края в 1920-е годы: ответ устноисторической практики на вызов современной социальной истории

Повышенный интерес к социальной истории на современном этапе выразился в издательском буме, проведении многочисленных научных конференций и семинаров. Исследователи пытаются компенсировать упущения советской историографии. Нельзя отрицать, что социальная история имела значительное развитие в советское время, но ее возможности ограничивала монополия методологической теории о классах и классовой борьбе. В связи с этим многие темы и проблемы оставались за кадром историописания или попали в «прокрустово ложе» официальной идеологии и были фальсифицированы. Как заметил Д. П. Урсу, «...истину монополизировала каста правителей. Официальная историография, подчиненная „министерству правды", превратилась в политико-пропагандистскую мифологию... В практику вошли безудержная идеализация одних событий и сокрытие других, прославление одних исторических деятелей, регулярное переписывание истории в угоду очередному лидеру» [1, с. 1]. Обращение современных исследователей к социальной истории, по словам А. К. Соколова, «взрывает буквально традиционное источниковедение, создавая предпосылки беспредельного расширения как проблематики, так и фактической базы исторических трудов», а ее установка «на изучение истории „снизу", внимание к макроистории по-иному расставляет акценты в работе над источниками» [2, с. 677].

Большим подспорьем для современных социальных историков являются устные источники. В них содержится материал о мыслях, ценностях, чувствах и чаяниях участников прошлой жизни. Востребованный на современном этапе антропологический подход заставляет исследователей обратить внимание на субъективные человеческие факторы исторических процессов. Исторические интервью реально расширяют источниковую базу и могут существенно дополнить письменные источники, храня-

щиеся в фондах государственных архивов, такие как жалобы, обращения, письма, персональные дела, хорошо известные исследователям. Но использование устных исторических источников ограничивается малочисленностью и малоопытностью центров устной истории в России. На сегодняшний день они существует при некоторых российских университетах: Европейском (Санкт-Петербург), Барнаульском государственном педагогическом, Петрозаводском государственном, Пермском государственном педагогическом, Братском государственном и др. Немногочисленную группу составляют и исследователи: Д. П. Урсу (Одесса), В. А. Бердинских (Вятка), В. М. Суринов (Тюмень—Москва), М. В. Лоскутова (Санкт-Петербург), Д. Н. Хубова (Москва), М. Л. Бережнова (Омск), В. А. Зверев (Новосибирск), И. Л. Щербакова (Москва) и др.

Причины слабого развития устной истории в России кроются как в отсутствии единой методологии создания и интерпретации устных источников, так и в психологических установках — недоверии к устным источникам в академической науке. В традиционной исследовательской исторической практике историк выступает как «потребитель», он использует готовые коллекции документов государственных архивов и музеев, опубликованные документальные материалы и т. п. В устноисторической практике исследователь сам создает устные источники. Его деятельность похожа на работу этнографов, археологов, фольклористов, лингвистов, выявляющих источники, фиксирующих и интерпретирующих их. Но, в отличие от них, он занимается не просто «сбором», а формированием источников, хотя в отечественной практике закрепилось понимание его деятельности как «сбора устных исторических источников». Это утверждение является данью опыту фольклористов и этнографов, которые действительно занимаются сбором памятников устного народного творчества, бытующих в готовой форме (сказки, предания, легенды, были, былички и т. п.). Их задачей является дословная фиксация и транскрипция готовых текстов. Деятельность же устного историка состоит в организации процесса изъятия событийной или эмпирической информации, которая не существует в готовом виде, а хранится в памяти каждого человека, жившего в то или иное время. Как правило, человек не считает ее важной в силу ее будничности, обыденности и не стремится сохранить ее. И только исследователь через инициированный опрос или интервьюирование с помощью созданных им вопросников может актуализировать жизненный опыт человека. Работа по созданию устных источников требует от исследователя как значительных временны́х затрат, потраченных на изучение темы, создание вопросников, поиск интервьюеров, проведение интервью, его транскрибирование, так и финансовых расходов на приобретение техники, организацию выезда и т. п.

Необходимость занятий устной историей не только в порядке индивидуальной инициативы, но и на государственном уровне диктует состояние архивного дела по истории новейшего времени. Современные источниковеды указывают «на крайне неравномерное отражение вопросов, интересующих социального историка, в архивных фондах… Ряд коллекций, связанных с социально-исторической проблематикой, до сих пор… не рассекречивается… это делает актуальным использование широкого спектра подходов и методик» [2, с. 676]. Но даже сторонники расширения источниковой базы не решаются ввести историческое интервью (устный исторический источник) в классификацию источников, ограничиваясь констатацией того, что «историк новейшего времени имеет уникальную возможность лично участвовать в формировании базы для своего исследования, восполняя пробелы с помощью интервьюирования современника» [2, с. 678]. На наш взгляд, пришло время легализовать устный исторический источник (историческое интервью) и ввести его как разновидность в группу документов личного происхождения

Как документ личного происхождения, он многопланов и содержит фактографический и эмпирический материал. Полученный во время опроса фактологический материал используется исследователями при восстановлении сельской событийной истории (число поселений, их расположение, планировка и застройка сел, описание крестьянского подворья и подсобного хозяйства, форм сельской общественной жизни и т. д.). Эмпирический материал, закодированный в интервью, позволяет историку восстановить прошлую жизнь во всем ее многообразии: мировосприятие и жизненный опыт людей, их оценки событий и исторических деятелей, вкусы и взгляды, суждения и мнения, пристрастия и убеждения и т. д. Современная методология признаёт за эмпирическими и эмоциональными факторами значение самостоятельных движущих сил истории. Признается современными историками и влияние на исторический процесс таких факторов, как убеждения человека, взаимоотношения, личные обиды и пристрастия, взгляды. Особенно важную роль они играли в социальной истории. Информация официальных архивов не отражала и не отражает всей полноты прошлой жизни. В статистических данных (количественные показатели экономической жизни), делопроизводственных (разные формы отчетности государству по важным для него показателям частной, общественной, политической, хозяйственной жизни), личных фондах знаменитых людей отсутствует материал о будничной и повседневной жизни на нижних этажах российского общества, взаимоотношениях и ощущениях рядовых участников исторических событий. Ущербным для социальной истории является и характер информации, отражающей и подкрепляющей официальную точку зрения, так как ее сбором занимались государст-

венные ведомства, которые выполняли идеологический и политический заказ государства. На ее базе сформировался разрыв между «официальной историей», которая не дала адекватной оценки социальному развитию российского общества в советский период, и устной историей, опиравшейся на жизненный опыт и судьбы членов семьи в период советской модернизации.

На современном этапе, с ростом внимания в истории к человеку, необходимы новый инструментарий познания прошлого и новые источники. Устная история позволяет создать адекватную источниковую базу по советской социальной истории. Современное общество нуждается в объективной и адекватной оценке советского периода российской истории, которая невозможна без привлечения новых методов, технологий, источников. В этом смысле особое место в советской истории занимают 1920-е гг., время перехода от прошлой имперской России к формирующейся советской социалистической России. Досталинская модернизация (начало которой положила коллективизация) отличалась причудливым переплетением традиций и новаций, социалистических экспериментов и легализации частнопредпринимательской деятельности, развитием социалистической собственности и допущением рыночных отношений. И рассказать о событиях лучше, чем их массовые очевидцы и рядовые участники, сталкивавшиеся с реалиями эпохи перемен в повседневной жизни, никто не сможет. Важно их услышать, зафиксировать их ощущения, впечатления, толкования. Недаром опыт изучения исторического сознания в зарубежных гуманитарных исследованиях, базирующихся на устной истории, носит название «обыденная история», или «история повседневности» (Германия), «слуховая история» (Канада) [3, 4].

2.1. 1920-е гг. через призму семейной истории: контуры ощущения «безгласого» человека «на нижних этажах истории»

В 1920-е гг. микроячейкой жизни общества являлись семья и домашнее хозяйство. Их контуры были границами между частной жизнью человека и внешними событиями. Семейное домашнее производство позволяло выживать и строить стратегии повседневного существования. Вместе с тем в 1920-е гг. в традиционный патриархальный уклад алтайской деревни внедрялись новые социалистические формы и нормы жизни. Для понимания жизнедеятельности и мироощущения человека в эти годы необходимо слышать «голоса народа», которые доносят до нас «аромат эпохи». В живых свидетельствах предстают люди своего времени. Устные источники показывают, чем они жили, что их интересовало, каким ценностям они были привержены. Метод устной истории является именно тем инструментом, с помощью которого историк формирует источниковую базу по

исследованию социальной жизни алтайской деревни доколхозного периода. Историк сознательно собирает тот материал, который восполняет пробелы имеющихся письменных архивных и опубликованных источников, содержащих, как правило, лишь косвенную информацию о повседневной жизни крестьянской семьи и общества. На сегодняшний день апробированы методы ее извлечения из разных типов письменных источников. Но наиболее полным источником, адекватно отражающим историю «изнутри» на ее нижних этажах, является устный рассказ ее участников.

Устный источник, «говорящий» от народа, принципиально отличается от архивных источников, «говорящих» чаще языком властных структур анонимно и унифицированно. Он одновременно и индивидуален и объективен в силу своей субъективности, так как отражает видение прошлого конкретным человеком, излагающим свой прошлый жизненный опыт и свою правду жизни, которые можно интегрировать в «макроисторию».

Многолетнее использование метода устной истории в изучении деревенского прошлого показывает, что наибольший интерес для понимания социальной истории алтайской деревни в 1920-е гг. представляли беседы с респондентами старшей возрастной группы сельчан. В 1990-е гг. еще было много старожилов, родившихся на рубеже XIX–XX вв., которые являлись участниками крестьянской жизни, наставниками старообрядческих общин, потомственными казаками, происходили из семей основателей сел, хуторов, заимок и т. д. Записанные с ними интервью отличаются по форме рассказа, по языку от интерпретации прошлого людьми, воспитанными в советское время. Уязвимость устной информации о прошлом обусловлена тем, что единственным ее источником является память человека, а воспоминания могут не только забываться, но и меняться, в том числе под влиянием внешних факторов и условий последующей жизни. Интерпретация исторических событий респондентом обусловлена его человеческими и гражданскими качествами, которые в доколхозной деревне во многом определялись семейным воспитанием и традициями сельского общества, а в советское время — господствующей партийной идеологией и политическим режимом.

В этом смысле устные источники по истории 1920-х гг., записанные от старожилов, являются наиболее «чистыми», т. е. адекватными прошлой жизни. Мировоззрение людей преклонного возраста (1890–1920-х гг. р.) формировалось в период господства семейных и общинных порядков и устояло в период массированной партийно-государственной обработки сознания. Примером является отрывок из интервью Аверия Тимофеевича Немчинова (с. Ивановка, Третьяковский р-н): *«В те года единолично жили. Люди хорошо жили,* скота было много, пасеки было много. *Все было много.* По 10 коров держали, было тогда и 10 лошадей у каждого было. Семья-

ми жили. У меня было три сына, не отделялись друг от друга. Лет в 40 примерно сына отделяли. Тогда детей было много... семья у нас была большая, детей много было... *Когда жили единолично,* и в Шипунихе, и здесь хорошо было... Которые землепашеством не занимались — лес рубили, тесали и продавали здесь. В крайнем случае в Змеиногорск на базар везли, там разбирали. На одного хозяина и на душу мужскую 7 десятин дров положено было. А нам еще лес давали. На Ключах, Чесноковке лес был, нам оттуда давали. *Мы те года единолично, как понравится,* так и резали лес... Я уже был взрослым — сеяли мы около 10 десятин ржи, с полдесятины овса, немного гороха, льна, конопли. Бабы сами пряли, работали везде... Ведь *раньше мужичья власть была,* а сейчас бабы. Раньше, *когда единолично жили,* он должен дров натаскать, землю с увала навозить. Со скотом баба должна, коров доить, цыплят вырастить. Работа была у каждого своя».

Опрошенные информанты, представители крестьянского мира, являлись, как правило, малограмотными, мало вникали во внешние события, если они напрямую их не затрагивали, жили насущными повседневными заботами о семье, от которых зависело благополучие. Даже в период тотальной ломки мировоззрения и традиционных ценностей (1930-е гг.) они, в силу той же малограмотности, мало вникали в пропаганду и агитацию и сохранили прошлое мироощущение и миропонимание. Именно поэтому для интерпретации прошлого алтайской деревни в 1920-е гг. в документированных интервью характерно освещение исторических событий через жизнь семьи и сельского общества. Записанные от респондентов 1900–1910-х гг. р. рассказы представляют собой бытописание с подробным изложением трудовых традиций, сельских и семейных порядков, характеристикой всех членов семьи, родственников, односельчан, самого села и окрестных деревень.

Двадцатые годы в оценках старожилов являлись наиболее благоприятным периодом в развитии крестьянской семьи и крестьянского хозяйства. Как показывают устные исторические источники, главным содержанием этого времени для крестьян, в отличие от оценок официальной истории, являлось развитие единоличного хозяйства, тогда как доминирующим сюжетом академического историописания является анализ новой экономической политики советского государства с вытекающими из этого исследованиями о развитии денежно-товарных отношений и предпринимательства, социальной дифференциации, классовой борьбе. В народной (крестьянской) периодизации устной истории это время обозначается выражением «жили единолично». Устноисторическая интерпретация единоличной жизни показывает, что крестьяне не помнят о центральных событиях, происходивших в те годы в стране (борьба в партии, съезды, антисоветские

выступления и т. д.). Событийная канва их рассказов ограничивается происшествиями семейной и сельской жизни. Положительный настрой в оценках «единоличного» периода деревенской жизни основан на сопоставлении предыдущего (доколхозного) периода, когда они жили при царе и «крепко» зависели от общины, и последующего (колхозного) периода, когда их лишили хозяйственной самостоятельности и прикрепили к колхозам. Критериями «благоприятной» крестьянской жизни 1920-х гг. являлось благополучие семьи, проявлявшееся в материальном достатке, хозяйственной, религиозной, социальной свободе. Рассказы о тех годах старожилы начинают одинаково: «когда жили единолично» — и расшифровывают: «жили своим хозяйством, имели свои пашни, скот», «хорошо было», «и для себя робили, и излишек продавали», не имели «над собой начальников». Большинство старожилов вспоминают это время как самое благодатное и, несмотря на то, что оно, по их же воспоминаниям, было наполнено ежедневным изнурительным трудом, часто впроголодь, идеализируют свою тогдашнюю жизнь.

В границах сельского мира, семейном и мирском микроклимате вываривалась «своя» история, которая была важнее происходивших в центре событий. Примером является отрывок жизнеописания А. И. Рохлиной (с. Смоленское) о единоличной жизни: «Своих-то свиней не продавали. Кололи да съедали. Мама жарила поросят — двенадцатидневных, их называли „ручинец" — на руку положишь. Мама их выпотрошит, в кипятке ошпарит — шкурка-то с щетиной слезет — она становится скользкой. Потом за ножки свяжет — и на чердак. А потом разрежет одного напополам — на сковородку и в печь поставит, смажет. Так вкусный! Шкурка хрустит. А куда всех их оставлять? Кормить? На развод одного-двух оставят, а остальных кололи. *Больших свиней было три. У нас у тяти раньше дойных коров было 12.* Подоят, сольют во фляги и возили на маслозавод. Давали за это масло. *Сеяли сами лен* — сами дергали с корнями. Пучочками связывали, ставили, сушили. Потом мы молотим вальками на досках и на палатку ссыпали семя. Семя возили на маслобойню Неверова, по нашей стороне в лощине. Тятя туда везет и оттуда ведра два масла везет. Там конь вал крутит, и получается жом и масло. Льняное [масло] хуже постного. Конопляное лучше льняного. Но самое лучшее — подсолнечное. Гречиху намелешь, и блины вкусные пекли (делали кислые, на дрожжах). Пшеничные-то блины с виду желтые, но жесткие, а гречичные счерна, но мягкие, вкусные. Тятя к зиме наколет быков, овец, свиней и подвесит в погребушку туши... Все съедали. И в погребушке был погреб. Выкопали [в земле погреб, над ним срубная амбарушка]. Капусту поставишь, овощи... А картошку хранили в погребе под домом. *Раньше картошки мало сажали и мало ели: мяса-то хватало и крупы. А свиней хлебом кормили.* Была большая дере-

вянная бочка — мать муки насыплет, замочит и выносит… *Хлеба было много. Все амбары засыпаны…* Большую часть огорода *засаживали табаком.* Садили, пасынковали (цветки обламывали). Листья оставляешь, а осенью перед морозами убирали. Потом шнуровали длинной иголкой — широконькая и тоненькая. И большие шнуры развешиваешь на забор. Высушишь. Его побрызгаешь водой, полежит — обмякнет, и его складывали в „попуш“ (один на другой, и черенки завязывали). А отец увозил в Бийск и сдавал. Стебли тоже вырубали и тоже увозили. Помню, тятя целые сани увозил. Раньше в Смоленском много садили. А в Катунском всю жизнь садили и сейчас садят. Мы и сейчас посадили — курить-то нечего. А раньше тятя не курил — сдавал».

Вместе с тем говорить о полной аполитичности потомственных крестьян в 1920-е гг. нельзя. Значительная часть опрошенных до сих пор связывает благоприятные возможности с новой советской властью и именем В. И. Ленина. В представлениях многих рассказчиков именно он даровал крестьянам свободу. С. И. Тарышкин (с. Ново-Тырышкино), чей отец, как и он сам, так и не вступил в колхоз, так выразил крестьянскую позицию: «В то время выписывали газеты. В 1924 г. [смерть Ленина] мне 11 лет было. Собрали учеников, прошли по улице, отпевали — поп, старухи были. Похоронили Ленина. *К Ленину шибко хорошо относились, что свободу дал. Ведь до коллективизации народ хорошо начал жить, машины* и т. д. До 17-го года у нас в семье ничего не было. Крюком косили, вязали. Победнее крестьяне складывались вместе, а в 1920 г. народ по-другому жить стал. *Ленин свободу, землю дал, и дело по-другому пошло…* Подольше бы он пожил, поглядел бы, что будет, хуже не было бы». Участник единоличной жизни А. Т. Немчинов (Третьяковский район) также утверждал: «*Самые лучшие были года 1924–1925, когда Ленин был.* Плуга стали выпускать. Брички хорошие давали — только бери. Через сельпо все шло, и недорого. *Вот единоличную жизнь надо вернуть обратно. Вот таких хозяев надо.* И за прилавком все будет».

Рассказы старожилов показывают, что базой роста благосостояния крестьянской семьи являлось благоприятное сочетание крестьянских производственных навыков и предоставленной им хозяйственной самостоятельности. Типичность жизнеописания проявляется в одинаковой характеристике единоличного хозяйства как комплексного. По воспоминаниям очевидцев, каждая семья сеяла пшеницу, рожь, просо, гречиху, овес, лен, коноплю, разводила скот: лошадей, коров, овец, занималась традиционными для каждой семьи промыслами: ткачеством, деревообработкой, гончарством. Сами строили жилые дома и хозяйственные постройки. С. И. Тырышкин говорил, что «до 28-го года *жили единолично. Умели работать на себя.* Жили вместе, не отделялись. У нас была молотилка, сортировка, сеялка. Се-

Заготовка клубники на зиму (с. Кучук, Шелаболихинский р-н). Фото 2006 г.

мья 12 человек, 6 братьев было. Отец машины покупал, тогда это дешево было. В Бийск он ездил покупать машины. Земля у нас в трех местах была — около 30 га... Землей отец владел давно, пока колхоз отобрали землю. Садили пшеницу, овес и просо. Просо рушили, в ограде рушанка стояла. Просо и для себя и для птиц — много не сеяли. Гречуху сеяли для себя и продавали возили. Для себя гречуху обжаривали. Здесь завод был: масло там били и там обжаривали. Ячмень сеяли: поросят кормили, его рушили и ячменную кашу ели. Сеяли сначала одно поле, потом другое, третье...». С помощью старожилов можно восстановить опыт единоличного хозяйствования, включая использование земли, посев тех или иных культур, переработку или хранение зерновых, овощей, способы содержания скота, секреты крестьянских промыслов и кустарного производства. Одна из причин кризиса сельского хозяйства в наши дни видится в потере бытовавших в каждом селе производственных и трудовых традиций, апробированных в природно-климатических условиях конкретной местности. Крестьяне хорошо знали потенциальные возможности каждого участка: где были поздние летние или ранние осенние заморозки, «мокрые места» или «сухие лога», и соответственно подбирали культуры. Сочетали на заливных лугах скотоводство с пчеловодством, в горах — кустарные промыслы и скотоводство и т. д.

Примером является жизненная история Ю. Г. Тутовой (с. Катунское, Смоленский район): «Вот мой *отец* [исчезнувшее с. Сосновка] *кожи делал,* овчины. У него была колода. Дуб толкли в ступе. Мы маленькие были. Отец давал задание — толочь кору в ступе. У нас были дубы [местное название ветлы, ивы, тальника], пучками сушили. Однажды утром отец встал, а колода пустая — все кожи украли. Он сел на лошадь и по следу (кора текла) поехал в Дурной Лог и нашел кожи и привез обратно. Потом отец квасил в каком-то растворе (муку разводил). А потом дубил: кожу на огромную колоду стелет — пересыпает дубовой корой, вторую стелет — пересыпает корой. Потом сушит. Потом мнет в мялке, чтобы мягкая… У нас был замечательный *сапожник Никита Гладышев*. Никита так обкатывал кожу — мягкая, черная. А сапоги шил лодочкой, отличные. *Отец получал заказы от местных людей, а те — Никите.* А Никита и жена чернили кожи и шили. У них было две комнаты (кухня и горница), и вот заходишь в кухню, а у него колодок! Он в кухне и шил. И у отца, и у Никиты были коровы, лошади, хлеб ростили».

Благодаря знанию окрестных мест крестьяне успешно выращивали злаковые и технические культуры, мак, табак, овощи, знали, где, что и как лучше сажать, как ухаживать и когда убирать. Труд крестьян был оплодотворен опытом предшествующих поколений. Бывшие единоличники склоняются к признанию преимуществ индивидуального хозяйствования перед советской колхозно-совхозной практикой массовых пахот и посевов одинаковых культур на больших площадях. Крестьяне, жившие при двух моделях хозяйствования, указывают на более качественные результаты единоличного хозяйства: «*Когда не было колхозов, у нас была своя* жнейка, три амбара. Имели четыре лошади, четыре коровы и четырех детей — две сестры, два брата. У отца *хлеба был полный амбар.* Амбар был большой: в центре пролет и по обе стороны по три сусека, забиты хлебом. Хлеб в амбаре был большой, как бобы. В другом амбаре в сусеки овес засыпали. *Жили дружно. Покос и землю веревкой делили. Каждый имел свою пашню и скот.* Молодняка [скота] было много. Овцы ходили свободно. Отец поехал под Подгорное и купил 5 га целины, а свою землю оставили. Сено на ней косили. Трава — хоть чай заваривай» (К. М. Пахорукова, с. Елунино, Павловский район). М. С. Нисина (с. Староалейское, Третьяковский район) рассказывала: «На горе были пашни. Для скота оставляли пастбище, а пашни делили — сколько у тебя семьи». А. И. Арзамасова (с. Черемное, Павловский район) помнит о выращивании табака: «Табачные поля начинались сразу за Солоновкой. Табачную рассаду старушки садили в рассаднике. Следили за ростом. Табак до морозов надо было убрать, а то ударит мороз — табак плохой. Табак вязали пучками и весили сушить в ригу до тех пор, пока не станет осыпаться».

Сохранившиеся амбары (с. Большой Бащелак, Чарышский р-н). Фото 2004 г.

Старожилы отмечают, что в единоличном хозяйстве индивидуальные возможности крестьян были шире: «Выращивали хлеб, просо, гречиху, чечевицу и горох. Чечевица — под вид гороха, а ее мололи, как муку, и варили кисель. *Имели большие огороды* — дома много садили. Тыкву выращивали. Вот сейчас отменили коноплю, а конопляное масло лучше подсолнечного в сто раз». Ярко охарактеризовала базу крестьянского хозяйства Р. Ф. Клещева (1912 г. р.) из Касмалы Павловского района в 1920-е гг.: «В 20-е годы *крестьянам земли отводили и нарезали каждой семье.* У нас поля аж под Шахами были, в 12 км. И по другую сторону дали, к Петровке... Хлеб сеяли, мак сеяли, пироги пекли, коноплю на масло давили. Раньше-то старые постились, так ели льняное, маковое, конопляное масло. А готовили масло на сбойках, ездили в Рогозиху на коровах. Семечки возили рушить в Павловск. Гречиху сеяли. *Только картошки мало садили. А ныне картошка всех замучила. Едят, едят, пухнут* [толстеют], *а здоровья нет...* Дыни хорошие были... сами пчел держали. Сейчас как-то не идут. Враз гибнут. Сейчас и растения не растут. Раньше в землю сунешь — и как на опаре».

М. Т. Тарасова из Староалейки рассказывала, что еще ее дед Григорий Климов занимался хлебопашеством, и «поля были у нас, где от Пестрёнкова ключика и за рекой Гольцовкой. Там балаган был из чащи и прутьев. *Тогда земли было — сколько успеем вспахать».* У ее матери было 20 детей, в живых остались две дочери. Ее отец засевал «десятины три пшеницы-белотурки, десятины две овса, полдесятины ячменя, полдесятины проса и гороха несколько рёлочек... сеяли лен и коноплю полосками». Рёлкой старожи-

Плетение рыболовной сети. Шелякина Зиновья Канатьевна, 1914 г. р. (с. Малые Бутырки, Мамонтовский р-н). Фото 2000 г.

лы с. Староалейского называют засаженные одной культурой участки земли в виде полос, полученных при разделе земли, размером 3 10 сажен. Около полей сажали и огороды: «огородов около дома не было, садили возле балагана на поле». Семья отца Т. М. Тарасовой имела 4 лошадей, 3 коров, телят, свиней, овечек, кур, гусей. У отца У. Л. Зайцевой при раскулачивании отняли плуг, лобогрейку, конные железные грабли, сенокосилку. К. А. Воробьев из с. Ключи Третьяковского района имел до 20 лошадей, 10 коров. Его дочь К. К. Кирьянова (с. Верх-Алейка) вспоминает: «Молоко сдавали [на местную молоканку] утром и вечером. Носили на коромысле по 10 литров».

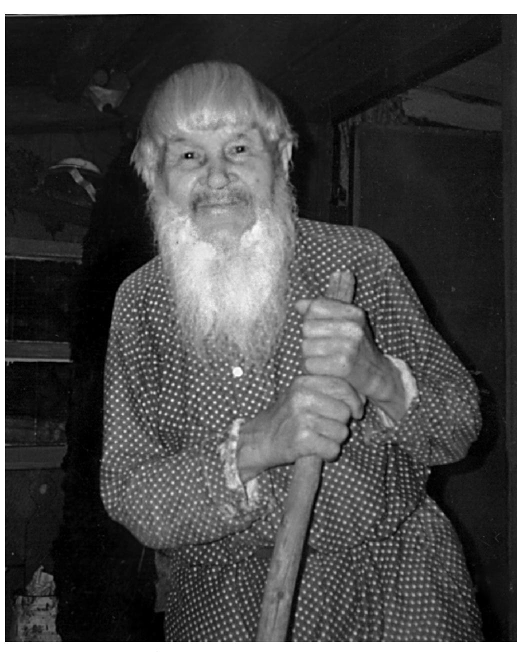
Множественность и типичность устных исторических источников показывает, что крестьяне хорошо знали производительные окрестности своего села, особенности почвы, климата и умело их использовали в практике индивидуального хозяйствования. Именно поэтому распространены высказывания крестьян о том, что «до 30-х годов и земля хорошая была, и хлеб хороший родился, а колхоз все нарушил».

На основе анализа устных источников напрашивается вывод, что в начальный (досталинский) период социалистической модернизации массовое крестьянское семейное производство являлось самодостаточным и патриархальным. В каждом единоличном хозяйстве благодаря трудовым традициям семья сама обеспечивала себя предметами повседневного спроса. Устные свидетельства показывают, что в алтайской деревне 1920-х гг. сохранялось значение патриархальных домашних ремесел и кустарных промыслов. Информанты подробно описывают домашнее производство. Их рассказы этнографичны, изобилуют описанием сырья, продукции, технологии, эстетических пристрастий и утилитарного назначения предметов. В наши дни опыт и навыки крестьянского ремесла совершенно утеряны.

Бытописание устных рассказов является источником для истории повседневности и этнографических исследований. В каждой семейной истории можно найти этнографические сюжеты. К. М. Пахорукова (Павловский район) рассказывала: «Телеги *все для себя сами делали.* Отец сам телеги делал и конную упряжь. Вон, говорят, Речкунов поехал — колесо плавает! У него был верстак: высокая чурка — лесина с дырой. Туда спускали корни березы, из них делали колеса. Раньше березы не рубили, а сейчас, когда линию вели, — столько берез выкорчевали и корни побросали, погнили, а раньше такие колеса мы бы сделали».

Прядение шерсти (с. Усть-Ануй, Быстроистокский р-н). Фото 2007 г.

Старожилы детально описывают выделку кож, пошив обуви, изготовление керамической посуды, обрисовывают контуры домашних ремесел и промыслов и наполняют их детальной этнокультурной информацией. Примером может служить отрывок из интервью Я. Ф. Серебрянникова, который приводим без сокращений: «Да *я и сам кожи выделывал.* Только себе. В первую очередь делаешь раствор жидкий с известкой. Кладешь в кадочку. Полежит кожа в известке недолго, потом ее переворачиваешь. Шерсть полезет. Вытаскиваешь, сбиваешь ее до конца, прополаскиваешь. Шерсть сбиваешь обухом литовки или каким железом. Затем ложишь в чистую воду, чтобы известка вытерлась. Затем начинаешь дубить. Берут кору ивы, легко толкут — и в котел, варят. Потом этим соком заливают. Кожу надо растянуть. Этого мелкого дуба насыпать, завернуть. Положить в кадку и залить этим соком, и лежит около месяца. Потом ее еще раз в этот сок. И получается — продубела кожа: плотная, и не промокает, и не тянется.



Я. Ф. Серебрянников (с. Куяча, Алтайский р-н). Фото 1993 г.

А есть сыромять, делают из кожи — гужи к хомутам, шлеи шить, узды, ремни. Только это ложат в хлебный квас. Ее выквасишь — она мягкая и прочная. В квасе тоже держат около месяца. Если она не выкисла в хлебу, то будет грубая, а если перекиснет, то будет рваться. Потом кожу подсушивают и мнут. Вот этот тюрик, а здесь штырь. Мнут вот этот тюрик. А здесь этот штырь, его опускают. А потом кожа-то спадывает. *Сам-то я сапоги не шил, а сын шил.* А сапоги шили из дубленой кожи. На голяшки — тонкая кожа — теленок. А есть две коровы — на одной кожа тонкая, а на другой толстая. *Признаки-то крестьяне знали даже по живой скотине.* Поросячью кожу тоже делали.

Глиняную посуду бабушка делала, Серебрянникова Аксинья Афанасьевна. Она всех и научила. *У нас много кто делал кринки. Одна даже людям делала...* Глина есть разная... есть мягкая, жидкая, а есть сухая. На корчаги. На посуду идет слабая глина. Ее делают тоже с песочком и мешают. У нас мама ногами ее топтала в посудине. Когда намнут эту глину, она тугая, как тесто на пельмени. Такой круг деревянный. Эту глину раскатывают, как каральки, и расшлепывают на полоски. А на донышко эту глину, полоску. Обвела кругом. Прилепила клин к клинышку, и все. Потом разбивают. Еще так второй раз, третий, четвертый. Все слепила, разгладила и мокрой тряпкой обгладила. А потом — сушить на полати. Высушат и делают какой-то раствор, и эту корчагу сажают в печку. А потом опять обваривают в каком-то растворе».

Реконструкция домашнего семейного производства по устным источникам позволяет выявить общие тенденции в развитии алтайской деревни в 1920-е гг. Среди них заметна тенденция к росту предпринимательства. Расширение хозяйственных возможностей крестьян-единоличников

вело к развитию производственной базы алтайской деревни по переработке сельхозпродукции, в селах увеличивалось число частных кустарных предприятий — мельниц, маслобоен, рушилок, молоканок и др. В с. Смоленском в 1920-е гг., по рассказам старожилов, даже сформировалась улица Масленка (ныне ул. Лебедева), на которой было две маслобойни, принадлежавшие крестьянам Батаевым, и маслобойня Неверова, на которой «били» растительное масло. По речке Сычевке Смоленского района в районе села Сычевка действовало несколько мельниц: Васильева, Пешкова, Рейнет, Рыжова, Воробьева, Дроздова, Осипова, Печенина и др. Жители с. Староалейки и близлежащих сел мололи хлеб на частных мельницах Патрикея Давыдова на Алее, Лукьяна Каверзина на Гольцовке, там же были мельницы Шапорева и Кошелева. О последнем Т. М. Тарасова помнит, что он приехал из России в 1909 г. П. Давыдов, по ее же словам, также содержал молоканку для переработки молока (по совр. ул. Кирова). По той же улице стояла молоканка Василия Абакумовича Шапорева.

Ветряная мельница в с. Выползово (Тюменцевский район). Фото 1960-х гг.

Развитие производственной базы предпринимательства в 1920-е гг. не являлось новым для деревни процессом. Оно продолжило товаризацию сельского хозяйства, наметившуюся в первые десятилетия XX в. Воспоминания старожилов показывают, что ни революция, ни гражданская война не изменили кардинально общей закономерности — втягивания крестьянского семейного производства в рыночные отношения. В сельском обществе, по рассказам старожилов, появлялся предприимчивый человек, ко-

торый организовывал предприятие. Сам он был местным, легко врастал со своим делом в сельскую экономику и, как правило, заслуживал свой авторитет у крестьян личным трудом. В рассказе Я. Ф. Серебрянникова из Куячи Алтайского района отразилось прагматичное отношение к успеху предпринимателя-односельчанина: *«Жили-то как: имели скота, сдавали молочко.* Вот тут у нас был заводик. Счас где клуб — молоканка была. *Один у нас, Данила,* так он и был и приемщик, и директор, и молокан[1], и сыровар [фактически предприятие Данилы-молокана являлось маслосырзаводом]. Он *принимал молоко, сепарировал, сбивал масло.* Потом это масло отправляли в Бийск. Мы сдаем, значит, на завод молоко, тут его перерабатывают на масло, там масло сдают. Денежки получат. Приезжают, деньги привозят. „Сколько молочка-то сдал? Ага, тебе вот столько-то». — „Слава богу! Я молочка нынче много насдавал!" Так вот мужички-то имели по 12–15 коров. Чтоб побольше кожечки (сырые кожи тоже сдавали), *побольше деньжат получить за маслице».*

Информант своим рассказом отразил традицию преемственности, присущую сельской экономике, на основе которой формировались семьи потомственных кустарей, земледельцев, предпринимателей. Так, у того же Данилы, предпринимателя из с. Куячи, доверенным был его тесть Роман Куликов, который занимался организацией сбыта — «принимал на заводе масло и отправлял его в Бийск. Сдавал и он же деньги получал». Сельское предпринимательство нашло взаимовыгодные формы сотрудничества с сельским обществом. Не имея на первых порах достаточного капитала на полный цикл организации производства, охватывающий собственно производство и реализацию рыночного продукта, сельские предприниматели использовали общинные формы труда. В Алтайском, Смоленском и Солонешенском районах такие формы взаимовыгодного сотрудничества описаны информантами при организации перевозки произведенного на местных кустарных предприятиях масла в город Бийск. Владельцы маслозаводов подряжали своих односельчан. Как говорил Яков Федорович, «ямщики — мы. Возили это масло. На конях едут три дня до Бийска, а доверенный едет „на легковой". Крестьяне, чтобы ямщина не подрывала их хозяйство (хотя доверенный за это расплачивался) использовали опыт поочередного (посемейного) выполнения работ. Ямщиков *«подряжали на год, по очереди.* Один год возил наш родитель. Как очередь подойдет, то ли в страду. На этот месяц, скажем, Гришка с Мишкой везут, на другой, скажем, Федор Фастович с Афанасием Антоновичем. Приходилось и так, что жать на-

[1] Рассказчик демонстрирует особенность сельских кустарных предприятий, когда сельский предприниматель объединял в своем лице все функции.

до и ехать тоже. Подряжали на год, чтобы не мучиться. Хошь не хошь, а ехай. Конечно, не даром — копейку зарабатывали».

В связи с тем, что одно сельское общество состояло из нескольких населенных пунктов и молоканки существовали во многих из них, на стадии реализации сельское общество выступало единым коллективом, объединяя товарные потоки с нескольких кустарных предприятий в один обоз с одним доверенным из сельского общества. Так, доверенным по сбыту масла, производимого в куячинском сельском обществе, поочередно с Романом Куликовым являлся Евсей Егорович из Большой Заимки, входившей в куячинское сельское общество. Он и гонял ямщину с Большой заимки, соседней деревни, потому что «общество-то одно было, и там молоко сдавали».

Интересны сюжеты бытописания, связанные с разбойными нападениями на обозы. В поле зрения социальной истории входит и изучение аномальных форм поведения, казусов, нарушения социальных норм. Устные истории изобилуют такими примерами, так как в силу особенностей крестьянской психологии народная память избирательна и особенно склонна к сохранению «страшных историй» о преступлениях, совершенных в деревнях. Для сельского мира такие события были исключением в мирной повседневной жизни и, в отличие от будничных событий, врезались в память. Так, по устным преданиям, на обозы куячинского молокана Данилы, большереченского молокана Луки Назарыча организовывали охоту «мужики с Алтайского» (с. Алтайское), которые были «известны своим разбойничанием на дорогах». Жертвой разбоя этих мужиков стал доверенный сельчан Большой Заимки Евсей Егорович. По рассказам информантов, помышлявшие разбоем мужики знали, что на обратном пути из Бийска на большереченскую заимку он везет вырученные от продажи масла деньги, а дорога шла через село Алтайское: «Евсей Егорович привез директора[1] туда масло сдавать, а у него сын идет с армии домой. Он служил где-то и был отправлен в командировку и догнал сколько-то дней [т. е. выполнил задание командировки досрочно, и у него осталось несколько дней] — и надо сбегать домой. В Бийск-то приехал, а домой попасть надо. А жил тоже на Большой Заимке и увидал ямщиков [из Большой Заимки]. „Как же бы с вами уехать?“ [у него было мало времени, чтобы ждать большереченские обозы]. Этот Лука Назарыч и говорит: „Евсей Егорович [он гонял ямщину], сади сына и вези. Сегодня вечером сядешь, а вечером уже дома будешь, а я с ямщиками приеду, управлюсь, деньги получу и приеду“. А тут уже давно охотятся за этим директором-то. Ну что ж, посадил

[1] Предпринимателя-молокана Луку Назаровича из с. Большая Заимка. Информант называет его советским синонимом «директор».

сыночка-солдата, и хайда. Приехали в Алтайское и заехали к знакомому, коней попоить да чаю попить[1], а уже вечер. Матвей Митрофанович [знакомый] и говорит: „Евсей Егорович, вы ночуйте, а утром пораньше встанете, и все одно рано будете дома“. — „Да ну! Мы будем ночевать-то дома на Б. Заимке“. Ну, запрягли коней, а дорога была на Сосновку. Отъехали от Алтайского, километра три или четыре, а там их: „Стой! Давай денежки, которые за масло получил!“ Они за ним давным-давно охотятся. Алтайские разбойничали. *Были люди нехорошие*. Их подозревали, даже знали, в каком краю какие люди живут… Убили Евсея Егоровича и солдата этого убили».

Именно эта история «на нижних этажах российского общества» 1920-х гг. осталась «безголосой» при государственно-партийном регулировании истории. Источниковая ценность интервью очевидцев единоличной жизни состоит в концентрировании информации о том, как ощущал себя человек в истории, что конкретно происходило с ним в тот или иной исторический период. Субъективная интерпретация этих событий в устных источниках предоставляет историкам множество примет и деталей времени, которые отсутствуют в официальных источниках, в том числе и в таких документах личного происхождения, как мемуары, дневники, письма, отражающих, как правило, историю «верхних этажей» российского общества. Обычно они содержит интерпретацию событий представителями других социальных групп — образованными людьми, владевшими письменной культурой и составлявшими элиту российского общества. У них был иной жизненный опыт, свое восприятие прошлого. Основная масса крестьянства в силу своей повседневной загруженности и малограмотности не оставила письменных толкований происходящего, которые отражали бы их восприятие исторической эпохи.

2.2. Двадцатые годы: опыт крестьянского хозяйствования и развития сети населенных пунктов в интерпретации единоличников

Освоение территории России Алтайского края в XVIII–XX вв. проходило в форме создания временных и постоянных мест проживания. Картина сельской поселенческой инфраструктуры края постоянно менялась. Тенденции ее развития в XX в. отражали общие для Алтайского края периоды и направления: наибольшей освоенности она достигла в 1920-е гг. (период расцвета вольной крестьянской колонизации) и наибольшего сокращения числа населенных пунктов — в 1960–1980-е гг. (результат советской реорганизации деревни). Развитие поселковой сети происходило на глазах со-

[1] У ямщиков на пути Бийск—Куяган формировались свои «постоялые дворы» — либо в с. Алтайском, либо в с. Сараса.

временных жителей сел. Сбор и запись устных рассказов о путях развития поселковой сети является перспективным направлением историко-краеведческих исследований.

В последние годы в научной практике были признаны (академическая наука долго не признавала результаты краеведческих изысканий) и набрали силу такие направления, как «микроистория», «локальная история». Исследование в их русле проводится на региональных источниках, которые информационно насыщены деталями и событиями, фактологичны, персонофицированы, что затрудняет широкое введение их в оборот на уровне «большой» науки. Вместе с тем анализ конкретно-исторических материалов помогает исследователю выйти на уровень более широких обобщений (макроистория). В частности, базой изучения социально-экономического развития Сибири и России в целом в 1920-е гг. могут служить сравнительные исследования сети населенных пунктов на территориях сельских районов в разных природно-климатических зонах Алтайского края. Полученный в ходе интервьюирования материал позволил детально воссоздать поселковую сеть изучаемых районов, их планировку, застройку, хозяйственный опыт освоения окрестных мест. С помощью старожилов в ходе полевых исследований 1990–2006 гг. были установлены местонахождения исчезнувших деревень, поселков, хуторов, заимок, односелий, поселений около мельниц, промысловых избушек, количество дворов в них, занятия жителей. Это позволило осуществить генерализацию развития сельской инфраструктуры и на ее основе отразить особенности и закономерности развития крестьянской сельскохозяйственной системы расселения в процессе освоения земель территории Алтайского края, выявить ее движущие силы, содержание и формы крестьянского моделирования мира, способы освоения пространства, причины крестьянских миграций, в ходе которых заселялись новые территории, в том числе малоблагоприятные для сельского хозяйства горы, засушливые степи и т. д.

Сеть населенных пунктов, созданная крестьянами на территории Алтайского края в 1920-е гг., являлась наиболее густой. Это был период наибольшего охвата территории края сельскими поселениями, отличавшимися наибольшим типовым разнообразием. По самым приблизительным подсчетам, в 1926 г. на территории края переписью было учтено около 700 крестьянских сел, 570 деревень, 1700 поселков, 460 хуторов, 1100 выселков и заимок, 230 поселений при мельницах, 10 поселений при пасеках, 50 аулов, 20 поселений при заводах (кожевенных, овчинных и т. п.), т. е. всего более 5 тыс. населенных пунктов, не считая промышленных поселений, связанных с обслуживанием железной дороги (станции, разъезды, будки, казармы) и лесоразработками (бараки, кордоны), которых всего было 280. К ним нужно добавить первые советские поселения: коммуны — бо-

лее 100, совхозы — 12. В общей сложности — около 5,3 тыс. населенных пунктов [5]. По Списку населенных мест за 1893 г. поселенческая сеть насчитывала чуть более 2 тыс. населенных пунктов [6]. В 1926 г. же с включением других, нетипичных населенных пунктов: улусов — сезонных поселений на территории Алтайского края коренных народов (телеутов, кумандинцев), жилого массива формировавшихся пригородных хозяйств и культурно-бытовых учреждений (например, в Рубцовском округе: участковая больница — 31 человек, школьный интернат — 11 человек, курорт Лебяжинский — 122 и т. д.) — их насчитывалось от 5,5 до 5,8 тыс. Таким образом за три десятка лет численность населенных пунктов выросла почти в три раза. Сухие статистические данные не передают ощущения эпохи и переживаний рядовых крестьян, на чьем веку произошло массовое расселение с формированием сети населенных пунктов. Их нужно дополнять живыми воспоминаниями.

Рассказы крестьян показывают, что в 1920-е гг. развитие сети сельских населенных пунктов шло традиционными крестьянскими путями. К этому времени сельская поселенческая инфраструктура состояла из поселенческих микросистем, представлявших собой сложившиеся комплексы сельских поселений с тесными социально-экономическими связями. Ядром любой поселенческой микросистемы являлись села и деревни. Основное различие этих двух типов поселений состояло в том, что село, в отличие от деревни, являлось центром церковно-общинного прихода, выполняло административные, торговые и культурные функции, т. е. являлось административно-культурным и хозяйственным центром, окруженным деревнями. Далее структура поселенческой микросистемы разветвлялась заимками — временными хозяйственными поселениями, и выселками, возникавшими в результате выноса части крестьянских дворов на новое место из-за наступавшего малоземелья в крупных селах. В результате села и деревни обрастали заимками, которые представляли собой участки земли, разработанные на целине, с семейно-хозяйственным комплексом жилых и хозяйственных помещений, в окружении сенокосов, пастбищ, лугов, лесов. Первоначально заимка использовалась сезонно для занятий в летний сезон хлебопашеством, скотоводством, пчеловодством. При благоприятных условиях она перерастала в постоянный населенный пункт.

Значительное увеличение числа населенных пунктов и появление новых их типов было связано с массовым переселением крестьян из Европейской России в конце XIX — начале XX вв. С ними связано появление так называемых переселенческих поселков, включавших арендный поселок, заселок, заселье, хутор. Официально поселок определялся как заселенное жилое место, где поселены люди (переселенцы). В народной среде он стал называться просто поселком, и это название выводилось из слова «посе-

лять»; позже многие поселки именовались в бытовом обращении «деревнями». Таким образом традиционная для Алтая сеть сельскохозяйственного расселения пополнялась переселенческими поселками, которые, в свою очередь, способствовали появлению нового для алтайской системы типа — хутора. Хутор определялся как отводная усадьба с отдельным домом, избой, скотом и сельским хозяйством (владелец хутора, как правило, выходил из сельской мирской общины, но оставался членом церковно-приходской общины).

Процесс образования новых поселений крестьянским путем продолжался до начала 1930-х гг., положивших начало так называемой сталинской модернизации (термин, принятый в новейшей литературе). Вместе с тем, поскольку благоприятная для занятия сельским хозяйством территория Алтайского края была уже достаточно освоена и не нуждалась в появлении новых многодворных поселений, к которым относились села и деревни, система расселения стала развиваться за счет внутренней структуры поселенческих микросистем. Именно этим объясняется то, что в 1920-е гг. возникло всего около 3% новых сел и 9% новых деревень. Причины этого крестьяне видели в социально-экономических условиях жизни крестьянской семьи в 1920-е гг. и связывали их со свободой землепользования, которая обусловила специфику расселения через развитие выселковой и заимочной формы селообразования.

В сознании крестьян-единоличников 1920-е гг. (в научной периодизации — период нэпа) ассоциировались с предоставлением им полной свободы и собственности на землю, способствующих росту поселенческой инфраструктуры. Так в их сознании преломилось землеустроительная политика советского государства по расселению многодворных деревень, отвод земель выселкам, выделение частей села и наделение их землей и внутрихозяйственное землеустройство — разбивка земель на подворные участки и поля севооборота. Основным источником землеобеспечения малоземельного и безземельного населения стали земли, оставшиеся после наделения потребительско-трудовой нормой населения сел и деревень в ходе их землеустройства и проведения между селами и деревнями устойчивых границ. Для государства это был способ ликвидации таких отрицательных проявлений многолюдной сельской общины, как малоземелье и дальноземелье с целью послевоенного восстановления сельского хозяйства и обеспечения страны продовольствием. Как образно определил это житель Сибирячихи Л. Т. Денисов, «*...иди куда хошь, делай что хошь*, и, сговорившись вместе жить и работать, поехали на давно обжитую землю». Е. Г. Ручкина (с. Сибирячиха) так и сказала: «Все села образовались в те годы [1920-е]. *Всем всё разрешили,* и все поразъехались по заимкам, взяли землю».

Устные свидетельства ставят под сомнение выводы ряда историков, которые рассматривают события в деревне в начале XX в. после революций как «общинную революцию», подразумевая под ней сопротивление общинного традиционализма власти, сделавшей ставку на индивидуализацию землевладения и форсированное развитие товарно-денежных отношений. Успехи единоличного хозяйства в 1920-е гг. показали быструю адаптацию крестьянского хозяйства к рыночным условиям с сохранением общинных основ. Практическими результатами новой экономической политики советского государства на Алтае в 1920-е гг. стало основание новых населенных пунктов традиционным крестьянским способом — путем образования постоянных и сезонных поселений вблизи производительного пространства — пашен, пасек, выпасов, сенокосов. Старожилы по старинке говорили: «образовывались хутора» или «уезжали на свои заимки». Так, жителями Сибирячихи Солонешенского района были образованы села Гордеевка (как рассказывают очевидцы, на свою заимку переселился С. Г. Гордеев с земляками Тупиковыми, Черепановыми, Архиповыми), Вятчиха (переселился Осипов со своими сыновьями), Красный Ануй, Александровское, Лесная заимка, Калиниха на Боровском отвилке по ручью Калинихе и другие села.

В Шелаболихинском районе из 126 пунктов, образованных в разное время, половина (63 сельских поселения) возникла в 1921–1928 гг. Они возникали вокруг многодворных поселений вблизи водных источников: вблизи сел Кучук и Сибирка возникли хутора Кучукский (основатель Чураев), Сибирский (основатель Власов), хутор М. М. Пругова и др. Вокруг Шелаболихи образованы выселки Михайловский, Веселенький, Тихий Исток и др.

На территории Павловского района в период свободного землепользования образовалось около двух десятков сел: Петровка, Покровка, Зыряновка, Зеленый Клин, Паньшиха, Трофимовка, Никольское, Чаячье, Тихонькое и др. Многие из них образовывались, по рассказам крестьян, цепным путем расселения: из одного села выезжали несколько семей, основывали населенный пункт, затем уже от него отпочковывалась новая группа выселенцев, которая на некотором расстоянии основывала новый населенный пункт, и снова шло отселение на ближайшие территории. В результате окрестные места покрывались сетью самостоятельных поселений, «вытекающих» одно из другого. Как рассказывала Р. Ф. Клещева, «село Баранкино [Павловский район] образовалось как выселок из Касмалы, а из Баранкино переселились в Нагорное. *Когда пашни стало мало, стали выселяться на гору,* например Ванька Саламатин. К нему подселилось несколько семей». Именно поэтому в топонимике Алтая часто встречаются названия сел с уточнением информации о времени возникновения или местоположении «Нагорное», «Подгорное», «Нижне-», «Верх-», «Усть-» и т. д. Как прави-

Село Касмала и панорама окрестных исчезнувших сел Российка и Быково (снимок сделан от с. Нагорное, расположенного на увале). Павловский р-н. Фото 1991 г.

ло, расстояния между ними были незначительными, что способствовало интенсивным контактам жителей. Нередко встречаются рассказы о том, как с окраины одной деревни была видна окраина другой, слышался лай собак или пение петухов.

Связи между образованными цепным путем поселениями закреплялись семейными отношениями, традициями общинного жительства и приходскими порядками. В результате дисперсного расселения крестьян в 1920-е гг. и выброса части населения в новые места проживания вблизи старых на Алтае была достигнута самая высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель. В рассказах старожилов порой трудно различить, где кончалась одна деревня и начиналась другая, так как выселки, заимки, поселения при мельницах, при пасеках вытягивались цепочками, а географической маркировкой выступали реки, ручьи, лога и т. д. Так, в Третьяковском вектор расселения был направлен по Алею и его притокам (Каменке, Шипунихе, Глубокой, Калужке и др.). Как сказала А. Я. Волженина, *«люди селились по Алею* (из Екатериновки и Камышенки)». Так, исчезнувшее село Кувыркаловка, о котором рассказывает информант, образовалась благодаря тому, что «у нас было две мельницы — одна отца Якова Сафроновича Бондарева, она принадлежала отцову отцу Сафрону Леонтьевичу Бондареву… стояла на Алее. Запруд там прудили. Алей прудить трудно. Еще была мельница деда Афанасия. Он богатый был, у него три брата — Харахонычи (Анисим Харахоныч, Харлантий Харахоныч), и *все имели свои дома по реке Каменке. Их дома стояли за сопкой,* а мельницы — по речке вни-

зу. *А мы под сопкой*. У нас жили Ефтей Волженин, за нами Григорий и Кондрат Раченковы — „Гришкины“ звали. Так нас и называли — „подсопочники“. А за сопкой было домов пять хороших, а остальные были избы. А после *стали к нам вниз по Алею дальше селиться в забоку,* и Кувыркаловка была недалеко от с. Плоское — километра два. Там в церкви *запоют, и нам слышно,* ходили туда забокой. Камышенка тоже была от нас километра два ниже по течению. А Лопатинка на другом берегу от Камышенки — *все было заселено вдоль сопки*... Там еще были заимки — мельницы. Плосковая за сопкой, и по эту сторону Алея — Площанская пасека. Василием (Площанов) его звали. И на реке Каменке мельниц две было — одна мельница Петрована, а одна — не помню. И около них было много народу. Заезжали из Екатериновки и Камышенки. Всё позаселили, пораспахали».

В горных Чарышском, Алтайском и Солонешенском районах, по оценке старожилов, расселение шло между гор, по логам вдоль горных речушек, ручейков, родников. Как говорят очевидцы, *«здесь в каждом логу селились»*. Так, по логу, где бегут р. Маралья и Сосновка (Алтайский и Солонешенский районы), поселились крестьяне и основали Филелеев Лог, Маралье, Сосновку. Эти села фактически сливались или перерастали друг в друга, следуя рельефу. Так, по двум расходящимся логам располагалась Сосновка: одна называлась «Прямая Сосновка» (центральная), этот лог вел в Солонешенский район, и Косая Сосновка — через нее поселения уходили дальше в горы, на Куячу, Большую Заимку (Алтайский район). По логам поддерживалась связь между селами. «Мы часто после свадьбы ходили пешком из Алтайского в Лежаново — 25 км. Идет низина, речка Каменка. Шесть километров от села ее начало, там стояло село Верх-Каменка, которое насчитывало 30 дворов. А вокруг Лежаново было 5 выселков: Филелеево, Сорокино, Верх-Каменка, Колбино. В Колбино в 30-е годы было 18–20 дворов, там пихтовый завод был, а не доедешь 6 км до Лежаново — там еще Кирьянова заимка была. Домов 15 было, жили три брата Кирьяновы. Там жгли известку. Вот Кирьянову заимку пройдешь, через 3 км на бугорке находилась Морозова заимка — там три брата жили. Там хлеб сеяли, картошку садили. Домиков шесть на этой заимке было. Дома добротные» (Загуменная А. Т., с. Алтайское).

Трудно было разделить между собой две Алейные заимки (I и II) Третьяковского района. П. Н. Каверзина рассказывала: «Мы жили там, где сейчас пионерлагерь. Там раньше мельница екатерининская была. От нашей заимки до Староалейки было километров пять. А за сопкой была другая заимка — ее звали „аул“, где сейчас кошары. Там Саватей жил. Мы жили двумя группами. Наша [Алейная заимка II] от этой [Алейная заимка I] была километров шесть. Там, где впадает река Гольцовка в Алей (бежала по нашему огороду). У нас там было домов 50. Домов там хороших не было. У од-

них только Каверзиных (Пелагея) была горница и изба. Дома стояли там, да там, вдоль Алея. Как попало — лужки, кусты… где Саватей жил… Они до 50-х годов жили. А на нашей заимке в 30-е годы уехали».

Устные свидетельства показывают, что в процессе образования новых поселений в этот период преобладали два пути — выселения нескольких семей на новые целинные земли (выселки) и подселение на старые заимки-односелья, образованные около мельниц, пасек или на отдаленных местах сенокосов и пашен (заимки). По переписи 1926 г. на Алтае было учтено 1 072 выселков и заимок. Больше всего их было в Бийском (487) и Рубцовском (302) округах, затем в Барнаульском (217). А в переселенческой зоне — Славгородском (48) и Каменском (21) округах выселково-заимочная форма была развита слабо. Это было связано с тем, что выносная форма развивалась преимущественно в старожильческой зоне с длительным периодом освоения земель, где сформировалась сеть старых поселенческих микросистем с крупными населенными пунктами, требующими периодического разукрупнения путем выброса части производящего населения на целинные земли. Степная территория Славгородского и части Каменского округов интенсивно осваивалась в основном в период столыпинских переселений (начало XX в.) с формированием равномерного распределения переселенческих поселков в пригодных для земледелия местах, компактных и адекватно обеспеченных угодьями. В частности, данные переписи 1926 г. показывают, что в Бийском округе населенных пунктов численностью населения свыше 5 тыс. человек было 21, а в Славгороде — 4; с численностью от 3 до 5 тыс. человек — 35 и 24, от 2 до 3 тыс. человек — по 50 и 40, от 1 до 2 тыс.— соответственно 93 и 43. Это говорит о недостатке сельскохозяйственных угодий в зоне старинной сельской поселковой сети Бийского округа, значительную часть которого занимали горы и тайга.

Развитие «выселковой» системы в 1920-е гг. происходило путем «выброса» населения на новые места. Этому благоприятствовала политика советской власти, пытавшейся таким путем ликвидировать дальноземелье деревенских обществ в развитых сельскохозяйственных зонах и ввести в оборот целинные земли. Недаром в советский период возникло около 80% выселков, зафиксированных переписью 1926 г. Именно этим объясняется тот факт, что более половины возникших в советский период выселков приходилось на Бийский округ — 147 из 271. Сами крестьяне обычно объясняли выселение крестьянских дворов из старых сел на новое место земельной теснотой, удаленостью полей от села, наличием отдаленных свободных земель, удаленностью сенокосов, выпасов и т. д. Создание выселков по своей сути являлось способом разукрупнения сел и деревень. Перепись 1926 г. показала, что каждое крупное село в этот период давало 2–7 выселков. На территории Третьяковского района были записаны устные

рассказы о создании четырех выселков из современного с. Корболиха — Дмитриевка (30–40 дворов), Вакулиха (40–50), Большой Луг (24–25). Жительница с. Большой Луг М. П. Калюжная так определила причины переселения семьи своего отца: «Алей был большой и глубокий. И эти земли находились по ту сторону Алея, а принадлежали Корболихе [сельскому обществу с. Корболихи принадлежали земли по обе стороны Алея]. Там сено косили, маялись: лошадей и сенокосилки туда и обратно таскали. Раз лошадь утонула. Зимой тоже сено возить плохо — забока. Брат (Ермолай Петрович Алабугин, 1901 г. р.) и *объявил: кто согласен перевозиться?*» «А Вакулиху, — добавляет М. П. Калюжная, — *организовал Иван Матвеевич Вакулин*. Земля также была корболихинская, а через Алей плохо ездить». Выбирали места на другом берегу с учетом наличия не только земель под пашню, лугов под выпасы и сенокос, но и кустарника и леса для строительства и отопления домов. Е. И. Дмух объяснила выбор Вакулихи тем, что «там место хорошее: вода, была трава, скотина и свиньи вольно ходили. Там ягоды было полно. Смородины навалом». Для основателей с. Большой Луг (вниз по Алею на левом берегу, под с. Гилево в 4–5 км) значимым были «пастбища по забокам р. Алей. Вместе и коров и овечек пасли. Каждый для себя большие огороды имел: картошка, бахчи, арбузы, дыни. Садили за поскотиной. *Хорошо было*». Для основателей Дмитриевки также нашлось «*хорошее место:* кусты, забока... зелени много». В результате ранее безлюдное левобережье Алея покрылось сетью малодворных поселков-выселков: «Алей был большой. Разливался сильно — до увала. Мы (жители с. Большой Луг) жили в низине. Там был большой заливной луг [отсюда название села]. На этой же стороне в 2 км к Гилево был малый луг. Там села Дмитриевка и Троицкое... Дмитриевка и Троицкое располагались в 1 км друг от друга».

Семейные истории показывают, что жизнеспособность новых деревень-выселков определялась тем, что на переезд оказались способны в первую очередь материально обеспеченные крестьянские семьи с достаточным количеством работоспособного населения. Так, выселенцы из Корболихи сразу строились добротно: «Дома из Корболихи перевезли [в Вакулиху] — все дома были рубленые: Железниковы с семьей, Носачевы, два брата Рыбальчиковы — Сергей и Лукьян с семьями, Хрусталевы братья — Севостьян и Павел с семьями, Рыбальчиковы братья: Михаил, Володька, Игнат с семьями, Бондаревы с семьями, Ульяна с тремя сыновьями, Степан Ковалев». Процесс отселения отражал крестьянскую традицию повышения производительных возможностей за счет введения в хозяйственный оборот новых земель. Устные источники подтверждают выводы некоторых историков о том, что в основе российской экспансии лежала земледельческая колонизация, поиск новых земель и распашка цели-

Село Куяча (Алтайский район). Фото 1994 г.

ны. Но если в XVIII–XIX вв. движение русского населения на новые земли (Крым, Казахстан, Средняя Азия) сопровождалось колонизацией сопредельных с Россией территорий, то в начале XX в. миграции носили внутренний характер и сопровождались освоением старых территорий. Многовековая традиция переселений крестьян опиралась на традиционную общинность, взаимопомощь, семейные устои. Постоянные передвижения

сформировали умение концентрировать свои силы. Результативность освоения новых земель обеспечивалась сверхнапряжением сил трудоспособных членов семьи и мирской взаимопомощью. М. П. Калюжная рассказывала: «Мы *перевозили свои дома* из Корболихи — *«помочь» собирали.* Тятя ходил, людей просил, чтобы помогли переехать. *Вся Корболиха помогала.* Дом рубленый разобрали. У всех были парные брички. Возили два дня. И свои помогали». Размеры новых поселений, количество дворов, численность населения определялись возможностями окрестных мест. Перенаселение вновь приводило к малоземелью и сопровождалось очередным выбросом населения на новые земли.

Разукрупнение сел и деревень хорошо сохранилось в памяти информантов и имеет свой лингвистический аспект. Например, в Третьяковском районе крестьяне, характеризуя процесс отселения из материнских сел, называют вновь образованные малодворные поселения «оторванками». Так, в устном толковании жителей Екатериновки «оторванками» их села стали Михайловка, Поручиково, Толмачиха, Шишаи, Зубоскалово, Лопатино, Острая Сопка, Камышенка. По рассказам сельчан, все они образовались вокруг Поручиковой сопки. Большинство информантов однотипно оценивали процесс разукрупнения Екатериновки: «с Поручиковой сопки было видно 18 сел-оторванок» (М. М. Раченкова, З. М. Шишаева, Третьяковский район). Каждая «оторванка» получила свое название. В силу небольшой давности событий рассказчики без затруднений расшифровывают названия «оторванок», и подтверждением достоверности этих версий является их однотипность, например, «Зубоскаловка» — потому что местные жители любили повеселиться, «позубоскалить». Для устных преданий о недавнем прошлом характерны непринужденность и самоирония даже в описании неблагоприятных поворотов в судьбе молодых сел. Так, о Зубоскаловке старожилы говорят — «дозубоскалились»: «С появлением колхоза в Екатериновке они вынуждены были ходить на работу в Екатериновку, где был колхоз. Это было трудно и неудобно. Поэтому им пришлось переселиться обратно».

Дисперсное расселение крестьян по окрестностям до сегодняшних дней отражается в народной топонимике. Земля, леса, сопки, луга, опушки, косогоры благодаря предприимчивости крестьян «ожили», получив имена тех, кто вдохнул в них жизнь. Так, вокруг заимки Бондаревых, переросшей в село Бондари, расположенной по ручью Сибчиха, появилась Тургайская сопка (названа в честь семьи Тургаевых, дом которых стоял на сопке), Климова сопка (в честь Климовых), Патрашкино ущелье (там находились пасека и дом Патрашкиных), Матрешкина речка и т. д. Вокруг села Плоское стоят сопки, каждая из которых имеет свое имя, так же как поля, располагавшиеся вокруг сопок: Федотово поле, Минина яма и т. п.

В 1920-е гг., одновременно с образованием выселков на неосвоенных землях, началось интенсивное перерастание сезонных заимок в постоянные населенные пункты. В 1926 г. из 736 заимок около 35% возникло в советский период, а их основная масса была сосредоточена в Бийском (307) и Рубцовском (275) округах. Причиной образования заимочных поселений являлась традиционная единоличная форма хозяйствования, при которой каждая семья имела свои пашни, скот, орудия труда. Если село было большим, то сельхозугодья находились далеко. В таком случае возле пашни, пасеки, мельницы, сенокосов строили жилища и хозяйственные постройки, становившиеся ядром, вокруг которого формировалось новое поселение. Так возникло с. Зыряновка Павловского района: «У нас в Телеутской был мужик, прозвали его Зыряном [переселенец из коми-зырян]. Выделывал кожи, овчины. Звали его Шилов Тимофей Григорьевич. Сначала он летом жил на месте Зыряновки. Держал за Обью коров. Ездили доить на лодках. *Там приволье для скота. Иногда оставались там ночевать. Потом надоело ездить, стали селиться.* Летом держали там скот, а на зиму уезжали. Когда мы с мужем приехали после свадьбы, там было около пяти домов. Потом стали наезжать [в Зыряновку] молодые из Телеутской, Петровки. Ловили лес из реки, ставили дома. Некоторые жили в землянках» (К. М. Пахорукова, с. Елунино, Павловский р-н).

Залогом успешности образования заимочной формы поселений являлся рост материального благополучия крестьянской семьи и производственные возможности крепнувшего единоличного хозяйства. Инициаторами основания выступали крепкие предприимчивые производители. У. С. Зайцева так объяснила основание Алейной заимки в 3 км от с. Староалейское: «Тогда какие *люди были позажиточнее — поехали как сейчас на дачу:* там чаща, лес, луга, огороды можно держать. Первым уехал Саватей Дементьевич Климов. Потом сыновья повыросли и еще избушки поставили. Так, у них было 5 избушек. Потом стали мы приезжать». В Усть-Калманском районе на месте заимок образовались Кахтатово, Рыжков, Каменушка, Осиновка и др. В с. В.-Слюденка жил состоятельный род Шипуновых. Один из братьев, П. С. Шипунов (его звали в деревне Петрован — Петр), имел двухэтажный дом с магазином на первом этаже и завел заимку: «Пасеку там держал. *Скота полно было, а сено возить далеко.* А там и скот, и корм на месте». Такая же заимка чуть подальше была у М. Т. Останина. В 1918–1919 гг. на заимку Шипунова стали переезжать другие, что способствовало возникновению деревушки Каменушки. К 1930 г. там было 20–25 дворов. В деревне-заимке были избы, пятистенные и даже крестовые дома с традиционными для старожилов расписанными краской стенами. Рядом с Каменушкой на заимке возник поселочек Рыжков, в котором дворов было меньше. В целом заимки, так же как и выселки, являлись преимущест-

венно малодворными поселениями с числом жителей до 200 человек. В 1926 г. около 66% заимок и выселков составляли поселения с числом жителей от 5 до 50 человек.

На месте заимок в 1920-е гг. на территории современного Алтайского района выросли села: Луговское (1922 г.), Макарьевка (1919, 1922 гг.), Ново-Польский (1923 г.). Примером являлась Сидоровка Алтайского района, основанная в 1924 г. на месте заимки. Как рассказывала А. И. Фефелова, «*раньше в каждом логу жили старые люди.* В ту сторону начинался Егоров лог, Кисленький, потом Мальцев, потом Сидоров, потом Барабаненок, Барабанов, Калистратов. Всё лога шли. Сидор первый поехал на заимку. Вот назвали по нему Сидоровка в логу. К нему уехало 12 дворов. А отец мой, Черданцев Исаак Степанович, жил в Куяче… у нас была заимка в Ларионовом логу, хлеб там сеяли. Пасека там была, покосы. Потом переехали в Сидоровку» (Фефелова И. И., с. Куяча, Алтайский район).

Портрет инициативного заимочника можно реконструировать по рассказу А. С. Бодрягиной (Климовой) из Староалейки Третьяковского района, дочери Саватея Дементьевича Климова, основателя Алейной заимки I. Его заимка находилась в 3–4 км от Староалейского. Земли под заимку его семья присмотрела еще в конце XIX в. Но до 1920-х гг. заимку использовали сезонно и лишь в начале 1920-х гг. переселились на постоянное жительство: «В семье было *три сына и три снохи.* Саватей Дементьевич *поставил на заимке крестовый дом* из 4 комнат: изба, горница, спальня. К нему пристроили две кладовые — большую и малую. Во дворе выстроил амбар, пригон, ток. Купил лобогрейку, сенокосилку, каток. Держал несколько запряжных лошадей, коров, нетелей, овец. *Сначала все жили в одном доме.* С ним две сестры от первой жены и три сестры от второй жены. *Сообща вели одно большое хозяйство. Затем его сыновья отделились и построили рядом дома.* Все, что необходимо для жизни, вырабатывали своим трудом. У него была пасека от 20 до 30 ульев. Мед меняли на то, что недоставало, — мануфактуру, хлеб. Возили и обменивали в другие села, на ярмарку в Змеиногорск». Уже по переписи 1926 г. на Алейной заимке I было зафиксировано 41 хозяйство и 268 жителей.

Благодаря расселению крестьян сокращались расстояния между населенными пунктами, их связывала хозяйственная жизнь и закрепляла общинная традиция. Все заимочники жили в одном сельском обществе и относились к одному церковному приходу. Эта мирская и приходская общность служила фактором стабильности и уверенности в поддержке со стороны односельчан, что являлось немаловажным обстоятельством при освоении новых мест. Чувство общности, сопричастности, взаимовыручки давало уверенность и готовность идти на риск. Отрывок из рассказа А. Ф. Елясовой реконструирует уклад жизни крестьян на заимках и пока-

зывает органичность и прочность связей заимочников с селом-донором: «Когда жили единолично, мы жили на заимке — за второй падью (между Никольским и Точильным). *В Колбанах в церкви звонят — у нас слышно было*. В Смоленском-то (две комнаты) жили у отца с материю три брата. Стали делиться. Мой-то отец поставил избушку в одну комнату на заимке и поехали. Заборов-то не было. А для сарайки порубят, из кустов сплетут плетенку, потом ее или замажут к зиме, или соломой утеплят. И для коров плетенку сплетут и обмажут глиной. Сверху матку, на нее кустов порубят и соломой утеплят. Для лошадей отдельно. И для свиней такую же стаечку. Овечки в землянке жили, окошечко вставят. Тогда все держали и гусей, и кур. Пищу свою готовили. А что надо — ездили в Смоленское, а то и в Бийск. Насыпят в мешки хлеба или мяса, продадут и берут, что надо».

Освоению земель Алтая, проявлявшемуся в бурном развитии малодворных поселений, способствовал переезд в 1920-е гг. крестьян из Европейской России. Этот традиционный и испытанный в предыдущие десятилетия способ расширения сети населенных пунктов был стимулирован засушливым летом 1921–1922 гг. и голодом, начавшимся в ряде регионов Европейской России и Сибири. В с. Алтайское именно в эти годы сформировался жилой регион «Енисейка», названный старожилами так потому, что сюда переселились от голода крестьяне из восточносибирской Енисейской губернии.

В образовании поселков наряду с вновь прибывающими переселенцами участвовали и скопившиеся на Алтае неустроенные в земельном отношении переселенцы начала XX в., прежде всего периода столыпинских реформ. Перенаселение вызвало в 1923 г. распоряжение Наркомзема о закрытии Алтайской губернии для переселений, как не имевшей колонизационного фонда и свободных земель. Несмотря на это, переселенцы прибывали самовольно.

Некоторые рассказчики вспоминают, что ехать в Сибирь боялись, несмотря на предшествующий положительный опыт переселений; образ Сибири у русских крестьян ассоциировался не только с «вольными землями», но и с холодом. Информанты воспроизводят стереотипные представления о Сибири россиян европейской части, которых «страшили рассказы о больших снегах, о морозах за минус 60, говоря, что птицы на лету замерзают, лютыми медведями, которые могут загрызть человека. Но терять уже было нечего, и все стремились в Сибирь» (А. И. Новокрещенова, с. Червово, Кытмановский район). В Нижнем Причумышье переселенцами, спасавшимися от страшного голода в Поволжье, на Украине и в Центральной России, был образован целый ряд населенных пунктов, среди них села Клюквенка, Ясная Поляна. Единственным сдерживающим фактором при расселении на новом месте была сила сельских общин — «мира» старых де-

ревень, ревниво оберегавших свои территории. Переселенцы из России получали земли вблизи старожильческих наделов, чаще в бору или на менее удобных землях, обработка которых требовала больших физических сил. Ярким примером являлась история основания Клюквенки Тальменского района, образованной переселенцами из Вятской, Смоленской, Тамбовской губерний. Первым ходоком, по словам К. Г. Ляпуновой, был вятский крестьянин (Пермская волость, Вятская губерния), участник Первой мировой войны Курдюков, вернувшийся «израненным с войны». Вслед за ним приехали другие «вятские» Ляпуновы, Черныховы, Ласковы, Кузнецовы, Волковы. Место им досталось рядом с полями новоеловских крестьян: «С одной стороны Клюквенки-то было выкорчевано — там Ново-Еловка была. А вглубь, где наши поселились, надо было корчевать. Корчевали вручную. Сеяли рожь, пшеницу, овес, лен». Сначала новоселам пришлось обзавестись всем необходимым. Поэтому «подрабатывали у еловских мужиков». Григорий Прокопьевич Ляпунов ходил с дочерью пилить дрова в Еловку. За работу получали хлеб, муку, позже заработали корову. «Коровку привели, — вспоминает К. Г. Ляпунова, — мы ее в разные места целовали...» Однако справиться с большим объемом работ по очистке полей переселенцы не могли. «Картошка да коровка» выручали. Поэтому во вновь образованных селах переселенцы стали заниматься кустарными промыслами.

Возможности переселенцев в обустройстве жилой среды были более ограничены, чем жителей выселков и заимок из местных жителей. Проделав большой путь, они начинали обустройство на новом месте с нуля. Старожилы Третьяковского района говорили, что в Троицком (60 дворов), в отличие от корболихинских выселков Вакулихи, Дмитриевки и Большого Луга, жили «россияне. Троицкое находилось на реке Алей, на левом берегу, ближе к Корболихе (около 3 км). Село пошло с 1921 года. *Ходоки с России приехали в Каменку* (Локтевского района). *Им на Алее выделили землю... Каменка там не захватывала, и им выделили.* Поселились В. Б. Михеев, П. Ф. Иванов, И. Ф. Киреев, Ф. В. Абрамов, И. Задорожнев. Они приехали с семьями... Говорили, что *там* [в Европейской России] *земли мало — клеточку дадут*, а семья большая. А сюда послали ходоков — узнали, что земля пустует. Как приехали — саманку сделает, кто из дерна. В Каменку они зимой приехали, лета дождались и стали в круче [береговой яр Алея] землянки рыть».

В Кытмановском районе переселенцами из Брянской и Орловской губерний был образован «поселочек», который назвали по малой родине — «Брянский хутор». Как вспоминали старожилы, в 1921 г. «привезли целый эшелон», но остаться решили немногие, стали уезжать в соседнее старожильческое село Бураново, осталось 45–50 хозяев. Им сразу землю дали.

В первые годы жить пришлось в землянках, питаться за счет рыбы из озера, расположенного недалеко от хутора, которое тоже было названо «Брянское».

Необходимо отметить, что в устной памяти алтайских крестьян история переселений отложилась как длительный и единый процесс, без привязки к периоду переселений. В своих семейных историях о переселениях в 1920-е г. информанты игнорируют 1917 г. и начинают новую эпоху в своей жизни с 1930-х гг., когда, по их оценкам, происходила ломка привычной крестьянской жизни. Хронологический сдвиг в сознании крестьян применительно к значимым событиям позволяет говорить о том, что для них прошлая жизнь отличалась целостностью вплоть до начала коллективизации. Можно предположить, что крестьянскому сознанию оказалось не под силу осмыслить произошедшее в 1917–1920-х гг. события. Вследствие этого в устных источниках интерпретация событий, связанных с переселением, часто не только основана на временно́й путанице, но и содержит фактографические неточности, которые в целом не искажают сути происходящих процессов. Примером является семейная история о переселении в Брянский хутор отца рассказчицы А. И. Новокрещеновой (с. Червово, Кытмановский район), в котором смешались время и порядки, но отразилась суть: «*В России было малоземелье,* богатеть не за что было [в ее представлении, богатели благодаря земле], а батрачить на господина[1] за бесплатно неохота. Матери, которая работала в доме у зажиточных, платили три рубля в год. Таких собралось много, и *по ленинской путевке*[2] выехали сюда. Жизнь в России была еще хуже [жизнь на новом месте оказалась нелегкой]. Дом был на куриных лапках, на веретенных пятках, к лесу задом, к нам… Дед топил печь по-курному. Бедному [приехавшему новоселу] не разрешалось трубу выводить. Дверь открывали и начинали топить. Все ложились на пол, а дым поднимался кверху, тогда только начинали ходить…».

Образование поселений переселенцами 1920-х гг. проходило на свободных землях, которые не были заняты местными крестьянами в предыдущий период. Но они имели менее благоприятные условия для сельскохозяйственного производства, и новоселы жались к старожильческим деревням, что часто приводило к конфликтам. Как рассказывала А. И. Новокрещенова, «на землях, которые были выделены людям под поселок [Брянский хутор, Кытмановский район] держал коров и лошадей максаровский [из соседнего села Максарово] богач Смышляев. Ему не понравилось, что

[1] Российская традиция противопостввления «барина»-господина и «батрака»-крестьянина.

[2] Эта фраза указывает на время, о котором рассказывает информант. Все остальное можно спроецировать на события, связанные с переселением начала XX в.

приехали нищие, но советская власть все-таки переборола, как говорят — хватит драть шкуру с нищего». В результате проводимой политики в отношении переселенцев поселок стал наиболее распространенным типом поселения в системе сельскохозяйственного расселения. Из 1 716 поселков (1926 г.) более 50% возникло в советский период: в Барнаульском округе после 1917 г. их появились 311 из 402, в Рубцовском — 200 из 324, в Каменском — 194 из 258. Таким путем решались проблемы неустроенных переселенцев, малоземельных и безземельных крестьян. Но, в отличие от малодворных заимок и выселков как способов разукрупнения сел и деревень, поселки были более многодворными: 40% имели численность от 201 до 500 человек, 22% — от 101 до 200 и только 18% — от 51 до 100. Поселковому развитию способствовало и стремление советского государства к кооперированию населения, т. е. созданию на базе поселков с ограниченным числом дворов кооперативных коллективов (сельскохозяйственных, промысловых и кустарных)

На основе устных свидетельств прослеживается закономерность расселения — прибывшие селились на местах, не занятых старожилами, как правило, с невыгодным для крестьянского труда местоположением. Если Зыряновка Павловского района была основана старожилом Шиловым на правобережье Оби с заливными лугами, то переселенческая Петровка, этого же района, — на безводном месте вдоль кромки бора: «Петровка — это *выселок из Касмалы*. Деревня была длинная. Посредине проходил лог. В нем накапливался и по весне таял снег — бежала вода. Сделали плотину — на конях возили землю, мусор. Вода стояла все лето до зимы. Там коней поили. Дома стояли и по ту, и по эту сторону лога. Потом стали все копать колодцы. Копали колодцы. Копали вручную до 80 аршин вглубь. Людей спускали на веревках. *Отец дом перевез из Касмалы на четырех конях в один день.* Отец сам делал телеги и конную упряжь» (К. М. Пахорукова). А переселенческая деревня Кувыркаловка Третьяковского района прилепилась около крутой сопки на месте впадения р. Каменки в Алей и свое название получила потому, что «дорога плохая была. Косогорная сопка, узкая дорожка, обрыв и река Алей — не спуститься: крутая была. Ее звали Седловая сопка. Страшно было ездить. Дядю раз трепали кони. Приехал и ругался на эту сопку: „Чтоб тебе провал вышел". Потому и деревня Кувыркаловка» (А. Е. Волженина).

В этих условиях формировалась своеобразная подвижность сети населенных пунктов, проявлявшаяся в периодическом перенесении части жилого сектора из села в окрестные удобные места. Особенно большое влияние на перемещение сел путем разукрупнения оказывали природные обстоятельства — изменение русел рек, подмывающих берега, понижение грунтовых вод и т. д. Способность крестьянского мира к решению про-

блем собственными силами позволяла крестьянам самим формировать новую жилую среду, перенося дома. Крестьяне так и говорят: «У нас были свои пашни на лугу около Алея, а на увале уже каменская гора[1]... Как весна придет — вода идет. Нас здорово заливало. Мы жили ближе к Алею, так весной к крыльцу на лодке подплывали». По причине частных наводнений приалейские выселки Корболихи Третьяковского района (Вакулиха, Дмитриевка, Большой Луг) перебрались на более высокое место: «А как нас купали, так дома на горку вынесли и одной улицей вытянулись, а внизу строились, кто как вздумает» (Троицкое).

Крестьяне выбирали место для поселения с учетом направления ветра, наличия воды, солнечного света, леса, возможности заниматься промыслами: пчеловодством, сбором грибов и ягод, охотой, рыболовством, хорошо изучали окрестные места и в соответствии с их природно-климатическими характеристиками развивали свое хозяйство. Так, Вятчиха Солонешенского района была образована у ключа Вятчиха на «р. Мульчихе, которая впадает в Александровку, из Александровки в Сибирку». В тех местах «трав не было, занимались скотоводством, но хозяевам сена не хватало». А вот место под Калиниху выбирали, «где полегче с дровами было». Но крестьяне выбирали не только самое производительное место, но и красивое, живописное. Именно практический крестьянский опыт и крестьянская этика определяли жизнеспособное пространство каждой деревни. Крестьянская инициатива и предприимчивость проявились в многообразии типов поселений: деревня, поселок, выселок, заимка, хутор, односелье. Их сочетание формировало адекватную природным условиям поселковую инфраструктуру. Адаптационность крестьянской культуры отчетливо просматривается при реконструкции конкретных региональных систем сезонных и постоянных поселений.

Таким образом, в результате массовых переселений из Европейской России на рубеже XIX–XX в. и разукрупнения старожильческих сел в 1910–1920-е гг. на территории Алтайского края сформировалась самая густая за всю историю сеть населенных пунктов. Система сельскохозяйственного расселения в этот период характеризовалась наибольшим охватом территории сельскими поселениями с оптимальным сочетанием разных взаимообусловленных типов: села и деревни разветвлялись выселками и заимками, поселки — хуторами и односельями. Последние являлись самыми малодворными. В 1926 г. число хуторских поселений с числом жителей от 1 до 5 человек составляло 78% от их общего числа. Увеличивал число малодворных поселений рост мельничных поселений, явившихся следствием роста товарности крестьянских хозяйств и расширения сель-

[1] Земли принадлежали соседнему сельскому обществу с. Каменка Локтевского района.

ского расселения, вызвавшего необходимость в организации новых мельничных поселений в зоне досягаемости для крестьян. Только в Рубцовском округе возникло к 1926 г. (с 1917 г.) 25 поселений при мельницах и по 20 в Барнаульском и Бийском округах. Численность населения мельничных поселков составляла до 25 человек — 22% от общего количества и с числом жителей от 26 до 50 человек — 32%. Их жизнеспособность была связана с мельницами, для функционирования которых нужны были небольшие коллективы.

Густота сельской инфраструктуры, формы и типы поселений в поселенческих микросистемах, взаимосвязи внутри и между ними зависели, как показывают устные исторические источники, от природно-климатических условий и этнокультурных традиций населения, участвующего в освоении конкретных пространств. Устные источники содержат большой объем информации о способах адаптации крестьянских хозяйств, их гибкости и хозяйственной изменчивости при сохранении традиционного консерватизма в общественных отношениях. Так, устные источники показывают, что заимочная и выселковая система расселения была более распространена в хлебопашеских районах, хуторская — в таежных, поселковая — в горных. Более плотная и разветвленная сеть формировалась в степных зонах, редкая — в зонах с неблагоприятными для сельского хозяйства условиями. Это видно при регионализации исторических процессов. Применение конкретных историко-культурных подходов позволяет выявить специфику селообразования в зонах расселения крестьян. Наряду с общими тенденциями в развитии сети населенных пунктов Алтайского края при единоличном крестьянском хозяйствовании можно говорить о региональных особенностях адаптации крестьянского производства к природным условиям, в том числе через количество и характер населенных пунктов в конкретной порайонной системе расселения.

В этом смысле конкретно-исторические исследования (микроистория, локальная история, интелектуальная история) корректируют данные об общих тенденциях и закономерностях (макроистория, большая история). Примером адаптации крестьянского семейного производства может служить механизм развития сети населенных пунктов сопредельных Солонешенского и Алтайского районов, расположенных в горах, с одной стороны, и соседнего Смоленского района, расположенного преимущественно в степи, — с другой. В основе селообразования в обеих группах лежал процесс разукрупнения старых сел. Многие села в горах Солонешенского района, по устному преданию, возникли как скотоводческие заимки степного хлебопашеского села Солоновка Смоленского района — одного из алтайских центров старообрядчества поморского согласия. Например, про с. Лежаново Солонешенского района старожилы говорили, что оно воз-

никло как заимка солоновцев для выпаса скота и заготовки сена, а название получило от слова «лежать» — лежали на стогах заготовленного сена. Лютаево основали братья Лютаевы и братья Ромкины (Ромкины сопки, Ромкин ключ) из Солоновки. Классическим заимками были два Лиственёнка (или Листвянных) — Большой и Малый. В Большом Лиственёнке жили кержаки, в Малом — крестьяне-заимочники, придерживавшииеся официального православия. В последнем в 1932 г. было около 20 дворов. Оно, по словам М. И. Субботиной (1908 г. р.), тоже было солоновской заимкой, располагалось в 5 км от Лютаево вдоль ключа, который впадал в р. Солоновку.

Разукрупнение больших сел и выселение на новые места было дозировано и обусловлено потенциальными возможностями окрестных мест, осваиваемых новоселами: в описываемом случае это перенесение пастбищ и сенокосов со степных пахотных земель в горы. Именно эти факторы определили численность населения выселков, заимок, хуторов Солонешенского района. Так, первоначально Мульчиха Солонешенского района (позже на ее месте основали поселок при руднике) возникла, *«когда разрешили хутора и люди уезжали на свои заимки,* где косили траву, скот пасли» (М. В. Очаковский). Возле Березовки этого же района было образовано два «хутора» — Юров и Крюков. Именно хозяйственная целесообразность определяла формы и размеры этих поселений, их долговечность или кратковременность, основные направления развития хозяйства, отбор земледельческих культур, типы жилищ и хозпостроек и т. д. Но в соответствии с традициями даже при преобладании скотоводческих и промысловых сел в горах крестьяне-земледельцы искали участки земли, пригодные для земледелия. Таких пригодных для хлебопашества земель в Солонешенском районе было мало, и около них наряду с кустарно-скотоводческими поселками образовывались малодворные поселения, по 4–7 дворов.

Благодаря хорошему знанию окрестностей и индивидуальному хозяйствованию крестьяне даже в горах добивались хороших урожаев. Об одном из таких сел в горах (Филелеевом Логе) рассказал Д. Н. Агапов из с. Алтайское. Село Филелеев Лог образовалось выселением 7 дворов из Куягана Алтайского района — Воронковых, Чертеров, Агаповых, Грачевых, Тарабиных, Самоделкиных — и Логанкиных из Каменки: «Там было 10 избушек, и они вразброс стояли, по берегу. Там родник, там родник, а потом сливались, и образовывалась речка. Она шла по Кисличному Логу и сливалась с Каменкой. Места широкие, обширные. Лог находился как бы в чаще между горами. Туда гора, туда гора, туда гора, от Лежаново 6 км. Их соединяли две горы и перевал: нужно пройти поперек — спускаешься в лог Пихтовый, поднимаешься в гору Листвянка и Лежаново. Хлеба были в Филелеево богатые, руки были золотые у людей».

Но земледельческих сел в горах было мало. Большинство жителей образованных сел занимались скотоводством и кустарными промыслами. Так образовался поселок Глиняный, иногда его так и называли — Глиняный выселок. Главным занятием жителей было скотоводство. В 1930– 1940-е гг. в нем было около 15 дворов, и население ближайших сел (Б. Речка и др.) закупало у крестьян кожи. Жители Глиняного «свое хозяйство имели, кони свои, телеги свои, кошевы свои» (Е. Г. Ручкина, с. Сибирячиха). Село Черновое «возникло из заимки, расположенной через Ануй от Сибирячихи на юг в сторону Тележихи, по дороге на Солонешное...». На его месте, по рассказам старожилов, «маралов держали, а в войну золото мыли, прокладывали шурфы — искали [золото]». При этом старожилы могут слабо ориентироваться в административном статусе селения (заимка, выселок, хутор), но в качестве основной характеристики населенных пунктов указывают, что все они образовались вольным крестьянским путем через разукрупнение старых населенных пунктов, расселение на новые земли (пустоши) и хозяйственную адаптацию единоличного хозяйства.

Это проявилось в устной истории об образовании Лесной заимки, которая возникла в 1922 г., «когда *разрешили от государства* выделить Александровку, Гордеевку, Вячиху, Ануйское». Лингвистические особенности повествования Л. Т. Денисова отражают особенность ситуации 1920-х гг.: «*Договорились единолично жить* и уехали. Было дворов 30. Сеяли, где возможность, — в вершине Барыкина луга. А так больше скотоводство». Через гору от Сибирячихи еще до революции возникла в Денисовом логу Денисова заимка: «Там построили одну избушку, скот держали, жили зимой и летом». Такие же поселения-малодворки создавали в логах, окружавших Сибирячиху, — Артюшин Лог, Озерский Лог. В Онохрином Логу, по народному преданию, возникла деревня Черемшанка: там раньше около ключа «сват наш Онохрин жил на месте Черемшанки — одна избушка. Там же двухжерновая мельница. *Никому не подчинялся — ни богу, ни царю*. Скупал скот у калмыков. Сарлык — вид быка с лошадиным хвостом. У него была заимка на усе, где Черемшанка впадает в Ануй». Сам рассказ мифологизирован и отражает народное представление о вольнице в горной местности за Бийской военной линией. Именно такие вольные люди и осваивали, по народной мифологии, удаленные территории. Л. Т. Денисов так и сказал: «Почти в каждом логу было хозяйство». Образовалась плотная поселковая сеть в разломах гор: «В 17 км от Сибирячихи на реке Большая речка (она впадает выше Черемшанки в Ануй) основалось село Большая Речка (от Тальменки в 4 км кверху по речке), в 3 км по этой речке кверху была Малиновка, а от нее через хребет к Черновому. А в другую сторону перевалишь — Бащелак... Направо от Большой Речки поселок Прямое в логу был — 20 дворов. Бежал маленький

ключик (половина жила с Бащелака, половина с Большой речки). *Сговорились и выселились».*

К началу коллективизации маленькие крестьянские коллективы освоили всю территорию, пригодную для сельскохозяйственного производства, и прежде всего для скотоводства. Из 80 населенных пунктов Солонешенского района (перепись 1926 г.) около 30 были основаны переселенцами второй половины XIX — начала XX в., около 20 были образованы в 1920-е гг. В результате крестьяне заселили в горах все пригодные для крестьянского хозяйства участки земли: лога и сопки, ключи и ключики. Использовали все возможности осваиваемой местности: где солнечно — занимали места под земледелие, где нельзя было заниматься земледелием из-за высокого травостоя или заморозков — занимались скотоводством и т. д. Так, в Большой Речке основным направлением крестьянского хозяйства стало скотоводство: *«пахали гривочки и сеяли овес»,* который, по словам старожилов, «рос под потолок, а пшеница не вызревала (сырые места)». В процессе адаптации к природно-климатическим условиям в горных местностях Алтая закрепилась скотоводческая специализация крестьянского хозяйства со вспомогательной ролью земледелия. Именно поэтому здесь, в отличие от степных и лесостепных районов, было мало мельниц. По устным рассказам, в окрестностях Сибирячихи Солонешенского района была известна одна мельница Никифорова на р. Сибирке, которая «работала на воде». В колхозное время ее перевезли к амбарам, где она уже «работала на ветре», а потом еще долго «стояла без дела». Рассказ старожилов подтверждается переписью 1926 г.: мельница Никифорова была поставлена в 1910-е гг. на р. Солонешной, при ней проживала семья из 6 человек. И только в 1980-е гг. она была разрушена, сруб разобрали и отдали бабушкам Сибирячихи на дрова, даже жернова привезли.

Поселковая сеть на территории соседнего степного Смоленского района с более благоприятными для земледелия природными условиями была более густой. На его территории существовало свыше 200 сельских поселений с постоянно проживающим населением, между которыми сложились определенные формы взаимодействия. Особенностью сети населенных пунктов Смоленского района являлось широкое развитие заимок и выселок на целинных землях. Только вокруг села Смоленское было более 150 заимок, многие из которых в 1920-е гг. переросли в села (Никольское, Петровка, Первомайский и др.). Заимки, как правило, назывались по фамилии основателей: заимка Я. В. Кузнецова, В. М. Рохлина, Ф. Логачева — и располагались недалеко от сел-доноров — в 2–8 км. Часто они образовывались путем разделения больших крестьянских семей с переселением на места своих пашен и сенокосов. Большинство крестьян из с. Смоленское расселились по р. Поперечной. Как рассказывала Пелагея Яковлевна Пар-

шина, *«где-то после 20-х годов стали мужики из Смоленского ехать и селиться. Земли-то были свои, а ездить (из Смоленского) далеко.* В Смоленском не у всех, но были заимки. Вокруг Смоленского было много заимок, а еще по падям» (в окрестностях Смоленского было три пади, в которых стояла вода).

В ходе реконструкции заимочной формы разукрупнения с. Смоленского описаны заимки вдоль ручья второй пади: А. И. Батаева, Е. Ф. и В. И. Воропаевых, А. О. Десятова, вдоль ручьи третьей пади: Г. Н. и И. Я. Десятовых, А. М. Жданова, Коньшиных, Кузнецовых и др. В Смоленском до сих пор проживают потомки многих заимочников, которые описали пути возникновения конкретных заимок. Некоторые из заимок в советское время, благодаря образованию на их основе колхозных отделений и совхозных ферм, стали самостоятельными селами. Так, ядром села Никольское, по словам П. Я. Паршиной, в девичестве Кузнецовой, стала заимка ее отца: «Тогда в семье было пять братьев, жили все в одном доме. А уже после советской власти братья поделились. У нас была своя заимка [отец Я. В. Кузнецов] на том месте, где сейчас Никольское [по переписи 1926 г. оно возникло в 1923 г.]. А потому *далеко из Смоленского было туда ездить*, и там село возникло». На заимке новоселы построили пятистенный дом, амбар, пригон для скота. Рядом были их пашни и пастбище. Они же основали и вторую заимку на берегу р. Поперечка, «по правую руку по течению выстроили пятистенок». Эта заимка стала «родовым гнездом» советского села Первомайское. П. Я. Паршина помнит, что «на этом месте еще не было Первомайского, а были заимки смоленских мужиков». Таким образом, только одна семья Я. В. Кузнецова, разделившись, способствовала образованию двух сел — Никольского и Первомайского. Таким же путем недалеко от Никольского возникло село Петровка (ныне исчезло). А. Я Языкова рассказывала также о родителях: «Отец и мать жили на заимках, недалеко, в падях».

Таким образом, широко развитая поселенческая сеть малодворных поселений в степной зоне стала важнейшим фактором развития сети населенных пунктов Алтайского края в последующий колхозный период. На ее базе происходили перегруппировка сел, формирование колхозно-совхозной инфраструктуры. В отличие от разукрупнения сел и деревень в период крестьянской цивилизации, советский путь реорганизации с отказом от единоличного хозяйствования, бывшего причиной разукрупнения, и переходом к коллективным и государственным (колхозно-кооперативным и совхозным) формам сведется в итоге к противоположному процессу — укрупнению сельских поселений. Поэтому большинство поселений, которые были образованы крестьянами в период свободного землепользования, стали объектами реорганизации в период укрупнения колхозов и ликвидации неперспективных сел в 1950–1980-е гг.

Но опыт аграрного освоения Алтайского края свободными хлебопашцами может быть полезен и в наши дни. Особый интерес представляет обращение к крестьянскому опыту возделывания земли, переработки и хранения зерновых и овощей, содержания скота, к секретам крестьянского ремесла и кустарного производства. Одна из причин сельскохозяйственного кризиса в наши дни видится в потере бытовавших в каждом селе производственных и трудовых традиций. Крестьянский труд индивидуален, успех хозяйствования на конкретном поле зависел от знания данной земли, климата и т. п. В этом деле нет мелочей. Конкретный опыт эксплуатации крестьянами конкретного поля в период единоличного хозяйствования должен найти применение в современном сельском хозяйстве, при формировании фермерских и кооперативных хозяйств. И если верить политикам и экономистам, предсказывающим возрождение русской деревни через фермерство и аренду, то лучших мест, чем прежние апробированные места обитания сельских жителей, не найти. Влияние нэпа на алтайскую деревню, потенциальные возможности частного предпринимательства на примере развития единоличного хозяйства должны стать самостоятельным объектом изучения академической науки с опорой на устные источники. Расширение микроисследований образует широкое поле для сравнительных исследований. В сфере региональных исследований в советское время благодаря деятельности краеведов накоплен большой опыт описания динамики развития сети населенных пунктов, адекватный процессам освоения производительного пространства Алтайского края и слабо востребованный в прошлом советской академической наукой, скептически относившейся к результатам краеведческих изысканий.

Жизненный опыт старожилов (эмпирическая история — experience), обобщенный ими в устных повествованиях, приводит к выводу, что возможности крестьян при единоличном хозяйстве были значительными. Единоличники вели хозяйство умело, используя природные и климатические условия конкретной местности: рационально сочетали земледелие, скотоводство и пчеловодство на заливных лугах крупных рек, скотоводство, пчеловодство и кустарные промыслы — в гористой местности. Направленность единоличного хозяйства, несомненно, была обусловлена производительными возможностями окрестных мест. В частности, именно этим объясняются особенности хозяйственного развития крестьянской экономики горных сел — сочетание скотоводства с кустарными промыслами, в приобских селах — земледелия со скотоводством и т. д. Если в с. Боровское (в 1957 г. — 8–10 дворов) имелись благоприятные условия для кустарных промыслов, то крестьяне занимались выжигом древесного угля и извести, гнали березовый деготь, смолу, изготавливали тележную смазку, драли бересту, содержали большие пасеки. Если в расположенном рядом

Степной Алтай: окрестности казахского села Кирей. Кулундинский р-н. Фото 2003 г.

селе Кучина Речка существовали благоприятные условия для выпаса скота, то там, по воспоминаниям очевидцев, заготавливали сено на продажу, были выгоны лошадей. Несмотря на то, что единоличное хозяйство являлось комплексным, в условиях развития товарно-денежных отношений оно специализировалось: на скотоводстве, кустарных промыслах, пчеловодстве и т. д.

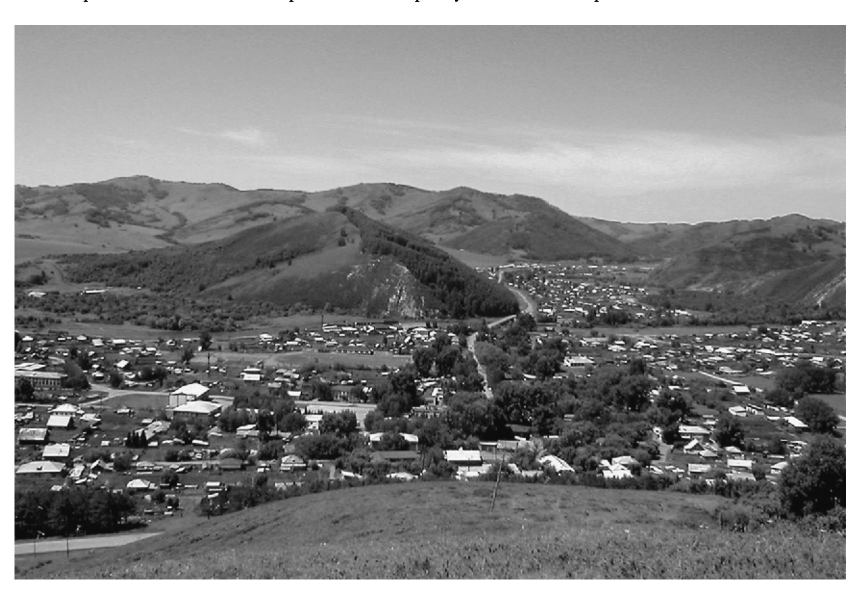
В период коллективизации до начала гигантизации сельскохозяйственного производства (1950–1960-е гг.) эта специализация сохранялась. На основе кустарных традиций в некоторых селах создавались промартели, в земледельческой среде — зерносовхозы и т. п. Так, в переселенческой Москалевке сначала «деготь гнали, готовили древесный уголь. Стали другие заселять, которые держали скот, они выпасали». Уже в советское время на основе крестьянских традиций главным направлением колхозного производства стало скотоводство. Образованный в Москалевке колхоз «Искра социализма» (в 1930-е гг. село выросло с 20 до 40 дворов) был известен развитым скотоводством, которое в силу производственных крестьянских традиций и природных условий получило молочное и овцеводческое направление. В Москалевке на животноводческой ферме было около 80 дойных коров (обслуживали 4 доярки), около 2 тыс. голов овец, при посевной площади всего 200 га. Ферма имела две бригады. Молоко сепарировали на местной молоканке, сливки увозили на маслозавод в Карповку, потом в

Предгорье. Село Тогул. Фото 2006 г.

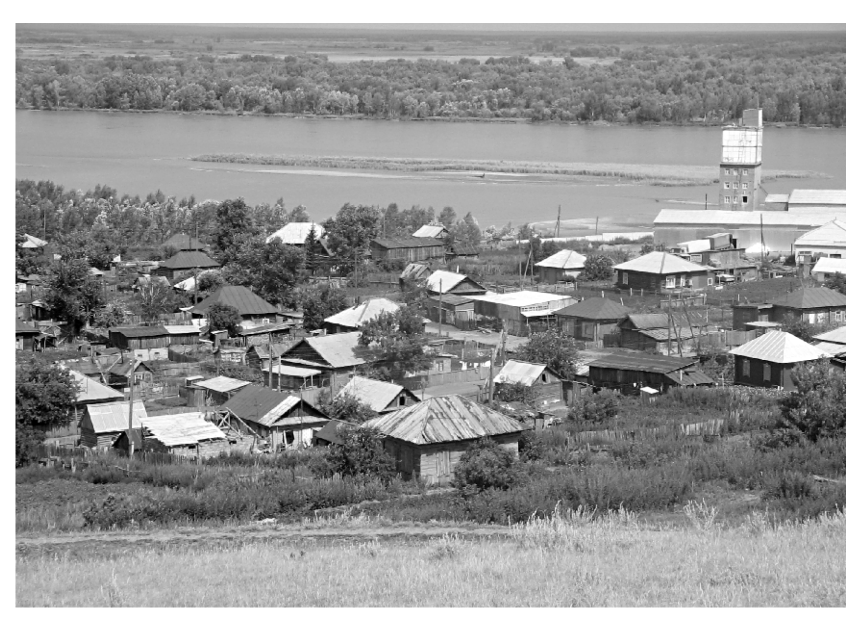
Лютаево. Доили даже овец, готовили в Лютаево брынзу. В годы войны брынзу увозили на фронт. У информанта И. А. Москалева пастухом овец в войну была жена. По его словам, «ягнят отнимали и овец доили старушки. А женщины во время войны на сенокосе были». Д. С. Нормандский рассказывал про Москалевку: «В 1937 г. *колхоз был богатый, к нам тянулись* — 4 тысячи овец, 100 коров, 2 бригады. До войны было 42 дома, церковь, клуб, школа до 7-го класса, мельница, рушейка, маслобойка, крупорушка. Колхоз богатый, по 13–16 баранов на трудодни каждому давали, центнер пшеницы, масло, мед».

А в других селах, используя навыки кустарей, создавали промартели по производству ширпотреба (товаров широкого потребления), в которых гнули дуги, делали кадушки, «ведрушки», гнали пихтовое масло. Анна Ивановна Аболихина была в промартели Устаурихи «спусчиком» — заготавливала пихтовые лапы, залезая на деревья. Работали, как она рассказывала, по три человека: один — спусчик (чаще всего ими были женщины и подростки), двое внизу рубили ветки. В соседней Осиновке был открыт «шир» — «ширпотреб» по изговлению оглобель, дуг, колес. В период советской модернизации эти села не вписались в контекст государственной политики. Созданные на их основе промартели погибли, что повлекло за собой и гибель сел. В период колхозно-совхозного строительства сеть населенных пунктов поредела, прежде всего в местах, неблагоприятных для сельскохозяйственного производства. Начальное колхозное строительство на базе крестьянских хозяйств еще сохраняло сложившуюся специализацию в соответствии с возможностями территории.

Притаежная зона. Окрестности причумышской деревни. Фото 2007 г.



Горная местность. Село Солонешное. Фото 1990 г.



Приречное село Шелаболиха. Фото 2005 г.

Основное направление хозяйствования в крестьянских хозяйствах определяло в 1920-е гг. пути и формы взаимодействия разных населенных пунктов. Сами крестьяне выделяли типы населенных пунктов на основе товарно-географического районирования: степные, таежные, горные села или, как часто говорили, «степские» села, кустарные и т. п. Складывающиеся между населенными пунктами связи отражали адаптацию крестьянского хозяйственного взаимодействия — «тайги» и «степи», «гор» и «степи» на принципах формирующегося между ними товарообмена. Одни кормили других, те помогали им выжить. Если основным занятием предгорных степных поселений Смоленского, Алтайского, Петропавловского, Усть-Калманского районов, занимавших плодородные земли вдоль рек Песчаной, Ануя, Чарыша и др., являлось хлебопашество в сочетании с пчеловодством и скотоводством, то в горных селах, образованных переселенцами в начале XX в. (например, Осиновке, Сосновке, Устаурихе Смоленского района), сочетались скотоводство и кустарные промыслы. Между ними формировался товарообмен: хлеб на лес, хлеб на дрова, деготь, известь и, наоборот, кожи, мясо, лес — на хлеб, овощи, картофель. Значительную долю в товарообмене между таежными и горными селами составляли изделия кустарных промыслов и домашнего ремесла. Связано это было не только с природно-климатическими условиями, но и с этнокультурным составом

Печь для выжига извести (с. Карпово, Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

населения. В горах и тайге было много российских переселенцев с богатым ремесленным опытом. Так, Сосновку Смоленского района основали переселенцы из Вятской губернии (в селе преобладали Черенёвы) с богатым кустарным опытом. Их селения в горах существовали в условиях, неблагоприятных для хлебопашества. В Устаурихе, по словам бывших жителей, «даже картошка... не родилась: только подымется — морозом убьет. Огурцы там не видали, тыкву тоже. Там дрова только хорошие были. Пойдем на гору, нарубим березнику и на санях привезем» (А. Ф. Тырышкина, с. Ново-Тырышкино). Именно в силу неблагоприятных для сельского хозяйства условий эти земли не были заняты старожилами. В Устауриху приехали переселенцы из Самары, Орла, Тамбова — «люди-то отовсюду были». В созданной переселенцами сети населенных пунктов в горах развивались кустарные промыслы по деревообработке и переработке минерального сырья (глины, извести и т. д.).

Жительница исчезнувшей Сосновки Смоленского района, расположенной в таежной горной зоне, так описала адаптацию их семьи к природным условиям, на основе которых формировалось взаимодействие со степными крестьянами: «До колхозов *сеяли небольшой посевчик, а в основном займовались лесом.* Моего отца нанимали богатые камышенские мужики (степное село Камышенка Петропавловского района). Подрядит один мужик, отец договаривается с ним. Мой отец готовил крестовые до-

ма в лесу с первого бревна, и чтобы взяться за скобу и открыть. Весь лес делился на деляны: этот лес одному селу, Хохлов лог — камышенская делянка. Мы, девки, помогали. Потом раскулачили этих мужиков (камышенских). А *мы от этих мужиков сыты были: там урожаи были хорошие*. Мы возим, возим лес, а мужики приедут из Камышенки и заберут. Тятя напилит лесину (сосну, пихту) на плахи, потолки и косяки. *Отец только готовил лес, а они сами ставили дома. Заготовка наша была. Они приедут и пшеницу и просо привезут,* а то и муку готовую, булок печеных камышенских мешок привезут. Как-то привезли тяте фасоль. Он не знал, что это такое, наелся сырого, ему плохо стало. Он говорит: вывали свиньям, и те есть не будут» (А. К. Дорофеева, с. Ново-Тырышкино). Кроме того, сосновские и осиновские переселенцы в окрестностях горных селах заготавливали для обмена на продукты земледелия и овощеводства древесный уголь, смолу, деготь: «Нарежешь бревна, потом поленья стоймя поставишь в смолокуренный завод и закроешь. А рядом печку затопишь, и он не горит, а тлеет: по желобам смола бежит. И вот ждешь, когда выбежит смола. Бросишь топить — он остынет, и достаешь. Бревна красивые становятся — черные, черные. Достанешь их осторожно и продаешь богатым кузнецам. А они нам — хлеб, муку».

В Брянском хуторе Кытмановского района, оставшемся в период переселения без пахотных угодий, главным подспорьем стало животноводство и переработка животноводческих субпродуктов. Поэтому в нем были свои кожевенники, обувщики, пимокаты и портные, которые обменивались с хлебопашцами Озерно- и Дмитро-Титово. Так, Федор Иванович Шаничкин, переселенец из Брянской области, выделывал шкуры: «В больших чанах делал закваску из муки и воды, чтобы кислая была[1]. В нее ложут шкуру, она какое-то время лежит там, затем ее вытаскивают и обделывают на специальной приспособе — две ножки к дереву прибиты [в виде стола]. Расстилают и обыкновенной литовкой чистят, снимают остатки мяса и сала. Шкуру снова замачивают. Она получается не белая, а коричневая. Для дубления брал кору лозы [тальника]. Сушили, раздалбливали в ступе и заваривали кипятком, туда же клали овчину. После кожу ополаскивали, смазывали дегтем, подвешивали на крюк с веревкой и сушили или под солнцем, или в сарае. Только после этого шкуру отдавали портному Миленкину для *шитья тулупов и полушубок.* Тулупы были длинные, до са-

[1] Подобных рассказов в Алтайском крае записано много, различаются они только этнографическими нюансами: к примеру, в других районах шкуру до закваски отмачивали в водоемах в течение нескольких дней или применяли иной состав раствора, например смешивали для закваски в двух водах известь и осиновую золу, затем добавляли квас из ржаной муки. Навыки переселенцев были обусловлены традициями их этнографической группы.

мых пят, а полушубки короткие. Коровью шкуру использовали для подошвы на сапоги, а из собачьей шили шапки. С овечек шкуру снимали, когда кололи. Ее солили, чтобы червяк не завелся, и ложили в закваску, которая стояла в избе и не прокисала. *Стригли овец осенью* и в мае специальными ножницами. Осенью шерсть всегда новая. Теребили ее руками. Из осенней лучше ткать половики, валенки катали, а из зимней — варежки и носки вязали. *Вот это всё и отдавали за хлеб»* (А. И. Новокрещенова, с. Червово).

А в Сосновке Смоленского района для обмена на зерно и картофель, по словам бывшей жительницы Ю. Г. Тутовой, «*бочки ладили, печки складывали*. Бондарь предлагал, кому какую бочку. К нам из Куягана приезжали. Вот мой отец [по заказу местных жителей] *кожи делал, овчины.* У него была колода. Мы маленькие были, и отец давал задание — толочь дуб в ступе. У нас росли дубы, кучками кору сушили... Кожи отец квасил в каком-то растворе (муку разводил). А потом дубил — расстелет кожу на огромную колоду, пересыпает дубовой корой, второй стелет — пересыпает корой. Потом сушит. Потом мнет в мялке, чтобы мягкая была». По заказу «из степи» и в их селах шил сапоги «замечательный *сапожник* Никита Гладышев. Он же чернил кожу. Обкатывал кожу и шил сапоги лодочкой — отличные. У него с женой было две комнаты (кухня и горница), и вот заходишь в кухню, а у него столько колодок! Он в кухне и шил». Отец А. И. Абалихиной из Устаурихи и *«обушки сошьет, и пимы скатает.* Сам колодки делал. *Чарки выворотные шили, канышины — сапоги с голяшками.* Вся обувь из кожи была».

Таким образом, расширение сферы устноисторических исследований является важнейшим условием формирования адекватной прошлому источниковой базы для исторической науки. В данном случае конкретизация и регионализация проблемы заселения и освоения окраинных территорий в 1920-е гг. не только не мешает обобщению и выявлению общероссийских тенденций, но и, наоборот, позволяет выявить темпы и уровень социально-экономического развития, на которые влияли процессы, происходившие как в центре России, так и на периферии. Устные исторические источники показывают значительную роль крестьянской инициативы и жизнедеятельности в экономике России через развитие сети сельских населенных пунктов и формирование вокруг них производительного пространства. В начальный период советской модернизации 1920-х гг., в основе которой лежала политика нэпа, система сельского расселения соответствовала критериям крестьянского традиционного общества. Система сельского расселения характеризовалась массовым появлением новых поселений, заполнявших территорию, пригодную для ведения сельского хозяйства, их типовым разнообразием. В традиционную сеть сельского расселения вкраплялись новые типы — коммуны, совхозы, артели.

Но относительно основной массы сельских населенных пунктов они были немногочисленны. В частности, в 1926 г. на Алтае было всего 12 совхозов с числом жителей от 10 до 50 человек и одна артель, где проживало 39 человек. Наибольшее распространение получили коммуны. Их насчитывалось более 100.

Таким образом, в 1920-е гг., вплоть до начала форсированной сталинской модернизации, радикально изменившей сущность и механизмы системы сельского расселения, государство создавало новые населенные пункты советского типа параллельно с развитием традиционной крестьянской системы расселения.

2.3. Крестьянское общество при «единоличной жизни»: этнокультурный фактор в социальной стратификации 1920-х гг.

В 1920-е гг. хозяйственная инициатива крестьян, получившая выход в создании выселков, заимок, опиралась на семейные и общинные традиции, которые не искоренили события 1917–1920-х гг. Вместе с тем декларированная новой экономической политикой свобода предпринимательства и развитие предпринимательского хозяйства в Советской России привели в социальной сфере к дальнейшей поляризации крестьянского общества. Процесс стратификации, развивающийся на базе рыночных отношений, углубляли традиционные этнокультурные факторы, связанные с делением на старожилов и переселенцев, сложившимся в крестьянском обществе в ходе миграций из европейской России. Эти факторы слабо учитываются в современной научной исторической литературе. Историографию развития общественных отношений в доколхозной деревне между тремя социальными группами: бедняками, кулаками, середняками — источниковед А. К. Соколов назвал «своеобразной квазиисторией, где довлели постепенно мертвевшая идеология, схематизм и схоластика, отсутствовала историческая рефлексия», а «классовая сущность крестьянства, его социальное расслоение» «явно демонстрировали ограниченность экономических критериев при попытках идентифицировать в деревне кулака, бедняка или середняка» [2, с. 656].

В период пересмотра многих стереотипов и идеологем советской историографии, устранения монополизма марксистско-ленинской идеологии и партийного диктата в исторической литературе появились слабо аргументированные оценки деревенской «бедноты» и «кулаков», наблюдается утрирование социальной ситуации в крестьянском обществе 1920-х гг. — от идеализации трудового симбиоза крестьянского мира до подчеркивания перманентной классовой борьбы. В начавшемся пересмотре социальной структуры деревни можно встретить категоричное приравнивание бедного полюса деревни к «лодырям», «пьяницам», а зажиточного — к «тру-

женикам». Авторы подобных утверждений видят в них научную перспективу — взамен советской оценки кулаков как «хищников», «эксплуататоров», а бедноты — как «жертв», «эксплуатируемых». Но и в том, и в другом подходе основной спор разворачивается вокруг хозяйственно-экономических критериев социальной стратификации: наличия земли, скота, орудий производства, кустарных и торгово-промышленных предприятий и т. д. Исследователи не принимают во внимание общественные и семейные традиции крестьянского мира, взаимоотношения старожилов и переселенцев, которые в значительной степени обусловливали материальное и имущественное положение семьи, ее производительные возможности и способствовали социальной поляризации и накоплению эмоционального «негатива», который усугубил драматизм событий раскулачивания 1930-х гг.

В связи с этим в отечественной историографии возникла потребность обратиться к «творческой лаборатории современных исследований, делающих заявку на новое видение и осмысление прошлого» [2, с. 657]. В первую очередь назрела необходимость разработки социальной истории новейшего (советского) времени с применением новых методов и технологий как на этапе сбора, создания и привлечения новых видов источников (источниковедческий этап), так и на этапе их интерпретаций, введения в научный оборот, признания легитимности разных видов качественных источников (исследовательский этап). Необходимо признать, что современная зарубежная историография ушла далеко вперед в разработке проблематики и методологии социальных исследований, использовании комплекса источников, ведущих к более объемному видению социальной истории. В отличие от отечественных исследователей, зарубежные практики именно в новейшей истории идут на эксперименты, ищут новые пути и способы изучения недавнего прошлого. Одним из эффективных путей выхода из создавшейся в современной науке источниковедческой и историографической ситуации является использование зарубежного опыта устной истории, которая обращается к исторической памяти и эмпирическому опыту участников и очевидцев прошлой жизни.

Устные источники отражают «бессознательный традиционализм» в крестьянском миропонимании этого периода и показывают, что в 1920-е гг. большую роль в формировании производственных возможностей крестьянской семьи играли такие этнокультурные факторы, как ее людность и состав, трудовые семейные и мирские порядки, брачные традиции и система воспитания детей, культура питания, взаимоотношения между старыми и новыми членами сельского общества, традиции землепользования и т. п. За исключением статистико-демографических показателей численности и половозрастного состава семьи, этнокультурная информация в архивных источниках практически отсутствует. Она, как правило, содер-

жится в источниках личного происхождения (мемуары, письма, воспоминания, дневники). Однако крестьянская культура, в силу малограмотности ее представителей и отсутствия традиции графического бытописания, оставила мало письменных памятников. Но благодаря развитию устной традиции крестьянского общества в сельских семьях хранятся истории о крестьянской жизни в 1920-е гг. Эта информация отражает эмпирический жизненный опыт, и в этом смысле устные источники можно отнести к документам личного происхождения, в которых личный и семейный опыт или воспоминания о прошлом изложены через ответы на вопросы интервьюера. Потомственным крестьянам присуща рефлексия. Документирование интервью является способом расширения источниковой базы документов личного происхождения тех социальных групп российского общества 1920-х гг., которые из-за отсутствия навыков письменной культуры являлись «безмолствующим» и «безгласным» большинством.

Опыт работы по созданию устных исторических источников на основе опроса очевидцев и участников событий деревенской жизни показывает, что им, как и другим источникам личного происхождения, присущ ряд недостатков. В частности, в большей степени, чем для других источников личного происхождения (мемуары, дневники, письма, автобиографии), для устных источников актуальна проблема авторства. Если у традиционно используемых письменных источников (мемуары, дневники, воспоминания) слабым местом считается влияние автора на интерпретацию событий, что может проявляться в сокрытии или искажении информации, то в устных источниках к субъективизму рассказчика добавляется также влияние интервьюера через характер и манеру задаваемых вопросов, обусловленное предвзятостью или стереотипами самого расспросчика, его реакцией на получаемые ответы, влияющей на оценки рассказчика. Во время интервью толкование исторических событий респондентом в значительной степени зависит от того, как исследователь строит опрос, как настроит рассказчика. Но, так или иначе, круг материалов личного происхождения необходимо расширять за счет исторических интервью, ибо в них содержится автобиографическая, социально-психологическая, этнокультурная информация, отсутствующая в официальных документах. Именно по этой причине использование при исследованиях по социальной истории только официальных источников, содержащих статистические показатели демографического, экономического, национального характера, завели советскую историографию социального развития деревни 1920-х гг. в тупик. Классовая теория развития деревенского общества оказалась уязвимой. Чтобы воссоздать полноценную картину социального развития алтайской деревни, необходимо ввести в научный оборот источники, для которых характерен субъективизм.

Для устных источников по истории сельского общества 1920-х гг. характерна трансляция прошлого через семейный опыт. Домашнее хозяйство и семья, являясь исторически изменяющимися формами родственных отношений, при господстве единоличного хозяйства в первую очередь влияли на социальное развитие деревни. В технически слабо оснащенном крестьянском хозяйстве залогом экономического успеха и материального благополучия являлась большая и трудоспособная семья — семейно-производственный коллектив. В научной литературе до сих пор не делалось серьезных попыток установить связь между семейным положением, домашним хозяйством и поведением людей как в повседневной жизни, так и в различных исторических ситуациях, а тем более в русле начавшейся в это время советской модернизации сельского общества. Дело в том, что в алтайской деревне 1920-х гг. инерционные процессы развития традиционного крестьянского общества переплелись с преобразованиями, проводимыми советским государством, стремившимся внедрить в деревенскую жизнь новые социалистические отношения через коммуны, артели, совхозы, колхозы. Но главным звеном социально-экономической жизни сельского общества в обоих случаях оставалась семья, значение которой менялось в социалистическом производстве, но не в традиционном крестьянском обществе.

В трудовом коллективе крестьянской семьи 1920-х гг. разделение труда, как показывают устные свидетельства, по-прежнему производилось по половозрастному принципу. На Алтае в 1920-е гг. были повсеместно распространены неразделенные и малые семьи (отцы и дети) при сохранении значительного числа больших патриархальных семей. Малая семья состояла из супружеской пары с детьми или без детей, в другом варианте — одного из родителей со своими детьми, не состоящими в браке. Большая патриархальная семья включала не менее двух двухпоколенных (малых) семей. Счет поколений велся по мужской линии, и в каждую из малых семей входили отцы и сыновья. Примером является семья А. З. Михалёвой из с. Шубенки Зонального района. Она состояла из 15 человек. В 1922 г. отец Анны Захаровны умер от холеры, осталось 7 детей. Позднее мать вышла замуж за вдовца, у которого тоже осталось четверо детей. В этом браке родилось еще двое детей. Всего мать родила восемнадцать, но выжило только семеро (четыре сына и три дочери). Последнего ребенка мать родила в 52 года. В подобном большом семейно-производственном коллективе существовали традиции самостоятельных поколенных именований: собственных родителей и родителей мужа (жены) — «маменька» (мама), «тятенька» (папа), «братка» (брат), «няня» (старшая сестра), так как она была обязана смотреть за маленькими детьми.

Полноценный трудовой коллектив складывался в тех семьях, которые были богаты сыновьями. В 1920-е гг. сохранялась традиция, по которой

жених после свадьбы приводил молодую жену в дом родителей. Отделялись они спустя определенное время. В Шубенке Зонального района сыновья, за исключением младшего, отделялись чаще после рождения ребенка или после 3–5 лет жизни в семье родителей. По словам жительницы села Е. И. Вдовиной, сын, решивший отделиться, зимой запрягал коней и возил лес из бора (за с. Соколово): «Там он подбирал какой надо лес на дом и наваживал его. Лес пролежит зиму, а весной начинают рубить сруб. Найдут место, где поровней, и ставят там сруб. Фундамент не делали, а клали на чурки. Плотников подряжали: кто за работу даст пимы, кто шубу, а кто и мукой или мясом». При отделении сыновей отец заботился о стартовых возможностях молодого семейно-трудового коллектива и обычно давал сыну коня, корову. Дальнейшие перспективы зависели от усилий молодой семьи. С родителями обычно оставался самый младший сын, который продолжал хозяйственные и семейные традиции по достижении родителями нетрудоспособного возраста. Таким образом, семьи оставались неразделенными вплоть до смерти исходной супружеской пары.

Положение больших и неразделенных семей при единоличном хозяйстве было более стабильным и крепким, чем малых и неполных. Сыновья расширяли семейный производственный коллектив, приводя молодых работоспособных и здоровых молодых женщин. Совсем другие возможности имела семейная пара, у которой были одни дочери. По достижении ими совершеннолетия крестьянские семьи лишались рабочей силы, так как дочерей отдавали замуж, и они уходили в семьи мужей. Сельскохозяйственный труд и содержание единоличного хозяйства требовали больших физических усилий и крепких мужских рук, их отсутствие сказывалось на материальном благополучии семьи. В результате половозрастное разделение труда стало одним из факторов социальной дифференциации алтайской деревни: семьи с преобладанием мужчин, как правило, были более состоятельными, чем семьи с преобладанием женщин.

Вся производственная жизнь семьи, права и обязанности ее членов были регламентированы, и за их выполнением следил глава семьи. В этом качестве обычно выступали самые старшие мужчины или женщины, чью трудоспособность ограничивали возраст и старческая немощь. Главными персонажами семейной устной истории 1920-х гг. являлись бабушки и дедушки. Связано это с тем, что люди, рассказывающие об этом периоде, родились в 1905–1920-е гг. и выросли под их присмотром. На втором месте — прабабушки и прадедушки, далее родители и все остальные. По словам М. И. Шипуновой из с. Алтайское, «у нас еще были бабушка, мы ее „бабонька“ звали, а дедушку — „дедонька“. Вот *они нами и командовали*...». Из всех членов семьи в устных источниках самый разработанный и цельный женский образ — образ бабушки. При этом применительно к нему, в отли-

чие от всех других, фактически не встречаются иронические или негативные оценки. Она воспитывала детей; мать, как правило, была занята большим домашним хозяйством и полевыми работами. При отсутствии бабушек и прабабушек воспитательная функция ложилась на мать или ее старших дочерей. А. П. Михалёв из Шубенки рассказывал, что в их семье старшей была мать, так как отца, вынужденного уезжать на заработки, часто не было дома. Но наказывал всегда именно отец, как глава семьи. При этом информант подчеркивал, что он наказывал «не сильно, но приучал к порядку».

В полноценной семье воспитание детей родителями заключалось в приобщении их к семейному домашнему и сельскохозяйственному труду, и привитии им производственных навыков. Воспитание продолжало половозрастную традицию организации работ. Мальчиков учил работать отец или дед: ходить за скотиной, косить сено, сгребать его в копны и возить домой. За воспитание девочек и молодых снох отвечала мать или бабушка. В семье Е. И. Вдовиной всеми работами *«командовал дед, а бабка раздавала работу бабам,* также она решала, что в этот день снохи будут варить». Но за общую координацию семейного производства отвечал старший по возрасту член семьи. В семье С. М. Михалевой работу между снохами распределял дед, он в семье был самым старшим и самым главным. Он же отвечал за взаимоотношения в семье. В семье Е. М. Шатохиной из той же Шубенки снох было много, и они часто ссорились из-за детей, но дед был строгим, и они быстро мирились. Женитьба каждого сына вводила в семью молодого здорового члена, подчинявшегося традициям новой семьи. За молодыми снохами закреплялся определенный участок работы в трудоемком содержании дома. По словам А. Я. Егоркиной, снохи пекли хлеб по очереди — неделю одна, неделю другая, или если одна сноха печет хлеб, другая «чистотелит» — убирает и моет в избе, стирает. На них лежала и субботняя уборка: пол чистили песком — смачивали песок, сыпали и терли голиком. Снохи выполняли всю повседневную работу в избе: пряли шерсть, стирали белье дровяной золой, замачивая ее горячей водой в корыте, пряли лен по вечерам, гладили белье скалкой и рубелем, позже — железными утюгами (один ставили на печь, другим гладили). Самой чистой зоной оставалась горница. Как правило, в горницу «лишний раз не ходили, там всегда должно быть чисто».

По субботам снохи топили баню по-черному. У каждой семьи была своя баня. Порядок еженедельного посещения бани отражал статус членов семьи. Все информанты говорят, что первыми шли мыться мужики, затем женщины, а уж последними — старики и дети. В этом был и здравый смысл: для мужчин, выполнявших тяжелую работу, первый, самый горячий и сухой жар являлся своеобразным тепловым массажем натружен-

ных мышц, для детей и стариков наиболее благоприятный тепловой режим был в остывающей бане.

Но молодые снохи работали не только по дому, но и на пашне. В поле они косили серпом пшеницу, вязали снопы. Совсем маленьких (грудных) детей брали с собой. На пашне ставили балаган (избушку из соломы или ветвей) и вешали там «зыбку» (колыбель). Производственной необходимостью была обусловлена и работа беременных женщин до самых родов, которые часто происходили прямо на пашне. Детей крестили через неделю после рождения, имена давали по церковному календарю, поэтому в семьях часто были дети с одинаковыми именами. В таком случае их разделяли по возрасту, называя «Иван-старший», «Иван-младший».

Детей в семье ждали, они были нужны как будущие помощники, а в дальнейшем — замена старших в труде. Но к рождению дочерей и сыновей относились по-разному: появление сына, будущего помощника, являлось более желанным событием. Предпочтительность сыновей закреплялась мирской практикой наделения крестьян землей по числу мужских душ. Сразу после рождения сына ему полагался земельный надел. Девка тоже была помощницей в доме, но при этом — временным членом семьи, только до замужества (поэтому в семьях алтайских крестьян ее не стремились быстро отдавать замуж), да еще и лишним ртом, на который земли не полагалось. О разделении земли между крестьянскими дворами рассказал И. А. Медведев (с. Усть-Калманка): «Делали так: *на девок земли нету, а сын родился — вот тебе земля, второй родился сын — вот тебе земля, третий — третьему дадут. А если все девочки, то нет тебе земли.* Сам отец получает. И все!»

Рождение одних дочерей вело к малоземелью семьи и становилось трагедией. А. Я. Егоркина (Шубенка) рассказывала, что ее назвали Акулиной, потому что у матери родились подряд семь девочек, а «в народе говорили, что если назовешь девочку Акулиной, следующим должен родиться мальчик». И действительно, следующим в семье Егоркиных родился мальчик. Семьи, богатые мужиками, прирастали землей, имели постоянный материальный достаток, их производственные возможности были шире, а усадьбы лучше обустроены. Состав семьи можно было определить по внешнему виду крестьянской усадьбы: дома вдовых или безмужичных семей отличались неухоженностью, бедностью. Старожилы объясняют это тем, что дома строили своими силами, и для большой семьи, обеспеченной мужской силой, это не составляло труда и было только делом времени. Так, в семье столыпинских переселенцев Седых (с. Ново-Михайловка, Зональный район) было 5 братьев, и они за два года поставили 5 домов. Семьи с преобладанием дочерей, как правило, доживали свой век в родительских избах.

В последующей колхозной жизни большая семья, независимо от половозрастного состава, наоборот, стала фактором, приводящим к нищей жизни, зависимости от экономической состоятельности колхоза, который расплачивался за труд в конце производственного года продуктами общественного производства. Это способствовало закреплению в 1930-е гг. в деревне практики абортов и постепенному формированию модели малодетных семей. Особенно быстро на семью с двумя детьми перешла деревенская интеллигенция (администрация, учителя, врачи). Вследствие этого в деревне постепенно сложилось представление о многодетных семьях как о стоящих на более низкой ступени социальной лестницы (скотники, доярки, поярки, телятницы, конюхи). Л. П. Седых из Ново-Михайловки Зонального района рассказывала, что аборты появились еще до Великой Отечественной войны, и делали их в основном в больших семьях, так как «при большой семье жилось хуже, а маленькую было легче прокормить». Единоличная семья, которая, в отличие от колхозной, кормила себя сама, относилась к рождению детей более доброжелательно. Кроме того, православная традиция поощряла рождение всех зачатых детей и запрещала аборты.

В целом система воспитания при единоличной жизни была направлена на подготовку ребенка к трудовой жизни путем постепенного включения его в производственную жизнь семьи с учетом пола и возраста. П. Г. Гордюшкин (с. Кытманово), который был четвертым сыном и имел двух сестер, рассказывал: «У нас *мальчики были все распределенные: старший — с лошадьми возился, а второй — с коровами: напоить, дать им корму*. Отец за свиньями ходил. А овец — вот тот, кто за конями ходит, он и за овцами ходил, потому что лошадиный двор и овечий вместе были». У него, как младшего сына в семье, была конкретная обязанность — просеивание муки в амбаре для ежедневной выпечки хлеба, главного продукта питания большой семьи: «сделал ящичек, такой широкий, сделал [приделал к ящику] колесики. Здесь в конце [на узкой стороне ящика] ручка сделана. Насыпаешь муку. На дне сито… в углу амбара сиденье, [садишься] и начинаешь взад-вперед ее [ящик с ситом] катать… Вот насыпешь плицу [емкость в виде совка]… И вот катаешь [ящик на колесиках]. Иной раз смотришь — сверху отрубя одни остались, там отрубя отдельно высыпал. Опять насыпаешь муку, эту разгребаешь. Там, если много надо муки, опять катаешь… пудовку эту [тара в виде долбленой или бондарной цилиндрической посуды] насеешь… подденешь… притащишь матери, мать квашню ставит каждый день… Вечером сеяли… а утром она печет уж… а отруби свиньям». Обязанности сестер П. Г. Гордюшкин помнит хуже, так как его не приобщали к женской домашней работе. На мужиках, по его рассказу, была вся дворовая работа, а работа по дому — на женщинах, он

Сохранившийся крестьянский амбар (с. Тогул, Тогульский район). Фото 2006 г.

в нее не вникал, помнит только, что старшая сноха Татьяна пряла. В основе обучения и воспитания мальчиков лежало приобретение традиционных навыков крестьянского семейного производства — земледелия, скотоводства, добывающих и обрабатывающих промыслов и домашних ремесел. Все четыре сына Гордюшкиных начали работать рано, а первым самостоятельным трудом для каждого был ночной выпас лошадей во время сева и уборки. Как рассказывал П. Г. Гордюшкин, днем на них работали на пашне, а на ночь младшие сыновья гнали их на луга для пастьбы и восстановления сил. Утром лошадей доставляли опять на поле: «*Я начал работать совсем молодой. С лошадьми.* На неделю на пашню ведем, а в субботу валим домой… Приедешь, темно, нет никого, и кличешь… там: „Васька! Мишка!“ Но лошадей не найдешь! Ночью-то где их найдешь? Ведь степь кругом… А утром надо встать рано, домой ехать, лошадей на работу выгнать. Пойдешь, напоишь, перепутаешь… Когда друзья придут, тоже сеять в поле… а на ночь опять на луга отправляли… спали у зарожа [копны]. Сено мечут для зимы, вот в него [зарывались во время сна]…»

Для сохранения трудового потенциала в крестьянских семьях был установлен оптимальный режим труда и отдыха. Народный календарь преду-

сматривал дни, в которые трудиться было запрещено. Нарушение жестоко наказывалось. На Алтае повсеместно гуляет предание о женщине, у которой выросли на руках копыта за то, что она в воскресенье стирала. Именно по этой же причине, по словам Е. М. Шатохиной (Шубенка), нельзя было прясть лен по воскресеньям, так как это был праздник; мужчины с пашни в субботу «валили домой» в баню, а в воскресенье отдыхали.

Поддержанию трудоспособности здоровых членов семьи, как главного капитала семейного производственного коллектива, служили и традиции питания, состоявшие в очередности и строго определенных часах приема пищи, между которыми запрещалось даже «таскать хлеб». Старожилы рассказывают, что за стол садились все вместе, «человек по десять; посередине стояла одна чашка, и все из нее хлебали; первым начинал есть дед, остальные не ели, пока он не нахлебается». Как старший мужчина в семье, он руководил трапезой. А. З. Зырянова (Шубенка) рассказывала, что посуды почти не было, ели прямо со стола, мать высыплет на стол картошку — вот и вся посуда, или тыкву испарит, и ели из нее. В их семье стол стоял возле окна, сидели на лавках: одна сквозная, широкая, и приставные скамейки. Дедушка садился в передний угол. Традиции питания поддерживали дух коллективизма: «Мать говорила: „Давайте садитесь обедать". Ну, или ужинать. *Все уселись. Не так, чтобы один залез и начал есть, нет, а все уселись. Каждый на своем месте сидел*… Отец сидел с краю… 11 человек. Богу молились. Садились за стол и молились… Порядок был таков: мясо было, отец ложкой по чашке стук. Все кусок мяса берут. До этого никто не тронет… А мать… ей некогда было. Редко когда мы рассыпемся и она с нами покушает. А так в основном командовала мать: „Завтрак готов, садитесь есть…" Ну, когда и сноха обслуживала» (П. Г. Гордюшкин). Порядок выхода из-за стола тоже предусматривал совместное действие: «*Из-за стола выходили все вместе*… Если в середке сидеть, то он дожидается, пока крайние будут выходить…»

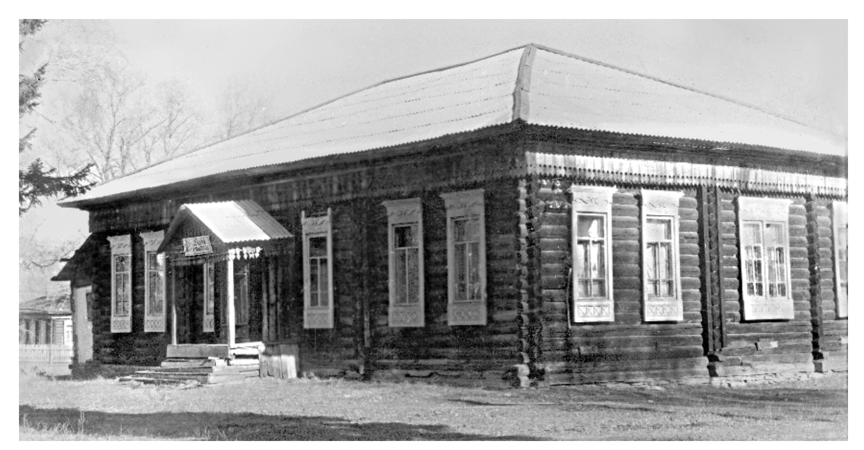
Таким образом, совокупный материальный доход семьи в традиционном обществе с натуральной системой жизнеобеспечения во многом зависел от соотношения старших и младших поколений, мужчин и женщин, взрослых и детей, их здоровья, трудовых навыков, готовности к работе. Он мог меняться, когда менялись демографические показатели.

Зависимость производства совокупного дохода единоличной семьи от этнокультурного фактора закрепляли господствовавшие в 1920-е гг. общинные традиции, в том числе традиции наделения крестьян землей. Рассматривая развитие социальной структуры этого периода, необходимо учитывать силу мирских порядков в алтайской деревне. Общинная власть сохранила влияние на жизнь крестьянской семьи и сельского общества. Новая экономическая политика советской власти, ослабив администра-

тивные тиски и предоставив инициативу в хозяйственных вопросах низовым звеньям общественной структуры, усилила позиции общинной власти, оставив за собой некоторые функции контроля. В частности, старожилы с. Черная Курья Мамонтовского района вспоминают, что когда «центром волости был Барнаул, в село из города приезжали урядники проверять и контролировать село и землемеры для выделения земельных наделов[1]. *На общем сборе* выбирали земского старосту. При себе староста имел писаря. В их функции входило управление селом. На сборе выбирали также церковного старосту, отвечавшего за ведение церковного хозяйства». В Кытманово, которое было волостным центром, выбирали старосту, волостного писаря (в 1920-е гг. им был дядя информанта Максим Варфоломеевич Гордюшкин), урядника. Эта выборная группа в обычные дни находилась в «волости», как крестьяне называли большое рубленое здание в центре села. Но все решения они принимали, согласовывая их с обществом. Та же схема самоуправления была на уровне села — сход (сборня). В его ведении были все земельные, общинные и общехозяйственные вопросы. С. И. Тырышкин (с. Ново-Тырышкино, Смоленский район) обозначил власть «сборни», выражавшей общее мнение, через ее роль в сохранении общественных покосов и семейных посевов: «Пастбища раньше находились за поскотиной. Огораживали деревню [поскотиной]. Где сено косить — место отводили, *указывала волость, а потом сборня*... Вокруг деревни была огорожена [поскотина]... Бородачи ездили, проверяли, как загородил [свою часть]. Староста, его заместители, секретари. Кулачки, крепче которые были. Они решали все. Наказывали прямо в избе. На сборню позовут и вложат розги. Поскотину городили из жердей горизонтально — 5–6 жердин: ворот было мало — четверо ворот. Если въезжаешь в деревню, закрывай ворота...»

До наших дней во многих селах Алтайского края, являвшихся некогда центрами волостей, сохранились большие рубленые здания, остатки административных учреждений — волостные правления. Крестьяне называли их «волостью». При них формировались площади, на которых собирали крестьян для принятия решений. А. А. Казаков из волостного центра с. Алтайского так описывал место, где сообща решались все насущные вопросы крестьянского мира: «Волость была, где техникум [построен на месте волостного правления]. Сборня была [площадь перед волостным правлением], где крестьяне собирались на сход. И *один урядник на весь район* [волость]. *И справлялся*. У него была форма и побрякушка. Вот ночью идет и побрякивает [следит за порядком и звуком показывает, что «милиция не

[1] Имелись в виду сельские земельные дачи, выделяемые общине, а внутри нее по дворам землю делили сами крестьяне на сходе.



Сохранившееся здание волостного правления (с. Куяган, Алтайский р-н). Фото 1994 г.

дремлет»]. Значит, урядник». Государственная власть была представлена небольшим числом чиновников, контролировавших крестьянское самоуправление.

О силе крестьянского самоуправления вспоминают все старожилы. Во главе сельского общества с. Суслово (Мамонтовский район), включавшего население окрестных деревень, стоял староста. Его выбирали на сходе села сами крестьяне. Право голоса принадлежало только мужчинам. При нем формировался, как его по-современному называли старожилы, «комитет» в составе 15 человек из числа наиболее уважаемых людей села. В его руках находилась судебная власть. Она вершилась, в оценке старожилов, «по совести». Все проступки односельчан крестьяне (мужчины) рассматривали на сходе, обсуждали их и выносили приговоры. Сами наказывали за воровство и мелкие провинности. В основе работы старосты и «его комитета» — волостного правления — лежала трансляция обычного права, основанного на принципах общинной и православной этики, традиционных норм бытия. Борьба с нарушениями обычного права носила характер наказания, а также воспитательно-профилактического воздействия. Например, по устному рассказу Е. И. Неданова (с. Суслово, Мамонтовский район), с воровством боролись следующими мерами: «В селе стоял столб. На нем был вбит гвоздь. Если кто-нибудь нашел чужую вещь, хомут или еще что, он должен прийти и повесить на этом столбе эту вещь, а хозяин потом заберет. Если же *нашел вещь и не повесил, а у тебя ее увидели — считалось, что ты ее украл*. В таком случае на виновника надевали то, что он украл или *скрыл*, и водили по всему селу, а люди кричали: „Вор, вор!“» Интересный случай описал П. Г. Гордюшкин из с. Кытманово, наблюдав-

ший эту картину в детстве, причем она оказала на него, как, по-видимому, и на его сверстников, огромное воспитательное влияние: «Я вот помню, один мужик уворовал овчины какие-то, украл лен мятый. Его поймали, подпоясали — опояски носили тогда. Все [наворованное] там связали кучей и повезли в село [он тащил за собой кожу с наворованным]. Дадут [тычки в спину] ему и говорят: „Шуми — я вор, украл!“ на улице. А *люди всё видят, знают*. Говорят ему „Шуми!“ Это я пацаном был, помню. Привели его туда [на улицу перед волостным правлением] — *староста выходит, писарь, урядник, спрашивают мужиков*: „Че мы ему дадим? Какое наказание?“ Ну, смельчаков много всяких. „Как попишем [какое наказание назначим]?“ „А вот так — полупим“. Ну и там, поговорили, поговорили — как украл, чего украл, чем украл. Вопросов было много. Ну, значит, *так и решили* — пописать [побить]. Вот они его и „пописали“ [кулаками]».

По словам старожилов, сход собирался для решения главных вопросов, из них самым важным являлся вопрос о разделе земли, в котором они руководствовались нормами обычного общинного права, т. е. по «едокам» — мужским душам. В результате поземельное наделение семьи зависело от половозрастного состава. Земли было много у тех, в чьей семье было много мужчин, и без земли оставались семьи, где во всех возрастных категориях (старшее, среднее и младшее поколение) преобладали женщины. В Суслово, по воспоминаниям респондентов, землю давали только на мужчин по 3 десятины (36 загонов), что часто приводило к обезземеливанию тех семей, в которых было мало мужчин, и способствовали превращению этой части односельчан в батраков. Этот этнокультурный фактор часто не учитывается в научной литературе, не говоря уже о публицистике, где господствуют тенденциозные, сформировавшиеся в угоду современному политическому моменту оценки социальной структуры крестьянского общества доколхозной деревни: «бедных» — как «лодырей», «бездельников», которые не хотели работать, «кулаков» — как тех, кто нажил собственным трудом богатство, под которым понимается в том числе и земля. В научной литературе общинно-земельный принцип наделения землей разных по составу крестьянских семей учитывается слабо. Е. И. Неданов (Суслово) рассказывал: «Вот здесь Семен Макаров жил, *восемь девок было. Хорошо жил* — молотилка была, сенокосилка, грабли конные, дом хороший, *а земли нет*. Так он покупал у отца [отца информатора]. *У нас было 9 мужиков, он ему отдавал*. Семен ему хлеб [за землю давал]. Скосит машиной сено. *Как договорятся* [форма платы за землю]. Вот так жили».

В семьях, где были одни дочери или по другим причинам преобладали женщины, земельно-производственные условия были неблагоприятными для развития единоличного хозяйства, и соответственно возможности се-

мьи были сужены. Такие семьи обычно переходили в разряд малоземельных или безземельных бедняков, так как лишались производственной базы и должны были зарабатывать средства к существованию продажей своей рабочей силы (наймом). В современной исторической литературе наметилась тенденция к обоснованию многофакторности социальной дифференциации.

Вместе с тем устноисторические исследования показали, что энокультурные факторы имели не только негативные последствия. Существующие в крестьянской среде традиции включали и комплекс мер по устранению социального перекоса. Историки давно обосновали уравнительный принцип общины, указали на целый ряд мер, выработанных общиной для недопущения пауперизации части общинников, превращения их в нищих, которые ложились бременем на плечи сельского схода. Но эти выводы спроецированы в первую очередь на тот период, когда преобладала фискальная функция общины, обязанной платить налоги не индивидуально, а коллективно. В таком случае за производственно несостоятельные семьи несли тяготы их односельчане, разверстывая недоимки по крепким дворам. Уже тогда формировались разные способы возмещения крепким односельчанам затрат со стороны маломощных хозяйств. Как показывают устные рассказы, эта традиция сохранялась и в 1920-е гг.

Но в рыночных условиях взаимоотношения в сельской общине приобретали и новые формы. В воспоминаниях живых очевидцев содержится информация о переплетении традиций и новаций в сельском обществе. В частности, во многих интервью содержатся жизненные примеры, свидетельствующие об определенной разумности выстраивания отношений между экономически состоятельными (обеспеченными землей) сельчанами и обнищавшей (безземельной) частью деревни на основе патернализма, заложенного в патриархально-семейных и социальных отношениях, своеобразной заботе сильных о слабых, когда слабые (безземельные), стоящие на низших ступенях социальной лестницы, находили защиту у лиц с более высоким статусом. При этом, как показывают устные истории, покровительство устанавливалось в обмен на оказание трудовых услуг. Патернализм затушевывает отношения господства и подчинения и в целом нивелирует понятие эксплуатации, которое является ключевым в советском варианте исторического анализа общественных отношений в деревне. М. И. Шипулина из с. Алтайское рассказывала: «У отца было три брата, у одного один ребенок — сын, у другого два — сыновья, а *у нас четыре — дочери. И тем-то всем приходится земля, а у нас один дед с землей, маму как многодетную и ту не вводили в этот список*». Отец Марии Ивановны, чтобы прокормить семью, постоянно уходил на заработки, а своих дочерей «привозил (на подработки), и мы все делали, и снопы вяза-

ли... А потом у нас старшая сестра замуж вышла: *надоело ей мужиком быть* — телеги мазать...».

А. И. Арзамасцева из неполной семьи (с. Черемное Павловского района) потеряла отца в два года, и маленькие дети остались с матерью. Они рано начали зарабатывать, она сама «работала у Кобзева Андрея, у Минаева Егора... Чуть хребет не сломала (копнила)». Поэтому в ее памяти осталась горькая детская обида на несправедливость: «богатые землю брали получше, нам похуже давали... У богатых были молотилки, лобогрейки, много скотины. Они запрягали лошадей. Один правит... другой сидит на лобогрейке. Мы к ним *ходили просить, а они нас работать заставляли. Не дай бог такая жизнь вернется! Все руки в работе обдерешь, получишь двадцать копеек*... Мы у богатых хлеб пололи, убирали, мололи. Веялки были, там один крутит, один сыпет, другой отгребает. Подсев был — большое круглое сито на ремнях, сыпешь хлеб и сеешь. Мы *батрачили на кулаков*». Семья Х. А. Кузнецовой (с. Михайловка Усть-Калманского района) также была неполной, так как отца убили: «Осталась мать с пятью детьми... говорить даже трудно, как плохо стало жить [без отца]. *Мне надо было юбку заработать да платок*. Плохо мы жили. Очень плохо. Были и побогаче. *Работали-то мы у кого? У богатых*. Весной кизяки нанимали [богатые], кизяки делали. А кизяки, знаете, как кирпичи! Как из назьма [навоза]. Толкут, толкут назем коньми, натолкут. Надо делать кизяки. Прям — „Пойдем кизяки делать?“. Немного погодя — подсолнухи колотят. Опять же у богатых. Пойдем, занимались, подсолнухи-то. Пойдешь к ним колотить! Он говорит, богатые же люди: „У нас в Рассее мало обедали!“ — „Да как же, дядя, надо еще поужинать!“ — „Нет, нет. У нас в Росее не поужинали“. *И вот так с голоду нас морили*[1]. А потом молотить. Возили домой снопы. Жали-то серпами, то литовками. А потом молотить опять к богатым идешь... *Да, мы особенно плохо жили... мама осталась, детей много. А лошаденка, конишко один, лошаденышка*...» Она же помнит и своих богатых односельчан: «Да, богатые были... Кузнецов был, отец и сын Кузьма. А шапки бобровые... Он за нами приходил. Ведь работать — тоже каких добросовестных, каких... всякие люди есть. Недобросовестные... *Добросовестные особенно бедные. Платили-то хлебом. 16 кг*».

Приведенные примеры отражают сложный и противоречивый характер патернализма, но в социально-экономических условиях алтайской деревни он играл определенную роль в выживании малоимущих семей. В частности, отсутствие половозрастного равновесия в крестьянских семьях привело в алтайской деревне в 1920-е гг. к процветанию института «ня-

[1] Одним из способов расчета с детьми было обеспечение их питанием в течение рабочего дня.

нек», когда девочки подросткового возраста за еду, семена, масло переходили жить в семьи, где преобладали мужчины, имелось достаточно земли и не хватало женских рук для работы по хозяйству при большом количестве малолетних детей. Так, в семье П. Г. Гордюшкиных были одни сыновья, а у его тестя было «семь девок». Поэтому, по словам Петра Григорьевича, в семье тестя было «два „маяка" — отец его и он сам. А у Гордюшкина «семь ребят, ни одной девки. У этого много, а у этого нет… Порядок-то, видишь, был какой плохой… покупали землю, в аренду брали вместе с ним…» Глава семьи Гордюшкиных брал на время в свою семью для помощи жене девочек из семей с преобладанием женщин или принимал на временное жительство девушек из переселенческих семей, которые долгое время по решению сельских обществ оставались без земли.

Миграции и переселения также являлись значительным этнокультурным фактором в формировании «бедной части» деревенского общества. Прибывшие новоселы, как правило, на начальном этапе обустройства, не получая от крестьянского общества земли, зарабатывали длительным трудом не только землю, скот, но и признание односельчан подработками, в том числе отдавая своих малолетних дочерей или сыновей «на пропитание» за работу в семьи старожилов. От этого выигрывали как переселенцы, так и старожилы. Первые получали возможность «заработать на жизнь», вторые — рабочую силу и трудовые навыки переселенцев. Часто именно российские переселенцы приносили в семьи сибирских старожилов традиции домашних и кустарных промыслов, широко развитых в крестьянском хозяйстве мигрантов из «Расеи». В семье тех же Гордюшкиных жила «одна девка» из переселенцев — «женских рук не хватало… рязанская, с России приехала… она упражняла прясть» старшую сноху рассказчика — Татьяну. За это ей предоставили место жительства, кормили ее, принимали на правах трудоспособного члена семьи.

Поэтому в алтайской деревне институт нянек был широко распространен и представлял собой своеобразную форму батрачества. Многие девочки-подростки именно таким способом вносили свой вклад в совокупный доход семьи. В советской историографии «няньки» включались в категорию батраков. Надо заметить, что и в народной историографии синонимом слова «нянчить» часто являлось «батрачить». И наоборот, в семьях, где было много сыновей, подростков отдавали как бы «напрокат» в другие семьи, где не хватало мужских рук. Того же П. Г. Гордюшкина «давали на время» кузнецу Мачулину[1]. Мачулин, как и большинство деревенских кустарей, зарабатывал своим ремеслом, но и, как все сельские кустари, па-

[1] Устные источники показали, что в Кытманово обосновалась семья кустарей-переселенцев Мачулиных, один из братьев был известным кузнецом, другой — известным в округе столяром и плотником-красодеревщиком.

раллельно «занимался землей». По словам очевидца П. Г. Гордюшкина, «у него и посевная площадь небольшая была, но *девок много было, а ребятишек не было*. А я боронил. Хозяину пора сеять пшеницу… тогда мешок на себя оденешь [через плечо вешался мешок с семенами], там пудовку высыпешь [в него] и идешь, под ногу [бросаешь горсть семян]… Раз шагнул — бросил, туда шагнул — туда бросил. Вот я жил у них сезон. На посевной — неделю там, две, может быть, и на уборку. И *сосед вот возле нас жил,* три брата у них. *Девки есть, а ребятишек нет у них.* У них тоже я жил. Я в доме-то [отца] вроде как лишний — у нас-то ребятишек много… Я там [в этих семьях] *как дома — ем, пью и все*… только обут и одет в свое… *Хозяин с отцом сами договаривались* [об оплате]… мне и не докладывали. Говорили: иди вот сюда, работай, и все». Таким образом, наряду с «институтом нянек» практиковался и временный перевод мальчиков в семьи с преобладанием девочек. Они выполняли мужскую работу наряду с хозяином на подворье и в поле. Часто оплата труда ограничивалась полным содержанием на время подработок.

В целом обычное право закрепляло роль гендера по линии разграничения общественного и личного. Общественная жизнь являлась уделом мужчин (общинное самоуправление, право голоса, имущественное наследование, земельное право и т. д.), а семейная жизнь была женским полем деятельности (дети, домашнее хозяйство). Но все же решающим фактором социальной дифференциации, как показывают устные источники, были общинные традиции наделения крестьян землей не по общему числу членов семьи, а по едокам, т. е. мужским душам. Так в народном сознании заранее закладывалось ролевое неравенство мужчин и женщин (при этом мы не рассматриваем еще один важнейший фактор — православную этику). Вместе с тем устные источники показали, что рождение одних мальчиков также нарушало трудовой баланс в семье. В таком случае рождение дочери тоже являлось радостным событием, иначе приходилось восстанавливать равновесие в домашнем производстве, в том числе обмениваясь на время малолетними (чаще в подростковом возрасте) детьми.

Таким образом, в алтайской деревне 1920-х гг. работа подростков в чужих семьях (девочек — в семьях с преобладанием мужчин, мальчиков — с преобладанием женщин) являлась своеобразной формой расчета: она могла происходить в виде эквивалентного труда — труд кузнеца на труд земледельца — или в виде обмена продуктами труда: кузнечные изделия на хлеб. Трудом расплачивались за семена, пользование машинами, обмолот хлеба или рушение крупы и т. д. Можно сказать, что в качестве эквивалента одного вида труда выступал другой вид труда. Вот как описывают старожилы организацию обмолота с приглашением хозяев — владельцев конных молотилок (это могли быть их односельчане или крестьяне соседних сел): «*Были*

у нас такие люди, держали молотягу. Он [хозяин молотяги] приезжал сюда (в Кытманово). А нас спарилось три двора, и года два, три ездил к нам. Машину привезет на своих лошадях [она была тяжелой и габаритной] и молотил здесь… на одной лошади ее не привезешь… там ведь круг был такой, барабан… Его лошади вращали… День и ночь работали, молотили… Иногда в неделю не управлялся… потому что пашни-то у нас разные [не столько по площади, сколько по расположению полей в разных местах]. Вот у нас перемолотил пшеницу, рожь и овес, просо там. Пшеницу измолотили — убрали все. Потом овес. Надо машину взять, перенести соседу, установить там. А время идет. Но он ездил. Он не обижался на нас. *У кого работал, тот его и кормил. Рассчитывались овином — 25 кучек по 10 снопов… А то вместо* [хлеба] — *отработки делают. Он нанял тебя, ты ему отрабатываешь.* Но мало, в основном расплачивались зерном» (П. Г. Гордюшкин). Устные источники показывают многофакторность процесса формирования батрачества: семейные традиции, патриархальные устои общинные порядки, старожильчески-переселенческие взаимоотношения.

Конечно, производственную мощность семьи обеспечивали и экономические факторы: наличие достаточного количества скота, особенно рабочего, и орудий производства, но главным фактором для крестьянского хозяйства (не считая деревенских кустарей и торговцев) была земля. Поэтому в Суслово семьи среднего достатка, обеспеченные, в представлениях потомственных крестьян, землей, держали по 2 коровы, 4 лошади, очень много овец и свиней, до 100 голов: их кололи на зиму для еды, коров держали для молока, а лошади были главной тягловой силой. Многие семьи в 1920-е гг. стали держать лошадей на продажу и переходили в разряд предпринимателей. По воспоминаниям очевидцев, такие крестьяне держали до 50 голов. Интересно, что, по устным свидетельствам, сена лошадям практически не заготавливали, кормили их овсом, а пастись выпускали в поле, в места сенокосных угодий. Для рекламы своего товара хозяева лошадей обычно участвовали в таких традиционных крестьянских забавах, как конные бега («бегова»), которые устраивались несколько раз в году — на крупные религиозные праздники: Крещение, Рождество, Масленицу, на престольные праздники, на ярмарках.

Таким образом, обменные трудовые операции («ты мне молотишь, я с тобой расплачусь полученным хлебом») в определенной степени носили взаимовыгодный характер, что не соответствует определению «эксплуатация труда односельчан», характерному для советской историографии. Устные свидетельства показывают, что в 1920-е гг. богатых и бедных объединял труд. Вместе с тем и сформировавшуюся в последнее время в современной научной литературе тенденцию к крайнему преувеличению значения патернализма в крестьянском патриархальном обществе и его поло-

жительная оценка, даже идеализация (как симбиоза богатых и бедных) также нельзя назвать научно корректной. Как показывают устные источники, взаимоотношения в ходе трудового обмена не всегда носили эквивалентный характер, часто зависели от личных качеств той и другой стороны, от индивидуальных взаимоотношений и т. д.. Хотя и отрицать, что работа на себя и на другого часто носила взаимодополняющий и взаимовыгодный характер, нельзя, трудовые обмены были выгодны как зажиточным, так и беднейшим семьям, в том числе и по причине половозрастного разделения труда. В алтайской деревенской семье процветало чисто крестьянское отношение к труду — как к средству жизни семейного и сельского коллектива.

Устные свидетельства отражают традиционную трудовую этику и в других семейно-родственных и общественных формах существования крестьянского мира. В 1920-е гг. были широко распространены коллективные (общинные) формы труда по зачистке леса, малых рек и родников, по содержанию дорог, строительству общественных сооружений и др. Совместный труд в таком случае не оплачивался, его результаты являлись общим достоянием. Материализация результатов труда через возведение плотин, мостов, строительство дорог, охрану и очистку лесов, малых рек и ключей способствовала сохранению уважительного отношения к нему, повышала его ценность и укрепляла позиции трудового мерила общественных работ. Часто труд выступал эквивалентом денег и в отношениях с сельскими предпринимателями и кустарями. Например, за выделку овчин кустарь забирал их часть, кузнец за оковку колес телеги получал зерно или кожи. Обычно рассказчики вспоминают конкретные случаи. Например, в Сосновке Смоленского района «кустарей своих не было. А приезжали, бочки ладили, печки складывали. Они всё залатают, починют. Вот к нам из Куягана приезжали. И свои, местные, были, печи клали… Был свой печник. А вот кадки делал бондарь. Из Куягана привозили — ездит, предлагает: „Кому? Кому?“ А вот мой отец сам и бочку делал, и из коры березы делал такие туесочки, и большие и маленькие, и кружку и ложку. Так они и сами занимались, кто что мог» (Ю. Тутова). Таких примеров в документированных интервью встречается много.

Можно рассмотреть взаимоотношения сельского общества и деревенского мельника в с. Кытманово, содержавшего водяную мельницу на Чумыше, на примере устного повествования П. Г. Гордюшкина. По его рассказу, река отличалась полноводьем в весенний период, часто размывала земляную мельничную плотину, поэтому крестьяне Кытманово ежегодно собственными силами, всем сельским миром обновляли ее. В плотине при первичном строительстве оставляли два «вешника» для прохода воды, но после зимы их размывало, особенно верхнюю часть плотины, так как, по

словам респондента, «лед идет-то твердый, вот и разламывало». Каждый раз после прохода весенней воды ее снова всем селом «прудили плацами [пластами]… Пахали [целину], там такие… нарезали [дерн] и возили на лошадях… заезжали и сваливали хворост, дерн… *Деревня была разбита на два „взвода“: …вот сегодня одни работают, а завтра обязаны вторые работать.* За это он [крестьянин] у него [мельника], ну, как сказать, был батрак, наверное, вот он [мельник] записывал [учитывал труд для последующей оплаты], вот, мол, привез там два воза или три воза. Он спрашивает: *„Под помол или деньгами?“* Ну, там как отец сказал — „под помол“[1]. Записывает и отдает тебе под помол. А если нет, сразу деньги отдает. Вот так. За неделю плотина готова». В результате часть зерна мельник бесплатно молол односельчанам за участие в весенней запруде.

Устные свидетельства показывают, что в 1920-е гг. крестьянское общество было готово как к индивидуальному, так и к коллективному трудообмену. В целом в алтайской деревне труд являлся нормой в повседневной жизни крестьян, для крестьянских детей — привычкой с детства. Они наблюдали за поведением и организацией труда старших и воспроизводили эту модель. В каждой трудовой сфере (земледелие, строительство мостов и плотин, ямщина) был свой мастер, человек, знающий дело. На время коллективных работ он становился старшим. Общество доверяло ему и беспрекословно подчинялось. В коллективной работе дети получали бесплатные уроки труда. Так, в приречных селах Причумышья жилые дома часто располагались по обоим берегам Чумыша. Связь двух частей села летом обеспечивалась благодаря ежегодному строительству моста через Чумыш. Постоянные мосты не выдерживали буйного характера реки в весеннее половодье, поэтому сельскому обществу с. Кытманово приходилось устанавливать мост весной и снимать его осенью. П. Г. Гордюшкин гордо говорил: «Ты думаешь, как мы его делали? Два дня — и мост готов…» И дальше он описывает организацию коллективного труда по группам: одна группа вбивает в дно реки сваи, другая крепит на сваях бревна в виде обрешетки, третья настилает бревна: *«Старшим был дед Усов… он командовал. В общем, хозяин.* А деревня, как я уже сказал, на два взвода разбита… где командовал этот дед. Было записано, где работать. Спускают „копер“ — деревянная площадка, чтобы не тонула, а там, на конце площадки, два столба стояли высокие, метров семь, может, больше… а посередине такая жердь обшита, три пальца шириной [перекладина на столбах]. Там такое колесо сделано, ну, на нем закрепленный трос. На полу 18 кг такая железная чурка, только четырехгранная она. У нее ушко как вот у гири сдела-

[1] То есть соответственно вложенному труду мельник обязывался бесплатно молоть часть зерна крестьянина, участвующего в укреплении плотины.

но. А у этого троса такой крюк сделан... Подымают[1]... Спустили сваю на воду, подплывают, где вбить эту сваю, эту [сваю] между этих столбов ставят... И вот начинают бить. Чурку тросом поднимают, 3–4 раза ударят, и все [свая вбита в дно реки]... И поют песни там... и матерные, и добрые, всякие... Вот они 3–5 пар [свай] забили, тут столб [свая], там столб [свая], пара. А сзади идут, уже, значит, насадку делают. Ну, как бревно поперек. А тут [другая группа сельчан] уже настил делают и перила делают... [кладут доски на бревна]. Вот сделали его — и до морозов, пока лед не станет держать (зимой ходили по льду). Потом все это разбирают и на берег возят, складывают [до следующего лета]. Вот этот дед караулит их... он так на том мосту и помер».

В заключение анализа устных исторических источников, созданных путем интервьюирования, и подводя итоги влияния этнокультурных факторов на социальное развитие деревни, можно отметить их значительную и противоречивую роль. С одной стороны, как показали устные свидетельства, этнокультурные традиции нивелировали остроту взаимоотношений этносоциальных групп через семейный и коллективный труд, с другой стороны, сами способствовали социальной дифференциации и даже общественной поляризации крестьянского мира. Особенно ярко это противоречие проявлялось в общинном принципе наделения крестьян землей не по едокам, а по мужским душам, что нарушало уравнительные тенденции общины и вело в конечном счете к выделению группы безземельных и малоземельных семей. Именно из них формировалась среда батраков, преимущественно женщин, зарабатывающих на жизнь работой в зажиточных семьях. Усугубляли социальную дифференциацию переселения. Они вносили определенную эмоциональную напряженность в крестьянское общество; личные обиды усилили накал страстей в период последующего раскулачивания. Вызревали чувства обделенности, несправедливости, желание мести. На такую психологию части алтайского крестьянства благодатно легла государственная политика создания образа врага в лице кулаков в период коллективизации и раскулачивания 1930-х гг. А в 1920-е гг., как показали устные свидетельства очевидцев, государственная власть не вмешивалась в мирские порядки и контролировала только дела, сопряженные с государственными интересами.

Единственными мерами, призванными нейтрализовать монополию многодворной общины, было введение с 1 декабря 1922 г. нового Земельного кодекса, закрепившего внешнюю правовую устойчивость крестьянского землепользования. Согласно ему, трудовое землепользование в Си-

[1] Колесо крепилось на перекладине, на него наматывался трос с крюком. На крюки за ушко цеплялась 18-килограммовая гиря. Колесо вращали за ручку перекладины и поднимали тяжелую гирю.

бири осуществлялось в трех формах: товарищеской, общинной и товарно-участковой, которая делилась на отрубную и хуторскую. Это привело к массовому выделению выселков и частей села, что ликвидировало такое негативное последствие многодворной общины, как малоземелье и дальноземелье, ввело в оборот новые целинные земли. Так, крестьяне с. Вылково Тюменцевского района образовали с. Гришенское Мамонтовского района и вместе с крестьянами сел Корчино и Ермачиха — еще около десятка выселков вдоль соснового бора: Московский, 12 Октября, Петровский, Веселовский, Рыбальский, Комаринский, Красносельский. Однако они все остались в подчинении сельских сходов Корчино и Ермачихи, поэтому от дробности участков избавиться не удалось. Крестьяне владели несколькими участками в разных местах, как говорят старожилы, «по ложка́м», «по взгоркам», а при очередном переделе земли «у нас здесь, вот на этой стороне почему-то, где была пашня, взяли, а в другом месте дали…».

Закреплял власть старых сел над окрестными деревнями, выселками, заимками единый церковный приход (приходская община). Усилиями всего сельского общества строили церковь, открывали приход, куда возили детей на крещение, где регистрировали браки и смерть. Входящие в церковный приход населенные пункты связывали в единое общество престольные праздники. Они имели принципиальное значение для формирования образа родной деревни в сознании ее жителей. Любой престольный деревенский праздник являлся своеобразной «визитной карточкой» деревни; наличие своего престольного праздника являлось «входным билетом» деревни в единое сельско-приходское общество, а также играло роль «знака отличия» ее от остальных, входивших в приходскую общину.

На территории всего Алтайского края, как показали экспедиции 1990–2006 гг., существовала крепкая традиция престольных праздников. Все старожилы хорошо помнят духовное единство, которое формировали церкви в своих приходах, а закреплялись связи приходов браками молодежи из соседних поселений. Весь крестьянский мир роднился между собой и собирался на церковные праздники. Например, на территории Зонального района график выглядел следующим образом: в Соколово престольный праздник — Рождество 7 января, в Савиново — Петров день 12 июля, в Комарово — Троица, переходящая по датам в конце мая — июне; в Шубенке — Петров день 12 июля, в Старой Чемровке — Михайлов день 21 ноября; в Новой Чемровке — Ильин день 2 августа; в Новомихайловке — Михайлов день 21 ноября; в Луговском — Михайлов день 21 ноября. Серия престольных праздников на территории Зонального района описывается так: «Сегодня в Луговском престол — Михайлов день. Вот мы все собираемся и едем к сватам. Там дочь моя замужем. Мы у них дня два гуляем, поем и пляшем, нам весело. Потом домой. А они к нам на Петров день приедут»

(Е. И. Вдовина, с. Шубенка). В соседнем селе Ново-Михайлово престольным праздником был Михайлов день, связанный с датой основания села. Как рассказали супруги Демины, «был поп Михаил, который сказал: „Пускай село будет названо Михайловкой, в честь того, что у меня сегодня день рождения“. Так и назвали». Все старожилы подчеркивают, что в этот день «приезжали сваты, дочери, сыновья», дома оставались старики и маленькие «ребятёшки», а так как престольные праздники были переходящими, родственники, крестьяне соседних сел в течение года регулярно собирались в эти дни, закрепляя общинные, семейные, родственные основы традиционного общества.

Каждое село в день престольного праздника становилось местом встречи крестьян одного прихода, общины, а благодаря брачным и родственным связям — приходов соседних сел одной или двух-трех волостей. Таким образом, престольные праздники являлись ниточками, связывающими крестьянский мир разных сел в единое крестьянское общество. Объединение крестьян в приход и регламентация церковью жизни мирского общества не только усиливали власть традиций и общинных порядков, но и смягчали социальные противоречия, собирали всех прихожан на общие молитвы, влияли на повседневное поведение, воспитывали терпимость и благожелательность в отношениях.

В результате, как свидетельствуют устные исторические источники, революционные события и нововведения советской власти не привели в алтайской деревне 1920-х гг. к глубинным изменениям. Инерционное развитие крестьянского мира базировалось на семейных и общинных традициях. Материальной базой было семейное производство, социальной — крестьянский мир. В результате в 1920-е гг. советская власть невольно продолжила традиции российской истории; когда государство вводило новые законы, новые формы отношений, крестьяне интерпретировали их по-своему, преломляя через призму традиционного юридического права (обычного права), и накладывали на крестьянскую общинную и патриархально-семейную основу, которая служила подоплекой (в прямом смысле) под новой советской «рубахой». Вместе с тем единоличные традиции хозяйствования, закрепленные новой экономической политикой, расходились с лозунгами советской власти, социалистической модернизации сельскохозяйственного производства, введения новых общественных отношений. Земельная общинная традиция фактически подрывала провозглашенный советской властью принцип равенства крестьянских семей, мужчин и женщин. Патриархальный семейный уклад, основанный на Домострое, также не способствовал утверждению равенства — как экономического, так и социального. В этом смысле институт общинности, патриархальность семьи, домостроевские порядки являлись факторами, тормо-

зящими социалистическую модернизацию алтайской деревни. Именно поэтому они попали под молот коллективизации 1930-х гг. Коллективизация и раскулачивание не только сокрушили экономическую самостоятельность единоличной семьи, но и привели к падению авторитета прежних ценностей.

2.4. Коммуна в оценках крестьян: первые шаги к новому мышлению

Важнейшей темой социальной истории является мотивация к труду. В начавшейся в 1920-е гг. социалистической реорганизации крестьянской деревни и модернизации крестьянского сознания именно в этой сфере происходили кардинальные изменения. Первым практическим шагом советской власти к формированию нового крестьянина стало создание коммун и артелей как первый опыт коллективного хозяйствования, изменивший статус крестьянина, повлекший за собой переориентацию человека с материальных стимулов труда на духовные (коммунистические). Образование коммун стало также первым опытом советской власти в формировании новой сельскохозяйственной системы расселения, отличной от крестьянской трудовой модели. В отличие от заимочно-хуторской и выселковой формы развития сети населенных пунктов по инициативе крестьян, коммунарское движение инициировалось партийным государством и стало первым кирпичиком в советской модели модернизации патриархальной деревни. Поэтому рассказы бывших коммунаров и их детей являются важными источниками для анализа изменений, происходивших в крестьянском сознании, результатов внедрения новой идеологии и модернизации мышления, вступивших в противоречие с традиционными крестьянскими ценностями и жизненными установками. В этом отношении особое значение в документированных интервью имеет не столько их фактографическое содержание, сколько интерпретация прошлого информаторами. Один из основателей школы устной истории в Италии А. Портелли подчеркивал: «Особенность устных источников заключается в том, что они доносят до нас информацию не столько о самих событиях прошлого, сколько о смысле этих событий» [7, с. 39]. Интересно услышать оценки очевидцев, познакомиться с их восприятием советских новаций. Субъективная субстанция в рассказах коммунаров, так же как и крестьян-единоличников, обращена на повседневную жизнь в коммунах и взаимоотношения. Особенность интервьюирования коммунаров состоит в том, что рассказчики вспоминают прежде всего то, что запомнилось своей непохожестью на традиционную крестьянскую мирскую жизнь.

Деревня в 1920-е гг. стала своеобразным полигоном организации сельскохозяйственного труда на новых принципах. Советская модернизация началась с преобразования не всей, а части деревенской экономики. Базу

для появления новых типов населенных пунктов определяло новое советское законодательство. В соответствии с ним земельный фонд использовался в первую очередь для нужд коммун и советских хозяйств (совхозов), затем для нужд артелей и товариществ по совместной обработке земли (ТОЗы) и в только после этого — для единоличного пользования. Благодаря этому число коммун на территории Алтайского края за один год — с марта 1920 г. по май 1921 г. — стремительно возросло: с 30 до 680, а артелей — с 10 до 300. В условиях продразверстки и тяжелых последствий войны большую роль сыграла поощрительная политика государства. И в дальнейшем, после их отмены, при сохранении и господстве различных хозяйственных моделей — единоличного хозяйствования, частнопредпринимательской деятельности — государство создало благоприятные условия для развития новых форм организации труда, освободив их, в частности, от государственного промыслового налога.

Как декларировалось в документах, в льготную категорию попали все «сельскохозяйственные предприятия кооперативных организаций и земледельческих артелей и коммун» в сельской местности, «скотоводческие, молочно-хозяйственные, птицеводные, огороднические, садоводные, пчеловодные и винодельческие хозяйства». Для поддержания первых ростков социалистической организации труда им разрешались не только сбыт продуктов сельского хозяйства и приобретение предметов снабжения (семена, фураж, сельскохозяйственные орудия, удобрения, ремонтные материалы) без промыслового налога, но и создание и содержание без налога земледельческими артелями, коммунами, кооперативными организациями прокатных, зерноочистительных пунктов, а также мастерских для ремонта сельскохозяйственных орудий и кузниц [8]. В 1920-е гг. развитие сельскохозяйственной кооперации было признано «одним из важнейших средств подъема сельского хозяйства и приобщения трудовых масс к социалистическому строительству» через различные кооперативные объединения в виде товариществ, артелей, коммун. Им отводилась роль «школы общественного хозяйства», «школы коллективного, товарищеского ведения дела и учета результатов общественного труда», «школы новой общественной дисциплины», «школы социалистического строительства и соревнования». В этих школах должны были формироваться новые социальные группы деревни — носители нового мышления. Еще в 1921 г. на IX Всероссийском съезде советов в принятом Постановлении о восстановлении и развитии сельского хозяйства была дана установка на то, что мелкое крестьянское хозяйство как основная производительная единица «слишком слаба для того, чтобы в самой себе почерпнуть силы, необходимые для восстановления и дальнейшего роста», и что «на помощь ей может прийти: 1) государственное регулирование и 2) концентрация сил в фор-

ме всесторонней взаимопомощи и развития самодеятельности на основе хозяйственного интереса» [9].

Но несмотря на льготы, с 1921 г. число коммун и артелей начинает сокращаться. В мае 1922 г. из 680 коммун осталось около 300 и из 335 артелей — 41. К июлю 1922 г. коммун осталось 129, в дальнейшем их количество варьировалось, но массового образования коммун больше не было. На 1926 г. из сотни зарегистрированных коммун более 80% были созданы в 1920–1921 гг., и они составляли незначительный процент от общего числа поселений: на 5,3 тыс. населенных пунктов всего 108 коммун. Устные свидетельства показывают, что из всех экспериментов: коммун, артелей, совхозов, ТОЗов — в народной памяти именно коммуны оставили наибольший след как обобщенный образ первого социалистического опыта.

В полевых условиях были записаны десятки воспоминаний бывших коммунаров, членов артелей или их детей, среди них задокументированы интервью о коммуне им. Н. К. Крупской («Круповка»), «Искра», «Большевик» и «Смычка» Смоленского района; о коммуне им. Сталина Тальменского района; «Большевик», «Крестьянская газета», «Спартак», «Соцмаяк», «Мировой Октябрь» Усть-Калманского района; «Прожектор» Алтайского района, «Новый путь» Зонального района, а также о коммунах Солонешенского, Павловского, Третьяковского, Бийского, Усть-Пристанского, Залесовского, Мамонтовского, Кытмановского, Чарышского, Шелаболихинского, Тогульского и других районов.

Устные истории показывают, что коммунарское движение на Алтае было повсеместным, но не массовым. Большинство коммунарско-артельных сообществ создавалось путем выселения из старых деревень на новые места. Существование коммун и артелей было недолгим, только часть их переросла в постоянные населенные пункты, пройдя путь от коммуны (артели) до колхоза. Многие из них быстро распались. Но все очевидцы вспоминают образование коммун как явление, необычное для крестьянского мира. Именно непохожесть на традиционные крестьянские поселения, необычность общественных отношений, неожиданность способствовали сохранению народной памяти о коммунах. М. И. Шипунова из с. Алтайское вспоминала: «Здесь было 6 или 7 коммун… „Прогресс“ был маленький. Сейчас бы они даже бригаду не составили. Парнишки лет по 17. Там как общежитие было… Первая коммуна была в Колово… „Первый октябрь“… „Второй Октябрь“. Я жила во „Втором Октябре“. Избушки стояли среди тальника, по ручью. Когда мы приехали, там было три домика: Смоляковы, Воробьевы, Третьяковы. Все они были каменские [из Н.-Каменки Алтайского района]. Уехали, чтоб вольно было. У нас избушка была маленькая… „Первый Октябрь“ был от нас километра 3–2 через гору, только… там было мало домов, улиц тоже не было. У нас-то дорога хорошая была. Потом во

„Второй Октябрь“ много народу приехало. У молодежи даже какая-то ненависть родилась. Кто на кого [дрались]... Эти поселки ликвидировали еще до войны...»

В воспоминаниях очевидцев можно найти то, что вызывало у них удивление и способствовало запоминанию недолгой истории коммун. В частности, при описании коммунарского опыта очевидцы пытаются объяснить для себя причины участия некоторых односельчан в коммунарском движении, мотивы их поведения. По их мнению, в 1920-е гг. в деревне при сохранении трудовых и хозяйственных традиций крестьянского общества — «помочи», аренда, работа «исполу» —для крестьян существовала возможность выжить единолично, даже в случаях обнищания или при других неблагоприятных условиях, и сохранять самостоятельность. Поэтому обобществление средств производства и коллективный труд в коммунах не находили поддержки у большинства крестьян, стремившихся к экономической независимости. Собранный методом опроса материал содержит фрагментарные представления о причинах поддержки коммунарского движения частью крестьян.

На основе устных источников выделяются две волны коммунарского движения: 1920–1922 г. и 1922–1929-е гг., различавшиеся социальным составом и мотивацией вступления в коммуны. Соответственно этим периодам общество коммунаров, в устной интерпретации очевидцев и участников, состояло из двух категорий населения. Первую кптегорию составляли носители нового коммунистического мировоззрения — «убежденные коммунары», проводники официальной коммунистической идеологии. Именно они стали инициаторами создания первых коммун. В основе их поведения лежали политические и идеологические мотивы, искренняя вера в возможность социалистического переустройства, убежденность в правоте социалистических идеалов и даже фанатизм. Контент-анализ документированных интервью показал, что среди первых коммунаров преобладали бывшие партизаны, чьи взгляды и позиция сформировались в годы Гражданской войны и которые ассоциировались у крестьян-респондентов с «коммунистами». У. З. Зайцева рассказывала: «Когда мы приехали сюда, здесь [Третьяковский район] была коммуна. *Мой отец был партизан.* Дома мы привезли с собой из Староалейки. *Коммуна была большая.* Скота было много, бахча была на сопке. *Общая столовая была.* Все было сдано в коммуну. Были маленькие огородики. *Собирали нас на собрания.* В коммуне люди *жили дружно*». Подобную оценку дает и П. Ф. Рыженко (Целинный район): «Потому что в коммуне мы жили именно по-коммунарски. Она была *организована партизанами бывшими*... По тому времени я учился вместе с родителями, правда, отец в то время не учился, а мама ходила в ту же школу, в которую ходил и я. Коммуна обеспечивала нас письменными принадлеж-

ностями… И школа имела свое хозяйство — свои лошади, косилка и прочее. Понимаете, *собрание коммуны происходит, и все, и дети, и взрослые, все там.* Вот те вопросы с детства очень были интересны, потому что само отношение людей, ну как, связывали всеми вопросами, и в нравственности, и в экономике, и в культуре… Они вот жили той мечтой, чтобы построить новую жизнь, и государство им уделяло таки серьезное внимание…».

Для большинства крестьян соседних сельских обществ коммунары являлись представителями другого мира и другого времени, положившими начало другой (новой) эпохе: «А тут коллективизация. Но сначала не у нас в Каменке, а там, в поселках, в горах и в Колово, *рано появились коммунисты. Они себе выбрали место,* березничек, и *поставили там коммуну* „Прогресс", а мы ближе к селу жили. И эти коммунары ездили через наш поселочек в Калинку, а потом они перекочевали за Каменку, ближе к Алтайскому, и ферма появилась. И меня туда кладовщиком взяли. Потом коммуной не стали звать. Что-то не хватало. Или территория, или управление. Переменили в колхоз „Красный гранит"» (М. И. Шипунова).

Воспоминания показывают, что коммунарское движение первой волны (1920–1922 гг.) под влиянием бывших партизан захватило своими идеями в первую очередь молодое поколение. Инициаторами, как правило, становились молодые парни, способные к тяжелой работе, связанной с обустройством жилой среды на новом, необжитом месте, выбранном под строительство коммунарского поселка. Респонденты часто подчеркивают, что коммуна создавалась «на пустом месте» (Л. Г. Зайцева). В большинстве записанных интервью старожилы объясняют образование коммун энтузиазмом и порывом молодости: «Я помню солнечный день, приехали… нянька Елена… она в няньках осталась. Сюда в коммуну не поехала. Приехала на конях. *Мужиков много было, которые сплотились в коллектив,* в коммуну, вот они, *молодые,* и возили [разобранные дома] на лошадях. Здесь ни одного дома не было. В деревнях разбирали [дома раскулаченных] и пешком из Шубенки, наверное, из новой Чемровки (Зональный район). Их раскулачивали, наверное, четыре или три дома, их первых привезли…» (Л. Г. Зайцева, с. Шубенка, Зональный район).

Во вторую категорию коммунаров входили крестьяне — «пассивные коммунары», объекты идеологического воздействия, чаще всего коммунары «по обстоятельству». Эта категория крестьян преобладала во второй волне коммунарского движения, особенно после 1928 г. Среди них информанты выделяют две группы — крестьян из бедных семей, искавших лучшей доли, и крестьян из зажиточных семей, пытавшихся избежать притеснений или надвигающихся репрессий.

Согласно историческим интервью, большинство крестьян, поддавшись на агитацию искренних сторонников новой власти, переходили в комму-

Активисты 1920-х гг. Фото из фондов Чарышского краеведческого музея

ны не по политическим, а по практическим соображениям. Для них это был способ выживания: «Те, которые переехали, плохо жили. Сдавали лошадей, коров. Хозяева все вручную делали, они и косили вручную литовкой, даже косилки у них не было... *Все батраки переехали в эту коммуну*». М. К. Останина, жившая в семье с неродным отцом, так говорит об этом: «...Начинали так вот жить: отец был неродной — уехали. Я пошла в артель... все сдала: овчины, и жерди и амбары. Чтобы общее строить... Я все сдала. И коров. Все свое туда согнали... Да, в артель эту все согнали, и все. Туда увезли и жерди, и все. Ну а потом кто коров обратно отобрал...» (Усть-Калманка). Для маломощных крестьянских хозяйств весомым аргументом стала материальная и финансовая помощь государства: первоочередной отвод земли, безвозмездное или через ссуду предоставление сельскохозяйственных орудий и машин, скота, семенного зерна, стройматериалов. Но все же основные фонды коммун и артелей формировались из средств производства единоличников, вступавших в коммуны, а позже — раскулаченных крестьян.

Воспоминания показывают, что идеологические лозунги еще не стали жизненными критериями этой части коммунаров: «Я молодой захватил эту жизнь. Отец у меня был и мать. Имели две коровенки, две лошади, косили руками, хлеб молотили катками, ну, собственно, никакой техники не было. Собрались они уже тогда, когда советская власть началась, им сказали, что можно пойти в коммуну, там лучше будет, заживем. Ну, некоторые

не пошли, а отдельные, значит, деваться некуда, взяли и пошли». Особого внимания в устных исторических источниках заслуживают оценки отношения к труду в коммунах. Так, в воспоминаниях о коммунах «Венера», «Венера № 2», «Беднота, вперед» Шелаболихинского района информанты единодушно описывали трудовой распорядок: с утра работали в течение нескольких часов, затем коммунарщики шли на обед, после которого устанавливался обязательный послеобеденный сон, затем полдничали и далее выходили на работу на несколько часов. Именно такая организация труда, по мнению крестьян-единоличников, способствовала недолговечности коммун. Как заметил один из информантов: «Ну, разве в деревне так работают?»

Мотивация коммунаров второй волны изменилась накануне и в начальный период «великого перелома» в деревне. Побудительной причиной вступления в коммуну стали, по мнению очевидцев, опасения за свою судьбу и судьбу семьи. В 1926 г. в Тальменском районе на месте хутора от сел Анисимово и Лушниково образовалась коммуна им. Сталина. На ее основе пытались создать образцово-показательное коллективное хозяйство. В нее вошел и Д. Г. Кузнецов, о котором его дочь П. Д. Доровских рассказывала, что он имел «большой дом, пашни, скотинка своя была и машины, которые на поле требуются. Были молотяга, сенокосилка, конные грабли. А также заводик был — деготь цедил». В Сталинской коммуне, «сдав все имущество, скот, машины, Д. Г. Кузнецов также гнал деготь».

Вместе с тем воспоминания показывают, что коммуна не воспринималась как что-то кардинально новое, чуждое для крестьян, привыкших к силе и авторитету общества: «Вошли, сдали у кого что было и стали *вместе работать, сообща работать, просто коллективно*... следили, чтобы люди качественно работали, все пошло вроде бы неплохо». В своих оценках старожилы проводят аналогию между жизнью крестьянского мира и коммуной: «в коммуне жили как единоличники — вместе сеяли, пололи по 3–4 человека...» (О. Ф. Казанцева, с. Черновое, Смоленский район). В принципе внешняя форма общежительства (земляческо-семейная) опиралась на некоторые мирские традиции — сообща трудились, сообща отдыхали, сообща решали... Но одновременно с тем шла качественная подмена содержания. Например, старших общины на первых порах заменяли председателями, как показывают интервью, они являлись выборными и утверждались желанием крестьян, которые выдвигали наиболее инициативных, знающих крестьянский труд односельчан. Не всегда это были носители коммунистического мировоззрения, но все чаще первыми председателями становились инициаторы-большевики, партизаны, фронтовики. «В коммуне «Большевик» на территории Смоленского района *первым председателем был И. Маркин, бывший партизан*. Его выбрали на общем собрании. В ком-

муне „Большевик“ Усть-Калманского района председателем был П. Ф. Елагин, который, как рассказывали бывшие члены этой коммуны, одну букву „Е“ знал и ею расписывался, а хозяйство вел грамотно». Коммуну «Спартак» образовал коммунист П. Ф. Бобров: «Сначала артель заорганизовал. Все свое сдал и начал к себе людей тянуть. Потом коммуну „Заветы Ленина“ заорганизовал, потом поселок „Спартак“, потом „Борец“. Это все его имена. Я туда [«Спартак»] вошла, все сдала…» (М. К. Останина, Усть-Калманский район).

Но в то же время, в отличие от мирской жизни, в оценке коммунарского общества появился новый фактор, который получил развитие в колхозной деревне, — эмоциональная положительная окраска общественной жизни, постепенное перенесение оценки благополучия с результатов труда как материальной базы семейного производства, главной для единоличников, на моральные факторы, характерные для колхозной деревни, когда полунищее существование крестьян компенсировалось моральными факторами, атмосферой в коллективе: «*Энергии было много, такие веселые, жизнерадостные.* Мама будит нас утром: вставайте, девчонки, в столовую. Завтракать, обедать, ужинать ходили в столовую коммунарскую». История коммунарского движения в интерпретации очевидцев дает важный материал для выявления отличий в мотивации труда крестьянской единоличной и социалистической коллективной форм производств. Именно в устных источниках о коммунарском движении фиксируется рубеж двух эпох, маркированный мыслями, ощущениями, представлениями старого и нового поколения сельских жителей. Замена старой формы хозяйствования совершенно иной организацией производства предполагала смену жизненных установок. Период кампании по образованию коммун отличался апелляцией к сознанию. В крестьянской модели, как показал анализ устных источников, преобладали трудовые стимулы, новая модель отличалась цепью постоянных экспериментов в области трудовых отношений. Увлечение утопичными социальными теориями, реализованными в коммунах, сопровождалось внедрением моральных и нравственных стимулов.

Однако новые лозунги не смогли органично вписаться в крестьянскую психологию. Рядовые коммунары, в отличие от своих ангажированных лидеров, не овладели агитпроповским языком, слабее прониклись коммунистической моралью. Устноисторические материалы отражают поверхностную оценку коммун, внимание акцентируется на внешних атрибутах коммунарской жизни (общая столовая, веселая жизнь, «все было общее» и т. п.). Например, М. К. Останина подчеркивала как самые приятные воспоминания о событиях коммунарской жизни совместные праздники, коммунарские формы общения, бескорыстие и отзывчивость в межличностных

отношениях: «Гуляли хорошо. Я борова заколола — колбасы наделала, и загуляли всем поселком. Начнем с Дрынкина и Иваном Стрельцовым кончаем. Иван на том конце села — Дрынкин на этом».

Моральные факторы мотивации труда в коммуне, а позже в колхозе стали своеобразной формой расчета за работу, которая была, по рассказам очевидцев, «трудной, с утра до темной ночи». Для коммунаров, как бывших крестьян, чрезвычайное напряжение физических сил в полевую страду являлось привычным. К традициям крестьянского труда относились совместные трудовые операции в период сезонных полевых работ. А вот принципиальные отличия, отмечаемые рассказчиком, заключались в распределении совокупного дохода. Очевидцы подчеркивали, что коммунары даже «не имели своих огородов, так как работать на них было некогда, и работали в общую копилку. На каждого едока выдавали продукты, или ходили в общую столовую коммуны». Вместе с тем исторические интервью отражают начавшуюся трансформацию жизненных ценностей и ориентиров, проявившуюся в признании идеологических лозунгов и духовно-общественных мотивов. Это проявляется в широко транслируемой респондентами оценке: «хотя жили трудно, но дружно». Бывшие коммунары отмечают в первую очередь изменение характера общения членов коммуны в рабочее и внерабочее время: *«Работали вместе и веселились вместе*, и не только на новых государственных праздниках, но и на старых религиозных». Житель бывшей коммуны им. Н. К. Крупской («Круповки») Н. И. Петров подчеркивал: «Тогда *все были равны.* Не было ни богатых, ни бедных. *Дисциплина была крепкой».* В коммуне «Смычка» Смоленского района (название произошло от лозунга «сомкнуть город с деревней»), построенной за счет домов и имущества раскулаченных с. Песчаное, реализация утопических социальных идей выглядела следующим образом: «дети жили отдельно и под начальством воспитателя, взрослые — отдельно в общих бараках вставали и ложились по звонку. Дети тоже обязаны трудиться. *Все было общее: пища, одежда».* По словам старожилов, по сравнению с простым крестьянством «коммунары жили хорошо. Даже ели белый хлеб, имели свою мельницу, пекарню».

Обращает на себя внимание то, что коммунистические идеалы легли на подготовленную пролетаризацией почву — обнищавшие слои деревни, люмпенизированное или разоренное войной крестьянство, обезмужиченные семьи, безземельные переселенцы и т. п., для которых переход в коммуну стал возможностью решить социально-экономические проблемы. Примером является записанная от М. И. Шипунова семейная история о вступлении ее отца в коммуну: «У отца было три брата, у дяди — один ребенок, у другого два, у нас четыре девчонки. Тем-то всем приходится земля, а у нас один дед с землей, маму как многодетную и то не вносили в

список». Обезземеленная семья перебивалась заработками отца, вынужденного искать пути обеспечения семьи и постепенно отошедшего от крестьянского труда. Вот так характеризует М. И. Шипунова отца-коммунара, его отношение к собственному хозяйству: «Я ему говорю: ты хоть под коноплю вспаши, а там уже лопатами будем копать. Он на меня посмотрел, так и правда, остался, вспахал». Ее отцу, потерявшему интерес к земле, которая не могла его прокормить, коммуна давала возможность изменить жизнь семьи.

Бывшие коммунары в своих интервью в целом положительно оценивают новую модель жизни, в отличие от бывших единоличников, которые, как правило, считали, что в коммуны, особенно первой волны, пошли обедневшие слои, являвшиеся, по их представлению, несостоявшимися или нерадивыми хозяевами. Поэтому до сих пор в своих рассказах они с насмешкой оценивают попытку «голытьбы» «организовать» новую жизнь: «К зиме собрались все в кучу, определили, проели за зиму и разошлись». Это показывает, что большинство крестьян-единоличников не приняло коммунистических лозунгов и сохранило традиционные установки. В определенной степени негативный личный опыт участия в коммунарском движении определил у части крестьян враждебное отношение к колхозам в период коллективизации как к очередной попытке организовать социалистическую модель производства. М. К. Калюжная (с. Староалейское) рассказывала: «У нас так мучились. Стали образовываться коммуны. У нас все поехали. Осталось 4 двора. Там прожили зиму, ничего не получилось. И вернулись. Мой брат не поехал. А тут колхозы стали организовываться. Туда-сюда ездить. Брат говорит: «Давай организовывать свой. Все равно заставят». А они [бывшие коммунары] говорят: «А вот ты не уехал в коммуну, не жил при ней, не знаешь, что это такое». Определенную роль в формировании негативного отношения к колхозам сыграли крестьянские представления о материальном благополучии (добротный жилой дом, личное хозяйство и т. д.). Первый же коммунарский опыт не соответствовал им. Как говорила О. Ф. Казанцева (Черновая) из Смоленского района, «при коммуне построили общие бараки с комнатушками, я б в таких не жила. А потом стали ставить каждый свой…»

Вместе с тем ряд устных источников показывает, что для части крестьян побудительным мотивом стало освоение новой идеологии, в которой они находили аргументы против богатых односельчан, почву для самоутверждения, перспективу новой жизни и пути выхода из бедности. Но в целом, как показывают свидетельства, их образ мыслей не отражал настроений основной массы крестьянства. Однако документированные интервью зафиксировали появление новых факторов, послуживших почвой для взращивания новых отношений и мировоззрения: зарождение партийной

и чиновничьей номенклатуры, на которую было возложено управление крестьянским миром, появление новых форм трудовых отношений, при которых изменились мотивации и критерии оценки труда. Респонденты на первое место в коммунарской жизни ставят дружную и веселую атмосферу: «Жили трудно, но дружно», «жили трудно, но весело».

Устные свидетельства отразили и противоречивую оценку коммунарского движения. В контексте резких социальных перемен далеко не все крестьяне оказались способны адаптироваться к изменениям. Для многих крестьян коммунарский образ жизни и новая модель хозяйствования, в которые пытались вовлечь крестьян, оказались несовместимыми с их представлениями о хорошей и счастливой жизни. Эта часть крестьян не только отказалась входить в коммуны, но и насмешничала над односельчанами, что способствовало накоплению межличностной неприязни. Это позволяет говорить, что уже первая волна коммунарского движения отразила поляризацию общества, но на этот раз не по экономическим показателям, как в единоличном крестьянском хозяйстве, а по идеологическим мотивам. Этому способствовало то, что первый социальный эксперимент советской власти (1920–1928 гг.) проходил в условиях свободы выбора. Крестьяне сами были вольны выбирать между традиционным и новационным образом жизни. В 1920-е гг. две модели, коллективная и единоличная, сосуществовали рядом, и в эти годы сформировалось политическое противостояние в деревне, усугубленное углублением имущественной дифференциации между зажиточной единоличной частью деревни и малосостоятельными коммунарскими обществами. В 1930-е гг. первая часть населения подверглась репрессиям, вторая — получила возможности для дальнейшего развития через сплошную коллективизацию. Поэтому неудивительно, что резко негативные оценки коммунарскому движению давали те респонденты, которые не адаптировались к новым общественно-политическим условиям и пострадали в 1930-е гг. Среди них Ф. П. Кириллов из Третьяковского района, семья которого была признана кулацкой и прошла через Нарым: «Когда мы приехали, здесь жило совсем мало людей. Было несколько домов: 6–7. А на углу, к кошарам, появились коммунары. Только что-то коммуна долго не продержалась. Коммуна всех грабила, забирала все, и брички, и скотину. В апреле коммуна собралась и в мае уже распалась… За имуществом коммунары не следили. В коммуну было согнано много коров, мы каких догнали до Гальцовки, каких нет. Крыши раскрывали, солому рубили, кормили коровушек. Все забрала эта коммуна».

Наряду с респондентами, представляющими пострадавшую сторону, негативные оценки дают и те, через чьи судьбы прошли экономические сдвиги, закончившиеся переориентацией хозяйственной направленности с экономической самостоятельностью единоличника к зависимости кол-

хозника, а также духовный геноцид, завершившийся разрушением церкви. Они видели в коммунарах людей, желающих поживиться за чужой счет. В их представлениях, коммунары — это «голытьба», позарившаяся на «кулацкое добро». Н. И. Лебедева из Смоленского района вспоминала: «Всю голытьбу согнали в коммуну „Роза Люксембург", и они мародерством занимались. Они весь скот поели, молоко. Пили и работать не хотят. Позарились на кулацкое добро и работать не хотят. И разобрали по себе». Такую же интерпретацию дает М. З. Сузинцева (1919 г. р.) из Смоленского района: «Все кулацкое разграбили. В 8 км от села, ближе к Точильному, была образована коммуна. Согнали все кулацкое добро, даже курей, уток. Через 1–2 года эту коммуну разогнали».

Положительным аспектом коммунарского движения стала роль коммун в развитии сети населенных пунктов Алтайского края. Наряду с традиционным крестьянским способом развития поселковой инфраструктуры на рубеже 1920–1930-х гг. большую роль в процессе селообразования стал играть государственно-идеологический фактор: одни возникшие коммуны быстро распадались, на основе других возникали поселки. Сравнивая причины, условия и факторы, влиявшие на «выживаемость» коммун и формирование на их базе населенных пунктов, можно отметить ряд закономерностей. Прежде всего, движение коммунаров в разных районах Алтая различалось своим размахом и последствиями. В 1926 г. на территории Каменского округа насчитывалось 8 коммун, Славгородского — 12, Барнаульского — 36, Бийского — 31, Рубцовского — 12. Интервью показывают, что в районах с благоприятными для земледелия условиями коммуны выживали лучше и становились базой для развития колхозно-совхозной системы населенных пунктов, в непригодных для сельского хозяйства условиях коммуны распадались. Так, в Причумышье, где основную площадь занимали сосновые боры, коммунарское движение, по воспоминаниям старожилов, не привело к образованию сел, а члены созданных коммун перед войной разъехались по родовым селам. В частности, распалась коммуна им. Сталина, в которой было около 10 домов и один барак.

Более широким размахом селообразования отличалось коммунарское движение в степном Причарышье, особенно в Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Смоленском, Петропавловском, Быстроистокском районах. Еще в дореволюционное время на их территории сформировался район товарного хлебопашества. Многие старые села дали отселения в коммуны, на базе которых позже образовались самостоятельные поселки, ставшие в период коллективизации колхозами или их отделениями. М. К. Останина рассказывала, как созданная артель (коммуна) выжила благодаря образованию там колхоза после длительного процесса трансформации: «стали называть „Борец", и „Борец" и „Спартак", у его имен-то… Одно и то же, там

и колхоз Ленина был, по ходу меняли названия… Шестнадцатого партсъзда… уж с артели колхоз стал —„16-й партсъезд“… с артели — в колхоз, потом в совхоз…»

Источниковую ценность представляют устные материалы о новых принципах формирования жилой среды и поселенческой инфраструктуры. По количеству населения коммуны в основном были малодворными. Более 40% имели численность от 26 до 50 человек и около 30% от 51 до 100 человек. Образованные на основе коммуны поселения внешне отличались от крестьянских населенных пунктов. Они имели планомерную плотную застройку без больших усадебных участков. Ядром коммунарских поселков становились бараки, на основе которых формировался населенный пункт: вокруг них начиналась индивидуальная застройка. В 1920-е гг. условия обустройства переселенцев в коммунарских селах были тяжелыми. Бывшая коммунарка О. Ф. Казанцева рассказывала: «В центре села [коммуна Искра] стоял ряд бараков. Потом начали строиться…Потом был колхоз «Путь Ленина»… Я когда выросла, в 19 лет сама землянку сделала… Был клуб, магазин, контора, бригада: лошади и коровы. Держали молодняк. Там сеяли и хлеб. Был ток — перевалка (тут сушили), а внизу стояли амбары и сортовка (сортировали хлеб)…» В первые годы существования коммунарских поселков преобладало дерновое, каркасное, литое, саманное строительство. Улучшило условия коммунарского строительства раскулачивание крестьян-единоличников в старых селах и передача домов спецпереселенцев в коммунарские поселки.

Воспоминания об этом содержатся в каждом интервью и отражают однотипную ситуацию 1930-х гг. Хор устных голосов показывает, что именно коллективизация и раскулачивание вдохнули в коммунарские поселения жизнь. Повсеместно в коммунарские поселки привозили добротные срубные дома раскулаченных и высланных с Алтая крестьян. Старожилы села Соцмаяк (бывшей коммуны) Усть-Калманского района, возникшего на р. Калманка при впадении в нее Воронихи, рассказывали, что она возникла на другом берегу от Н.-Калманки: «Сначала два барака было по 6 квартир. Их называли „корпуса“. Потом начали расстраиваться. Саманные дома лить начали. Потом рубленые крестовые кулацкие дома из Огней возили. И в войну уже было 60 дворов». В коммуне «Круповка» Смоленского района также было 2 барака по 5 квартир, а позже дома раскулаченных единоличников из Ново-Тырышкино.

Именно в 1930-е гг. устные источники фиксируют рост материального благополучия коммунарских поселений, становление разных форм общественной и культурной жизни. Как говорят очевидцы, в коммунарских селах открывали четырехлетние школы, организовывали по вечерам для взрослых и маленьких (где не было школ) курсы обучения грамоте, строи-

ли магазины, пасеки, скотные дворы, конюшни, риги. Именно с завершением раскулачивания крестьян в соседних селах в коммуне «Круповка» стало 12 хозяйств с 63 жителями, мельница с каменными жерновами (хозяйство раскулаченного хозяина), коммунарский детский сад, в доме раскулаченного была открыта школа, один колодец и общая баня с водяным котлом на 15–16 человек. На основе «голосов из прошлого» можно предположить, что благодаря перераспределению имущества единоличников, экспроприированных средств производства некоторые коммуны становились крупными рентабельными хозяйствами и переходили в статус колхозов. При таком ходе событий коммуны превращались в населенные пункты. В частности в 1929 г. на р. Калманке в 2–3 км от впадения в нее Землянухи образовалась коммуна Большевик. По словам Н. К. Кабакова, перед войной бывшая коммуна, а с 1931 г. — колхоз «Большевик» имел уже 62 двора — 4 улицы вдоль забоки, и «колхоз был богатый, передовой. Со всех колхозов, где плохо жили, приезжали».

Таким образом, коммунарское движение стало одним из советских способов развития сети населенных пунктов. Подоплека этого процесса была идеологической. Коммунарские поселки образовывались путем объединения части хозяйств и выселения их на новые земли для совместного коллективного труда, который заменил индивидуальное единоличное семейное производство. В советское время самостоятельными населенными пунктами в Смоленском районе стали коммуны «Смычка», «Искра», «Круповка». Они явились результатом воплощения идеологической политики 1920-х гг. и просуществовали до 1960–1970-е гг., когда новая политическая волна уничтожила их. Например, «Искра» была образована в 1921 г., в 1926 г. там было уже 18 хозяйств с населением 80 человек. По воспоминаниям О. Ф. Казанцевой (живет в с. Черновая), которая приехала в Искру из Устаурихи в 1931 г., «при коммуне построили общие бараки с комнатушками... Этот ряд бараков стоял в центре села. Потом начали, какие побогаче, строиться...» Уже когда село расстроилось (по ее словам, доходило до 100 дворов), «основные дома были пятистенные, а кто побогаче жил — круглые [крестовые]». Можно предположить, что без перераспределения материального фонда между единоличниками и коммунарами, коммунарские поселки бы не выжили, так как объединялись, как правило, маломощные крестьянские хозяйства, которые уступали в техническом оснащении, наличии средств производства населению крестьянских поселений. Сама Ольга Федотовна Казанцева в Искре, только «когда выросла, в 19 лет, сама землянку сделала [примерно 1942 г.]... Печку сама сбила, баньку. Семь лет жила в землянке. А потом заработала и купила себе избу. Три избы покупала. Эта завалится — другую куплю. Нарожала 10 ребятишек, 4 померло».

Положительную роль в судьбах коммунарских поселков сыграли ссылки и депортации иноэтнических групп на Алтай, память о которых хорошо сохранила устная традиция: «Болгары вот приехали [коммуна «Спартак»]. Их Сталин перегонял. И немцев с Поволжья». Расселение в коммунарских поселках депортированных немцев, молдаван, гагаузов, украинцев способствовало укреплению этих поселков. А сохранению памяти о них способствовала благодарность коммунаров и колхозников за передачу ими опыта выживания в экстремальных условиях предвоенного и особенно военного времени, в том числе традиционного жилищного строительства из подручных материалов, в частности умения украинцев лить из глины дома, изготовлять и использовать саман, традиций каркасного строительства у немцев и т. д. Этот опыт пригодился в период снижения материального уровня жизни, обострения жилищной проблемы, особенно для одиноких женщин, раскулаченных, ссыльных, солдаток и т. д. По словам М. К. Останиной, «они [болгары] научили нас дома лить. Возили солому, глину, доски ставили и лили — и за день сливали хату, а крыли камышом или соломой. Из самана клуб сложили». Таким образом, устные исторические источники позволяют предположить, что коммунарскую поселковую сеть действительно укрепило перераспределение крестьянского имущества в период раскулачивания и переток населения из одного региона в другой во время репрессий и депортаций.

Завершая попытку анализа народной интерпретации первого эксперимента в деревне, необходимо отметить, что сбор воспоминаний о коммунарском движении и использование их в исследовательских работах дают огромный источниковый материал о трансформации сознания в переломные эпохи. Архивирование устных источников позволяет выявлять пути и способы изменчивости народного мировоззрения, факторы, влияющие на сохранение стереотипов или смену жизненных установок, прогнозировать психологическую восприимчивость современного сельского населения в отношении новых преобразований. Можно сказать, что устная сельская история содержит и передает в рассказах материал о человеческом факторе, являющемся подоплекой социального развития российского общества.

Источники и литература

1. Урсу Д. П. Устная история в современном мире // Проблемы устной истории в СССР: материалы второй научной конференции в г. Кирове. 14–15 мая 1991 г. Киров, 1991. С. 1–4.
2. Соколов А. К. Направления источниковедческого синтеза // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: Учеб. / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, В. В. Борисова и др. Под ред. А. К. Соколова. М.: Высш. шк., 2004. С. 620–687.

3. Кузнецов Н. П., Суринов В. М. Устная история в практике работы зарубежных архивов и научных учреждений // Советские архивы. 1980. № 1. С. 73–76.
4. Оболенская С. В. История повседневности в современной историографии ФРГ // Одиссей: Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. М., 1990. С. 182–198.
5. Подсчитано: Список населенных мест Сибирского края. Новосибирск, 1928.
6. Щеглова Т. К. Предисловие: административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 гг. // Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 гг. Ч. I. Барнаул, 1992. С. 3–15.
7. Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб.: Изд-во Европ. Ун-та в С.-Петербурге, 2003. С. 32–51.
8. О налоговых льготах для кооперативных организаций. Декрет ЦИК и СНК СССР от 7 декабря 1923 г. // СУ РСФСР 1924 г. № 16, ст. 150.
9. СУ РСФСР 1922. № 5. Ст. 48.

1930-е годы глазами очевидцев и участников: сквозь призму жизненных историй

Реальность сложна и многомерна, и главной ценностью устной истории можно считать ее способность воссоздать первоначальное многообразие точек зрения.

Поль Томпсон

В исторической науке нет комплексных исследований по развитию деревни в 1930-е гг. Маятник научных интерпретаций за последние два десятилетия колебался от концепции советских историков, внесших большой вклад в исследование колхозно-совхозного строительства и культурных преобразований в алтайской деревне, к постсоветским исследованиям раскулачивания и репрессий. Акцентирование внимания на экономических, политических, культурных достижений советской власти сменилось исследованиями тоталитаризма, репрессий, беззакония в советское время. В определенной степени это объясняется тем, что, по словам Д. П. Урсу, «нет ничего труднее, чем писать правдивую историю современности. Чем рискует честный историк, стремящийся дать достоверную картину недавнего прошлого, известно с глубокой древности. Тиранические режимы всегда нуждались в легитимизации своей власти с помощью исторических примеров, символов и героев. Придворные летописцы были призваны вести реестр побед и свершений правящей династии, деяний вождей, охранять идеологические устои. Тот, кто владел настоящим, пытался подчинить себе прошлое» [1, с. 1]. Действительно, ни советский, ни постсоветский подходы не позволяют полноценно представить жизнь рядового человека деревенского общества в этот сложный и противоречивый период. А ведь именно в жизни отдельного человека, в его судьбе переплелись созидание и разрушение, радости и беды, достижения и потери. Устная семейная история, история жизни отдельного человека, отдельного деревенского общества в этот период может являться комплексным источником по истории России в 1930-е гг.

В этом направлении устноисторические исследования деревенского мира могут развиваться в русле документалистики. Именно неудовлетворенность исследователей одномерностью отражения истории в документах государственных архивов способствовала тому, что устная история изначально возникла в США именно как отрасль архивного дела. Документалистский подход был характерен для зарубежной устноисторической практики на начальном этапе. С помощью интервьюирования создавались источники того или иного периода жизни американского общества, которые использовались для более объективной характеристики времени. Анализ зарубежной библиографии устноисторических исследований показывает, что историки-практики, добившись в последующие годы многофункционального использования устной истории, не отказались от ее документального назначения и на современном этапе.

Нельзя сказать, что в советской исследовательской практике по изучению событий новейшей истории методы устной истории не использовались. Партийным государством с 1918 г. был инициирован сбор материалов путем опроса участников революционных событий. При научно-исследовательских институтах, государственных музеях и архивах формировались фонды воспоминаний. Созданные устные источники тематически были ограничены, например, в 1930-е гг. формировались фонды воспоминаний красных партизан и участников русских революций, устных материалов по истории фабрик и заводов эпохи советской индустриализации. Их содержание проходило через цензуру. Они были идеологизированы, ангажированы и вследствие этого функционально неполноценны. Назвать эту работу устной историей трудно, так как нарушался главный принцип — детальная фиксация рассказа с отражением личной позиции рассказчика. Этого можно было добиться только при бесстрастной позиции интервьюера, технической поддержке опроса, фиксирующей субъективное состояние респондента, и полного ограждение рассказчика от социально-политических ожиданий настоящего.

Собираемые по инициативе государства воспоминания 1920–1930-х гг. призваны были в первую очередь, выражаясь словами Л. П. Репиной, подтверждать те «идеи, которые политики и идеологи хотят внушить основной массе населения» [2, с. 21]. Поэтому устные материалы этого периода искажали или одномерно отражали картину прошлого. В результате формировались условия и база для мифологизации советского периода. Но формально, несмотря на эти издержки, можно сказать, что в советской России устная история, как направление исторических исследований возникло раньше, чем в США, если принять за точку отсчета деятельность Истпарта (1918 г.), когда была создана комиссия, призванная собирать воспоминания участников партийного и революционного движения с форми-

рованием региональных центров. В 1920–1930-е гг. тематика устных материалов расширилась за счет деревенской истории, изучения жизни и быта крестьян, их мировоззрения. На Алтае этим занимались многие исследователи и краеведы. Достаточно назвать известную книгу А. М. Топорова «Крестьяне о писателях» [3].

Зарубежная уноисторическая практика обратилась к мнению рядового звена исторических событий гораздо позже, после Второй мировой войны. Но именно за рубежом сформировался методико-технологический арсенал средств и методов сбора информации, содержащий требования к техническому обеспечению интервью, методике составления вопросников, правила этики для интервьюера, принципы документирования источника, правила хранения информации на магнитных лентах и их транскрибирования, требования к формированию «устных архивов». На фоне зарубежной практики особенно заметны нарушения при формировании фондов документов личного происхождения в государственных архивах советской России с помощью опроса: не соблюдались требования фиксации полноценной версии рассказчика, которая гарантируется аудио- или видеозаписью, отсутствовали условия для свободного выбора расспросчиком темы для опроса, а респондентом — описываемых прошлых событий; не способствовала личностной интерпретации событий рассказчиком и дословному воспроизведению его жизненной версии общественно-политическая ситуация в стране, и т. д. Например, в советской практике многие события 1930-х гг. (раскулачивание, репрессии) оставались за рамками опроса, а если они попадали в устный рассказ, то вымарывались из его письменной версии. В результате формировались воспоминания с нужной (заданной) интерпретацией событий. Ответственность за полученную информацию негласно возлагалась на сборщиков материалов.

В послевоенное время документальное направление советской «устной истории» стимулировалось юбилейными кампаниями: 50-летие советской власти, 60-летие Октябрьской революции, 100-летие В. И. Ленина, 30-летие победы над фашистской Германией и т. д. Каждая идеологическая кампания сопровождалась усилением внимания к ключевым событиям советской истории и имела политико-воспитательное назначение. Так, юбилеи советской власти способствовали возникновению огромного количества музеев на общественных началах, собиравших воспоминания видных большевиков и их соратников, передовиков производства и общественных деятелей; активизация краеведческого движения вела к появлению большого отряда этузиастов-исследователей, занимавшихся историей колхозов, совхозов, заводов, образовательных и культурных учреждений с привлечением методов интервью. Большое распространение получило создание летописей. Основную информацию, особенно в сельской местно-

сти, они получали благодаря опросам односельчан, в городах — ветеранов производства, участников революций и гражданской войны и т. д. Социально-политические условия этой работы ограничивали их деятельность. В результате, например, история населенных пунктов сводилась к истории колхозов и совхозов, в которой порой терялось даже название деревни и ее доколхозное прошлое. Именно в этот период значительно обновилась топонимика сельских населенных пунктов, происходила замена народных названий советскими, появилось большое количество «Большевиков», «Соцмаяков», «Путей Ленина», «Первомайских», «Комсомольских» и т. п. В создаваемых комнатах трудовой и боевой славы формировались фонды воспоминаний участников колхозно-совхозного строительства. К сбору воспоминаний и рассказов широко привлекались школьные музеи, при которых формировались документальные коллекции воспоминаний соратников Ленина, передовиков производства и победителей соцсоревнования, участников освоения целины, героев Великой Отечественной войны и т. п. Невостребованными, а затем и противоправными стали темы репрессий, раскулачивания, разрушения церквей, спецпереселений и депортаций. Их замалчивание носило всеобщий характер, как сверху, так и снизу, жизненный опыт жертв игнорировался государством, обществом, наукой, а сами они, лишенные права голоса, предпочитали скрывать свою причастность к этим событиям, превратившись в безмолвствующее большинство деревенского мира. Таким образом, в советский период субъектом устноисторических исследований стали представители передового отряда социалистического строительства, а объектом — значимые для советской власти события. Идеологическая заданность собираемых рассказов, методическое и техническое несовершенство опроса и оформления записи снижали их источниковое значение.

Современная устная история отвергает предвзятый подбор информации. Для устного историка нет запретных тем, «желательной» или «нежелательной», «правильной» или «неправильной» информации. Кроме того, устная история обращается прежде всего к рядовому участнику, который характеризует те исторические события, «внутри» которых проходила его жизнь, и дает свою оценку «изнутри» (участник событий) или со стороны (их очевидец). Для 1930-х гг. событиями, к которым был причастен каждый деревенский человек, были и создание колхозов, и формирование партийных комсомольских (пионерских) организаций, и механизация сельского хозяйства, и раскулачивание в деревне, и репрессии против церкви, и ликвидация неграмотности и т. д. При этом, независимо от характера этих событий, в которых были и героические, и трагические страницы, главной для человека была повседневная жизнь, в которой формировались бытовые суждения, мнения, оценки происходящих по инициативе государства

преобразований. Грамотно построенный опросник помогает фиксировать противоречивость советской истории и создать комплексный источник с отражением прошлого через жизненную версию (life story) конкретного человека. Множественность этих жизненных историй и личных интерпретаций рядовых участников позволяет воссоздать полноценную историю и приблизиться к объективности в научной оценке прошлого.

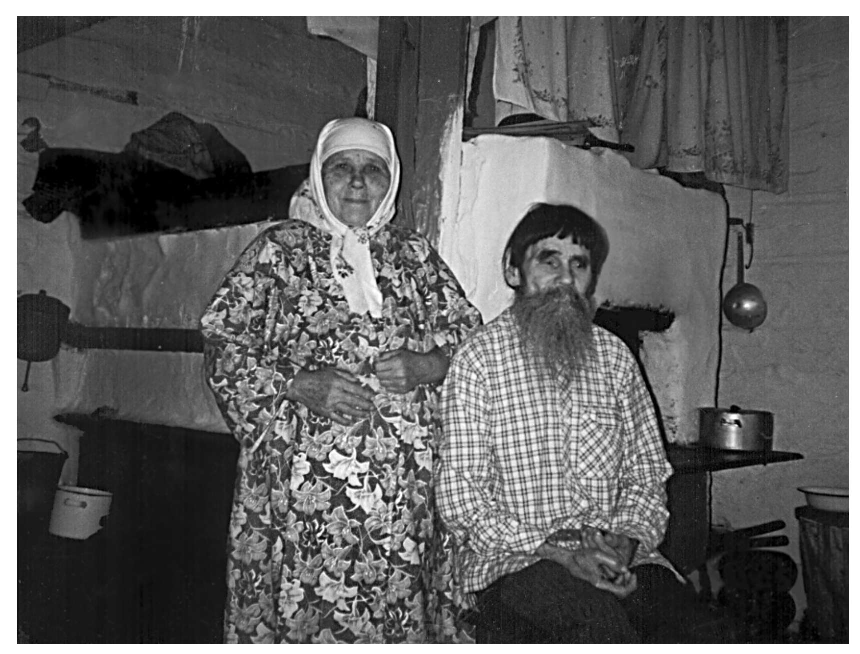
3.1. Причины раскулачивания и образ «кулака» в устной народной истории

Одним из важнейших составляющих устного исторического источника является наличие в них образов прошлого. П. Рикёр указывал, что люди каждой эпохи создают свои образы прошлого, наполняя их собственными чаяниями, надеждами и страхами, собственными представлениями о добре и зле, о том, чем следует гордиться и по отношению к чему следует испытывать раскаяние [4, с. 72–86]. Анализ образов позволяет отойти от схематизированности «большой» науки («макроистории»), которая так не удовлетворяет современное общество и исследователей. Это особенно правомерно применительно к обобщенным образам, созданным коллективной памятью. Любая попытка историков вогнать исторический процесс в методологические схемы (в советский период — марксизм-ленинизм) упрощает или искажает его. Кроме того, «знания о прошлом и образы прошлого, существующие в той или иной культуре, служат своеобразными „зеркалами прошедшего времени“, отражающими современность» [5, с. 29], что приводит историков к соблазну оценивать исторические явления, образы, процессы с позиций современности. Примером является попытка историков определить содержание социальных категорий «кулак» и «батрак (бедняк)». В советской историографии критерии кулачества как класса определялись идеологическими штампами, сформулированными в партийно-государственных директивах, в частности наличием механических орудий труда (что свидетельствовало о зажиточности), наемной рабочей силы (что трактовалось как эксплуатация) и т. д. Современные концепции социальной дифференциации в доколхозной деревне недалеко ушли от советской историографии. Они по-прежнему вращаются вокруг этих показателей, но историки пытаются доказать, что наем сельчан на сельскохозяйственные работы у кулаков доколхозной деревни — это не эксплуатация, а применение машин — не обогащение. Тем самым агитпроповские шаблоны переносятся из советской историографии в новейшую. В результате даже те историки, которые отказываются от классовой схемы социального развития деревни, сводят свою аргументацию к попытке доказать, что кулак не является «классовым врагом» или «врагом народа», а бедняк — наиболее сознательной личностью. Такой подход был нужен в

период государственной и общественной реабилитации значительной части российского общества, начавшейся с перестройки второй половины 1980-х гг. Большая наука в 1990-е гг. внесла свою лепту в анализ раскулачивания, его сущности, тем самым оправдав свое социальное назначение, и предоставила общественному мнению возможность развивать полученные выводы через каналы СМИ с целью не только восстановления справедливости в отношении репрессированной части деревенского мира, но и формирования общественного мнения.

Социальный портрет кулака в 1930-е гг. «приобретает новое измерение», если в качестве сырья использовать «жизненный опыт самых разных людей» той эпохи, и кулаков и бедняков, и репрессированных и активистов. «Реконструкция прошлого» сохраняет все богатство и полноту исторического процесса только в том случае, если она базируется на «голосах» всей деревенской социальной мозаики, отражает весь спектр толкований и оценок прошлой жизни. Именно эти возможности предоставляет устная история как «записанная на магнитофон историческая информация, почерпнутая из личных знаний говорящего». А ее использование или интерпретация, по мнению авторов Нового сокращенного оксфордского словаря английского языка, «является предметом научного исследования» [6, с. 11].

Устные исторические источники показывают, что к началу масштабных преобразований российской деревни в ходе коллективизации и раскулачивания 1930-х гг. мир алтайской деревни не являлся двумерным, а представлял собой общественную, хозяйственную, этнокультурную полифонию. В ходе освоения территории Алтайского края разновременными и поликультурными мигрантами формировалась культурно-историческая специфика социумов по зонам расселения, отразившаяся на составе населения, хозяйственной специализации, уровне материального благополучия, имущественной, культурной, социальной дифференциации и т. д. Эти различия, помноженные на пестроту природно-климатических зон края, не только обусловили социально-экономическое и этнокультурное разнообразие деревенского мира Алтая, но и способствовали формированию социо-культурных групп внутри одного сельского общества. Эти группы могли по-разному относиться к проводившимся советским государством в 1930-е гг. коллективизации и раскулачиванию. В частности, устноисторическая работа показала, что на позицию старообрядцев повлияла их многовековая традиция борьбы за свою веру; они по-своему встречали преобразования советской власти. Трудолюбие и хозяйственность старообрядческих семей, их крепкое семейное хозяйство обусловили *особую позицию этой категории крестьян в годы коллективизации*, поэтому в старообрядческих селах социалистические преобразо-



Старообрядец поморского согласия Роман Худяков, 1895 г. р., с. Куяча Алтайского р-на. Фото 1994 г.

вания проходили не так, как в остальных. Казаки, с их менталитетом служилого сословия и привилегиями, способствовавшими их хозяйственной состоятельности, *по-иному относились* к политике советской власти. Реализация политики раскулачивания в казачьих селах приобрела особые формы, дополненные «расказачиванием». Переселенцы последней миграционной волны, находящиеся в начальном периоде адаптации и обустройства на новом месте, также *имели свой взгляд* на происходящие преобразования и также *по-своему относились* к советской политике. *Этнические мигранты* (мордва, мари, чуваши и др.) определяли *собственные позиции*, на которые положительно повлияла национальная политика 1920–1930-х гг. в области образования (открытие национальных школ) и культуры (создание нацотделов при региональных органах власти) и т. д. Историография советской и новейшей литературы по раскулачивания и коллективизации показывает, что большая наука слабо учитывала этносоциальный и особенно этнокультурный фактор в формировании позиций участников советской реорганизации деревни в 1930-е гг. В определенной степени это являлось следствием использования ограниченной и неадекватной базы.

Осмысление на современном этапе социальной функции исторической науки должно изменить пренебрежительное отношение «большой науки» к «устной истории», которая особенно социально «заряжена». Для оздоровления современного общественного климата недостаточно только политической реабилитации раскулаченных. Долг общества — услышать «голоса из прошлого», а науки — адекватно на них ответить. Именно об этом пишет классик устноисторических исследований П. Томпсон: «История в качестве одного из видов социальной деятельности существует только потому, что имеет некий смысл для ныне живущих людей» [6, с. 6]. Для современного общества важен «голос прошлого». Отечественные историки до последнего времени привыкли пользоваться «голосами прошлого» из государственных архивов, документальных фондов государственных музеев, опубликованных в советское время материалов личного происхождения. Но это были те «голоса», которые государство хотело слышать. Отбор и оценка письменных источников являлись прерогативой государства. Сбор и интерпретация устных источников являются научным выбором и гражданским долгом историка. В таком случае он выступает уже не только потребителем, но и создателем документов по новейшей истории. Именно он решает, как выбирать респондента, кого слушать, чьи голоса должны быть услышаны. Как «специалист по прошлому», «знаток прошлой жизни», он способен охватить все категории населения равномерно (староверы, казаки, старожилы, переселенцы, этнические мигранты и др.), восполнить недостающие источники.

Анна Яковлевна Тумайкина, 1941 г. р., мордва-эрзя (с. Урунское, Солтонский р-н)

При этом главной проблемой для исследователя становится борьба с самим собой, со своими пристрастиями, взглядами, стереотипами, косностью. Ответственность за сбор и использование устных материалов он несет единолично. Пристрастный, ангажированный, тенденциозный историк может легко найти «авторитетные голоса прошлого», подтверждающие его собственные взгляды, информацию, угодную государству или вы-

годную каким-либо политическим силам, для подтверждения нужной «научной» интерпретации. Для независимого историка, стремящегося к объективной и полной реконструкции событий, важно стремиться к расширению спектра голосов прошлого, отражающих видение событий всеми слоями и группами общества.

Методически грамотная работа на этапе создания «устного источника» является только первым этапом на пути поиска научной истины, но на нем создается залог успеха. Даже в случае опоры на устные источники научный результат будет зависеть от профессионализма историка, проявляющегося в его умении работать с ними (научная интерпретация). Любой источник по своей природе субъективен (в том числе письменный). Как показывает практика, в народных устных интерпретациях, например такой социальной категории, как «кулак», историку приходится встречаться с тем, что толкование рассказчика отражает не прошлые оценки, а историческое сознание общества на момент опроса, рассказчик транслирует расспросчику результаты неоднократного пересмотра исследуемых понятий на современном этапе.

Подобным примером являются образы, сформировавшиеся в советское время, когда характер интерпретации прошлого и смысловые акценты определялись нормами и ценностями советского государства. Большой отпечаток на представления советского поколения наложила идеологическая обработка сознания, в результате которой понятие «кулак» стало терять свой социальный статус и приобретало политическую окраску. Четко заметна, например, тенденция: чем ближе человек был к власти, тем «толще стекла идеологических очков, сквозь которые он видит события» 1930-х гг. [7, с. 12].

Необходимо отметить, что трудно добиться того, чтобы человек транслировал оценки, соответствующие тому времени, когда формировались категории «кулак» и «бедняк». В этом отношении лучшими информантами являются рядовые сельчане, всю жизнь работавшие в низовых звеньях хозяйственного механизма и находящиеся на «нижних этажах» социальной структуры, как правило, малограмотные и загруженные рутинной работой на производстве и в подсобном личном хозяйстве. Они лучше помнят атмосферу многолетней давности, а их представления меньше подвергались корректировке под влиянием агитпроповского пресса или популистских высказываний СМИ, меньше деформировались под влиянием привнесенных извне идеологических штампов. Опыт устноисторических исследований также показывает, что оценки, более адекватные реальной ситуации, дают женщины, чья загруженность домашними заботами и широкие горизонтальные контакты с односельчанами на бытовом уровне, общение через детей и внуков с другими семьями способствовали обогащению уст-

ной бытовой информации. И, наоборот, выявилась закономерность: чем больше человек образован, тем больше вероятность, что он будет транслировать «слушателю» информацию, почерпнутую из партийных директив, прессы, научно-популярных книг. Как правило, собственные представления прошлого быстрее выветриваются у людей интеллектуального труда, представителей административно-партийных учреждений. Многие из них бессознательно избавлялись в своей памяти от деревенских слухов, сплетен, пересудов; их взгляды, представления, мироощущения претерпевали определенную модернизацию. Вместе с тем историк должен учитывать, что любые устные интерпретации далекого прошлого несут под влиянием времени определенные потери, они подверглись искажению, трансформировались.

Старообрядец-старожил Я. Ф. Серебрянников, пытаясь интегрировать свой жизненный опыт с информацией, полученной из печатных изданий, пришел к своеобразному выводу о превращении крестьянина в кулака: «Где-то были *помещики*. У них были *заводы, фабрики*. Управлял, значит, один фабрикой, работали-то люди. Он им оплачивал, а им кажется — мало. Он *капиталист*. Вот капитала-то у него, значит, много, вот он *капиталист-кулак. И наших тоже присоединили туда*». В его раздумьях отразилось противоречие между жизненным опытом раскулаченной семьи его отца и навязанными ему извне аргументами методологов классовой теории. Об этом говорит то, что «помещик», отсутствовавший в прошлой жизни сибиряков, в его интерпретации трансформировался в заводчика, а вместе они трансформировались в кулака. В смешении социальных категорий, с одной стороны, просматривается агитпроповская аргументация, например представление о том, что кулак — это тот, кто имеет наемных работников, эксплуатирует их (капиталист); с другой стороны, в жизненном опыте сибиряков не было понятия «помещик», поскольку таковых в Сибири практически не существовало (в середине XIX в. — 36 помещиков на всю Сибирь). Подтверждением внешнего влияния на его интерпретацию служит и оперирование словами «капитал», «капиталист». В данном случае можно говорить о том, что агитпроповские штампы оказали существенное влияние на представления и язык рассказчика, хотя информацию о помещиках он мог получить также от переселенцев из России — «российских», которые в семейных преданиях о причинах переселений из Европейской России в Сибирь часто аргументировали свой переезд тем, что «бежали от помещика». Но так или иначе в его представлениях сибирских кулаков репрессировали, как другие категории капиталистов.

Имеющийся корпус устных исторических источников выявил региональную специфику образа кулака на Алтае. В содержании «алтайских» интервью (на территории Алтайского края) фактически отсутствует об-

раз или тема врага, в отличие от «российских» (на территории Европейской России). В частности, Я. Л. Писаревская, исследовавшая голод 1932–1933 гг. на Кубани (Европейская Россия), указывала, что все интервью делятся на две группы и в одной из них «тема кулака-врага является основным лейтмотивом воспоминаний» [7, с. 13]. Причины формирования в лице кулака образа врага на территории Европейской России исследователи видят в том, что формирование традиции ненависти к кулаку (речи Ленина и Сталина, культивирование этой темы в советской прессе 1920–1930-х гг.) легли на благоприятную почву: кулаки были тождественны «помещикам» (на Алтае отсутствовало крепостничество), выселенным из станиц на первой волне репрессий; закрепил эту ненависть голод 1932–1933 гг., захлестнувший ряд регионов Европейской России, в котором власть обвинила кулаков как саботажников, настоящих «врагов народа», «тех, кто прятал хлеб, боясь колхозных поборов» (на Алтае масштабы голода были меньше). В результате совершенно иной региональной социально-экономической ситуации информанты Кубани создавали обезличенные (неперсонифицированные) образы кулака как укрывателя хлеба, злобного, бесчеловечного существа, готового ради каких-то непонятных интересов уморить голодом себя и свою семью. Базой для негативного образа кулака служила историческая традиция социального противостояния «помещик—крестьянин», «помещик—казак», а также совпадение по времени коллективизации и голода. Именно поэтому даже после перестройки 1980-х гг. рассказчики с Кубани воспроизводили представления, «живыми свидетелями (и жертвами) которых они были».

Рассказчики с Алтая в 1930-е гг. воспроизводят совсем иную ситуацию, отражавшую трудовой симбиоз крестьянской семьи и общества, десятилетиями существовавший в алтайской деревне. Алтайские информанты в оценках «кулаков» изначально настроены более благожелательно, для них характерно социально-экономическое содержание категории «кулак», менее политизированное. Вспоминая своих деревенских кулаков, они более свободны от идеологии, спускаясь в сферу повседневности. На личные воспоминания и рефлексию наложили отпечаток доброжелательная атмосфера трудовой крестьянской семьи, привязанность респондентов в детстве к своей деревне, крестьянским бытовым и производственным традициям, все то, что определяло их мировоззрение и служило своего рода преградой идеологическому воздействию. В большей части интервью отсутствует деление односельчан на «врагов» и «друзей», «чужих» и «своих» и в целом «черно-белое» видение прошлых взаимоотношений.

Вместе с тем последующий жизненный опыт и обработка сознания наложили отпечаток на рассуждения многих сибирских информантов. Проявляется это в характере повествования. Рисуя образы кулаков, рассказчи-

ки как бы пытаются доказать, что конкретный раскулаченный крестьянин не был кулаком (т. е. врагом общества) и то, за что его раскулачили, на самом деле не являлось преступлением (эксплуатацией). Хорошо просматривается идеологическая подоплека в интерпретации П. С. Архипова (с. Дресвянка): «Раскулачили Шмелева Крисантия (у него хозяйство дивное было — коровы, лошади), Филарета Кузнецова раскулачили ни за что (был бы завод!). Коровушек побольше было да лошаденки. Может, наймут одного-двух работников в сезон… *Раскулачивали главную работягу*» [25]. Осторожна в своих оценках М. В. Петрова, чей отец был расстрелян: «У нас в центральной части жили — их называли „кулаки". А какие кулаки? *В сыромяжных брюках и холщовых рубахах»*. Идеологическая маркировка проявляется как в нехарактерных для аграрного Алтайского региона понятиях и явлениях (был бы «завод»), так и в общих категориях — наем работников.

Но если убрать в этих рассказах идеологические штампы и шаблоны, то синонимом слова «кулак» для алтайских крестьян выступает «работяга». Особый оттенок этому определению придает сопоставление прошлого опыта и современных реалий — прошлых «кулаков» и современных «богачей». На обыденном уровне люди, жившие в прошлом и живущие в настоящем, видят главное различие между ними в источниках богатства: «кулаки» зарабатывали своим трудом, а источники доходов современных «богачей» непрозрачны. В оценках старожилов современное богатство «не заработано своим горбом», «их богатство наворовано».

Склонность к аналогиям, сопоставлению прошлого и настоящего, использованию политических, публицистических, идеологических штампов более характерно для интерпретации прошлого мужчинами. Менее идеологизированы и соответственно более адекватны прошлому образу кулака толкования женщин. Они в интервью говорят так, как «судачили» о кулаках в прошлой жизни в их деревне, сохраняя колорит речи и своеобразие языка, передают пересуды и мнения односельчан. Благодаря их устным рассказам можно взглянуть на прошлое глазами далекого во времени, оставшегося в прошлом человека. Р. Ф. Клещева рассуждала: «А кого кулачили? *Кто работал. Работящие мужики.* Приезжали, забирали и дома пустые оставляли. Вон Павел Прокопьевич Черепанов рядом с нами жил — дом круглый имел [признак зажиточности]. Утром мы встали, господи, смотрим — дом нараспашку, все вещи остались, а самих нет. Угнали. Сослали в Нарым, где ничего не было. А он *кулаком и в Нарыме заделался. Работал»*. В ее оценке, вынесенной из прошлой жизни, ключевым словом является слово «работал»: он дважды стал «кулаком», так как «работал». Такую же историю рассказала Устинья Андреевна Успенская про отца Андрея Гавриловича Нескоромных, который переселился с Украины в Петровку, под Славгород, там он стал «кулаком» с 15 детьми, за что был раскула-

Памятник крестьянского зодчества (Тальменский р-н, с. Выползово, ул. Центральная, 7). Фото 1996 г.

чен, отправлен в Красноярский край и там предпринял вторую попытку стать кулаком – срубил избу для малолетних детей. Но в результате непосильного труда надорвался, и его парализовало.

Близкую трактовку содержит жизненный опыт и других женщин из алтайских сел. Например, М. Т. Ильина из Фунтовки с юмором оценила раскулаченных: «В селе жили *трудненькие – трудились с утра до вечера.* Потом за их труд и раскулачили». Близко к ее оценке стоят и другие женские толкования: «В Петровке вообще зажиточные жили... А потом, как стали кулачить, – все полетели» (К. М. Пахорукова). «А что забрали, *кто трудился,* тот богаче был» (Е. И. Дмух). Определенную роль в большей адекватности прошлому женских историй сыграло отсутствие в силу загруженности женщин домашней работой интереса к общественно-политическим событиям, недостаток времени для чтения газет, получения информации через радио и телевидение.

В трудовой достаток кулаков информанты включали результаты семейного производства независимо от хозяйственной специализации – земледелия, скотоводства, пчеловодства, кустарных промыслов. Например: «Кожевники были. Панарин Сергей. Его сослали. Кожевня у него была помимо его крестьянского хозяйства» (Я. Ф. Серебрянников). Но в любом случае логическая цепочка умозаключений опрошенных старожилов алтайской деревни, к которым относились этнографические группы сибиря-

ков, староверов, казаков, включала единую фразеологию: «работал» — «работяга» — «трудился» — «трудяга» («трудненькие») — «богатство» — «богач». Как мерило богатства на первое месте в записанных интервью ставится «дом» («хороший», «крепкий», «крестовый», «круглый»). Как, например, в интервью С. И. Тырышкина: «Выглядело село до 28-го года шибко хорошо. Началась коллективизация. Дома сожгли, *самых работяг кулаками назвали и дома хорошие разрушили.* Дома были деревянные. Большинство домов были крестовые. Связи мало. Лес-то получше был. Сосняк выбирали получше...» Про раскулаченных Громоздиных из с. Алтайское В. Г. Медведева сказала: «Иван Федотыч (Громоздин) крепко жили... голод не видали... У И. Ф. Громоздина тут пчелы в саду были. Он и мед немного продавал». В их оценках утверждается, что источником материального достатка выступал труд кулака и всей семьи. Влияние пропагандистско-партийных документов проявляется в перечислении признаков «кулачества» как «класса»: «у него машины были», «у него работники были», он «приторговывал». Но в характеристиках отношений к односельчанам-кулакам идеологические «показатели» рассказчиками не осознались. Я. Ф. Серебрянников говорил: «Кооперация была у нас тут. Лавочка, раньше когда началась Куяча. *Лавочку держал мужик* Ворошин Михайло. *Он крестьянин был.* И товаришко был. А жил, где сейчас клуб стоит. Он умер, и у него остался сын. Он дожил до раскулачивания, и *его давай клепать — сын кулака.* Его расстреляли, а семью выгнали. А теперь его сын сейчас живой, Иван Архипович Ворошин. Парнишком был. Отца-то когда выгнали, потом он вырос, был на войне и решил хлопотать дом отца. Несколько раз ездил в Москву. Узнал, что отец расстрелян ни за что, ошибочно. Ему сказали, что дом возвратят. Приехал сюда и говорит: Яков Федорович, ты знаешь моего отца? — Да знаю. — В свидетели пойдешь? — Пойду. А этот дом сделался колхозным. Но дом так и не отсудили».

В современных оценках участников трудовых отношений в деревне в тот период агитпроповские характеристики неосознанно ставятся под сомнение. В частности, в трактовке наемного труда просматривается представление о совместном труде — и наемного работника, и хозяина. В качестве примера можно привести рассказ А. К. Дорофеевой, из семьи переселенцев (исчезнувшее село Сосновка) о раскулаченном Александре Карповиче Манькове, который «имел мельницу на р. Тишке, машину-молотягу и машину косилку-жнейку». Она подтверждает, что «*всем селом на них работали.* У него сосновские на поле работали, сено убирали. Хлеб осенью соскирдят и возят зимой. И молотили на машине». Но информант подчеркивает, что «*к нему все хорошо относились. А когда его раскулачили — вся беднота расплакалась: хорошо платил, все около него кормились.* Вот кудель льняную мать напрядет на две равные части: повесит у хозяйки, а их

Сенокос. Окрестности исчезнувшего села Сосновка (Смоленский р-н). Фото 1993 г.

долю перепрядет; ей приносят за это полумотки [пряжи]». При этом, как бы ни относились выходцы из бедных семей к богатым односельчанам, все отмечали, что богатые сами работали наряду с бедными батраками. Про ту же Манькову, жену А. К. Манькова, по словам Агриппины Кондратьевны, говорили: «Сама *старушка работящая* была. Сама на себя говорила: „Вот пошла Машеничка Манькова“». Про эту семью рассказывала и Юлия Григорьевна Тутова из Катунского (Смоленский район), ранее проживавшая в Сосновке: «У нас одного Манькова раскулачили — *имел дом с двумя комнатами. И за то раскулачили.* Мой отец с двумя братьями имели сеялку. Могли быть раскулаченными. А в амбаре у Сотниковых загорелось около нас, и наша косилка сгорела». А С. И. Тырышкин про раскулаченных односельчан сказал так: «Ведь *самых работяг* забирали. Их жалели. Скота они побольше держали, так и *работать* на скот надо было. Кое-кто выворачивались. Некоторых опять забрали. Сарычева шла с ссылки с грудным пацаном (Витька). Здесь отец был. Так поймали и забрали опять в ссылку».

Труд уравнивал возможности разных имущественных групп и являлся средством для достижения материального благополучия. Доказательства этому содержатся в многочисленных интервью крестьян из переселенцев, которые в 1920-е гг. благодаря развитию единоличного хозяйства стали состоятельными хозяевами, уравнялись со старожилами, а в 1930-е гг. попа-

ли в категорию кулаков. Так, семья С. И. Тырышкина «разбогатела трудом» именно в 1920-е гг., приобрела молотилку, сортировку, сеялку. А. И. Абалихина рассказывала, что ее семья приехала в Сибирь за 3 рубля в кибитке с тремя дочерьми, одной лошадью и 4 коровами, обзавелась в 1920-е гг. хорошим домом, косилкой, жнейкой. Свой прошлый опыт она отразила в присказке «одни богато жили, другие бедно жили, работать не любили».

Ценность устных источников для реконструкции социальной категории «кулак» на Алтае состоит прежде всего в отсутствии абстрагирования. Они содержат конкретный жизненный опыт. Этот реальный детализированный материал позволяет реконструировать формирование состоятельной группы крестьян в разных районах, зонах, селах Алтайского края. Народные представления о трудовой сущности кулаков как сельскохозяйственных производителей детерминированы семейными историями о единоличном хозяйствовании при семейно-общинной организации в конкретных природно-климатических условиях. Объективность трудовой характеристики в оценках как представителей раскулаченных семей (взгляд изнутри), так и их односельчан (взгляд извне) подкрепляется отражением в устных рассказах хозяйственной специфики региона, в котором происходило раскулачивание. Спектр характеристик кулаков содержит конкретно-исторические портреты: кулак-скотовод, кулак-хлебопашец, кулак-промысловик, кулак-пчеловод и т. д. Примыкает к ним группа односельчан, открывших в период свободы рыночных отношений предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, организовавших торговлю или транспортировку продукции (маслодел, мельник, кожевник, лавочник, молокан и т. п.).

Благодаря «погружению в прошлое» устные рассказы о конкретных людях (местных «кулаках») очищаются от сформированных и навязанных в 1940–1970-е гг. пропагандистских штампов и идеологических клише. Как только респондент обращается к индивидуальной памяти, он возвращается к представлениям далекого прошлого, реконструирует портреты односельчан, взаимоотношения в селе до и в период раскулачивания, мнения и суждения современников репрессий о «кулаках» и «раскулачивании», демонстрирует повседневное отношение к раскулаченным. По устным источникам можно выделить группы кулаков и раскулаченных: в районах с развитым хлебопашеством среди них оказывались мельник, владелец хлебоуборочной техники; в скотоводческих районах — владельцы перерабатывающих предприятий, большого количества скота, механизированных сенокосилок. Как показывают документированные интервью, источники их богатства для односельчан были достаточно прозрачны, причем существенную роль играл труд самого хозяина. Этот труд был детерминирован природно-климатическими условиями окрестных мест, производст-

венными возможностями семьи, стартовой базой и т. д. В качестве конкретно-исторического примера можно привести рассуждения о «кулаках» и источниках их состоятельности из интервью старожилов Тальменского района. Значительная часть его территории была занята бором, который Кабинет Его Императорского величества до революции 1917 г. запрещал вырубать под пахотные земли. В результате здесь, в отличие от степной и предгорной зон округа, была слабо развита традиционная для крестьян Алтая заимочная форма расширения сети населенных пунктов. Об этом говорят воспоминания старожилов: «В Тальменке-то не было хуторов, не помню. Вот за линией „Варан“ был. Жил там в землянке один».

Как показало интервьюирование старожилов, на территории Тальменского района основным источником дохода жителей являлись заработки на перевозках товарного леса, а также ямщина и извоз для доставки товаров с юга Алтая на Сибирский торговый тракт, проходивший через села, расположенные севернее района. «У богатых-то не было заимок, — вспоминает Н. Н. Холодков (Тальменка). — Они все на лошадях. Там, где *большие грузы,* там они. На р. Еловке было два лесопильных завода — нижний и верхний. Заводы были частные, *частники подряжали.* Лес заготавливали, возили. Там и смолу древесную гнали. Туда паровые котлы надо было доставить, так Екшимбаровы [раскулаченные старожилы Тальменки] *под 40 лошадей запрягли* и месяц эти 18 километров тащили. У них были самые крупные лошади. Там, где *самый тяжелый груз,* — там они и *подряжались*» [3]. Поэтому у «кулаков» Тальменского района, в отличие от «кулаков» степных районов Алтайского края, в личных хозяйствах было много лошадей. Как рассказывают старожилы Тальменки, в их огородах до настоящего времени сохранился хороший чернозем, так как «ранешние хозяева на подворье держали помногу лошадей». В некоторых дворах слой навоза достигал метра и более.

Совсем по-другому формировались образы кулаков в сельскохозяйственных районах. Они шли от образа самостоятельных сельскохозяйственных производителей как главных исторических персонажей доколхозной деревни. Часто в их роли выступали заимочники, которые оказывались способны самостоятельно хозяйствовать в отдалении от деревни благодаря многочисленности семей или технической оснащенности хозяйства. Вот как об этом говорит А. П. Теплухин из с. Михайловка Третьяковского района: «Я там [заимка Шишаева] жил до 15 годов. Заимка Шишаевых, братьев родных. Было у них *много скота,* голов 150. Построили дома, жили сначала в одном дому 42 души, а потом дома построили и разошлись. Через три года их подкулачили и сослали в Нарым. Нас тоже хотели подкулачить, но не имели права. Мы батраков не держали, а они держали.. Ихние сыны, они нам одногодки... Она была там, где сейчас кошары у нас, ки-

лометра 4 отсюда… Уехали мы оттуда в 1929 году. Из Нарыма никто не вернулся… А у одного поручика, заимка Поручикова, 7 детей было, а его *кулаком заделали*…». Именно подобные семейные производственные коллективы жили по многочисленным заимкам и потенциально являлись первыми кандидатами в плановые списки по раскулачиванию.

От образов кулаков центральной зоны Алтая в районах земледельческой колонизации отличались образы кулаков притаежных и таежных сел Залесовского и Кытмановского районов, где основной доход давало кустарное производство на базе хуторской и поселковой сети населенных пунктов в тайге («оглоблю воткнешь в землю — телега вырастет»), горной и предгорной зон Чарышского, Третьяковского, Солонешенского, Алтайского районов с их скотоводческой и промысловой специализацией, и т. д. Именно благодаря адаптации крестьянского хозяйства к «кормящему» ландшафту формировалось богатство местных кулаков. Из этого следуют в своих выводах рассказчики. Большинство респондентов происходит из старожилов. Это подтверждается тем, что в накоплении капитала деревенскими производителями большую роль сыграла устойчивость производства благодаря их адаптации к «кормящему ландшафту» вследствие длительного проживания; при этом были важны и этнокультурные факторы — право старожилов на лучшие земли, их приоритет при распределении сельскохозяйственных угодий, защищенность общиной и «обычным правом» и т. д., а также социокультурные факторы, которые способствовали высокому проценту зажиточности среди старожилов. Эта тенденция не являлась абсолютной, но все же была выражена, что подтверждают и задокументированные интервью представителей других этносоциальных групп алтайской деревни.

Иные чувства, представления, трактовки встречаются в оценках поздних переселенцев на Алтай. Их цепочка рассуждений о кулаках начинается с критерия «богатство», «богатые», «богачи» и исходит из другого жизненного опыта. А. И. Арзамасцева (с. Черемное), оглядываясь в свое прошлое, рассказывала: «По одну сторону Солоновки жили богатые, по другую — не очень. *Богатые брали землю* получше, нам похуже давали. У богатых были *молотилки, лобогрейки, много скотины*. Мы *к ним ходили просить, а они нас работать заставляли…* Мы у богатых хлеб пололи, убирали, мололи, *батрачили на них*. Вон по радио слышим, как Ленина обвиняют. Обвиняет тот, кто не жил при этой жизни. Е. И. Матысина, 1916 г. р., из д. Черновой Смоленского района, рассказывала, что в их семье было 8 человек, из них двое мужчин погибли на фронте, «земли было 12 гектаров. Сеяли и убирали. Покос. Я лично была заплугой. Держали 4 коня. *У кулаков стадо лошадей*. Воровали у нашего брата, не спали. Прожили много всего… не приведи господь вам… В деревне были *богатые и бедные*. Что у

бедных не хватает, мать пойдет: „Кум, может, подмогнуть что? Ребятишки придут". Пойдем помолотим подсолнухи… Он наливает стакан масла, а потом отдает. *Бедных было много, всю жизнь ходили работать…*» Выходцы из этих семей в своих интервью особенно часто отмечали тяжелый характер труда в найме. Так, семья А. И. Абалихиной вручную засевала 10 га, а затем «литовками да серпами убирала». Е. И. Дмух из Троицкого Третьяковского района вспоминала: «В Корболихе [соседнее село] *богатые жили* (в их селе Троицком — переселенцы 1921 года). *Пчел много держали*. Меду было много. А мы только в Спас ели. Пойдешь — горшок меду за 1 рубль купишь. Пампушки состряпали, *медом губы помажешь. Денег-то не было*».

Наличие подобного корпуса интервью показывает, что огульное отрицание социального неравенства, не только сформировавшегося на уровне производственных отношений, но и закрепленного обычным правом, приводит к очень интересной метаморфозе мировосприятия и мировоззрения людей под воздействием массовой пропаганды идеологических установок. «Богатые» из категории отрицательных образов советской историографии переведены в разряд положительных, а «бедные» — из разряда «несправедливо обижаемых» и «обманутых» в группу «захребетников». Эту одномерную метафомармозу можно рассматривать как своеобразное движение «от идеологии к идеологии». Иначе говоря, историки, освобождаясь от прошлых стереотипов, попадают в тиски новых, современных, высвобождение из одного закабаления оборачивается новым закабалением. Анализ устноповествовательных текстов показывает, что в деревне действительно существовала имущественная конфронтация, которая осознавалась на бытовом уровне. Устные семейные истории отражают имущественное расслоение, перерастающее на межличностном уровне в противостояние. Всплеск эмоций в отношениях между двумя полюсами деревни произошел в годы Гражданской войны, но мощным эхом отозвался в 1930-е гг.

Документированные интервью показали, что в алтайской деревне действительно возникло социальное напряжение. Оно формировалось под влиянием региональных особенностей социально-экономических процессов, обусловленных исторической традицией земельно-общественных отношений на Алтае, производительными возможностями и природно-климатическими условиями. В каждом регионе России под влиянием как общих, так и региональных факторов складывалась своя ситуация в социальной сфере. Нараставшее напряжение требовало от государства вмешательства в ситуацию. В России это вмешательство вылилось в раскулачивание с опорой на те слои деревни, которые морально были готовы ликвидировать имущественно-социальное неравенство, угрожавшее жизни их семьи. На Алтае формировались своя мотивация поддержки раскулачивания, побудительные стимулы и модели поведения.

Контент-анализ интервью В. Ф. Пенкина и Х. А. Кузнецовой, из воронежских переселенцев (с. Михайловка, Усть-Калманский р-н), показал, что на первом месте у них тоже стоят слова «богачи», «богатые»: «богатые были в то время». В их рассуждениях «добросовестные» — особенно бедные. В эмпирических отражениях прошлого заложена одна из локальных особенностей исторических процессов. Именно на Алтае грань между имущими и неимущими, богатыми и бедными в деревне часто пролегала между группами разновременных мигрантов в перманентном процессе переселений из европейской в азиатскую часть России. Территориальная мобильность в поисках лучших земель способствовала более устойчивому имущественному положению ранних мигрантов. Вновь прибывавшие группы проходили стадию обустройства на новом месте, когда вынуждены были прибегать к аренде земли и сельскохозяйственных орудий, работе по найму, батрачеству. Именно поэтому в противостоянии богатых и бедных на Алтае важным фактором являлось противостояние старожилов и переселенцев. Закрепляли такую дифференциацию сельского общества социально-сословные различия (казак — крестьянин) и культурная разница между старожилами (сибиряками) и переселенцами (российскими), начиная от традиций формирования жилой усадьбы и заканчивая конфессиональными и семейными традициями. В отличие от этнокультурной разницы, которая в современной алтайской деревне прослеживается в общении до сих пор, грань между старожилами и переселенцами как имущественными группами была более подвижной и прозрачной, допускала переход из одной группы в другую, однако на первом этапе обустройства, как правило, переселенцы пополняли бедные слои деревни.

Воспоминания очевидцев показывают, что в категорию бедняков и батраков крестьянские семьи на Алтае попадали в силу многих объективных обстоятельств (о некоторых из них сказано в главе 2), что противоречит утверждениям тех современных публицистов и прочих политически ангажированных авторов, которые сводят причины формирования группы «бедных» крестьян к субъективным факторам и называют батраков «лодырями» и «бездельниками». Устноисторические оценки очевидцев прошлой жизни отличаются отсутствием категоричности и имеют форму «рассуждений», «размышлений». Е. В. Тырышкина (с. Ново-Тырышкино), отзываясь об отношениях богатых и бедных в их деревне, рассуждала: «*Жили разно:* богато, бедно. Родители работали на богатых: сеять — хлеба нет; они за него работали все лето. Родителей нарасхват брали. *Разные были богатые*: один ляжет спать и пока ноги три раза в стороны не разъехались — отдыхает [значит, дает возможность отдыхать своим батракам]. А брат в работниках жил: „Мама, — говорит, — там столько работы! Все время заставляют работать, в воскресенье и то работу найдут!» Отрицательные эмоции в

рассказах крестьян вызывала жадность зажиточных односельчан. Е. В. Тырышкина рассказывала: «На ветру *много богатых* было. Здесь Поповы были. Они *жадны* были: хлеб у них был, амбары, дома. Они *плюшевые штаны* в церковь оденут, а потом снимут и в *холщовых* ходят[1]. Вот так». Особенно порицалась жадность в отношении нищенствующих странников, просящих подаяние, или обедневших односельчан: «Подавали раньше нищим. Многие ходили: свои и чужие. Рождество особенно славили. Во всех домах их принимали. *Грошевы богатые были.* Один слепой старик, Денев, подошел к ним, постучался и зовет: „Афонюшка, дома ли?“ А тот сам отвечает: „Нет его дома!“ *Жадный очень был.* И не стыдно было? Старик-то его голос знал» (Е. Тырышкина).

Опора историков на устные свидетельства о раскулачивании в исторических повествованиях показывают сложность и противоречивость отношений в деревне в 1930-е гг. Однако у устноисторических исследователей, так же как и у других историков, существует реальная опасность скатиться к крайним точкам зрения и, отказавшись от утверждений советской историографии о «кулаке» как «мироеде», идеализировать его отношения с «бедняками-бездельниками». На историка-хроникера, так же как и на «голоса прошлого», влияет социально-политическая обстановка времени сбора информации. Она может обусловить интерес к тем или иным проблемам, темам, поощрять те или иные оценки, иначе говоря, стать заказчиком тех или иных исторических сюжетов и их интерпретации. Если в советское время государственно-партийный заказ обусловил внимание исторической науки к беднейшим слоям деревни (пролетаризации), то в постсоветское время выявлено «белое пятно» в советской историографии — исторический портрет кулака. В частности, развитие рыночных отношений в деревне способствовало всплеску исследований по предпринимательству и предпринимателям в сельскохозяйственном секторе российской экономики. Такую же эволюцию претерпела и устная история. Еще в начале 1990-х гг. интервьюирование по теме раскулачивания приходилось вести «приглушенным голосом» — люди боялись говорить о судьбе раскулаченных родственников. В начале XXI в. они стали стыдиться говорить о своих родственниках-батраках. Определенную лепту в формирование такого отношения к прошлому наряду со средствами массовой информации внесли и историки, которые в стремлении восстановить историческую справедливость и ликвидировать историографические лакуны акцентировали внимание на кулаках и смешали два процесса — политическую реабилитацию с научной. Подобные случаи происходили и в зару-

[1] Понятие о богатстве на разных исторических отрезках имело различное содержание. Но элементы одежды в России всегда являлись знаковыми, как в силу длительного существования сословности, так и в силу низкого жизненного уровня всех сословий России.

бежной практике устноисторических исследований. В частности, европейские устные историки в последнее время стали обвинять американских коллег в том, что они регулярно используют метод устной истории «в духе социально-политического консерватизма», что довело Дж. Толанда в книге об А. Гитлере «до сочувствия фашизму» [6, с. 15].

Поэтому историку надо помнить, что от его позиции во время опроса будет зависеть адекватность устного рассказа о прошлой жизни. Ангажированный историк-хроникер может услышать того, кого хочет, и то, что хочет. На «голоса прошлого» равно накладывает отпечаток и социально-политическая обстановка во время создания источника-интервью, и личность опрашиваемого, и самовыражение расспросчика. Что касается современной обстановки, то она на рубеже XX–XXI вв. является очень благоприятной для развития устной истории. Гласность и демократичность благоприятствуют откровенности рассказчика; наступление тоталитаризма заглушает «устные голоса». Поэтому на современном этапе большую роль играет научная добросовестность историка. «Историк-хроникер» должен, невзирая на политическую конъюнктуру и на свои пристрастия, быть «всеядным» и не допускать предвзятого отбора тем, проблем, оценок, установок. Историк-«селекционер» не может заниматься устной историей. Исследователь должен создавать благоприятные условия для рассуждений респондента вслух, не оказывать на него влияния и тем более давления. Только при таком поведении интервьюера в устных источниках отражается многофакторность взаимоотношений двух полюсов деревни. Только свободный от опеки рассказчик транслирует прошлые представления, вынесенные из реальной жизни: «Зажиточных было не шибко много. *Они зажиточные — как? Вот свою жнейку держали.* Он пожнет тебе, а ты пойдешь ему повяжешь, отработаешь. Семей шесть у нас раскулаченных было. *Кого из-за пасеки раскулачили,* кого из-за чего» (Е. С. Малюгина, с. Малиновка, Заринский район).

Типичность жизнеописательных оценок раскрывает устойчивые представления крестьян о характере взаимоотношений в деревне. Устные рассказы можно экстраполировать на устоявшиеся в советской историографии понятия, в том числе эксплуатацию. Это позволяет через сформулированные закономерности увидеть многообразие жизненных ситуаций и тем самым скорректировать оценки многих явлений исторического прошлого. В частности, необходимость коррекции понятия «эксплуатация» вызвана признанием фактора хозяйственной специализации крестьянского хозяйства под влиянием региональных природно-климатических условий и формирования на территории Алтайского края товарно-экономических зон. В условиях недостаточного развития денежно-рыночных отношений характер социальных взаимоотношений в связке «степь — тайга»,

«степь — горы» и т. п. имел натуральный характер. Рассмотрение под этим углом зрения социальной дифференциации вносит коррективы в представления о характере взаимоотношений в деревне.

Своеобразный социальный и трудовой симбиоз всех имущественных слоев деревни показывает отрывок из интервью Агриппины Кондратьевны Дорофеевой, раскрывающий организацию взаимоотношений между «мужиками» переселенческого общества горной деревни Сосновки с кустарно-скотоводческой специализацией и «мужиками» старожильческих степных хлебопашеских сел. В их «небогатой» семье все «работали на лесе», включая детей, в том числе дочерей. А. К. Дорофеева вспоминала: «У тяти было 4 лошади: уедешь часа в 3–4 утра, а приедешь с делянки в 10–11 вечера. Нарубишь 4 воза, устанешь, уснешь. Утром опять ехать. У меня были тяжелые самотканые штаны (мама напрядет, наткет). Пока работаешь — намокнут. Они замерзнут на тебе, как трубочки. Приедешь, сбросишь с валенками — они стоймя стоят [замерзнут]»[1]. Работа была тяжелая, а в семье кустаря были одни дочери, и для выполнения подряда «отец нанимал других мужиков, кто заработать не может: один немой был мужик из Булатово [Солонешенский район]. Приедет и просит руками [жестами] пилить. Отец подрядит его. Он у нас жил. Мы навозим, навозим леса — он с отцом пилит. Там жил еще один бедненький мужик, подряжался». По этому рассказу трудно дифференцировать всех участников трудового процесса на кулаков и бедняков, эксплуататоров и эксплуатируемых. Классовый подход применительно к этой жизненной истории не отражает реальной ситуации.

Вместе с тем устные источники показывают, что именно взаимоотношения в сельском обществе стали важным фактором самого процесса раскулачивания. Имущественная дифференциация сыграла свою роль в формировании межличностной неприязни, усугублявшей раскулачивание: обиде и зависти, с одной стороны, пренебрежении и презрении — с другой. Эти эмоциональные факторы приобрели в период раскулачивания значение побудительных мотивов социального поведения. Многие информанты видят в раскулачивании односельчан сведение счетов бедняков с богатыми, которыми, по их мнению, двигала зависть к богатству. А богатство состояло в наличии добротных домов, хозяйственных построек, скота, земли. Поэтому, по крестьянской логике, среди тех, кто раскулачивал, «шибко *заядлые*... сами-то *нищие* были... все сами решали — кого, куда? Вещи *отбирали... пропивали*» (Смоленский район). Крестьяне прямо говорят: «Манькова из Сосновки раскулачили за то, что имел дом с двумя комнатами, машину-молотягу, жнейку, косилку, мельницу»; семью Черeневых

[1] Традиционная культура предусматривала заготовку леса в зимние месяцы, пока он сухой, до весеннего сокодвижения.

Памятник крестьянского зодчества (Тальменский р-н, с. Выползово, ул. Центральная, 5). Фото 1996 г.

спасло от раскулачивания то, что их сеялка, находившаяся в амбаре у Сотниковых, сгорела; семье Тырышкиных «грозила ссылка» за то, что имели молотилку, сортировку, сеялку, а спасло их то, что из шести братьев два были в армии, а «армейцев не трогали», и т. п.

Среди предметов зависти со стороны бедноты старожилы называли хороший, или, в их определении, «круглый» (крестовый) дом. Многие крестьяне быстро «вычислили» мотивы поведения тех, кто кулачил, и пытались отвести от себя внимание уполномоченных. И. А. Медведев, сам прошедший через раскулачивание, прямо обвиняет в доносительстве своего соседа, который, чтобы избежать раскулачивания, привечал уполномоченных и, по предположению рассказчика, «сдавал» односельчан: «Я тебе скажу так: раскулачивали так: ежели ты калманская, то ты знаешь. Вот щас де милиция, так вот сюды в ограде, де аптека, прям посередь в ограде, тут стоял двухэтажный дом, Иван Федорович Кузьмин жил. Имел самовязку, это называют, которая косит снопы, сама снопы вязала. Три сына у его было. Значит, что? Район был в Усть-Пристани [действие происходит в Усть-Калманке], с района уполномоченные по хлебу приезжали, все у его стояли [останавливались на ночь или обед] — двухэтажный дом был, он их кормил и поил… Там наверху [на втором этаже в горнице] и им кого-нибудь

Крестовый дом на подклете, построенный крестьянином Громоздиным в начале XX в. (с. Алтайское, ул. Советская, д. 294). Фото 1994 г.

„закладывал“ [выдавал]. А вот туды в конец-то, от мельницы там вот как проулочек пошел, там домишко стоял маленький-маленький [в представлении рассказчика, его хозяин явно не был похож на кулака]. Это тут жил, не знаю его фамилии, но звали его Фимкой, он был кузнец. Однако коня имел, кузницу свою, ну, людям кто плуг, кто коня, он всем это делал. И дак его раскулачили. Тоже — кулак; какой он кулак? Он людям помогал, так? *Вот такие-то безобразия, кого нужно было сослать, они осталися, кого не нужно... так и щас»*. Логика рассуждений информатора не ставит под сомнение сам процесс раскулачивания.

Крестьяне, пройдя через идеологическую мясорубку 1920–1930-х гг., не задаются вопросом: зачем нужно раскулачивание? Они рассуждают в рамках проблемы «кого раскулачивать?». Именно в эту плоскость и были выведены отношения односельчан в период раскулачивания. Внимание крестьян было сфокусировано на выборе жертв раскулачивания и тем самым отвлечено от общей проблемы правомерности самого процесса. Поэтому в толковании пострадавших раскулачивание ассоциируется с местными исполнителями, среди которых были «честные и бессовестные», «завистники» (а это значит — «голытьба»), которые, как считают информанты, чаще всего именно в своих интересах вершили суд над односельчанами. «У отца *свои* отбирали, кому работать неохота» (У. А. Зайцева). Перевод рассказов о раскулачивании на уровень жизненных ситуаций приводит

рассказчиков, как правило, к поименному перечислению обидчиков — Гришек, Анисимовых и др. М. П. Калюжная из семьи раскулаченных рассказывала: «Приезжал Иванов Иван Петрович из Корболихи (начальники). *Они знали, что мы не кулаки, а им дом* [родителей М. П. Калюжной] *надо было. У всех-то избы были, у нас дом.* Они же сами и сказали: „Ермолай, уезжай. Мы вас *раскулачим из-за дома“.* Ермолай уехал в Донбасс, а нас выселили. *Что хотели, то и делали*».

Устные истории показывают, что крестьяне не видели идеологической подоплеки в действиях «раскулачивателей» и сводили мотивы их поведения к корысти, тем самым переводя проблему мотивации из социальной плоскости (социального поведения) в бытовую. Контент-анализ устных источников о раскулачивании выявляет наиболее распространенное представление о причинах раскулачивания: это «хороший дом», который приглянулся активистам либо для себя, либо для сельских нужд — под школу, детские ясли, избу-читальню — или для масштабных проектов по укреплению коммун и созданию отделений колхозов или ферм совхозов. Н. Е. Егорова, жившая в 1930-е гг. в исчезнувшем селе Кураевка, пояснила, что «одного *из-за дома подкулачили.* Семья была у него большая, ничего не было, кроме дома, и его подкулачили. В деревню они потом не возвращались». Но следы массированного воздействия на сознание крестьян проявлялись в использовании фраз из арсенала агитпропа. Так, крестьяне оперируют обобщенным названием «раскулачивателей» — «актив»: «актив был» (С. И. Тырышкин).

Таким образом, рассказчики связывают раскулачивание с местными обидчиками, конкретными людьми. В устных рассказах отсутствует политический и идеологический контекст. При научной интерпретации устноисторических источников подобный материал показывает большое значение человеческого фактора в переломный исторический момент. Поэтому при интерпретации документированных интервью по раскулачиванию нельзя не учитывать ментальность рассказчиков, уровень их политической культуры, историческую преемственность, традиционное сознание и т. д. Крестьяне наследовали нормы, традиции, стереотипы взаимоотношений с властью от своих предшественников, когда ответственность за беззакония возлагалась на местных чиновников, а от центральной власти ждали защиты от местного «беспредела» — как административного, так и человеческого. В оценках раскулачивания очевидцы и участники не выходят на осуждение политического режима, не видят преступности самого процесса раскулачивания как антизаконной, антинародной политики, инспирированной партийно-государственной властью. Вину они перекладывают на местных активистов из бедноты. В их образ входят такие характеристики, как «нищие», «заядлые», «пропойцы». Ульяна Леонтьевна Зайцева

(с. Староалейское) вспоминает: «Был Шикунов Иван. Ему памятник стоит. Мне одногодок. Подошел и стал даже дерюжку собирать. Я его отшатнула: „Как тебе не стыдно!“ Он был *комсомолец, активист*. Горе было! Плакали… У нас с потолка и семечки сбросили: „Давай, девочка, бери, а то ничего не увидишь“. Сколько лет ростили, а за час забрали!» С. И. Тырышкин рассказывал: «Раскулачили у нас с полсотни. Сегодня 5, завтра 3–4. *Актив* был, *наши же,* собаки, *сами* решали, кого раскулачать. Приезжают, тебя гружают с детьми. Вещи получше забирают, *пропивают,* и все. Глебов Алексей Иванович, Казанцев, Саньков шибко *заядлые* были. Сами-то *нищие* были. Леня Грошев глава был, вещи отбирал. Они сами все решали — кого, куда. Дома потом в Южное отделение увезли. Семьи сначала на Бийск, в Нарым. Прятались девчонки, их искали, у меня многие прятались. Одна спряталась, Прибыткова Евдокия Михайловна, с 1913 г. р., потом за председателя вышла замуж. В сельсовете 11 исполнителей заставляли запрягать коней [принадлежащих раскулаченным], а потом резали. Вещей мало было. *Не сопротивлялись. Все напряженно было, убить их, чертей, надо, но боялись».*

Влияние идеологического пресса, сопровождавшего кампанию по раскулачиванию, отражается в том, что рассказчики в своей интерпретации до сих пор пытаются найти оправдание раскулаченным родственникам, доказать ошибочность определения их как «кулаков». Слишком долго вбивалась в их сознание оценка кулаков как врагов народа. Бывшая учительница, комсомолка М. В. Петрова в своем рассказе об отце привычно доказывала его невиновность: «В 1937 г. отец был репрессирован. Был *работящий.* У него все просили — дай хлеб, дай другое. *Лодыри ходили. Он двоим отказал. Они составили клевету.* Его забрали в Рубцовск. Сейчас реабилитировали. 29 июня его забрали, а в конце ноября пришли ко мне в училище. Военный вызвал меня в коридор и сказал: „Я из сочувствия к вам. Отца расстреляли 18 ноября на берегу Алея. Клеветников нашли. Ничего не подтвердилось“. Тем более, у отца была многодетная семья. Отец погиб напрасно, по клевете». В данном случае информант, как обычно, не выходит на обобщения о противозаконности самой политики, а рассуждает в границах конкретного случая. Такой подход в целом характерен для позиции крестьян.

Как показывает опыт работы с разными социо-культурными группами алтайской деревни, только в рассказах респондентов из казачьих сел содержится более политизированная оценка раскулачивания. В их интерпретации раскулачивания к борьбе за богатство добавлялся мотив борьбы за власть и уничтожение казачества как социума. Проводниками традиций казачьего мира были в первую очередь представители казачьего самоуправления, от их деятельности зависела жизнь казачьего мира. Так, ста-

рые казаки и казачки с. Верх-Алейки (бывшая станица) связывают с раскулачиванием гибель казачьего мира, считают, что удар по казакам наносился осознанно, так как пострадали те, на ком держались хозяйство, культура и традиции казачьего мира. По их мнению, с того времени и «поплыла Верх-Алейка». С. С. Нечаева категорична в своей оценке: «*Кто получше жил, того раскулачили. Головку станицы поарестовали да сослали,* да в тюрьмы посадили. *А кто не работал — в их дома вошли...* Кого увезли, от них ни одного дома не осталось — все изъяли». Сама С. С. Нечаева вместе с мужем была в составе этой репрессированной «головки».

С. С. Нечаева, 1909 г. р., казачка (с. Верх-Алейское, Третьяковский р-н). Фото 1992 г.

Этнокультурные последствия процесса «раскулачивания» прослеживаются и в судьбе других этнокультурных групп алтайской деревни в 1930-е гг. Раскулачивание в форме «раскрестьянивания» не только влекло за собой изменение экономического положения разных групп крестьян, но и подрывало традиционную культуру, традиционный образ жизни, духовную и материальную сущность этнической культуры этих групп. Так, в случае со старообрядцами раскулачивание сопровождалось разрушением устоев жизни старообрядческих общин, в случае с другими этнографическими группами русских — базы существования традиционного патриархального крестьянского общества.

Жизненные истории и голоса из прошлого позволяют говорить о многофакторности процесса раскулачивания, который нивелировал социальную, политическую, культурную мозаику алтайской деревни, что в сущностном плане и предполагала трансформация традиционного поликультурного сельского общества в единое унифицированное общество советской модели. Раскулачиванием и репрессиями ликвидировалась культурно-историческая, конфессиональная, этнографическая пестрота крестьянского мира. Унифицирование крестьянского мира через колхозную систему являлось первой ступенью формирования нового (советского) человека, который что-то терял в этом процессе, что-то приобретал. Особенностью советского варианта модернизации патриархального крестьянского мира являлись огромные усилия партийно-государственной машины с применением насилия. Интервьюирование людей 1930–1950-х гг. показывает, что новый мир формировался «извне» репрессивной политикой, а затем воспитанием и идеологией. Благодаря интенсивности и массированности идеологического и репрессивного наступления в деревенской среде формировалось новое поколение сельчан, не обогащенное историко-культурным наследием доколхозного крестьянского мира. Водораздел между старым крестьянским и новым колхозным миром сформировался в 1930-е гг. Соответственно этому весь корпус созданных устных исторических источников делится на две группы. В первую входят источники, созданные на основе интервьюирования очевидцев прошлого, рожденных в 1900–1920-х гг. Их отражение прошлого обогащено этнокультурной и этносоциальной информацией пестрого деревенского мира начала XX в. Вторая группа представлена документами, созданными на основе интервьюирования людей 1930–1960-х гг. р., воспитанных советской властью. Именно в их оценках прошлого прослеживается опосредованное влияние государственных усилий по формированию советского человека. При работе с этой группой источников особенно важно учитывать уровень грамотности людей, их социальный статус, профессиональную биографию, половую и национальную принадлежность, накладывавшие отпечаток на сознание и рассуждения представителей советских поколений. Этнокультурные, социально-имущественные факторы в их рассказах не прослеживаются, это являлось результатом раскулачивания и репрессий 1930-х гг.

3.2. Раскулачивание: модели поведения в экстремальных условиях через призму семейных историй

В последнее время исследование политики и процессов раскулачивания сделало значительный шаг вперед. Большие результаты достигнуты историками в анализе нормативно-распорядительной документации, введении в исследовательскую орбиту новых, ранее недоступных судебно-

следственных источников. Вместе с тем довольно быстро исследователи стали испытывать неудовлетворенность источниковым корпусом отделов спецдокументации государственных архивохранилищ, и прежде всего их ограниченностью и шаблоностью. Источники фондов спецдокументации оказались составленными по общей схеме, отражающей единый для всех судебных случаев сценарий. Между строк обвинений читаются беззакония и фальсификации, поведение обвиняемых и подследственных воспроизводятся во всех документах словно под копирку. Источники различаются только фамилиями подследственных, временем следствия, местом «преступлений» против колхозного строя и советской власти. Подобная ситуация обусловлена, выражаясь словами Д. П. Урсу, тем, что «характерной чертой тоталитарных режимов является устность. Этот принцип криминального мира требует не оставлять никаких материальных следов своих преступлений. Важнейшие государственные решения не оформляются в письменном виде. Архивы систематически засоряются малозначащими, а нередко и сфальсифицированными материалами. Это воистину «мертвое бумажное море» [1, с. 1–2].

Для более адекватной реконструкции событий 1930-х гг. недостает материалов, характеризующих взаимоотношения сельского общества и власти в период раскулачивания, отражающих реальную практику раскулачивания, поведение крестьян, их отношение к проводимой политике. В условиях тотального «наступления на кулака» крестьяне должны были искать пути смягчения репрессивного удара, найти свой «ответ» на сформулированную властью задачу раскулачивания.

За время экспедиционных исследований нами были собраны сотни семейных историй, в которых отразились попытки приспособиться к новой ситуации, характеризующейся экстремальными условиями. Их анализ показал, что на социальное и бытовое поведение крестьян в период раскулачивания влияли конфессиональные взгляды, этнографическая принадлежность, социально-экономический статус. Комбинации этих факторов в каждой семье обусловливали позицию и поведение крестьян.

Среди сотен записанных семейных историй о раскулачивании почти не встречаются факты открытого сопротивления. Зафиксированные редкие случаи связаны со старообрядческими населением, отношение которого к политике советской власти в определенной степени диктовалось религиозным фактором и традиционной оппозиционностью по отношению к государству. В частности, к особому драматизму событий привел старожильческий состав населения Солонешенского района с высоким процентом старообрядцев. Устные источники показывают, что проживавшие в горах в большом количестве старообрядцы, объединенные в народных рассказах под одним названием «кержаки», в отличие от преимущест-

венно «российского» населения других районов края, сопротивлялись как новой коммунистической (атеистической) идеологии, так и лишению их экономической самостоятельности. В Малом Листвененке кержаки «во время коллективизации бунтовали: у одних насильственно угоняли скот, отбирали коров, хлеб, куриц... Остальных ссылали... Балашова сослали за то, что менялся с цыганами конями, а когда увозили, не имел даже рубахи. *Кулачили в основном кержаков, за косилку и молотилку, грабли. Только построили дома, их всех согнали, а дома добротные разгромили, сожгли*... молельню кержаки бросили, и стала школа...». В обессиленном Малом Листвененке создали колхоз «Сталинская конституция», в 1950-х гг. его объединили с колхозом «М. Горький» в Лютаево. Поэтому кержацкие села Малый и Большой Листвененок пострадали больше, чем соседние переселенческие «российские» поселки. В частности, из соседней Москалевки, основанной переселенцами из Воронежской области, по свидетельству старожилов, в 1935 г. выслали только одного человека — «деда Москалева» (Антипа Афанасьевича). В интерпретации его потомков, поводом к раскулачиванию и последующим репрессиям послужила религиозная деятельность А. Ф. Москалева. Как рассказывал И. А. Москалев, «отца забрали в 1937 г., и только 1 ноября 1989 г. получил извещение о его судьбе и посмертную реабилитацию», а репрессированию его отца, Антипа Афанасьевича Москалева, предшествовало раскулачивание деда, основателя Москалевки Афанасия Фроловича. Он был старостой при церкви, которую переселенцы на свои деньги успели выстроить перед революцией, «не успели только обзавестись собственным батюшкой. Попа привозили из Камышенки» (дед «Пашки Нормандского»). По рассказам И. А. Москалева, «деда кулачили в 1935 г. — четырех лошадей хоть и сдал в колхоз, а корову уже забрали. Отец говорил деду, что из-за тебя раскулачили [из-за того, что был церковным старостой]. Дед заматерился, влез на печь, заболел и помер».

В крестьянской среде вообще сформировался устойчивый стереотип представления о старожилах-старообрядцах как зажиточных или по крайней мере состоятельных хозяевах, как о кулаках, независимо от конфессионального согласия, к которому они принадлежали. Так, все жители исчезнувшей Кураевки говорят о «трезвенниках» (старообрядцах). И. В. Первутинский вспоминает: «В Кураевке не все вошли в колхоз сразу. Старики упирались, видишь, они были трезвенники... Семьи были большие...», а его жена прямо говорит: «Был у нас трезвенник один, боговерующий Сергеев. В колхоз он не входил. Его приехали и ночью увезли...».

Устные свидетельства показывают, что большинство крестьян, не вступая в открытую борьбу, выработало разные скрытые модели сопротивления в условиях начавшихся притеснений и репрессий: модель подчине-

ния, модель уклонения, модель побега и т. п. В их основе лежало стремление крестьян самосохраниться, спасти свою семью. Такое поведение нельзя назвать новым для крестьян, напрашиваются аналогии с прошлым. Анализ воспоминаний позволяет поставить раскулачивание по характеру событий в один ряд с другими историческими насильственными формами реализации государственной политики, такими как раскол церкви и преследование староверов в XVII–XIX вв., крепостное право и преследование беглых крестьян в XIX в. и т. п. На всех этапах противостояния власти и общества сформировались традиции пассивного сопротивления, в основе которой лежали определенные массовые формы социального поведения: не вступать в открытую борьбу, найти возможности выжить — перехитрить или сбежать. В рассказах крестьян о раскулачивании синонимом слова «хитрый» часто является слово «грамотный». Такая модель поведения одобряется рассказчиками — очевидцами событий. По словам крестьян, *«кто похитрее, тот сбежал,* а остальных за горы угнали, и сгинули». Д. С. Нормадских выразился однозначно: «Когда стали кулачить, *самые грамотные сбежали, а кто не сообразил — раскулачили».* На Алтае повсеместно встречаются рассказы о «хитрых» крестьянах, которые, не дожидаясь репрессий, покидали села. Старожилы помнят, что в старейших селах обезлюдели многие дворы. Так, в 1940 г. приехавший в Большую Речку Л. Т. Денисов застал там «около 20 пустых домов…» и пояснил: «боясь раскулачивания, уехали».

В бега, по рассказам очевидцев, пустился и основатель выселка Гордеевка (Алтайский район) — Гордеев. Про него старожилы рассказывали: «Был киргиз, мы так казахов звали, шапки с хвостом… И никому не подчинялся. Учуял, что неладно, *все бросил и уехал* на Ионыш в Чарышское. И жили как вздумают. И из Сибирячихи *многие уехали.* Гордеев же беженцев подрядил, и они за хлеб натаскали камни и глину и слепили ему дом. Я лет шесть назад ездил рыбачить на ключ Прямое. Там оставались развалины, в лужке каменно-глиняный дом» (Л. Т. Денисов). С раскулачиванием и побегом крепких хозяев устная история связывает гибель и поселка Прямое: «Мужчин не было. Были медведи. И женщины не могли справиться. В начале войны или в 1940-е гг. исчез. Избушки стояли. Кому не лень, развезли».

Можно предположить, что такое социальное поведение сформировалось из «традиции побега», свойственной староверам, старавшимся спастись от преследований в далеких краях, крепостным, бегущим за волей в чужую сторону, единоличникам в поисках свободной целинной земли. На Алтае у старообрядцев традиция поиска Беловодья, благодатной земли, где нет власти и можно жить как хочешь, своими трудами и понятиями, существовала на протяжении столетий. Поэтому крестьяне попытались

спастись побегом и от раскулачивания. Например, в Дресвянке Алтайского района, как рассказывали старожилы, «в двухэтажном дому жил Федул Шевелев — *работяга*. Он заболел. А зять видит, что его раскулачат, — он *попустился* [бросил дом, уехал]. Землянку выкопал — забирайте дом, лишь бы не раскулачили» (Н. А. Красилов, Дресвянка, Куяган). Семейные истории показывают, что крестьянам было трудно решиться на отъезд. Сначала попадавшие под «твердое обложение» единоличники не хотели отрываться от обжитых мест и искали убежища в окрестностях деревни, на обработанных, пригодных для земледельческого или скотоводческого производства угодьях (заимки, хутора, промысловые избушки). Инстинкт сельскохозяйственного производителя был силен, земля не отпускала крестьян. И только в крайних случаях, сменив несколько раз жилье вблизи родных мест, покидали их. П. Н. Нагибин из с. Алтайское (из переселенцев) вместе с женой П. И. Иевлевой, чтобы избежать репрессий, уехал сначала из Барашка в соседнюю Куячу, потом попытался основаться на Большой Заимке, а затем, боясь ссылки, сбежал в далекую Киргизию. По их словам, из Сорокина и Барашка многие уехали в Киргизию (братья Ивлевой) и далее на Кавказ. Его жена Пелагея Иосифовна рассказывала: «Меня хотели в колхоз (в переселенческом селе Сорокино) вернуть обратно, а я забоялась. *Надоело в колхозе. Шибко там плохо, все поразъехались*... Меня хотели в Сорокино забрать в колхоз, *я сбежала на Большую Заимку,* и убежал [туда же] Павел Николаевич на заимку. Там и познакомились. Ну что, пришлось замуж выходить... мы поженились. В 1937 году уже ни одного села не было [имеются в виду переселенческие села и «кулацкие» заимки Барашек, Сорокино, Большая Заимка Алтайского района]».

В 1930-е гг. определились и места побегов. Для многих ими стали объекты индустриализации, комсомольские стройки, промышленные зоны. В частности, для восточных районов Алтайского края была привлекательна развивающаяся каменноугольная база соседней Кемеровской области. Большинство потомков раскулаченных Тогульского района вспоминали побеги своих родственников в Прокопьевск Кемеровской области. М. И. Бородина вспоминала про семью своего отца: «Брат приехал и всех перевез. *Предупредили хорошие люди*: „Езжайте, а то раскулачут!“ В семье нас было пять. Родители занимались хозяйством [с. Клочки]. *Единоличное хозяйство. Называли кулаками.* Были коровы, лошади. Работников не было, сами все делали. Я сама верхом сеяла, десять лет мне было. Копали тогда вручную. Я лошадью управляла, а отец — за плугом... Кулаком был, потому что *богато жил... корова, лошадь, огород*... Работала *в шахте в Прокопьевске...*». Так же поступил двоюродный дед А. Ф. Абрамович (с. Тогул, 1926 г. р.): «У брата моего деда не было детей. Он *хозяйство большое* развел. *Дом большой* выстроил. Денег накопил и купил себе *молотягу*... Его

за нее и раскулачили. Ему сказали: „Забирай все, что сможешь с собой увезти. А остальное — все наше!“ Дед шесть подвод нагрузил, и всей семьей уехали... Моего отца, он старший был, взяли с собой. Когда он через три года вернулся, рассказывал: „Нас в сторону Бийска погнали. А там — страшное дело! *Бесконечные обозы с крестьянами по всем дорогам, до горизонта. Видимо-невидимо.* [Доехали до Бийска]... За Бийском нигде ни сена, ни овса купить... Стали лошади пропадать... люди болеть и умирать... Ехали они через степь — Топтушка, Ульяновка и, говорят, до самой Мариинской тайги гнали... А бабушка вернулась по весне. Пешком шла и рассказала, что дед сказал: „Забирайте моих двоих коней и все вещи...“ А сам *в Прокопьевск уехал...* Больше его не видали...»

Устные рассказы показывают, как крестьяне адаптировались к условиям меняющейся политики и перестраивали схему поведения, как только власть определяла новые «правила игры». На первом этапе (1928–1929 гг.) до сплошной коллективизации частью государственной политики было введение налогов на хозяйства единоличников. Среди крестьян широко бытовало определение попавших под налоги хозяев — «шли по твердому разряду». Размеры налогов, по воспоминаниям крестьян, разоряли единоличника. Очевидцы, не понимая на этом этапе цели, сути и последствий новой политики, относились к ней как к эпидемии: «Тут одного трясли, вроде *был по твердому»* (Смоленский район). Правила игры государства с единоличниками Я. Ф. Серебрянников охарактеризовал следующим образом: *«Начали прискребаться, облагать налогами-то...* Приносят бумажку отцу: „Федор Фастыч, дай разверстку на столько-то хлеба“. Он мне говорит: иди подсевай пшеничку. Взял решето, пошел подсевать. Я наподсевал, увезли, сдали. Ну все! Рассчитались! Через пятидневку приносят то же самое — сдай. Так я уже рассчитался! Ну, это добавок. Еще сдал. Через пятидневку третий приходит — сдай продразверстку государству. Ну, тут уже все понятно. Это значит — *богач* [т. е. отец попал в списки «по твердому разряду»], *с него в 3–4 раза больше брали...* „Так ты не сдаешь? *По твердому обложить, там на черной доске“.* Это значит, еще в три раза больше дать. Уже не стали спрашивать — платили, не платили, а стали уже *подкапывать,* из дома выгнали. Так вот у родителя-то нашего пимов добрых не было, одежины доброй не было. Семья-то большая была, а тут — то то, то другое».

В этих условиях крестьяне стали искать способы спасения. Так же как и в предыдущие периоды противостояния общества и власти, в среде крестьян находились «грамотные толкователи» советской политики, которые становились советчиками крестьян. Здесь вновь напрашивается аналогия с прошлым. Например, в период отмены крепостного права (1861 г.) появились грамотные «толкователи» «Манифеста» и «Положения о крестьянах,

вышедших из крепостной зависимости». Они интерпретировали царские указы в интересах неграмотных крестьян, что привело к столкновению крестьянских обществ и власти. В период раскулачивания в этой роли часто выступали сами партийцы, которые подсказывали родственникам выход из создавшегося положения. Одним из таких «грамотных» был дядя М. С. Нисиной: «Дядя зажиточно жил, в партии состоял. Так *чтоб не раскулачили, в Семипалатинск уехал»*. Подобные примеры показывают, что на социальное поведение крестьян влияли многовековые традиции. Появление толкователей и советчиков являлось устойчивой частью традиционной крестьянской общественной культуры во взаимоотношениях с властью. Многие крестьяне самостоятельно обращались к традиции побега, видя судьбу односельчан, которые вели себя пассивно или сопротивлялись. И. А. Москалев из семьи переселенцев — основателей Москалевки помнит: «В Большом Листвененке дома были большие, крестовые. Дворов 10, но крепкие. Был маслозавод. Маркел имел двухэтажный крестовый дом. *Хитрый был:* когда раскулачивали — *уехал в Куету*. Когда кулачили, *все разбежались*. А Емельяна Большакова (хороший хозяин был) сослали в Нарым».

Наряду с побегами устные источники позволяют реконструировать такую модель поведения, как «самораскулачивание» — «добровольная» сдача имущества в колхоз. Часто советчиками-«толкователями» при такой форме социального поведения также выступали грамотные крестьяне. А. С. Бодрягина сказала: «*Нашего отца хотели закулачить*. А у мачехи был *брат по военной линии*. Говорит — *надо в колхоз входить*». Интересную историю рассказала М. П. Калюжная, жительница исчезнувшего села Большой Луг: «Начали кулачить в тридцатом году. У нас так получилось. Стали образовываться коммуны. Организовали и в Корболихе. У нас все поехали, осталось 4 двора [в том числе семья рассказчицы]. Прожили зиму, ничего не получилось. И вернулись. А тут колхозы стали организовывать. Мой брат говорит: давай организовывать свой, все равно заставят. А они: „Вот ты не уехал в коммуну и не жил при ней, не знаешь, что это такое!“ Ну и не стали. А тут раскулачивать приехали. А кого? У всех избеночки маленькие, а у нас дом большой. Ну и брата раскулачили. Тут все испугались и в колхоз пошли».

Устные источники показывают, что «самораскулачивание» было вызвано не только репрессиями, но и усиленным налоговым давлением. Под угрозой разорения крестьянские семьи «добровольно» пошли в колхозы: «Стали нас *под крепких подгонять*. Мы имели овечек, амбар, бричку. Забрали у нас в Вакулиху лошадей с бричкой, амбар, и мы поехали в Вакулиху. *Тех, кто не стал колхозником, ссылали*» (Е. И. Дмух). Налоговый гнет на первом этапе (до сплошной коллективизации) и насильственная ссылка

на втором этапе (сплошная коллективизация) способствовали тому, что крестьяне стали воспринимать создание колхозов как неизбежный путь, при котором не было выбора: «В колхоз *ломались, не шли.* Приезжали из Корболихи по ночам. *Заставляли* — подпиши. *Сначала ломались, потом пошли»* (М. С. Нисина). Интервью крестьян отражают стремление власти идти до конца.

В интерпретациях действий власти крестьяне называют в качестве побудительного мотива вступления в колхоз введение разнарядки по раскулачиванию. Очевидцы говорят об этом так: *«Твердые задания в 30-е годы были.* Снимают людей, и не знаем, куда увозят и за что». В результате многие заимочники еще до сплошной коллективизации распродавали имущество и мигрировали в другие регионы («бежали») или «заходили в колхозы». Помнят старожилы и распродажу имущества кулаков, не сдавших назначенных («по твердому») ставок хлебозаготовок. В селах Кучук и Сибирка Шелаболихинского района имущество раскулаченных распродавалось с торгов, а оставшееся перераспределялось в коммуны.

Попыткой избежать полного раскулачивания стало отделение взрослых детей от семьи отца. Большие патриархальные семьи распадались на несколько. В таком случае раскулачиванию и ссылке подвергался глава семьи, а дети со своими семьями оставались в селе (колхозе). Отец Я. Ф. Серебрянникова (старовер, с. Куяча) в условиях подведения его под статус кулака-саботажника отделил своих детей и посоветовал им войти в колхоз. Его сын Яков рассказывал, что отец «во время сенокоса поехал в Бийск, купил мне косилку... купил плуг. Я тут же машину, даже не собранную, сдал в колхоз. И остался без копеечки. А *кто не идет в колхоз, того то „по твердому“*, то крючки какие-нибудь, то арестуют. *По твердому — значит богач.* С него *в 3–4 раза больше брали.* Отца через недолгое время из дома выгнали. А тех мужиков [которые открыто сопротивлялись] арестовали, а они вернулись. А те, которые остались там, они легче прожили. А вот наши родственники пришли, у них по семь ребенков было».

Но в период сплошной коллективизации (1930–1933 г.) ни «самораскулачивание», ни разделение семьи уже не спасало крестьян, попавших в список «заданий по твердому». Того же Федора Фастовича Серебрянникова, по свидетельству сына, репрессировали: «Брать-то у него нечего было [детей отделил и им все распределил]. Вот зеркало взяли. Да деревянная кровать, да пчел и даже облезлый самовар, две лошади. Я начал в колхозе работать, отца как раз в посевную выгнали. Как наш отец остался там [в Нарыме] живой, я не знаю. В первую очередь он начал избу делать. Тут и болота, и тайга. Большущую избу начал рубить. Женщины даже топором рубили. Ну и сделали эту избу к зиме. Сорок человек помещались зимой в этой избушке. Приобрел невод, и возьмет с собой парнишку и ночью ры-

бачат, больше этой рыбой и питались. Соседка, она тоже, арестовали ее мужика, она с семерыми там: „Федор Фастыч! Ты возьми Егорку моего хоть одну ночь порыбачить“».

Воспоминания показывают, что в период сплошной коллективизации в среде раскулаченных односельчан преобладали две группы. В первую рассказчики включают раскулаченных односельчан, подлежащих высылке в малообжитые районы Сибири, ко второй относят семьи, расселенные в пределах Алтайского края на неосвоенных территориях или задействованные на строительстве объектов народного хозяйства (трактов, рудников, промышленных предприятий). В этом смысле необходимо обратить внимание на такой фактор репрессивной политики советской власти, как семейственность. По мнению исследователей А. Рогинского и А. Даниэля, он не являлся новаторским, «юридическое новаторство большевиков» опиралось на «хорошо вспомненный старый опыт, наследие варварских эпох истории человечества — как „семейственность“». В каждой волне репрессий «основой политических репрессий» стали «репрессии по семейному принципу». А. Рогинский и А. Даниэль относят формирование этой традиции еще к 1918–1920 гг., когда начались аресты родителей, жен, детей «контрреволюционеров», которых «отправляли на принудительные работы, заключали в концлагеря, расстреливали. И тогда, и после окончания Гражданской войны арестовывали (и тоже расстреливали, тоже отправляли в лагеря) родственников участников крестьянских восстаний». Этот принцип был оформлен советским законодательством в 1934 г. введением термина «член семьи изменника (родины)». В последующую волну страдали семьи «бывших» (дворян, духовенства), «антисоветских элементов» и т. д. Но особенно масштабные последствия репрессии по семейному принципу имели в период раскулачивания. Как известно, кулаки были поделены на три категории. Те, кого власть отнесла к первой, т. е. к «контрреволюционному активу», были арестованы, а затем расстреляны или направлены в лагеря. Семьи же их предписывалось «выслать в северные районы Союза». Это была самая массовая в советской истории операция, направленная против членов семей репрессированных: ее жертвами стали сотни тысяч родственников арестованных крестьян. Что касается раскулачивания по второй и третьей категориям, то здесь репрессии изначально были направлены против всего крестьянского двора. «Высылали не жену и детей вслед за их раскулаченным мужем и отцом, а семью как таковую» [8, с. 8].

В семейных устных историях содержится много деталей и подробностей организации самой ссылки и жизни на новом месте. Как рассказывали крестьяне, попавших в категорию спецпереселенцев людей собирали по разным селам, формировали партии и по ведущим трактам отправляли на Бийск или Барнаул, где были переселенческие тюрьмы. Откуда бар-

жами отправляли вниз по Оби на север Западной Сибири. Так, по рассказам старожилов Бийского Приобья, по старому торговому Чуйскому тракту (Шебалино — Алтайское — Смоленское — Бийск) еженедельно прогоняли группы раскулаченных крестьян. Старые смоленчане помнят, что в этих группах были крестьяне Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов, их перегоняли через село партиями по 50–70 человек «пешком или на повозках в сопровождении верховых». В Смоленском была «кутузка в виде амбара», в которой этапируемых оставляли на ночь. Находилась кутузка за современным домом 67 по улице Советской, на берегу р. Поперечки. И. М. Соколов говорил: «На берегу за ней была кутузка, обыкновенный амбар. С Солонешенского района партиями гнали пешком. Повозка, верховые лошади. Ночевали в кутузке».

Часть раскулаченных из этого потока оставляли для работ в крае. Так, жители бывшего села Сосновка вспоминали, что в их деревне поселили раскулаченных из Куягана Алтайского района и использовали их на строительстве жилья для рабочих открытого перед войной белокурихинского вольфрамового рудника. Ю. Г. Тутова вспоминала: «Помню, как из Куягана переселили людей. У нас поселили одну семью. Как они ревели. Потом их отправили на разведку в рудник Белокуриха. Там они строили домик. Потом их года два спустя в Нарым отправляли. Одни у нас оставили валенки и еще какие-то вещи, а другие вещи продавали на торгах. Мама говорила — не смейте ничего покупать… У нас в Сосновке в каждой семье, в каждом дворе стояли раскулаченные. Как плакали! Раскулаченные у нас зиму пожили, и они строили поселок в „разведке“ — жить, а потом решили куда-то угнать. Мы всем поселком ездили провожать».

С. С. Нечаева рассказывала об отправке группы раскулаченных казачьих семей из Верх-Алейки: «Везли нас на бричках и держали в каком-то сарае. Набитый был. Долго держали. А потом на моторках (баржи таскали) повезли в Новосибирск. Там 4 баржи стояли. Нас туда стюрили. Повезли и поселили на острова. А рядом была Парабель (Нарымский край). Сгрузили, и жили на р. Томи в Пристанном поселке. Жили прямо под палатками (под своими половиками). А народу было! А палаток! Оправиться негде было. А мерли-то! Каждый день несли. Потом стали бараки строить: выкопаем метра два, рубим сосняк и обкладываем, а потом крышу из бревен сверху и землей засыпали. Потом лес корчевали, лопатами вскопаем, и сеяли весь май. Копали лопатой — все руки сбивали. Сослали-то в 1931-м, а вернулись в 1936 году. Брат выхлопотал. Зря-то не приедешь».

Экспедиционные выезды и опросы сельских жителей Алтайского края показали, что потомки раскулаченных бережно и трепетно относятся к семейным преданиям о судьбе раскулаченных родственников. Внук Ф. Ф. Серебрянникова рассказывал: «Одна наша семья вернулась назад. А сколько

их туда сослали, они все, пожалуй, там остались...» Его тетя написала ему: «Петя, у нас в Нарыме, в поселке Березовском, мимо нашей хаты каждый день проносили мертвецов по 20–25 человек. Летом еще в землю закапывали, правда, без гробов, а зимой силы не было, прямо в снег закапывали, а потом эпидемия поднималась, весной, когда все растаивало. Ну а бань никаких не было, да они и ни к чему были. Все равно переодеваться-то не во что было. Другого белья не было, все заплатка на заплатке. Эти комары, блохи, клопы, сверчки вообще покоя не давали. Днем-то мы на работе, а для того, чтобы нас как-то сохранить, мама нам плела портянки из осоки. Живы мы остались потому, что отец нам не давал мешать отруби с гнилушками. Всегда нас посылал: лучше идите есть траву где-то какую-то, все равно найдете, где-то рыбу поймаете. А люди-то начали мешать отруби с гнилушками-то, все и погибали».

В рассказах о крестьянах, насильно переселенных в необжитые северные районы, содержится большой материал для решения научной проблемы отечественной истории, связанной с адаптацией крестьянского населения, адаптивными свойствами традиционной культуры и традиционного образа жизни. Миграционное перемещение огромной крестьянской массы в России на протяжении XVIII–XIX вв. сопровождалось освоением значительной территории юга Европейской России и значительных пространств азиатской России. Если рассматривать спецпереселения раскулаченных в контексте российской истории, то необходимо признать, что советская власть являлась преемницей государственной политики имперской России с ее практикой ссылки, каторги, отселений разных категорий российского общества. Значительный опыт адаптации был приобретен российским крестьянством в период добровольных миграций — переселений в Сибирь в условиях перманентной правительственной и следующей за ней земледельческой колонизации необжитых территорий. В период принудительных и добровольных миграций российский крестьянин выработал адаптационные механизмы и навыки обустройства на новом месте. Возможно, благодаря развитию государственных традиций беззакония 1930-х гг. встречали тотальную покорность, отсутствие массового сопротивления насильственным переселениям. При анализе устных исторических источников о раскулачивании напрашиваются аналогии с предыдущим историческим опытом принудительного и добровольного миграционного передвижения, в ходе которого выработался своеобразный иммунитет сельского населения. Именно благодаря многовековому опыту, приобретенному переселенцами, преодолевшими путь из России в Сибирь, и опыту старожилов-заимочников, отселявшихся из обжитых мест на целину, раскулаченные крестьяне начинали обустраивать очередное местожительство и выживали.

Однако отношение крестьянского общества к раскулачиванию нельзя назвать полностью равнодушно-покорным. Оно по-своему реагировало на происходящее. Устные свидетельства показывают, что крестьяне живо интересовались происходящими событиями; спецпереселения и ссылки односельчан обсуждались в семейном кругу, крестьяне собирали слухи и информацию о дальнейшей судьбе раскулаченных. Круг обсуждения в репрессивных условиях был узким, семейным, но сельское общество не оставалось полностью инертным, а протест проявлялся в виде домашних пересудов и осуждения. Так, П. Н. Нагибин и его жена П. И. Иевлева на всю жизнь запомнили раскулаченную семью односельчан Леусовых из Сорокино. Их сочувствие было вызвано сходством трудовых судеб. Основанное в начале XX в. Сорокино сплошь состояло из переселенцев, которые, добравшись до Сибири, обустраивались собственным трудом на новом месте, и все экспроприированное у них во время раскулачивания было создано собственными руками: «В Сорокине была большая семья Василия Леусова (девять сыновей и две дочери) — переселенцы из Польши, со временем завели машины — серповку, молотягу, косилку, коней до черта было… *но они не шибко богато жили, одеты были плохо, семья большая*». А когда раскулачили, «взяли самого последнего коня, в сани даже соломы не положили, деда с бабкой посадили и повезли… Кто-то коров и коней выпустил из пригона. Амбары на дрова разобрали. *Голосом кричала вся деревня.* Они вернулись года через три-четыре в Сорокино. Сына его Николая по линии НКВД взяли — не вернули, Васю тоже забрали по НКВД, Мишу, троих сыновей забрали и не вернули…». Одного из них, Михаила, старожилы с. Сорокино, сбежавшие от раскулачивания в Киргизию, видели в одной из четырех грузовых машин, «загруженных мужчинами», которых «везли на строительство дороги».

Рассказы о репрессиях второй половины 1930-х гг. («большой террор») в сельской устной истории встречаются реже и отличаются формой и содержанием от семейных историй раскулачивания. Если в устных историях о раскулачивании содержится большой эмпирический материал, очевидцы пытаются рассуждать и по-своему интерпретировать происходившее, то политические репрессии остались непонятными для крестьянского общества. Поэтому события «Большого террора» преподносятся в качестве констатации — «забрали по линии НКВД». Большинство респондентов различают два процесса: раскулачивание и репрессии. М. М. Раченкова вспоминает: «Перед войной кулачили. Забрали их по линии НКВД. Одного забрали, было у него трое детей. Он поспорил с одним, на него написали всякую ерунду, что завод имеет, добра много, а у него ничего не было. Его и забрали по линии НКВД. Одного его забрали по линии НКВД, других кулачили. *Они скотину держали, по ночам не спали* [работали], *а их кулачили…*».

Происходящее осталось вне понимания очевидцев: при раскулачивании брали из-за дома, техники, батраков, из-за зависти, личной обиды и т. п., а «по линии НКВД» просто «забирали». Об этом говорит язык повествований, почти дословно воспроизводящий дошедшую до односельчан информацию, без субъективных толкований. Достаточно привести рассказанную П. Я. Паршиной (Кузнецовой) из Смоленского района историю об ее отце Якове Васильевиче Кузнецове, которого также «забрали по линии НКВД *за связь с Японией. А он в Германскую был в плену в Венгрии.* А в 30-х гг. его увозили на 5 лет. Никто их не судил. Приговор зачитали, дали 10 лет. Он на допросе говорил: *„Японцев я не знаю. Вот у венгров я работал в плену“.* Связи с ним мы не имели. Мать уехала в Бийск». Характеризуя общую атмосферу, респонденты говорят: «*Народ спокойный был* [не роптал]. Все строго было [боялись]. Один парень песни затеял про руководителя: „Там в колхозе Красино закололи мерина…“ …Приехал уполномоченный… *Матвей простой был, спел, его увезли на 15 лет.* Вернулся, приехал к дочери в гости. А председатель [про которого он пел] умер. Матвей помогал выносить его: „Бог рассудит!“».

Однако в характерных фразах рассказчиков все-таки вырисовывается общая для всех случаев схема террора: поводом к аресту являлись неосторожно сказанные слова, насмешки над властью или активистами, сгоряча высказанные оценки, рассказанные анекдоты, спетые частушки. Как правило, рассказчики намекают на донос, за которым следовал арест. Все это показывает, что государство объявило войну разным формам инакомыслия. Интерпретация «большого террора» очевидцами отражает его результаты, которые проявились в том, что на нижних этажах российского общества осознали значимость «слова» и пришли к выводу, что надо думать и делать, как «велит партия», или, по крайней мере, говорить вслух лишь то, что «можно». Поэтому в конкретных историях рассказчики демонстрируют последствия обработки их сознания и отражают атмосферу опасений и доносительства. Личной неприязни к «забираемым по линии НКВД» информанты не испытывают, в отличие от некоторых ситуаций с раскулачиванием. Примером является рассказ А. И. Новокрещеновой о репрессированном жителе Брянского хутора: «*Сосед на соседа осерчал, и нажаловались участковому. Забирали ночью,* куда увозили, никто не знал, и больше никто этих людей не видел. Из Брянска забрали Сикерина. Жена бегала по деревне, просила хлеба ребятишкам. Маме моей [переселенке из Брянской области] жалко стало, дала булку российскую. Они большие были, колесом, месяц можно было есть». Интервью показывает, что крестьянское общество под угрозой репрессий не встало открыто на защиту односельчан. Их реакция проявлялась в сочувствии и помощи («дала булку»), выражении эмоций («голосом кричала вся деревня»), вни-

мании к дальнейшей судьбе репрессированных. В таком социальном поведении прослеживаются и православная этика, и исторический опыт россиян, и традиции взаимоотношений общества, и размах репрессий.

Определенную роль сыграл и инстинкт самосохранения, самозащиты. Опыт устноисторических исследований показал формирование в памяти людей двух абсолютно самостоятельных пластов прошлого. Первый пласт памяти относится к трагическим событиям 1930-х гг. Он редко активизируется носителями этой памяти. В своих воспоминаниях большинство крестьян обращается к нему только по инициативе расспросчика, и, как правило, эти события ассоциируются у них не с советским периодом и партийно-государственными деятелями, например Сталиным, а с беззакониями местной администрации. Второй пласт памяти связан с советским временем, которое ассоциируется с успехами в сфере экономики, общественной жизни, политики. На фоне происходящих в современной деревне событий (развала экономики села) у сельских жителей нарастают положительные эмоции, связанные с советским прошлым. Отчасти это можно объяснить тем, что основными рассказчиками являются не сами жертвы, а очевидцы раскулачивания и репрессий, не познавшие ссылки или тюрьмы.

Все воспоминания рассказчиков 1905–1920 г. р. очень похожи, прежде всего оценкой характера событий и, как правило, указанием единой причины — неосторожности в высказываниях или доноса. Г. М. Никитин говорит: «Судили тогда. В 1937 г. деда НКВД забрали за то, что охотник был. А самого хозяйства у него и не было. Всех крестьян добрых забрали... *Тогда как было — друг на друга писали в НКВД, и забирали...*» Сложилась примерно одинаковая фабула рассказов о «большом терроре». Примером является отрывок из интервью А. Т. Немчинова (Третьяковский район): «У нас до войны „черный ворон“ был, мы его так называли. Если приехал, так, значит, просто не уедет. *Просто богатые мужики заговор составят, а то и просто за язык.* Никто не вернулся, и куда увозили, не знаю. После войны уже не помню, такого не было. Но никто и не вернулся...». В свете подобных абстрактных оценок большую ценность имеют рассказы тех крестьян, которые прошли и коллективизацию, и «большой террор» и способны рассказать о том, что было с раскулаченными и репрессированными после их ареста. Выживших после наказания почти не оставалось, архивные же следственные документы ограничены расследованием и оформлением протоколов, которые стереотипны.

Записанные интервью-рассказы самих репрессированных уникальны и доносят до нас то, что не отражено в письменном виде. По характеру, чувствам, ощущениям, оценкам их рассказы отличаются от рассказов очевидцев. Они менее эмоциональны, более конкретны, скупы, с минималь-

ным бытовым контекстом, более политизированы. Таким уникальным документированным источником является интервью с И. А. Медведевым, происходившим из кержацкой семьи старожилов Усть-Калманки:

— Первым кого репрессировали?

— Отца Алексея Давыдовича. Его в 37-м году забрали, так и с концом, по линии НКВД. Я отсидел 11 лет тоже по линии НКВД, вот. Все здоровье угробил там.

— А вы с какого года сами?

— С двенадцатого. Отца в 37-м году… меня в ноябре взяли, а отца — в декабре взяли, так. Мы уже жили в Томске, нас отсюда [из Усть-Калманки] выселили как кулаков. Так в 30-м году ссылали кулаков в Нарым. Мы оттудова сбежали, так. В Томске нас милиция поймала, мы с парохода слазили, и мы в Томске жили, вот. Работали в Томске. Меня посадили в 37-м году, и отца также. Отец так без вести и скончался там.

— Вы его так и не видели, как его забрали?

— Нет. Так каво же там увидишь. Нас 36 миллионов погибло, которые взятые. Щас вот эти вот фронтовики гордятся — их 24 миллиона погибло, фронтовиков, а нас — 37, так? <…> А я самый старший был у отца. А у отца все были маленькие — шесть человек нас было, а я самый старший был. Сестренка — с 17-го году, братишка — с 20-го, сестренка — с 25-го, сестренка — с, наверное, 27-го, и одна грудная. И вот мы в Нарыме троих похоронили, с голоду померли. А нас трое, вот это с 17-го года, с 20-го года братишка и я — выжили, оттуда сбежали, и вот в Томске и остановилися. Там и жили. Сестренка померла, с 17-го года тоже, братишка щас там один остался, с 20-го года.

— А когда вас раскулачили, как вы туда добирались?

— До Алейска на подводах увезли.

— Всю семью, или вас разъединили?

— Всю семью. В Алейском в поезд посадили, до Томска в поезде мы. Из Томска — на баржу. Баржу большую подогнали, поезд подошел, и всех на баржу посадили, пароход забуксовал и повез. Это увезли нас, где Колпашево, а от Колпашева, это Обь. Там они соединяются, Обь и Кеть, и все это. И мы плыли вверх по течению Кети, нас завезли туда, там уже пароход дальше не пошел, да, в самый тупик. Высадили там, бор, лес, туды-сюды, и вот там вот этот стаканчик граненый муки на сутки давали на человека. Вот проживешь на ем?.. Так вот я трех сестер там похоронил, трое нас осталося. И вот мы украли лодку у остяков, и вот под воду до Колпашева спустилися, а тут на пароход сяли, к Томску приехали.

— Остяки — это местные?

— Да, там остяки живут.

— Там жить было где? Было село или дома? Вообще ничего не было?

— Вообще ниче. Бор, лес, и все. Вот эти палаточки, как знаешь, раньше жили, на сенокос поехал, палатку, как цыган, растянул, самотканую палаточку. Вот мать взяла ее туды, и мы под ей жили все лето.

— А к зиме кто-то построился?

— Не знаю. Мы уехали, где-то в сентябре сбежали оттуда. Интересно, как они там осталися, как зимовали, не знаю.

— А когда раскулачивали, здесь, в Калманке, много раскулачивали?

— Да. Первую партию сослали зимой.

— 30-го года, да?

— Да. Эти в хорошее место попали, как рассказывают, — Кузнецк, на Чалым. Там уже живут люди, там их определили. А вот весна пришла, в мае нас в Нарым, там в тайгу, ниче нету. И ни огороды не раскорчевать, ничего нету, вот тебе и живи.

— Ну, а вы жили прямо в Томске или под Томском, когда сбежали?

— Уехали мы до Колпашева на лодке, в Колпашево сели на пароход и в Томск приехали.

— В самом Томске жили вы, да?

— Двенадцать километров от Томска, там завод, рабочий поселочек, вот мы там и жили.

— И до какого вы там жили года?

— Я работал там семь лет. Вот с 30-го, как мы сбежали-то. В 37-м году, когда стали по линии НКВД арестовывать, вот меня арестовали, посадили.

— А как объяснили, за что?

— *Нас пачками брали. Им нужен был набор. Москва приказала, Берия,* Берия. Допустим, для Томска стоко-то миллионов арестовать, от Томска — по районам, а район — по селам. Вот и подбирали, и садили, безо всякого, без ничего. В тюрьму…

— В Томскую тюрьму?

— Да, в МГБ. *Там тебе приписывают, следователь не знает, че тебе приписать. Так вот, приписал мне: подорвал электростанцию, подорвал железнодорожный мост, вот ты враг народа,* понятно?

— Ну и что дальше? И к чему вас присудили?

— А *нас не судили…* выгоняют на этап всех, зачитывают постановление города Новосибирска. *Тройка постановила:* десять лет и пять, по рогам, и все, можешь идти.

— Значит, суда как такового и не было? Просто зачитали, и все, да?

— Ниче, ниче не было.

— И куда вас отправили?

— Владивосток у нас большой. Север у нас большой. Всех туда справляли. Кто куда угадал.

— А кто-нибудь из Усть-Калманки был еще рядом с вами?

— Не было из Калманки со мной никого. Ну, местные-то там, где я работал, много жили.

— А потом, когда вас во Владивосток отправили, где вы там работали?

— Я во Владивосток не угадал.

— А куда?

— Я угадал на Ленинский распред.

— А что это?

— Это распред [распределитель]. *Людей привозят туда отовсюду, отсюда* [из распределителя] *этап набирают, эшелон, чтоб отправить, и на восток отправляют.* Понятно? А я угадал на станцию Тайгу [совр. Томская область], наш этап. Вот станция Тайга.

— В Томской области, да?

— Да, а там до войны я работал, на лесозаготовках, на станции. И с лесозаготовок нас отправили в Новосибирск, военный завод делать. Привезли в Новосибирск, мы три дня побыли там, и война началася. Вот всю войну в Новосибирске был. Вот все.

— А вернулись когда сюда в Калманку?

— Одиннадцать лет отсидел вот, и вернулся… в 48-м. Двенадцатичасовой рабочий день мы работали. Понятно?

— А жили там как, в бараке или где?

— В бараке.

— Один барак был?

— Пощему? Где ж нас всех поместить, ежели лагерь там такой — тысяч пять, даже шире. В бараке человек двести можно поместить, ну, много бараков было.

— Где эти бараки стояли? В Новосибирске или прямо за городом?

— Да везде. Зона специальная.

— Огорожена была, да?

— Огорожена, вышки, конвой стоит, тут вот вахта, уже не выйдешь никуда.

— И вообще никуда не отпускали, да?

— Нет, как овечек или коров. *На работу тебя выгоняют, как скотину на пастбище, вечером пригонют, переночевал — и опять туда же.* Вот так вот.

— А в бараках что было? Кровати или нары?

— Нет, были сделаны топчаны. Так сверху два человека спит и снизу, а тут проходик, это назывались топчаны. Постель — матрас соломой набитый, соломой подушка набита, одеяло, простынь, и все.

— А одежду выдавали, да?

— Давали. До войны давали хорошо. Зимнюю получишь, весной — летнюю получишь. А как вот война началася, у нас морозы до –45 были,

до −50. Идем на работу — воробьишка летит, на лету мерзнет, вот так вот. А нам дали, вот эта кирза, как она называлась, колесо машинное. Дак вот эту резину сверху обдерут, а там с нитками эта остается…

— Основа, да?

— Ага. Вот из этого нам ботиночек понашили, и вот такие вот, из байки настежили чулочки. Нам дали вот это — одевай и иди, в такой морозище.

— Это на лесозаготовки так одевались, да?

— Нет, это уже в Новосибирске были.

— А кормили там как? Что готовили?

— Кухня готовит на всех. Война началася, начали кормить: где-то там капуста посеянная, оттуда капусту рубят, вилки куда-то везут, а листья остаются. Подгоняют пару быков, накладывают, привезут к нашей кухне. В окно выставили, скидывают, вот это нам и варили. *И люди сдыхали как не знаю кто. Все дохли.*

— А режим был какой? Во сколько поднимали вас?

— Ну, где-то часов в семь подъем, в восемь — развод, так. Ну, а оттуда пришлют — уже темно, вот. В общем, хороший режимчик. Выгонют вот тебя, построят, где дежурка, туды вот, построят по пятерочкам — конвой принимает. Скомандовал: шаг вправо, шаг влево, кто вот откашнется, стреляют без предупреждения. Все нашли [расстреливали как предпринимавших попытку к бегству]. Двадцать метров конвой идет с винтовкой и три-четыре овчарки идут за нами. Ясно?

— И на каких работах использовали?

— А на всяких, какие потребуются, — и земляные, и всякие…

— А все, кто с вами сидели, они откуда были в основном?

— Со всего Советского Союзу были. Всех узнал: и хохлов, и белорусов, и вятских, и черт-те знает какой нации со мной не было. Все перемешанные, все туда собратые, вот, все там наши.

— А выпустили вас как? Зачитали приказ или просто вызвали и отправили?

— Куда?

— А как освободили вас?

— Ну, вот они спрашивают: «Куда ты поедешь?»

— А, срок кончился, да?

— Да, а этот срок я отсидел лишний, мне десять дали. Меня освобождали. Наши ребята вперед меня освобождалися, и их прямо в Новосибирске забирают, и комендатура там, туды ведут, и там их устраивают на заводы. Народу-то на заводах мало работает, их на заводы устраивают, и живи, как хочешь, сам одевайся, как хочешь, сам кормись. А после войны знаешь как трудно — и пожрать надо, и одеться надо и все, а че?! Ну, а эти ребята, которые в комендатуре, кажный день должны в комендатуре отме-

чаться, чтоб ты не сбежал. Так вот, они ходили к нам. Их в лагерь к нам запускали, вот и рассказывали, как живут. Ну, а я психанул и говорю: «Хочете — освобождайте меня, а в комендатуру я не пойду». Они говорят: «Ну и сиди здесь». А я: «Ну, и сидеть буду». «Вот тебе тюремный паек четыреста грамм, вот тебе какой-то там третий котел, вот тебе паек, можешь не работать. Ты уже отработал свой срок». Понятно? Так что? Приходится работать, чтоб пайку побольше заработать, пожрать, чтоб не сдохнуть. Вот одиннадцатый-то год и отсидел.

— Добровольно, да?

— Да, да. А там как хочешь назови, добровольно или недобровольно. А так же и конвой со мной был, все так же, такой же режим».

Приведенный отрывок показывает, что респонденты, испытавшие на себе репрессии, более адекватно оценивали политическую обстановку. И Медведев связывает происходящее с властью, ассоциируя ее с Берия, близко подходит к оценке характера действий власти как беззаконного и обвиняет советскую власть, сравнивая масштаб гибели людей в 1930-е гг. с войной 1941–1945 гг. Его интервью, отражая индивидуальный опыт, представляет восприятие действий власти целой группой советского общества — «врагами народа». В своих воспоминаниях он как бы выступает от имени тех, кто вместе с ним оказался в лагерях: «нас не судили», «всех туда справляли», «нас отправили», «выгоняют... пригоняют...», «вот это нам и варили...». Осознание единства проявилось и в его выводах — «какой нации со мной не было. Все перемешанные, все туда собратые. Вот, все там наши». Даже после освобождения они держались вместе, приходили в лагерь; более того, в лагере им было привычнее, чем в ином мире — послевоенном городе, наполненном эйфорией победы, радостью возвращения фронтовиков. На этом фоне бывшие заключенные, ограниченные в гражданских правах, имея опыт лагерной жизни и клеймо «враг народа», чувствовали себя ущемленными. Эта обида проявилась в противопоставлении: «нас 36 миллионов погибло, которые взятые. Щас вот эти фронтовики гордятся — их 24 миллиона погибло». Она показывает, с каким грузом чувств жили пострадавшие от репрессий крестьяне — униженные в 1930–1940-е гг. и обиженные в 1940–1980-е гг.

Ограниченные возможности интервьюирования непосредственных очевидцев репрессий и лагерной жизни, которых остается очень мало, ставят перед устными историками задачу сохранения рассказов их детей, которым удалось дождаться своих отцов и дедов и запомнить их рассказы. Например, цельную семейную историю удалось записать в 2006 г. в Тогуле от С. Ф. Даниловой: «В 30-е годы у нас всё забрали[1], конфисковали все

[1] Ее отец сначала был раскулачен, а затем репрессирован.

имущество, две коровы, поросенка, овечек, вещи (даже платки), дедовы вещи… По рассказам матери, очень много в 1937–1938 годах приходили ночью и увозили отцов, и куда отправляют — неизвестно… Отца как осудили — на лесоповалку… Лес носили на плечах. По двое бревна носили. В ночь этапно брали. В поезд, в вагоны, повозили… Как в телятнике доски сколочены, щели… стоя стояли… как останавливались — выбрасывали мертвых… Потом поредели, присаживались… Кусок хлеба бросили — кто успел, тот съел… Поредели хорошо. Затем на пароход всех. Осталось мало. Посидели и попали [умерли]. В воду бросали мертвых… Высадили. Бараки с дырками, нары. Утром поднимают рано — перекличка, проверка. Суп рыбный, хлеб 200 грамм. И опять на лесоповал. Магадан-город строили. Работа тяжелая. Отец рассказывал: „Оттуда идем, кто упал — его добивают прикладами… убивали“. Отец здоровый был. Заболел. Идет, силы его бросают: „Не падай, дядя Федя!“ — ему говорят. Привели в лазарет, и пролежал шестнадцать дней. Воспаление легких. Там оказался родич, благодаря ему он и выжил. Поговорили с ним. Шестнадцать дней его продержал, поговорил с начальником, и отец стал кучером. И кормил собак [сторожевых]. На лесоповал больше не ходил… Отец рассказывал: „Таз большой для собак, я не стерпел и все сам съел. Кушать-то охота. Один раз поел, второй раз. Стали следить. Повесткой начальник к себе вызвал, спросил: собак кормишь? — Кормлю. — Съедаешь? — Съедаю. — Не думал, что „вышка“ будет? Еще раз, и вышка тебе будет». Хорошо отнесся [начальник]. Стали лучше меня кормить, вот и выжил. В бараках-то мало кормили: утром проснусь, а рядом мертвый… сидит… Одежду давали, тряпки — обматываешь. Морозы страшные. Работали от зари до зари. Каждый день людей привозили и подвозили… подвозили… на лесоповале лес валили, пилили. Старались поддерживать друг с другом. С нашей деревни он [отец] второй пришел [из лагерей]. Первый приходил — ноги обморозил, умер.

С деревни забрали многих. Как я знаю, трое вернулось, остальные без вести. Папиной сестры кума забирали без суда и следствия. Повестка была… Он: „Меня вызывают в районную прокуратуру. Наверное, больше не вернусь“. Многих в ту ночь забрали. Присудили. И прадед. Маслобойня у него была. *И многие приписали, чего не было.* Отец рассказывал: тяжело было на допросе, вызывали каждые 10–15 минут, чтобы сознался, что у него мельница, рабочие… *Его били, чтобы подписал… Выливали воду на него, опять и опять.* Отец говорил: „Потом следователь взял мою руку и подписал“. Он не сознался. Когда был суд: „Я прошу, дайте мне 25 лет (т. е. расстрел), чтобы не мучиться!“ А ему: „Тебе хватит и этого [10 лет]! Нахлебаешься!“ В письме он писал, что все хорошо. Письма проверяли. Первые наши письма не доходили. Он пишет, что от вас письма не получаю. Сказал: „Лишнее не пишите“. Потом пишет, что получил».

Таким образом, корпусу устных источников о раскулачивании и репрессиях 1930-х присущ «взгляд изнутри» на происходившие беззакония. Очевидцы воспроизводят конкретные ситуации, показывают личностное отношение к происходящему, описывают разные способы приспособления к условиям тотальных репрессий. Сельское общество через жизненные истории (life story) отразило не только растерянность, но и коллективный и индивидуальный поиск путей выживания. В этом процессе встречаются разные модели поведения, формируются образы участников. При этом персонифицированными персонажами в народной интерпретации, благодаря тому, что рассказчики реконструируют происходящее на повседневном уровне, являются жертвы раскулачивания и репрессий — односельчане. Life story содержат имена, фамилии, описание судеб, поступков, социальное и индивидуальное поведение в экстремальных условиях, реакцию, чувства и ощущения самой массовой части «советского народа», т. е. тот материал, который позволяет представить жизнь сельского общества в период государственного насилия. Вторая сторона — карательные учреждения — представлена абстрактной силой (тройка, НКВД), а образы «раскулачивателей» обозначены обобщенными образами местного «актива» с упоминанием наиболее активных исполнителей. Данная характеристика действующих лиц отражает крестьянское толкование, сформировавшееся под влиянием конкретного жизненного опыта и реальных событий, детальное знание которых характерно только для массовых участников — представителей нижних этажей сельского общества. Этот «взгляд изнутри» необходим, чтобы выявить историографические проблемы раскулачивания и Большого террора и сформировать адекватный «взгляд сверху».

3.3. История разрушения православных церквей: интерпретации и толкования крестьян

История церкви в советское время содержит много трагических страниц. В 1917 г. церковь была отделена от государства, в 1920-е гг. начались репрессии против священников, в 1930-е гг. происходило разграбление и осквернение церковных зданий и репрессии против верующих. По архивным документам историки установили, что в середине XIX в. на Алтае насчитывалось 88 церквей, с начала 1880-х гг. возведено 170, в первом десятилетии XX в. — 162. Из существовавшего в 1925 г. 351 храма с 1925 по 1931 гг. были закрыты 3, в 1931–1939 гг. — 348 [9, с. 22]. Современные архивные документы содержат, как правило, констатацию времени закрытия церкви и сведения об использовании ее здания. Примером фиксации этих событий явился ряд документов, опубликованных в сборниках «Список православных церквей Алтайского края, закрытых по постановлениям Западно-Сибирского крайисполкома в 1931–1937 гг.»; «Сведения о за-

крытии церквей по районам Алтайского края за 1938–1939 гг.» [10, л. 5–6; 13–23]. В этих архивных документах указаны даты закрытия церквей и характер использования зданий, но нет описаний самих событий, реакции прихожан, судьбы церковного имущества и священников. В результате в источниковедении сложилась парадоксальная ситуация: в век письменности оказался утерян большой информационный пласт об истории православия, имеющий огромное значение для понимания русского общества, русской истории, русской культуры, русского менталитета и т. д.

Интервьюирование очевидцев этих событий позволяет историкам восстановить фамилии священников и участников церковной жизни, судьбу самой церкви, ее крестов, колоколов, а также икон, многие из которых являются памятниками сибирского иконописания. Например, во время полевых исследований и опросов старожилов в Залесовском районе были найдены известные иконы алтайского иконописца Балыкина. Благодаря исследованиям сотрудников Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК) его жизнь и деятельность сейчас хорошо известны [11, 12]. По материалам экспедиции БГПУ в Кытмановский район выявлено еще одно имя — алтайского богомаза Пономарева, который не только писал иконы, но и резал из дерева иконостасы, церковную утварь. Историкам и краеведам Алтая необходимо реконструировать события прошлой воцерковленной жизни крестьян, будни сельского прихода, престольные праздники, историю строительства церкви, обряды и ритуалы церковно-приходской общины (крестные ходы во время засухи или дождливой погоды и т. д.), значение церкви в жизни крестьянской семьи. Самостоятельным направлением является изучение разрушения церквей в период репрессий, судеб сельских священников и самих храмов, а также восприятия крестьянами этих событий.

Нехватка архивных источников по истории православной церкви в 1930-е гг. усугубляется в России еще и тенденциозностью архивного документального корпуса, так как он создавался людьми с антирелигиозными установками. Поэтому важными историческими источниками являются воспоминания и рассказы очевидцев событий — верующих сельчан, которые присутствовали при разрушении церкви или знают об этом по рассказам бабушек и дедушек. Именно этому призвана служить устная история, которая часто интерпретируется в зарубежной практике (Алиса Хоффман) именно как «процесс сбора, обычно методом интервью с помощью диктофона, воспоминаний, описаний или интерпретации событий из недавнего прошлого, которые представляют историческую значимость» [13, с. 42]. Созданные таким образом новые источники, по словам Элизабет Тонкин, позволяют «смотреть на прошлое по-разному. Для историков прошлое есть «другая страна», которую они пытаются воссоздать из оставлен-

ных ею следов». В истории православной церкви в 1920–1930-е гг. следами прошлого являются устные истории, хранящиеся в деревенской среде, но письменно не зафиксированные.

Устный источник, как своеобразный «взгляд изнутри», включает разнообразную информацию о событиях и ощущениях. Человек, видевший воочию прошлую жизнь, оглядывается назад и рассказывает тем, «кто там не был, на что это было похоже изнутри». Предыдущая жизнь так или иначе определяет мироощущение человека и направляет его действия[1]. В локальных исторических исследованиях [микроистория] существуют понятие «историко-культурное наследие». На обыденном уровне понимания историко-культурного наследия преобладает представление о его материальных памятниках – купеческой, крестьянской, промышленной архитектуре, иконах, прялках, рушниках, сарафанах и т. п. Однако в научном контексте под наследием понимаются как материальные артефакты, так и мыслительные конструкты, полно отражающие духовную жизнь общества в прошлом и настоящем. Важнейшей составной частью культурного наследия является коллективная и индивидуальная память о прошлом, сохраняющаяся в таких формах, как семейные истории, деревенские предания, персонифицированные, насыщенные деталями воспоминания [история снизу], народная оценка прошлого в интерпретации исторических событий через развитие жанров устного народного творчества и т. д. Эти мыслительные конструкты должны стать самостоятельными предметами исследовательской деятельности по истории конкретного населенного пункта Алтайского края.

Особым «взглядом изнутри» обладают представители старшего поколения современного деревенского мира 1905–1930-х гг. р., к которым применимо определение П. Томсона «носители деревенских преданий». Этих людей отличает особое умение рассказывать. Их сознание формировалось на традициях устного народного творчества, особенно такого жанра, как сказки, которые им рассказывали бабушки и дедушки, а они сами пересказывали своим внукам. Устная «сказительная» традиция характерна и для пересказа ими реальных событий повседневной, общественной и политической жизни. Воспоминания о событиях прошлого часто оформляются ими в традициях устных жанров.

---

[1] См. об использовании устных источников при изучении истории церкви в 1920–1950-е гг.: Щеглова Т. К. История разрушения православных церквей в 1930-е годы на Алтае: комплексное использование устных исторических источников // Краеведческие записки. Вып. 5 / Комитет администрации Алтайского края по культуре и туризму, Алт. гос. краевед. музей. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2003. С. 125–137; Щеглова Т. К. Церковь Бийского Приобья в 1920–1950-е гг.: устные интерпретации и толкования крестьян // Бийский район: история и современность / Отв. ред. Т. К. Щеглова: В 2 т. Т. 1 Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. С. 50–77.

Устные материалы о разрушении церквей содержатся в деревенской информационной среде повсеместно. Однако для их получения нужно учитывать особенности работы в этом направлении. Среди них и определенный страх респондентов, и недооценка ими данной информации в следствии предыдущей невостребованности воспоминаний об этих событиях, и некая интимность вопросов веры и безверия и т. д. Если общество на современном этапе научилось вслух высказываться о политических репрессиях, то в отношении церкви и религии разговор ведется приглушенно. Такая ситуация отражается на позициях рассказчиков и требует от устных историков коррекции методов работы. Практический опыт показывает, что тема разрушения церкви и приходского мира может успешно сопутствовать изучению других проблем деревенского общества 1930-х гг. и с большим трудом идет как самостоятельная проблема. Поэтому представляется важным скорректировать способы отбора потенциальных респондентов, формы общения, структурирование беседы, выбор времени и места опроса и т. д.

Как известно, в устноисторической практике, чтобы добиться полноты воспоминаний в работе с рассказчиком, принято использовать вопросники. В связи с этим в исторических исследованиях более перспективным являются «полуструктурированные» опросники, позволяющие отходить от жесткой схемы («самонацеленный опросник»). Историку редко предоставляется возможность использовать качественные методы, широко распространенные у этнографов и социологов, с «вживлением» интервьюера в изучаемую среду (интерактивный метод). Залогом успеха выездных интервью является удачный подбор респондентов. При составлении списка собеседников в каждом населенном пункте используется, как правило, предварительная информация о респондентах, полученная из разных источников. Опыт устноисторической работы показывает, что сведения о потенциальных возможностях респондента, полученные от администрации, работников музеев, краеведов, часто не подтверждаются (как правило, в их поле зрения находятся выдающиеся люди деревни — передовики, новаторы, управленцы и др., но не носители деревенских преданий), и в ходе беседы выясняется осведомленность респондента по совсем другим проблемам, что позволяет выходить на другие историко-культурные сюжеты. Именно поэтому жестко структурированные или тематически «самонацеленные» вопросники в устной истории могут не оправдать ожиданий расспросчика. Полуструктурированные вопросники позволяют менять траекторию опроса и переходить от одного блока проблем к другому, в зависимости от возможностей рассказчика.

Найти информантов по разрушению церквей сложнее, чем по проблемам, связанным с коллективизацией и раскулачиванием. Более того, во-

просы расспросчика по этой проблеме часто ставят рассказчика в тупик. На наш взгляд, это связано в первую очередь с тем, что они неожиданны для информантов. Раскулачивание и репрессии со времени перестройки все время находятся в центре общественного внимания и государственной политики. Под воздействием этих факторов они обсуждались и на межличностном уровне. Поэтому респонденты психологически готовы к самонацеленным вопросникам о раскулачивании и репрессиях и легко откликаются на вопросы. На вопросы о разрушении церкви они обычно лучше отвечают в контексте других проблем с использованием полуструктурированных вопросников.

Поэтому гораздо больше возможностей для получения качественного материала у местных исследователей-краеведов, имеющих реальную возможность работать с респондентами многократно, будировать вопросы, которые еще не поставлены большой наукой на общероссийском уровне. В таких случаях эффективным является биографический метод, который позволяет выстроить опрос по биографической вертикали и по каждому отрезку времени получать конкретно-исторический материал, в частности о религиозном сознании и представлениях — в контексте такой исторической проблемы, как репрессии 1930-х гг.; о традициях питания — в контексте изучения истории алтайской деревни в годы Великой Отечественной войны или единоличного хозяйства, материал о семье и семейном воспитании, трудовых и производственных традициях, календарной обрядности — при изучении нэпа и развития единоличного хозяйства и т. д.

В написании биографии, которая выстраивается расспросчиком вертикально во времени, начиная с запомнившихся ранних событий его жизни и до нынешнего времени, местный исследователь (учитель, краевед) может делать горизонтальные временны́е срезы биографии человека, тогда как в полевых условиях расспросчик берет только фрагменты жизненной истории рассказчика, которые лежат на поверхности его памяти. А в стационарных условиях расспросчик может работать более скрупулезно, например, при изучении биографии человека, родившегося в 1915 г., горизонтальные срезы возможны на исторических этапах 1920-х, 1930-х, 1940-х, 1950–1970-х гг. В практике это будет выглядеть следующим образом: когда человек рассказывает о своей жизни в 1930-е гг., расспросчик может сделать срез этого времени по таким темам, как коллективизация и раскулачивание; разрушение церкви и становление новых общественных форм — октябрятских, пионерских, комсомольских организаций, внедрение колхозных традиций, депортации на Алтай и взаимоотношения депортированных с местным населением, развитие колхозно-совхозного строительства и ликвидация единоличного хозяйства и т. д. По характерным для каждого периода историческим явлениям или историческим со-

бытиям можно использовать самонацеленный опросник и в зависимости от сохранности информации о них провести несколько интервью, исчерпав эмпирический материал конкретного человека по проблемам данного периода, и только после этого перейти по вертикали на следующий исторический горизонтальный отрезок времени со своими направлениями опроса, воссоздающими, например, военную атмосферу и исторический опыт конкретного рассказчика.

В этом смысле интервьюирование как качественный метод исследования имеет несомненные преимущества перед использующимися в культурной и социальной антропологии количественными методами, например анкетированием. В зависимости от выбора центральной темы устноисторические исследования можно сосредоточить на этнической, политической культурной, экономической и другой информации. В этом плане метод устной истории является междисциплинарным (антропология, этнология, этнография, история, политология, социология, психология, архивоведение, философия и др.). Об этом хорошо сказал Теодор Шанин: устная история, как часть качественной методологии, «не может быть просто приравнена к академической дисциплине, ее использующей (например, этнографии). Качественная методология либо шире по своим задачам, характеристикам и свойствам, чем отдельно взятая дисциплина, либо должна быть сведена к аспекту такой дисциплины... представляет собой методологию с более широким междисциплинарным применением» [14, с. 322]. Недаром в мировой практике сложилось два подхода к составлению опросников: проекты устной истории по одной проблеме (например, истории негров или медицины в США) или направлению (история этнических меньшинств в Испании) либо сведéние многих направлений научных изысканий в один комплексный проект, связанный с историей отдельного региона или культуры. Для исследователей истории церкви можно реализовать и тот, и другой подход. В первом случае это может быть самонацеленный вопросник по изучению историко-культурного наследия сельского района, включая религиозное сознание, представления сельского населения, воспоминания о прошлой воцерковленной жизни и локальной истории разрушения церквей. Во втором случае — это биографический подход с включением интерсующих вопросов по истории православия и церкви. Наиболее пригодными информантами в данных случаях выступают рядовые сельчане, которые, оглядываясь назад, могут вспомнить и сюжеты, связанные с жизнью и гибелью православного мира.

При работе с устными источниками о разрушении церкви в 1920–1930-е гг. необходимо также учитывать, что они содержат латентную (скрытую) информацию, отражающую самосознание, мировоззрение, этнопсихологию респондента и т. д. Она закодирована в языке, жес-

тах, паузах, фразах, эмоциональной канве рассказа, междометиях и т. п. В рассказах о церкви особенно часто встречаются иносказания, двусмысленность, недосказанность. Анализ латентной информации позволяет судить о состоянии духовной народной культуры, в которой большое место отводилось вере и верующим, как, например, в рассказе из с. Енисейского: «Жил старичок, верил в бога, молился. Вышел он как-то на улицу, и ему открылось небо: неба не стало — купол, а там ангелы».

Судьбы верующих, как и судьбы священников, были трагичны. Но народная память сохранила их имена, а однотипность рассказов отражает трагизм событий: «Был священник, звали Викентием, его арестовали и увезли куда-то и казнили» (Усятское, Бийский район).

Наконец, устноисторические источники показывают, что воспоминания о разрушении церквей в 1930-е гг. в соответствии с законами устного жанра стали приобретать форму народных преданий. Народная молва сел Енисейское, Большеугренево и Малоугренево сформировала контуры исторической были об одном из священников, выделив его из общей массы сельчан как положительного героя за христианское отношение к прихожанам. На примере нескольких версий устных рассказов о священнике Петре (Большеугренево) можно заметить, как в деревенской среде формируются предания. Все записанные о нем истории начинаются с пожара в церкви. В. И. Чувашова рассказывала: «Поп с попадьей жили возле церкви. Когда подожгли церковь, тут Колчак нагрянул… спрашивали, кто поджег. Поп никого не выдал» (В. И. Чувашева). Про него же рассказывал И. Г. Плотицын: «Попа звали Петр, у него жена, дети. Его раскулачили, но не выслали, так как во время Колчака он отстаивал людей. В поповом доме потом жили учителя… давали квартиру…» В. М. Рожков вспомнил, что «поп был мастеровой, хороший столяр, у него единственного [были] рамочные дуплянки — ульи. Было много детей. Звали Петр. Его раскулачили, но не выслали, так как во время Колчака он защищал людей…». Приведенные версии различаются незначительно и близки к полной унификации, в результате которой может произойти оформление предания, основанного на реальных событиях, с завершением истории в канонах устного жанра: народное предание завершает образ священника одобрением его дальнейшего служения богу и прихожанам в условиях наступившего безбожия и репрессий против верующих: «Дом у священника отобрали, переселился в избушку. Но люди еще приходили, [приглашали] на отпевание… Его потом забрали в город сын Николай и дочь Прасковья…».

Для превращения устных рассказов в оформленные жанры устного народного творчества нужны определенные условия. В полевой работе исследователь чаще встречается с осколками памяти о жизни православного деревенского прихода и образа духовных пастырей. Например, священ-

ник с. Усятское «жил там же, при церкви. У попа было большое хозяйство. Дом был деревянный, не очень хороший. Яички несли [ему] на Пасху... Монахи там жили, попадья была... Монахи жили в своем доме — учились и жили... На Аллаве был монастырь, туда ходили молиться, а во время войны там была тюрьма» (П. Ситкина, с. Усятское). В Сростках священника Кислякова «арестовали и посадили. Монахиню, которая молилась, тоже посадили. *Все боялись* [молчали], *никто не протестовал: 58-ю статью* [дадут] — *и на Колыму*» (И. Г. Новоскольцев). Можно предположить, что превращению памяти в одну из форм устного творчества содействует не типичность ситуации (арестовали, сослали, расстреляли), а ее неординарность, при этом обязательно связанная с благими поступками. В остальных случаях судьбы священников не выделялись из общего контекста репрессий и раскулачивания, им сочуствовали, как и прочим.

Совсем другое дело — это реакция, ощущения, действия крестьян в ответ на «репрессирование» таких духовных святынь, как Церковь, колокола, кресты, иконы. Именно устная история позволяет собрать материал о социальном поведении крестьян в условиях насильственного разрушения основ духовной, религиозной жизни. Большой интерес для историков представляют факты сопротивления прихожан закрытию церкви или расправы со священниками в условиях тотального страха. В государственных архивах информацию о протестах прихожан закрытию прихода или разрушению храма, о заступничестве за священников найти не удалось. Они действительно не носили массового характера и, как показывают устноисторические исследования, являлись единичными. У местных исследователей существует уникальная возможность путем интервьюироания выявить формы поведения в ответ на «святотатства» и зафиксировать их. Во время полевых исследований удалось записать несколько случаев открытого (активного и пассивного) противодействия. Например, в с. Смоленское (Смоленский район) отмечена попытка активного противодействия. Из интервью И. М. Соколова: «Крест и колокола вызвался снимать, после того как отказались мужики, Сергиенко, бывший учитель. Он позже в войну летал [был летчиком], потом жил в Тольятти. Снизу ему кричат: „Привязывайся“, а он кричит: „Давай пожарный топорик“. Толщина (основы креста) сантиметров 20. Дерево, крытое позолотой... Говорят, в Сергиенко стреляли с огорода купца Боина, но не попали. Не поймали стрелявшего». В Кытманово (Кытмановский район) зафиксирована попытка массового, но пассивного сопротивления. Из интервью П. Г. Гордюшкина: «При снятии колоколов народу-то много собралось. Аж забастовка была. Не давали, чтоб разбирали... По деревне ходили и шумели, чтобы церковь не ломать. Но не помогло. Разломали, и все». Но в большинстве случаев прихожане не предпринимали открытых выступлений.

Для историков тотальная покорность прихожан при разрушении православных церквей долгое время являлась труднообъяснимой. Однако устная история показывает, что в условиях тоталитарного репрессивного режима не только поведение населения имело разные формы, но и внутри самого общества произошел раскол на противников и сторонников разрушения церкви. Через интервьюирование очевидцев событий и их потомков удалось выявить некоторые формы реакции разных возрастных и социальных групп на «святотатства». В с. Большеугренево «*пожилые люди возмущались, ругались*: „Зачем ломаете церковь!“ Начали громить пионеры да комсомольцы. Запрещали верить в бога, *агитировали активисты* — Кошачков Михаил» (С. И. Зяблицкий). В Сростках Бийского района, «когда церковь разбирали, всякое было… Все *взрослые были против ее разлома, а детям все равно*» (В. К. Филиппов). Устные источники отразили процесс дифференциации сельского общества на тех, кто пытался сопротивляться (представители старшего поколения), не одобрял действий советской власти, но не выступал открыто, и тех, на кого опиралась молодая власть (молодежь и школьники). Мировоззренческий разлад между крестьянами-старожилами и новым советским поколением отмечают все информаторы: «Всякие разговоры были. *Люди возмущались,* а что толку-то! *Молодежь помогала*! Сбросили сначала колокола, разобрали ее. Построили школу» (А. А. Новокрещенова, с. Большеугренево). Но у большинства сельских жителей протест ушел вглубь сознания, жил в душе, в активных действиях проявлялся мало. Как сказала О. Ф. Сковородникова (с. Большеугренево), *«возмущались, но молчали — боялись»*, ей вторит В. М. Рожков из этого же села: «Разрушали местные… Местные никак не противостояли…». Устные историки с помощью сбора информации о реакции прихожан на события 1920–1930-х гг. могут изучать состояние религиозного сознания и трансформацию духовной жизни деревенского мира. Иначе говоря, с помощью устных исторических источников можно изучать глубинные изменения, происходящие в сознании и мировоззрении человека. Именно этим определяется значение устных источников для исторических исследований.

Если в событийной (фактографической) истории достоверность, надежность, объективность устных источников о разрушении церквей (факты, даты, фамилии и т. д.) можно поставить под сомнение, то сторонники постклассической парадигмы находят в устных источниках информацию о личных взглядах, восприятиях, ощущениях (субъективная данность), то, что делает устный источник самодостаточным. В частности, для историка, пытающегося понять, почему и как в кратчайший срок на глазах миллионов верующих были порушены тысячи соборов, устные источники дают разнообразный материал. Попытки же пробиться в «жизненный мир» с помощью количественного инструментария обречены на провал из-за не-

избежного «омертвления» живой ткани жизни в сухих схемах, и «только стремление наполнить эти схемы живым дыханием жизни с помощью устных исторических источников размывает строгость определений и представлений о закономерностях развития общества». Поэтому представляется беспочвенным вечный спор между приверженцами количественных и качественных методов исследования.

Устноисторические методы исследования исходят из множественности миров, оценок, видений, интерпретаций. Они затрагивают «глубокие» темы, т. е. темы более личностные, запрятанные в памяти или сознательно «забытые». В устных источниках о разрушении церкви существует благоприятная возможность снять «тонкую корку напластований «новой морали» «еще недавно „коммунистической“ души» [15, с. 83] и заглянуть в глубины сознания путем изучения народной памяти о прошлых событиях. Элизабет Тонкин считает подобную «устную историчность» аналогом историографии (народная историография) и считает, что она тоже может быть предметом изучения с учетом различных традиций, которые разумно подвергнуть сравнительному анализу.

Мифологизация реальных событий особенно заметна в устных исторических источниках, связанных с разрушением церквей, и эти сюжеты традиционно оформляются в соответствии с особенностями сознания и мышления современного сельского населения — носителя традиций крестьянского мира, а может быть, и вообще особенностями сознания русских. Недаром лингвисты и фольклористы рассматривают народные рассказы о закрытии и разграблении церквей как «процесс образования нового жанра — жанра возмездия за поругание православных святынь...». И, по их мнению, «рождение нового жанра, как рождение сверхновой звезды, сопровождается „выбросом“ в традицию огромного количества вариантов этого сюжета, с каждым годом все более приобретающего канонические жанровые признаки» [17, с. 96].

К устным мифологизированным преданиям можно отнести также рассказы об истории храмов, святых ключей и мест, чудотворных икон, колоколов, блаженных. Они не только позволяют проследить пути и способы сохранения и развития устного народного творчества, устной традиции, но и отражают крестьянскую этнопсихологию, этносознание, этнопредставления, этноментальность и т. д. На территории Алтайского края записано множество преданий о святых ключах, которые на поверку оказываются источниками минеральной воды и в этом смысле действительно отличаются лечебным и свойствами. На месте одного из них в Бийском районе сейчас организовано коммерческое предприятие по производству известной на Алтае минерально-столовой воды «Серебряный ключ». Вокруг него в среде местных крестьян циркулирует много слухов о святости во-

ды, под которой подразумеваются не лечебные свойства. Такой же святой ключ возрождается под с. Шубенка Зонального района. В наши дни повсеместно наблюдается возрождение этих святых мест. Сельчане расчищают ключи, огораживают место, ставят кресты. Со временем эти ключи становятся местом паломничества жителей Алтайского края.

Устные предания о подобных святынях с интерпретацией их святости составляют часть культурного наследия Алтая. Они не зафиксированы, их письменная история не отложились в государственных архивах, но еще живет в народной памяти. Единственным способом спасти это культурное наследие является фиксация устных рассказов. Так, святой ключ в Шубенке имел родниковое происхождение и был широко известен в начале XX в., но в 1930-е гг. вместе с разломом церкви (старушки только успели разнести несколько икон по домам) его завалили. По словам старожилов, «советская власть лила в него керосин, поставили на его месте свинарник». Анализ устных рассказов о жизни Святого ключа с. Шубенки (так же как и Жуланихи Заринского района) показывает, что реальные события мифологизированы в народном сознании. В предании его называют «чудодейственным», что является синонимом слова «святой». В народе его вода его считалась полезной и очищающей. Доказательством его святости, в представлениях рассказчиков, служило то, что «в песке выливались божьи лики». Воду ключа использовали против болезней и эпидемий, порчи и сглаза. Так, С. М. Михалева рассказывала, что «водой из ключа лечили от порчи. Порченые люди подходили к Ключу и кричали… От боли, наверное [что сопровождало излечение, так как считалось, что порча сопровождается бесовством]. А один раз привезли какую-то порченую, у нее был сильный жар, лили на нее воду кружками, а она говорила: „Не выйду, не выйду“. Чуть на нее из ведра плеснули воды из ключа, и изо рта ящерица вылезла, ее мужики сожгли, а женщина после этого спокойно уснула».

На этом примере хорошо видна особенность построения устных народных «преданий», когда правда перемежается с вымыслом, но вымысел рождается на основе реальных фактов. Минеральный состав воды ключа действительно позволяет использовать ее в лечебных целях, что и было замечено местными жителями, которые говорят: «Эта вода раны заживляла, много людей из других сел приезжало…». Вокруг таких мест начиналась обрядовая жизнь в соответствии с ритуалами традиционной культуры. В Шубенке было записано несколько версий об обрядовом использовании воды из Святого ключа: «Давно в деревне бушевала холера, народу много умерло и в этот день в девятую пятницу от Пасхи[1] деды обряди-

[1] По словам старожилов, праздник Девятой пятницы в с. Шубенка Зонального района был престольным, или, как еще его по старинке называли старики, «оброчным», так как в этот день они преподносили священнику на содержание причта продукты, зерно и т. п.

Святой источник (с. Жуланиха, Заринский р-н). Фото 1999 г.

лись. Они ходили из церкви со знаменами Спасителя и Божьей Матери, святили поля водой из ключа». По другой версии, «была когда-то холера, и бабушки обреклись в Девятую пятницу ходить на Святой ключ. Верующие шли из церкви со знаменами Божьей Матери и Спасителя, набирали воду и освящали поля, а также приносили эту святую воду домой, спасая семьи от холеры, а поля от засухи».

О жизнеспособности устной традиции в современном сельском обществе свидетельствуют реконструкции святых ключей и воспроизведение связанных с ними обрядово-ритуальных действий, вызванных быстро идущим процессом возрождения церкви. Подтверждением этому в современных устных историях служат традиционные представления о признаках святости, отразившиеся в рассказах о возрождении церквей. В частности, свидетельством свершения благословенного дела (реставрации церкви или открытия прихода) является очищение, осветление старых икон; для святых ключей важнейшим свидетельством возрождения чудодейственной силы является «возрождение ликов из песка». Так, в Шубенском ключе, по словам Г. Ф. Струковой, вновь возникли лики из песка: «иконки из песка складывались, только когда достойные люди или посвященные люди смотрели в воду».

Как показывают устные источники, возрождение идет с помощью сохранившейся коллективной памяти о прошлых святых ключах в местах,

Крест на месте подземного монастыря (с. Средне-Красилово, Заринский р-н). Фото 1999 г.

где они были, а не на новом месте. Примером являются сохранившиеся предания о Тихвинском женском монастыре под Бийском. Полевые исследования показали, что ныне из старых построек Тихвинского монастыря сохранились только краснокирпичный одноэтажный дом, где была келья настоятельницы, часть деревянного дома, где была трапезная церковь, и три деревянных монастырских дома. Но для верующих божья благодать не исчезает бесследно. С Тихвинским монастырем стали связывать появление новых «святых ключей», в том числе и под Боровым (современное село, где располагался монастырь). Как пишет Ю. А. Крейдун, исследователь монастырей Алтайской духовной миссии, «территория (которую занимал монастырь) ровная, с северо-запада прикрытая холмистой грядой, как называют ее — „горой“, рядом реликтовая роща, где вековые деревья хранят тайны монастырских событий, недалеко течет величественная Бия. Но исчезла речка Фурманка, когда-то огибавшая ограду монастыря. Как рассказала живущая тут же И. В. Молодцова, в 1969 г. было наводнение, река Фурманка исчезла, как и много домов и монастырских построек. Не вышла ли потом речка многими благодатными источниками? Один из таких святых источников сельчане облагородили, установили крест» [18, с. 42; 19; 20].

В таком же русле трактует народная молва, зафиксированная в полевых исследованиях 2003–2004 гг., появление других святых ключей Бий-

Святой источник (с. Средне-Красилово, Заринский р-н). Фото 1999 г.

ского Приобья: в районе сел Енисейского, Верх-Бехтемира, Малоугренево. По словам старожилов, под М.-Угренево место мельничного ручья, где «поймала девочка икону... сровняли с землей, когда согру осушали...», и сразу же в окрестностях появился новый ключ. Как рассказывал П. П. Девятириков, «явленная Божья Мать приплыла по реке... Когда согру сушили, целину поднимали, засыпали... святой ключ. Там часовня, крест стоит». Е. Н. Ковалькова (с. М.-Угренево) описывает этот ключ: «Там чистая, святая вода. Там у нас иконка и крест стоит, освященная вода, целебная, ото всего». На сегодняшний день Бийское Приобье изобилует ключами, имеющими в народе название святых: «Освященный источник в М.-Угренево. Там крест стоит. В Енисейске — много серебра (Серебряный ключ), туда ходят, молятся. В праздник в начале лета ходят. Бабки лечат радикулит, заходят в воду» (В. М. Рожков).

Современному исследователю предоставляется уникальная возможность непосредственно наблюдать за процессом функционирования живой устной традиции. В с. Буланиха Зонального района под Бийском сформировалось местное предание о снятии крестов и икон, в котором отразились ментальные сюжеты об обреченности зла в борьбе с добром: «Крест снимали [а колокола и крест снимали с помощью тракторов — цепляли

трактором и тащили] — крест сорвался, пробил деревянный настил [другой вариант у рассказчиков — пробил крыльцо] и ушел под землю [в других вариантах — его закопали под крыльцом]». Далее в соответствии с традицией устного жанра следуют не поддающиеся логике и разуму события: «Потом его искали — не могли найти. Даже бульдозерами рыли — не нашли...». В Соколово во время устроенного пожара церкви также пропал колокол, и среди населения до сих пор бытует легенда, что «если церковь состроят, то и колокол появится... говорят, что где-то спрятан. А самый главный колокол, он ушел до половины в землю...». Дальнейшая его судьба также не поддается разумному объяснению. Как пытаются объяснить старожилы, «или расплавился, или что». Во многих селах сохранились устные предания о людях, пытавшихся спасти святыни. В Соколово, по словам А. С. Рыбниковой, «Темка Костенков был, он крест смог схватить, вытащить. Крест большой, к которому люди ходили прикладывались. Он его спас, домой принес. Мать моя ходила к нему молиться».

Но больше всего устных преданий возникло о чудотворных иконах и об их чудесном возрождении. Наибольшую известность на Алтае приобрело предание о чудотворной иконе Казанской Божьей Матери Казанского мужского монастыря в с. Коробейниково. Оно записано многими собирателями и широко известно: даже до Бийского и Зонального районов дошли устные предания о том, что «в Коробейниково нашли икону в речке. Сама она полиняла, а глаза живые».

Подобные устные истории записаны в Зональном (Буланиха) и Бийском (Малоугрененво, Енисейское) районах. В с. Буланиха при разрушении церкви был спасен ряд жестяных икон: «Одну из них использовали для накрывания воды в бачке. Она сильно потемнела, и потерялись лики. Непонятно, что это за икона. *Когда стали восстанавливать церковь,* ее унесли [в церковь], *она стала очищаться,* проявлялись краски, и все увидели святых Кирилла и Мефодия, которые несли образ Святой матери». Почитаемые иконы были в каждом деревенском храме: многие из них становились чудотворными. В Малоугренево Бийского района бытует народное повествование о чудотворной иконе Божьей Матери Явленной. По воспоминаниям, «она находилась в Троицкой церкви (церковь большая, крашеная, два купола, колокольня; колокол большой был, звонить начинали — в Енисейском слышно)... Тут рассказывают, как она являлась... в ручье. Как ее поймала девочка. В Мельничном ручье, он шел с рудников... Его потом сровняли с землей, когда согру осушали... Пришла [девочка] купаться, а плавает досточка. Это и была икона. Принесла домой. Ее поставили на божничку-то, хватились, а ее нет... Пошли, она опять в реке плавает. И только этой девочке давалась, и никто ее не мог взять. А потом ее понесли в церковь... потом хотели забрать в город... Положили в ящичек, и вот

в гору-то стали подниматься — кони не идут. Осталась она в нашей церкви. А когда нашу стали ломать, ее увезли в Покровскую… Когда Покровскую разламывали — выбросили…» (А. А. Шеин).

Важной задачей для современных историков является сбор материалов о сохранившихся иконах. В с. Соколово называют имена тех, у кого они хранились и к кому ходили молиться, например, «Маруся Демина, у нее икона „Вознесение“, „Божья мать“ вдвоем с кем-то». Как рассказывала Е. Н. Ковалькова из М.-Угренево, *«рушили* [церковь] *коммунисты. Местные помогали*. Иконы, кресты порастащили… когда успокоилось, доставали… но потом вернули в новую церковь». В Шубенке Зонального района колокола снимал Н. Третьяков: «залез на колокольню и прямо оттуда бросал, какие разбились, а какие нет. Колокола и какие получше иконы отвезли в Бийск. Некоторые иконы люди смогли забрать домой». Так, у Е. И. Вдовиной брат возил бревна из церкви и одну икону, Божьей Матери, привез домой. У соседки А. Я. Егоркиной тоже была икона из церкви, «от потолка до полу». икона Божьей Матери с младенцем на руках. Эта икона «ходила по людям». В наши дни при возрождении церкви в селе люди несут их в храм; в селах, где нет храма, иконы хранятся по домам.

Во многих селах Алтайского края появились авантюристы — скупщики антиквариата. Они выявляют адреса стариков, у которых хранятся храмовые иконы, и разными способами, вплоть до краж, стремятся заполучить иконы для перепродажи. В Усть-Калманке старожилы рассказывали, как скупщики, получив от хозяев отказ продать иконы, явились под видом художников, «попросили иконы на ночь в гостиницу срисовать для Барнаула» и исчезли вместе с ними.

Сохранившиеся в домах иконы представляют не только духовную, но и историческую ценность. Они отражают историю и культуру деревенского храма, являвшегося центром духовной жизни крестьянского мира. Но большинство культовых реликвий в процессе разрушения церквей было уничтожено: из них делали сундуки (Выползово, Тальменский район), табуретки (Плоское, Третьяковский район), жгли, ломали, выстилали дорожки. В Коробейниково, по рассказам старожилов, иконы ныне действующего Казанского монастыря «выламывали, бросали в грязь. Ряд икон из-за их хорошего дерева увезли на созданные полевые станы образованных колхозов, переворачивали ликами вниз, а деревом кверху и колотили из них обеденные столы». А знаменитая чудотворная икона Казанской Божьей Матери «была положена перед дверью сельсовета ликом вниз. Долго лежала». Как известно из местных преданий, ее спасла местная слепая женщина Домнушка (Домна Фатеевна Капустина, с. Нижне-Озерное, Усть-Пристанский район), которой «приснился сон, когда ей явились божеские силы и просили, чтобы она спасла икону. Она долго боялась. Но потом упро-

сила соседку. Они ночью подняли и спрятали икону». Дальше все легенды уже рассказывают о восстановлении сильно пострадавшей иконы: «начал восстанавливаться лик, потом остальная часть».

Устная народная традиция создала целый пласт преданий о суровом наказании за святотатства над иконами. Всероссийское хождение имеет рассказ об иконе почитаемого в России Николая Угодника (Чудотворца). Один из вариантов был записан в июле 2003 г. в Бийском районе. По рассказу А. К. Мироновой (с. Лесное, Бийский район), в селе Ануйское Смоленского района церковь перестроили в клуб. На одной из клубных вечеринок произошел случай, о котором она рассказывала так: «А там [в клубе] оказалась икона Николая Угодника. А к одной девке кавалер не пришел, и она говорит: „У меня кавалер не пришел. Я с Николаем Угодником буду танцевать". Смехом она сказала. Как только сказала, повернулась и так и осталась стоять, и не двинулась, и не разговаривает, и не моргает, и ничего. Столько на этом месте там стояла — день и ночь. Приходили и батюшка, и отпевали, и святили, и что только не делали. Потом сдвинули ее с места. Но она помешалась». Позже, в 2005 и 2006 гг., в газете «Комсомольская правда» были опубликованы подобные сюжеты, записанные в Европейской России.

Рассказы показывают, что свидетели поругания православных святынь втайне ожидали возмездия и были уверены в его неотвратимости. В соответствии со своим внутренним убеждением информанты искали подтверждение этому в реальной жизни. В Сростках Ф. А. Отпущенников рассказал случай с двоюродной сестрой, которая была наказана за надругательство над иконами: «Когда иконы снимали, то растаскивали их по домам. Да на потолок. Щепали и печь растопляли. Клавке, теткиной дочери, приснился сон: один старичок, Бог, сказал: „Ты, доченька, эти иконы-то по воде отправь, иначе ты умрешь". На нее желтуха напала [сразу она не послушалась], и они ночи не спали и отправили иконы по речке. Но Клава все равно умерла. *Нельзя было иконами печь растоплять, а они растопляли*».

В духе возмездия за поругание завершаются и рассказы о разрушении храмов. Судьба церковных зданий с их закрытием в 1930-е гг. была предопределена советской властью. Их рекомендовали использовать под общественно-культурные и бытовые учреждения, хозяйственные помещения или разбирать на строительный материал. До наших дней в алтайских деревнях часть церковных зданий сохранилась в измененном виде, чаще всего в виде основного сруба, без колокольни и куполов. Они использовались под клубы, школы, торговые заведения, склады. Среди выявленных и описанных в экспедициях храмов — здания соборов в Коробейниково (Усть-Пристанский район), Лушниково (Тальменский район), Думчево (За-

Церковь в с. Думчево (Залесовский р-н). Фото 1998 г.

лесовский район); два из них, в Думчево и Коробейниково, восстановлены[1]. Их история также является частью историко-культурного наследия. Интересна судьба Думчевского храма[2] в пересказе старожилов. Он простоял нетронутым до 1963 г. Залесовский район в советское время оставался «медвежьим углом», так как находился в стороне от коммуникаций. В церкви даже частично сохранились алтарь (но большинство икон женщины разнесли по домам) и роспись (в том числе автограф художника – «А. Михайлов, 1915 г.»). Но в ответ на осквернение собора (использование под зернохранилище) роспись стала темнеть, и лики почти потерялись. В 1963–1964 гг., как рассказывают информанты, «на беду» (фраза старожилов, выстроенная в традиции устных жанров) через село ехал «какой-то партийный начальник» (злые силы), увидел кресты на здании и закричал («прорычал»): «Это что такое?» В советское время этого было достаточно, чтобы местные власти сбросили кресты с купола и алтарной части.

[1] Дементьева Л. С., Щеглова Т. К. Памятник культового зодчества в с. Думчево. Срубная церковь // Залесовское Причумышье: Очерки истории и культуры / Т. К. Щеглова (науч. ред.). Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. С. 185–164; Степанская Т. М. Деревянная церковь в с. Лушниково// Нижнее Причумышье: Очерки истории и культуры. Материалы краевед. науч.-практ. и метод. конф. / Науч. ред. Т. М. Степанская, Т. К. Щеглова (глав. ред.). Тальменка, 1997. С. 159–162.

[2] К сожалению, пока готовился данный материал, церковь в ноябре 2004 г. сгорела дотла из-за неисправного печного отопления.

И лишь в начале 1990-х гг. по инициативе местных старушек началась работа по восстановлению храма. Большую роль в восстановлении срубного здания Никольской церкви сыграли местный священник Вениамин (умер в 1998 г.) и рядовые сельчане, которые из подручных средств стали варить кресты. Финансовую помощь оказал трест «Барнаулстрой». И как только сельчане приложили первые усилия для обустройства храма, как только появился настоятель, *«началось чудо — стали высветляться и проявляться лики святых на фресках»,* и все увидели: в центре купола — «Троица», на скатах — четыре евангелиста, справа налево от алтаря — «Воскресение Христа», «Вознесенье Христа», «Покров Божьей матери». В нижнем ряду фресок — «Св. Пантелеймон», «Св. Михаил», «Сорокоуст», «Николай Угодник» и др. Возможно, это единственная в крае сохранившаяся авторская роспись сельского срубного храма.

Очень интересные материалы о восстановлении собора Казанской Божьей Матери и судьбе чудотворной иконы Казанской Божьей Матери были собраны у жителей Усть-Пристанского района, в том числе с. Коробейниково. В частности, К. Феллер (глава администрации с. Коробениково) рассказывал, что еще в 1981 г. пострадал за инициативу реставрировать собор, как памятник архитектуры, к 200-летнему юбилею с. Коробейниково: «Первый раз я ее увидел в 1969 г., когда приехал по распределению в Коробейниково из Алейского района, где в родном селе на моих глазах разрушили в 1964 г. деревенскую деревянную церковь. А когда уже в перестройку стал директором коробейниковского совхоза, стал пытаться возвратить Казанскую церковь к жизни». По его инициативе из здания церкви выселили склад ядохимикатов и начали очищать от вредного воздействия химикатов — убрали деревянные полы и сняли на полметра землю. Однако испарения ядохимикатов до сих пор разрушают и штукатурку, и побелку, и фрески (некоторые из них К. Феллер еще застал в 1960-е гг.). Об этом «узнал присланный на Алтай Ф. В. Попов [первый секретарь Алтайского крайкома партии в февр. 1985 — февр. 1990 гг.]. Об этом-то узнать было несложно. В Коробейниково и раньше ездили и любили смотреть на церковь многие партийные начальники, и Георгиев, и Мищенко, и Раевский, а Невский вообще интересовался историей, бывал даже на старом кладбище. При первом приезде по традиции Попова посадили в „газик“ и повезли по улицам [традиционно знакомили первых лиц с селом]. И в дороге Попов начал разговор: „Улицы без тротуаров, нет асфальта, а вы затеяли церковь строить“. Разговор был крутой, шумный», и директор совхоза вынужден был подать заявление об уходе. А в 1988 г., когда его односельчане выдвинули депутатом, «из Барнаула приехали из КГБ два человека и потребовали снять свою кандидатуру с выборов. А ведь шла перестройка. Если бы я знал, что Попов через полгода снова уедет в Москву, я бы не снял» (К. Фел-

Собор Казанской Божьей Матери (с. Коробейниково, Усть-Пристанский р-н). Фото 1997 г.

лер). А в 1990 г. односельчане выбрали его главой администрации села, что совпало по времени с волной народного энтузиазма по восстановлению церкви, но уже не как памятника архитектуры, а как действующего храма. В ноябре 1990 г. епископ Барнаульский подписал документ о назначении отца Владимира в Димитровский приход Алейска, Казанский Коробейниково и Чарыш (Усть-Калманский район).

Сначала, по рассказам сельчан, восстановление шло силами односельчан — они лопатами чистили церковь, собирали деньги на ее восстановление. Вот как об этом вспоминает А. М. Сарычева: «У меня стали болеть глаза после того, как чистили церковь от ядохимикатов. Я ведь тоже собирала подписи для разрешения открыть церковь. Мы с бабками сами и чистили церковь. В респираторах, чтобы защитить дыхание. Снимали верхний слой земли. И сейчас у многих такая же история с глазами». Потом «открыли счет на восстановление церкви, 100 тыс. дала краевая администрация». Но дело пошло «быстро, как только к нему подключился „новый русский“ — очень верующий, очень религиозный человек. Директор акционерного общества „Полинекс“ (бывший химзавод по производству красок, лаков) из Бийска Карпов. Он здесь завел охотничьи угодья, особенно на водоплавающую дичь местных озер, и буквально заболел Коробейниковской

церковью. Пригласил профессиональную бригаду по реставрации куполов и шатра – покрыли жестью, обновили кресты, приклеили на них зеркала, в который отражается восход, отлили в Воронеже 11 колоколов, установили их, начали работы по росписи храма...» (записано в 1997 г. в с. Коробейниково).

В настоящее время в селах Алтайского края полным ходом идет строительство новых церквей. Возрождение приходов и открытие церквей может стать самостоятельным направлением исследования, и для фиксации происходящих событий необходимо привлечь новый вид источника – устный исторический рассказ.

При экспедиционных исследованиях старожилы всегда точно показывают сохранившиеся остатки церковного собора или место, где он находился, подробно описывают, как использовалось это здание или на что пошел строительный материал. В задокументированных интервью содержится информация о судьбах сохранившихся зданий соборов: «сушилка» в Новиково Бийского района (сушили хлеб во время колхозного производства), телятник в Выползово и ремонтная мастерская в Лушниково Тальменского района, зернохранилище в Думчево Залесовского района, склад ядохимикатов в Коробейниково Усть-Пристанского района. Но в большинстве устных свидетельств говорится о том, что церковные здания разбирали на строительные материалы и использовали для постройки школ, клубов, бань. В рассказах свидетелей выявляется определенная закономерность: до войны здания использовались в неразобранном виде, после вой-

Бывшая церковь в с. Лушниково (Тальменский р-н). Фото 1996 г.

Бывшая церковь в с. Выползово (Тальменский р-н). Фото 1996 г.

ны обнищавшие колхозы перестраивали их. Так, «в Сростках Бийского района в церкви клуб был, в войну склады были — зерно сыпали. Ее разломали и увезли за реку и построили клуб из нее» (И. Г. Новоскольцев). Шубенскую Покровскую церковь Зонального района закрыли в 1937 г. и 11 лет использовали под склад. После Великой Отечественной войны колхоз начал строить животноводческое помещение, а строительного материала не было. В 1948 г. церковь разобрали и построили животноводческую ферму (Софья Матвеевна Михалёва). В Усятском крашеную церковь также раскатали, из бревен сделали контору, а на ее месте — клуб. В Новиково «сначала была сушилка, затем церковь перевезли на бугорок, перебрали и сделали клуб. Штукатурку стесали, а форма церкви сохранилась. Потом перевезли на скотный двор, на край села. Сделали из клуба конюшню. Много материала сожгли церковного…» (П. Д. Золотухина, с. Новиково).

Устные предания о церковных зданиях воссоздают не только их внешний вид, но и отношение к ним крестьянского мира, которое проявлялось в мирских традициях возведения храма, выбора места под него, сочетания красок, способов декоративного убранства, обустройства площади, ее озеленения. В воспоминаниях старожилов с. Усятское названы такие общие традиции: строили ее всем сельским миром; выбрали возвышенное место; не жалели денег на ее внешнее убранство. Церковь в Усятском, как и во многих селах Алтайского края, звали Голубинкой. Объяснение этому

дается в описаниях: «Церковь красивая была, на горочке, возвышенном месте. Огорожена узорчатым забором. *Церковь была покрашена в голубой цвет,* крыша под куполами в позолоте» (А. И. Чернышева). В народных преданиях в Новиково церковь также называли «Голубинка»: «Церковь была на камнях, обитая, *крашеная, голубого цвета…* У церкви была ограда. Высокая, без единого гвоздя…» Н. А. Савин вспомнил, что вокруг церкви была сирень.

Традиция сочетания голубого (обшитый сруб) и золотого или серебристого (купола) цветов во внешнем убранстве церкви способствовали широкому распространению ласкового названия «Голубинка». В Большеугренево «церковь красивая, разрисованная… алтарь золоченый… *снаружи покрашена серовато-голубой краской»* (А. А. Новокрещенова). Сами старожилы отмечали приверженность к голубому или бирюзовому цвету. В Малой Курье «церковь красивая была — Голубинка. Но разрушена, перестроена в клуб. Окна были вверху и внизу. Был церковный хор. Была огорожена кругом березками и штакетником. Были колокола. Они звонили во время тревоги» (А. М. Рудакова). В Малоенисейском этого же района «церковь была деревянная, срублена, обшита и хорошо покрашена. *Церковь бирюзовая.* Забор красивый — или как металлический, или штакетник. Три купола, колокольня. Колокола по всей Пасхе звонили» (М. И. Александрова).

Ностальгию у старожилов вызывают воспоминания о деревенских колокольных звонах. Колокольный звон в пересказах людей выступает как объединяющий окрестные деревни голос. Колокола разговаривали со всей округой: в Малоугренево «колокол большой был, звонить начинали — в Енисейске слышно было». В густонаселенной Енисейской волости колокольный звон являлся своеобразной перекличкой соборов.

Самостоятельными сюжетами в устных преданиях являются события, происходящие на месте разрушенных церквей и соборов. В представлениях воцерковленного человека эти места являются особыми в силу их «намоленности». Кроме того, при каждом храме формировался некрополь — кладбище умерших священников, монахов, послушников. Поэтому места вокруг церкви являлись святыми (освященными), и их использование в советское время под культурно-бытовые предприятия или для проведения культурно-массовых праздников воспринимались как святотатство. В Большеугренево с осуждением говорили, что в советское время «на том месте танцевали, там были тырла [места уличных вечеринок молодежи в 1930-е гг.]» (С. И. Зяблицкий). Вечорки, по рассказам старожилов, часто собирались именно на месте прицерковного кладбища, где по православной традиции покоились служители церкви. Так, в том же Большеугренево танцы проходили у большого камня, под которым была схоронена попадья. З. А. Нагибина вспоминала: «Где попадьи могила, устраивали тырло,

не боялись. Камень потом трактором под гору [столкнули]». Приведенные отрывки показывают, что носителями трепетного отношения к церковному месту повсеместно выступали представители старшего поколения. Им, как и в случае других действий советской власти против церкви, противостояла молодежь — наиболее радикальная часть общества, воспитанники комсомола, которые «не уважали» чувств верующих. Показательно описание старожилами использования здания новиковской церкви: старое поколение (более консервативными в своих взглядах являлись женщины) сохранило отношение к нему как к собору, а молодежь быстро отвергла его культовое значение. Такое отношение развело по разные стороны старое крестьянское и новое советское поколение сельчан: молодые «в клубе [здании церкви] танцуют и поют, и бабушки идут молятся» (Н. А. Савин, с. Новиково).

Во всех народных рассказах о поругании церковной территории, так же как в случаях поругания икон, виновных в кощунстве настигало наказание. Так, в Сростках «парень купил место, где была церковь разрушена, и построил себе хату. Умер уже» (Останников). Разрушение Воскресенской церкви в с. Луговском Зонального района (1951 г.) отозвалось «божьей карой»: клуб, построенный на ее месте, два раза сгорал дотла. В Буланихе, по словам старожилов, когда ломали стены церкви, бревна не разделялись, хотя она была построена без гвоздей. Позже на ее месте «часто пахло ладаном, его запах чувствуется до сих пор». Сельчане не стали застраивать это место. Сейчас на нем поставили крест и возложили плиту с именами похороненных в церковной ограде священников, а под временную церковь отдали здание купеческого магазина, стоящее рядом.

Распространенным сюжетом устных преданий о святости места или здания, которое занимала церковь, являлись видения. Так, в с. Ануйском Смоленского района в клубе, построенном на месте церкви, «когда заканчивались пляски, в 12 часов ночи выходит женщина и плачет, и все предполагали, что это Божья Матушка приходила на это место и плакала» (А. К. Миронова, с. Лесное, Бийский район).

Святость церкви и места вокруг него отражена в устной истории А. И. Рохлиной из с. Смоленское: «Церковь была деревянная… я в ней венчалась. Улица называлась Ильинская (ныне Мартакова). У нас там, где обрыв у реки, стоял длинный деревянный крест, как каланча, и у нас как праздник, Ильин день, люди со всех концов съезжались (в августе). Около креста служили молебен. Вся улица собиралась… А рядом стояла колокольня и сторожка. Над церковью купола не было — крыта как дом, а внутри иконы. *Пожар-то* [1928 г.] *не задел церковь — начался наискосок.* Бог спас. У нас тоже во дворе даже погреб выгорел… Ветер был сильный, головешку перекинет через три дома — и вся улица горела. Три улицы выгоре-

ло. У нас еще дом не загорелся, а окна уже потрескались от жары — выпали. А потом дом загорелся… Дома я была с мамой. Успела вынести ленты да иконы, да мама еще что-то вынесла. Все сгорело. У нас три свиньи было — глаза уже полопались, а сами ходят. Одна сдохла, остальных зарезали — не смогли съесть… А отец-то был на пашне — кони спаслись… коровы спаслись — ушли к реке… А во дворе куст стоял — так н*а скворечнике даже веревочки не перегорели. Скворцы тоже птицы святые…* Так отец двух или трех коров выменял на амбар и привез, и сейчас стоит [переделали в жилой дом]».

В крестьянском сознании и народной памяти существует огромный пласт воспоминаний, ставший преданиями о наказании людей за участие в разрушении православных храмов. Форма этих преданий в разных местах одинакова и отражает традиции устного народного, в том числе фольклорного или сказительного творчества. Завязка — рассказ о жизни сельского прихода в доколхозный период и принятие решения о разрушении храма. Кульминация — разграбление церкви, разрушение колокольни, сбрасывание крестов и колоколов, сожжение или уничтожение икон. Развязка — возмездие, которое настигало как самих разрушителей (гибель, неизлечимая болезнь), так и те здания, для которых использовался строительный материал (несчастье, пожар и т. д.). Как сказала Е. И. Вдовина (с. Шубенка), «кто ломал, тех Бог наказал: у кого глаза не глядят, у кого ноги не ходят».

Во всех преданиях фигурируют две противостоящие силы: «разрушители» и «безмолствующая толпа». В числе первых называют коммунистов, комсомольцев, военных, учителей, личности которых трактуются неоднозначно. Среди них, по оценкам очевидцев, встречаются как убежденные противники церкви, так и сомневающиеся и даже осуждающие происходящие события, но участвующие в разрушении храмов из-за страха, из-за карьеры, по долгу службы и т. д. Но независимо от причин их участия в народных рассказах их настигало возмездие. Так, в селе Старая Тараба Кытмановского района главным действующим лицом разрушения была «Марфа-сельсоветчица». Именно она, по словам супругов Брюхановых (Кытманово), была активисткой разрушения. Она организовала вынос икон и затем сама их бросала на землю и топтала, призывая односельчан к тому же (ее постигла впоследствии тяжелая болезнь — «слегла, и так и пролежала, пока не сгнила»). В Усятском участники за уничтожение церковных книг были «наказаны огнем»: «был случай, когда церковные книги жгли — кто-то обжегся здорово» (П. Саткина).

Для характеристики каждой из участвующих сторон у респондентов сформировались свои оценочные стандарты, с помощью которых они противопоставляются в устной речи. Главными действующими лицами в уст-

ных источниках выступают и та, и другая сторона (взгляд на них со стороны рассказчиков), в некоторых случаях — сам рассказчик (взгляд изнутри). В последнем случае рассказчиком дается самооценка, которая отражает его внутренние установки и представления. Например, одна из рассказчиц отразила собственную позицию (как представитель толпы) и отношение к антирелигиозной агитации разрушителей: «Коммунисты ходили и спрашивали: „Какая твоя вера?“ А я говорила: „Я верила и буду веровать в бога!“ А они — что я в нем нашла? Отговаривали. Коммунисты не верили. И запрещали верить. Людей заставляли рушить по приказу коммунистов» (С. М. Трофимова, Малая Курья). «Власть заставляла разрушать церковь!» (Ф. А. Отпущенников, Сростки). Таким образом, в устных повествованиях представители «толпы» являются жертвами ситуаций с перевесом сил в пользу «разрушителей» (власть, карательно-репрессивный аппарат, жестокость методов подавления, идеологизирование повседневных бытовых отношений и т. д.). В Сростках «после запрета веры в церкви сделали танцплощадку и фойе. Иконы сгрузили в сельсовет и увезли в Бийск. Советская власть говорила: „А ты за бога? Ты в бога веришь? Ах ты мазурик!“ И этого человека обходили [сторонились], так как он в бога верит. Народ не протестовал, многие вымерли. Кулаков расстреляли, может быть, они верили» (М. П. Останников).

Среди героев рассказов были те, кто нашел силы сохранить свою веру и не запятнать себя святотатствами, и те, кто подчинился силе. Народная молва одновременно и осуждает их за душевную слабость, и сочувствует им, учитывая обстоятельства. Это отразилось в устном источнике, записанном в Большеугренево: «Когда в селе церковь разбирали, то были те, кого заставляли. Одного из таких, Илью, парализовало, а другой погиб». Причем обстоятельства гибели в рассказе предполагают либо наказание свыше за участие в разрушении, либо самоубийство как акт раскаяния за содеянное: «Матвей Саламакин дома лежал, один. Ружье взял, думал, что не заряжено. Оно заряжено. Выстрелил. Сразу после разрушения застрелился» (О. Ф. Сковородникова).

Вместе с тем вторая сила, прихожане, по рассказам очевидцев, отнюдь не являлись безмолвными свидетелями. Их поведение, по описаниям старожилов, выражало неприятие происходившего: ропот, отказ от участия в действиях. Зафиксированные случаи противодействия (крестные ходы, покушения на разрушителей) немногочисленны. В основном протест был пассивным. Рассказы старожилов позволяют определить причину пассивного поведения. При огромном эмоциональном ударе, который они испытывали при виде разрушенных святынь, крестьяне считали, что наказание за такое кощунство не их дело, а — самого Господа. Как сказала Е. Н. Ковалькова (Малоугренево), *«Бог наказывает, кто церковь курочил,*

корежит их». Убежденность в неотвратимости наказания показывают предания о судьбе разрушителей. В Новиково Бийского района, по рассказу П. Д. Золотухиной, «*снимал купола Филипп Лахов.* И он оттуда как шандарахнулся! Сразу же упал с церкви. И *у него рак приключился. Все изъел внутрях.* Много их было, командовал один, и *его господь наказал*». В Б.-Аникино колокол «снимали вручную — человек 20 было — через веревку снимали. Оторвалась веревка, он целый был, но его увезли на расплавку. Говорили, что *бог наказал человека — он чокнулся*» (А. Н. Юрлов). В Большеугренево (Бийский район) «колокол упал, вошел в замерзшую землю. Ломал Пономарев, местные... Крест был на куполе. Один из разрушителей, когда снимали крест, провалился, разбился» (С. И. Зяблицкий). В с. Фоминском Бийского района «нужно было снять колокол. И все боялись. Один тут герой нашелся. „Чего вы тут стоите? Я сейчас". И кувалдой полез его разбивать. Как размахнулся — и упал на землю. Всмятку. Но колокол потом все равно сняли» (Миронова А. К., с. Лесное).

Анализ устных источников позволяет выявить сохранение в сельской среде сказительных традиций устного народного творчества, отражающего крестьянское мировоззрение и построенного на реальных исторических событиях. Объективность происходящих событий подтверждает исторический материал, на котором строятся предания. Так, записанные в Соколово истории о разрушении церкви позволяют реконструировать этапы борьбы советской власти с церковью, достоверно отражающие прошлые события. Первым этапом борьбы с церковью в устных источниках старожилы называют 1920-е гг., когда действительно отделенная от государства церковь существовала за счет поступлений от прихожан и должна была выплачивать государственные налоги. А. С. Рыбникова так характеризует положение церкви в это время: «Церковь в Соколово закроют, народ откупит [заплатит налоги]. Опять сколь послужит, опять закроют... Еще до колхозов закрывать стали. Потом-то [1930-е гг.] подкупать стало нельзя. Она стояла закрытая». Это подтвердил и Г. Л. Шаромов: «Церковь два года стояла закрытая. Потом ее сожгли». Устная молва основывалась на констатации факта и отражала своеобразную социально-культурную ситуацию 1920-х гг., в которой она формировалась: массовую неграмотность (не читали газеты) и характерную для традиционного общества аполитичность (не интересовались политикой государства). На этом этапе в борьбе с церковью преобладали экономические и политические методы; террор и преследования не являлись массовыми. Способами государственного воздействия являлись отделение церкви от государства, лишение ее прав юридического лица и т. д. Последнее обстоятельство позволяло заключать договоры о ремонте церковных зданий только индивидуально с членами приходов, которые подпадали под статью о частном пред-

принимательстве, что влекло за собой резкое повышение налогообложения.

Второй этап, по воспоминаниям старожилов, наступил в 1930-е гг. Устные предания связывают этот период с репрессиями против священников и разрушением церковных зданий. Действительно, в СССР массовая ликвидация церквей «силовым порядком» была заявлена в 1928 г. На Алтае уже к концу 1928 г. появился документ «Итоговая сводка голосовавших за снятие колоколов и закрытие церквей в Барнауле» [21, с. 124]. Большие надежды возлагались на «Союз воинствующих безбожников» (СВБ) и образовывавшиеся в городах и селах края его ячейки. Через общественные организации велась антирелигиозная пропаганда. Законом от 8 апреля 1930 г. была упрощена процедура закрытия церквей, право окончательного решения вопроса предоставлялась областным и краевым советам. Сущность начавшейся кампании отражала известная статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов», критиковавшая некоторые методы на местах: «Решительно прекратить практику закрытия церквей в административном порядке, фиктивно прикрываемую общественно-добровольным желанием населения. Допускать закрытие церквей лишь в случае действительного желания подавляющего большинства крестьян и не иначе, как с утверждения постановлений сходов областными исполкомами. За издевательские выходки в отношении религиозных чувств крестьян и крестьянок привлекать виновных к строжайшей ответственности» [22, с. 104]. Но с середины 1931 г. начался новый и более массовый этап закрытия с оказанием административного давления: в 1931 г. на Алтае закрыли 17 церквей, в 1932 г. – 11, в 1933 г. – 15, в 1934 г. – 33, в 1935 г. – 44, в 1936 г. – 39, в 1937 г. – 27, в 1938 г. – 82, в 1939 г. – 80 [9, с. 171, 183].

Лишь часть церковных зданий устояла в период массовых разрушений. В частности, в селе Савиново, по словам А. Е. Лель, в годы Великой Отечественной войны «церковь стояла закрытой, не работала. Старые ходили вокруг нее, потом ее открыли[1], потом ее опять закрыли. Она старая была, надо было ремонт делать». Разобрали ее в 1950-е гг.: «Сельсовет дал распоряжение. Сделали клуб. Потом клуб развезли. Рабочих нанимали, а они деньги пропили».

Среди уничтоженных в 1930-е гг. храмов была церковь в Соколово, которую сожгли, по словам старожилов, в начале 1930-х гг. (старожилы называли три даты: 1932, 1934, 1935 гг.): «Бутылки с бензином в нее кидали, потом огонь бросили». Практически каждая из указанных дат могла быть правильной. Устная память «не дружит» с датами, фактологический разнобой часто встречается в устных источниках, так как событийный материал ис-

[1] В годы войны как известно, И. В. Сталин дал послабление православной церкви.

Старообрядческая Никольская церковь, построенная в 1990-е гг. (с. Пещёрка, Залесовский р-н). Фото 1998 г.

кажается в памяти старожилов за давностью лет. А вот воспоминания старожилов о судьбе разрушителей отражают представление крестьян о возмездии за поругание православных святынь богоборцами. Решение о поджоге в Соколово, по свидетельству старожилов, «было принято на каком-то собрании». Поджигателями церкви называют Василия Бекельмешева и Е. И. Симонова, «им нашлись помощники». М. В. Макрушин рассказывал: «Три комсомольца зажгли ее, нагадили там». Возмездие для них наступило быстро: «один, который поджег, до дому добежал, в избу не успел забежать, около крыльца упал, его всего перекорежило, и тут прям умер. Перекорежило так, что не могли его хоронить… руки, ноги ему ломали, чтобы в гроб его сложить. *Вот тут или бог его наказал, или его самого перекорежило с испугу*». О наказании другого (в виде отречения и проклятия отца) рассказала В. Н. Шадрина: «Сжег Бекельмешев Василий и Дедков Степан. Бекельмешев был секретарем постсовета, а Степан был староста, что ли, богомольный был, а почему сделал, не знаю. Говорят по народу, что Дедков направлял жечь. Дедков умер в глубокой старости, а Бекельмешев — молодым. Когда ему сделалось плохо [после возвращения домой], он отцу признался. Тогда тятей звали. Вот он и говорит: „Тятя, я сжег церковь“. А отец как сидел на печи, так и сидел, пока он [сын-поджигатель] не

умер… схоронили… похоронная процессия прошла, до тех пор [отец] с печи не слез».

В рассказах о разрушении церквей интерпретация событий позволяет выявить сложное отношение советских крестьян к вере. За внешней бравадой может скрываться страх за возмездие, за внешним неверием — вера или внутренняя раздвоенность, за отрицанием бога — его присутствие в сознании и поведении человека и т. п. Латентная (скрытая) информация содержится в особых речевых построениях устного источника. В процитированной ранее фразе М. В. Макрушина, рассказчик комментирует паралич разрушителя церкви: «Тут его бог наказал или самого перекорежило». Здесь проявилась раздвоенность: с одной стороны, ценности, которые человек получал от новой власти в результате советского воспитания, с другой — «генетическая память» и православная традиция, которая в советский период поддерживалась и воспроизводилась старшими женщинами, игравшими роль воспитателей в семье. Во всех рассказах присутствует информация о попытках старшего поколения, прежде всего женщин как хранителей очага, продолжить воцерковленную жизнь с помощью «знающих людей», «бабушек». В Сростках «после переоборудования церкви старухи собирались в доме молиться и молились» (Филиппов, 1927 г. р.) Это показывает, что полного уничтожения традиционного религиозного мировоззрения не произошло, оно существовало параллельно и сыграло роль фактора, ускорившего падение советского режима в 1990-е гг. Респонденты вспоминают, что «родители только в бога верили, и даже когда запрещали. К маме приходили с иконами молиться… В Иванов день приходили молиться…» (А. А. Шеин, с. Малоугренево). Представители поколения 1930–1940-х гг. р. рассказывали, что, несмотря на запрет религии в советское время, они втайне молились: «Молюсь. Молитвы читаю… мать приучила с детства…» (Е. Н. Ковалькова, Малоугренево). В старшем поколении сложились свои объяснения разрыва бога с современными людьми. По их мнению, слишком большой грех накопился в современном российском обществе, который отделяет общество от единения с богом: «Есть ли Бог или нет, никто не видел и никому не покажется, так как все мы матершинники и не верили ничему» (А. К. Миронова, с. Лесное, Бийский район). Для восстановления связи, как говорят старожилы, необходимо очиститься, покаяться. Сохранение веры и молитвенной традиции, благодаря деятельности старшего поколения, способствует современному возрождению православия.

Отказ от православных норм жизни, несоблюдение религиозных праздников в устных источниках сельское население относит к проявлениям греха. Повсеместно бытует сюжет о наказании женщин, которые трудятся по православным праздникам или в воскресные дни, например, о женщине, которая стирала в воскресенье белье в тазике. Зашедший в гости ста-

рец-странник порицал ее за это, но она не послушалась. А когда он ушел, руки ее превратились в копыта. В с. Лесном Бийского района рассказали предание о наказании одного коммуниста, который не признавал православные праздничные традиции. В нем особенно ярко проявились народные сказительные традиции. События происходили в с. Ануйском Смоленского района в Великую Пасху: «Один председатель был у нас. И была у него мать. И подходит она и говорит, что надо ребетёшкам яички покрасить, наверное, все красят. А он сказал: „Не вздумай красить яйца!“ Он был председатель и коммунист. Ему нельзя было. Но ребятёшкам охота было, да и другим будут завидовать. Вот он ушел на работу, и она покрасила яйца и не хотела ему показывать. Выкрасила яйца — и в чашку на столе. Он заходит и говорит: „Это что такое? Я же сказал ничего не красить!“ Он взял чашку и швырнул ее на пол. И вот в эту минуту его и парализовало. Хоть верь, хоть проверь. Надо на работу выходить, а он не может. Что-то нету председателя — пришли его заместители, а он и говорит: „О, бог есть!“»

Приведенные примеры показывают, что устные источники России отличаются от зарубежных аналогов наличием именно латентной информации. Склонность к завуалированности личной оценки в значительной мере обусловлена политикой репрессий против инакомыслящих. Это позволяет утверждать, что в России устная история не ограничивается простым сбором источников, в силу политизированности обыденной жизни, политической ангажированности общества, заидеологизированности повседневного поведения, что позволяет, кстати, говорить об особенностях обыденного сознания русского населения. Кроме того, вследствие своеобразной психологии «приспособленца» для российских респондентов особенно характерна известная и в зарубежной практике «тенденция приближения устной информации к общепринятым нормам» в конкретной исторической ситуации, отвечающей моменту проведения интервью. А особенностью современного момента является переосмысление прошлого, пересмотр системы ценностей, обращение к традициям. Особенно большая переоценка произошла в вопросах веры и безверия, отношения к церкви и богу. В этих условиях представления людей меняются, что отражается и в документированных интервью. Но это уже относится к характеристике самого устного источника, степени надежности, фиксации всех проявлений позиции рассказчика. Вместе с тем и факт изменчивости взглядов человека может служить объектом изучения. Постоянная изменчивость практики, традиций, жанров, в соответствии с которой формируется и развивается устное представление о прошлом, не только создает трудности в работе с устным (как и письменным) источником, но и служит источником для анализа сознания. По словам Элизабет Тонкин, любые жанры «являются продуктом конкретных временных и экономических условий, реализован-

ных в различных интерпретациях различными аудиториями. Вот эти самые условия быстрых изменений[1], заставляющих „устных хроникеров“ бороться за сбор материала, „пока не поздно“, зачастую дают нам возможность увидеть изменения в процессе». Таким образом, те особенности устного источника, которые для традиционных историков являются негативными (субъективность, латентность, изменчивость и др.) и создают трудности при их использовании, для этнографов, этопсихологов, культурологов, устных историков могут служить материалом для выявления особенностей духовной культуры.

Доказательством сохранения православной традиции у значительной части сельского общества в советский период является устный материал о народных служителях. Появление института народных служителей как альтернативы репрессированным священнослужителям характерно именно для сельского населения. В определенной степени это связано с тем, что в городах в советский период наиболее крупные храмы продолжали действовать, в селах же церкви закрылись, и для значительной части деревенского общества встала проблема отправления религиозных культов. По переписи 1937 г. неверующих оказалось меньше, чем верующих, а 43% населения назвали себя православными [23, с. 158].

Поскольку количество верующих было достаточно большим, «снизу» инициировалось появление народных православных служителей из крестьян. Контент-анализ устных исторических источников показывает, что они выделялись из местных набожных людей. Их по-разному называли в деревнях Алтая: «читахи» (с. Михайловка, Усть-Калманский р-н), «монашки» (Верх-Ануйское, Быстроистокский р-н), «читалки», так как главным их назначением становилось чтение молитв и церковных книг, чаще всего в витальных обрядах (рождение, крещение, похороны), которые сохранялись в крестьянской среде, несмотря на запреты и преследования. Если в церкви священником был только мужчина, то служителями становились как мужчины (в материалах интервью — «старичок», «дед»), так и женщины («бабушка», «старенькая»). В зафиксированных преданиях отмечается, что к ним негласно предъявлялся ряд требований: возраст — как правило, пожилой; знание молитв и обрядов, наличие церковных книг или атрибутов соборных служб и т. д. А. Ф. Абрамович вспоминает: «Бабушка Даниловна, она еще живая была. Мы специально ездили за ней. Она приезжала и читала… У ней вот такая большая книга была, толстая, у нее там всякие молитвы». А. В. Башкова рассказывает, что у служителя в с. Титово (Тогульский район) было кадило. В отсутствие храмов отправление служб проис-

[1] В рассматриваемом случае в памяти одних и тех же информантов сохранилась эпоха православных традиций, их истребления, время воинствующего атеизма, затем реабилитация православия, его возрождение.

ходило в жилых домах местных жителей — «на дом ходили». А если служитель был один на несколько сёл, его «по селам развозили». Среди проводимых им обрядов чаще всего в рассказах информантов описываются погружения грудных младенцев как замена обряда крещения; отпевание покойников на похоронах; проведение православных праздников: служительница «знала, какую молитву когда читать, когда крестить, когда вот к этой Пасхе или там к празднику какому… покойнику какую молитву читать». А. Ф. Абрамович вспоминает, как служительница Даниловна проводила службу: «Бабушка читает молитвы… Она перед столом сидит или стоит. Ну, она больше всё сидела, она сильно старенькая была. Поставлены подсвечники, свечушки горят. А остальные все стоят и крестются. А она говорит, где можно стоять, где, значит, на колени». В интервью встречаются случаи организации служителем крестного хода. А. В. Башкова рассказывает: «А скажут: ну пойдемте Богу молиться к Святому ключу… Бабки собираются штук десять и… идут на ключ с иконами… старичок их водил».

Труд служителя, по рассказам старожилов, вознаграждался: «население его одаривало по совести — у кого что было». Иногда это сводилось к организации обеда: «а вот *бабушка* Даниловна, она у нас, вот только что её… привезут, покормят. Но как потом идти, покормят» (А. Ф. Абрамович). Если же служитель начинал требовать себе вознаграждение, это встречало неприятие со стороны верующих. «Тут еще появилась у нас одна *бабушка.* Я не знаю, ее *Ивановной* опять называли… ее почему-то все невзлюбили… И вот она как пришла в деревню… Ее угостили — у кого яйцо, у кого, значит, что-то еще… хлеба ни у кого не было, вот эти драники картошенные. А она когда молебен отвела, ну и говорит: «Вы меня, это, пожертвуйте. Принесите мне кто масла, кто яиц, кто-то, может, ещё что-то, кто-то, может, и деньгами». А в войну у нас в деревне что там было! Ни у кого ничего. Ну и все, и ее больше не стали приглашать… раз она так сказала, это она плату просит» (А. Ф. Абрамович).

Таким образом, в условиях отсутствия церкви самим населением был образован уникальный институт народных служителей православия, что позволило в той или иной степени сохранить православные традиции в сельской среде и удовлетворять основные потребности верующих. В частности, даже в среде «партийных» сформировались двойные стандарты: вера и безверие. Раздвоение их сознания проявляется в описании случаев обращения к народным служителям партийных людей: «Ну конечно, знали. И партийные таскали к нему всё детей» (А. В. Башкова).

В заключение необходимо заметить, что в современной сельской среде, несмотря на все идеологические и политические кампании XX столетия, массированное давление на сознание людей, обработку мировоззрения, «традиционализм» и «укоренение привычек» способствовали сохране-

нию народных традиционных представлений, на основе которых в XX в. сформировался самостоятельный информационный историко-культурный пласт в виде «быличек», «преданий», «сказаний». Как и другие аспекты духовной культуры народной истории, жанры народного, в том числе сказительного, творчества живут только в процессе передачи межпоколенного опыта. Народная информация об антицерковной вакханалии уязвима в силу ее изустной сохранности. Чтобы эта часть историко-культурного наследия могла стать достоянием не только современного общества, но и потомков, нужно ускорить сбор памятников устной традиции.

3.4. Коллективизация и развитие сети населенных пунктов: новации и традиции в устной исторической реконструкции

Конец XX — начала XXI вв. стали для России рубежом эпох, временем смены идеологии, очередного пересмотра истории. Такое время всегда отличается правдоискательством, всплесками цинизма, очернительством прошлого или, наоборот, его идеализацией и ностальгией. Появляются «забойные» темы, пересматриваются оценки прошлого. В пылу перемен постперестроечная научная литература часто смыкается с перестроечной публицистикой и «разоблачениями» средств массовой информации. В такую пору часто рождаются крайности в оценках. В анализе советской эпохи на современном этапе это проявилось, с одной стороны, в выпячивании негативных сторон советской действительности, с другой стороны — в замалчивании реальных достижений. Сформировавшаяся настороженность к советскому прошлому в условиях обвинений советской историографии в фальсификациях до сих пор мешает многим историкам вести серьезные исследования советской эпохи. В результате очередного пересмотра истории произошла деформация знаний о новейшей истории страны, что отнюдь не безобидно. Преобладание обличительства в исторических публикациях ведет к кризису доверия к старшему поколению со стороны младшего, доверия к младшим — со стороны старших. В этом смысле социальная миссия устной истории состоит в восстановлении рвущихся связей между поколениями через интеграцию прошлого респондентами, отражающую, как правило, многомерную картину мира, и через сам процесс сбора устных источников, состоящий в диалоге молодого (постперестроечного) и старшего (советского) поколений. Не только сам рассказ, но и общение с человеком «из прошлого» расширяет исторический кругозор исследователя, формирует уважение к историческому опыту, труду и жизни старшего поколения. Реализация устноисторических проектов позволяет исследователю соприкоснуться с живой историей, лишает ее плоскостности и одномерности. Особенно эффективным является соединение устной истории с локальной историей (краеведением).

Краеведческий подход в устноисторических исследованиях порождает чувство единения с историей и причастности к ней, ставит в центр внимания конкретного человека и конкретное сельское общество, гуманизирует прошлое. История от глобальных, страноведческих проблем спускается на понятный и доступный уровень. Если в макроистории исследователь выступает в качестве зрителя, а изучаемые события можно рассматривать как «действие на сцене», то в микроистории краеведы работают с историческим материалом, который окружает их в известном им пространстве (события происходят в родных селах или городах, их участники — знакомые люди) и времени («погружение» в прошлое, как правило, измеряется жизнью двух-трех поколений односельчан или знакомых расспросчику людей). В результате метаистория (макроистория) материализуется через привлечение новых данных «снизу» (микроистория). Но при этом плюсы «малой» (локальной) истории (микроистории) в устноисторических исследованиях становятся минусами «большой» истории (макроистории). Лишнее детализирование ведет к утяжелению текста общеисторических работ, усложнению выявления закономерностей и тенденций (к которому стремится «большая» история), выводит малоизвестных и малоинтересных массовому читателю людей. Это противоречие до сих пор способствует сохранению разрыва между макро- и микроисторией, сопротивлению большой науки введению в нее результатов краеведческих изысканий.

Однако через детализирование можно реализовать стремление современных исследователей к «деидеологизации» истории. Одним из возможных направлений соединения метаистории с конкретно-историческими исследованиями является изучение развития сети населенных пунктов в период колхозно-совхозного строительства. Эта научная проблема показывает многофакторный характер исторических процессов в советский период, проявляющийся одновременно в кардинальной смене приоритетов и ценностей и в сохранении элементов крестьянских традиций селообразования в условиях советской модернизации. Процесс развития поселенческой инфраструктуры сопровождался как негативными, так и положительными последствиями для сельского сообщества. Именно неоднозначность проблемы обусловила то, что кардинальные изменения в системе сельского расселения затрагивались советской историографией эпизодически, в русле таких традиционных проблем, как коллективизация и успехи колхозного строительства, роль деревни в войне 1941–1945 гг., успехи сельского хозяйства в восстановительный период и т. д. Лишь в 1960-е гг. были предприняты попытки изучения системы сельского расселения. Отражение сложности и противоречивости исторического процесса требует адекватной источниковой базы.

Развитие сети населенных пунктов в период коллективизации и последующего колхозно-совхозного строительства содержало два заметных процесса — образование и ликвидацию сел. Эти процессы происходили и происходят постоянно и связаны с особенностями сельскохозяйственного производства. В их основе лежат и объективные, и субъективные причины и побудительные мотивы, которые обусловили определенную динамику и формы расселения. В XX в. можно говорить о двух способах формирования и развития сети населенных пунктов — традиционном крестьянско-общинном и советском колхозно-совхозном. Первый доминировал в XVIII — первой трети XX вв., второй явился результатом реализации большевистской концепции социалистических преобразований (сталинская модернизация) с широким развитием принципов коллективизации и огосударствления сельскохозяйственного производства. В советское время значительное влияние на развитие сети населенных пунктов оказала социалистическая модель хозяйствования.

Формирование коллективных хозяйств с обобществленным сектором экономики взамен единоличного хозяйства потребовало иных принципов размещения сети населенных пунктов. Основа реорганизации сети населенных пунктов в советский период была политико-идеологической. Советская власть ввела новый принцип организации производства, основанный на его обобществлении и создании коллективных хозяйств. Начавшись с коммунарского движения, коллективизации и реорганизации единоличного крестьянского хозяйства, массовое землеустройство колхозов и совхозов изменило принципы формирования поселковой сети и положило начало политике, которая привела к сокращению сельской населенной сети (уже с 1929 г. было прекращено хуторское и отрубное расселение) и разрушению крестьянского уклада жизни.

В этом отношении представляется интересным сбор устноисторических интерпретаций самого процесса коллективизации как способа организации нового производства. В современной исторической литературе наибольшее внимание уделяется раскулачиванию и репрессиям, что объяснимо: советская историография в прошлых политических условиях уходила от объективных оценок этого процесса. Развитие российского государства и общества в 1930-е гг. до сих пор можно считать одной из наиболее сложных и малоизученных проблем советской истории. Даже несмотря на негативную оценку деятельности И. В. Сталина в советский послесталинский период (1960–1980-е гг.), трагические и одиозные страницы советской истории объяснялись его волюнтаризмом, а положительные — прогрессивностью советской модели переустройства. В силу исторической конъюнктуры и под влиянием вульгарного марксизма историки не могли учитывать многофакторности развития советского государства, по-

этому этап утверждения социализма, в том числе коллективизация, рассматривался однозначно, а многие проблемы выпали из спектра исторических знаний, в том числе раскулачивание как составная часть коллективизации. Вместе с тем масштаб раскулачивания в период коллективизации создал огромную аудиторию, желающую услышать правду о тех событиях. По драматизму с раскулачиванием может сравниться только Великая Отечественная война. Потеря родных и близких в эти два следующих друг за другом периода сопоставимы, что позволяет, перефразируя известное утверждение, сказать, что в России нет ни одной семьи, которая не потеряла бы родственников или не пострадала в период репрессий 1930-х гг. В ходе разработки этой трудной темы современные историки ушли от такой научной проблемы, как коллективизация. Архив устных источников позволяет использовать ретроспективный перекрестный анализ для сопоставления голосов очевидцев. Среди них были и противники, и сторонники коллективизации. Устные интервью являются источником и основой построения аргументации разных моделей социального и повседневного поведения людей или характера происходивших событий.

Развитие единоличного хозяйства было остановлено курсом советского государства на коллективизацию, отказом советской власти от индивидуального хозяйствования. Замена семейного производства коллективным сопровождалась формированием административных органов управления крестьянским хозяйством, их вмешательством в деревенский мир, в жизнь каждой семьи. Вопреки утвердившемуся в советской историографии мнению о добровольном вхождении в колхозы, настроения рассказчиков показывают, что оно не отражает всей палитры мнений и настроений. Более того, большинство участников и очевидцев для объяснения причин вступления в колхоз используют выражения «куда денешься» (А. И. Абалихина), «не сопротивлялись, все напряженно было» (С. И. Тырышкин), что в целом отражает общую позицию крестьянства, так как перевод крестьян из статуса единоличного хозяина в подчиненное, а затем бесправное положение колхозника вызывал если не открытое, то скрытое сопротивление, даже у тех, кто вступил в колхоз добровольно. Осознание советской властью общих настроений показывают нормативно-распорядительные документы и номенклатурные отчеты. Например, в постановлении СНК РСФСР от 14 декабря 1930 г. «О плане весенней посевной кампании 1931 г.» говорилось: «Провести широкую организационно-разъяснительную работу по массовому привлечению бедняцко-середняцких хозяйств в колхозы, всемерно содействуя организации инициативных групп и вербовочных комиссий…» [24]. Следы разъяснительной работы прослеживаются в документированных интервью тех рассказчиков, которые добровольно вступали в колхозы, например Т. А. Иушиной (Тогул): «Я пом-

ню, мама пришла с собрания и говорит: „Мам! Мы в колхоз записались. И будем, в общем, работать на бригаде. Что мы делали одни, то будем вместе делать“. — „Это дело ваше!“ [ответ матери]. Мои родители сами вступили в колхоз. А дядя не хотел в колхоз и уехал. Многие уезжали. А бедняки работали. Они все в колхоз сдали, и лошадей, и даже амбары».

Совокупность отдельных эпизодов вступления единоличников в колхозы, даже при отсутствии полноты и детализации, позволяет лучше раскрыть типичные жизненные установки и настроения массовых участников коллективизации. Устные истории показывают, что на первых порах власть столкнулась с неприятием ее новой политики, особенно крепкими единоличниками. Многие успешные крестьяне-хозяйственники отказывались вступать в колхоз. Их называли «отказниками». Так, отец А. Ф. Елясовой из с. Смоленское (Ф. И. Логачев) *«в колхоз не входил. Не хотел.* Куда избу дел, не помню. Знаю, что на новый дом шесть быков колол». Устные свидетельства показали, что ряд сельчан становились отказниками в силу религиозных убеждений, моральных или политических взглядов. В таком случае, как правило, их подвергали раскулачиванию и ссылке: «Был у нас трезвенник один, боговерующий Сергеев, в колхоз он не входил… Приехали и ночью увезли…».

Часть крестьян, которая последовала призыву власти, быстро разочаровавшись, выходила из колхозов. В деревенской среде для этой категории крестьян даже сформировалось название «отходник». Так, по рассказу Г. Г. Елясова (с. Смоленское), ее прадед был с Тамбовщины, отец Григорий Васильевич (как и дед Василий Тимофеевич) «был крестьянином, имел единоличное хозяйство. Много лошадей, коров. В 1931 году он вступил в колхоз — все туда отдал. Но *не понравилось.* Он *решил выйти* и вышел, и ему ничего не отдали. Он снова стал все свое заводить. Его *называли „отходником“* (вышел из колхоза). Работал всю жизнь в связи [почтовым служащим]». Многие крестьяне-единоличники сразу находили свое место вне колхозного производства, устраиваясь в государственные учреждения. Воспоминания старожилов показывают, что процесс создания колхозов шел тяжело. Некоторые колхозы и коммуны распадались, затем вновь образовывались. А. В. Рохлина рассказывала: «Коммуну образовали и все забрали. А коммуна не состоялась: кто за гриву, кто за хвост — растащили весь колхоз. Так, тятя забрал коней назад, и опять сеяли». Процесс отходничества не был случайным: слишком сильны были традиции единоличного хозяйства и положительный опыт семейного хозяйствования.

В таких условиях государство перешло в наступление на крестьян. В Ново-Тырышкино «начали *колхозы силком.* Не идешь — назавтра пригоняют лошадь и ссылают. Отец отдал всю технику, но сам отказался жить в колхозе» (С. И. Тырышкин). Примеров насилия власти над крестьянами в

семейных историях содержится множество. Ю. Г. Тутова (Катунское) вспоминала про Сосновку, где жили ее родители, переселившиеся из Вятской губернии: «Я хорошо помню, как нас силой загоняли в колхоз, отбирали коров, хлеб… Я помню, как мама кричала, как выгребали хлеб, скот кормить стало нечем. А у коровы начался „шатун“. Они во дворе начинали шататься — „шатун“ — и начинали дохнуть. Ужас был. Нас *гнали нагло и насильно.* Сгоняли коров, лошадей. Кормить стало нечем, их снова раздали и потом привели еле живехоньких».

Семейные истории показывают, что особенно жесткими были действия власти в отношении хуторян и заимочников, у которых отнимали землю и передавали в колхозный фонд в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 15 декабря 1928 г. «Общие начала землепользования и землеустройства» [25]. Землеустроительная политика государства была направлена на изменения форм землепользования в интересах коллективных хозяйств и в совокупности с экономическими методами давления на единоличников (повышение налогов на доходы от единоличного хозяйства) усилила интеграцию крестьян в колхозы. Именно с «национализацией земли, т. е. отменой навсегда частной собственности на землю и установлением на нее исключительной государственной собственности Союза ССР» началась борьба с хуторами, односельями, заимками, выселками. В ее ходе планировалось ликвидировать расположенные в полях колхозов участки колхозников и единаличников и сселить их. Установление уголовной ответственности за любые попытки нарушения национализации (купля-продажа, дарение, завещание, самовольный захват или обмен землей) и лишение права пользоваться землей лишило единоличников-хуторян главного средства к существованию — земли. Но, как показывают воспоминания, хозяева хуторов и заимок до последнего надеялись на изменение отношения советской власти к ним, вплоть до начавшегося колхозного землеустройства, которое окончательно рассеяло надежды, так как закон гласил, что при землеустройстве «по заявкам, направленным на образование хуторских и отрубных хозяйств, выделение земли производится в последнюю очередь, вплоть до полного оставления этих заявок без исполнения в тех случаях, когда образование хуторов ведет к росту и укреплению кулачества».

Основная работа по сселению хуторских поселений, которые, как считалось, мешали использованию техники, была проведена в 1939–1940 гг. На 1 февраля 1940 г., по данным управления землеустройства Алтайского края, число хуторских хозяйств, подлежащих сселению на территории 18 районов составляло 1 642, например, в Солтонском районе — 367, в Сорокинском районе — 122. Всего за этот период было сселено 965 хуторских хозяйств [26, с. 179]. Перепись 1939 г. показала, что всего оставалось 86 ху-

торов (в 6,5 раз меньше, чем в 1926 г.). Таким образом, населенные пункты, не укладывающиеся в советскую систему расселения (их рассматривали как разбазаривание общественных земель), подлежали ликвидации. Ярким примером положения заимочников являлась судьба Ф. А. Логачева, чья заимка находилась недалеко от Смоленского за 2-й падью. Его дочь А. Ф. Елясова рассказывала про события на заимке: «Землю стали отбирать, последнюю корову. Согласия не спрашивали. Приходят и назначают: сегодня вашу корову изъять, завтра у этих, у кого назначат. У двух, у трех. Некоторые заимки запирали. У кого стайка срубленная — замок навешивали, так они сломают. Корову за рога — и поведет. Поплачут женщины, может, не один день поплачут. А что сделаешь? И у нас забрали. Я еще небольшая была. Так мы с мамой плакали, как последнюю повели».

Из рассказов становится понятным, что способствовало у крестьян формированию недоверия к колхозам. Во многих интервью бывших единоличников проявляется насмешка и издевка над социалистическим экспериментом в деревне. С. И. Тырышкин (с. Ново-Тырышкино) говорит: «Колхозов было 11. Все поели, коров, лошадей. Распустили. Потом опять собрались. Начали разводить...» Его отец «в колхоз не входил. Он говорил: „Берите, берите [инвентарь, машины, скот]“. Молоть-то некому стало... наши машины [купил в Бийске] три года пахали, а потом в Смоленское увезли, и так они там оставались... Я в колхозе три года поработал...». Но остаться вне колхозной системы было невозможно. Крестьяне, до последнего не вступавшие в колхозы, оказались неспособны прокормить свои семьи в условиях налогового гнета и стали проситься в колхозы. Так, родители А. Ф. Абрамович сбежали в шахтерский Прокопьевск, а деды, оставшись изгоями после раскулачивания, с трудом нашли артель, согласившуюся принять их. Вот как рассказывает об этом респондент: «Мама приехала к моей бабушке и сказала, что „я пошла в Прокопьевск, не буду здесь“ [с. Вятки, затем Загадново, Тогульский район. Исчезли]. Бабушка говорит: „Ты к чертям на кулички иди, а мы Нюру [имя респондента] не отдадим“. Три моих брата остались. Они называли бабушку „мама“... Коллективизация — обязательно всех в коммуну. А нас не принимали [как семьи раскулаченных], так как дед был слепой, а у бабушки болели ноги... А когда ребята выросли, в 35-м году нас обложили налогом. Пшеницы много намолотили, а когда повезли, хлеб у нас не приняли — тощий был. Нигде не мог договориться дед [подводили под раскулачивание]... На Мельниково — промартель. Мельница была водяная. Там работали — пихтовое масло, из хвои выгоняют. Все трое ребят [братья респондента] туда ушли. Председатель был Кулагин Андрей Никитович... И он так сказал: „Пусть работают. Хлеб сдадите сюда, я договорюсь И за нас сдадут, и за вас». Дедушка оставил лишь корову и овечку, а остальное сдал в колхоз: коня, две ко-

ровы, десять овец, упряжь летнюю и зимнюю и большую избу. Чересчур большую (перегородок внутри не было), амбар, сушило — было все закрыто под одну крышу [крытый двор]... А в Мельниково дали одну избу, в углу сбили печь... и до войны там жили...».

Сравнивая материальное положение и производственные возможности крестьянской семьи до и после колхозов, свидетели, как правило, констатируют негативные последствия коллективизации, являвшиеся следствием перехода от самостоятельного статуса и самостоятельного хозяйствования к зависимости и ограничению возможностей каждой семьи улучшать свое материальное положение. А. И. Абалихина так оценила происходящее: «До 30-х годов земля хорошая, хлеб хорошо родился, а *колхоз все нарушил... Т*рудились день и ночь. Ой-ой-ой! В колхозе сперва. Куда денешься! А потом промартель. Мы там и там работали. День на пихте женщины, а ночью до 12 часов молотили». Документированное историческое интервью отражает изменение статуса крестьянина в сельском обществе. До коллективизации крестьяне сами выбирали направление развития хозяйства, его виды и формы, объем и сроки работ, сами распоряжались результатами своего труда. В колхозной жизни они стали исполнителями. Некоторые старались найти в общественном производстве место поукромнее. А. В. Рохлина (с. Смоленское) рассказывала про отца, Василия Ивановича: «Жил единолично. Сеяли хлеб. Потом ему *сказали в колхоз зайти.* Он умный был, сеял хорошо. Жили хорошо. А в колхозе его инспектором назначили — возили по полям, а он говорил, где сеять».

Даже в рассказах второго поколения колхозников, являющихся пересказом семейных историй, сохранилась атмосфера принудительности коллективизации, воспроизводящаяся из источника в источник: «Ранешные колхозы я не помню. Мать рассказывала, как раньше кулачили, как колхозы организовывали. *Забрали всех коров, сгоняли их к активистам,* коммуну организовали...» (А. В. Волженина).

По мере формирования колхозного производства, его механизации, формирования хозяйственного профиля (колхозное земледелие, животноводство, свекловодство; артельное промышленное или промысловое производство) крестьяне стали осваивать новые социальные роли и производственные функции: доярки, поярки, телятницы, тракториста, комбайнера. Общественное производство на начальном этапе учитывало сложившиеся традиции. Так, промартели создавали в селах с кустарными традициями, основанных переселенцами, прежде всего «вятскими» (переселенцы из Вятской губернии), известными своим кустарничаньем. Так в Осиновке Смоленского района «было домов 20–25. Там был *„шир“* [артели по производству товаров широкого потребления] — готовили оглобли, дуги, колеса» (Ю. Г. Тутова). В соседней Устаурихе Смоленского района также основа-

ли артель. А. И. Абалихина даже заявила: «Сейчас город был бы. Место-то золотое. Туда-то ехали. *Была промартель: дуги гнули, кадушки, ведрушки делали, пихтовое масло гнали…* Мы „спусчики« были: внизу два человека. Всего три человека: я — наверху, двое внизу. Рубили коваными серпами. Как садану — так сук летит вниз. Но шибко не падали, никто не убивался. Я не знаю, чтобы убивался».

У информантов-единоличников по прошествии времени осталась негативная оценка коллективизации единоличных хозяйств. Как сказал Аверий Тимофеевич Немчинов, «когда *колхозы сделали, народ голодовать стал.* Сталин пятилетку сделал, с этого момента народ и страдать стал. А раньше народ сам себе голова… Раньше в колхозе так — работали много, а делов мало. *Работали так себе, время проводили… В коллективизацию голод был, народ пух…*».

Многие рассказчики при воспоминании о коллективизации выходят на тему голода 1932–1933 гг. Как говорил И. Е. Ундалов, «в 32-м году голод был, мать говорила: „Я тебя в голодовку принесла“». Последствия голода раскрываются устными свидетельствами о гибели некоторых малонаселенных пунктов, в которых проживали раскулаченные крестьяне или бывшие заимочники, или крестьяне, не входившие в колхозы. Так, М. М. Раченкова связывала с голодом гибель д. Толмачихи: «Я родилась в Екатериновке. В детстве жила на заимке в Шишаях, замуж вышла в Толмачиху. Сначала она большая была, а когда голод был, все оттуда разъехались. Я когда замуж вышла в 33-м году, было там 7 дворов, а до голода было 20 домов».

С коллективизацией старожилы в устных рассказах связывают гибель прежде всего целого ряда малодворных поселений — хуторов, заимок, выселков, поселков. В первую очередь были подорваны силы молодых поселений, возникших в 1920-е гг., в годы свободного расселения крестьян, ведущих единоличное хозяйство. Как правило, выселки и заимки, хутора и односелья (поселения при мельницах) образовывали владельцы крепких хозяйств, попавшие в категорию кулаков. К ним относились кержаки, казаки и другие этнографические группы сибирских старожилов. Именно состоятельные и успешные единоличники создали разветвленную сеть малодворных поселений в окрестностях родовых сел. Большое семейное гнездо отпочковывалось хозяйствами сыновей на отдаленные производительные угодья. Дальнейшее ведение хозяйства вдали от деревни было под силу нескольким семьям, которые и создавали новое поселение. Тяжелый и большой по объему труд по раскорчевке леса и поднятию целины требовал значительных физических усилий, привлечения техники и найма рабочих рук, что послужило основанием для раскулачивания. На Алтае этот фактор дополнялся еще и конфессиональным. В число раскулаченных попала значительная часть староверов, для которых было особенно харак-

терно стремление к обособленности, к образованию отдаленных заимок. Благодаря аскетичности, нравственной и трудовой этике они, как свидетельствуют очевидцы, были особенно успешными хозяевами, а в силу своего образа жизни старались сохранить уединение и обособленность. Поэтому старообрядцев раскулачивание коснулось особенно масштабно и привело к потере мужского и женского населения на заимках с последующим исчезновением этих малодворных поселений. Мало кто сегодня в Солонешенском районе помнит село Большой Листвененок, который «раскулачивали» в середине 1930-х гг. Д. С. Нормадских рассказал: «В Большом Листвененке жили кержаки. Две мельницы имели. Все огородили лиственницей, за ней скот держали. Когда меня в 1938 г. в армию брали — еще дома пустые оставались, несколько людей жили. А в годы войны сожгли на дрова или увезли в Светлинскую, там создавали коммуну». И. А. Москалев помнит: «В Большом Листвененке дома были большие, крестовые. Дворов десять, но крепкие. Был маслозавод. А дома в Листвененке были! Я завидовал — мощные, двухэтажные». М. И. Субботина вспоминала, что из Большого Листвянного (Большого Листвененка), когда «кулачили», часть переехала в М. Лиственеонок. Она говорит: «В 1932 г., когда мы приехали из Булатово в Малый Листвянный, уже не было Большого Листвененка. Стояло два домишка — доярки — гурты. А большие дома развезли».

По тем же причинам исчезли одно- и малоселья вокруг мельниц, пасек, промысловых предприятий. Располагались они обычно по рекам, на некотором расстоянии от деревень. По переписи 1926 г. их учитывали как самостоятельные населенные пункты при мельницах (243 поселения). Владельцы кустарных предприятий, как правило, попадали в число раскулаченных, мельницы забирали в колхозы, а поселения ликвидировали. Т. М. Тарасова (с. Староалейское) помнит всех раскулаченных староалейских владельцев кустарных заведений: «Одна мельница была у Патрикея Давыдова... *мельницу забрали, исчезла, как его раскулачили...* Другая, на р. Гольцовке, — Кошелева (они приезжие, российские)... когда колхозы были, мы возили на мельницу Кошелева. Их тоже закулачили. И Шапорева... Другая на р. Гольцовке — Шапорева. Потом мельницей заведовал Ермолай (плотник)... он был мельником на мельнице Кошелева. Колхоз мельницей заведовал. И там же Лукьяна Каверзина [мельница]. Патрикей же имел кожевенный завод, магазин. Умер в Нарыме. *Их раскулачили. И мельницу забрали*», а «дом Давыдова, как *их закулачили*, увезли в Екатериновку». И, по ее словам, «*не сумели по-хозяйски воспользоваться отнятым добром*», а поселения вокруг мельниц, кожевен и других кустарных предприятий прекратили существование.

На реорганизацию сети хуторско-заимочных поселений большое влияние оказали политическая кампания по упорядочению колхозного земле-

пользования и проведение внутрихозяйственных землеустроительных работ в связи с выдачей колхозам в 1938–1939 гг. актов на пользование землей. Существование хуторов, заимок, расположенных на землях колхоза, далеко от усадеб, превышение уставных норм площади приусадебного участка в селе рассматривалось как разбазаривание общественных земель, нездоровое раздувание личного хозяйства в ущерб общественному. В ходе ликвидации «нарушений норм общественного землепользования» специально созданные комиссии ликвидировали расположенные в общественных полях колхозов хуторские приусадебные участки колхозников и сселяли хуторские поселки. Таким образом были ликвидированы населенные пункты, не укладывающиеся в советскую поселковую структуру с общественным земельным фондом. На территории Алтайского края работа по ликвидации хуторов и заимок единоличников велась активно и привела к гибели сотен малодворных поселений.

Особенно зримо результаты реорганизации сельских поселений показывает сравнение результатов переписи населенных пунктов 1926 и 1939 гг. Эти показатели варьировались по районам и зависели от традиций крестьянского расселения в доколхозный период. Так, в Смоленском земледельческом районе большое развитие получила заимочная форма. В 1926 г. на его территории из 200 с лишним поселений — только вокруг с. Смоленское насчитывалось около 150 заимок, которые были ликвидированы в 1930-е гг. В таежном Залесовском районе большее распространение получила заимочно-хуторская форма — заимок более 70 и хуторов — более 20 (только вокруг старообрядческой Пещёрки было 13 хуторов с населением от 2 до 91 человека). На территории Кытмановского района масштабный процесс ликвидации хуторского хозяйства привел к исчезновению почти двух десятков мест постоянного проживания. На 1926 г. в районе насчитывалось 173 населенных пункта с населением 50 740 человек[1]. Только к 1930 г. исчезло 35 населенных пунктов, преимущественно хутора (33), и две деревни — Большая Таловка и Черемнов Лог. Численность населения в них была от 1 человека (например, хутор Белохвостик) до 50 человек (хутор Большой Ключ). В среднем на хуторе проживали от 5 до 10 человек, как правило, составляющие одну семью. Остальные десятки хуторов были ликвидированы в 1939–1940 гг.

Следы существования малодворных хуторов, заимок, отрубов, выселков, поселков сохранились до наших дней в топонимике окрестных мест и в памяти старожилов. П. И. Нагибин из Алтайского района рассказывал: «Я вот подсчитывал как-то — *около 40 хозяев в таких вот избушках в этих хуторах жили*. Подсчитал, начиная с таких, как Светленькое, Барашек, Кол-

[1] ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1233. Л. 235–237.

бино и другие поселки мелкие. Мы их называли „хутор“… Из деревни выезжают и там живут… у каждого хутора свое название было — Николаевка, Фадеев Лог, Маралье, Верх-Маралье, Светлое… Вот и пошли такие хутора. Все они рядом находились. Этот — по эту сторону горы, а тот — по ту сторону горы. В каждом логу — деревни. Жили по 10–15 дворов».

Народная интерпретация сводит процесс реорганизации к перегруппировке сельскохозяйственных поселений в сторону укрупнения населенных пунктов. Это проявилось в «толковании» политики ликвидации хуторско-заимочного расселения жителем с. Куяган П. С. Архиповым. «*По всем ложкам люди жили*, а потом все ликвидировалось, и *все в кучку собрались*. Например, Субботин в Дресвяном Логу жил. Часть домов в деревне кучей стояли. А когда коллективизация началась — люди разъехались из ложков… Село меньше стало после коллективизации» (П. С. Архипов). В результате многие малодворные села исчезали, многие старинные крупные деревни сокращались в размерах. В Зональном районе с 1926 по 1939 гг. перестали существовать 38 населенных пунктов с количеством жителей от 4 до 147 человек. Из 38 поселений 16 находились при мельницах, остальные являлись традиционными — выселками, хуторами, заимками, коммунами, поселками. В Мамонтовском районе за этот период исчезло 9 населенных пунктов — Верхняя и Нижняя водяные мельницы, с. Долгово, пос. Пример, пос. Мармышанский, пос. Коргополовский, пос. Троицкий и др.

Ликвидация малодворных сел, по воспоминаниям очевидцев, осуществлялась двумя путями. Часть поселений самоликвидировалась, так как единоличники под давлением земельных и налоговых притеснений «подались в колхозы». Так прекратили свое существование Алейная заимка I и Алейная заимка II (15 и 30 дворов). У. Л. Зайцева, жительница одной из заимок, вспоминает: «Когда *колхозы стали образовываться, все из Алейной заимки стали переезжать в Староалейку*. Уже до войны никого не стало… *Деваться было некуда. Все у нас забрали, а жить-то надо было на что*. И *пошли в колхозы*». Существование этих заимок оказалось недолгим. Возникнув как крестьянские заимки в начале XX в., они разрослись в 1929–1933 гг. за счет раскулаченных и выселенных жителей Староалейки. Раскулаченных односельчан, изъяв у них все имущество, в том числе рабочий скот и орудия труда, превратив их из производителей в нищих потребителей, выселяли из родного села. Часть из них осела на заимках, пасеках, выпасах, где все начинала с нуля. Семья раскулаченной Зайцевой построила на Алейной заимке дом из дерна, помазали снаружи и изнутри глиной. Таких семей, выселенных из Староалейки, оказалось много. На Алейной заимке I из 15–16 домов было только «2–3 настоящих дома, а то все землянки. Банюшка одна была — все парились. В Алейной заимке никакого хозяйства не было. Даже куриц забрали». В 1932–1933 гг. на Алей-

ной заимке начался голод. Восемь человек умерли от отравления собранными на полях колосками. Зайцева рассказывала: «Мы колосья собирали. Некошеного падалику, как снег растаял, много было на полях. Колосья хорошие. Мы радовались — не всё мякину есть. Пошли, собрали два ведра пшеницы, два ведра проса. Намололи на ручной меленке: „Мама, ничего не добавляй!“ [в лепешки добавляли лебеду и другую траву]. Поели, дома все заболели… у матери вся грудь запеклась, как будто бичом посекли. Так мать померла. Двух детей оставила. Еще дядя Вася Владимиров помер, и его сын помер… Из Барнаула врача вызвали. Думали, заразная болезнь! Выкопали… А у него все легкие трухой рассыпались. Признали отравление».

В Солонешенском районе вспомнили подобную историю про пос. Глиняный, который был образован высылкой крепких хозяев с. Топольного после раскулачивания, изъятия всего имущества, в том числе рабочего скота и орудий труда. Выселенцы, оказавшись без продуктов питания, средств производства, земли стали жертвами голода в ту же зиму 1932–1933 гг. Дети и женщины с. Глиняного собирали на полях колосья (некошеный падалик). Мололи зерно на ручных мельницах, добавляли в мякину, пекли и ели. Началось массовое заболевание, как рассказывали старожилы, «поели, дома все заболели… грудь запеклась…». Выжившее население «раскулаченных» заимок потянулось при первой возможности в колхозы или вообще уезжали. Такая судьба постигла Ново-Москалевку Солонешенского района, старожилы называли ее «кулацким выселком», который образовался в результате раскулачивания нескольких семей самой Москалевки, выселенных на окраину в 3 км от Москалевки. В Ново-Москалевке, по рассказам старожилов, были «дома три высланных кулаков». В результате их вторичного раскулачивания и ссылки в Нарым заимка исчезла.

Под влиянием собственно коллективизации, одним из последствий которой стала перегруппировка населения между селами, ликвидировалась также большая часть поселков и деревень. Старожилы приводят много примеров их гибели в результате коллективизации. Так, с. Тиховское Павловского района «до колхоза было большой деревней — до 30–40 дворов. Во время колхозов стала распадаться. Семьи пошли в колхоз, скот тоже сдали туда. Кормиться стало трудно, и население стало уезжать в Елунино». В отличие от раскулачивания и притеснений единоличников, перегруппировка населения в ходе коллективизации являлась результатом не прямого воздействия на население, а опосредованного — вследствие создания новой коллективной модели хозяйствования и социалистического аграрного сектора с развитым земледелием и животноводством, индустриализации и создания промышленных центров по производству товаров ширпотреба (мебели, утвари и т. п.). Особенно сильно эти новые фак-

Приобские деревни: жизнь у реки (вылавливание леса-топляка). Шелаболихинский р-н. Фото 2005 г.

торы повлияли на населенные пункты в малопригодных для сельскохозяйственного труда местах с промысловой специализацией. Население этих сел жило за счет товарообмена с сельскохозяйственными селами, прежде всего обмена своих кустарных изделий на продукцию земледелия. Коллективизация прервала эти связи, и население промыслово-кустарных деревушек потянулось в колхозы или пыталось создать промысловые артели (промартели) в своих поселениях. В горно-таежных районах такие артели специализировались на деревообрабатывающем производстве, промышленной заготовке живицы, смолы, дегтя, выжиге извести или древесного угля. В приречных зонах создавались рыбацкие артели, которые также не сумели приспособиться к новым условиям. Недалеко от Шелаболихи на берегу остались следы от поселка, в котором существовала рыболовецкая артель, которая занималась промышленной заготовкой рыбы. Вот как об этом рассказывал П. Н. Демина: «В советское время была у нас рыболовецкая артель. Мужики сами переходили в артель. Было их две бригады. Ловили рыбу на лодках неводами. Потом свозили рыбу на базу, котрая находилась в центре села Шелаболиха. С базы рыбу увозили в Барнаул».

На территории Алтайского района к началу войны (1941 г.) прекратилась жизнь в не сумевших перестроиться горных кустарно-промысловых

Остатки построек на месте бывшей рыболовецкой артели на берегу Оби. Шелаболихинский р-н. Фото 2005 г.

селах — Барашке, Гремишке, Колбино, Сидоровке, Светленьком (в 12 км от Куячи), Верх-Каянче. Устные свидетельства подтверждают опосредованный характер влияния коллективизации на Громотушку и Гремишку (переселенческие села, основанные мордвой), там «никого не раскулачили, а наложили большие налоги, не можешь платить — иди в колхоз». Г. Я. Шмакалов так описал гибель села Громотушки: *«Люди стали уезжать, как началась коллективизация.* Стали семья за семьей уезжать. Мы там трое остались, а в 1941 году выехали оттуда. Паленов и Кимаев уехали в Александровку (исчезнувшее село Солонешенского района)... А до коллективизации большое село было. Мать говорила, 35–40 домов». В Барашке «когда колхозы начались, *все в одно сгребли, голод начался, все начали разъезжаться.* Разъезжаться начали с 1929 года, а к 1937 году разъехались. Многих кулачили. Мужиков садили. У меня трех братьев сослали, но они вернулись», — рассказывал П. Н. Нагибин.

В результате коллективизация, сопровождавшаяся ликвидацией индивидуальных крестьянских хозяйств, привела к уничтожению не только малодворных населенных пунктов — выселков, заимок, хуторов, но и многих многодворных деревень и сел. А раскулачивание вело к потере их населе-

ния, подрывало производительность и жизнеспособность многих алтайских сельских поселений. Образовавшиеся колхозы стали вбирать в себя погибающие поселения. В этот период сформировалась тенденция сокращения числа сельских поселений и населения в них. Начавшееся в 1928 г. государственное давление на зажиточных крестьян, ограничение, а затем и прекращение (с 1929 г.) отрубного и хуторского расселения сначала затормозили процессы селообразования, затем повело к их исчезновению. По неуточненным подсчетам (переписи 1926 и 1939 гг.), количество заимок и выселок сократилось более чем в 10 раз (с 1 007 до 75), мельничных поселений — с 258 до 30 и деревень — с 586 до 27. Правда, последняя категория могла уменьшаться за счет переименования деревень в результате перевода их в отделения колхоза или фермы совхоза и ликвидации административного статуса «деревня».

Второй процесс в развитии сети населенных пунктов в 1930-е гг. был связан с селообразованием. Социалистическая модернизация привела к созданию новых типов населенных пунктов в сельской местности с целью развития как сельскохозяйственного производства, так и промышленности (специализированные поселения). Образование сельскохозяйственных поселений было связано с колхозно-совхозным строительством. В основе этого процесса лежала инициатива уже не крестьян-единоличников или сельских обществ, а власти. Только на территории Алтайского района в эти годы появились населенные пункты Надеждинка, Прожектор, Светлый (2-й), Теплый, Советский Самолет, Озерный, Луговской, Новопольский. Часть из них образовалась на базе созданных в 1920-е гг. коммун. Примером является Прожектор Алтайского района (исчез в 1960-е гг.). В 1920-е гг. в 6 км от Куягана на р. Песчаной была создана коммуна «Единый труд», которая в период коллективизации стала колхозом, а затем совхозом «Прожектор». «Прожектор» являлся типичным советским производственным поселком — центром коллективного сельскохозяйственного производства с жилой, производственной и культурно-бытовой базой. В нем было около 20 дворов, две улицы по одну сторону р. Громотушки. Характерной чертой развития поселенческой инфраструктуры колхоза было использование для строительства домов раскулаченных крестьян из соседних малодворных поселений. Так, в Прожектор из раскулаченного и исчезнувшего Барашка перевезли и поставили двухэтажный дом, дома возили также из разъезжавшихся окрестных переселенческих сел Гремишки и Громотушки. Первыми домами были срубные пятистенные, два круглых крестовых дома, а также однокамерные избы — «стопочки». В эти же годы была создана производственная база Прожектора — построены животноводческая ферма, рига, ток, перед войной открыты школа и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Наряду с созданием самостоятельных поселений на новых местах для развития колхозно-совхозного производства использовалась существовавшая крестьянская поселенческая инфраструктура. Именно этим объясняется некоторое увеличение многодворных поселений в двух советско-административных категориях — селах и поселках. Количество первых увеличилось с 697 до 781 (1926, 1939 гг.), а вторых — с 1 716 до 2 260. Малодворные крестьянские села стали основой колхозной сети с ее центральными усадьбами и отделениями. Председатель Большереческого сельского совета Л. Т. Денисов описал развитие кустарно-скотоводческого колхоза с центральной усадьбой в Большой Речке и отделением в Малиновке (Солонешенский р-н). Всего в двух селах было 32 двора. В Малиновке (около 15 дворов) делали сани, брички, жгли для колхозов известь. В войну навыки промыслового колхоза пригодились — колхозники «работали на армию». Сам Денисов оковывал сани в кузнице. Рядом с Большереченским колхозом была открыта центральная усадьба на базе жилой среды вокруг мельницы с. Большая Речка. Вот как об этом рассказывал Л. Т. Денисов: «Ниже Большой Речки был организован в 1930-е гг. колхоз „Коммунист“ на месте кулацкой мельницы от Большой Речки… чуть повыше Тальменки, в 3 километрах. Было 18 хозяйств… Одна баня. Я уехал (1957 г.), там еще 3–4 двора жили».

Многие советские населенные пункты создавались на месте бывших заимок, хуторов или выселков. Старожилы Надеждинки Алтайского района (исчезла в 1960-е гг.) вспоминают, что «Надеждинка образовалась в 1932 г., а назвали так потому, что там раньше жила Надежда (когда единолично жили), по ее имени и назвали» (А. И. Захаров, с. Сараса, Алтайский район).

Внешний застроечный рисунок и планировка советских сел сильно отличались от структуры крестьянских поселений. В Надеждинке было более 50 домов: «У нас было два барака, там было квартир по 10. Тогда ничего не было, одна деревянная койка и дерюжка» (А. И. Казанцев, с. Алтайское), а также пятистенные дома по два входа на двух хозяев. На месте заимки в 15–18 км от Куячи вырос поселок Куяченок, ставший в советское время крупным совхозом. Его внешний вид также сильно изменился. В целом в советских селах, в отличие от крестьянских, уплотнялась застройка, уменьшалось крестьянское подворье, формировались административные площади, на окраинах строился производственный сектор. В частности, для застройки Куячонка характерно плотное расположение дворов, малые усадьбы, многоквартирные дома. Сами жители вспоминают: «Куячонок — небольшой поселок. Домов мало, но народу больше [чем в деревнях]. Тесно жили, очень тесно. В одном двору по 4 семьи» (А. Д. и М. И. Гурашкины, с. Куяган). Про основание исчезнувшей в период ликвидации де-

ревни Кураевка Третьяковского района ее жители вспоминают, что «там сначала были заимки. Их было много к округе. Этот поселок образовался от с Новоалейского. Сначала старики жили в заимках со скотом, а потом образовался поселок. До войны там был колхоз «Власть труда»… Мы и росли на заимке. А потом отец, у меня хороший отец, кузнец знаменитый… Заимки так назывались, кто жил хозяин, так и называлась: Виколова заимка, Николовы полоски, пашни тоже делились: Феофанова заимка, сейчас Феофанова пашня…» (Н. Е. Первушина).

В целом устноисторические источники содержат значительный материал о том, как в ходе колхозно-совхозного строительства крестьянская социально-производственная модель заменялась советской, и позволяют сравнить их развитие. По документированным интервью можно проследить два типа развития сельских микросистем — крестьянский и советский. Крестьянская модель включала село как центр сельского (общинного) общества, деревни, входящие в это сельское общество и объединенные в один церковный приход (сельскую приходскую общину); выселки, заимки, хутора, образованные выселением из сел и деревень, входящие в сельское общество и сельско-приходскую общину. Советская модель также была центростремительной: один населенный пункт становился центром колхозной (совхозной) усадьбы, другие (деревни, заимки, выселки, поселки) относились к нему на правах ферм, отделений, станов, бригад. В ходе колхозно-совхозной перегруппировки, как правило, изменялась соподчиненность населенных пунктов: деревня могла стать центральной усадьбой, а село — его отделением. Например, в ходе колхозно-совхозного строительства на территории колхоза «Пролетарский» Алтайского района с центральной усадьбой в Пролетарке были открыты отделения в старинных селах Басаргино, Черемшанка и созданы новые поселения: в 25 км от Пролетарки — Надеждинка, в 18 км — Теплое, в 15 км — Светлое.

Такой принцип формирования жилой сети в принципе был понятен крестьянам. В советских преобразованиях, как показывают интерпретации очевидцев, можно наблюдать некоторое организационное сходство между колхозной и общинной организацией поселковой сети. Подтверждение или опровержение данного предположения, сделанного на основе устных источников, требует серьезного исследования, но однозначно можно сказать, что в таком ракурсе коллективизация не изучалась. Равным образом историками, изучающими советский период, на современном этапе не ставится задача конструктивного исследования колхозно-совхозного строительства и всестороннего изучения коллективизации, являвшейся одной из форм советской модернизации поселенческой инфраструктуры и системы сельского расселения. А. К. Соколов сформулировал современные перспективы ее изучения следующим образом: «Коллективи-

зация деревни изображается сегодня как сплошное насилие над крестьянством. Но ее успех зависел и от поддержки, оказанной ей определенными слоями крестьянства» [27, с. 639]. Их видение, мнения, позиция также заслуживает внимания исследователей, как и оценки противников. Наряду с этой нерешенной проблемой существует еще много проблем в изучении коллективизации и колхозно-совхозного строительства.

Одним из перспективных направлений является изучение соотношения традиций и новаций в системе сельского расселения. Перегруппировка населенных пунктов в советский период, как показывают устные свидетельства, велась административным путем, заменившим вольное крестьянское расселение, но формально сохранившим схему группировки и соподчиненности в сельских микросистемах. Такой же характер носили изменения в управлении деревней, когда сельское или волостное самоуправление заменялось колхозным (за исключением совхозного производства, которое являлось государственным, с назначением администрации). Но при некоторой внешней формальной схожести старых и новых принципов реорганизация сельскохозяйственного производства и системы расселения повлекла за собой кардинальное изменение статуса крестьян, превращение их из самостоятельных хозяев в зависимых работников (колхозы), а затем — наемных рабочих советских государственных предприятий (совхозы). Этот процесс в соответствии с его содержанием получил у некоторых историков название «раскрестьянивание». Социалистическая модернизация состояла в превращении «единоличника» в «колхозника» как члена совместного коллективного хозяйства, а затем — в «рабочего совхоза» как наемного работника государственного предприятия. Одной из особенностей модернизации сельской жизни стало своеобразное «опромышление» деревни. Советско-партийное государство, столкнувшись с консерватизмом крестьянского мира, его ментальностью и традициями, тормозившими развитие социалистического хозяйства и образа жизни, стало культивировать в повседневной и производственной жизни идеалы пролетарской культуры и принципы промышленной организации сельского хозяйства. Как требовали в начале сплошной коллективизации, «советским органам всемерно поощрять и содействовать всем формам помощи со стороны города и рабочих организаций (производственное шефство, посылка бригад и т. д.), а также перенесению из промышленности методов коммунистического труда в сельскохозяйственное производство (соцсоревнование, ударничество, создание бригад, общественный буксир и т. д.)» [28].

В результате процесс селообразования в 1930-е гг. получил политическую подоплеку: главным стало идеологическое обоснование реформирования сельской системы расселения и формирования поселковых микросистем на новых основаниях, но сам процесс развития сети населенных

пунктов в определенной степени опирался на крестьянские традиции формирования в микросистемах сети соподчиненных поселений, через взаимодействие которых продолжалось освоение земель. Крестьянскую модель (крупное село и деревня с отпочковавшимися малодворными поселками — выселками, заимками, хуторами) сменила колхозно-совхозная (центральная усадьба с отделениями/фермами, полевыми станами и др.). Обе модели в 1930-е гг., даже при ликвидации тысяч хуторов и заимок, еще обеспечивали высокую степень социально-производственной освоенности территории Алтайского края. Среди задач колхозного строительства значилось «дальнейшее всемерное организационно-хозяйственное укрепление сельскохозяйственной артели, развитие и укрепление общественной собственности колхоза, развитие колхозных животноводческих ферм, общественных построек и т. д.» [29, с. 364]. В этом смысле колхозное строительство поддержало развитие некоторых малодворных сел через их укрупнение и превращение заимок, хуторов и коммун в многодворные села. Обратной стороной этого процесса являлось «упорядочение колхозного землепользования», в результате которого ликвидировались индивидуальные единоличные поселения сельскохозяйственного назначения.

Таким образом развитие сельской системы расселения в период сталинской модернизации отличалось противоречивостью: при общих тенденциях к сокращению численности населенных пунктов происходил процесс образования новых поселений. Развитие системы коллективных хозяйств существенно меняло структуру и соподчиненность сельских поселений в микросистемах. Совхозы и колхозы становились доминирующими единицами сельскохозяйственного производства, они же играли роль ядра в поселенческой микросистеме. Часть сел, бывших центрами сельских приходов, с отделением церкви от государства потеряла свою объединительную роль, функцию культовых центров для окрестных деревень. Административно-хозяйственными и культурными центрами стали центральные усадьбы колхозов и совхозов. За ними сохранилось обозначение «села» и «поселка». Менее важные производственные объекты составляли отделения коллективных хозяйств, они размещались в поселках, деревнях. Например, центральная усадьба была расположена в с. Ермачиха (Мамонтовский район), его отделения — в селах (поселках) Петровск, Веселовск, Комаринск, Красносельск.

Одним из путей создания поселений при колхозно-совхозной модели стали полеводческие бригады как формы организации колхозного труда. Сначала они создавались как временные объединения и сезонные поселения (по принципу заимок), позже многие из них стали постоянными, так как полеводческие бригады комплектовались на срок не менее полного севооборота, а животноводческие — на срок не менее трех лет. По переписи

1939 г. на территории Алтайского края появилось 11 бригад как самостоятельных поселений. В полеводческую бригаду в различных районах входило в среднем от 50 до 200 человек. И. Г. Первушин из с. Мамонтово вспоминал: «Голода были, одевать было нечего. А *работали всю ночь,* на лошадях, вот я-то с 13 лет. *Еще снег в деревне не растает, нас в бригаду выгонят, после 7 ноября нас привезут оттуда.* Сено метали, я уже подростком был, лет 15, с мужчинами сено метал деревянными вилами. И мешки таскали, косили. Эти были — лобогрейки, пшеницу косили. А женщины вязали снопы. А ночами она отойдет, отмякнет, вот эти снопы собирали, возили в скирды, потом молотили. И день и ночь работали, вот так. Сейчас там даже людей нет в бригаде, а *тогда вся молодежь была там, в бригаде. В деревне почти в этот период, когда сенокос или уборочная ли там, ни одной молодежи не было».*

Производственные бригады делились на более мелкие единицы — звенья. Таким образом, колхозно-совхозная система фактически возвратилась к выносной системе сельскохозяйственного расселения, когда временные поселения (с этого начинались и заимки) выносились за пределы села, ближе к производительным угодьям, по типу заимочной и выселковой формы. Это позволяло экономить средства на перевозку рабочей силы и более эффективно вести хозяйство. Но крестьянский и советский способы группировки аграрных поселений в микросистемах основывались на различных социально-экономических и хозяйственных связях. Первая модель поселковой инфраструктуры основывалась на товарообмене, ее закрепляли общинные и церковно-приходские порядки. Вторая модель (колхозно-совхозная) формировалась на производственных принципах для обеспечения государства сельскохозяйственной продукцией путем социалистической организации производства.

Потомственные крестьяне замечали разницу в способах образования сел в доколхозный и колхозно-совхозный период. В их интерпретации отражается специфика развития системы сельского расселения. В отличие от крестьянского периода, в интерпретации образования новых поселений возобладали термины «организовали», «сорганизовали», «образовали», что отражало в корне иную систему формирования и размещения поселковой сети. В предыдущий период инициатива шла снизу, от крестьян, в колхозное время — сверху, от партийно-чиновничьей администрации. Крестьяне отметили кардинальное изменение принципа селообразования смысловой формулировкой «искусственное», «организованное», «сорганизованное» село. В их устной речи отразились оценки и отношения потомственных крестьян. Например, в начале 1930-х гг. была «образована» Рыбинская ферма (позже — отделение Солонешенского совхоза). Но, по воспоминаниям старожилов (В. Т. Шадрин), ее расположили в неудобном мес-

те, связь существовала только зимой, летом трудно было проехать. Уже после войны в ней насчитывалось около 10, а в 1952 г. — 5 домов.

Административным путем была «сорганизован» Огород (огородный участок). Как определили старожилы с. Сибирячиха, «сначала у совхоза был огород, а потом *сорганизовали деревню*». В «сорганизованном» поселке (в этом определении старожилы неосознанно подчеркивают иной, не крестьянский путь образования сел в советское время, отличный от вольной колонизации) в 1959 г. проживало 85, а в 1970 г. — уже 20 человек. «Искусственным селом» назвали старожилы поселок Партизанский (суждение потомственных крестьян) — «образовался колхоз и создали ферму». Суждение об искусственности села старожилы также обосновывают способом его формирования: «*Село искусственное* — ссылали пред войной немцев, в 1946 г. — молдаван, тифозников». Названия вновь образованных сел отражали идеологию советской эпохи: Светлинское, Чапаевское, Октябрьское (вокруг Лютаево), Первомайское, Комсомольское (вокруг Старой Чемровки).

В экспедиции 2003 г. на территории Бийского района по устным источникам была воссоздана история создания административным путем села Первомайское и его влияния на формирование новой сельской микросистемы. Как и многие советские «организованные» села, поселения в Первомайской микросистеме появились в результате выполнения директив. Начало созданию Первомайского положила резолюция конференции ЦК ВКП(б) от 11 июля 1928 г. о создании в Западно-Сибирском крае ряда хозяйств по производству зерна (совхозов). В русле советской модернизации, предполагавшей создание централизованной системы производства и сбыта (закупки) сельскохозяйственной продукции, в том числе земледельческой, был создан «Зернотрест» — государственное объединение зерносовхозов, позже — «Главзерно», ему подчинялся Западно-Сибирский Союззернотрест. 30 октября 1928 г. на заседании Бийского окрисполкома был утвержден проект землеустройства зерносовхоза — будущего с. Первомайского. Место ему отвели около Бийска за счет госфондовских земель соседних сел. Директором создаваемого зерносовхоза был назначен Я. Ф. Богомолкин, о котором старожилы помнят, что он был петроградский рабочий (с завода «Арсенал»), позже его отправили «организовывать совхоз „Гигант“ в Ростовскую область». К настоящему времени в самом селе сложились устные традиции пересказа истории появления села. Благодаря недавности событий рассказчики вспоминают создание зерносовхоза «Первомайский» одинаково. Сформировавшееся предание совпадает с материалом, опубликованным в 1929 г. в газете «Звезда Алтая» (№ 82) от 1929 г. Трудно определить, что является первичным в памяти информанта — их личный опыт, рассказы очевидцев или пересказ газетной публика-

ции: «Бийский совхоз доводит до сведения всех представителей рабочих и организаций города Бийска и крестьян близлежащих селений, что местом сбора желающих работать в совхозе назначается здание горкома ВКП(б) 2 мая в 9 часов утра… Утром 2 мая 1929 г. от здания горкома партии с музыкой и песнями двинулось шествие к месту будущего зерносовхоза (в 7 км от Бийска). День был теплый, солнечный, цвела черемуха… Открылся митинг, на нем выступил директор совхоза Я. Ф. Богомолкин: „Мы пришли сюда, чтобы в торжественной обстановке заложить фундамент нового социалистического хозяйства по производству зерна. Здесь мы построим центральную усадьбу, здесь будет поселок тружеников, и назовем его (все в один голос закричали: „Первомайский“). Я забиваю первый колышек, эта точка будет отмечена на географической карте под именем „пос. Первомайский“».

В записанных устных историях жителей с. Первомайское сохраняются все ключевые моменты, которые имеют символическое значение — «вбили колышек на месте села», «американцы построили пять бараков» каркасно-засыпных «с теплыми туалетами» для общего пользования и несколько двухквартирных. Таким образом, рассказчики маркируют совершенно новый подход к образованию населенного пункта нового типа и создают миф о происхождении своего села. Таких мифов зафиксировано много. Основную роль в их документировании сыграли сельские краеведы. Большое влияние на формирование советской мифологии оказали масштабные юбилейные кампании, проводившиеся государством для укрепления социалистической картины мира. Советское государство создавало свою символику и писало свою историю. К этой работе привлекалась общественность. В 1950–1970-е гг. краеведы записывали рассказы участников социалистического строительства. На основе истории советских хозяйств формировался новый символический образ прошлого алтайского села. В частности, на мифологизацию образования села Первомайское большое влияние оказала запись краеведами воспоминаний одного из участников образования Первомайского — Х. П. Демидова. В его воспоминаниях сохранилось описание новых ощущений, которые испытывали добровольцы «заорганизованного» Первомайского зерносовхоза: «В первые годы все приезжие жили в палатках и вагончиках, а горожан возили из города. Трудно было, особенно зимой, — голод, нехватка воды, бездорожье, но мы были молоды и не унывали. Вечерами не смолкали песни, танцевали под гармошку и балалайку. Осваивали на ходу американскую сельхозтехнику, а затем отечественную, с поля не уходили, не сделав норму… Мы понимали, что *строим новое социалистическое хозяйство* [почти дословно по советско-партийным документам] по производству зернохлеба. Совхоз должен быть *образцом для крестьянских хозяйств, коммун и колхо-*

зов. Но противникам советской власти это было не по нутру, и они всячески старались навредить. Из-за плохих условий быта многие уезжали, оставались самые смелые, выносливые, трудолюбивые. Начали строить саманные бараки 12- и 14-квартирные. Топили печи зимой соломой, потом стали делать кизяки из навоза. Бани еще не было, мыться возили в Бийск. Воды не хватало, а зимой таяли снег» [30, с. 126–127].

Воспоминания, записанные краеведами в период массовых праздничных юбилейных мероприятий 1950–1970-х гг. (юбилей Ленина, юбилей Октябрьской революции, юбилей Советского Союза и т. п.), отличаются от устных историй, записанных в постперестроечной России, когда изменилось мировоззрение людей. В источниках личного происхождения советской эпохи, которые создавались путем записи или самозаписи воспоминаний, заметна самоцензура, когда агитпроповские штампы и сознательно и бессознательно используются рассказчиком. Поэтому работа с корпусом воспоминаний советской эпохи требует считаться с ангажированностью рассказчиков и их оглядкой на советские идеологические установки. В этом смысле об использовании таких методов устной истории, как опрос, применительно к советскому периоду нужно говорить с некоторой долей осторожности, особенно применительно к массовой краеведческой деятельности, работе школьных и ведомственных музеев, комнат трудовой и боевой славы, в которых записывалась история со слов участников социалистического строительства, и т. д. Тем не менее материалы, собранные краеведами на основе опроса, представляют ценность, так как отражают произошедшую деформацию сознания крестьянина в процессе социалистической модернизации в условиях тоталитарного государства и социалистической экономики. В частности, в истории образования с. Первомайского, кроме пафоса («с поля не уходили, не сделав норму», «строим новое социалистическое хозяйство») и примет времени («противникам советской власти», «всячески старались навредить») содержатся материалы о формировании сети населенных пунктов в процессе колхозно-совхозного строительства.

Устные источники подтвердили, что одновременно с центральной усадьбой в Первомайском зерносовхозе формировалась микросистема производственных баз и жилых секторов на новом месте, благодаря чему были основаны новые населенные пункты — пос. Ягодный, Восточный (Березовая горка), Ясная Поляна, Заря, вошедшие на правах отделений в совхоз с центральной усадьбой в Первомайском. Одно из отделений открыли на базе старой деревни — Ст. Чемровка. Формируемая система зерносовхозов с их отделениями, в отличие от колхозов, сразу же обеспечивалась сельхозтехникой — «завезли трактора, автомашины, сельхозинвентарь, семена и прочие грузы». Рассказчики помнят, что техника прибывала в ос-

новном зарубежная и осваивать ее помогали преподаватели-американцы. Участник первых лет строительства Ф. М. Мамаев вспоминал: «Нас обучали американцы через переводчика. Они жили в гостинице Бийска, и им платили по 700 долларов в месяц. Хозяин-фермер, у которого купили 34 комбайна „Мак-Кормик Диринг“, сам ни черта не понимал. Мы изучали, сразу делали сборку комбайна. Вначале мы, курсанты, 60 человек, собирали один комбайн целый месяц! А потом стали собирать за 3 дня по 4 комбайна. Он очень удивлялся нашей смекалке, качал головой. Затем мы окончили курсы трактористов на трактора „Катерпиллер“...» [30, с. 126–127].

Колхозно-совхозная система создавалась как альтернатива единоличному (индивидуальному) крестьянскому хозяйству, и в 1920–1930-е гг. эти две системы сосуществовали, что позволяло очевидцам сравнивать две модели и оценивать замену крестьянской системы расселения «сорганизованной» колхозно-совхозной поселковой инфраструктуры. В целом в толкованиях крестьян процесс развития сети сельских поселений в период коллективизации завершился изменением структуры сельских населенных пунктов, появлением новой системы, основанной на качественно новых принципах и связях. Трансформация традиционной системы расселения в качественно новую обусловила изменение общественных и хозяйственных связей в поселковых микросистемах. Замена рыночных отношений между поселенческими точками микросистемы жестким административным регулированием вело к унификации размеров традиционных поселений. В сферу перспективного развития советского сельскохозяйственного производства попали поселения средне- и многодворные. А малодворным поселениям вменялись временные или сезонные функции, что вело к их постепенному сокращению, а оставшиеся в силу хозяйственной необходимости врастали в административно организуемую систему сельского расселения, основой которой являлась коллективная производственная деятельность. Устные источники отразили зависимость развития сельских населенных пунктов от государственной политики и постоянное вмешательство государственной власти в этот процесс.

3.5. Развитие системы расселения и образование новых типов поселений в условиях советской модернизации 1930-х гг. в воспоминаниях очевидцев

Модернизация как концептуальный подход в исторических исследованиях стала популярной в отечественной исторической практике в 1990-е гг. Как и другие концепции, она предполагает интерпретацию прошлых событий под определенным углом зрения. Под модернизацией подразумевают процесс инновационных преобразований при переходе от традиционного (аграрного) к современному (индустриальному) общест-

ву. Он охватывает все сферы развития общества и состоит из подпроцессов, происходящих в той или иной области жизни, таких как индустриализация, урбанизация, отказ от традиций в пользу общегражданских норм правового государства, развитие территориальной и социальной мобильности, смена приоритетов и жизненных установок (рационализм, индивидуализм) и т. п. За рубежом эти подпроцессы носили эволюционный характер. В России переход от традиционного к индустриальному обществу с утверждением советской власти наряду с объективными условиями был обусловлен субъективными факторами (идеологизм, политиканство, волюнтаризм, бюрократизм, тоталитаризм и т. д.). В дореволюционный период в русле имперской модернизации и в доколхозный период советской России сельская поселенческая система развивалась экстенсивно (преобладало аграрное расселение), с максимальным расширением сети сельских поселений. На стадии советской сталинской модернизации (в современных исторических исследованиях процесс советской модернизации делится на этапы, с выделением сталинского этапа с 1930-х гг.) аграрное расселение регулировалось государством, которое ускоряло его замену урбанизированным и индустриальным расселением. Вместе с тем в процессе селоразвития в 1930–1940-е гг. доминировала аграрная направленность с усилением административного давления. Именно политико-идеологический фактор, реализованный в виде управленческих решений, как неотъемлемый элемент советской модернизации, непосредственно влиял на направленность и перестройку системы сельского расселения. По мнению О. М. Вербицкой, пагубность государственного давления на село в советское время проявилось в превращении деревни в крупного производителя и объект перекачки средств из сельского хозяйства в промышленность. Советская реструктуризация сети населенных пунктов являлась следствием внедрения социалистической экономической модели и предложенных государством этапов ее реализации на основе «социалистического переустройства» сельского хозяйства.

Признание «одним из важнейших средств подъема сельского хозяйства и приобщения трудовых крестьянских масс к социалистическому строительству» развития кооперации (сельскохозяйственной, промысловой, промышленной) привело к развитию на базе сети сельских населенных пунктов новых принципов концентрации и перераспределения населения. В обращении ЦИК Союза ССР к крестьянству об этом говорилось так: «Изменение самой системы нашего отсталого народного хозяйства: в области промышленности мы должны строить новые фабрики и заводы... сельское хозяйство вести по новой системе...» [31]. В этой новой системе нашли свое место и советские хозяйства (совхозы), и коллективные хозяйства (колхозы), и кустарно-промысловые товарищества – артели и другие село-

образующие формы новой системы хозяйствования. Советская модернизация сопровождалась образованием специализированных населенных пунктов. Одни из них просуществовали некоторое время, прожив отмеренный советской политикой срок и оставшись только в переписях 1939, 1959, 1970, 1979 гг., другие прописались на карте Алтайского края надолго, найдя место в сельскохозяйственном или промышленном производстве, третьи оказались краткосрочными экспериментами советской экономики.

Важнейшим фактором развития поселковой инфраструктуры в советский период стала организация государственной системы закупа и сбыта товаров. Одной из основных задач советской власти являлось обеспечение промышленности сельскохозяйственным сырьем, а растущего промышленного населения — продуктами питания. В поселенческой системе Алтайского края появились новые населенные пункты, связанные с закупкой сельскохозяйственного сырья, созданные республиканскими центрами сельскохозяйственной кооперации — всесоюзными контрами «Закупскот», «Закупзерно», «Кожсдача» и др. с центральными конторами в Москве. Их появление было обусловлено тем, что основой системы «коммерческих взаимоотношений сельскохозяйственной кооперации и государственной промышленности» являлись договоры. Местные организации сельскохозяйственной кооперации и государственные предприятия, занимавшиеся скупкой сельскохозяйственного сырья, получали льготы перед частными контрагентами, действующими в 1920-е гг. на базарах, рынках и в других пунктах. Особенно остро встала проблема организации сбыта и закупа в период индустриализации. Изменение хозяйственной политики привело в 1930-е гг. к вытеснению частника из торговли и укреплению кооперативно-государственных начал.

Замена частной внутренней и внешней торговли новыми формами государственной и колхозно-кооперативной торговли способствовала на Алтае централизации населенных пунктов для обслуживания организованного потока товаров. Благодаря этому вся заготовка и сбыт продуктов сельского хозяйства и животноводства для промышленных и торговых предприятий перешла к пунктам сельскохозяйственной кооперации, которые стали открываться как на базе существовавших населенных пунктов, так и при вновь создаваемых пунктах закупки сельскохозяйственного сырья вдоль скотопрогонных трактов, на судоходных реках, вблизи железных дорог. Каждый из них вел заготовку на определенной территории, строил на местах «сдаточные и ссыпные пункты» [32]. Например, организация новых форм советско-монгольской торговли, заменивших частное предпринимательство, проявилась в учреждении организацией «Скотоимпорт» на территории Алтайского края пунктов по закупке, транспортировке и сбыту скота, мясопродуктов и мяса по директивам Наркомата мясо-молочной

Бывшая контора «Заготзерно» (с. Алтайское, Алтайский р-н). Фото 1993 г.

промышленности и НКВТ СССР. Одни из них открылись в существующих населенных пунктах. Например, в селах Куяган (Алтайского района) и Смоленское были открыты пункты Бийского отделения «Скотоимпорта» (Бийская контора) по обслуживанию советско-монгольской торговли. В этих селах создавались ветеринарные и трактовые пункты, а в Смоленском существовала сенобаза. Другие пункты создавались в открытом поле на перегонах, в местах, обеспеченных водой и сеном. Так, на территории Смоленского района по дороге Белокуриха—Бийск, недалеко от с. Точильное, в начале 1930-х гг. появился поселок Скотоимпорт. Он был создан как перевалочный пункт на пути скота из Монголии на Бийский мясокомбинат. Бывшая жительница Е. Я. Кабакова вспоминала, что «скот гнали то монголы, то алтайцы, то цыгане. Рабочие, обслуживающие перегоняемый скот, жили в нем [пос. Скотоимпорт] постоянно. Когда загоны пустовали, рабочие заготавливали корм, занимались огородничеством, подворным животноводством. Поселок был небольшой: около пяти жилых и пяти скотных дворов, и просуществовал до 1990-х годов». Сама организация «Скотоимпорт» была ликвидирована в 1994 г., его поселки исчезли раньше.

Новые поселения на территории Алтайского края создала другая общесоюзная организация — «Заготскот», которая, в отличие от «Скотоимпорта», обслуживавшего внешнюю торговлю, занималась закупкой скота рос-

сийских производителей. На Алтае сетью приемных пунктов руководила краевая контора «Заготскот», являвшаяся отделением союзной организации. Задачами пунктов «Заготскот» являлись закупка скота и мясопродуктов у колхозников с личного подворья и коллективных хозяйств с передачей скупленного сырья в ведение главного управления заготовок скота. В памяти колхозников они остались как места сбора налогов на подсобное хозяйство, введенных для личных подворий колхозников. Как говорят бывшие жители поселений, возникших вокруг пунктов «Заготскот», главной их задачей являлось «принимать натуральные налоги от людей-колхозников». В созданных населенных пунктах велось строительство помещений, необходимых для приемки, транспортировки, перегона, откорма скота. Так, на территории Точилинского сельского совета Смоленского района существовал поселок Заготскот. По воспоминаниям С. М. Петрищева, на его месте когда-то была заимка кулака Собанина. После его раскулачивания на месте заимки, в окрестностях которой существовали благоприятные условия для содержания пригоняемого скота (рядом с заимкой было несколько озер), был организован пункт краевой конторы «Заготскота». По словам очевидцев, поселок, получивший название «Заготскот», был небольшим — несколько домов для рабочих и три «примитивных скотных двора». Проживавшие в поселке рабочие «занимались животноводством, имели огороды». В поселке была открыта начальная школа. Сейчас на месте села ничего не осталось, а озера, воду которых использовали для водопоя пригоняемого скота, заросли камышом и превратились в болота. Такое же назначение имели созданные в окрестностях Бийска поселки Заготкожа, Заготсенопункт. Всего на территории Алтайского края возникло более десятка населенных пунктов с одинаковым названием «Заготскот». Большинство из них существовало в 1930–1950-е гг., до отмены натуральных налогов колхозников и сокращения колхозной сети за счет перевода ее в совхозную, и в последний раз были учтены переписью 1959 г.; их население составляло от 11 до 121 человека.

Наподобие сети пунктов «Заготскот» создавалась и сеть всесоюзной конторы «Заготзерно», но, в отличие от закупки скота, для содержания которого были необходимы особые условия — обширные пастбища, водопой, сенокосные луга, заготовка зерна производилась через региональные конторы, открытые в существующих населенных пунктах, как правило, районных центрах, расположенных на развязках железнодорожных, водных или трактовых дорог. Как правило, за конторами «Заготзерно» закреплялось несколько сельских районов. Поэтому система «Заготзерно» создала меньше новых населенных пунктов, чем «Заготскот» и «Скотоимпорт». Всего число поселков, созданных всесоюзными кооперативными организациями в Алтайском крае, составило около 30 (21 — «Заготскот», 7 — «Заготзерно»).

Таблица 1

Поселки Заготскот на территории Алтайского края (извлечения из переписей 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.)

Район	Сельсовет	Населенный пункт	1939	1959	1970	1979	1989
Краснощековский	Усть-Козлухинский	Выпаса Заготскот	58	63	–	–	–
	Харловский	Заготскот	–	104	106	–	–
Первомайский (Краюшкинский)	Голышевский	Заготскот	–	101	–	–	–
	Филатовский	Ферма Заготскот	68	–	–	–	–
Тальменский	Озерский			11	–	–	–
Крутихинский	Прыганский	База Заготскот	–	18	–	–	–
Кытмановский	Старо-Тарабинский	Заготскот	77	101	–	–	–
Локтевский	Гуселетовский	Скотобаза Заготскот	30	–	–	–	–
Бийский	Верх-Марушинский	Заготскот	–	32	–	–	–
Бурлинский, с 1939 Савгородский	Устьянский	Заготскот	8	–	–	–	–
Быстроистокский	Паутовский	Заготбаза	47	–	–	–	–
Калманский	Ново-Романовский	Выпаса Заготскот	55	62	–	–	–
Барнаульский		Заготскот, с 1939 г. Горбуновка	–	–	–	–	–
Благовещенский	Благовещенский	Выпаса Заготскот	150	121	88	–	–
Змеиногрский	Змеиногорский	База Заготскот, Андреевск	68		–	–	–
Змеиногорский	Крючковский	Филиал базы Заготскот	85		–	–	–
Калманский	Долганский	Откормбаза Заготскот	–	–	–	–	–
Зональный	Плешковский	Заготсенопункт	95	–	–	–	–
Каменский	Толстовский	Заготскот		60	–	–	–
Косихинский	Косихинский	Ферма Заготскот	6	–	–	–	–
Зональный	Луговской	Заготкож (кожбаза)	13	–	–	–	–
Краснощековский	Усть-Козлухинский	Выпаса Заготскот	58	63	–	–	–
	Харловский	Пос. Заготскот	–	104	106	–	–
	Голышевский	Пос. Заготскот	–	101	–	–	–
	Озерский	Пос. Заготскот	–	11	–	–	–
	Филатовский	Ферма Заготскот	68	94	–	–	–

Составлено: Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 г. В 2 ч. Барнаул, 1992

Таблица 2

Поселки Заготзерно на территории Алтайского края (извлечения из переписей 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.)

Район	Сельсовет	Населенный пункт	1939	1959	1970	1979	1989
	Средне-Краюшкинский	Заготзерно	–	76	–	–	–
Зональный	Новочемровский	Элеватор Заготзерно	216	–	–	–	–
Быстроистокский	Усть-Ануйский	Заготзерно	68	–	–	–	–

Составлено: Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 гг. В 2 ч. Барнаул, 1992

С советской модернизацией было связано формирование сети новых сельских населенных пунктов как сельхозпроизводящих пунктов. Модернизация земледельческого и животноводческого производства потребовала перераспределения производственных угодий и нового географического и территориального размещения сельскохозяйственного производства. Это хорошо просматривается в устных источниках о развитии советского животноводства, основанного на обобществлении скота. При мясном направлении коллективного животноводства нужны были обширные колхозные пастбища для выпаса большого поголовья, обширные сенокосы для содержания скота в зимнее время. В таком случае создаются (если пользоваться словами участников. «сорганизуются») сначала сезонные, а затем постоянные пункты по выпасу скота. Среди них – ОТФ, КТФ, ПТФ, СТФ. Таким же выносными населенными пунктами становились и молочно-товарные фермы – МТФ. Развивались они в русле организации совхозов или животноводческих отделений крупных полеводческих колхозов. Как правило, под животноводство в таких колхозах отводили входившие в них окрестные деревни, обеспеченные необходимыми для животноводства условиями, или основывались новые населенные пункты. На картах появились новые населенные пункты с одинаковыми названиями – МТФ (молочно-товарная ферма), ОТФ (овцеводческо-товарная ферма), ПТФ (птицеводческо-товарная ферма), СТФ (свиноводческо-товарная ферма), КТФ (коневодческо-товарная ферма). На Алтае было создано несколько десятков населенных пунктов с одинаковыми названиями. По переписи 1939 г. только «Ферм» как выносных пунктов совхозного производства с постоянным жилы сектором насчитывалось около 100 (93 фермы), а поселков с аббревиатурой (МТФ, ОТФ, КТФ, ПТФ, СТФ) – 36. Из 36 населенных пунктов СТФ, ОТФ, КТФ и др. в 14 проживало до 10 человек, в 3 – более 100, в 2 – более 200, в остальных – от 10 до 100 человек; в 1959 г. их осталось 31 (из них до 10 человек – 11 населенных пунктов, более 100 – 6). Фактически эти аббревиатуры, хорошо известные рассказчикам – бывшим колхозникам, были

Птицефабрика в с. Семеновод (Бийский р-н). Фото 2003 г.

внедрены государством. В постановлении VII съезда советов Союза ССР от 6 февраля 1935 г. [33] говорилось: «Уже в 1935 г. не должно остаться ни одного колхоза, в котором не было бы животноводческой товарной фермы», необходимо «расширение сети таких ферм». На новых советских производственных базах внедрялась «высшая животноводческая техника», требовалось «соблюдение ветеринарных и зоотехнических правил», а главное, соз-

Ферма госплемсовхоза «Катунь». 1955 г.

Таблица 3

Отраслевые поселки на территории Алтайского края (извлечения из переписей 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.)

Район	Сельсовет	Населенный пункт	1939	1959	1970	1979	1989
Красно-щеков-ский	Акимовский	Птицефабрика	–	4	–	–	–
	Верх-Камышен-ский	Свиноферма	–	2	–	–	–
		Ферма совхоза Шипуново	326	–	–	–	–
	Куйбышевский	Ферма Бураново		81	–	–	–
		Ферма совхоза № 1	271	–	–	–	–
		Мельница РИКа	34	–	–	–	–
	Березовский	Мельница 18 марта	–	4	–	–	–
	Н.-Шипуновский	Мельница Верхняя	–	3	–	–	–
		Мельница Нижняя	–	2	–	–	–
Краюш-кин-ский	Белоярский	Белоярская КТФ	4	–	–	–	–
		Белоярская ОТФ	17	–	–	–	–
		МТФ и Культстан	16	–	–	–	–
	Боровихинский	Пос. Кожзавод	–	40	–	–	–
		Пос. Ферма, сторожка	16	–	–	–	–
	Новоповалихин-ский	Ферма № 1 (пос. Степное)	465	–	–	–	–
		Ферма № 2	348	–	–	–	–
		Ферма № 3	379	–	–	–	–
		Ферма № 4	334	–	–	–	–
		Ферма № 5	302	–	–	–	–
	Озерский	Мельница	124	–	–	–	–
	Повалихинский	Зверосовхоз	–	8	–	–	–
		Мыльниковский рыбак	48	25	–	–	–
		Пос. Рыбак	79	48	–	–	–
	Фирсовский	МТФ	6		–	–	–
Кулун-дин-ский	Ивановский	Центральная усадьба	–	497	–	–	–
		8-я бригада	27	29	–	–	–
Курьин-ский	Ново-Фирсов-ский	17-я клетка совхоза «Овцево»	32	8	–	–	–
	Усть-Таловский	Пасека колхоза Буденного	4	–	–	–	–
Локтев-ский	Антошихинский	Пасека	387	258	–	–	–
	Кировский	Свиноферма		132	–	–	–
		Центр. усадба зерносовхоза	1145	662	–	–	–
		1-е отделение зерносовхоза (в 1970 г. объедили с Кировским)	154	221	–	1101	1313
		2-е отделение зерносовхоза (в 1970 г. объединили с Мирным)	183	181	192	112	83
		3-е отделение зерносовхоза (в 1970 г. объединили со Степным)	192	192	210	99	22

Район	Сельсовет	Населенный пункт	1939	1959	1970	1979	1989
		4-е отделение зерносовхоза	159	–	–	–	–
		5-е отделение зерносовхоза	217	–	–	–	–
	Николаевский	Мельница	18	–	–	–	–
	Георгиевский	Мельница	9	–	–	–	–
Мамонтовский	Мало-Бутырский	Пос. Рыбальные избушки	3	–	–	–	–
Чарышский	Ворошиловский с 1959 с/з Маяк	Ворошиловка (с/з Маяк)	318	380	624	711	711
		Ферма № 1	352	290	233	–	–
		Ферма (Зимовка)	53	–	–	–	–
		Ферма № 2 (Косачи)	204	228	158	94	81
		Ферма № 3	243	250	215	5	
		Ферма № 4 (Тужиловка)	192	228	239	197	188
	Мало-Бащелакский	Совхоз Сваловка	461	529	272	136	88
		Сосновская ферма совхоза	443	–	–	–	–
		Тихая ферма совхоза	164	169	11	–	–

Составлено: Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 г. В 2 ч. Барнаул, 1992

давались образцовые советские хозяйства с «отбором в животноводческие бригады наиболее преданных делу строительства социалистического земледелия колхозников и колхозниц, проведения мероприятий по повышению квалификации животноводческих кадров, внедрения во всех без исключения фермах четкой организации труда… премирования молодняком колхозников-животноводов за хорошие образцы работы». Модернизационные новации проявлялись не только в одинаковых названиях, но и в мелочной регламентации производственной жизни, например, в государственно-партийных документах говорилось: «Обязать земельные и колхозные органы во всех без исключения колхозах и совхозах организовать переработку кормов (резка и запаривание соломы и корнеплодов, дробление и размол зерна), для чего колхозам и совхозам шире применять простейшие двигатели (водяные, ветряные), а также широко использовать колхозные мельницы» и т. д. [34].

Большое значение в советской модернизации сельского хозяйства отводилось племенной работе. На Алтае появлялись уникальные хозяйства не только на базе старых деревень, но и на новых местах. В Тогульском районе это Антипинский свиноводческий совхоз, в Бийском районе – Катунское свиноводческое племенное хозяйство и т. д. Образование или развитие таких поселений было связано с тем, что в развитии мясоперерабатывающей промышленности советским государством была сделана ставка на свиноводство, как «дающее в кратчайший срок наибольшую мяс-

Антипинский свиноводческий комплекс. Тогульский р-н. Фото 2006 г.

ную продукцию». Была создана централизованная система по созданию СТФ (свиноферм), объединенная под эгидой «Свиновода», венчавшего как союзная организация всю вертикаль откормочных и племенных свиноферм. Вот как должно это было выглядеть в представлении государства: «Обеспечить со стороны всей системы государственных органов, как центральных, так и местных, всемерную помощь „Свиноводу“ в развертывании его хозяйства (в области строительства, использования местных ресурсов и т. д.). Предложить Наркомзему РСФСР использовать получаемый в совхозах „Свиновода“ племенной материал для улучшения в 3-летний срок в промышленных свиноводческих колхозах непородных свиней… поручить СНК РСФСР провести в 1931 г. мероприятия: по широкому проведению контракции выращивания молодняка, в особенности племенного и полуплеменного, по развитию нагульно-откормочных операций в системе колхозов и совхозов…» [35]. А в устных воспоминаниях участников строительства племенного свиноводства реализация этой программы советского правительства предстает через призму повседневной и героической жизни людей — рядовых сельчан. По их рассказам, в конце 1920-х — начале 1930-х гг. был образован племсовхоз „Катунь“ (1932). Совхоз создавался не на пустом месте: базой нового хозяйства послужили заимки бийских купцов. Очевидцы вспоминали о тяжелой работе по строительству производственных и жилых зданий племсовхоза Катунь Бийского района, ставшего в советское время одним из ведущих государственных племенных заводов края. А все началось с того, что в подготовленные свинарни-

Животноводческая ферма (с. Хлеборобное, Быстроистокский р-н). Фото 2007 г.

ки были завезены 6 свиноматок английской белой породы. Все силы были брошены на обустройство животных: «Люди не заботились о своем благоустройстве. Сами сажали картофель и свеклу, сеяли зерно, убирали, заполняя склады. В рацион также входили кисель (для поросят), обрат, рыбный фарш. Специально была создана бригада рыбаков, получавшая за ловлю рыбы [для поросят] плату; если не хватало улова, то рыбу завозили, набивая склады сушеной рыбой в рогожных мешках». Мясо не только сдавали государству, но и продавали живым весом. Постепенно жизнь налаживалась: люди из бараков переезжали в свои дома, обзаводились хозяйством, работали школа и больница с одним врачом. Свиньи давали потомство. А в голодные годы войны спасали племенных животных ценой собственного здоровья и даже жизни и сохранили поголовье свиноматок…

В таком же русле стали развиваться племенное коневодство, овцеводство и другие отрасли животноводства, как на базе старых населенных пунктов, так и во вновь создаваемых. В отличие от крестьянской модели, они создавались и регулировались советско-партийным государством и сыграли огромную роль в развитиии советского животноводства.

Положительной стороной советского варианта модернизации, как показывают устные свидетельства, являлось развитие производственной базы сельскохозяйственных поселений. Многие респонденты вспоминают появление в 1930-е гг. тракторов и автомашин. О механизации трудовых процессов в животноводческих фермах или зерновых хозяйствах вспоминают респонденты всех сел Алтайского края. В их рассказах отражается сущность советской модернизации, отношение к ней рядовых участни-

Пос. Льнозавод (Тогульский район). Построен в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Фото 2006 г.

ков, раскрывается механизм реализации советской программы. Через биографию участников социалистических преобразований реконструируется атмосфера жизни в советских экспериментальных поселениях, о которых в официальных документах напоминает уже полузабытая терминология советской эпохи: «обобществленное животноводство (совхозы и колхозные товарные фермы)», «молочные товарные колхозные фермы и животноводческие совхозы», «в лице колхозных товарных ферм и инкубаторных птицеводных станций найдена форма создания обобществленного животноводства и птицеводства, наиболее соответствующая нынешней артельной стадии развития колхозного хозяйства и наряду с совхозами наиболее быстро решающая задачу создания крупного товарного животноводства», «социалистический сектор животноводства», «животноводческие тресты», «колхозные центры» [36].

Советская модернизация сопровождалась «организацией предприятий по переработке животноводческих продуктов (маслодельные, сыроварные, консервные заводы, холодильни...)» [37]. Особенно положительные оценки даются поддержке отраслевых хозяйств. Современники тех событий, как правило, дают положительную оценку механизации труда, созданию материально-технической базы развития сельского хозяйства, сети

предприятий по переработке продуктов земледелия и животноводства. В рассказах жителей самыми «любимыми» сюжетами являются описания работы на местных маслосырзаводах, от которых они не только кормились, но и благодаря работе которых были известны всему Алтаю, — маслосырзаводы Коробейниково и Красноярки Усть-Пристанского района, Алтайского, Тогула и т. п. В рассказах жителей Усть-Пристани красной нитью проходит чувство гордости за свою мельницу и хлебную пристань. В Тогульском районе встречаются ностальгические воспоминания о маслосырзаводе, льнозаводе и других предприятиях советской эпохи. Особенно положительные оценки даются поддержке отраслевых хозяйств, благодаря которым создавались новые поселения. Примером является создание населенного пункта около льнозавода в Тогульском районе.

С механизацией сельскохозяйственного производства связано создание еще одного вида советских населенных пунктов — поселений при МТС (машинно-тракторных станциях). Причиной образования поселков МТС и формирования при них жилой среды являлась механизация сельскохозяйственного труда, оснащение образованных коллективных хозяйств техникой. Еще в 1928 г. [38] ЦИК СССР призвал крестьян посмотреть, «насколько вам земля стала давать после того, как вы стали обрабатывать ее хорошим плугом, машинами, тракторами... переход на более высокий уровень производства не под силу единоличным хозяйствам...» И одной из главных задач советской модернизации («социалистического переустройства») провозглашалось «ввести новую технику в сельское хозяйство» через создание МТС с концентрацией тракторов, автомашин, комбайнов. Создаваемый технический парк обслуживался и эксплуатировался специалистами и рабочими МТС. Они были призваны подвести «под колхозы базу самой передовой в мире земледельческой техники» и стать «важнейшими опорными пунктами сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса» [39]. С образованием политотделов при МТС они превратились не только в «рычаги технического перевооружения колхозов и социалистического переустройства сельского хозяйства», но и в центры «политически-организационного руководства и влияния на широкие массы колхозников». Советский способ механизации сельского хозяйства через технические машинно-тракторные станции преследовал в том числе и политико-идеологическую цель — превращение индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективные.

Формирование сети технических станций происходило по той же государственно-централизованной схеме, что и пунктов закупочной сети («Закупскот», «Скотоимпорт», «Союзхлеб», «Сахартрест», «Зернотрест» и т. д.) Строительство МТС осуществлялось через центр — организацию «Трактороцентр», а управление создаваемой системой МТС — через акционерное

общество «Всесоюзный центр машинно-тракторных станций» (ВЦМТС), а финансировалось в том числе через привлечение крестьянских средств «путем приобретения акций Трактороцентра» [40]. В первое время технический парк развивался в том числе и за счет приобретения у колхозов «сложных молотилок и локомобилей» [41]. Работу по обслуживанию колхозов МТС осуществляли на основе заключаемых с ними договоров. В них предусматривались не только определенные сельскохозяйственные работы, но и агрономическое обслуживание, составление производственных планов и т. д. [42]. На основе актов о приеме работы между тракторным бригадиром со стороны МТС и председателем колхоза хозяйства расплачивались «в зависимости от урожая натурой» в размерах, определяемых специальными таблицами. Например, «за работу по колосовым культурам» — «всеми зерновыми, кроме кукурузы, пропорционально посевным площадям каждой культуры в колхозе», «льна — трестой или волокном» и т. п.

Развитие МТС стало частью технологического направления развития советской поселенческой инфраструктуры. На территории Алтайского края, как и повсеместно по стране, создаваемые машинно-тракторные станции обеспечивали техникой свою группу колхозов. Существовало два варианта размещения машинно-тракторных станций — в населенных пунктах и с выносом из села, на открытом месте. Как самостоятельные населенные пункты МТС сформировались не сразу. На территории МТС создавались ремонтные мастерские, формировался парк автотранспортных средств. Обычно технический парк находился за пределами села, и первоначально рабочие приезжали туда только на рабочий день. Но ежедневные или еженедельные поездки отрывали мужчин от семьи. Через определенное время станции застраивались жилыми помещениями, и механизаторы переезжали туда с семьями. Наиболее известным примером создания постоянного поселения на базе МТС является история пос. Мирный под Бийском. Его история началась с 1928 г. со строительства льнозавода. Его строительство было закончено к 1930 г., но использовать его не пришлось. В 1930 г. на территории и в зданиях льнозавода разместилась машинно-тракторная станция, котрая обслуживала села Новая Чемровка, Шубенка, Малоугренево. В. И. Михина из пос. Мирный (Зональный район) так описывала процесс превращения МТС в жилой поселок: «В 35-м году МТС была создана… В 35-м году единственный барак был создан здесь. В три или четыре квартиры. А в основном все механизаторы и специалисты… они жили в Чемровке. Оттуда ездили сюда на работу. А на берегу, уже позднее, в 36–37-м году, была создана мастерская». Л. В. Лобецкая подтверждает: «*Этот поселок советских времен.* Мы разговаривали со старожилами… делали подворный обход. Первые сведения относятся к 1935 г.

Поселок Мирный, бывший поселок МТС, с 1958 – пос. РТС. Зональный р-н. Фото 2002 г.

В 1935 г. здесь возникла МТС, и в принципе здесь никакого поселка, никакого поселения в этот период не было, потому что работники в основном ездили из-за линии (из Н. Чемровки). Ходили пешком. А позднее стали появляться первые дома. Это были бараки на четыре семьи. И вот эти бараки, они стояли у нас на берегу реки. А потом появились те дома, которые сейчас есть в поселке». В то время в поселке, так и называемом МТС (с 1958 г., после реорганизации МТС поселок стал называться РТС – ремонтно-техническая станция, в 1965 г. ему присвоили название «Мирный») проживало около 150 человек и было пять небольших улочек с деревянными постройками. Поселения на усадьбах МТС могли быть значительными. Так, в созданном поселке Березово-Чарышская МТС Краснощековского района в 1939 г. проживал 261 человек (в 1959 г. на усадьбе МТС проживало 222 человека).

Государство поощряло создание МТС. На протяжении 1930-х гг. их численность росла: с 13 в 1931 г. (они обслуживали 343 колхоза) до 175 в 1939 г. (3819 колхозов) [43, с. 49–44].

Таким образом, новые сельские поселения в Алтайском крае образовывались при выполнении государственно-партийных аграрных программ, определявших сущность советской модернизации. По одной из таких программ на Алтае появились молодые отраслевые поселения, предназначенные для выращивания сахарной свеклы – сырья для развивающейся сахарной промышленности Сибири. Развитие свекловичного производства стояло в одном ряду с другими специализированными отраслями сельскохозяйственного производства, так как советская модернизация предполагала «образование специальных систем сельскохозяйственной коопера-

Таблица 4

Поселки МТС на территории Алтайского края (извлечения из переписей 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.)

Район	Сельский совет	Населенный пункт	1939	1959	1970	1979	1989
Краснощековский	Тракторский/Березовский	Березово-Чарышская МТС (усадьба МТС)	261	222	–	–	–
Первомайский (Краюшкинский)	Белоярский	Белоярская МТС	65	4	–	–	–
Кулундинский	Ново-Киевский	Табунская МТС	184	–	–	–	–
Быстроистокский	Петропавловский	Южная МТС	19	–	–	–	–
Благовещенский	Благовещенский	Благовещенская МТС	221	–	–	–	–
Благовещенский	Леньковский	Усадьба Леньковской МТС	51	–	–	–	–
Барнаульский (передана в Краюшинский)	Белоярский	Белоярская МТС	65	–	–	–	–
Завьяловский	Завьяловский	МТС	136	–	–	–	–
Зональный	Буланихинский	МТС	55	–	–	–	–
Зональный	Новочемровский	Чемровская МТС, ныне Мирный	199	–	–	–	–

Составлено: Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 гг.: В 2 ч. Барнаул, 1992.

ции по основным отраслям» и «массовое образование, в качестве низового звена сельскохозяйственной кооперации, производственных товариществ поселкового типа специального направления — зерновых, льноводческих, свекловодческих, хлопководческих и т. п. Централизованный механизм создания свекловичных хозяйств также администрировался через головную организацию «Сахаротрест». На Алтае в свекловодческих хозяйствах возобладал новый тип населенного пункта — совхозный поселок. Программа совхозного строительства предполагала «превращение их в крупные сельскохозяйственные индустриализированные предприятия» в тесном взаимодействии с промышленностью, «обслуживании отдельных отраслей промышленности в производстве сырья», в данном случае для сахарной промышленности. Поэтому совхозы изначально планировались как населенные пункты среднего и крупного размера с собственной поселенческой инфраструктурой.

Примером служит создание в Алтайском крае поселков Садовый Третьяковского района и Восход Зонального района. В отличие от колхозно-кооперативных предприятий, свекловодческие совхозы являлись иным типом населенных пунктов — советскими предприятиями. Форсируя модернизационные процессы, государство именно совхозы считало перспектив-

ной формой организации хозяйства и поэтому изначально авансировало их комплексом льгот и фактической помощи в виде прямого финансирования, кредитования, снижения налогов и т. д. Результатом государственной поддержки стало массовое появление в 1930-х гг. совхозных поселков. По переписи 1939 г. на территории Алтайского края было зарегистрировано 128 поселений совхозной структуры. По сравнению с 1926 г. их количество увеличилось почти в 11 раз [44]. Их жизнедеятельность финансировалась государством, заинтересованным в развитии сахарной промышленности. Благодаря этому материальное положение рабочих этих совхозов было стабильнее, чем колхозников Устные свидетельства показывают, что свекловодческие совхозы привлекали население окрестных колхозов благодаря денежной оплате труда. Многие колхозники бросали свои дома и перебирались во времянки строящихся свекловодческих совхозных поселков. Об организации пос. Восход Зонального района П. Н. Гурова рассказывала: «Мои родители из Буланихи сюда приехали… потому что здесь совхоз, отделение образовалося, и здесь совхоз, а там [Буланиха] — колхоз. И вот сюда они, в совхоз, родители, приехали. А дома побросали, а здесь землянку на горочке выкопали. Там [в колхозе] все как-то отбирали [ежегодные налоги на личное хозяйство колхозников]. А здесь [совхоз] и деньги. И вроде совхоз нам деньги давал. За деньгами побежали сюда…».

Но формирование населения этих производственных поселков проводилось не столько за счет перегруппировки населения внутри Алтайского края, так как гражданские права колхозников были ограничены, они не имели паспортов и права переездов, сколько за счет раскулаченных и репрессированных крестьян, которых вербовали в местах сибирской высылки (Томская и Тюменская области, Красноярский край). В их составе преобладали украинцы. Как известно, большой опыт возделывания этой культуры существовал на Украине, где еще в начале XIX в. создавались первые сахарные «заводики», а посадки свеклы вытеснили посевы зерновых. В 1930-е гг. раскулаченные крестьяне Украины были высланы в Сибирь. После решения разводить свеклу на Алтае, где существовали благоприятные условия, но не было производственного опыта, начались поиски специалистов. Очевидцы создания пос. Восход рассказывали: «Потом, как совхоз образовался (1935 г.), говорят, ездило начальство, даже вот туда, за Бийск, оттуда вербовали вот сюда на свеклу [образованный поселок Восход]… Много народу надо было» (П. Н. Гурова). Для укрепления кадрового состава свекловодческого поселка из Красноярского края привезли раскулаченных украинцев. Как вспоминает Ф. Ф. Волокитина, «сюда [Восход] присылали украинцев, их переселяли. Здесь все было заросшее, степь. Тут кустов даже не было. Ну и туда [«Восход»] давали хлеб. Килограмм рабочему, иждивенцу — 500 грамм. Есть нечего было [в колхозе], а здесь [в совхозе «Вос-

ход»] давали хорошо. Приехали, тут домишко был. А здесь землянки, все землянки были. Украинцы в основном жили. А потом сюда и калмыков, и немцев, и молдаван, и японцев [депортированных переселенцев]».

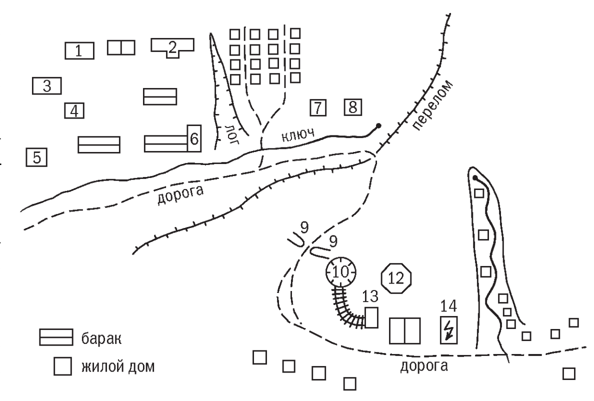
В Третьяковском районе таким же способом образовался в 1932 г. поселок Садовый. Очевидцы вспоминали, что «выращивание свеклы было новым для Сибири делом», поэтому первыми поселенцами стали украинцы, раскулаченные в начале 1930-х гг. и сосланные «под Тюмень» и в Красноярский край, где они работали на лесозаготовках. Как вспоминают очевидцы, «в Тюмени производили запись украинцев, умеющих выращивать свеклу. А пожилые говорили молодым, что записавшихся будут отправлять опять на Украину, ведь свеклу больше негде выращивать...». Но вместо Украины людей «повезли теплушками на станцию Аул (Казахстан), а со станции добирались до Староалейского (Третьяковский район) на подводах... первых поселили в Сухом Логу, где построили барак и конюшню... В них расположили [людей]...» Позже, в конце 1930-х и начале 1940-х гг., свекловодческие совхозы, как показывают устные источники, укрепляли депортироваными немцами, калмыками и др., а также спецпереселенцами. А после Великой Отечественной войны их пополняли молдаванами, пленными японцами и представителями других народов. Так, в пос. Восход, по свидетельству В. Н. Шлейник, «народу было! В каждой землянке жили. И высланные здесь. С Украины все были здесь. Ой! К нам привозили и японцев, и тюряг привозили. Вот тут был коровник построенный, и они жили тута. И японцы были, и калмыки были, и потом евреи были, поляки были. Тут много было людей». А жители Садового говорили, что в начале 1940-х гг. «кроме украинцев, в поселке появились молдаване, потом немцы с Поволжья... были в поселке и татары, и переселенцы с Кавказа...»

Приведенные примеры показывают, что развитие аграрного сектора социалистического производства сопровождалось не просто появлением новых типов населенных пунктов; оно сопровождалось формированием социальных групп, отличавшихся своими гражданскими правами и материальными возможностями. Материальное положение рабочих и служащих отраслевых совхозов, МТС, пунктов государственной закупочной сети было крепче. Колхозников удерживали в коллективных хозяйствах (колхозы, артели) от переезда в государственные хозяйства отказом в выдаче им паспортов. По этим же причинам притягательным местом для колхозников являлись и поселки промышленного назначения (рудничные, леспромхозы и т. д.), возникавшие на территории аграрного Алтайского края в окружении сельских населенных пунктов и поэтому тесно связанные с крестьянским населением.

Расширение сети поселений несельскохозяйственного назначения шло по пути ряда направлений модернизации: транспортной, промышленной,

лесохозяйственной и т. д. Возникавшие новые населенные пункты отличались организацией социально-бытового обустройства. Особенно контрастной была жизнь в колхозных и рудничных поселках. На Алтае образование новых промышленных поселков было связано с вольфрамовой промышленностью в условиях надвигающейся войны. Добыча такого стратегического сырья, как вольфрамовые руды, была обусловлена областью применения этого металла: он использовался в военной технике, а также для изготовления нити накала в электролампах. Для обеспечения прочности ствола станкового пулемета нужен был 1 кг вольфрама. На горной территории Алтайского края в преддверии войны было открыто несколько рудников: Мульчихинский (исчезнувшее село Мульчиха Солонешенского района), Макарьевский (у с. Макарьевка Алтайского района), Верх-Слюденский Усть-Калманского района (около с. Верх-Слюднка), Белокурихинский (за д. Черновой) Смоленского района, Колываньстрой Курьинского района. Все они располагались на исключительно «крестьянских территориях», вдали от городов — Барнаула, Бийска. Поэтому при комплектовании рабочей силы широко привлекались крестьяне, и так же, как и в предыдущих случаях, для неквалифицированного труда на этапе строительства производственного и жилого сектора использовались репрессированные группы населения.

Жизнь населения поселков при рудниках сильно отличалась от жизни колхозников. Как говорят очевидцы, «словно в разных государствах». П. Г. Тутов, работавший сначала парторгом, а затем директором школы Белокурихинского рудника, вспоминает: «Рабочие работали по бонированной системе. Рабочим за работу платили боны (1 руб. к 50 бонам). Они приезжали и приходили в магазин. Можешь по бонам в своем селе взять товары в своем магазине, который содержал Центросоюз. Наш магазин [в отличие от колхозных] был хорошо обеспечен. И выгоднее брать: и омуль был, и ткань. Если бы куда-то ехали, то обменивали на рубли. И местным крестьянам [тем, кому удавалось устроиться] выгодно — могли в нашем магазине брать». Как говорил бывший рабочий Белокурихинского рудника А. Д. Марков, «обеспечение хорошее было, зарплата по тем временам неплохая — 160 руб., а не трудодни [как у колхозников]», «колхозы бедствовали тогда, и все бежали на рудник». Боны являлись государственными казначейскими билетами, обеспеченными золотом (отменили в 1955 г. после консервации на Алтае вольфрамовых рудников). Зарплата в бонах доходила до 300 руб., тогда как мука стоила 10 руб. за 1 кг, мужской костюм — 25 руб. в бонах. Бригадир мог получать 80–90 руб. Но на боны можно было купить товары только в «своих» магазинах, которые содержал Центрсоюз. Магазины рудничных поселков, в отличие от крестьянских сел, имели широкий выбор товаров: «мануфактуру разную привозили в



План-схема Белокурихинского вольфрамового рудника: 1 — магазин; 2 — школа; 3 — пекарня; 4 — контора; 5 — клуб; 6 — склад вольфрама; 7 — сливоотделение; 8 — баня; 9 — штольня; 10 — ствол шахты; 11 — узкоколейка; 12 — дробилка; 13 — грохота; 14 — электростанция. Составлено на основании описаний респондентов. 1993 г.

магазин. Снабжение было прямо из Бийска», но торговали только на боны. А про магазин рудника в Верх-Слюденке очевидцы говорили, что «все было. К празднику вообще завалят продуктами: рыба палтус, горбуша...» Поэтому желающих работать на рудниках всегда хватало. Как говорил П. Г. Тутов, именно благодаря этим привилегиям, резко выделявшим население рудничных поселков среди окрестного крестьянского мира, «с рабочей силой проблемы не было — хорошая плата и обеспечение».

На Белокурихинском руднике было до 120 рабочих. На нем работали крестьяне из окрестных сел Солоновки, Сычевки и других сел Смоленского района. На Верх-Слюденском руднике численность рабочих доходила до 900 человек: до 300 человек в каждой из трех смен. Оплата труда была высокой. Бывшие крестьяне ценили возможность заработка и относились к работе добросовестно, хотя ее условия были тяжелыми— работали 6 дней в неделю, кроме воскресенья, с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед. «По выходным собирались в клубе, друг к другу в гости ходили. Пьянства не было. Чтобы на работу не выйти — такого никогда не было» (А. Д. Марков), «жили дружно, без раздоров» (П. Г. Тутов).

Интервьюирование бывших рабочих и служащих рудничных поселков, которые после их закрытия разъехались по городам, а часть (прежде всего сельская интеллигенция) осела в селах, позволило восстановить условия труда, быта и жизни в этих объектах советской индустриализации. Белокурихинский рудник находился в 12 км от деревни Черновая вверх по реке Черновая. Очевидцы помнят, что по статусу он отличался от крестьянских селений, так как не подчинялся местной администрации. Рудоуправление в предвоенные и военные годы располагалось в Колываньстрое, а в 1951 г. было перенесено в Акташ (Республика Алтай). Жилой сектор Белокурихинского рудника располагался по «склонам горы у ключа,

по обе стороны перевала», или, как его называют местные жители, перелома. П. Г. Тутов вспоминал, что «поселок делился на две части: до перевала (до 40 дворов) и после перевала (около 20 дворов), разделяли их 1,5 км». В 5 км от рудника находился поселок Осиновка (исчез), в 8–9 км — поселок Сосновка (исчез). К поселку рабочих рудника была проложена дорога от деревни Черновая, по которой вывозили руду и завозили все необходимое. В настоящее время дорогу размыли паводки, и до рудника можно добраться только пешком.

Открыт Белокурихинский рудник был в 1939 г. Выработки находились в 1,5 км от жилого поселка. Работы на руднике велись закрытым способом. Бывшие рабочие помнят, что была большая шахта, две штольни до 40 м глубиной, пять штолен поменьше, обогатительная фабрика. А. Д. Марков (переехал в д. Черновая) вспоминал, что «работы на руднике примитивно шли. Все в основном вручную делали. Сначала в штольнях бурили, затем после окончания работы подрывники закладывали динамит и взрывали, а утром вывозили руду в вагонетках к лебедке». Затем кварцевая руда с вольфрамом поднималась на дробилку (шаровую мельницу с двумя шарами). И буры, и дробилка работали от электростанции, где стояли два двигателя — в 120 и 75 л. с., работавшие на дровах. На лесозаготовках женщины «заготавливали дрова на быках», и на откате вагонеток с рудой также работали женщины. В день от них требовалось 27 кубометров дров — «сжигали на своей электростанции (два двигателя по 75 и 100 кВт)... потом ее переделали на дизельное топливо (около 1 тонны в день). Возили из Бийска через Черновую — дорога неважная». На «дробилке» — шаровой мельнице — руда дробилась. Затем на столе отделяли вольфрам от кварца. После этого магнитным сепаратором выделяли железо и сульфаты и получали 97–98% вольфрама, который отправляли на склад. Каждый год рудник давал до 1 т вольфрама.

В Белокурихинском поселке, по рассказам старожилов, было три больших типовых барака, в которых жили рабочие. К одному из них был пристроен склад вольфрама. Кроме «казенных» бараков, в поселке были «избушки», которые строили сами рабочие. А. Д. Марков рассказывал: «Сами лес валили. С транспортом рудник помогал: лошадей, быков давали». П. Г. Тутов рассказывал, что «в основном дома были двухкамерные — изба и комната. Сами рабочие покупали лес в своем лесничестве — 6 руб. куб. А служебные [дома] строил сам рудник. А потом стали строить рудничные квартиры — бараки. Три или четыре барака, где жило 12–20 семей». Дома располагались вдоль по косогору в две улицы. В поселке были открыты клуб, магазин, больница, своя пекарня, школа, баня. В школе работали 4 учителя и директор, учились до 120 детей. «Взрослые работали на руднике, и были у них свои приусадебные участки: картофель и овощи, а вот по-

мидоры привозили из Черновой» (П. Г. Тутов), «огороды были. Сотки две, три картошки. И все», — рассказывает А. Д. Марков. В поселке существовало свое сливоотделение — частники, державшие коров, сдавали молоко.

Рудник закрыли в 1954 г. Как объяснил П. Г. Тутов, «энергетических средств не было, если бы подвели электричество — действовал... Пришел приказ — рудник закрыть. Объяснили, что нет энергии, мало вольфрама». Бывшие рабочие не захотели вернуться к колхозной жизни, «в основном все уехали в Бийск, в колхоз никто не пошел» (А. Д. Марков). Другие попытались найти работу на Макарьевском руднике, Колываньстрое, в Акташе, на вольфрамовых и ртутных разработках. До 1963 г. в поселке жили рабочие, валившие лес для колхоза и из леспромхоза. Потом уехали и они.

Рудник в Верх-Слюденке организовался в 1941 г. после того, как «по горе и ручью, позже названному Рудничным, прошла геологическая партия, и в ее лотках осел тяжелый темный металл — вольфрам». Просуществовал он до 14 марта 1959 г. По воспоминаниям очевидцев, руду добывали в двух шахтах, глубиной 33 и 50 м. Вторая, чисто вертикальная, была введена позже и не успела поработать на полную мощность. К первой шахте с поверхности шла горизонтальная штольня. В самой шахте выделялись горизонты — уровни, на которых находились штольни (всего их было 13). В них засекали жилы, ступеньками углублялись на 20 м (размах «ступеньки») и затем делали новую штольню. Работали на руднике бригадами по 3–4 человека — крепильщик, бурильщик и откатчик. Проходы в шахтах крепили деревом. Проложили рельсы, по которым толкали вагонетки с рудой. Бурить приходилось редко, потому что вольфрамовая руда во много раз тверже каменного угля и «любила», как говорят рабочие, когда ее «откалывают вручную». Потом ее поднимали на поверхность и по рельсам, проложенным по склону горы, спускали на 500 м к обогатительной фабрике, где промывали, дробили и запечатывали в мешки.

Особенно тяжелой работа на рудниках, по воспоминаниям участников, была в годы войны. На руднике в Верх-Слюденке работали в три смены: первая смена — 12 часов, вторая — 8 часов, третья — 6 часов. Но работа могла быть и круглосуточной. Кроме выработки 1 кг 200 г, нужно было еще собрать 1 кг на отвале. В войну работали подростки: в 15 лет катали тачки и работали на отвале или на обогатительной фабрике. Среди рабочих было «много переселенцев из сел ближайших районов (Огни, Михайловка, Сидельниково, Коробейниково), пришедших за высокими заработками, а также заброшенных в войну из Ленинграда немцев и корейцев. Так образовался Корейский Лог, в котором проживало до 60 семей. Некоторые [корейцы] снимали квартиры в Верх-Слюденке. Переселенцы селились сначала в землянках, но постепенно обустраивались». Рудник, по словам жителей соседнего крестьянского села Верх-Слюденка, много дал самой Верх-Слюден-

ке — работу, магазин с государственным обеспечением. Поэтому, несмотря на тяжелые условия труда, работавшие на руднике вспоминают то время как светлое, так как, в отличие от колхозников, они имели хорошие заработки. Даже в самых тягостных воспоминаниях, связанных с войной, когда на фронт ушли последние «забронированные» мужчины и остались женщины и дети, респонденты подчеркивают более благоприятные условия для жизни при рудниках, чем в колхозах и артелях.

С индустриализацией на Алтае связано и большое число сохранившихся после оптимизации 1920-х гг. поселений в лесной и таежной зоне, где велись государственные лесозаготовки. В переписях они зафиксированы как кордоны, участки, бараки и казармы, а также поселения лесопромышленных организаций (лесхозы, лесопитомники). В 1939 г. контроль над лесом на Алтае осуществляли 70 кордонов, а лесхозов и лесопитомников, выполнявших лесохозяйственные функции, насчитывалось 46. Общее число поселений, относящихся к лесному хозяйству, сократилось между переписями 1926 и 1939 гг. с 159 до 116.

Лесозаготовки, так же как и добыча вольфрама, давали крестьянам большие возможности для зарабатывания «живых» денег. Сравнение условий жизни в сельскохозяйственных поселениях и поселениях, связанных с лесом, способствовало формированию у колхозного крестьянства миграционных настроений. Этим объясняется тот факт, что в районах Алтайского края, где благодаря природно-географическим условиям была организована массовая заготовка леса, демографические потери в период массового раскулачивания и репрессий были меньше. Если репрессивные события 1930-х гг. в районах с развитым сельским хозяйством привели к уменьшению численности населения, то в районах лесозаготовок происходило переливание населения из земледельческих сел в промыслово-промышленные. Многие крестьяне бросали свое хозяйство и под угрозой репрессий уходило на лесозаготовки. Такая информация, например, содержится в устных исторических источниках, созданных на территории Тальменского района, в котором были распространены внутрирайонные переезды. Например, в большой семье Кузнецовых из с. Тальменки после раскулачивания и высылки старшего брата Тимофея Сергеевича остальные братья, оставив дома, уехали на лесозаготовки. По словам старожилов, «сбежали, чтоб не раскулачили». Такие случаи встречаются повсеместно. «Ушедшие» из крестьянского дела, как правило, селились в поселках своего же района, связанных с лесозаготовкой и лесопереработкой. В целом в период советской модернизации развитие промышленной заготовки и переработки леса с предоставлением рабочих мест являлось фактором, стабилизирующим демографическую ситуацию, и способствовало закреплению населения в границах Алтайского региона. Даже переселенцы-хлебопашцы,

которые приезжали в 1920– 1930-е гг. в села Тальменского района из других районов, находили себе работу в промысловых поселениях. Как говорят бывшие крестьяне, во всех переселенческих селах «был отток все время и приток. Кто-то поехал в лес на другие работы, не хотел заниматься землей, возиться».

Такие промысловые поселки возникли в большом количестве в северо-западной части Тальменского района, на территории Троицкого, Усть-Пристанского (правобережье Оби), Тогульского и других районов. В мелких лесных поселках проживали рабочие леспромхозов. Например, поселки Романовский, Примовский, Чудовка, 73-й участок, 61-й квартал относились к Тальменскому химлесхозу. Основным занятием их жителей являлся сбор живицы. Обычно зимой рабочие подготавливали деревья для сбора живицы, очищали кору. В поселках были «бондарки» — мастерские, где делали тару под живицу. Летом бригада работала в лесу. В среднем, по воспоминаниям очевидцев, рабочая бригада имела бригадира, 3–7 срезчиков и около 10 сборщиков. Поэтому лесные поселки были небольшими, обычно около 20 семей, которые жили в длинных многоквартирных бараках, размещаясь с детьми в небольших комнатах. В поселках, кроме бараков, ставили 1–2 срубных дома. Была школа, присылали учителей. Открывали свои пекарни, остальные продукты завозили. Как вспоминают жители, «все общее... И в бор вместе. И хлеб, и картошку съедают все». Работа была тяжелая, особенно для женщин, которые работали сборщиками: «Коромысло на плечи. Два ведра по 10 л, а живица тяжелая — 15–18 кг. У каждой свой участок, размером 1 на 2 км. Изнурительная работа. Лето, духота в бору, мошкара, комары». Несмотря на такие тяжелые условия, работа в леспромхозах привлекала колхозников, потому что «там платили деньгами... А в свободное время охотой, рыбой занимались». Поэтому даже в период наибольших подвижек населения на Алтае — во время укрупнения колхозов и ликвидации неперспективных сел (так называемого «движения в город») численность населения того же Тальменского района, сохранившего инфраструктуру заготовки и переработки леса, сильно не изменялась, но сопровождалась перегруппировкой населения и постоянными передвижками. Связано это было с выработкой леса.

По мере истощения лесов и живицы леспромхозы закрывались или переносились в другое место, поселки сворачивались. Так произошло с поселками от лесхоза вокруг с. Курочкино, где занимались распиловкой леса. От 13-го участка (ныне станция Красный Боец) была проложена узкоколейная железная дорога до депо в с. Курочкино. Вдоль нее, по бору, были образованы 59-й, 101-й и далее ряд участков с жилыми зонами. После закрытия лесхоза люди из них разъехались, остались лишь сведения о них в советских переписях 1939–1979 гг. То же произошло с пос. Черненькое

Тальменского района. Но самыми значительными исчезнувшими лесными поселками на его территории были Западный и Майский от Озерского леспромхоза на левом берегу Чумыша.

Таблица 5

Специализированные поселки (лесного хозяйства) на территории Алтайского края (извлечения из переписей 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.)

Район	Сельсовет	Населенный пункт	1939	1959	1970	1979	1989
Зональный	Луговской	Лесозагот	42				
Калманский	Чириковский	Дальневосточный лесозаготовительный участок	170				
Калманский	Чириковский	Квартал 74 Петровского лесозаготовительного участка	81				
Там же	Там же	Петровский лесозаготовительный участок	79				
Там же	Там же	Центр. барак лесозаготовит. участок	128				
Краюшкинский	Боровихинский	П. Лесопитомник	11	65			
	Зудиловский	Плодопитомник		117			
		Бийский кордон		5			
Кытмановский	Александровский	Лесхоз	552				
Мамонтовский	Мало-Бутырский	Гослесопитомник		15			
	Махаевский	Кордон Лесной	12				

Составлено: Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 гг. В 2 ч. Барнаул, 1992.

Таким образом, в ходе советской модернизации в системе расселения происходили кардинальные изменения, которые вылились в два процесса. С одной стороны, происходили сокращение общего количества сельских населенных пунктов, ликвидация традиционных типов крестьянской системы расселения, унификация поселений сельскохозяйственного назначения (колхозы, совхозы). С другой стороны, формировались новые типы населенных пунктов как сельскохозяйственного, заготовительного и отраслевого назначения для обслуживания промышленности и колхозно-совхозного производства, так и специализированные пункты несельскохозяйственного назначения, тесно связанные с крестьянским населением окружающих деревень. При этом изменения структуры поселковой сети основывались на качественно-новых принципах, базирующихся на социалистической системе хозяйствования. Замена одной экономической модели другой сопровождалась перераспределением населения, при котором численные потери несло сельское население. Смена политических парадигм сопровождалась также количественными и качественными изме-

нениями в поселковой инфраструктуре. Так, например, отказ от поддержки единоличного хозяйства потребовал механизации колхозно-совхозных хозяйств, концентрации и эффективного использования техники, что привело к созданию машинно-тракторных парков — МТС (машинно-тракторные станций). Сеть МТС создавалась не только в существующих населенных пунктах, но и на новых местах, что приводило к формированию вокруг них производственной и жилой среды и образованию новых населенных пунктов. К новым формам хозяйствования в условиях отказа от рыночных форм торговли, когда сельскохозяйственное сырье приобреталось на ярмарках, базарах через коммерческую торговую сеть, относилась закупка сельскохозяйственного сырья через козхозно-кооперативные и государственные торговые организации. Они формировались государством через создание союзных организаций «Закупскот», «Скотоимпорт», «Закупзерно» и региональную сеть их контор, которые также не только создавались на базе существующих населенных пунктов, но и способствовали основанию новых поселений вдоль трактов, скотопрогонных дорог, на пересечении водных и сухопутных путей сообщения и т. д.

Новые принципы расселения в советское время формулировались в партийно-государственных программных документах с акцентом на формировании условий для выполнения коллективными хозяйствами государственных заказов на поставку сельскохозяйственного сырья, укреплении колхозно-кооперативных форм торговли. В такой обстановке верх над хозяйственной целесообразностью часто брала новая идеология. Реализация идеологических и политических установок осуществлялась в конкретной среде, на базе сформировавшейся в доколхозный период сети населенных пунктов с апробированными формами поселений. Формирование новых форм экономики, создание колхозно-кооперативного хозяйств, новые подходы к механизации сельского хозяйства и т. п. влияли на развитие сети населенных пунктов, способствовали росту значения одних и падению значения других сельских поселений. Если раньше на размещение и размеры населенных пунктов влияло развитие единоличного крестьянского хозяйства, то в советское время большое влияние на него оказывали разрабатываемые государственно-партийными чиновниками схемы размещения МТС, отраслевых хозяйств (зерносовхозов, льносовхозов, племенных животноводческих совхозов и т. п.), контор и сенобаз «Закупскота», складов «Закупзерна» и элеваторов, формирование колхозных отделений, бригад или совхозных ферм.

В силу этого процесс развития поселенческой структуры в советское время приобрел противоречивый характер. С одной стороны, он сопровождался дальнейшим развитием сети сельских поселений, образованием в поселковой сети новых населенных пунктов формировавшегося колхоз-

но-совхозного сектора экономики (центральные усадьбы колхозов и совхозов обрастали отделениями и фермами, в разряд которых относили уже существовавшие села и образовывали новые), с другой стороны, разрушением старой традиционной поселенческой инфраструктуры и гибелью многих поселений. В результате это приводило к реорганизации сети населенных пунктов, ее перегруппировке, изменению структуры (соотношения многодворных и малодворных поселений), формированию нового облика сел как через регулируемую планировку и застройку, так и через развитие в селе производственной и культурно-бытовой базы. Всего, по данным 1930 г., на территории Алтайского края было зарегистрировано 5 390 населенных пунктов (на 16 поселений меньше, чем в 1928 г.): в Барнаульском округе — 1 592, в Бийском — 1 512, в Рубцовском — 945, в Славгородском — 783, в Каменском — 558 [45]. А к 1939 г. общая численность населенных пунктов продолжала уменьшаться, а число крупных поселений — возрастать, что положило начало процессу укрупнения. В частности, число сел, как крупных населенных пунктов, по сравнению с 1926 г. возросло почти на сотню (с 702 до 781), поселков — на пять сотен (с 1705 до 2260). Число средне- и малодворных поселений традиционной системы крестьянского расселения сокращалось: количество заимок и выселков сократилось с тысячи (1072) до сотни (75), хуторов — с 560 до 86, мельничных поселений — с 232 до 30, аулов — с 51 до 20 и совсем исчезли односелья (было 25). Унификация административно-территориальных преобразований привела к сокращению деревень (с 574 до 27). Были лишены самостоятельного статуса и такие новые типы населенных пунктов, как коммуны. Не переломило тенденцию сокращения населенных пунктов и образование таких самостоятельных советских поселений, как совхозы (128), колхозы (30), бригады (11), фермы (93), поселки МТС (15), «Заготскот» (21), «Заготзерно» (7), а также МТФ, ОТФ, КТФ, ПТФ, СТФ (36). В общей сложности число исчезнувших поселений превышало число образованных [45].

Источники и литература

1. Урсу Д. Устная история в современном мире // Проблемы устной истории в СССР: Материалы второй науч. конф. в г. Кирове 14–15 мая 1991 г. С. 1–4.
2. Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания. М., 2004.
3. Топоров А. М. Крестьяне о писателях. Барнаул, 1979.
4. Рикёр П. Память, история, забвение: Пер. с франц. М., 2004.
5. Леонтьева О. Иван Васильевич меняет физиономию // Родина. 2007. № 1. С. 29–33.
6. Томпсон Пол. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. М.: Весь мир, 2003.
7. Писаревская Я. Л. О некоторых особенностях формирования текстов интервью о голоде 1932/1933 гг. на Кубани (по материалам научной экспедиции // Проблемы

устной истории и современность: Материалы III науч. конф. в г. Калининграде 23–24 сент. 1992 г. Калининград, 1992. С. 10–13.

8. Рогинский А. Даниэль А. Аресту подлежат жены // Узницы «Алжира». М., 2003.
9. Мезенцев Р. В. Православная церковь на Алтае в 1917–1940 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Горно-Алтайск, 2003.
10. ЦХАФ АК. Ф. Р 1692. Оп. 1. Д. 1.
11. Красноцветова Л. Г. Залесовский иконописец Викула Федорович Балыкин // Залесовское Причумышье: Очерки истории и культуры / Науч. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. С. 228–233.
12. Куприянова И. В. Старообрядческие общины в годы «великого перелома» // Залесовское Причумышье: Очерки истории и культуры / Науч. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. С. 97–111.
13. Хоффман Алис Достоверность и надежность в устной истории // Биографический метод: история, методология, практика. М.: Институт социологии РАН, 1994. С. 42–50.
14. Шанин Теодор. Методология двойной рефлексивности в иследованиях современной российской деревни // Ковалев Е. М., Штейнберг И. Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: Логос, 1999. С. 317–343.
15. Щербинина О. Среди двора стоит престол… // Родина. 1997. № 2. С. 83–85.
16. Левкиевская Е. «Без Господа Бога ни туды и ни сюды…»: Православие глазами современного русского крестьянина // Родина. 1997. № 5. С. 101–105.
17. Левкиевкская Е. Народ безмолвствует? Советское богоборчество глазами русского крестьянина // Родина. 1997. № 8.
18. Крейдун Ю. А., Скворцова Т. В. Бийский Тихвинский женский монастырь // История православия на Алтае. Барнаул, 2001.
19. Крейдун Б.А. Монастыри алтайской духовной миссии во второй половине XIX – первой трети XIX в. // История Алтайского края. XVIII–XX в.: Науч. и документ. материалы / Редкол.: Т. К. Щеглова (отв. ред.), А. В. Контев. Барнаул, 2004. С 108–153.
20. Крейдун Ю. А. Бийский Тихвинский женский монастырь // Бийский район: история и современность / Отв. ред. Т. К. Щеглова: В 2 т. Т. 1. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. 524 с.: ил.; Т. 1. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. С. 42–49.
21. Гришаев В. Ф. Реабилитированы посмертно. Барнаул, 1995.
22. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5. М., 1984.
23. Казьмина О. Е. Вопрос о религиозной принадлежности в переписях населения России и СССР // Этнографическое обозрение. 1997. № 5.
24. СУ РСФСР 1930 г. № 61, ст. 750.
25. СЗ СССР 1928 г. № 69, ст. 642.
26. Сельское хозяйство Алтайского края в 1939 г. Барнаул, 1940.
27. Соколов А. К. Направления источниковедческого синтеза // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: Учеб. / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др. Под ред. А. К. Соколова. М.: Высш. шк., 2004. С. 620–687.
28. Постановление СНК РСФСР от 14 декабря 1930 г. «О плане весенней посевной кампании 1931 г.» // СУ РСФСР 1930 г. № 61, ст. 750.

29. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5. 1971.
30. Цит. Беззубов П. Н., Кузьмин В. Н., Безменова Г. П. Село Первомайское: история ордена Оетябрьской Революции совхоза «Бийский» // Бийский район: история и современность / Отв. ред. Т. К. Щеглова: В 2 т. Т. 2. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2005. С. 125–149.
31. Постановление Президиума ЦИК СССР от 2 марта 1928 г. СЗ СССР 1928 г. № 4, ст. 119.
32. О мерах к укреплению и развитию сельскохозяйственной кооперации. Постановление СТО СССР от 25 февраля 1927 г. СЗ СССР 1927 г. № 14, ст. 156.
33. СЗ СССР 1935 г. № 8. Ст. 67.
34. Постановление VII съезда советов Союза ССР «О мероприятиях по укреплению и развитию животноводства от 6 февраля 1935 г. // СЗ СССР 1935 г. № 8. Ст. 67.
35. Постановление ВЦИК РСФСР от 1 января 1931 г. «О состоянии и преспективах развития животноводства» // СУ РСФСР 1931 г. № 3. Ст. 29.
36. О развертывании социалистического животноводства. Обращение СНК и ЦК ВКП(б) от 30 июля 1931 г.
37. О мерах к развитию животноводства // Постановление СНК СССР от 13 февраля 1930 г. (СЗ СССР 1930 г. №12. Ст. 141.
38. Постановление Президиума ЦИК СССР от 2 марта 1928 г. СЗ СССР 1928 г. № 4, ст. 119.
39. О колхозном строительстве. Постановление VI съезда Советов СССР от 17 марта 1931 г. С. З. СССР 1931. № 17. Ст. 161.
40. См.: «Об обеспечении планомерного участия средств крестьянского населения в строительстве машинно-тракторных станций и тракторных колонн» // СЗ СССР. 1930. № 2. Ст. 1929 г.); «Об участии средств крестьянского населения в строительстве машинно-тракторных станций» от 27 декабря 1930 г.» // СЗ СССР 1931. № 2. Ст. 1930.
41. Постановление СТО «Об организации машинно-тракторных станций». Принято 5 июня 1929 г. // СЗ СССР. № 39. Ст. 353.
42. О примерном договоре МТС с колхозами. Постановление СНК СССР 17 февр. 1934 г. СЗ СССР 1934. № 11. С. 68.
43. Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства Алтайского края. Барнаул, 1940.
44. Подсчитано: Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 г. : В 2 ч. Барнаул, 1992.
45. 230 районов Сибирского края: статистический справочник. Новосибирск, 1930. С. 10–15.

1940-е годы: устная история деревни в «переломанное» время

В традициях историографии существует согласование историописания с методологиями (теориями), которые, как правило, формулируются общими или универсальными терминами. В советское время методологической монополией в исторической науке являлась формационная концепция, основанная на марксизме; в современной практике вследствие отказа от единой (универсальной) парадигмы и формирования идеи плюрализма сформировался методологический разнобой — теория тоталитаризма, теория модернизма, цивилизационный подход и т. д. Трудность для исследователей-практиков заключается в том, чтобы согласовать эти теории с историей, которая, по определению Джоан Скот, «призвана изучать контекстуальную специфику и фундаментальные изменения» [1, с. 8]. Историей, в которой происходили кардинальные изменения в образе жизни, способе мышления, в жизненных установках и ориентирах, являлась повседневная жизнь крестьян в советский колхозный период. Ее изучение требует особых методов исследования и привлечения новых источников, прежде всего потому, что особенностью повседневной будничной жизни является отсутствие ярких событий. Поэтому изложение фактов не является самоцелью устной истории жизни рядовых колхозников, как, впрочем, и при изучении других направлений устной истории. Более того, приоритет событий и фактов в устной истории может привести к тому, что жизненный опыт рядовых колхозников будет привязываться к фактам, вместо того чтобы прислушиваться к чувствам. Интерес же устных историков к жизненному опыту одного человека обусловлен интересом именно к «осязаемой информации» — действиям, отношениям, установкам, восприятию, состоянию и т. д. Именно конгломерат этих чувств позволяет добиться объективной оценки исследуемой эпохи. Можно сказать, то существуют два способа познания и восприятия прошлого — интеллектуальный и эмоциональный.

В этом случае устная история не только играет научную роль (восполняет источниковый пробел социальной истории), но и выполняет социаль-

ную функцию — восстанавливает равенство всех социальных групп в увековечивании исторической памяти. Документы личного происхождения (мемуары, дневники, воспоминания, письма) представителей верхних этажей советского общества (управленцев, партийцев, военных, ученых, писателей и т. п.) благодаря деятельности устных историков дополняются документированными рассказами, воспоминаниями, рассуждениями, несущими индивидуальное восприятие прошлого, рефлексивные ощущения «безгласного большинства» представителей нижних этажей советского общества, мнениями или взглядами на историю «снизу». Пожилые колхозники являются хранителями исторической памяти самостоятельного сообщества, идентифицируют себя как членов колхозного социума, имеют свои позиции и оценки прошлого, в которых преломились реальные процессы социальных изменений в советский период. Кроме того, у них есть время и желание поделиться тем, что они знают, но они не имеют возможности опубликоваться и не стремятся излагать свои воспоминания в письменной форме. Многие историки сознательно использовали метод устной истории именно для того, чтобы позволить выразить свои взгляды тем людям, которые не имеют для этого другой возможности [2].

Колхозный период жизни алтайской деревни в советское время занял несколько десятилетий: с момента активного внедрения колхозно-кооперативных обобществленных форм производства в 1928–1930-х гг. до их развала в 1985–1990-х гг. Разработка проблем колхозной деревни в официальной истории как в советский, так и в постсоветский период сопровождалась политизированными штампами и напрямую зависела от господствующих идеологических установок. В советской историографии большое внимание уделялось колхозному строительству, колхозной экономике, изменению быта колхозной деревни, формированию коммунистического сознания. Как и у любой методологической концепции, главным недостатком советской литературы являлась заданность решения исследовательских задач, когда известен ответ, под который и подгоняется результат. Эти недостатки, так же как и достоинства, присущи не только марксистско-ленинской формационной концепции, но и всем историописаниям, буквально следующим методологическим принципам одной теории. Необходимо признать, что монополия любой методологии, несмотря на ущербность общей картины исторического прошлого, позволяет добиться больших результатов в отдельных аспектах изучаемой эпохи. Нельзя отрицать, что советская историографическая модель не всегда игнорировала принципы социально-гуманитарных знаний. Наоборот, гипертрофированная социализация исторической науки нашла отражение в «социальном историографическом проекте», краеугольным камнем которой были классовый подход и «выпячивание» достижений в строительстве социа-

листического общества, то, что называют социологией истории, положенной первым марксистским историком М. Н. Покровским. Одним из недостатков этого подхода являлось игнорирование частного мнения, индивидуального жизненного опыта рядовых колхозников, их личной и исторической памяти. За анализом масштабных и реальных экономических, социальных и культурно-бытовых преобразований колхозной деревни терялись повседневность, судьба, проблемы, положение, будни и праздники крестьянской семьи, ее ощущения, восприятия, будничная жизнь. Официальная история не обращалась к мнению рядовых участников советских преобразований в деревне: как они себя ощущали, как жили, что испытывали. Для полноты ощущения эпохи колхозных преобразований крестьянского мира не хватает «взгляда изнутри», представлений о том, как протекала жизнь в семье и в деревне, какие вопросы приходилось решать тем, кто оказался в гуще ежедневной рутинной деятельности по переустройству крестьянской деревни в колхозную, как представители старого мира воспринимали новые установки советской политики и адаптировались к кардинально иным условиям, как ощущало себя молодое поколение, выросшее под воздействием новых идеологических установок, социально-экономических условий и агитпропа.

Сбор воспоминаний-интервью, в которых отражается народная память о колхозном строе, является важным прежде всего потому, что они отражают самостоятельный исторический и социальный уклад, который на глазах современников исчезает. Теряется целый пласт информации о колхозном образе жизни, о социалистическом эксперименте в деревне, а, как говорят историки, «неосведомленность новых поколений о прошлой жизни грозит обернуться полным взаимонепониманием» поколений (С. Гандлевский). В том числе и по этой причине необходимо использовать все, что наработано в отечественной и зарубежной истории по проблемам изучения исторической коллективной и индивидуальной памяти.

Один из ведущих устных историков США Майкл Фриш, занимающийся структурой памяти, выделил личную и историческую память человека и как самостоятельные субстанции – индивидуальную и коллективную память [3, с. 60]. В этом ракурсе особую информационную среду составляет память колхозников. Она является источником исторических обобщений таких явлений прошлой эпохи, как колхозная жизнь, военное время, формирование полиэтнического общества путем насильственных перемещений целых народов. Ее изучение позволяет проследить, что стало с мировоззрением крестьян после создания колхозов в 1930-е гг., проанализировать, как сформировавшееся мировосприятие выдержало испытание Великой Отечественной войной и оценить последствия для исторического сознания в последующую историю колхозов (1950–1980-е гг.). Устноисто-

рическое изучение колхозной деревни с упором на 1940-е гг. показывает, что происходит с памятью во времени, и дает источниковый материал для решения сформулированных Фришем вопросов: что происходит с жизненным опытом отдельного человека, когда этот опыт становится историей? Что происходит с жизненным опытом отдельного человека, кода этот опыт становится памятью? Что происходит в отношениях межу памятью и теми историческими обобщениями, которые делает историческая наука, по мере того как эпоха, с которой связан напряженный коллективный опыт, уходит в прошлое? Для решения этих вопросов необходим «широкий спектр отдельных человеческих жизней» в тяжелую пору советского колхозного строя (1940–1950-е гг.).

Устные исторические источники показывают воздействие колхозной модели экономического и социального устройства, войны, депортации народов на жизнь людей, их поведение, их понимание того, что происходило и происходит с ними и вокруг них. Вспоминания-интервью дают материал о способности российского общества, находящегося под угрозой (война), к самосохранению, показывают отношение людей к государственным и общественным институтам, когда военная разруха требовала принять либо отвергнуть новые советские (колхозные) ценности, содержат в открытой или завуалированной форме информацию о том, почему рассказчикам так трудно критически подойти к своему прошлому. В устных источниках об экстремальных условиях «переломанного» времени 1940-х гг. маркируются истоки традиционной культуры (русской, немецкой, калмыцкой и др.), ее адаптационных качеств, источников терпеливости и одновременно содержатся советские ценности, формировавшиеся в рассматриваемое время. Поэтому устные источники позволяют исследователям взглянуть на те же события с точки зрения современности, увидеть контрастные точки зрения.

Содержательной основой устных исторических источников о повседневной жизни в колхозной деревни Алтайского края являются биографические интервью. Устные рассказы-воспоминания колхозников позволяют прийти к заключениям, релевантным для социальной системы, вернее колхозной подсистемы советского общества. Можно провести аналогию между биографическими и устноисторическими исследованиями, в ходе которых происходит вылущивание «из конкретной биографической истории… конституирующих социальную типику моментов» и анализируется, «при каких условиях индивид „примеряет“, перенимает типичную жизненную конструкцию, внося в нее индивидуальное своеобразие, каким образом вообще складывается тот или иной социальный тип» [4, с. 9] — тип советского колхозника. Особенно эффективно социальная типика познается при выявлении «связи между биографией как субъективной конструк-

цией, и биографией как социальной действительностью». Для нас это интересно в связи с таким социальным экспериментом, как советские колхозы, и значительной частью советского общества — советскими колхозниками. Тем более, что пока еще живы участники колхозной жизни, составляющие самую массовую группу современного сельского общества и хранящие непосредственную память о событиях.

4.1. Колхозы и повседневная жизнь на нижних этажах советского общества: взгляд «изнутри»

На рубеже XX–XXI вв. в свете расширения предметного поля историографии в общем русле гуманитаризации установки устноисторических исследователей предполагают не столько поиск универсальных, общепричинных объяснений исторических явлений и событий, сколько сбор многозначных объяснений и оценок. Прежде всего этот принцип необходимо выдерживать при реконструкции устной истории колхозной жизни. Преимущество устных источников заключается в том, что они доносят до нас информацию о смысле этих событий для их участников. Интервью о колхозной жизни открывают неизвестные стороны событий, проливают свет на неисследованные сферы повседневной жизни крестьян при тех или иных событиях, дают разные индивидуальные оценки повседневной жизни крестьянской семьи. В этом плане субъективность устного источника является уникальной для историка прежде всего при изучении менталитета как миропонимания и умонастроений, определяющих поведение наиболее многочисленных слоев советского общества — «колхозных низов», от которых зависели и характер социальных сдвигов, и советская модернизация. При достаточно большом количестве интервью можно получить «срез» субъективного восприятия колхозниками преобразований государства, повлекших за собой изменения в образе жизни, повседневной жизни, а также представлениях (чаяниях, надеждах, иллюзиях, образах, разочарованиях) колхозников как самостоятельной социальной группы. В этом случае можно говорить о соотношении истории и коллективной памяти, индивидуальной и коллективной памяти, личной и исторической памяти.

При интервьюировании участников принадлежность рассказчика к определенной социальной группе, его социальный статус являются доминирующим фактором при формировании картины или образа окружающего мира. Для устных свидетельств колхозников характерно переплетение сюжетов частной жизни, не столь важной для макроистории, и общественно значимой жизни с сюжетами, имеющими общественный интерес. Их переплетение, собственно, и создает аромат эпохи, в которой личная и семейная жизнь являлись частью общего процесса, составляли повседневную колхозную жизнь как спектр частного и публичного исторического

действия. В конечном итоге они создают целостное представление о такой исторической социальной группе, как колхозное крестьянство. Их рассказы отражают историческое сознание живущего и уходящего советского поколения, реконструируют повседневную жизнь колхозного общества. При этом определение повседневности, данное коллективом авторов (В. Ф. Козлов, Я. В. Леонтьев, И. Л. Щербакова), как раз и показывает огромное значение устных исторических источников для ее изучения: «Повседневность — это обычное ежедневное существование со всем, что окружает человека: его бытом, средой, культурным фоном, языковой лексикой. В историю повседневности входит многое: детские игры, книги, которые читают, фильмы, которые смотрят, песни, которые поют, одежда, которую носят представители разных социальных групп в разные исторические периоды. Всем этим наполняется повседневность, и это играет огромную роль в формировании человека» [5, с. 5]. Можно согласиться с авторами, что «именно в анализе повседневной жизни — ключ к разгадке часто возникающего при знакомстве вопроса: как могли люди выжить и сохранить человеческое достоинство в экстремальных условиях революций, войн, террора, голода, послевоенной разрухи» [5, с. 6]. Все эти испытания легли на людей колхозного строя.

В таком случае срез субъективного восприятия колхозников будет отражать достоверность (объективность) устного толкования, прежде всего в плане адекватного отражения того, что люди делали в прошлом, как они думали тогда, в период преобразований, и как они теперь относятся к тому, что они делали в прошлом. То, что мы определяем для себя как «субъективная объективность», Е. С. Сенявская называет «субъективной реальностью». Более того, для решения таких научных проблем, как воссоздание атмосферы исторической эпохи, ее психологического фона, менталитета больших и малых групп, нужны адекватные источники, прежде всего личного происхождения, отражающие внутренний мир человека, который и является субъективной реальностью или субъективной объективностью. Для истории повседневности субъективные источники важнее обезличенных официальных источников, фактологически отражающих социальное бытие. Именно через субъективную реальность жизни колхозников можно проникнуть в мир советской эпохи, выявить побудительные мотивы социального и повседневного поведения человека. Мнения и представления людей о прошлом меняются под влиянием текущих событий, результатов преобразований. Требуют осмысления и истоки социокультурных предпочтений такой значительной социальной группы, как колхозное крестьянство, их эволюция под влиянием советско-социалистической модернизации. В качестве примера динамичности устного источника можно привести рассуждение о колхозной жизни Е. И. Скирдовой, в ко-

тором проявляется противоречивость чувств, борьба старых и новых представлений, сравнение прошлого и настоящего: «До 53-го года *плоховато* было, а затем *получше*. Хотя сейчас мне эта жизнь [современные процессы в деревне] не нравится. Я была довольна той жизнью… *Работали дружно, с песнями*. Отдача была большая. А *сейчас материально живут хорошо, а морально плохо*…».

В устной истории советской колхозной эпопеи одним из сложных вопросов, встающих перед историками-практиками, является попытка понять, каким образом и по каким причинам бывшие колхозники интерпретируют свой опыт, объясняют явления прошлой жизни, делают обобщения целой эпохи. Необходимо обращать внимание и на то, какие слова они подбирают для интерпретации, какие исторические понятия используют, применяют ли агитпроповские фразы для того, чтобы дать свою оценку исторического прошлого, представить свой взгляд на прошлый жизненный индивидуальный и коллективный опыт. Для историка важно осмыслить меняющееся соотношение самих воспоминаний и обобщений, рефлексии, суждений об историческом прошлом и конкретных данных.

Устные свидетельства колхозников показывают, что в основе динамичности оценок колхозной жизни лежит сравнительный принцип. В интервью колхозников обобщающий характер носит сопоставление повседневности трех периодов в развитии деревни: советская доколхозная деревня (1920-е гг.), советская колхозная деревня (1930–1970-е г.) и постсоветская деревня (с середины 1980-х гг.). В рассказах о жизни колхозного общества на каждом из этих отрезков маркируются кардинальные изменения во всех сферах жизни, к которым вынуждены были приспосабливаться в своей повседневной жизни крестьяне, и каждый из них являлся самостоятельной ступенью модернизации сферы представлений, ценностей, жизненных установок, мироощущения. На этих уровнях объектами сравнения выступают прежде всего мотивации к труду, в соответствии с которыми изменялись жизненные ценности крестьян, и критерии «хорошей» и «плохой жизни». Например, в доколхозной жизни в основе оценок благополучия лежали прежде всего производственно-хозяйственные критерии: «скота много было», «хлеб сеяли себе» и т. п. В колхозной жизни, как показывают устные источники, на первый план вышли факторы материального обеспечения колхозной семьи, формировались представления об идеальной жизни как сытой жизни. Символом сытости выступает в первую очередь хлеб.

В устной традиции бытописания колхозной жизни сложилась парадоксальная двойственность оценок, когда наряду с негативными и отрицательными настроениями, отражающими трудные условия производственной и повседневной жизни в колхозах, звучат высокие оценки других ас-

Заседание правления колхоза в с. Малый Бащелак (Чарышский р-н). Из фондов Чарышского краеведческого музея

пектов жизни колхозного сообщества — общественной атмосферы, организации социально-культурной базы села. В устных повествованиях, с одной стороны, бывшие колхозники описывают тяжелые условия труда, указывают на гражданскую бесправность колхозников, подчеркивают несоответствие материального вознаграждения вложенному труду. С другой стороны, в воспоминаниях об этом тяжелом времени звучит теплота, как рефлексия на положительную оценку человеческих взаимоотношений: «Вообще там было лучше. Все праздники справляли под художественную самодеятельность. Отпашут — праздник, засеют — праздник... *Народ был дружный, тогда все были равны. Не было ни богатых, ни бедных.* Тогда кто хотел, тот жил. *Дисциплина была крепкая.* За нарушение дисциплины штрафовали, забирали трудодни...» (Н. И. Петров, Смоленский район). Можно привести много аналогичных по содержательности оценок: «Колхоз все года держал Красное знамя. Люди работали, *как одна семья...*» (Н. Е. Первутинская); «Мы *весело жили*, пели, танцевали. И в Михайловку ездили выступать. Тогда *комсомол в моде* был. Так мы, комсомольцы, и картошку сажали, и все делали... Раньше люди *лучше жили, веселее,* всегда и песни пели и танцевали...» (З. М. Шишаева, Михайловка, Третьяковский район).

В этих отрывках проявляется эволюция структуры сознания под влиянием советской (социалистической) модернизации, одним из орудий которой являлась организация коллективной жизни, общественных форм производства, социалистического соревнования и т. д., которые способствовали трансформации коллективного менталитета, изменяющегося в конкретной культивируемой советской культуре, которая, пользуясь определением И. Г. Дубова, «позволяет описать своеобразие видения этими людьми окружающего мира и объяснить специфику их реагирования на него». Советские социокультурные ценности ложились на традиционные ментальные установки, в том числе и потому, что прививались в духе коллективности и соборности. В этом случае менталитет советского человека являлся преемником крестьянского менталитета: «Уже *после войны мужики попришли*, стали жениться. Постройки нету. Лить [дома] стали себе… Солома да глина. Вот сделают, вот как щас делают плахами. И так же там лили. Только солома и глина, а больше ниче… Вот *мужики соберутся, вот ежели помочами — помочь соберут. У нас колхоз был дружный*… Вот если *один начал строить, вся деревня бежит помогать*. Дак быстро строили, *все помогали*…». В данном отрывке из интервью Д. П. Шмаковой ясно прослеживаются традиции «помочей» при крестьянском строительстве, являвшиеся частью традиций общинности жизни сельского общества. В данном случае колхоз, как сообщество, основанное на взаимосодружестве, опиралось на взаимопомощь, круговую поруку, традицию взаимопомощи и взаимоответственности всех членов земельно-приходской общины.

Как правило, подобная рефлексия часто встречается в рассказах представителей колхозного поколения как реакция на негативные деревенские реалии сегодняшнего дня. Под влиянием современных неблагоприятных материальных и духовных условий, игнорирования в государственной политике трудовых и общественных заслуг рядовых колхозников, пересмотра прошлых ценностей, основанных на культивировании трудовой рабочей и крестьянской славы информанты ищут в своем прошлом, находят и передают в своих оценках положительный образ, связанный с советским отношением к труду и трудовому человеку. И их симпатии в толкованиях прошлого и настоящего — на стороне советского образа жизни, с его опорой на коллективное начало и уважение к сельскохозяйственному труду, а не на стороне индивидуализма, культивируемого современной модернизацией общественного сознания. В этом смысле можно говорить, что советская модель модернизации в определенной степени и в конечном итоге была принята (абстрагируясь от способов внедрения этой модели) крестьянами, в отличие от современной модернизации, которая декларирует преобразования с опорой на традиционные для европейской системы мировоззрения прагматизм, индивидуализм, рационализм, т. е. те

принципы, которые вступают в противоречие с ментальностью сельского населения. Здесь есть над чем задуматься историкам, и это повод обратиться к устным источникам.

Вероятно, попытка использовать устные источники для выявления изменений ментальных установок за такой короткий промежуток времени является достаточно уязвимой. Один из основоположников нового направления истории ментальностей А. Я. Гуревич считал, что «для обнаружения мутаций в установках» нужен «необычайно широкий временной диапазон исследования», так как «ментальность, *как правило*, изменяется исподволь и очень медленно (по выражении Ф. Броделя, это «темницы, в которые заключено время большой длительности»), и эти *неприметные для самих участников исторического процесса смещения* могут стать предметом изучения истории лишь при условии, что он применит к ним большой временной масштаб» [6, с. 117–118]. Свой принцип изучения ментальности он реализовал, использовав возможности исторического источника за период с раннего средневековья и до наших дней. Однако специфика советской ментальности в том, что низшие страты общества взяли на вооружение и актуализировали из имеющегося в их распоряжении «ментального фонда» те идеи, которые позволяли им выжить в данном обществе. Крайнее напряжение физических сил и работа «на износ» — это арсенал традиционных ментальных крестьянских установок, а дух соревновательности, стремление к моральному поощрению — это сдвиги в мировоззренческой системе под влиянием уже советско-партийных установок. В результате действия этих внутренних и внешних факторов и развивалось новое социальное сознание как база советской ментальности.

В устных источниках существует огромное количество материала, подтверждающего процесс впитывания колхозниками новых советских умонастроений на индивидуальном уровне, то, что И. Г. Дубов определил как индивидуальный менталитет: «присвоенные конкретным индивидом специфические для данной культуры способы восприятия и особенности образа мыслей, выражающиеся в специфических для данной общности формах поведения и видах деятельности» [7].

Устные источники показывают, что колхозное сообщество под влиянием советской пропаганды скорректировало свое «мировидение». Народное восприятия и впечатления, фиксируемые в процессе интервьюирования, показывают, как упорядочивался в заданном направлении «комплекс основных представлений о мире» (образ/картина мира) в сознании колхозника. Устные источники являются кладезем материала, по которому историк может определить и оценить «принадлежность индивида к определенному социуму и времени» [8]. Одно дело, если интервью давали доярка или поярка, другое дело — представитель сельской интеллигенции, воспи-

танный советской системой, как, например, З. М. Шишаева, которая «вечером завклубом работала, а днем — заведующей садиком». Устные источники показывают, как менялась картина мира, как формировался важнейший компонент структуры коллективного и индивидуального менталитета советского колхозника — кодекс поведения на уровне высших и нижних этажей колхозного общества.

Именно устные источники позволяют взглянуть на многие проблемы советской истории с другой стороны. Поиск новых подходов в изучении советской эпохи зависит в первую очередь от честности историка-исследователя, который должен противостоять политической и идеологической конъюнктуре, в том числе и современной, не идти на поводу идеологического заказа в оценках прошлого. Речь идет как о подготовке источников к публикации, так и об их использовании в научной интерпретации или историческом повествовании. Если в советское время колхозно-совхозное строительство описывалось как цепь достижений в парадных тонах (со знаком плюс), то в постсоветское время жизнь в колхозе также стала представляться односторонне, но со знаком минус. В этом смысле важным представляется замечание Е. С. Сенявской: «В начале 1990-х гг. под лозунгом изучения „белых пятен истории“ получила распространение другая крайность — печаталась только „чернуха“, при этом очень часто из публикуемых документов, в том числе и писем, старательно убиралось то, что не соответствовало „новому взгляду“ на наше прошлое» [9, с. 38].

Например, сквозной проблемой исследования колхозной повседневной жизни являлась мотивация производственной и общественной жизни колхозников. Производительность труда в колхозах, дисциплину крестьян, их трудоспособность, в отличие от доколхозного периода, нельзя объяснить только материальными стимулами. В устных источниках отсутствует связь между трудом, вложенным в колхозное производство, и материальным благополучием семьи: «Нам трудодни начисляли. *Есть нет шибко*, зерна-то нет. Хлеб-то государству сдают, а себе-то измолотят суррогатчик, да и то мало». Колхозники, не понимая причин такой ситуации, отражают противоречие, заложенное государственной политикой в колхозное производство. Государство декларировало, что благосостояние колхозников должно напрямую зависеть от уровня экономического развития колхозов, членами которых они являлись. Однако в результате специфической системы ценообразования на производимую колхозами продукцию колхозы вынуждали в обязательном порядке реализовывать большую часть производимых продуктов государству по его же строго установленной цене. В результате государство изымало не только прибавочный продукт, но и часть необходимого. Поэтому материальное благосостояние колхозников зависело от трудового участия в общественном про-

Собрание колхозников с. Малый Бащелак. Фотоархив Чарышского краеведческого музея

изводстве едва ли не в последнюю очередь. Государство же не несло никакой ответственности за положение колхозников — если доход крестьянина оказывался слишком мал, это означало, что он плохо работал. Отсюда многочисленные партийно-государственные постановления о повышении эффективности труда. Сопоставляя партийно-правительственную доктрину и устноисторический материал, можно сделать вывод о масштабной оторванности политики от повседневной деревенской жизни.

Несомненно, как показывают устные источники, большую роль в безоговорочном выполнении государственных заказов, особенно в войну, играли чрезвычайные меры, применяемые к нарушителям дисциплины и «расхитителям» колхозного (государственного) добра, в которых виделись виновники ухудшения положения колхозников. Но прежде всего воспоминания крестьян показывают особый психологический настрой, созданный как во всем государстве, так и в трудовых коллективах: стремление работать хорошо, быть лучше товарищей в труде, отличиться: «Ну *норма* пусть по 50 снопов повязать. Ну, а где же мы? *Мы по две нормы*. Да *нам надо больше*. *Были дурны*. Чтобы как бы мне ухватить, чтобы я от своего товарища да от своей подруги отстал?! *Уж не намного, да чтобы я побольше*. Вот так и бегали, как дураки. А сейчас и руки болят, и спина болит. А были люди похитрее, они и сейчас здоровы» (А. И. Фефелова).

Колхозная пилорама. Чарышский р-н. Фото из фондов Чарышского краеведческого музея

Отражением новой ситуации является то, что трудовой режим, уровень жизни колхозников респонденты стали связывать не с личными качествами членов семьи как производственной ячейки сельского общества, ее половозрастным составом, трудовыми навыками, а с руководителями коллективных хозяйств. Как образно сказала Н. Е. Первутинская (с. Шипуниха), «*некогда нам молодежничать*. Бывало, соберемся на топтогон [место для встреч и гуляний молодежи], *а бригадир приедет, разгонит*». А ее муж Н. В. Первутинский (1927 г.) вспомнил, что после войны «в 46-м году пришел домой, поесть нечего было. Хорошо, сухпаек давали. Мать, правда, коровенку держала. Так теленка отпоишь 20 дней — и сдай его в колхоз. Шерсть с овечки, овчину сдай. Тут еще *председатель Григорьев ущемлял по-всякому. Отсебятину гнули. Как район постановил, так и будет. Колхозников не брали во внимание... Доводили даже планы*, что на своих коровах боронили, на каждую семью определенный план...». По мнению рядовых колхозников, от председателей зависела жизнь целого сельского общества, тогда как в доколхозный период возможности определялись семейным производством.

Устные свидетельства показывают, что переориентация руководящего звена на социалистические ценности произошла быстрее, чем у рядовых колхозников. Во многих интервью рядовых колхозников основным контекстом выступает констатация того, что у руководителей коллективных хозяйств на первое место вышли обязательства перед государством, а не перед членами колхозного общества, а главным действующим лицом собы-

тий в советской истории, в отличие от воспоминаний единоличников, становится государство. В их рассказах государство предстает абстрактной, но всемогущей силой. Респонденты подчеркивают зависимость своих председателей от государства, что можно обозначить как «огосударствливание» мышления управленцев. Поэтому в оценках колхозниками своих председателей упор делается на то, как они выстраивали свои отношения с государством, помнили ли они интересы тех колхозников, которые их выбрали, какие мотивы лежали в основе их деятельности. Среди менее благоприятных для «безгласого меньшинства» мотивов поведения председателей оказалось стремление выслужиться перед государством, получить от него поощрение.

Надо отметить, что такие основания были: для административно-управленческого персонала колхозов — правления во главе с председателем — государство стало постепенно формировать систему льгот (увеличивающиеся административные расходы позже будут являться одним из аргументов в пользу объединения колхозов в 1950-е гг.). Так, для административных работников была выработана система оплаты, принципиально отличавшаяся от принятой для остальных категорий колхозников и служившая своеобразной социальной гарантией. В частности, в зависимости от размера годового дохода колхоза председателям ежемесячно начислялась денежная доплата, 70% которой выплачивалась «авансом», остальное — в конце года. Вне зависимости от сезона и времени года, с учетом посевной площади колхоза и поголовья скота председателю начислялись дополнительные трудодни. В результате количество трудодней председателя в любом случае превосходило число рабочих дней в году и могло значительно превышать 1 000. Начислялись дополнительные трудодни и при перевыполнении колхозом планов, а при недовыполнении — списывались. Остальные члены правления (в соответствии с рангом) получали фиксированный процент от итоговой доплаты председателя и начисленных трудодней. Такой подход стимулировал деятельность руководителей колхозов в пользу государства, а не того сообщества, которое его выбрало, так как его материальное положение мало зависело от объемов производимой аграрной продукции и возможности пополнения фонда оплаты труда, как это было у рядовых колхозников. Да и полномочия председателя, несмотря на его формальное подчинение общему собранию колхозников, почти не были ограничены правами трудового коллектива, тем более, что колхозники не имели профсоюзных организаций, в отличие от рабочих, например, лесхозов или совхозов, что делало их более зависимыми от правления.

Примером может служить рассуждение-сравнение колхозной жизни в соседних селах Алтайского района (Д. Н. Агапов, с. Алтайское): «В Филелее-

Собрание колхозников в с. Красный Партизан (Чарышский р-н). Фото из фондов Чарышского краеведческого музея

вом земли, очевидно, лучше были, и обрабатывались дружно, и жили. *Председатель был честный.* Хлеба были богатые, руки золотые. День и ночь пахали, работали. *Умели и государству сдавать и себя кормить.* А *в Лежаново государству хлеб сдавали — Героя получали, а люди голодовали*. В *Сорокино-то нищета была*, а в Верх-Каменке — вообще в тайге, где они там сеяли — даже не знаю. *Ходили голые, в мешках*: один сходит в этом мешке на танцы в Лежаново, второй идет». В этом интервью предстают по крайней мере три типа председателей: первый председатель (Филелеев Лог) — хороший хозяин, пытавшийся в условиях государственной монополии на результаты труда учитывать интересы колхозников; второй председатель (Лежаново) работал ради государственных наград; третий председатель (Сорокино, В.-Каменка) являлся нерадивым хозяином.

Повседневная жизнь крестьян в колхозный период освещается в устных свидетельствах респондентами с разных жизненных позиций. Судьбы людей, исследованные в ходе интервью, показывают, что в контексте кардинальных социальных изменений на селе происходило взаимодействие

человеческих жизней с историческими процессами. Глубокие экономические сдвиги, завершившиеся переориентацией хозяйственного образа жизни сельчан, сопровождались формированием новых моральных ценностей. Но способность адаптироваться к историческим изменениям была различной у разных респондентов в зависимости от опыта всей их предыдущей жизни. Старое поколение оказалось менее гибким. Их оценки колхозной жизни более жесткие. В воспоминаниях старого поколения колхозников, вступивших в колхозную жизнь из единоличной, даже если они тогда были подростками или детьми, отразилась безысходность колхозной жизни. На первом месте в их воспоминаниях стоит работа «за палочки» (трудодни) с возможным расчетом после уборки и реализации урожая: «Работали в колхозе за палочки, — вспоминает Р. Ф. Клещева, — одна палочка — 1 руб. 20 коп., 1 руб. 50 коп. Заработала, например, 300 палочек. Потом деньги подсчитывали и вычитали за питание в столовой, за пастьбу скота, за садик и за шерсть, что колхоз давал. *Другой раз за деньги распишешься и должен останешься*. Жили только за счет огорода. Что посадишь, то и поешь». М. К. Останина рассуждала об оплате труда: «Да, нам платили — палочки ставили. День отработаем — палочку поставят... Палочки ставили, а потом стали трудодни нам начислять. *Я триста шестьдесят трудодней заработала... первенство занимала*... Мы за трудодни работали в поселке, палочки ставили. Надо было мне у Дуськи взять свою книжку, щас бы показала, как нам палочки ставили».

В колхозное время натуральный расчет труда привел к созданию в избах колхозников своеобразных закромов, которые заменили крестьянские амбары. Вот как описывает представительница старшей группы колхозников Д. П. Шмакова хранение заработанного на трудодни зерна: «Полати, под полатями вот тут вот *закром с хлебом стоял — пшеница*... У нас почемуй-то у всех закрома были в доме... Сколько тебе приходится [хлеба], на год. Осенью, вот *как хлеб приберет* [колхоз], *и давали нам осенью. Сколь заработаешь*. Вот эта пшеница, даже мы прыг, прыг с печки-то [вниз на пшеницу]... Тут стена, вот тут загородишь досками, прикроешь тряпками... И полный насыпали его, ровно. Большой закром был у нас. И там и спали вот на этом хлебе, ага. И поедет [отец на колхозную мельницу], глянь, и смелет. Везет отец. Молол. Мельница была, слушай, три километра от Соцмаяка... наш колхоз строил, сам колхоз строил ее». Так колхозники сравнивали стоимость и результаты своего туда при единоличной жизни, когда под зерно не хватало амбаров, и в колхозах, когда заработанный на трудодни хлеб помещался под полатями в закромах. И только после войны, как оценила Д. П. Шмакова, «*хто работает — тот и получает, а кто не работает, тот, вот... Ну, это редко. ...Ну получишь 2,3 или 4 сентнера, это же разве хлеб? Были и такие. Мы с мамой много*

зарабатывали. Хватало круглый год, от нови до нови. Не покупали ни разу. Ну, *смотря какой год, как получишь. Но вообще оставался* [хлеб после сдачи государству, из которого, за вычетом семян, рассчитывались за трудодни] *в последние годы*». И. Е. Ундолов говорил: «Работали тогда за трудодни, выдавали их в конце года, хлеба давали по 5–6 кг на трудодень, позже деньгами давали». Но в основном в колхозах деньги на трудодни колхозникам не выдавались из года в год, даже в послевоенные годы. Недостаток денежных средств на покупку промышленных товаров или продуктов питания могли бы восполнять натуральные выдачи на трудодни. Однако их структура (зерно, мед, сено, солома, отруби) и размеры были несоразмерно малы и не позволяли не только удовлетворять потребности, но и вести подсобное хозяйство. В частности, уровень выдачи кормов на трудодни не позволял бы вести домашнее хозяйство, если бы колхозникам не давали возможности проводить выпас своего скота на колхозных лугах и получать часть сена при сеноуборочной кампании.

Типичность жизнеописательности в интервью колхозников подтверждает вторичность материальных факторов жизни в советской трудовой модели и полную индивидуальную зависимость от общих колхозных результатов: «работаешь весь год, придешь в конце года» за хлебом. Таким образом, результаты участия в трудовой жизни колхозного коллектива были непредсказуемы, измерялись той продукцией, в производстве которой участвовали колхозники. Так, «отец-то работал заместителем в колхозе, а потом, кода колхозы разъединили, он пошел пщеловодом. Пщел держали колхозных. Хороша была колхозная пасека, мед, соты. Давали на трудодни мед» (Д. П. Шмакова, с. Усть-Калманка). Но все же основным, а иногда и единственным способом оплаты труда оставалась выдача зерновых. Выдача таких важных и необходимых продуктов питания, как картофель и другие овощи, оставалась символической. Но при такой системе оплаты труда в едином колхозном коллективе в первую очередь поддерживали трудоспособное население, остальные категории колхозников обеспечивались по остаточному принципу, особенно в малодворных колхозах. Сами колхозники говорят об этом так: «Ни хлеба, ну хлеб-то у нас свой был, мы по хлебу не горевали. Ну а некоторым хлеба даже не было, какие *вот старухи оставались и им трудодней не было*, и хлеба не было. А как жить? Получали 8 рублей пенсию, и все. Чё тут?» (Д. П. Шмакова, с. Усть-Калманка). Но для колхозников большое значение имели, кроме хлеба, не только другие продукты питания для членов семьи, но и корма, сено и солома для ведения домашнего животноводства. Объем распределения кормов также не соответствовал уровню, необходимому для прокорма домашней скотины.

Колхозная система вынуждала крестьян приспосабливаться к государственной, по сути оброчной, политике, заставляла искать способы по-кре-

стьянски защититься. В интервью можно найти примеры «скрытого» саботажа, направленного против государственного оброчного бремени на уровне как правления колхоза, так и рядовых колхозников. В частности, одним из организованных путей являлось «неоприходование» полученного урожая или продуктов (сокрытие от госучета), когда часть урожая тайно раздавалась колхозникам, а неучтенный молодняк продавали на сторону и выплачивали деньги колхозникам. Были и другие пути незаконных выплат. Так, в Пуштулиме Ельцовского района «в колхозах выдавали зерно по ведомости несколько раз. На первый раз поставят точечку, чтобы ревизор не мог поймать. А когда уже люди второй, третий раз получали — расписывались» (Н. М. Игловский, с. Новоиушино). В этом случае председатель нарушал закон в интересах колхозников, как и в других зафиксированных случаях, когда часть собранного хлеба не оприходовали, утаивали от государства, чтобы раздать его членам колхоза. В определенной степени такие случаи можно идентифицировать как экономические формы протеста колхозников, так как на официальном уровне они рассматривались как «покушения на колхозную собственность». Формы такого поведения провоцировались самой государственной политикой в отношении колхозов, приводившей к полному изъятию хлеба. Это проявлялось и в индивидуальных хищениях, особенно во время уборки урожая. Но их нельзя назвать стремлением крестьян к наживе или обогащению. Они никогда не выходили за рамки борьбы с голодом. Вот как рассказывали колхозники о поведении государственных уполномоченных в колхозе села Малиновая Грива: «Приезжал уполномоченный из Тогула, и пока колхоз не сдаст все зерно — не уезжал. Оставляли только семена. Когда приезжал, забивали ему барана[1]. Жил у председателя. И когда уезжал, ему давали барана. Иногда даже семян [после сдачи государству зерна] не хватало, приходилось весной докупать» (В. К. Сидоренко, с. Новоиушино).

Факты приспособления проявлялись и в индивидуальных нарушениях, которые колхозники не одобряли, но воспринимали с пониманием. Среди них «хищение и растаскивание колхозного имущества» — хлеба, мяса, дробленки, сена и т. д. Действительно, в условиях низких доходов крестьянской семьи жители часто относились к колхозному имуществу как к одному из источников существования. Доказательством служит тот факт, что расхищались в основном продукты питания и корм для скота. Так, «приемщики молока занижали при приеме молока жирность [налог составлял на одну личную корову 300 л молока жирностью 4,4%], чтобы себе иметь, на сторону продать [могли покупать те колхозники, которые ко-

[1] Кстати, председатели колхозов для таких особых случаев шли на утаивание части скота от госучета, хотя они при этом рисковали, ибо это рассматривалось как «разбазаривание колхозного имущества».

ров не держали, но их не освобождали от сдачи молока в объеме 300 л]... И крестьянину, чтобы сдать положенное [если молоко имело менее 4,4% жирности, то объем сдаваемого молока увеличивался], приходилось сдавать сверху нормы, они [приемщики молока] его продавали...» (Н. М. Игловский, с. Новоиушино, Тогульский район).

В результате государство объявило борьбу с «государственным расхитительством». Об отношениях с государственными органами, общественным народным контролем колхозники говорят неохотно, хотя и не отрицают вынужденных хищений: «Женщина-технолог была, она продавала [с колхозной молоканки] масло на сторону. А оставшееся разбавляла до нужного веса. И однажды грянула ревизия. Она разбавить не успела и, чтобы скрыть недостачу, поставила три пустых ящика. А проверяющий простукал все ящики и нашел пустые. Ее вызвали уполномоченные... Арестовали. А потом она из конторы завода попросилась в туалет. Он был под яром. Ее нет и нет. И пошли смотреть. А она выломала ногой плаху и убежала... Так и ни разу не видели ее больше...» (Н. М. Игловский, с. Новоиушино).

В этой ситуации государство создало жесткую систему надзора и наказания. Самым страшным для колхозников являлись подозрения или обвинения не только в хищениях, но и во вредительстве и саботаже. В Пуштулиме «был тракторист. Трактор старенький, ломался постоянно. Его как саботажника посадили». До сих пор бывшие колхозницы помнят, как боялись в их семьях, когда в колхозах происходил падеж скота, пожар в риге и т. д. И. А. Инатьева рассказывала, как она плакала, когда ее отправили работать пояркой вместо женщины, которую судили за падеж телят: «Поярками боялись работать. Тогда скот часто болел — эпидемии [ящур, сибирская язва, туберкулез, бруцеллез и др.]. А разбирались не всегда. Вона сколь женщин [их обычно обвиняли в умышленном вредительстве] посажали».

В условиях государственного податного бремени на общественное колхозное производство основными источниками существования в своих воспоминаниях-интервью колхозники называют личное подсобное хозяйство, домашние промыслы, собирательство, рыбалку. Колхозник, не рассчитывая в материальном обеспечении на доходы от своего труда в общественном хозяйстве, полагался только на индивидуальное подсобное хозяйство. Именно оно обеспечивало его семью продуктами животноводства и деньгами за счет продаж излишков продукции. Поэтому на второе место в интервью пожилых колхозников о своей жизни в колхозный период выходит грубое регулирование размеров подсобного хозяйства. До 1953 г. личное подсобное хозяйство находилось под мощным налоговым прессом со стороны государства. Законом предусматривалась только

50-процентная льгота колхозникам пенсионного возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60), и то если трудоспособные родственники не помогали им. Если же, например, сын помогал своей престарелой матери наколоть дров или вскопать огород, то он лишал ее права на льготу. Устные свидетельства колхозников нижних этажей деревенского общества воспроизводят ситуацию, когда труд колхозников фактически был неоплачиваемым, а высокие налоги на собственное хозяйство вели к полуголодному существованию. А. Я. Еремкин (Тальменка) объяснял так: «А то ведь как было? *Корову держишь — молоко сдать надо. Полторы шкуры сдать надо.* Да, с овцы полторы шкуры. Значит. Яйцы... Все, значит, это все сдать... *Поросенка ты опалить не имеешь, значит, права... Шкуру сдать надо».*

А. Т. Немчинов вспоминает, что прикрепленность к колхозам не давала людям выбора — платить или не платить: если «держишь скотину, то плати»: «Свиноматку имели право держать, 1–2 овечки. *А если овечку держишь, то остриги, шерсть сдай, а потом еще и овчину сдай...*». Именно по этой причине, по его же мнению, даже при отсутствии паспортов «всякими неправдами народ уезжал. В то время *Сталина боялись и все равно доставали документы...* Из Ивановки уезжал наш народ в Лениногорск, когда железную дорогу строили. *Сами убегали отсюда.* И при Сталине убегали...». Г. М. Никитин (с. Ивановка, Третьяковский район) прямо говорит: «*Налоги душили*, особенно при Сталине. *Судили тогда...* налоги были, *платить было нечем. Раньше ночью пойдешь косить, литовку сломают.* Я только Маленкова хвалю... *Когда налоги сбавили, мы хоть зажили*».

Как показывает последний отрывок, истинный смысл политики государства по отношению к индивидуальному подсобному хозяйству не всегда доходил до сознания крестьян, хотя респондент правильно отразил двойное налогообложение колхозного двора — денежное и натуральное. Как известно, в 1946 г. государство отменило чрезвычайный военный налог, введенный с 1 января 1942 г. дополнительно к денежному сельскохозяйственному и носивший подушный характер [10, с. 85]. Сельскохозяйственный же налог действовал с 1939 г., имел обременительный прогрессивный денежный сельскохозяйственный характер. Его ставки зависели от доходности, устанавливаемой государством, вне зависимости от реальных поступлений с каждого колхозного двора. Часто нормы превышали фактический доход. Крестьяне ежегодно обязаны были оплачивать каждую голову домашнего скота, каждую «сотку» земли, даже каждое плодовое дерево или ягодный куст, а также определенный процент от «неземледельческих заработков». Но в июле 1948 г., спустя два года после отмены военного чрезвычайного налога, ставки сельскохозяйственного были несколько повышены, так как, по мнению государства, произошел рост дохо-

Прополка огорода (с. Новоиушино, Тогульский р-н). Фото 2005 г.

дов колхозников от индивидуального подсобного хозяйства. В результате, по подсчетам историков, больше половины дохода крестьян в колхозном производстве уходило только на оплату налога на корову, а еще надо было расплатиться за остальной скот, за землю и т. д. Таким образом, отказавшись от прямого административного запрета на содержание коровы (как это было в начальный период массовой коллективизации) государство использовало в 1930–1940-е гг. (до 1953 г.) политику непосильного налогообложения, имевшего характер скрытых экономических мер борьбы с подсобным хозяйством, чтобы сдерживать его развитие.

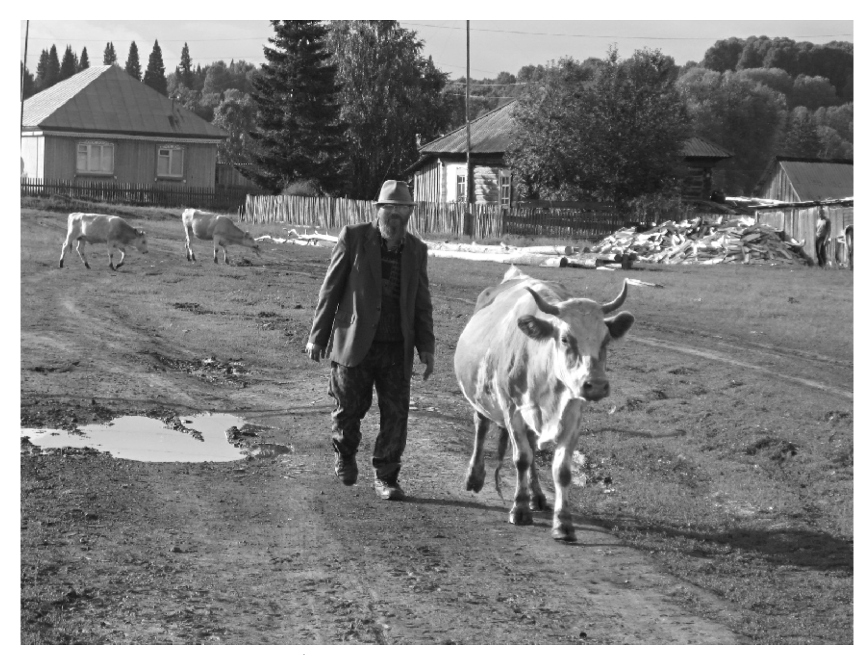
Но кроме денежного налога колхозный двор выплачивал и натуральный, так называемые «государственные поставки», причем (в отличие от сельскохозяйственного) независимо от поголовья скота в личной собственности и вида возделываемых культур. Обязательной для всех дворов являлась сдача молока. Госпоставки молока можно было заменять эквивалентной сдачей масла, мяса, сала и т. д. Заготовительные цены были крайне низкими, можно сказать, символическими (например, 1 л молока оце-

Козы на домашнем подворье (с. Быстрый Исток). Фото 2007 г.

нивался государством в 25 коп. при государственной розничной цене в 5 руб. в 1947 г.; 1 кг мяса оценивался в 14 коп. при розничной цене 32 руб. и т. п.). Кроме молока, колхозный двор должен был сдавать и другую животноводческую и полеводческую продукцию: мясо, яйца, шерсть, картофель и т. д. Объем регулировался государством. Наибольшее снижение госпоставок произошло в 1958 г. Абсурдность политики проявлялась в том, что колхозник обязан был действительно уплачивать натуральный налог даже с того, чем не владел. Именно эта абсурдность и отражается в интервью колхозников. Они все говорят, что отсутствие в хозяйстве коровы, поросят, овец, коз, кур вовсе не освобождало от обязательств по сдаче молока, мяса, яиц и шерсти. Законом устанавливалось, что «выполнение обязательств по поставке продуктов государству является первоочередной обязанностью каждого... колхозного двора... что преднамеренное невыполнение обязательств будет караться законом» [11, с. 12]. Такая политика государства ставила колхозника в тупик. Чтобы сократить денежный налог, нужно было сокращать поголовье скота, менять структуру и размер посевов, огородов. Но сократить индивидуальное хозяйство или полностью отказаться от его ведения мешал натуральный налог, обязательный даже в отсутствие собственного хозяйства. А главным препятст-

На пастбище. ЦХАФ АК. Ф. 5876. Фотоархив. Залесовский р-н. № 4766.

Стадо с личных подворий с пешим пастухом (с. Быстрый Исток, фото 2007 г.)



Встреча скота с пастьбы (с. Новоиушино, Тогульский р-н). Фото 2006 г.

вием являлась угроза голода, так как колхозники жили только за счет своего хозяйства.

И. Е. Ундолов (с. Михайловка, Третьяковский район) так характеризовал условия ведения своего подсобного хозяйства: «Налоги были, тут [после войны] и *недоимку записывали, последнее отписывали и забирали все*. Вещи выгребали, все увозили. Это до войны было. А после войны — есть куры, нет кур — отдай, есть овцы, нет овец — отдай. *А кто не внесет, того на сборный пункт и работать в Староалейское* [райцентр] *на дорстрой. Наша мать там работала.* А при Хрущеве жизнь стала получше, а лучше всего народ зажил при Брежневе». Именно поэтому недобрая память сформировалась о хрущевской политике, когда после Маленкова новый руководитель начал борьбу против личного подсобного хозяйства, ограничивая указами поголовье скота на крестьянском подворье. М. К. Останина вспоминает: «Так Хрущев что — чтобы свиней не держал, овечек не держали. Я думаю, овечек-то надо. Вот она одна и бегала. На носки напряду. А свиней уже прекратили держать — это уже при Хрущеве».

Таким образом, наиболее негативные оценки повседневной колхозной жизни дают бывшие единоличники, ставшие колхозниками уже в зрелом возрасте. Молодое поколение, родившееся и воспитанное в колхозное вре-

мя, приняло новые ценности и в своих интервью не отделяют себя от советского образа жизни, советского хозяйства и советских форм труда, даже если в своих оценках эти люди близко подходят к обвинению государства в эксплуатации их труда.

Кроме влияния на рефлексию о колхозной жизни возрастных отличий важно учитывать и гендерный фактор. В воспоминаниях о жизни в колхозах выпукло проявляются «мужской» и «женский» дискурсы как определенный культурный императив. Именно в корпусе устных исторических источников историк сталкивается с таким устойчивым бытовым понятием, как «женская логика». На бытовом уровне это означает ее отличие от мужской, а на уровне устной традиции проявляется совершенно в другом — в структуре устных текстов-рассказов и их содержании. Лингвисты М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова характеризуют женскую речь как повышенно эмоциональную, так как основным в рассказах женщин «является не столько изложение внешней, объективной канвы событий, сколько сосредоточенность на раскрытии своих переживаний, эмоций и т. д. <…> Эмоциональность проявляется также в обилии контактоустанавливающих речевых сигналов… Т. е. все повествование строится таким образом, что А. [женщина-рассказчица] активно стремится вовлечь собеседницу в сферу своих эмоциональных переживаний…» Женские истории показывают, что для них в их прошлой биографии важны не столько сами события, биографические достижения, сколько будни жизни, их трудности, их преодоление, т. е. сама жизненная стратегия.

Вот типичный отрывок из женского интервью (М. К. Останина) о повседневных буднях колхозной женской жизни, когда женщины были обязаны работать в производстве наравне с мужчинами: «Моя кума на полосе родила, а я у ей роды приняла. Собрали все, завернули в че попало и повезли. Дней пять дома побыла — она уже на полосе с люлькой… У меня сначала Петя один был. Мама в Пономарях замужем была. Нам тяжело, *замкну одного и ухожу*. Мамы [бабушки] не было. Я *ушла на дойку*, а соседка глядит, спички по всей избе. Говорит: „Ух! А *Маруся-то на дойке*“. А что дети делают? Уж эти занавески — бумажные навешаны были — горят, а они под койкой. „Вы че делали?“ А Петька говорит: „Спички бросали, кто далее бросит“. С Мишкой они это делали А *на работу я потом уходила, на печке их привязывала*. И Мишка на печке привязан был. Чтоб не упал и не разбился… А каво они? Один одного меньше были. А тут ишо *на скотный двор пошла и руку выбила*. Меня привезли сюда уже без руки… *Дояркой работала, дети помогали*. Петька полгруппы [коров] доил, а то не видать мне пенсии. А я не могу, сижу, руки затекли. Вот Петька помогал… матерится… ругается. А Михаил стал Черемушку [кличка коровы] привязывать. А она как дала! Рогом вот таки! Гляжу — вся морда в крови. О! Гляжу, глаза целы, ну

ладно… Петька уже учился в Ново-Бураново [в Спартаке школа была до 4 классов]. А Михаил [второй сын] помогал — привязывал… А потом он уехал учиться… А *на доярку было 20–24 коровы*. А, видишь, *дойка ломалась. Руками доили все…*».

При этом необходимо отметить, что в корпусе всех устных источников, записанных автором, независимо от темы, проблемы, периода преобладают именно женские тексты. На это есть целый ряд объективных и субъективных причин. Среди них — особенности демографической ситуации и неравновесный половозрастной состав старшего поколения, вызванные репрессиями и войной. Не последнюю роль играют и такие факторы, как женская психология, женский характер, в силу которых женщина является главной собирательницей всех семейных историй, деревенских новостей, слухов, пересудов, сплетен, вероятных и невероятных событий, и при этом она готова транслировать их и делает это более охотно, чем мужчина. Поэтому, чтобы формировать полноценные архивы устной истории, необходимо учитывать гендерный фактор и грамотно использовать достоинства как женских, так и мужских устных историй. Они дополняют друг друга и более полноценно реконструируют прошлую колхозную жизнь, так как мужской рассказ, в отличие от женского, имеет сюжетное повествование, т. е. «именно изложение событийной канвы» [12]. Для мужской версии рассказов важны биографические данные человека, в том числе его трудовые достижения, общественная деятельность и т. д.

Речевое и ролевое поведение женщин при интервьюировании организовано так, чтобы вызвать реакцию собеседника, его сочувствие. Потому, в отличие от мужских историй, структурная организация женского повествования (а затем и текста) является толковательной — растолковывающей, как и почему все происходило, с образным описанием деталей повседневной жизни. В качестве примера можно привести отрывок интервью О. Ф. Казанцевой (Черновая, Смоленский район): «…*В 19 лет сама землянку сделала* (1942 г.). На быках возили с сестриным сыном за жердями, а с мамой ездили за хворостом. Навозили чащу. Сплели плетень, с избы заштукатурила, а снаружи дерном обложила. Дерн резала лопатой, пласты натаскаю, накладу, все очищу. Сверху глиной залила. Глина с осокой. Сначала жерди плела, потом заштукатурила, сверху побелила. Печку сама сбила, баньку. Плетень плела из забоки — прутья гибкие. И огород вокруг загораживала… *Семь лет жила в землянке. А потом заработала и купила избу (старая). Три избы покупала. Эта завалится — другую куплю. Нарожала 10 ребятишек (4 померли)…*». Женщина пытается растолковать, наполнить содержанием события повседневной жизни, а не констатировать сами события. Поэтому ее рассказы строятся по причинно-следственному принципу. Та же О. Ф. Казанцева рассказывает: «*Голод был* [в Искре].

Мы крутим клейтон — веянку (мякину) или сортовка [сортировали зерно на мелкое и крупное] — *стырим в варежку зерна, дома поджарим, поедим и снова на работу...».*

Достоинством женских биографических рассказов является то, что женщины склонны к ретроспективе. В силу женской логики они постоянно обращались к опыту старших поколений, впитывали полную информацию и их жизненный опыт. Поэтому женские истории отражают не только собственную личную жизнь, но и то, что они узнавали от дедов. Для обоснования причин тех или иных событий и явлений колхозной жизни они передают ощущения и оценки потомственных крестьян, бывших единоличников, в пересказе. Например, Д. П. Шмакова (Усть-Калманка) передала оценки своих родителей: «А вот видишь это, *колхозы пошли*, сказали, что будут хлеб давать, *сказали, что будете работать только на себя и будете зарабатывать*. А они единолично жили, ишо мать с отцом, а плохо-плохо жили — голодные, холодные были[1]. А *в колхоз когда пришли, им стали пайки давать*. И правда, говорит, мы, говорит*, нам лучше стало в колхозах*». В этом отрывке отражается еще одна особенность женской манеры повествования. Женщины, как правило, обозначают свою веру как в рассказываемые события, так и в их интерпретацию. Вера, пусть и небезоговорочно, являлась условием их бытования посредством обобщения опыта прошлой жизни.

Именно для женщины, в силу привязанности ее к матери и сохранения связи с родительским гнездом, характерно переплетение пересказа того, что услышано от родителей, бабушки, односельчан, с личным жизненным опытом. Так, дальнейшее повествование рассказчицы (Д. П. Шмаковой) ведется вперемежку с оценками родителей через ее личные восприятия происходящих событий: «...*Мы бедные-пребедные были, ну, раз голодные, все вещи проядали* [после раскулачивания]*, там какие все были*. А тута в колхоз-то приехали мы, а отец наш пошел работать-то, а яму [ему] это... *он старался*, и яму дают товару, вот привезли товар, и яму прямо кусок, иди выбирай. Какой хочешь кусок товару. И вот он принес, я как щас, кусок товару, мама давай нам прям на руках скорей шить, шить, режет. Ну *тут хлеб досыта стал*, и вообще *тут хорошо стало жить*. И до войны мы жили неплохо». Таким образом, Д. П. Шмакова, как и большинство женщин-рассказчиц, интерпретирует события семейной жизни вне контекста общероссийских исторических процессов (т. е. не связывает происходившие в ее повседневной жизни изменения с общероссийскими историческими

[1] Интервью проводилось в 1995 г. и оно показало, что многие информанты еще боялись говорить всю правду, так как позже в рассказе респондент проговорится, что тяжелое положение семьи являлось следствием не только единоличной жизни, но и раскулачивания.

событиями) и поэтому у нее, в отличие от мужчин, нет необходимости доказывать правдивость или достоверность информации.

В мужском дискурсе установка рассказчика нацелена на достоверность и установление взаимосвязи событий его личной биографии с внешними изменениями в жизни страны или событиями в деревне, крае, регионе. Документированные исторические интервью подтверждает оценку лингвистами мужского и женского дискурсов устного рассказа: «…В ситуации речевого общения женщины предпочитают полилогическую форму, женские рассказы — преимущественно тексты причинно-следственного типа, в которых герой-рассказчик играет пассивную роль, он/она — лишь интерпретатор событий. Действие… состоит в утверждении связи событий посредством веры в законы мироустройства, не подвластные человеческой воле. „Мужской разговор“, наоборот, представляет собой паралельную или последовательную цепочку высказываний-монологов, когда право рассказать делегируется рассказчику. „Мужской“ тип рассказа героецентричен, в нем персонаж активно действует, причем достоверность рассказываемого не является принципиальной» [12].

Кроме разнообразия оценок повседневной колхозной жизни, обусловленной принадлежностью колхозников к разным поколениям, а также гендерным фактором, в «безгласом хоре» рядовых колхозников отмечается изменение оценок на разных отрезках колхозного периода жизни алтайской деревни. Динамизм устноисторических свидетельств, проявлявшийся в изменении представлений, интерпретации и восприятия колхозной жизни, позволяет выделить четыре качественных этапа в истории колхозной деревни: начало колхозного строительства (1930-е гг.), период его испытаний в годы войны (1940-е гг.), послевоенная модернизация (1950–1960-е гг.) и расцвет совхозно-колхозной модели (1970-е — первая половина 1980-х гг.).

Однотипность жизненных ситуаций в устных источниках, посвещенных каждому из этапов, воспроизводит, с одной стороны, единую модель крестьянской семейной истории в советское время, с другой стороны, отражают ее динамизм на протяжении всего советского периода. В своих интервью, как правило, респонденты рассказывают, с каким трудом они переживали 1929–1933 гг., включая голод 1932–1933 гг.; к концу 1930-х гг. положение семей колхозников улучшилось: в частности, все говорят, что стали получать хлеб, «привыкли» (варианты — «смирились», «приняли») к колхозам. Начало следующему этапу положила война, которая создала экстремальные условия и для жизни колхозников. Лейтмотивом всех воспоминаний об этом периоде является напряжение всех сил при любом семейном опыте (тыл, фронт, депортации и трудармия, лесозаготовки, колхозные поля). Наибольшие эмоции в отношении военной повседневности у рассказ-

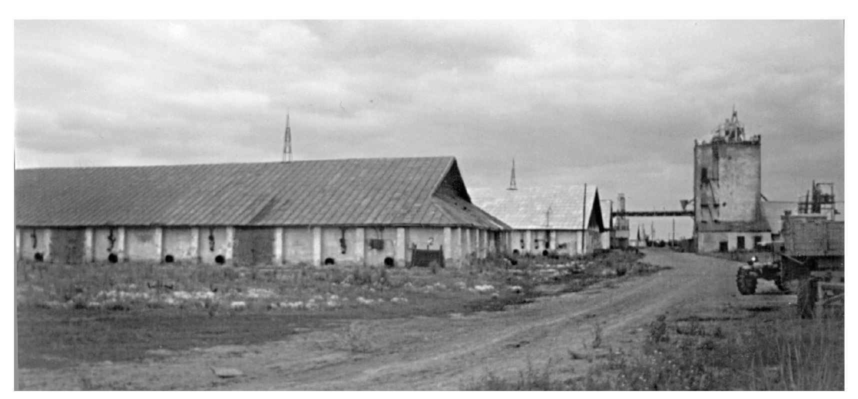
чиков связаны с голодом и холодом. И дальше все говорят о динамичном улучшении жизни в послевоенный период в 1950–1970-е гг. Лучшим периодом в представлениях крестьян был период советской истории, связанный с именем Л. И. Брежнева. Крестьяне обычно говорят: «При Хрущеве жизнь стала получше, а лучше всего жить было при Брежневе» (А. В. Волженина), «Лучше всего народ зажил при Брежневе» (И. Е. Ундолов).

Данную народную периодизацию колхозной истории необходимо учитывать при анализе повседневной жизни колхозников. По сути дела, историками до сих пор не создана полноценная история колхозной жизни в алтайской деревне, история колхозной семьи. Реконструкция прошлого алтайской деревни колхозного периода с привлечением устных исторических источников подсказывает, что к содержанию и формам колхозного бытования необходимо подходить дифференцированно, на основе изменений в оценках прошлой жизни. Устные свидетельства отражают колхозное прошлое в развитии, в основе чего лежал ощутимый для рассказчиков процесс улучшения условий материальной жизни. Хотя здесь историков поджидает ловушка. Речь идет об относительности понятия «материального достатка» на разных этапах колхозной жизни, так же как и единоличной. На эти понятия влияли внешние объективные факторы, прежде всего техническое развитие цивилизации, через которое раньше или позже проходили все страны, независимо от моделей их общественного устройства. Так, ностальгирование и рефлексия рассказчиков о 1920-х гг. непонятны колхозникам 1970-х гг., которые видели в прошлой доколхозной жизни господство тяжелого труда с высокой долей физических затрат, отсутствие электричества и абсолютное преобладание ручного труда в домашнем хозяйстве. Как говорили многие респонденты из категории советских работников, «все познается в сравнении». Это подтверждают и рядовые доярки и поярки, сравнивая условия труда в 1930-е и 1970-е гг., когда завершилась механизация ферм с переходом на машинную дойку и уход за телятами. Адекватной источниковой базой об условиях жизни отдельного человека в период масштабных преобразований деревни являются рассказы очевидцев, их личный и семейный опыт на конкретном отрезке колхозной истории, документированные историком. Они позволяют рассматривать возможности общества при той или иной экономической модели развития в конкретных природно-климатических условиях с учетом исторического опыта страны на очередном историческом отрезке.

Рассмотрим динамику развития колхозной жизни через изменение представлений участников о «благополучии», «достатке», «хорошей жизни». Жизнь крестьян в 1930-е гг. в колхозах (особенно малых) предстает в устных источниках «борьбой за существование». Рассказчики из потомственных крестьян с опытом единоличного хозяйствования, сравнивая

Остатки риги (С. Кантошино, Косихинский р-н). Фото 1999 г.

1920-е и 1930-е гг., подчеркивали: «Жили до колхоза — свое все было». А с образованием колхоза, как рассказывала Е. В. Тырышкина из Ново-Тырышкино, «*сначала голодуха была*, так никто не щелканет ничего... Тогда *веселиться некогда было. Тяжелая жизнь* была». М. К. Останина рассказывала об этом периоде: «Мы за трудодни работали в поселке [Спартак, Усть-Калманский район], палочки ставили... *Конину сварят, мы прям и жижку выпьем.* А год работали, мы ж *затируху ели* [ее готовили на полевом стане для работающих колхозников]. Это из муки, из муки натрут затирухи. А воду накипятили, натерли, спустили эту затируху, Сварят, муку туда, соль... Из кладовой привезут, наболтают, сварят эту затируху.. *Значит, должны нам* [колхоз за трудодни], *а платить нечего*... А *дети на подножном корму*, черемуху, смородину в летнее время. А черемухи вот наемся, я даже есть не хочу. А колосок собирали, подъехал объездчик, говорит: „Щас всех угоню!“ Я упала на мяшок и плачу: „Убивай лучше нас!“ А *че нам делать оставалось, пусть бы убивали, чем мучиться*. Он тогда говорит: „Скажи всем, пущай собирают, приеду в контору, скажу, все равно колос пропадет“. Дак мы все в ригу собирались, переночевали в риге, нашулашили. Хто со сковородкой — жарили пшеницу, поели. Утром опять собирать. Это под Плотавой, далеко, километров 40. А *тада сколько силы хватит, столь мы намолотим зерна и тащили оттудова*. Да потом, у нас такой камень, и жерновчик сверху, и мы вот крутим этот камень, ме-


Хлебоприемный пункт (с. Усть-Пристань). Фото 1996 г.

лем, и свекровь оладьи печет… две „мельницы“ дома было. И мы вот мололи сами все время, дробили. А тода уже стали давать нам по шесть килограммов на трудодень». А. К. Дорофеева помнит, что «норма-то была — чтобы каждая доярка поставила 100 центнеров сена». М. М. Раченкова так говорит о распространенном в первой половине 1930-х гг. голоде: «В детстве жила на заимке в Шишаях. Замуж вышла в Толмачиху [Третьяковский рай-

Развалины хлебоприемного пункта (с. Быстрый Исток). Фото 2007 г.

он, исчезло]. Сначала она большая была, а когда голод был, все оттуда разъехались. Я когда замуж вышла в 1933 году, было там 7 дворов, а до голода было 20 домов. Жили все по-разному. Жили мы там до 40-го года, в 40-м году мы оттуда выехали. Выселили нас оттуда, там как пастбище было, выпаса потом колхозные стали. Места там были хорошие, привольные». А С. И. Тырышкин так и говорит: «Выглядело село (Ново-Тырышкино) шибко хорошо [до коллективизации]. Началась коллективизация. Самых работяг кулаками назвали и дома хорошие разрушили».

Старожилы говорят: «*Трудились день и ночь. Ой, ой, ой!* В колхозе сперва, потом в промартели. Мы там и там работали. День на пихте, а ночью до 12 часов молотили» (А. К. Дорофеева). В основу такого трудового режима и графика в 1930-е гг., по мнению старожилов, была заложена дисциплина [ностальгия по порядку и по железной дисциплине], за что, по их же словам, «Сталиным довольны были». Несмотря на то, что, по словам этого же информанта, «1 200 трудодней у четверых за год, а ничего не доставалось», все равно «Сталиным довольны были — *понемногу поднимались*». Анализ меморатов показывает, что в основе дисциплины лежал страх. Е. В. Тырышкина так говорит об этом: «*Беззащитны тогда были. Боялись. В колхозе митинги были, уполномоченные были, ездили на поля*». Она же рассказала такую историю: «Руками пололи, тяжело было: все руки ободрали, осот колючий. Управляющий разрешил полоть литовками — только не велел сказывать, что это он разрешил. Мы литовками полем. Видим, кто-то едет. Литовки бросили и полем руками. Женщина проверяющая видела, что мы литовки бросили. Но мы ей руки показали. *А что управляющий? Он тоже боялся. Ни за что по линии НКВД брали*. А он жил небогато, но семья большая была».

Колхозники подчеркивают, что работа в колхозе была обязательна для всех, но не могла служить источником существования семьи: «Расплачивался колхоз трудоднями. И на трудодни давали хлеб, если вырастет. А *не вырастет — распишешься и пойдешь со слезами*». Основным источником существования в 1930-е гг. оставалось собственное хозяйство, на которое уходили оставшиеся от колхозной работы время и силы.

Сравнение разновременных оценок жизни в колхозах интересно тем, что позволяет понять происходящие изменения в мотивации труда, в побудительных причинах социального поведения колхозников. Фиксация этих изменений позволяет выявить элементы трансформации менталитета сельских жителей. Изменениям на протяжении четырех этапов подвергались прежде всего представления о благополучии, критерии хорошей и плохой жизни. В довоенное и военное время рассказчики называли критериями «хорошей жизни» достаточное для семьи потребление хлеба, как главного продукта, являвшегося фактором выживания, особенно в услови-

ях повторявшегося в 1932–1933 и 1946–1947 гг. голода, а также обеспечение семьи одеждой и всем необходимым. В принципе эти критерии вполне сопоставимы с ценностями доколхозной единоличной жизни. Начальный этап социалистической модернизации деревни не изменил ситуацию в деревне и не деформировал в сознании крестьян представления о хорошей жизни, синонимом которой выступала «сытая жизнь». Благополучие семьи одинаково ассоциировалось в доколхозное и совхозное время с сытостью («хлеба вдосталь», «досыта»). Как сказала Д. П. Шмакова, «ну тут [с переходом в колхоз] *хлеб досыта стал*, и вообще тут *хорошо стало жить*». Традиционная «картина мира» (труд и хлеб) и традиционное мировосприятие (хлеб, крыша над головой) определяли и социальное поведение колхозников — стремление добросовестно работать, что в принципе не противоречило и традиционным крестьянским установкам и крестьянскому миропониманию — крестьянскому образу жизни. Как привычное дело они вспоминают, что в селе (Спартак) «был маслозавод перерабатывающий... Мы в Нижнее-Бураново возили... Холодильников не было, лед тракторами таскали, лед соломой засыпали... И все лето лед был... И сеяли. И ночами мы зерно таскали в ригу...» (М. К. Останина). Доказательством улучшения жизни стало также применение техники, вытеснявшей ручной труд, даже если «до войны техники было мало, вся она старая, ломалась» (И. В. Первутинская). Об этом же колхозе в с. Кураевка, выбившемся в передовики, информант вспоминает: «Имел *кличку* „Власть труда“. Колхоз был *передовой по району. Знамя* [переходящее Красное знамя за успехи в производстве, ежегодно вручали передовым хозяйствам] *не выпускал из колхоза*», а «техники не было много, у меня до сих пор плуг сохранился колхозный, косарка. В 1936–1937 гг. первый колесный трактор появился. Всем на удивление было, что столько много пахоты берет» (И. В. Первутинский). Единственным противоречием, непонятным рассказчикам, оставалось отсутствие связи между вложенным трудом и его оплатой. Как бы ни работали колхозники, их материальное благополучие улучшалось медленно.

Одним из самых весомых аргументов для оправдания тягот колхозной жизни послужила война, на которую списали все тяжести колхозного труда. Поэтому отсутствие хлеба, нищенство и голод колхозники воспринимали с пониманием, но с обидой. Как вспоминают колхозники, «а в войну сдай государству 400 л молока, 36 кг мяса. *Сам не ешь, а государству сдай.* Овечку держишь — полторы шкуры сдать надо. Даже если не держишь — хоть как отдай, хоть покупай и отдай. *За это садили даже*».

Собственное хозяйство и в военные годы по-прежнему оставалось единственным источником денег, так как оплата труда колхозников деньгами стала практиковаться только во второй половине 1950-х гг. (денежная реформа с отменой карточек и плановое снижение государственных

розничных цен были начаты в декабре 1947 г. и проводилась до 1954 г. включительно). Уже после войны (точнее, в 1950-е гг., до этого увеличение приусадебных участков или предоставление земли в полях рассматривалось как «разбазаривание колхозного имущества») рассказчики вспоминают, что в колхозах стали раздавать земли колхозникам для самовыживания: «В Луговском свободно было — мы по 20 соток садили семечек. Обмолотишь, на веянке просеешь, и в Бийск возили. На своей пашне кукурузу садили и мололи для лепешек. Мы садили по 15 соток кукурузы. *Хлеба не получали, муки не было. Голод был, холод.* Пашни вспашут и спрашивают: сколько тебе». Эта и другие меры, как свидетельствуют устные истории, привели в послевоенное время к улучшению повседневного быта колхозников. Более того, «хорошая оценка» колхозов в рассказах-воспоминаниях стала применяться именно к послевоенному времени, «а *после войны хорошо уже было*» (М. К. Останина). Она сформировалась на сопоставлении голодного предвоенного и военного времени с послевоенным периодом, когда стали есть «вдоволь»: «*Мы работали день и ночь, а мне кажется, что лучше там было.* Мы не переживали ни за чё, *хлеб есть, вот ети годы мы уже хорошо жили. Ну раз хлеб есть, и товар был в магазине, бери и живи.* Вот и все, а чё еще скажешь?» (Д. П. Шмакова, Усть-Калманка). На оценки повлияли и победная эйфория народа-победителя, и вся послевоенная атмосфера, которая улучшила общественный микроклимат. Все предыдущие годы объединены главным «бедствием» — голодом и войной, и как только они ушли из колхозной жизни, измененилось и отношение к жизни. Именно это отражается во фразах колхозников, в которых заложено противоречие, непонятное современному человеку с его иными представлениями о хорошей жизни: «*Жили мы хорошо.* Сено косили под горой. *На себе копны возили*» (М. К. Останина).

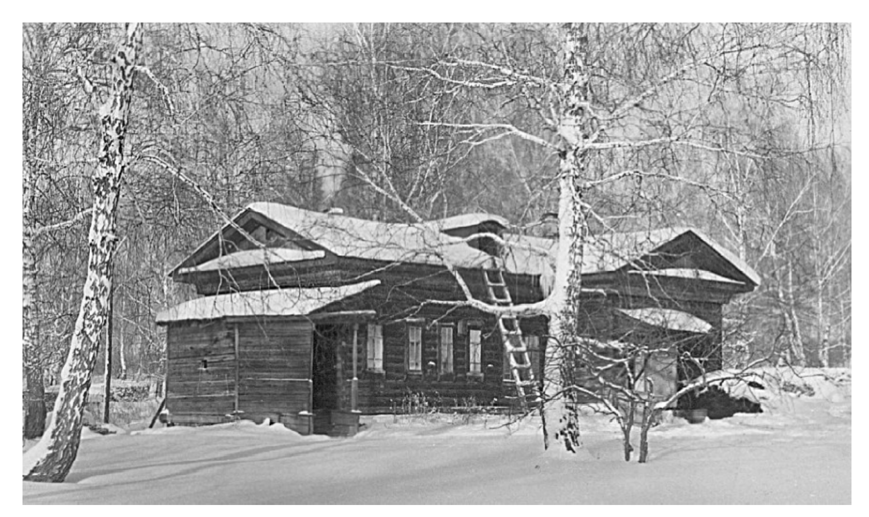
Контент-анализ выявляет ключевые слова послевоенного периода — хлеб, труд. При этом выделяется интересная психологическая черта военного поколения. Для них уже не столь важными были условия труда, их физический вклад и соответствие оплаты. Важным было то, что стало отличать их послевоенную жизнь. На сопоставлении с предыдущими военными годами — это отсутствие голода и утверждение системы поощрений за труд. Рассмотрим, как эти ключевые слова и фразы отражают общий настрой колхозников в послевоенное время, на примере слов Д. П. Шмаковой, которая после войны работала чабаном: «Овец у нас было 180 маток, было у меня, у двух. Мы двое ходили. У двух было 180 голов. И вот *мы вот в этот год, это уж после войны*, в этот год у нас окотилися, у нас обошлось полтора ягнака на овечку. Полтора ягнака, приплоду много дали, по два котили, по три, ну а на всех маток обошлось у нас полтора ягнака. И *нам премию 15 овечек дали*, с этой девкой. Но *тут-то мы зажили, и хле-*

Советское совхозное жилищное строительство (с. Карпово, Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

ба 40 центнеров мне. Ага, и тут я пошла, и пошла... Сена, ягнят затаскивали, котилися, и всё-всё. Весь уход на нас. И даже стрижку. Вот ловишь, и ишо стрижешь сидишь их. Вот там десять-пятнадцать женщин, ну а мы ловим. Правда, нам давали помощников ловить их. Мы же две женщины, а там овщарни-то какие были! А шерсти — страшно! *План мы всегда выполняли*. Стригли весной и осенью».

Рассказы о послевоенной жизни молодых колхозников, выросших при советской власти, показывают, что крестьяне-колхозники уже освоили «правила игры» в колхозную жизнь, установленные им советской властью. Немалую роль в утверждении новых ценностей сыграла война, которая укрепила авторитет советской власти, оправдала ее насилие и в конечном итоге примирила сторонников и противников колхозной жизни, утвердила нормы нового образа жизни, которому и политагитация, и народная молва стали приписывать победу в войне. Немалую роль в утверждении позитивной оценки колхозов и колхозной модели играли возвращавшиеся с войны фронтовики, сознание которых было деформировано войной.

В целом послевоенное время колхозной повседневной жизни респонденты описывают как динамичный процесс улучшения, включая период застоя, который получил у большинства респондентов положительную оценку и оценивается ими как расцвет материального благополучия сельских жителей. Об этом говорит в интервью М. Ф. Иванов: «После войны на-



Советское строительство: первое здание Залесовской районной больницы (с. Залесово). 1950-е гг.

чали восстанавливать колхозы. *Урожаи стали улучшаться, колхозникам жить стало легче*». М. С. Кузьмин отмечал: «*Раньше жили веселей*. Стало поступать много товаров — телевизоры, холодильники, электроприборы, у всех почти. Товары были дешевые. *В годы послевоенные жили лучше, чем сейчас»* [интервью 1992 г.]».

В наши дни в устных рассказах о послевоенной жизни и особенно в годы «застоя», наметилась мифологизация поздней советской истории. Примером являются фрагменты документированного интервью И. В. Первутинского: «В Кураевке [Третьяковский район] *не все вошли в колхоз сразу, старики упирались... Дома были все примитивные*. Семьи были большие. Жили все в одной комнате. Был дома хозяин, глава семьи, отец. Он все командовал. *Когда эти колхозы организовали, люди постепенно стали жить лучше*. Постепенно под нажимом все вошли в колхоз... В 1936–1937 гг. первый колесный трактор появился... Вроде поднялись, тут пошло укрупнение... Стали мелкие поселки убирать в один колхоз...».

Главной сюжетной линией в биографических интервью советских колхозников стало чередование подъема и спада: «Вроде поднялись — тут...», «Опять вроде поднялись — тут...». Тот же Первутинский конкретизировал сущность каждого подъема и спада: «Сеяли пшеницу, просо, горох, лен, коноплю. Скота много не было. Овечек доходило до 400–500, коров — 150, свиноферма была, даже кроликов завозили, но недолго они были у нас. Пчел было много, 2–3 пасеки. Мед на трудодни давали. Даже последние года урожай был большой, хлеб машинами развозили. *Большинство планы*

Советское строительство: новое здание Залесовской районной больницы (с. Залесово). Фото 1980-х гг.

доводили, тут стали как-то поскуповатей жить, до войны жили лучше. После войны давали иногда на трудодни не хлеб, а „озадки". В магазине мелочь продавали, конфеты всегда были, но купить их не на что было [до завершения денежной реформы]. Вот это *война здорово подсекла* [введение карточек]*, а до войны лучше было…*»

Необходимо отметить, что в устных источниках понятия об улучшении жизни отражают прошлые представления. Колхозники не сравнивают понятия «хорошо» 1950-х гг. и современные представления о хорошей жизни. В постсоветский период (1990-е гг.) также отмечается изменчивость оценок прошлой колхозной жизни. Но это — самостоятельная тема исследования, которая показывает, как меняются представления о прошлом под влиянием реалий нового времени. В этом свете важное значение приобретает высказывание одного из ведущих устных историков США М. Фриша о том, что «показывая, как по-разному люди пытаются осмыслить свою жизнь в ее различные моменты, давая нам возможность увидеть этот глубоко личностный процесс, устная история обнажает наиболее характерные модели интерпретации прошлого: их совокупность составляет тот механизм культуры, посредством которого в обществе закрепляется одна трактовка событий, а другие трактовки подавляются, — этот механизм и подталкивает нас к тому, чтобы мы воспринимали прошлое так, а не иначе» [3, с. 62].

Для респондентов критериями улучшения жизни в послевоенный период являлась жизнь не столько семьи, сколько сельского общества. В селах

в 1950-е гг. на колхозные средства были открыты начальные школы, магазинчики, фельдшерские пункты. Было начато благоустройство: проводились электролинии, водопроводы, радио, телефонный кабель. Строились клубы. В каждом интервью прослеживается стремление респондентов наращивать показатели улучшения жизни, и прежде всего отмечаются электрификация, радиофикация, создание материальной базы земледелия и животноводства и особенно культурно-бытовой среды Так, в Дресвянке в 1950-е гг. построили магазин-стопочку (однокамерная изба), клуб (в 1958 г.), установили двигатель, столбы и давали свет с 6 до 12 часов. Вот как описывает В. Л. Курочкина развитие материальной и социально-культурной базы с. Луговского (колхоз «Красная заря») в послевоенное время: «В селе была школа (две комнаты в доме умерших стариков) — 4 класса, рядом построили маленький клуб. Больницы не было, у нас жил фельдшер. Магазинчик был в амбаре, продавщица зимой продает, и руки мерзнут. Сколько жили, в реке брали воду, а колодцы были только у Козлова и Букшиных». В «Прожекторе» тоже «школы не было. Был круглый дом, и в одной комнате учили нас… Учителя сами куяганские [из с. Куяган], жили в Прожекторе на квартире. Клуб поставили после войны. Медпункта не было, врачи приезжали из Куягана. Позже провели электричество. Радио — тоже позже. Телефона не было. Если что-то было надо — отправляли нарочного…» «В Маралье сперва магазина не было, а была в амбаре кладовая (как отдельный домик) — так и был маленький магазинчик. В Маралье была школа — чей-то домишка, 1–2 учительницы вели по 2–3 класса. Кто дальше учился — ходили в Пролетарку или жили в интернате. Больницы не было. Медик появился и все назначала в больницу в Комар, не поможет — отправляли в Алтайское» (В. Л. Курочкина, с. Алтайское).

Устные свидетельства показывают, что во второй половине 1940–1950-х г. социально-бытовая среда сел, особенно малодворных, вышла на первый план в жизненных ориентирах колхозников. Об этом говорит отрывок из интервью Т. И. Агаповой: «Село Лежаново являлось центральной усадьбой (сельсовет) для Верх-Каменки, Филелеева Лога, Сорокино. Располагалось оно вдоль р. Каменки за 25 км от села Алтайского, имело магазин и склад и для продавца, клуб в жилом доме, четырехлетнюю школу, в которую пешком приходили дети из ближайших сел или жили на квартирах с понедельника до субботы. На все поселки один фельдшер. Если же надо было лечиться или дальше учиться — ездили в Алтайское. Дорога шла между гор и 17 раз пересекала по каменистым бродам р. Каменку, которая весной и в осенние дожди разливалась и превращалась в непреодолимую преграду. У меня было трое детей, заболел корью один мальчик — восьми лет. Больницы не было. Дело было в марте, вода поднимается. Надо было спасать оставшихся двух. И мы уехали из Лежаново. Что случит-

Советское строительство: средняя школа № 1 в с. Залесово (Залесовский р-н). Фото 1980-х гг.

ся — возили в Алтайское. Трудно было жить. Женщина не могла разродиться — умерла».

Этот отрывок показывает повышение в 1950–1970-е гг. требований колхозников к развитию здравоохранения и образования, от которых зависели состояние, здоровье и возможности семьи, детей, женщин. Эти критерии благополучия крестьянской семьи являлись новыми. Они вошли в набор жизненных ценностей. В отличие от крестьян доколхозной деревни, у колхозников приобрели значимость образование детей, медицинское обслуживание. Агитационные усилия государства, государственная политика приоритетного развития индустриальной сферы, опережающее развитие города способствовали определенной модернизации сознания и представлений колхозников и формированию неудовлетворенности колхозной жизнью у части населения деревни. В сознании людей, особенно молодых, все более набирали оборот осознание необходимости «выбиться в люди»: «Уезжать отсюда стали молодые, захотели жить по-городскому».

Социально-экономические и культурные изменения в обществе, модернизационные процессы меняли мировоззрение подрастающего поколения колхозников. Оно уже было не столь психологически и материально привязано к селу, традиционному крестьянскому обществу и образу жиз-

Советское строительство: сельский детский сад (с. Лесное, Бийский р-н). Фото 1980-х гг.

ни и особенно семье. Большую роль в формировании новых настроений и жизненных ценностей советского поколения колхозников сыграла передача функций, которые раньше выполняла семья, другим социальным институтам. Семья и крестьянский двор доколхозного (доиндустриального) общества выполняли комплекс функций: они служили и ремесленной мастерской, и церковью, и школой, и исправительным заведением, и приютом для больных и немощных. На протяжении советского (колхозного) периода основные функции перешли к другим социальным институтам. Под воздействием экономического роста и индустриализации семья стала специализированной ячейкой, ее функции ограничились преимущественно потреблением, продолжением рода и уходом за детьми. Хотя такая модель семьи и заняла доминирующее положение в колхозный период, но она являлась более типичной для городского населения. Столкнувшись с системой советского сельскохозяйственного производства, крестьяне не оставили старых крестьянских традиций, однако они не могли придерживаться их со всей строгостью, скорее приспосабливали свои традиции и социальную организацию к новым условиям, с которыми им пришлось столкнуться. Ключевым принципом в процессе адаптации была избирательность. Семья следовала тем сторонам традиционной культуры, которые были приемлемы в советских условиях. В ряде случаев традиции под-

креплялись культурным наследием своей этнической группы, и, наоборот, этнические традиции поддерживались и передавались семьей.

Одной из основных утраченных семьей функций оказалась передача опыта, прежде всего самостоятельного ведения сельскохозяйственной деятельности, оказавшейся невостребованной в условиях социалистической системы производства. Но хотя социально-экономические процессы и играли решающую роль в жизни колхозников, они не обязательно жестко обусловливали ответ семьи на новые условия и обстоятельства. Этот ответ определялся тем, насколько отдельные люди держались за ту культуру, к которой они принадлежали по своему рождению, за семейные традиции. Семья являлась одновременно и стражем традиций, и двигателем перемен. Как хранитель традиционной культуры, семья давала своим членам чувство непрерывной связи с прошлым — источник силы, на который можно было опереться в столкновении с новыми условиями.

Как показывают устные источники, проводниками новых жизненных ценностей в деревне выступила выучившаяся в городских вузах и вернувшаяся по распределению на работу в свое село молодежь (учителя, врачи, агрономы и т. д.). Определенную просветительскую роль сыграли целинники 1950-х гг. Их вклад в изменение традиционных представлений был решающим. М. С. Кузьмин, приехавший на Алтай поднимать целину, так оценил колхозную жизнь с позиций стороннего человека: «Каменку я застал очень ветхой. Жили очень бедно. Спали на полатях, свету не было — свечи, лампы. В 1968 г. провели свет, потом радио. Село ожило. Разработали целину. Стали жить лучше [после целины], хлеба больше стало. Много заброшенных сел было, их бросили из-за бездорожья, из-за школы». У молодого советского образованного поколения изменились критерии и требования к бытовым и производственным условиям, тогда как многочисленные колхозы, оставаясь «сами себе хозяевами», имели маломощную материальную базу. Например, в колхозе с. Поручиково Третьяковского района «занимались скотоводством, свиноводством, птиц один год держали, пасека там была большая, ульев 150–200. Пчелы стояли в 3 км от поселка в Толмачихе. Тоже был поселочек до войны. Было там домов 8–10, разъехались все до войны, а один старик жил и после войны. Году в 58-м держали там свиней» (А. П. Теплухин). В колхозе «Власть труда» с. Кураевка этого же района «сеяли пшеницу, просо, горох, лен, коноплю. Скота много не было. Овечек доходило до 400–500, коров — 150, свиноферма была, даже кроликов заводили, но недолго они были у нас. Пчел было много, 2–3 пасеки. Мед на трудодни давали» (И. В. Первутинский).

Возможностями колхозного производства и колхозного труда респонденты объясняют условия зарождения антидеревенских настроений. А. В. Волженина из с. Поручиково вспоминала: «Пахоты было. Пахали на ло-

шадях. Пахали в трехсменку, неделю нас не выпускали из стана. Лошади доходные [от слова «доходяга»] были, на себе их тащили. Тракторишко один был, маленький „Беларусик“: сеет, впереди него трое с фонарями идут. Сеяли часто вручную, пололи хлеб руками, веялки ведь плохие были...».

Вместе с тем устные источники отражают сложный процесс переориентации крестьянства. Несмотря на радикальные меры (раскулачивание и репрессии) перевода деревни из одной системы жизненных координат (доколхозного традиционного общества) в другую (советское общество), процесс замещения одного другим происходил, скорее всего, в виде трансформации, а не замены. В 1930–1940-е гг. сформировались новые объективные и субъективные факторы, которые ускоряли процесс вытеснения традиционных ценностей. Среди них не последнюю роль сыграла война, которая консолидировала сельские общества Алтайского края.

Основанием для трансформации традиционных установок и утверждения колхозных ценностей и образа жизни стало формирование советской праздничной системы. Причем процесс трансформации праздничных традиций начался в деревне еще до советской власти, под влиянием города, в процессе имперской модернизации, проявлявшейся в том числе в развитии официальных государственных праздников и проникновении в деревенскую среду через ярмарки зрелищных и развлекательно-игровых форм. Параллельно с традиционной православно-земледельческой системой народных праздников в досуговой среде алтайской деревни появились ростки новой светской культуры. В государственном календаре Российской империи прочное место занимали ежегодное празднование коронации и дней рождения правящего монарха, празднование юбилеев династии Романовых (в 1913 г. состоялось масштабное празднование 300-летия дома Романовых), дней рождения членов правящей династии, юбилейных дат, посвещенных победам России (в 1912 г. в России помпезно отмечалось 100-летие победы над Наполеоном) и т. д. Но у крестьян, в отличие от состоятельных горожан, они не стали общенародными и ограничивались церковными службами, тогда как во время праздников православного и народного календаря были традиционными массовые гуляния. Вместе с тем именно в начале XX в., при сохранении господства религиозных праздников, сформировалась тенденция трансформации традиционных праздников, обусловленная новыми социально-экономическими условиями и усилением влияния городских форм культуры. Проявилось это, с одной стороны, в увеличении количества зрелищных и развлекательно-игровых элементов в традиционных праздниках, с другой — в усилении значения официальной стороны праздников, контролируемой как государством, так и церковью. После революций 1917 г. с установлением советской власти имперская составляющая была сразу же выведена из

праздничной системы, взамен вводилась советская официальная праздничная система.

Сложнее для новой власти было нейтрализовать, а затем искоренить влияние религии. Рассказы очевидцев (1925–1960-е гг.) показывают, что государство приложило много усилий для искоренения религиозных праздников. Крестьяне в 1920-е гг. упорно держались за традицию. В силу традиционности и консервативности сельского общества новые советские государственные праздники в быт и жизнь послереволюционной деревни внедрялись медленно. Крестьяне отдавали приоритет православному календарю, поэтому церковь сохраняла свои позиции. В результате в 1920-е гг. в деревне сосуществовали две сложные системы праздничной культуры: традиционно-религиозная праздничная обрядность, сложившаяся в результате многовекового синтеза языческих, православных и сельскохозяйственных элементов, и формируемая система новых государственных советских праздников.

Однако государство отводило праздникам большую воспитательную роль, через них государство воздействовало на представления, установки, ценности крестьян. Именно поэтому советская модернизация государственной праздничной системы базировалась исключительно на революционном календаре: 1 Мая, 7 Ноября, 23 февраля, 8 Марта. В 1950-е гг. советская схема была дополнена празднованием Дня Победы, который объединил чувством победителей весь советский народ (бывших кулаков, колхозников, репрессированных и депортированных). Эти общественно-гражданские (общественно-политические) праздники позже, в соответствии с социалистической доктриной отношения к труду, дополнялись праздниками рабочих профессий (например, День железнодорожника, День строителя и др.), а затем — введением профессиональных праздников (День медика, День учителя, День торгового работника и т. д.). Новая государственная праздничная система, позаимствовав у дореволюционной государственной патриотической идеологии принципы и некоторые национальные символы, отбросила составлявшие ее религиозные и монархические элементы. Как показывают «истории снизу», сердцевиной этого государственно-идеологического комплекса стало коллективистское начало, продолжившее в этом смысле формы народных престольных праздников как времени наиболее активных контактов жителей деревни между собой и с соседними селами. Е. В. Тырышкина (с. Ново-Тырышкино) так рассуждала о праздниках в доколхозное и колхозное время: «Праздник в Россошах — Михайлов день, осенью. Едут на жеребцах, а их там много, кошев-то... Воскресенье вербное — ничего не было (не работали). Весной на пахоту уезжать, а там праздник, лошадей у церкви святят. И не работаем весь день. Гости приходили, гостилися. С соседями жили хорошо. Я им помогала —

Праздник первой борозды. Собрание и награждение передовиков производства (с. «Маяк», Чарышский р-н). На трибуне — экономист совхоза «Маяк» С. М. Смищенко; сидят: директор совхоза В. А. Веретенников, секретарь парткома К. А. Соколов, за ними — управляющий передовой 3-й (Козлухинской) фермой М. В. Васин. Фото 1961 г.

кому что отнесу... Первый день — Пасха, всю ночь в церкви простоим. Весь пост ни яичек, ни сметаны нельзя было — грех. Придешь, а есть не хочешь. Потом выспишься и утром ешь. Везде так было. Раньше праздников отдельно в семье не было. В колхозе раньше никто пьяным не был. Отсеемся — праздник справляем, премии дают».

В основе советской концепции культурного развития общества лежало формирование атмосферы социалистического общества с отношениями между людьми, основанными на принципах коллективизма и интернационализма. Немаловажное значение имело и стремление государства к контролю за общественной жизнью советского, в том числе сельского сообщества, что должно было заместить организующую роль церкви. Но если по формам и подходам советская праздничная система сопоставима с предыдущим периодом, то по содержанию она кардинально отличалась.

Содержанием советской праздничной системы стала национально-революционная доктрина, реализуемая через серию общегосударственных

Сельский праздник с выездом «на природу». Луга около деревни Усть-Козлуха (3-я ферма совхоза Маяк, Чарышский р-н). Слева направо: сидят: механизатор Подоляк и его жена, директор школы Литневский, Э. Долина, зоотехник-селекционер Л. А. Соколова, секретарь парткома К. А. Соколов, шофер Н. Харин, директор совхоза А. В. Долин, З. Харина, главврач больницы А. К. Гостеев. Лежат: зоотехник М. Веретенникова, акушерка А. Т. Гостеева. Фото 1959 г.

праздников (1 Мая, 7 Ноября, 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая), поставленных под контроль государства. Самым первым и активно насаждаемым праздником в 1920-е гг. был день Великой Октябрьской революции. Другой праздник — 1 Мая (Первомай) — уже был известен в России в дореволюционное время, но его популярность ограничивалась городом, где были популярны первомайские гуляния, «маевки». Определенное значение для утверждения этого праздника имела формирующаяся пролетарская культура. Еще с конца XIX в. 1 Мая стало общественно-политическим «праздником трудящихся всего мира».

Государственное влияние в насаждении, а в дальнейшем — в поддержании советской системы праздников проявлялось в рассказах информантов одинаковыми фразами: «списки участников демонстрации», «партком (профком) проверял», «людей контролировали», «собрания обязательны были», «попробуй не явись» и т. д. К. В. Разумова, как и большинство опро-

Окончание сельскохозяйственного года. Центральная усадьба совхоза «Маяк» (Чарышский р-н). Церемония награждения: вручает переходящее знамя директору совхоза А. В. Долину секретарь Чарышкого райкома М. Т. Зинченко. Рядом с ними (слева направо): секретарь парткома В. А. Байбородов, передовая доярка 3-й фермы Климова, профорг К. А. Соколов, передовая доярка А. Стрельникова. Фото 1959 г.

шенных респондентов, рассказывала, что людей четко контролировали на всех праздничных мероприятиях. На собраниях и митингах проверяли явку людей «чуть ли не по спискам». За неявку лишали премиальных денег и, как правило, выносили общественное порицание. Респонденты говорили, что основными элементами всех революционных праздников были манифестации. Праздничные митинги и демонстрации сопровождались революционными песнями (в селах их транслировали через громкоговорители на административных площадях), выступлениями партийных и комсомольских руководителей, сознательных колхозников. И. П. Епихин вспоминал, что 7 ноября в с. Ясная Поляна устраивались митинги возле здания администрации, «выступал кто-нибудь из райкома партии». А завершалась официальная часть агитконцертами, когда сельчане переходили в клуб, где школьники и местные художественные коллективы устраивали концерты. М. Ф. Савченко вспоминала: «1 мая в клубе устраивали торжественный концерт».

Светская бытовая основа праздника была и у праздника в честь Международного женского дня 8 Марта. Его утверждение в 1920-е гг. также сопровождалось митингами, на которых пропагандировались завоевания революции. Но постепенно этот праздник, так же как и 23 Февраля и другие советские праздники, стал состоять из двух частей — официальной и неофициальной. Официальная часть проходила в сельских клубах или на административных площадях. Их отличала массовость и «заполитизированность» действий. Затем, после окончания официальной части, празднование проходило уже неформально, часто с застольем. Так, И. П. Епихин говорил, что «23 февраля женщины в клубе устраивали концерты, чаепитие». Но, в отличие от 7 Ноября и 1 Мая, в сельской местности эти праздники стали больше восприниматься не столько как общественно-политические, сколько как «мужской» и «женский» праздники.

Официальная часть советских праздников вскоре приобрела однотипные формы: 7 ноября и 1 мая — митинг, демонстрации, торжественное собрание; 8 марта и 23 февраля ограничивалась торжественным собранием и праздничным концертом, а вот неофициальная часть полюбилась колхозникам и проводилась коллективно, «корпоративно» трудовыми коллективами, что способствовало их сплочению. Респонденты рассказывали, что, как правило, женщины (в Международный женский день 8 Марта) или все колхозники отмечали праздники «в складчину» на работе или сельском клубе. Гуляние часто начиналось вечером и заканчивалось к ночи, сопровождаясь песнями, плясками, шумным застольем. И. П. Епихин (с. Ясная Поляна, Бийский район) вспоминает: «8 Марта справляли только женщины. Они собирались вместе, на стол ставили все, что было дома (огурцы, квашеная капуста, самогон), собирались в основном в клубе. Мужчины ходили вокруг клуба и смотрели в окна, не перепадет ли им что-нибудь от женщин. Это сборище еще называли „коммунной посиделкой“». А. А. Титова говорила: «8 марта в клубе устраивались торжественные концерты и до обеда вручались подарки женщинам», а потом «все сбрасывались на стол» и отмечали.

Культивируемая массовость советских и колхозных праздников способствовала усвоению содержания новых национальных доктрин и интеграции колхозного сообщества. Вот как оно проявляется в рассказах колхозников: «*Старых, вот помню Пасху*, я помню, отмечали, а больше я не помню. *А то все новые: Новый год, 7 Ноября, 1 Мая. Вот эти были праздники. Мы всю жизнь пропраздновали эти новые*. У нас мама и богу молилася, а как-то нешибко. Ну, она праздники [православные] все нам говорила, а вот праздновать-то [молодежь в них не участвовала]. Она-то скажет: „Ох! Дашка, сёдня ничё не делайте, праздник“. Вот и всё. А я и щас *не знаю праздники старинные, советское всё праздновали*. Просто соберемся на 7 ноября:

скоро праздник, скоро праздник. Готовишься — пива наделаешь, и собирались. *Вся деревня там готовится тогда.* И гулять. *Вся деревня гуляет! Собираются дворов 10 гулять. Нынче к тебе, завтра ко мне, послезавтра... А то на день к трем сходим. Вот и пошел гулять.* „Ой, пойдемте к нам, пойдемте к нам!“ Ну раз праздник! А *май зайдет, так мы сколь дней гуляем. И всю неделю* с первого мая. Девятого мая мы всегда праздновали здорово. Всегда День Победы праздновали» (Д. П. Шмакова).

В определенной степени такая схема действительно напоминала престольные (съезжие) праздники, которые являлись семейно-общинными гуляниями. По своей форме (сообща) и по формальным признакам (богатый стол в складчину) советская праздничная система в ходе модернизации наследовала общинно-религиозную форму храмовых или съезжих (престольных) праздников. Для них также были характерны «веселия», «гулянки», приезд из окрестных деревень людей, их общение. Так же как и в традиционной системе праздников, многие из них длились несколько дней, обязательным оставалось и особое гостеприимство, стол с богатым угощением. Так же как и в престольных праздниках, кульминацией считалась коллективная трапеза. Можно провести аналогии и по такой важной составляющей, как использование алкогольных напитков. И в доколхозной, и в колхозной деревне частью подготовки к празднику являлась варка «пива» (медовухи, самогона) с расчетом на всю деревню (в престольные праздники) или на несколько семей в колхозное время. Но если в доколхозной деревне это было открытое, даже почетное действо, почетная обязанность мужчин, то в колхозное время старались этого не афишировать, однако все знали об этом и делали вид, что не видят. А после войны, когда мужчин стало мало, подготовка горячительных компонентов застолья перешла к женщинам, которые научились и «пиво варить», и «самогонку гнать», и «медовуху готовить». А затем ходили друг к другу в гости, в некоторых местах собирались компаниями, а при колхозных праздниках — всей деревней: «*кто сделает самогонку, созывает в гости*, сядут за стол, по рюмочке выпьют и песни поют. Пели и пели. *Веселей было жить раньше, а сейчас все дорого...*» (Е. И. Матысина).

В праздничных приготовлениях в советское время, как и в сферах трудовой жизни, происходило смешение ролевых обязанностей. Если в советской системе праздников мужчины заботились об «общественной» стороне праздника (подготовка церкви, площадей) и подготовке горячительных напитков для застолий, а на женщинах лежала подготовка «внутреннего» домашнего пространства праздника (мытье избы, уборка двора) и приготовление праздничного угощения, то в колхозной жизни общие праздники становились общим делом всего коллектива, дирижировались партийной элитой и педалировались администрацией без половозрастных осо-

бенностей. Примером является чистка и уборка к празднику села и дворов. Распространенной формой являлись общественные субботники, когда на уборку территории выходили всем селом. В семейных же праздниках колхозного времени крестьяне старались придерживаться традиции. Но и в них свои корректировки внесли демографические катастрофы, связанные с военным временем и последующими изменениями социального статуса гендера во взаимоотношениях колхозного коллектива.

Таким образом, советская модернизация опиралась в организации массовых праздников на народную традицию соборности (коллективности), массовое единение народа. Во время советских праздников в селах возродились праздничные распродажи-ярмарки. Вот как об этом рассказывала М. К. Останина: «*Гуляли хорошо. Я борова заколола* — колбасы наделала. И *загуляли всем поселком.* И всего борова съели в колбасе. *Нас мало было в поселку. Начнем с Дрынкина и Иваном Стрельниковым кончаем.* Иван — на том конце, Дрынкин — на этом. А у Дрынкина был лагун большой!» Это единение происходило в рамках единого производственного коллектива — колхоза, совхоза, отделения, фермы. Оно нашло отражение в распространении локальных вариантов трудовых праздников. В колхозах «трудовые праздники всем селом» были связаны с началом или завершением отдельных производственных циклов сельскохозяйственных работ.

В принципе советская традиция организации «трудовых» праздников опиралась на понятные для колхозников лозунги — обязательный и добросовестный труд. В социалистическом государстве труд на благо общества являлся, в соответствии с официальной идеологией, священным принципом жизни каждого человека, общественным долгом. Особенно популярны были празднования всем «колхозом», «деревней» завершения таких сезонных циклов сельскохозяйственного производства, как пахота, посевная кампания, уборка урожая (такими же вехами маркировался и земледельческо-православный календарь доколхозной деревни) и т. п. с «выездом на природу» (к реке, в лес). Например, когда заканчивалась посевная в селах Бийского района, трактористы, механизаторы собирались и выезжали с семьями в лес и около реки «устраивали сабантуй» (название заимствовано у тюркских народов, в традиции мусульманских народов — «гулянка»). Руководство управления коллективом организовывало праздничную распродажу промышленных товаров и продуктов питания; политические организации (партия, комсомол) готовили праздничную программу с выступлением школьных и народных коллективов, состязаниями и конкурсами.

«Пикники» на природе полюбились советской деревне, прочно вошли в жизнь семьи и стали частью образа празднично-трудовой жизни, культи-

вируемого колхозного коллективизма. Наиболее часто встречаются воспоминания о таких общих колхозных праздниках, как праздник первой борозды, праздник урожая, праздник первого снопа и т. д. Эта система сельскохозяйственных праздников фактически замещала аналогичные праздники народного календаря (Егорьев день, Михайлов день и др.). В 1929 г. даже вышло постановление Президиума ЦИК СССР «О проведении 14 октября текущего года Дня урожая и коллективизации» [13], в котором рекомендовалось привлекать к участию в организации и проведении советские и общественные организации. По их поводу рекомендовалось организовывать массовые гуляния. Так же как и в праздничной престольной системе, каждый колхоз старался показать себя, свое благополучие и т. д. Как и раньше, в престольной череде праздников наблюдалась соревновательность. От того, насколько удавалось праздничная гулянка, зависела репутация самого колхоза и его председателя. Широтой праздника колхозы утверждали свою славу. На праздники охотно ездили соседи, поэтому организация праздника культивировала и прославляла трудовые производственные достижения конкретного колхозного общества, служила способом сплочения. Каждый колхозник, как и крестьяне во время престольных праздников, участвовал в приеме гостей.

Иван Ефремович Егоркин (Зональное) так рассказывал об этом: после уборки урожая всегда ездил на поля со своей гармонью и был «главным человеком» на колхозных гулянках. В культивируемой колхозной общности ядром праздника являлись трудовые победы передовиков производства, которых прославляли и поощряли. Этому способствовали и такие новые формы, как торжественные собрания и митинги, которые предшествовали народным гуляниям. Мария Бонифатиевна Петергерева (Зональное) отмечала такие праздники, как «Полугодия» (завершение полугодового производственного плана колхоза), именно тем, что на них отмечали передовых колхозников, вручали денежные премии, подарки, путевки в санаторий, государственные награды и грамоты. Уже в послевоенное время сформировалась целая система «лично-трудовых обрядов» в честь трудового человека — посвящение в хлеборобы, чествование трудовых династий, ветеранов, присвоение почетных званий «лучший механизатор», «лучший чабан», «лучшая доярка».

Такие же праздничные схемы переносились на межколхозные уровни уже в рамках района. В межколхозных праздниках была особенно распространена соревновательность между колхозами, между отдельными трудовыми коллективами (доярки, поярки, механизаторы, комбайнеры и др.), между отдельными передовиками производства, что не противоречило соревновательности зрелищ в доколхозной деревне — «бегова», «кулачные бои» и т. д. Например, в Бийском районе были записаны интересные рас-

сказы о соревнованиях механизаторов из разных хозяйств. Респонденты рассказывали, как отбирали кандидатуры участников: сначала выбирали лучшего механизатора в одном колхозе; для его выявления проводили в колхозе (совхозе) соревнование, и затем он представлял свое хозяйство в соревновании в районе. Например, в «Красном Октябре» (Бийский район) эти соревнования проходили в два отделения на поле, оставленном под пар. Кроме участников соревнования и других колхозников, приезжали и зрители из соседних колхозов, которые являлись участниками районного соревнования. В ходе соревнования тракторист пропахивал одну борозду, и все смотрели его работу. Вторая борозда — «навстречу, чтобы не появился вал. Немного добрасывал до борозды, но и не засыпал ее». Это свидетельствовало об искусстве ведения трактора. Потом тракторист начинал пахать в свалку и развалку. Комиссия из «грамотных людей» (агрономы, заслуженные трактористы) оценивала, кто пашет лучше, и вручали призы (И. П. Епихин).

Таким образом, новая праздничная система внесла значительную лепту в трансформацию мировоззрения и системы ценностей сельских жителей, укрепляла позиции советской власти. Советские праздники сыграли большую роль в становлении социалистической культуры, быта, новых семейных отношений, новой социальной психологии, а в конечном итоге привели к формированию всего уклада, соответствующего социалистическим общественным отношениям. В их основе лежало новое миропонимание людей, для которых участие в социально-экономической жизни общества закреплялось в сознании и психологии через праздники. Срастаясь с колхозным бытом, праздничные церемонии и ритуалы, охватывающие различные сферы жизни людей — от хозяйственной до семейно-бытовой, становились частью общественной колхозной жизни и в то же время постоянно находились в сфере государственной деятельности.

4.2. Депортации и спецпереселения по устным свидетельствам «непрошеных» гостей и «вынужденных» хозяев: изнанка войны

Исторические события XX в. обусловили активное взаимодействие народов. Уровень межэтнического напряжения и согласия в XX в., формирование этнических стереотипов и мифологем у сельского населения Алтайского края определялись рядом факторов и причин на каждом этапе добровольных и принудительных миграций. Самостоятельную роль в развитии межэтнических представлений и этнокультурных образов в алтайской деревне в советский период сыграли принудительные переселения 1930–1950-х гг., которые представляли собой опыт насильственного смешения народов, усугубленный агрессивной политикой государства. Массовые депортации представителей отдельных народов из Прибалтики, Кры-

ма, Поволжья, Северного Кавказа, западных областей Украины и Белоруссии привели к тому, что за предельно короткий промежуток времени территория Алтайского края стала районом этнически пестрого заселения. Судьба рядовых людей в этот период является частью истории военного времени (спецпереселения и депортации), а военная история долгое время рассматривалась только как героическая, внимание избирательно обращалось на те или иные ее страницы.

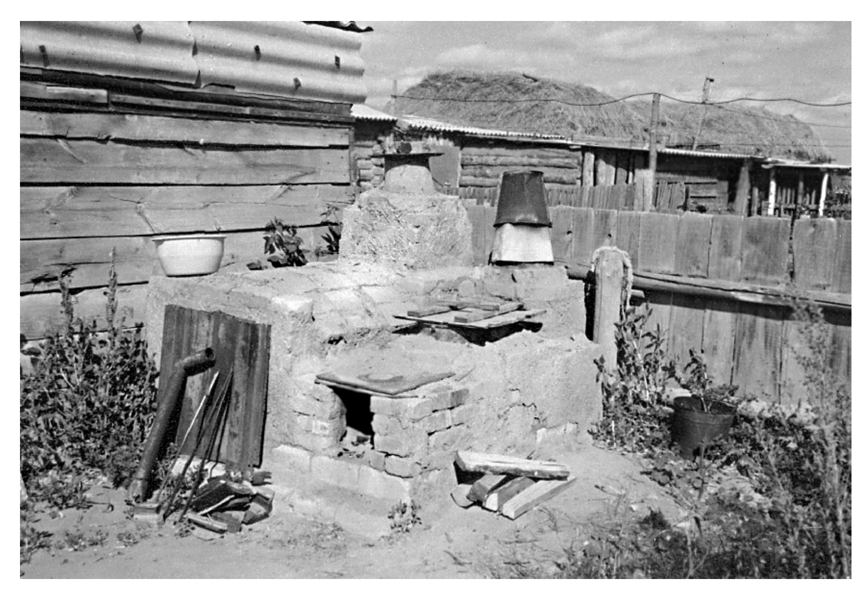
Алтайская деревня в военное время стала местом насильного переселения людей разной этнической принадлежности (молдаван, поляков, немцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, калмыков, украинцев, литовцев, балкарцев, греков, евреев, татар, армян, гагаузов и др.), объявленных потенциальными «врагами» и «предателями». И военная жизнь алтайской деревни не является полной без «голосов» самого бесправного в годы войны сообщества — депортированных и спецпереселенцев, которые влились в жизнь деревенского общества и стали частью общей деревенской жизни.

Привлечение устных исторических источников позволяет не только установить социально-экономическое положение переселенцев, но прежде всего выявить особенности взаимоотношений спецпереселенцев с местным населением, проследить взаимовлияние культур. Восприятие событий той и другой стороной (местное население и вынужденные мигранты), интерпретации ими происходящего являются важнейшими историческими источниками. Особую ценность им придает важная для понимания исторического прошлого, восприятия настоящего или конструирования будущего этносоциальная и этнополитическая информация, которая выделяет устные источники о депортации в отдельную группу всего корпуса устных источников. Именно восприятие происходящего в ракурсе «свои» — «чужие», диалог при антитезе «мы» и «они» отличают воспоминания о событиях, связанных с насильственными этническими переселениями на Алтай в предвоенный, военный и послевоенный периоды. Образ жизни каждого из насильно переселенных народов исторически сформировался в определенных природных, хозяйственных, культурных условиях своей родины, и в результате этого чем-то отличался, а в чем-то имел сходство с населением алтайской деревни, преимущественно русским. Этническая константа мигрантов проявлялась и на новом месте, что первоначально способствовало восприятию этнических переселенцев с позиций «свои»—«чужие». Взаиимному отчуждению народов способствовала государственная политика, относившая целые народы к категории «ненадежных», осложняли адаптацию переселенцев на новом месте, формирование взаимоотношений с местным населением и одновременно объединяли их голодные и холодные военные годы, когда всем — и деревенским хозяевам, и насильно переселенным этническим депортантам — приходилось

сообща выживать. Формирование диалога народов, разделенных этнически и политически, в эти периоды является перспективным направлением устноисторических исследований алтайской деревни.

Именно в этом направлении в ходе интервьюирования очевидцев оказалось трудно пробиться к живой памяти через штампы и клише, сформировавшиеся вокруг этой темы. Определенные сложности создает и особая деликатность самой проблемы межэтнических взаимодействий. Особенно трудно преодолеть сформировавшийся отрыв исследуемой темы депортаций как от военной проблематики, так и от социальной истории алтайской деревни. Исследователи рассматривают историю насильственных переселений изолированно от общественно-политической и культурно-производственной жизни деревни, как правило, фокусируют свое внимание на процессах эвакуации и депортации, словно они проходили в вакууме или в бесконтактной зоне, а не в условиях военного времени и не в конкретном человеческом сообществе. Как правило, историописания по этой проблеме сосредоточены на размещении депортированных в местах ссылки, на условиях их оформления и закрепления на новом месте, попрании гражданских и политических прав депортированных народов. Такая акцентация была необходима на этапе «реабилитации» как самих репрессированных, так и научной проблемы, которой в советское время нельзя было заниматься. Но для адекватного отражения прошлого о депортации народов СССР недостает источников и материалов о жизни депортированных в деревенском сообществе, об отношении местного населения к ним и их — к деревне, т. е. о тех внутренних процессах, которые происходили в сельском, преимущественно русском, сообществе при подселении людей не только иной этнической принадлежности, но и с репутацией потенциальных «врагов народа». Поэтому важным является документирование опроса об условиях жизнедеятельности «гостей и хозяев», уровне и характере контактов в иноэтническом окружении друг к другу в период нагнетания противостояния в годы войны, об особенностях взаимоотношений в период длительного совместного проживания в послевоенный период, восприятии культур, взаимодействии разных этнических социумов.

Корпус документированных интервью по этой проблеме содержит оценки происходящих событий двумя группами — этнических переселенцев, размещаемых на Алтае, и жителей алтайской деревни, восприятия одних другими и наоборот. Количественно в корпусе проведенных исторических интервью преобладают рассказы депортированных немцев и русских деревенских жителей. Их голоса воссоздают состояние, проблемы и результаты межэтнического общения в экстремальных условиях, факторы и условия этносоциальной дифференциации или консолидации,



Летняя саманная печь на усадьбе (с. Семеновка, Кулундинский р-н). Фото 2004 г.

тенденции в развитии общественных настроений. Конечно, особая болезненность темы, как и любой проблемы этнической истории, требует бережного обращения с ней. Перспективным направлением является сбор оценок, мнений и установок всех участников совместной жизни в алтайской деревне с добавлением к голосам русских крестьян и немецких депортантов свидетельств других насильственно переселенных народов. Необходимо вслушаться в голоса той и другой стороны, их оценки взаимоотношений и взаимодействий разных культур, разных народов, разных миров, да еще в экстремальных условиях военного времени и репрессивной политики.

В Алтайском крае нет ни одной деревни, в которой бы не помнили о немцах, болгарах, молдаванах, калмыках, которых «привозили в войну». Вот как отражается в рассказах местных жителей изменение этнического состава деревни (И. Н. Ковалик, с. Красный Партизан Чарышского района) в военное время: «А в войну немцев к нам привезли, на телегах, немного, семей пять с ребятишками. В соседнее село – побольше… Жили они в домах с местными. А еще калмыки были, тех побольше было… Даже молдаване какие-то приезжали, тоже в войну. Но их не помню. Да гагаузы какие-то. А еще поляки были, но мало. Не помню их сильно…». Только включив в цену победы в Великой Отечественной войне их голоса, их судьбы,

можно осознать сущность событий войны. Без их рассказов невозможно полное представление о войне у тех поколений, которые родились и росли после войны. В устной истории депортаций заложен огромный социальный заряд. Социальная функция историка — вскрыть «живую память», которая неоправданно свыклась с огромным количеством воспоминаний, раскрывающих несправедливость, трагедию, бесчеловечность системы, ту память, которую можно назвать «изнанкой бронзовых монументов в память о войне».

Усложнение этнонационального состава населения Алтайского края в 1940–1950-е гг. прошло ряд этапов, каждый из которых давал свои волны принудительной миграции. В социальном отношении депортанты представляли довольно пеструю картину, обусловленную не только разными социальными и этнографическими группами, но и разным временем прибытия мигрантов. Так, прибывшие на Алтай в 1941–1942 гг. немцы были представлены жителями Поволжья, а в 1945–1946 гг. на Алтай приехали немцы-репатрианты с Западной Украины и из Одессы и т. д. Поляки также появились на Алтае в течение нескольких витков насильственных переселений: одна часть — в ходе «польской операции» 1937–1938 гг., которая проводилась в рамках репрессий 1930-х гг., вторая — с 1939 г., когда СССР занял восточные территории Польши и депортировал часть поляков, третья — уже во время войны, в результате переселений с Западной Украины и Белоруссии. Эти факторы необходимо учитывать и при работе с этническими депортантами, создавать самостоятельные опросники для интервьюирования представителей каждой группы. Работа с этническими представителями должна быть адресной. Только зная историю принудительных переселений, можно профессионально работать с депортантами, так как у каждой волны переселенцев была своя история, свои особенности, своя территория выселения и своя культура.

Если упорядочить весь материал, то историческая хронология депортаций и спецпереселений выглядела следующим образом. На первом этапе на территории Алтае, в связи с территориальными изменениями СССР накануне Великой Отечественной войны, были размещены депортированные молдаване и поляки. Второй этап усложнения национального состава деревенского общества (август—сентябрь 1941 г.) связан с ликвидацией автономной Немецкой республики и депортацией немцев. Третий этап, осень 1943–1944 гг., связан с ликвидацией Карачаевской АО, Чечено-Ингушской АССР, Калмыцкой АССР, а также депортацией населения из Прибалтики, западных областей Украины и Белоруссии и размещением переселенцев во всех районах Алтайского края. На четвертом, послевоенном, этапе на Алтай вместе с молдаванами, немцами, западными украинцами прибыли гагаузы, греки, болгары.

В ходе спецпереселений и принудительных миграций встретились разные культуры. Межэтнические контакты в предвоенное, военное и послевоенное время осложнялись пропагандистско-идеологическими кампаниями навязывания непривлекательного образа народа-депортанта, политическими и идеологическими интерпретациями его намерений, этнических черт и общечеловеческих качеств. Все эти факторы не могли не влиять на восприятие народами друг друга и на отношение друг к другу. Исторический опыт этого периода говорит о значительной роли государства и его национальной политики в формировании этнических контактов и долгосрочных отношений. Они определяли интонации и характер межкультурных коммуникаций этносов.

Вместе с тем межэтническая ситуация на уровне регионов имела свои внутренние регуляторы. Среди них не последнюю роль играли традиции межэтнических взаимодействий в прошлом (конец XIX — начало XX вв.), в период добровольных массовых земледельческих миграций, степень ознакомления в процессе совместного освоения земельного фонда Алтая с традиционной культурой и сформировавшиеся конструктивные этнические стереотипы, а также приобретенный в повседневной жизни и общественном производстве опыт общения. От них зависели перспективы развития поликультурного общества военной и послевоенной алтайской деревни.

Историко-этнографическое исследование сельских районов Алтайского края показало, что не все народы, принудительно или «добровольно-принудительно» переселенные (переселившиеся) на Алтай, прижились в местах расселения. После отмены паспортного режима, реабилитации депортированных народов и других государственных кампаний только в 1957 г. массово покинули Алтайский край калмыки, ингуши, чеченцы, армяне. Частично мигрировали на свою родину молдаване, украинцы, немцы, литовцы. Привлечение устных источников позволяет выявить причины их реэмиграции, роль сформировавшихся взаимоотношений переселенцев в алтайской деревне 1940–1950-х гг., проанализировать значение этнопсихологических факторов в формировании межкультурных коммуникаций, представить механизмы формирования этнических стереотипов и их роли в социальной истории.

В корпусе текстов устных источников о насильственных переселениях, так же как и в истории повседневности колхозов, преобладают женские семейные истории, в центре которых находится деревенская жизнь в военный период. Большинство мужского населения было отправлено в трудармию, и основную информацию об алтайской деревне, о взаимоотношениях в ней дают женщины военной поры. Поэтому комплекс описываемых в устных источниках стратегий поведения депортированных, чаще всего «типично женских», предстает как определенный этнокультурный конст-

рукт. По этническому признаку количественно и качественно преобладают устные источники о депортации немцев. Объяснятся это в определенной степени тем, что в наши дни из всех спецпереселенцев и депортантов в алтайской деревне остались жить преимущественно потомки немецкого населения. Представители других народов представлены единично, и устная информация о них идет, как правило, из «уст» представителей русского населения, которое являлось коренными жителями деревни. В устных рассказах о жизни в деревне немецких депортантов пересекаются две стороны — сами немцы и алтайские крестьяне. В силу двусторонности устного диалога они более полноценны.

Анализ комплекса полевых материалов позволяет предположить, что важнейшими факторами симпатий и антипатий в «сожительстве» насильно смешанных народов являлись сходство/различие трудовых традиций, хозяйственной деятельности и близость/чужеродность этнических культур. Эта гипотеза подтверждается стратегическим поведением немцев, большинство которых остались жить на Алтае, и калмыков, которые почти полностью выехали с Алтая. Парадокс ситуации заключается в том, что при переселении на Алтай общественный климат, созданный государством, был менее благоприятен именно для немцев. 8 августа 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, который говорил о наличии шпионов и диверсантов среди немецкого населения; немецкое население обвинялось в сокрытии врагов советской власти и советского народа. Во избежание нежелательных последствий государство признавало необходимым переселить все немецкое население, проживающее в Республике немцев Поволжья, в другие районы [14]. Депортация проводилась в предельно сжатые сроки с началом отправки 3 сентября 1941 г. и окончанием операции по переселению 438 280 немцев Поволжья к 21 сентября 1941 г. [15, с. 18].

Устные интерпретации жизненного опыта, приобретенного в депортации, отличаются прежде всего отсутствием пересмотра оценок с изменившихся позиций или взгляда на прошлое «через призму времени». В устных рассказах с помощью языка, пауз, междометий, недомолвок маркируются подлинные мысли и ощущения давно минувшего, а главное — сохраняется яркая эмоциональная окраска повествований и оценок. В первую очередь устные рассказы свидетельствуют о глубоком пренебрежении государства к человеческой жизни и попрании института семьи. Как показывают интервью, депортация оказалась совершенно неожиданной для местного населения, но паники, массового психоза на почве предстоящего переселения не было. Скорее всего, сказывалось привычное для советских людей беспрекословное подчинение. Вот как это проявляется в рассказе М. Е. Йорк (пос. Мирный, Зональный район): «...Это была уборочная.

Как раз хлеб убирали. Было воскресенье… Я работала в ларечке, ну пиво, закусочная тогда. А остальные все закрыто было, и все на воскресник, на хлеб все было. И в это же день приказ вышел. Газета пришла, пока они из пашни приехали, народу не знали на пашне. А наши дома были, собирались по улице. Тут куча стоит, там куча стоит. Не поверили. Говорят: „Это же не может быть, не деревня одна, что нас выселять!“ А республик была, республик же целый немецкий была, саратовский. Мы не поверили». Более того, несмотря на опубликованный в газете «Правда» приказ о выселении, указанные в нем причины до сих пор вызывают у немцев недоумение. Главной причиной этого является твердое убеждение в принадлежности немцев к родной земле — России. Тот же информант говорит: «Вот война началась в 41-м году. За что нас? Сами мы не знаем. Ужели такие враги были? Рабочий народ был… Но вот… Сталин приказ выпустил. Боялись, что мы перейдем к Германии. Но мы бы не перешли… Ну что я там потеряла? Я там ниче не потеряла. Родители мои, и бабушка и дедушка — все они тут родились. А я сейчас, например, не хочу в Германию. Я тут родилась, ну хоть не тут [т. е. не на Алтае, а в Поволжье], но все равно родина — Россия».

Для обеспечения оперативности переселения немцев использовались специальные части НКВД, которые должны были сопровождать депортируемых из поселений в Саратов, где их грузили в эшелоны. М. Е. Йорк комментирует это так: «Газету выпустили, а потом уже то ли боялись — поднимем че-нибудь [информант имеет в виду бунт, сопротивление], противлять будем. И солдаты, мы 60 км от Саратова жили, в деревне, солдаты прямо целый полк пригнали… В каждой деревне, чтобы охранять нас». Депортантам разрешалось взять только самое необходимое. Э. Ф. Русскова вспоминает: «Остались портреты, как у меня щас [фотографии родственников, развешанные на стенах]. Все-все осталось. В огороде тыквы, все на свете осталось. И часы остались. И сколь успели, взяли. А там командовали: «Давайте садитеся… На быках посадили. Рёву! Мама плачет. Маленько подушки все пособрали, выехали» (Э. Ф. Русскова, с Луговское, Зональный район). Прихваченное имущество чаще всего по дороге или в первый год прибытия выменивалось на продукты питания. Э. Ф. Русскова добавляет: «Как раз картошку выкопали, немножко шмоток привезли, мы их промотали за зиму, проели». Л. В. Лобецкая вспоминает: «Мои брат и сестра вспоминают, пока… были добрые вещи, было полегче. Потому что эти вещи обменивались на продукты питания».

Репрессии против семей занимают центральное место в устной истории депортации и спецвыселки. Связано это было с «юридическим новаторством» большевиков — репрессированием «по признаку принадлежности к той или иной группе», а главное, внедрение принципа семейственно-

сти в репрессивной политике. По словам П. Л. Леонгарт, ее депортированная семья ехала долго, целый месяц, «то там остановят, то там. По два часа, и по суткам стояли, то вперед, то назад возили, где бомбили, где нет. Привезли в конце октября». Э. И. Гольцгаузе вспоминала, что их отправили 14 сентября с пристани: «Приехала машина-полундра. Нас оставалось 5 семей в деревне, и нас погрузили в кузов. Маленько мы успели собрать, у нас ящичек был, в него и сложили. Привезли нас к барже. Всех погрузили где-то часам к пяти. Когда отъезжали, мы запели:

Пароходик, о, пароходик,
Над синей гладью моря,
Качни, качни к Родине,
А нас от Родины укачнули.

И все плакали и пели эту песню. А в Бийск приехали 28 сентября».

Избирательность памяти, как правило, выносит на поверхность то, что вызвало наиболее глубокое потрясение. Это дает большие возможности для исследователя в понимании исторической психологии. К. П. Геер из с. Стан-Бехтемир вспоминает: «…Приехали в 41-м с Поволжья, Саратовская губерния, село Найдам. Пришел приказ выселяться. За две недели предупредили, что будут выселять… Дорогой на конях ехали, а там на баржах, потом поездом в Бийск привезли… Заявки на это село были…».

Для принудительных мигрантов на первый план вышли проблемы выживания семьи и унижения, которым пришлось подвергнуться. Через эти проблемы они смотрели на то, что происходило вокруг них, в том числе на войну. Особенно тяжелым было положение депортантов в первое время после переселений, и их мысли были целиком заняты поиском средств существования: они побирались, перекапывали убранные огороды, собирали остатки с колхозных полей. Сама война вытеснялась из их повседневной жизни. Э. Ф. Русскова вспоминает: «Я пошла побираться и в Новый Быт, ходила и в Шубенку побираться.. Платье на мне было, неизвестно какое платье… заплатка на заплатке… как шуба была. Мама тоже так, как попало ходила… Мне 7 лет было, мы исть хотели, мы отбирали у детишек — хлеб просили. Тогда они только узнали, что мы исть хочем. Мы собирались там на горе, сколько ребятишечек, исть-то нечего, за мороженой картошкой ходили. На пашне, где совхоз садил. Там мы собирали мороженую картошку… а были раньше отряд, там были ребяты, они нас разогнали, отобрали эту картошку. Выловили. Мы пришли без всего» (Э. Ф. Русскова). М. Е. Йорк рассказывала: «Осенью мы приехали. И мы ходили картошку, уж люди выкопали, и мы ходили перекапывали». В тех населенных пунктах, где сельская администрация была более дальновидной, депортанты адаптировались легче: «Зимой мы уж дома сидели, и это (продукты) давали от колхоза. Какие колхозы хорошо давали. Мука вот. Хоть корки

была, хлеб стряпали. Ну, от голода все пойдет. Можно поесть. От голода, я бы не сказала, никто не умер» (М. Е. Йорк, Мирный).

Именно экстремальность условий, униженность, страх за себя и детей способствовали формированию особенностей устного повествования этнических депортантов. Одна из особенностей проявлялась в отражении отдаленного исторического явления в отрыве от событий военного времени (на фронте и в тылу). Респонденты рассказывают о депортации как об обособленном историческом событии, вне контекста военной и тем более сельской истории. Большое влияние на восприятие оказала сама государственная политика, которая поставила депортантов вне общества, исключала их из общих проблем, противопоставляла их другим народам. В отличие от них рассказчики — русские крестьяне вплетают историю депортированных в повседневную жизнь военной деревни. Такая особенность отражает законы развития памяти, ее избирательность в соответствии с внутренними ощущениями человека. Ощущения депортированных немцев и сельского населения Алтая не совпадали.

Прибывшие на Алтай после ликвидации Немецкой республики 95 тысяч человек, а в последующие годы депортированные немцы Западной Украины, Белоруссии, Кавказа были рассредоточены по всем 58 районам края группами от 500 до 2 000 человек. Внутри районов их также пытались «рассеять», размещая небольшими группами. Но стремление депортированных к совместному проживанию приводило к их компактному расселению на местах: выходцы из одного города, села, родственники старались селиться вместе. Так, в с. Новиково Бийского района поселились 18 семей из с. Боаро (Марксовского района), а также из с. Сельман (Ровенское). Э. И. Гольцгаузе из Новиково вспоминала, что «как там [Поволжье] они работали в одном колхозе, так и тут были вместе». Но многие семьи были разбиты. Так, Юлия Ивановна Эрфурт (г. Марксштадт) была выселена вместе с братьями и сестрами: маму поселили в Томске, где она умерла в 1944 г., ее саму — на ст. Чулим (Новосибирская обл.); братьев и сестер увезли в неизвестные места. Лишь позже она нашла брата в с. Малоенисейское Алтайского края и переехала к нему в 1970 г. Депортанты, насильно изгнанные из мест постоянного проживания, покидали не только могилы предков, но и привычную социокультурную среду и определенный уклад жизни, выработанный многими поколениями. Вынужденная смена среды обитания влекла за собой и значительные изменения в мироощущении, традиционных формах поведения и общения, способствовало существенным структурным трансформациям в сознании.

Благодаря глубоко личному контексту устная история является альтернативой официальной истории. И эта другая, неофициальная, неказенная история войны показывает, насколько драматично, трагично, порой без-

жалостно складывались отношения русских крестьян и депортированных немцев на уровне межличностных деревенских контактов. Как показывают устные свидетельства, под воздействием пропаганды и под влиянием эмоционального накала (война с фашистской Германией) немцев в алтайской деревне встречали настороженно и часто враждебно, калмыков, молдаван и других — более нейтрально, часто с сочувствием. Идеологическая антифашистская компания накладывала негативный отпечаток на восприятие немцев, а приходящие с фронта похоронки ожесточали русское население. М. Е. Йорк вспоминает: «Обзывали нас „фашисты“… И они (местные), знаете, что нам сказали? Господи, и плач и смех! В газете тогда про нас пишут и рисуют карикатуры… И когда мы приехали в Савиново, они говорят: „Фу, такие же люди, как мы. А мы думали, как нарисовано в газете, с хвостами“. То ли отстающий народ тут был, я не знаю. У нас уже культура лучше была, намного лучше была, чем тут народ был. И победнее жили, чем мы там». В оценках восприятия прибывших немцев местным населением заметна антифашистская и агипроповская, в том числе плакатная, пропаганда. К. П. Геер вспоминает: «Они гадали на нас рогами. Сначала фашистами обзывали».

Потеря близкого человека на фронте становилась главным мотивом ненависти местного населения к приезжим. А. И. Горбатова рассказывала: «Вот трактористы ребята (немцы) были — такие работяги. И мы с имя дружили… любовь крутили. Я прихожу домой. Мама: „Ты, однако, с Эрвином ходишь?.. Отца убили немцы, ты мне еще с ним щураться будешь!“ Взяла веревку, отходила [побила]… А я его всю жизнь жалею… Хороший парень, голубоглазый такой, симпатичный…».

Крестьяне алтайской деревни освоили агитпроповские аргументы и в своих интервью до сих пор воспроизводят язык газетных публикаций: «Это было в сорок первом году… приехали… немцы Поволжья… *Видишь, там был заговор у них, говорят, какой-то, на Волге. Вот оттуда и репрессировали их…*» (И. Г. Новоскольцев, с. Сростки). В Чарышском горном районе до 1941 г. немцев, по словам информантов, не видели и с интересом встречали новых поселенцев, о которых уже начитались в газетах: «До войны немцев тех не знали, не было их у нас. А тут приехали… Ну, нам интересно было — какие они, то ли правда как в газетах писали, с рогами на голове. Прибежали смотреть, а они обычные люди…».

Но и в отношении немцев к русским, по воспоминаниям жителей алтайской деревни, можно найти много неприглядного, начиная от воспоминаний о том, как насильно переселенные немцы пугали местных колхозников: «Вот придут наши» (т. е. немцы Германии) — и кончая противопоставлением немцев как более культурной нации русским крестьянам — «отсталому народу». М. К. Останина рассказывала: «Немцев пригнали. Они злы

были сразу. Вот эта немка Роза, она говорит: силы были бы, я б весь русский народ поперерезала бы… И все равно они уехали…». Отголоски такой неприязни как следствие взаимных обид встречались на бытовом уровне и позже, в послевоенное время. Типичным является и рассказ информанта из Ново-Обинцево Шелаболихинского района (В. А. Божанова): «Один случай был. Вот в детстве… в нашей компании было две немецкие семьи. И вот однажды… собрались компанией. И один из наших друзей в хорошем подпитии говорит: „А вообще Гитлер — дурак! Ему не надо было трогать Польшу, Беларусь и Украину. Он бы дошел до Урала свободно, а тут бы мы ему помогли“. А второй (тоже из немецкой семьи) сидит, его под столом ногой пинает, а тот: „Да ты что меня пинаешь? Что, не прав, что ли?“ А напротив того, первого, Миша Ерофик сидит, и он… как на него щукой кинется… мы разняли. А еще, говорят, случай был, когда из-за реки переезжали, женщина одна сидит, лодку раскачивает. Ей один раз сказали, другой. А она говорит: вот я вас всех утоплю здесь. Раз вас Гитлер не добил, то я вас добью здесь“. У них, видимо, обида жила, что они-то ни в чем не виноваты, а на них такое вот было…».

В этом проявлялся трагизм общественного разлома в военную пору, о котором до сих пор боятся говорить исследователи. Даже в современных исследованиях о советской государственной национальной политике в военный период историки ограничиваются сложившимися стереотипами об интернационализме, отмечая число героев среди других народов СССР на фронтах Великой Отечественной войны и умалчивая о другой стороне политики, связанной со сложными межличностными контактами в период этнической депортации. Неказенная народная память о войне может проникнуть в академическую историю только через призму семейной истории в виде документированных интервью о взаимоотношениях, складывавшихся в период насильственных переселений. Казенная же память лишена всякого человеческого содержания на бытовом уровне.

Несмотря на определенную напряженность межэтнических контактов в начальный период депортации в алтайскую деревню, интервью показывают, что дальнейшие отношения между местным и депортированным населением определялись межличностными контактами в трудовой и бытовой сферах. Они способствовали и единению, и разобщению. Определенное значение в формировании этнокультурного образа новопоселенцев имели особенности обустройства спецпереселенцев и их включение в деревенскую трудовую повседневную жизнь. Если свое влияние на первоначальное восприятие немцев оказывала антифашистская пропаганда, то в последующих взаимоотношениях более важным фактором было отношение переселенцев к труду, их поведение в быту. Так, практически все старожилы алтайской деревни отмечают большое трудолюбие и аккуратность

немцев в работе, высокий уровень культуры, говорят об эволюции своего отношения, которое менялось по мере сравнительного развития антитезы «мы» — «они». Ф. А. Опущенникова (с. Сростки) вспоминает, что «*немцы работящие были... Очень работали хорошо*, а русские все только пьют». «...Вообще-то на это внимание не обращали, русский он, немец ли, как-то не было. Уважаемые люди, *хорошие люди, плохого никому ничего не делали...* Нормальное отношение было... Никто их здесь не трогал... Пили с русскими вместе... А вообще *люди честные и добросовестные* были...» (И. Г. Новоскольцев, с. Сростки). М. М. Раченкова вспоминает: «Во время войны немцы тут были [Поручиково Третьяковского района], женщины и мужчины, но мужчин мало было. У нас *один немец даже бухгалтером был*. Привезли их в 1941–1942 годах, сначала к зиме, а потом летом. Привозили их до Третьяков, а потом на подводах до Михайловки... *Работали они в колхозе. Отношение к ним было такое же, как ко всем. Коров им здесь давали*».

Таким образом, уже после кратковременного совместного проживания характер взаимоотношений изменяется, отражая эволюцию настроений и социального поведения. Но в определенной степени эти оценки несут отпечаток и последующего послевоенного жизненного опыта, когда стерлась острота ситуации. Такую сложную трансформацию отразил отрывок из интервью репатрианта И. И. Дутенгефера (Чарышский район, с. Красный Партизан): «Местные относились нормально, никакой вражды не было, чтобы вот я немец, а тот русский. Да сразу признали нас. Были некоторые, что, кто „фашист“ там, „немец“ обзовется, а потом нет. А мы уже обрусели тут, а что?»

Чтобы разобраться в сложных этнических взаимоотношениях, отражающихся в устных источниках, можно апеллировать к наработкам этнологов, которые выделяют два уровня внутреннего мира человека, на которых происходит консолидация этнических групп и их дифференциация. Консолидация, как правило, происходила на базе общечеловеческих ценностных ориентаций, дифференциация — на базе этнической константы [16]. Анализ устных источников показывает, что факторами сплочения этнически разнородной, социально разобщенной, политически дифференцированной человеческой массы алтайской деревни являлись такие универсальные ценности, как трудолюбие, добросовестность, отношение к труду. Именно на их основе происходила консолидация сельского немецкого и русского населения. В приведенных интервью маркируются такие объединяющие социокультурные предпочтения, как «работящие», «работали хорошо», «хорошие», «плохого никому, ничего не делали», «честные, добросовестные».

Вместе с тем этнические константы могут не только разъединять (дифференциация) и даже конфликтовать, но также и объединять (консолида-

ция). От них зависит межэтническое согласие или конфронтация между конкретными социумами. Так, русские респонденты о таких этнических константах, как аккуратность, «нудность», «высокомерие», говорят, что одни из них могли разъединять, другие — вызывать конфликты. Выявить же ценностные ориентации и этнические константы, степень их сформированности и манипуляции ими, их роль в формирующихся человеческих отношениях можно, только вводя в исследования такой источник, как воспоминания-интервью. Исследователей давно занимает вопрос о способности психики индивида хранить в себе те или иные этнические данные, характеристики, структуры, определяющие этничность или принадлежность человека к этносу. Поставленный советским государством эксперимент по насильственному смешению народов позволяет исследователю выявить состояние и соотношение двух уровней этнической картины в экстремальных условиях, их влияние на общественное развитие и т. д. В поиске ответов на эти вопросы альтернативы устным источникам нет.

В частности, на формирование положительного образа депортированных немцев и последующую консолидацию, кроме таких традиционных ценностей, как трудолюбие, повлиял профессиональный фактор как следствие советской модернизации системы ценностей. Адаптации немцев в деревне способствовал высокий процент образованного немецкого населения, особенно ценилось профессиональное образование — экономисты, учителя, музыканты. Их профессиональная пригодность и востребованность учитывались при распределении по населенным пунктам. В том числе для этого в короткий срок была проведена паспортизация немецкого населения. Райисполкомы наряду с информацией о количестве, экономическом состоянии семей спецпереселенцев, массово-политической работе среди них и наличии антисоветских настроений учитывали их профессиональные качества. Собеседники вспоминали, что в райцентры или на станции, куда привозили немцев, приезжали председатели колхозов, там они «набирали» людей нужных специальностей — бухгалтеров, трактористов, учителей и т. д. Ю. И. Эрфурт помнит, что когда доехали до Чулыма, там «у власти уже были списки, кто какую специальность имеет. Как рабов нас продавали».

Как показывают устные свидетельства, приселение спецпереселенцев к русским, обеспечение жильем и трудоустройство переселенцев определялось политикой местных властей и зависело от ответственности директоров совхозов и председателей колхозов и от уровня экономического развития общественного производства. Официальные способы размещения депортированных были различными: одних селили в зданиях учреждений, для других находили пустые дома, третьих подселяли к местным жителям. В Новой Чемровке, по рассказам очевидцев, немцев расселили

по жилым домам: «Колхоз квартиры дал, где… дома пустовали» (А. Г. Черникова, Зональный район). М. Е. Йорк также вспоминает, что их разместили «туда, у кого… дома свободные были. То ли заставили людей, чтоб они освободили… По квартирам, у кого свободные комнаты были. Школы были. Вот старые школы в Савиново, туда нас выселяли». Некоторые информанты говорят, что эти пустующие дома принадлежали раскулаченным: «…им давали кулацкие дома» (С. Д. Фликов, с. Сростки). А семью Л. В. Любецкой (фамилия по мужу) подселили к русской семье: «Мама жила с двумя детьми у Амалии Михайловны… люди делились и кровом… и едой».

Устные свидетельства показывают, что по квартирам размещали не только немцев, но и других депортантов. В. Г. Кожемякина говорит: «Даже вместе жили. Армяне на квартирах у русских» (пос. Урожайный Зонального района). По свидетельству информантов из местных жителей, желания хозяев при подселении депортантов не спрашивали: «Я домой прихожу. А у нас семеро ребятишек, да их двое. У нас жили на квартире года два, они в одной комнате, мы в другой… Их привезли, и всё… Нас и дома никого не было… их привезли. Сгрузили и сказали, пусть они здесь живут…» (И. Г. Новоскольцев). Частым явлением было размещение депортированных в бараках и сараях. Например, в Луговском, по воспоминаниям депортированных, их поселили в яслях: «Свалили нас в яслях в одну кучу, прямо свалили, как пни. Негде было. Прямо в яслях детей кормили. Исть хочем, а кто нам что даст. Приходилось шибко трудно. Зиму как-нибудь прожили» (Э. Ф. Русскова). В пос. Восход Зонального района все депортированные немцы жили в бараках. А. И. Горбатова рассказывала, что «там, где контора, сюда и барак был, где… немцы жили, армяне, — длинный, сделанный».

Некоторые депортированные строились сами. Самым распространенным способом сооружения жилья в военное время, по рассказам очевидцев, стали землянки из дерна с углублением в землю, саманные, литые и каркасные дома с использованием соломы и глины. К. П. Геер рассказывал: «Сначала делали саман. Делали землянки, жить стали за лесом…». И. Г. Новоскольцев вспоминает, что немцы «селились, у кого не было жилья, около Пикета [гора-увал около с. Сростки] с той стороны, копали себе землянки, они долго жили там в землянках…». О трудностях обустройства депортированных на новом месте рассказывали местные жители: «…Приехали они летом, ни огорода не сажали, ничего… Голодовали они здесь жутко… Сначала в колхоз устроились… а к осени их раз — мужичков каких — в трудовую армию забрали. Остались женщины с ребятишками, куда они? Ни хлеба, ничего у них… Вот ходили огороды перекапывали. Кто картошку выкопает, они следом идут, что осталось — себе выбирают…». Адаптация к новым условиям проживания, занимавшая больше года, трудоустройство взрослого населения приводили к тому, что немцы

постепенно стали перебираться из бараков, школ, яслей в отдельное жилье — землянки. Э. Ф. Русскова вспоминает о своей семье: «На лето мы себе землянки повыкапывали. Мама накладет прутьев сверху на палочку, а сверху она их закапывала землей… Мы не белили, а говном помажем пол, чтобы пыли не было, и стены тоже… Жили как попало… Да щас скотина лучше живет…».

В связи с нехваткой рабочих рук большая часть депортированных размещалась в новых советских поселках, где и местное население проживало в тяжелых жилищно-бытовых условиях — в бараках, землянках. Жители пос. Урожайный (Зональный район) вспоминали: «В 44-м году приехали калмыки. Их выселяли оттуда… Строили землянки. Кто как мог, так и строили, так и жили» (В. Г. Кожемякин).

Несмотря на то, что в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров спецпереселенцы могли пользоваться всеми правами граждан с учетом установленных ограничений, последние по сути лишали их этих прав. По рассказам информантов из этнических депортантов, они не могли без разрешения спецкомендатуры выезжать за пределы колхоза, совхоза, обязаны были в 3-дневный срок сообщать об изменениях, происшедших в семье, строго соблюдать дисциплину и порядок в местах расселения, за нарушение режима подвергались административному наказанию и т. д. Всеми вопросами о спецпереселенцах занимался отдел спецпереселенцев (ОСП) в спецкомендатурах. Ю. И. Эрфурт рассказывала: «Комендатура отмечала каждую неделю, даже если кто хотел в больницу поехать. Даже в другую деревню нельзя было идти. Отмечали до 1956 года».

Рост немецкого населения продолжился и после 1945 г., когда с территорий, освобожденных Красной армией, были высланы немцы-репатрианты, вернувшиеся из-за рубежа, а также за счет немцев из республик Прибалтики (Литовской, Латышской и Эстонской). Устная история немцев-репатриантов также является частью истории алтайской деревни XX в. Извлечение информации об адаптации к деревенской жизни этой группы немецкого населения осложняется прочным вытеснением из их памяти о повседневной жизни воспоминаниями о тех приключениях, через которые они прошли в 1941–1945 гг., до приезда на Алтай. И. И. Дутенгефер, родившийся в Одессе (с. Красный Партизан Чарышского района), вспоминал о своей жизненной траектории, завершившейся поселением на Алтае: «Началась война, немцы Одессу оккупировали, и нас погнали в Германию, ну а потом до Румынии на своих лошадях, обозом, а оттуда уже в Польшу. Прожили там какое-то время, а когда Красная армия уж подошла ближе, погнали нас дальше, до Чехословакии. Там пожили месяц-полтора, войска ближе подошли, и вот так мы попали в Геманию. Там День победы встретили. И когда *эта заваруха кончилась, война* [пример того, как немцы изо-

Сарай из саманного кирпича (с. Сергеевка, Кулундинский р-н). Фото 2004 г.

лировались от происходящих событий — войны СССР и фашистской Германии], и вот все люди, которые попали в плен, кто как, всех освободили и *дали указ: кто где родился — уезжайте домой, никого не держали*. Ну, нас мама собрала, и мы поехали. *Думали — попадем домой, на Украину, а получилось-то не то. Ветку повернули не в Одессу, а вот в Сибирь*, Казахстан. *Много наших немцев* так. Вот я попал сюда, в Чарышский район. Вот Чарыш, да еще и там село Комендanточка, она почти вся была из нации немцев». Отношение к немцам-репатриантам было уже более терпимым, а очередной указ покончил с надеждой спецпереселенцев на возвращение на родину, так как утверждал, что переселение немцев в отдаленные места страны проведено навечно. А в 1949 г. ранее не подвергавшиеся выселению немцы — местные жители (столыпинские переселенцы) также были взяты на учет спецпоселений по месту своего постоянного жительства [17].

Таким образом, в процессе включения в производственную жизнь немецкое население, несмотря на идеологические установки, государственную политику и неблагоприятную общественную атмосферу, врастало в деревенское общество, становилось частью сельского социума.

Калмыки, в отличие от немцев, селились изолированно и на протяжении всего времени жили обособленно и самостоятельно. Определенную тягу к консолидации проявляли и армяне. Местные жители пос. Урожайный вспоминают, что «в 44-м приехали калмыки. Их выселили оттуда... Строили землянки, кто как мог, так и строили. Так и жили... Армяне жили

на той стороне лога, землянки делали. В землянках жили-то» (В. Г. Кожемякин, Т. А. Чепурных). Армяне на Алтае, благодаря традициям глинобитного строительства, приступили к возведению саманных домов. Т. А. Чепурных рассказывала про армян: «Ну, их почему-то на ту сторону вывезли, они там строились. Они делали дома сами: ямы выкапывали: туда солому, глину топтали. Саманные дома. А русские землянки копали». М. Д. Кожемякин так и говорит: «Саман делали из соломы и глины. Армяне это вздумали, такое строительство (саманное). И настоящее строительство. Саман делали из соломы и глины. С обеих сторон обмажут, выбелят». Саманным строительством, благодаря доступности материала и быстроте возведения построек, впоследствии занялись представители и других депортированных народов.

Переход на самостоятельное строительство и стремление ряда этнических переселенцев к обособлению привело к их компактному расселению на местах. Определенным фактором в выстраивании отношений этнических депортантов и местного населения являлись языковая принадлежность и единство хозяйственно-культурных традиций. Информанты, характеризуя расселение депортированных, часто говорят, что все «жили вместе», и в то же время подчеркивают, что их землянки, саманки, бараки находились за определенной чертой оседлости русских старожилов. Так, в Урожайном «армяне жили на той стороне лога… Лог, пруд, по той стороне жили все… Армяне жили, молдаване отдельно жили… Русские тоже жили. Вместе же не будут жить с ними. Каждая семья к своей кучке — скажем, армяне там, молдаване… Тама калмыки строились себе» (М. Д. Кожемякин, Т. А. Чепурных).

В Соколово депортированные калмыки проживали по правой стороне реки Уткуль. Этот район местные жители до сих пор называют «Шанхаем». Причинами такой дифференциации являлась не только этническая принадлежность калмыков, но и жилищные традиции. Из-за обилия леса у русских в Соколово господствовало срубное строительство, а у калмыков, как степного народа, — землянки. Кроме того, депортированные калмыки часто стремились сообща строить бараки, которые, по устным свидетельствам, были «неказистыми»: «Они у нас, калмыки, жили за речкой — „Шанхай“. Дома были очень низенькими, и они строили бараками» (Е. И. Симонова). Интересно, что старожилы не говорили об обособлении немцев и украинцев, которые не стремились отселяться от русских. Закреплению расселения по этническому принципу внутри сел способствовали и такие устойчивые этнические константы, как бытовая и праздничная культура. Так, жители Урожайного вспоминают, что «армяне свои круга танцевали, молдаване — свои… а калмыки ходили по защитке» (М. Д. Кожемякина). В результате политика принудительного расселения фактически заверши-

лась в алтайской деревне дифференциацией ряда народов по этническим районам и краям поселений.

В основе адаптации этнических переселенцев на новом месте лежала этносоциальная память депортантов, свойственная тому народу, к которому они принадлежали. Как об этом пишет знаток биографического метода Е. Ю. Мещерякова, «неосознанность подчинению определенным социальным правилам в повседневной жизни отражает парадоксальную структуру субъективных действий. Человек выражает в своих действиях больше смысла, чем субъективно полагает» [4, с. 7]. В этом смысле устные источники являются базой для изучения ментальности (как «способности психики индивида»), этнических представителей в поликультурной среде или в условиях дисперсного расселения и форм их социального поведения.

При этом взаимоотношения местных жителей и вновь прибывавших депортантов строились не по политическому принципу, а с учетом этнокультурных факторов, среди которых и та и другая сторона отмечают и сходства, и различия, и непривлекательные, и положительные черты. Так, рассказывая о поляках, очевидцы вспоминали, что «о поляках вообще особый разговор. Они были либо музыкантами, либо просто все музыкальные. У них в клубе оркестр был — скрипка и мандолина. Они держались обособленно. Женщины такие нарядные, красивые, ухоженные; мужчины очень чисто одевались. У них эти тройки [комплект мужского костюма] были. С собой привезли всё… Они держались особняком тут, ни с кем не знакомились. Женился один на девушке местной, но вот разрешили когда уехать, он ее с собой не взял…» (Н. В. Хроменко).

Объединить и перемешать народы мог только совместный труд. Но и в его основу легли традиционные занятия, основанные на этническом самосознании, мировоззрении и хозяйственно-трудовых традициях. Наиболее близкими к русским трудовым традициям оказались немецкие и украинские производственные навыки, сформированные земледельческими предпочтениями с вытекающими из этого особенностями хозяйственно-культурного развития. Устноисторическая информация отразила дифференциацию сельского общества в производственном секторе. Например, первоначально труд молдаван, ингушей и армян использовали в сельскохозяйственном производстве Алтайского края, где в военное время катастрофически не хватало мужской силы. На первых порах и немцы, и калмыки, и молдаване привлекались к обработке колхозных и совхозных полей. П. Н. Гурова (пос. Восход) вспоминает, что с ними на полях «армяне работали. Вот, я знаю, на поле мы были, армяне-мужики скирдовали». Ф. Ф. Волокитина подтверждает: «Немцы были тоже на свекле, как все работали». Но при этом одни вливались в трудовые сельскохозяйственные коллективы местного русского населения, другие создавали самостоятельные подраз-

деления. Так, в Восходе калмыки составляли самостоятельное звено, информант говорит: «Работали они на свекле. У их свое звено… Свеклу возили и лес возили… А у немцев этого не было, чтоб у их свои звенья. Три человека там, три человека там [вперемежку с местными колхозниками]» (П. Н. Гурова).

Использование всех депортированных, даже не обладавших нужными навыками, в сельскохозяйственном производстве было обусловлено проблемой обеспечения сельского хозяйства рабочей силой. Ситуация обострилась с началом Великой Отечественной войны. Мобилизации в алтайской деревне подлежали работники колхозных и совхозных полей, рабочие МТС и т. д., что приводило к недостатку квалифицированных кадров и чернорабочих. Частично проблема решалась за счет депортированных. Однако со временем, оценив строительные умения и навыки армян и молдаван, их стали использовать в строительстве производственных и жилых объектов. В Урожайном силами спецпереселенцев за десятилетие (середина 1940-х — середина 1950-х гг.) были построены почти все сельские культурно-бытовые и административные здания. Например, исключительно силами молдаван был построен сельский клуб: «В 56-м его закончили строить. Строили молдаване… Да, репрессированные молдаване были тута, жили тут…» (В. Г. Кожемякин). Как сказали информанты, «все отделение (жилой сектор пос. Урожайный) они тут строили». К хорошим строителям местные относили не только молдаван, но и армян.

Совсем по-другому использовался труд немцев. Отсутствие квалифицированных кадров на селе в годы войны, с одной стороны, личные качества и трудоспособность, с другой стороны, создавали благоприятные условия для обеспечения новопоселенцев работой в сфере интеллектуального труда, в качестве управленцев и экономистов сельского хозяйства. Так, Н. Е. Гринимайер работала бухгалтером в Мирном. Ее дочь вспоминает: «Мама у меня была относительно грамотным человеком, потому что по тем временам она закончила школу. Поэтому она владела и немецким и русским языком и работала бухгалтером». Депортированный немец стал директором совхоза в Соколово. Среди депортированных украинцев в отделении свеклосовхоза стал управляющим Мищенко, главным бухгалтером в пос. Восход — депортированный украинец И. Н. Палиев. Информант вспоминает: «А украинцев много здесь, и уехало мало украинцев. Украинцы, здесь они остались. Шлейник и Шевчуки сосланные были здесь. Палиев — они тоже сосланные были, бухгалтером работал главным, среди калмыков Миша Барсека, он в конторе работал. Грамотный, хорошо порусски говорил» (Т. А. Чепурных). Кроме того, резкое увеличение в 1920–1930-е гг. количества сельских школ начального и среднего звена поставило проблему их укомплектования кадрами. Поэтому депортирован-

ные немцы, владеющие двумя языками и имеющие образование, нередко становились учителями. Грамотность позволяла немецким и украинским спецпереселенцам устроиться и в сфере обслуживания.

Из всех переселенных народов наименее приспособленными к переселению и проживанию в иноэтнической среде оказались калмыки, традиционно занимавшиеся скотоводством, культура которых отражала традиции степного кочевого скотоводства. Они труднее адаптировались к новым социальным и производственным условиям, сложнее трудоустраивались. Именно поэтому информанты отмечали особенно высокую смертность среди калмыков. Определенную роль сыграл и характерный для калмыков большой состав семьи. По рассказам респондентов, взрослое население, чтобы прокормить детей, голодало. Отсутствие своевременной медицинской помощи приводило к высокой смертности и взрослого, и детского населения. А. И. Горбатова вспоминает: «...Ох, их привезли, и они сильно умирали. Вот в этот же барак, клуб, все заполнили, и нары там сделали. И, наверное, или от климата... или от голода. Их без гроба, без ничего. Тут и кладбища не было. Прям... накладут на сани, завернут в лохмошки... Заворачивают целиком и в Буланиху... Там никто ямы не копал. Там их в снег свалют». В с. Усть-Катунь Бийского района Е. Т. Мачехина тоже рассказывала о том, как мертвых калмыков хоронили прямо в снегу, а весной, когда сошел снег, они оттаяли, и собаки таскали по деревне части тел. Это продолжалось до тех пор, пока местное население не возмутилось и администрация не распорядилась похоронить трупы.

Под влиянием разных этнокультурных традиций процесс адаптации к новым условиям проходил у разных народов неодинаково. Как показывают устные источники, немцы быстрее вливались и в семейные, и в трудовые коллективы. Этому способствовало сходство образа жизни. Так, ведение личного подсобного хозяйство местными крестьянами было для немцев привычно. Для многих из них способом обеспечения пропитания стал наем на работу к русским односельчанам. Подряжались в качестве работников в домашнем хозяйстве в основном дети подросткового возраста. Эквивалентом труда являлись продукты питания. Э. Ф. Русскова вспоминает: «Мама моя ходила работать на пашне, а я ходила людям подряжала, канавы копать... ямы за два ведра картошечки... Вот здесь женщина жила, у нее ребенок был, а ей надо было работать. И в няньках ушла. Мама моя жила в землянке. Придет, встанет: „Доченька, ты хоть бы скорлушки [картофельные очистки] собрала бы маленько, мы ведь с голоду помираем. Ты-то ведь ешь“. А я говорю: „Ну а как? Хозяйка не дает... я бы вам и картошечку дала, и, может, кусочек хлеба дала. Как я вам дам? Она меня выгонит“. И она [хозяйка] уйдет на работу... она делала толстые скорлушки с картошки. Соберу их, обмою, спрятаю...».

Адаптационным фактором стало стремление немцев стать «своими», раствориться среди русских. Многие немцы из-за страха и унижения, испытанных во время депортаций и репрессий, перешли исключительно на русский язык, что вело к потере родного языка. Э. Ф. Русскова вспоминает, что ее мать на первых порах «по-нашему щас ничего не знает, хоть отматерят, хоть что сделают [не понимала]». Л. В. Любецкая вспоминает: «Мама… не разрешала разговаривать на немецком языке, потому что она хотела нас уберечь». Этим объясняется и начавшееся «обрусение» немцев, стремление записать детей русскими в смешанных браках (отец — немец, мать — русская): «А дети, как по матери, русские. Вот старший сын был маленьким, бабушка [со стороны отца-немца] его сильно любила, так он немецкий язык знал. Что бы мама ни сказала — все понимал. А потом уже на улицу пошел, то уже переучился. А внуки вообще не знают. Только говорят: „Вот у нас деда — немец"».

Консолидирующим фактором для местных жителей и депортированных немцев выступал общий вид производственной деятельности — работа в поле и на усадьбе. Способность и желание немцев-депортантов работать, качество их работы изменяли первоначальное неприязненное отношение к немецким переселенцам. Рассказчики из местных жителей так и говорили: «Немцы вообще люди рабочие. И девчонки… они работали в звене с нами… и никакой разницы не было. Кто там, немка… они рабочие были И молдаване рабочие были. А вот калмыки так себе». Такую же оценку они давали литовцам и евреям: «Ой, никак не хотели работать… немцы хорошо работали. Отлично и за всех наших работали…» (А. И. Горбатова). Совместный труд способствовал формированию положительного образа немцев в алтайской деревне. Практически все информанты отмечают большое трудолюбие, аккуратность немцев в работе, более высокий уровень культуры: «Они даже культурнее нас были в смысле обихода, печи стали строить из кирпича, пошили платьишек, вот у меня сестра отдавала шить им, фасон какой-то был…» (И. Г. Новоскольцев).

Важнейшим фактором консолидации стал обмен трудовым опытом обустройства своей жилой среды и ведения домашнего хозяйства. Прежде всего русскому старожильческому населению алтайской деревни в экстремальных условиях 1930–1940-х гг. пригодился опыт депортированных народов в строительстве жилья из подручных материалов. М. К. Останина из Усть-Калманки запомнила, что в Спартаке «болгары… жили в поселочке. Потом они уехали… Болгары вот приехали, они научили нас лить [дома], мы лили… Прямо возили солому, глину, и доски ставили и лили. За день сливали хату… а крыли камышом да соломой. У нас была соломой покрыта, потом мы покрыли камышем. Литые, литухи… А рубленых — сколько там? Это старые [дома], давнишние. Это кто вперед там жил… Из сама-

на клуб сложили, саманный был. Их [болгар] же Сталин перегонял же, болгар, немцев с Поволжья. Ну, они научили земледелием [имеет в виду огородничество] заниматься. Ну они всё, и огород, и арбузы у нас садили, хорошие [арбузы] были. Бакша [бахча] хороша была, там песчаное место. Там арбузы постоянное садили. А теперь заросли эти сопки, запустело всё. Только пасека там щас». Именно переселенцы из немцев, «хохлов», болгар принесли и традиции штукатурки внутренних срубных жилых помещений русских старожилов.

В Смоленском и Третьяковском районах значительные изменения в жилищной культуре были связаны с расселением депортированных из Поволжья немцев и украинцев. А. Ф. Елясова вспоминает: «У нас в доме полы некрашеные были. В субботу полы шоркали. Пойдешь в баню, наберешь „дресву“ (бани топили по-черному, печь выкладывали из бутового камня, он нагорит, воды заплеснут, камни трескаются и рассыпаются), потолкешь, на пол посыпешь, с березового веника листочки сорвешь и чистишь голиком. Стены тоже были не штукатурены, только на стыке бревен, где мох, глиной замазывали. Я-то в войну немку наняла, так мне оштукатурили. До этого прямо по стенам белили. А как набелится, известка ощерится, ее ножом соскоблишь и опять белишь», а «пол-то покрасила и штукатурила в войну, когда немцы сюда приехали, мы их нанимали, а потом сами научились. А этот дом (по ул. Военной) штукатурила какая-то хохлушка. До этого не штукатурили».

В результате происходило сближение людей и культур, закрепляемое смешанными браками, хотя именно в семейно-брачной сфере дольше держались инерционные явления этнодифференциации. Интересные результаты дает анализ данных Чарышского районного архива ЗАГС: за десятилетний период между 1941 и 1951 гг. не было зарегистрировано ни одного брака между русскими и немцами, к 1958 г. было зарегистрировано 20 моноэтнических (между немцами) браков, а с русскими — всего 9. В период с 1958 по 2003 гг. моноэтнических браков было уже всего 3, а смешанных — 43. Устные свидетельства показывают, что только во 2–3-м поколениях алтайская деревня и в лице депортированных, и в лице местных жителей стала более терпимо относиться к смешанным бракам. Как говорил И. И. Дутенгефер, «они [молодые немцы] сами не хотели, молодежь [немецкая] своих искали. Было такое, что вот девушка была, немка, вот она с русским парнем хотели пожениться, и парень хороший был. Все! Не разрешили им родители. Очень строго у них было. Вот это второе, молодое поколение [дети депортированных] было. В третьем поколении уже со стороны родителей не было такого, но хотя сами хотели со своими. А уже когда наши дети выросли, то тут уже без проблем было». В пересчете на годы информанты отмечают изменение отношения к межэтническим бракам в

1960-е гг., когда вместе с русскими выросло поколение немцев, приехавших на Алтай детьми, адаптировавшихся в новой среде, что позволило отойти от этнических условностей. Главным фактором стали не национальная принадлежность, а личные качества человека. Тот же И. И. Дутенгефер так рассказывал об отношении своей немецкой семьи к его браку с русской: «В семье не было, что женюсь на русской, и с ее стороны тоже никаких, *даже и рады были — я непьющий был, негулящий. Все нормально*». Хотя зафиксированы и смешанные браки уже в послевоенное время. Это было связано с демографическими проблемами, вызванными войной, нехваткой мужчин, когда женщины в отсутствие выбора выходили замуж за мужчин другой этнической принадлежности. Как говорили информанты, «а тогда чё, *мужиков-то не было, ну они и рады были*...».

Вместе с тем совместное проживание и совместный труд способствовали взаимопониманию, трансформации бытовых привычек, празднично-досуговой сферы. Ярким примером является отмеченная на территории Алтая особенность немцев дважды отмечать праздник Пасхи — по православному и своему календарю. Как говорят русские информанты, «Пасха своя у них [немцев]. Она как-то раньше... они сначала справляли свою, а потом нашу, русскую...» (И. Г. Новоскольцев). Подобные высказывания больше касались публичной общественной жизни (первый уровень энической картины мира — общечеловеческие и советские ценности), а этнические черты образа жизни больше проявлялись на бытовом уровне (второй уровень — этнические константы). Это отмечают все рассказчики. Как заметила Н. В. Хроменко (с. Красный Партизан), «вот у немцев своя культура держалась. Не помню, какой праздник, ну ясно, что на Рождество, только это у них по-своему, как-то на „к“ называлось, длинное слово. В общем, наряжали голову коня и делали ленты на него, вот ребятишки выстраивались: один на палке тащил эту голову, а другие за эти ленты держались и вокруг домов в Рождество бегали у своего дома. Ну, кухня у них там своя была, от русской отличалась. У них все время на плите стоял чайник с кофе. Кофе у них с молоком. Пили все его. Блюда больше запеченные. Вроде простое блюдо, картошка с яйцами, но все равно, у нас бабушка так не делала в семье. Или желудок фаршированный — сартисон, как колбаса режется. Это все немецкое».

Документированный полевой материал показывает, что физические и моральные испытания и длительное проживание немцев в иноэтнической среде наложили существенный отпечаток на их обряды, привнесли в быт элементы других культур, однако не привели к полной утрате национальной специфики. Так, свадьбы, похороны, поминки у немцев в селе, по свидетельству очевидцев, стали мало отличаться от русских, но в то же время они, как говорят информанты, проходят более скромно, сдержанно, со

значительно меньшим употреблением спиртных напитков, т. е. в большем соответствии с лютеранскими, католическими и меннонитскими традициями.

Даже после реабилитации депортированных большинство немцев осталось жить в селах: «Многие немцы остались, женились на русских» (А. А. Краснова, Сростки). Как говорят собеседники, «а вообще-то сейчас перемешались, немцы женились на русских, русские — на немках» (И. Г. Новоскольцев). В результате многие депортированные немцы, рассеянные в русскоязычных селах, теряли разговорные навыки, шел процесс обрусения. Причины сами информанты видят в том, что «там [в Поволжье] говорили на немецком языке, а тут на русском». Хотя все информанты подчеркивают, что современные сельские немцы выделяются трудолюбием, бережливостью, внутренней обстановкой квартир, внешним видом (наличием изделий домашнего рукоделия: вышивки, макраме, вязаных вещей и т. п.). Русскоязычные информанты подчеркивают, что немцы добросовестно относились к любой работе, они деловиты, серьезны. А сами немцы-респонденты — как правило, спокойные, уравновешенные, сдержанные люди. Об этом же говорят и женщины других национальностей, вступившие в брак с немцами: «Я очень довольна, что вышла замуж за немца. Мы что: где взяли — там бросили, а он учит детей и даже меня аккуратности», или: «Бывало, муж придет с работы, сам усталый, а всё старается мне помочь. А у соседки муж русский, с работы на карачках приполз [пьяный], еще и куражится».

Этнодифференцирующим фактором, по устным историческим источникам, становили такие этнические константы, как самобытная культура и образ жизни спецпереселенцев. Незнание и непонимание поведения ряда этнических депортантов, семейных и бытовых традиций становилось непреодолимой преградой, способствовало формированию негативного образа или приводило к формированию искаженных стереотипов. Так, сформировавшееся представление о сравнительном достатке переселенных армян и литовцев основывалось на незнании их традиций обустройства жилища и традиционной одежды. Например, информанты Зонального района считали богатыми (по сравнению с местными крестьянами) армян, приехавших с коврами, которые в алтайской деревне являлись роскошью. Согласно национальной армянской традиции, ковер — символ благополучия семьи, неотъемлемая часть жилищной культуры, а русским сельским населением это расценивалась как роскошь. П. Н. Гурова рассуждала так: «Бедно немцы приехали — вот как мы тут были, так вот они в таком виде, никакого богатства. А вот у армян были ковры». Сформировавшееся стереотипное представление о более высоком материальном положении литовцев, многие из которых являлись горожанами, ассоциировалось с

одеждой из шелка, тогда как местные крестьяне носили ситцевую и льняную одежду. Надо отметить, что сельское население Алтая встречалось с народами Прибалтики раньше, в период земледельческой колонизации, когда литовцы, эстонцы, латыши участвовали в переселениях на новые земли на рубеже XIX–XX вв. и создали большое количество хуторов в таежных районах края или поселений в равниной части (с. Лифляндка Третьяковского района). Но среди добровольных мигрантов начала XX в. преобладало сельское население, а в период депортации 1941 г. среди ссыльнопоселенцев был высок процент горожан. А. И. Горбатова так интерпретирует зажиточность литовцев: «Такие интеллигентные, в шелку ходили. Мы-то их [шелка] не видели. Холст видали, как говорится. А они в атласных, хороших ходили. Литовцы хорошо одевались». И далее информант завершает противопоставление местного русского населения и депортированных немцев (тоже, как правило, сельских жителей) с депортированными литовцами: «Приезжали богатые (по сравнению с немцами и калмыками)… евреи, литовцы — вот эти люди богатые. Вещи такие на них! Очень были хорошие». Материальные различия закрепляли негативное отношение к литовцам, евреям, армянам и сочувствие к немцам и калмыкам.

Но наибольшее непонимание у местных жителей встретили калмыки. Именно в отношении калмыков в устных источниках очевидными становятся маркированность этнической иерархии в рассматриваемом респондентами культурном контексте и традиционная этика отношений, складывающаяся на основе иерархии культур. Калмыки остались чужими, хотя в соответствии с традициями милосердия в каждом депортированным народе русские находили положительные черты (чистоплотность и трудолюбие немцев, гордость, вежливость и интеллигентность литовцев, евреев и т. д.). В отношениях к калмыкам проявлялись, с одной стороны, сострадание и сочувствие, вызванные тяжелыми условиями их проживания и высокой смертностью, с другой стороны — отчуждение. Так, один из информантов на вопрос о домашнем хозяйстве калмыков сказал: «С каким хозяйством? Со вшами! А были дикие. Вот идешь, шубы белые, и тут сядет [по нужде]. Шубу расстелет и сидит». Причинами завшивленности были не только нечистоплотность, которую информанты противопоставляли немецкой чистоплотности, но и традиции ношения длинных кос как этномаркирующего знака. М. Д. Кожемякина рассказывала: «Ходили они… в косах все. Коса в мешочке. Черные. Мешочки сшитые. Ну а одёжа? Такие широкие [тулупы]. А потом тут нечем жить. А так, кто мешок привяжет, кто что».

Незнание традиционной культуры калмыков, особенностей семейных устоев отпугивало местное население. Вот как информант описывает попытку русских сельчан посетить по приглашению жениха калмыцкую

свадьбу: «Женился Мишка Борсека, парень с нашего года. Он все: „Приходите да приходите на свадьбу. Хочешь калмыцкую свадьбу посмотреть?“ Собрались. Мы зашли, а на нас калмыки напали. А у них детей помногу. Ужас! Ой! И за пазуху лезут… ну ребятишки такие, титьки пошарить… Мы кое-как вырвались. Какой там оставаться. Их-то там целый рой! У их муравейник. У их детей помногу. Мы давай там реветь. От как Мишка, то вышел, как начал их полоскать [ругать]. Потом даже ему стыдно… Не как у нас. У их столов нету. „Рай! Рай!“ — ходят и вот так на подносе [подают], что захочешь [берешь]… Дикие какие-то они» (А. И. Горбатова).

Скорее всего, именно разница в бытовой и производственной культурах, различия в менталитете калмыцких переселенцев и русского населения, оказавшиеся слишком глубокими, и явились причинами того, что принудительно переселенные калмыки полностью покинули Алтайский край после их реабилитации. Хотя при этом необходимо учитывать и более позднюю депортацию калмыков. Указ ПВС СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» был издан 27–28 декабря 1943 г., после чего последовало постановление СПН о выселении калмыков, в том числе на Алтай. В ходе операции по депортации калмыков (она называлась «Улусы»), которая проводилась в два дня, 28 и 29 декабря 1943 г., на Алтай из Калмыкии прибыло 20,9 тыс. человек (из 92 тыс.). Позже небольшими группами добавлялись демобилизованные из армии и выселенные из других областей европейской части России. Прибывшие в 1944 г. калмыки уже вселялись в сельские коллективы со смешанным этническим населением и сложившимися межэтническими отношениями. Поэтому информанты часто повторяют: «*Они не так долго тут жили, и, когда им разрешили, они все вернулись абсолютно.* Между собой они, конечно, только женились. Только вот у двух женщин остались… эти… ну, как говорят, суразы [так на Алтае называли детей, «нагулянных» женщинами вне брака, что в войну и после нее происходило часто; отцами, как правило, были мужчины-депортанты, так как русское мужское население поредело в годы войны]. Вот уже училась девочка. Бабка родила, сама русская, от калмыка родила вот эту Надю. Она уже вышла за русского. Дочка у ней, Люська, родилась — чистая калмычка, чуть-чуть посветлей… Остальные [деревенские жители] нормально относились. А *они сами рады и таким* [мужчинам-калмыкам] *были, потому что мужиков-то не было.* В школе никогда ее не дразнили, но замуж она как-то с проблемами вышла, потому что *все же не то отношение было*» (Н. В. Хроменко).

Таким образом, интервью показывают, что в течение длительного проживания происходила активизация контактов — посещение и участие в свадьбах, поминках и др., появление смешанных браков. Все это свиде-

тельствует о происходившей межэтнической консолидации. Отчасти она объясняется сходством культур, уровнем европейской цивилизованности, благодаря чему многие депортанты смогли встроиться в общественные отношения на новом месте. Вместе с тем устные свидетельства подтверждают значительную этнокультурную разницу из-за принадлежности народов к разным хозяйственно-культурным типам. Так, калмыки в силу скотоводческой специализации традиционного хозяйства оказались менее пригодны к земледельческому труду. Не было у них и строительного производственного опыта, как у армян или молдаван. А. И. Горбатова из пос. Восход Зонального района рассказывает, что «молдаване рабочие были, а калмыки так себе»). В этом проявилось столкновение архетипов, взаимное непонимание разных хозяйственно-культурных сообществ, являвшихся результатами длительной адаптации традиционных культур к «кормящему ландшафту»: русских и немцев — к земледельческому труду, армян и молдаван — к строительству, калмыков — к скотоводству, на основе которых формировались особенности образа жизни, трудовых и семейных традиций, праздничной и развлекательно-досуговой сферы жизни. Слишком большая разница в поведенческой, бытовой и производственной культурах препятствовала сближению даже в среде депортантов, например немцев и калмыков. И взаимоотношения русских и калмыков, немцев и калмыков складывались не по границе «народ-депортант» — «народ-хозяин», а по границе этнических культур и этнического образа жизни. И. Н. Ковалик, с. Красный Партизан рассказывает: «Но грязные они [калмыки]. Не нравится мне это. Вот смотрели, как они чай варят. Тода же плиточный чай был. И вот в чугунку полплитки, ложку масла бросят туда, сала горсть бросит туда, это все кипит. А бывало, и кусок курятины варят в этом же чае». Н. В. Хроменко говорит о настороженном отношении к «непонятым» калмыкам: «У калмыков особенности такие национальные были — они могли всё что угодно, как говорится, жрать. Выкапывать дохлый скот [падеж скота в войну] и варь его… У калмыков мы немножко брезговали…».

Устные источники показывают, что невежество и безграмотность порождают неприятие людей другой этнической принадлежности. Искоренить чувство неприязни между народами можно только просвещением, изучением истории народов и пониманием их культуры, в том числе поведенческой. Опросы и интервью помогают понять народы, которых на Алтае по переписи 2002 г. насчитывается около 140. И одной из причин формирования поликультурности общества Алтайского края явились депортации и спецпереселения. С целью профилактики межнационального непонимания необходимо разрабатывать вопросники по этнической истории и культуре, формировать коллекции устных исторических источников.

В диалоге интервьюера и респондента ликвидируется разрыв между народами, воспитывается уважение к представителям других народов, формируется толерантность и уважение, понимание чужих культур.

4.3. Взгляд в прошлое: будничное лицо войны глазами деревенских женщин и детей

В последнее время получило широкое распространение такое направление исторической науки, как военно-историческая антропология, по определению историков являющейся междисциплинарной областью исследования, которая включает в себя исследовательский инструментарий истории, психологии, культурологии и других наук. При всей своей многоплановости, пожалуй, главным ее стержнем являются историко-психологические исследования, которые показывают войну как явление, формирующее особый тип человеческого сознания, создающее феномен «человека воюющего», для более глубокого раскрытия мотивации и поведения людей в экстремальных условиях «военного лихолетья». В этом смысле военно-историческая антропология, по определению Е. С. Сенявской, является прежде всего «человеческим измерением войны» [18], в рамках которого фактически невозможно «фальсифицировать прошлое в угоду настоящему», чего, по мнению И. Д. Ковальченко, должен избегать историк [19].

Судьба детей и женщин глубокого тыла в годы войны является важнейшей частью истории войны. Без нее нельзя считать военную историю полной и завершенной. Вместе с тем именно жизнь рядовых колхозниц, подростков и детей сибирских тыловых территорий затерялась на фоне героических свершений советских женщин на фронте, в прифронтовой полосе, партизанских отрядах, блокадном Ленинграде и осажденной Москве. В зарубежной историографии существует термин «потерянные героини», а «скрытым ключом, который направил» к ним историков, оказался метод устной истории, который применяется исследователями в ситуациях, когда они располагают скудным количеством документов, касающихся жизни и деятельности данной категории людей.

В отечественной практике особенно могут пригодиться наработки исследователей, работающих в русле «устной истории женщин», или «женской устной истории» [20]. Женская устная история отличается от других «моделей устной истории», в частности от «модели Алана Нэвинса», с именем которого связывают оформление устноисторических методов. Его последователи прежде всего обращались к тем женщинам, которые «являлись важными фигурами в общественной жизни… функционировали на глазах у общественности… достигли признания…», и поэтому сосредотачивались на политической или культурной основе женской устной исто-

рии. Приверженцы «модели женской устной истории» занимаются прежде всего женщинами, которые были «за кулисами» театра военных действий, не являлись признанными активистками общественных движений, государственными деятелями. Использование «модели устной истории женщин» поднимает ряд вопросов, которые должны быть изучены шире: о питании и способах лечения детей в экстремальных условиях военного времени, о способах адаптации к условиям военного времени и выживания, о ролевой переориентации женщины в производственной и общественной жизни тыловой деревни, о стратегии поведения. Более того, в женских устных источниках зафиксированы такие негероические семейные сюжеты военного времени, как сроки, полученные за невыполнение трудодней, или судимость на основе, например, «указа о колосках», наказания за опоздание на принудительные работы, за спекуляцию, за кражу зерна на току для голодных детей и т. д. В этом плане устные свидетельств женщин военной деревни позволяют историку вносить коррективы во многие ставшие шаблонами фразы, например, «цена победы». Конечно, во многом такие сюжеты разрушают «глянцевый» портрет войны, отшлифованный в советское время. Но современный настрой общества позволяет обратиться к тому, что скрывалось в советской истории за парадным портретом войны, и показать, что происходило с людьми ежедневно в повседневной жизни.

В определенной степени такой подход является способом деидеологизации официального (советского) образа войны, который реализовывался и государственными деятелями, и исследователями, когда «истории» в обществе отводилась роль орудия политического и идеологического воздействия на «общечеловеческую» память. Именно расширение сферы военно-антропологической истории за счет жизни военной тыловой деревни позволяет воссоздать повседневную жизнь общества в годы войны и посмотреть на нее другими глазами, увидеть ее во всем многообразии и многоцветии. Действительно, «неверно представлять себе эти трагические эпохи как сплошную цепь несчастий. И в эти периоды люди дружили, любили друг друга, воспитывали детей, устраивал свой быт», а занимаясь устноистоическими исследованиями, можно «увидеть, из чего складывалась ежедневная жизнь людей... понять, как люди приспосабливались к жизненным обстоятельствам...» [21, с. 5].

Необходимость устноисторических исследований алтайской деревни в военное время диктуется и решением проблемы глубоких изменений в сознании сельских жителей, вызванных войной. Война ускорила модернизацию деревенского сообщества, проявлявшуюся в том числе в пересмотре многих традиционных представлений о женщине в быту, производстве, общественно-политической жизни, в переоценке системы жизненных

ценностей и закреплению социалистических норм во взаимоотношениях женщин и мужчин.

В этом смысле устные женские истории показывают общественную важность воспоминаний и особенностей самоидентификации авторов при оценке войны, а также демонстрируют трансформацию мировоззрения сельских жителей. Только записав рассказы женщин-колхозниц, живших на территории, удаленной от центра военных событий, мы можем увидеть полную историческую картину войны и представить себе феномен категории «подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны». И в этом русле не имеют значения социальный статус, административная должность, профессиональное образование женщины, которую выбирает интервьюер, то, насколько типичен или нетипичен ее жизненный опыт. Существуют нити, связывающие всех женщин, оставшихся без мужчин в деревнях: на колхозном поле, совхозном току или скотном дворе, в собственной семье, от жизни и деятельности которых зависел итог войны. В этом плане их повседневная будничная жизнь являлась важнейшей составляющей общих результатов победы советского общества в Великой Отечественной войне.

Введение женских голосов тыловой деревни корректирует общие и устоявшиеся представления о войнах, о героизме, о целом поколении «человека воюющего». Как заметила Шерна Глюк, «отказавшись молчать, *женщины создают новую историю*, основанную на их собственном опыте и голосе. Мы бросаем вызов традиционной концепции истории, тому, что исторически важно, и мы утверждаем, что наше бытие — это история. Используя устную традицию, старую, как человеческая память, мы перестраиваем прошлое» [22, с. 27]. Через изучение женских судеб в тыловой деревне можно увидеть то, «что не входит в рамки лубочных образов», понять, где в публикациях на военную тему сталкиваешься «с явной мифологизацией, где — с умолчанием, где — с вытеснением, ведь все это связано с теми страхами, которые до сих пор испытывают многие рассказчики» [23, с. 12]. Или, как определил П. Томпсон, «устная история бросает вызов общепризнанным историческим мифам, авторитарности суждений, заложенных в научной традиции. Они способствуют радикальному преобразованию социального смысла истории» [24, с. 34].

Вместе с тем перехлест в переоценках этих событий является этически недопустимым и, конечно, не способствует оздоровлению общественного климата и укреплению социальной функции истории. Увлечение разоблачениями, приклеивание военным историкам ярлыков «квазипатриотов», выпячивание негативных, нелицеприятных аспектов истории Великой Отечественной войны, игнорирование трепетного отношение российского народа к победе является следствием ангажированности исследовате-

Памятник героям Великой Отечественной войны (с. Ильинка, Шелаболихинский р-н). Фото 2005 г.

ля сиюминутными политическими ситуациями или конъюнктурности. Можно согласится с Д. П. Урсу, что современная общая «социокультурная обстановка, которая среди прочего характеризуется социальной травматичностью исторического сознания не способствует восстановлению подлинной правды о прошлом», что, тем не менее, не мешает создавать на основе голосов «безмолствующего большинства» источниковую базу по истории Великой Отечественной войны.

Война как «всеобщая беда» оставила глубокий след в сознании женщин и детей сельского военного поколения. Именно поэтому в собранных устных источниках по истории алтайской деревни много фрагментов, связанных с военным временем. Работа с информантами выявила определенную закономерность в запоминании прошлой жизни. Каждый пожилой человек, проживший жизнь, имеет свои горизонты памяти. Жизнь сельских информантов предстает в виде индивидуальной жизненной траектории от прошлого к настоящему (жизненная вертикаль), а горизонты памяти определяются по временны́м срезам биографии. Для людей, родившихся в 1910–1920-е гг., эти горизонты маркируются по десятилетиям, наполненных поворотами истории: 1920-е гг. — единоличное хозяйство, коммуны; 1930-е гг. — коллективизация и раскулачивание, разрушение церкви и механизация сельского хозяйства, репрессии, спецпереселения и общественные движения (пионе-

Памятник героям Великой Отечественной войны (с. Киприно, Шелаболихинский р-н). Фото 2005 г.

ры, комсомольцы, стахановцы, ефремовцы и т. п.); 1940-е гг. — война; 1950–1970-е гг. — укрупнение колхозов, ликвидация неперспективных сел, целина и т. д. На каждом из этих горизонтов была своя атмосфера, свой «аромат» истории. Как показывают опросы, у разных людей степень запоминания событий, явлений, будней различна. Но, как правило, у респондентов, переживших войну, военный горизонт памяти содержит отчетливые воспоминания. Так, в биографических интервью фронтовиков их воспоминания трудно удержать на предвоенном или послевоенном времени, они постоянно скатываются к памяти о жизни на фронте. Война, доминанта их жизненной траектории, выжгла из памяти все, что было до и после фронта.

Несколько иные свойства памяти демонстрируют женские устные истории. Осознающие прошлое через призму семьи, судьбы детей и родителей, женщины не так категоричны в отборе жизненно важных событий. Их горизонты памяти более равномерно хранят прошлое на всех отрезках их жизненной траектории и исторического пути всего общества. Но военная пора тоже занимает особое место в их памяти, и, в отличие от предыдущих и последующих горизонтов памяти с разнобоем в оценках и интерпретации прошлого, воспоминания о 1940-х гг. однотипны и отражают схожесть судеб. Как правило, женские военные истории неосознанно для рассказчика бывают призваны проиллюстрировать тяжесть судьбы (иногда контекстом на современном этапе выступает бессознательный про-

тест против недооценки их вклада в победу по сравнению с фронтовиками), возможные способы ее преодоления и соответствующие жизненные стратегии. Персональные судьбы женщин в войну пронизаны идеей «жертвенности» во имя детей, ежедневным преодолением тягот военного времени благодаря «жизненному труду» и сильному характеру, подтверждаемым биографическими фактами. В целом формирование и структурализация женских военных историй, как определяет И. А. Разумова, концептуализируется как «история выживания» [25].

Устные рассказы женщин отражают прежде всего всю полноту потерь алтайской деревни, демонстрируют, какой урон понесло деревенское общество тыловой зоны России в годы войны. В первую очередь женщины подчеркивают, что война лишила деревню рабочей силы. Деревенские жители, и в первую очередь колхозники, составляли в предвоенные годы самую большую категорию мобилизованного населения, поэтому более 60% численности армии в военное время приходилось на селян. В Алтайском крае число сельских жителей было самым большим в Сибири — 82%. Доля крестьян, мобилизованных из алтайских сел, была пропорциональна этой цифре [26, с. 103]. Советская армия комплектовалась преимущественно за счет крестьян. Сельское мужское население было лишено брони, в отличие от некоторых категорий населения города, где были сосредоточены государственные транспортные коммуникации, оборонные предприятия, научные и культурные центры, являющиеся общероссийским достоянием, управленческие организации. Именно поэтому деревня особенно остро почувствовала потерю трудоспособного мужского населения.

В силу этих же причин информантами военного периода деревенской жизни прежде всего являются женщины и «дети войны». На современном этапе память о войне, как правило, передается на коммуникативном уровне через женщин — бабушек и прабабушек. Все меньше остается живых фронтовиков. Благодаря записи женских или детских рассказов воссоздается уникальная по количеству мелких деталей и подробностей история тыловой жизни, военной деревенской повседневности: голод и холод, непосильный труд и традиции взаимопомощи.

Среди респондентов современной деревни можно выделить три группы. Первая — информанты, являвшиеся в войну трудоспособным населением, — крестьянки, родившиеся до 1925 г. Ко второй группе относятся подростки — девочки и мальчики, информанты 1926–1932 гг. р. Третью группы составляют дети военного времени, начиная с 1933–1935 гг. р.

Для женщин в повседневной жизни доминирующим фактором стало «обезмужичивание деревни». Характер колхозного производства требовал больших физических усилий — мужской силы, технических навыков. По-

этому информанты, как правило, начинают свои рассказы о войне с изменившейся демографической ситуации в селе. Женские истории показывают, что мужчины ушли на фронт из всех сел и деревень Алтайского края, и большинство из них не вернулись. В с. Зыряновка до войны насчитывалось «до 50 дворов. В войну из редкого двора не брали: у Реутовых — 3, Коткиных — 3, Путинцевых — 2, Коробовых — 2, Никитиных — 3 и т. д. На фронте погибли почти все мужики. За годы войны поселок стал меньше» (С. Я. Путинцев). На фронте погибли и «почти все мужики из Фунтовки». И так было в каждом селе.

В отличие от свидетельств, исходящих из городской среды, сельская женская устная история характеризуется памятью на имена односельчан, обстоятельства их судеб, бытовые условия, поведение людей, взаимоотношения в коллективе и т. д. Достаточно привести отрывки из интервью женщин Алтайского района: в с. Луговское «после войны почти все не вернулись, вернулся Букшин Иван без руки, Анатолий Балахнин без ноги, Сергей Казаков, еще один Казаков. Да семидесятилетние старики жили» (М. Ф. Букшина, с. Алтайское). Из Лежаново ушло 193 мужчин, а вернулось 5. Из Дресвянки «ушло на фронт 26, а вернулось 4 калеки, а в колхозе был один дойный гурт, голов 50. Народу мало было. А вручную прокормить трудно. Мужиков всех побило». В Маральем «забрали 40 с лишним человек, и никто не вернулся». Вследствие постоянных мобилизаций в течение всей войны деревня в теряла в первую очередь наиболее молодую здоровую часть населения; в их числе были подростки военной поры, на чьи плечи лег тяжелый колхозный труд первых лет войны и которые, повзрослев, были мобилизованы в конце войны. Ф. Н. Шевелева помнит, что «...в последнее время [1944–1945 гг.] вторую половину 27-го [1927 г. р.] брали [на фронт], а с 26 [1926 г. р.] всех поубивало». Это были ее одногодки. Взамен деревня получала в лучшем случае искалеченных мужчин.

Устные источники дают возможность услышать голоса не только тех, кому победа принесла радость, но и тех, кому она принесла новые страдания. Это голоса военных сирот, вдов, инвалидов войны. Их воспоминания — это самостоятельные области памяти о войне. Д. П. Шмакова рассказывала: «У отца братья на фронте погибли. Дядя Федя погиб на фронте. Сыновья у него — 2 ли 3 сына погибли на фронте. Один приходил, правда, с фронта. И мы яго тут похоронили. Он был весь израненный». А. И. Абалихина вспоминала, какие потери понесла ее семья и большая крестьянская семья родителей: «С войны муж вернулся. Болел шибко. Умер потом. Родители мои жили раньше с сыновьями. Их трое было. Все погибли: меньшак в 17 лет умер в 1937 г. Заболел, грипп был, а там легкие простудил и скоро умер. Средняк и большак на войне погибли. У средняка в мае дочь родилася, а в августе на фронте его убили...».

Документированные интервью показывают, что в этих условиях женщинам нужно было в кратчайший срок менять свой образ и ритм жизни, повседневные семейные устои, осваивать новые трудовые, общественные и управленческие роли и вместе с тем выполнять главную миссию женщины — растить детей. Трагедии оставшихся без мужчин крестьянских семей состояли в том, что они были многодетными. Мобилизация главы семьи являлась для них ощутимой. Так в семье Д. П. Шмаковой (по отцу Болговой) мать осталась одна с шестью «детями», старшей из которых было 13 лет, младшей — полтора годика. Она рассказывала: «Когда война-то началась, с первого дня прям вот на первый день, вот сёдня взяли… это семнадцать мужиков. Машина подошла, и сразу их забрали. И моего отца, первый был набор, взяли. Ага, взяли его и увезли… *А нас мама пятерых выходила. Все-таки выходила. Ну и все-таки одна у нас умерла…*».

Одним из тяжелых эмоциональных факторов для оставшихся в деревне женщин являлась необходимость привлекать к тяжелым работам детей и подростков. Как вспоминают женщины, «дети одни работали. Надо изматериться за их работу. Да что детям скажешь?! Так бригадир, бабка Тамонова, кричала: „Подьте вы к ногтю, ребятишки“. Е. И. Матысина (д. Черновая) говорила: «Война очень тяжелая была. Я много пережила горя несусветного. Сколько слез пролила. Дите рос, и никто не поможет».

Война, не сняв с женщин ответственности за детей, возложила на их плечи мужскую работу. Как говорят сами женщины, приходилось быть «и бабой, и мужиком». Адаптация женщин к военным условиям, как показывают их рассказы, проходила в предельно краткие сроки и сопровождалась подрывом здоровья женщин, пожилых людей, подростков, вынужденных выполнять мужские работы и обязанности. Это подтверждает однотипная структура устных повествований. Достаточно привести один отрывок: «В войну мужиков много забрали [далее в каждом воспоминании идет поименное перечисление односельчан]… Уже 16 насчитала. А вернулись 6 человек [пофамильно]. Остался из старых дядя Гаврила Белоусов, Василий Иванович Доменин. Хомуты правил, сани делал, брички. Потом пришел Шадрин Иван с одной ногой. *Всю силушку положили. Хватили горюшка до слез. Всю мужскую работу*. Вспомнишь — сердце кровью обливается». По воспоминаниям, женщины и подростки взвалили на свои плечи все сельскохозяйственное производство: «пахали, сеяли, убирали, обрабатывали зерно, отправляли… на государство, потом пахали зябь… готовили землю к весенней посевной» (В. С. Карлов, с. Иня).

Устные источники показывают, что за «подвигом тружеников тыла», как это именовалось на официальном советском языке, стоял ежедневный и непосильный в прямом смысле слова труд, который привел к необратимым последствиям в социальной психологии деревенского человека,

подрыву традиционных представлений о роли и месте женщины в обществе. Влияние военного фактора на трансформацию социальной картины мира мало рассматривается и историками, и этнографами. Между тем устные исторические источники показывают, что Великая Отечественная война внесла большие коррективы в мировоззрение людей, в отношения мужчин и женщин, в развитие традиционных и социалистических воззрений. Многие мужские функции в военном деле, производстве и быту были освоены женщинами, что вело к разрушению образа женщины — хранительницы семейного очага, домашнего человека. Социалистическое государство в предвоенный период культивировало новый образ женщины — образ передовика производства, активистки общественной жизни и государственного управления.

Война закрепила тенденцию разрушении традиционных представлений о женщине. Об этом говорят лингвистические особенности устных исторических источников, в которых информанты рассказывают, как им пришлось осваивать традиционно мужские профессии, связанные с механизацией сельского хозяйства: тракториста, комбайнера, шофера. В с. Макарово Шелаболихинского района, по словам Е. Ф. Гребневой, «*был тракторист Кринина Ивана Родионовна*, Емельянова Валя, Дудина Ира. А Пирогова Анна на ЧТЗ работала». Сбой в родах употребляемых слов показывает, что в языковом сознании женщин эти профессии ассоциировались с мужским трудом, и они с трудом применяли их к женщинам. В другом случае информант говорит, что в колхозе был «один трактор, на нем работали Е. И. Выходцева и Т. М. Маркелова», сама она была «*транспортом на быках* — возила мешки с зерном в Третьяки (кони-то повыпропадали). Ездили да ездили, *не допускались по дому*, ни есть, ни пить. На корове хоть едешь, подоишь — попьешь. *Скорее надо выполнить*». В условиях военного режима времени для обучения в МТС на трактористов, комбайнеров, шоферов и освоения техники практически не было. Женщины говорили: «...*Обучали-то нас недолго*. Показали — и иди работай...» (Ф. Н. Шевелева, с. Шелаболиха). С этим связаны многочисленные истории о несчастных случаях на производстве. Об одном из них рассказала Ф. Н. Шевелева, работавшая трактористкой: «А трактор-то, колесник... Видно, задремала, нога соскользнула на серьге. Вот меня и потащило этим боком. А *Фимка Ворсина, бригадир*, даже в больницу не пустила». Бывшая трактористка Е. Ф. Гребнева вспоминает: «Один раз распороло мне ногу. Женщины травы всякой нарвали, вот так и лечилась». Но факты травматизма они связывают не только с профессиональной непригодностью женщин для «мужских» работ, но и с изнурительным ненормированным трудом, жестким трудовым режимом, чрезвычайным напряжением физических сил, полуголодным существованием.

Во всех приведенных интервью респонденты еще не освоили трансформацию производственной лексики: «тракторист» — «трактористка», «бригадир» — «бригадирша». Это может свидетельствовать о том, что они переступили определенный психологический барьер, отделявший их от старых представлений традиционного крестьянского общества о месте женщины, и шагнули к новым социалистическим представлениям о женщине как о равноправном участнике общественно-трудовой жизни. Война подорвала такой принцип традиционной крестьянской трудовой этики, как деление работ на женские и мужские, и не только в сельском хозяйстве. Одними из самых тяжелых участков работы в военное время для женщин стали лесоповал и лесосплав, традиционно являвшиеся сферой мужского труда. Объемы заготовок леса, назначаемые колхозам в годы войны, были значительными, а трудоспособных мужчин не хватало. Как говорит В. С. Карлов, бывший подростком в годы войны, «…женщины — и повара, и лес плавили, мужиков-то мало было. Война». Н. И. Пройдакова из Ини помнит, что «бабы, ну вот которые уже взрослые, те… катали их, эти бревешечки, в воду. А которые были поваром, которые бакенщиком, ну, кому как придется». Как говорил В. К. Сидоренко, «их припрут на лесозаготовки — со всех колхозов гнали, — поселят в бараки. А сена лошадям нет, кормить нечем. Они съездят за сеном в село. Лишь бы лес валили. Никакой заботы о людях».

При этом в условиях военного времени востребованными оказались те навыки и умения из традиционной системы хозяйствования, которые позволяли без механизации труда заниматься сельскохозяйственными работами. В частности, в условиях нехватки техники и лошадей, реквизированных на фронт, женщины заменяли их коровами и быками, на которых пришлось выполнять всю непосильную для женщин работу. Ф. Н. Шевелева из Шелаболихи вспоминает: «А весной боронили на быках, пахали. Я вот *за плугом ходила, на бороновке была*». Всю остальную работу женщинам приходилось делать вручную, на что уходило все дневное и даже ночное время.

В этом смысле война увела из семьи не только мужчин, но и женщин, которые вынуждены были изменить жизненные приоритеты в пользу производства. Это стало для общества важным шагом на пути от патриархальных представлений о роли женщины к пониманию ее общественной значимости. Как вспоминают респонденты, всю весеннюю страду, а то и весь летний полевой сезон женщины были оторваны от семьи. Их вывозили «на бригады», где они день и ночь работали в поле. Выездной полевой сезон включал весь период пахоты, сева и уборки. Описание бригады военных лет содержится в рассказе Е. Ф. Гребневой: «Вот стояла избенка там. Молодые сделают из плах нары… Напротив столовая была, а в проходе покрыли и под этим навесом находились…».

Женская устная история приподнимает завесу молчания над многими историческими реалиями военного времени, пробуждая «женскую» память. Респонденты подчеркивают, что в условиях военного режима на бригадах существовала жесткая трудовая дисциплина. Ф. Н. Шевелева рассказывала: «Послал нас бригадир поскань дергать. А утро-то... роса. [Пока ждали, когда роса высохнет]... и уснули. А бригадир увидел и не дал обедать. Издевались, кто как хотел. Вот так и работали». Д. П. Шмакова рассказывала: «А до самого чуть ли не до декабря молотишь. Хлеб ведь не успевали в войну, сама знаешь, как там. Может, ты и не знаешь, конечно, ты-то молодая. Ну пока и не кончишь хлеб — а хлеб был очень хороший. урожай был всегда хороший, — и пока не кончишь хлеб, планы-то вот-то и сдавай, и сдавай, и сдавай — приедут, а как?!»

В условиях военного времени особое значение приобретал человеческий фактор. От него во многом зависели бытовые условия, трудовой режим, отношение к людям. Женские интерпретации личных и семейных возможностей уделяют большое место взаимоотношениям как «по горизонтали» (друг с другом), так и по вертикали (с партийными и колхозными руководителями). А. И. Абалихина рассказывала: «В войну я заболела и пошла в больницу в Ульяновку пешком [из Устаурихи]. Иду в больницу, а навстречу управляющий едет: „Куда нарядилась? Воспаление хитрости у тебя, да?“... В больнице справку на три дня дали. В войну больше не давали... Хину пила от малярии... Еле потом отходилась...». Жизнь рядовых колхозниц зависела от личных качеств бригадиров и председателей колхозов. Некоторые из руководителей давали послабления в праздники. В таком случае, по словам информантов, «в бригадах жили с весны до зимы до глубокой, а *как только праздник сделают*, то домой сразу бежишь». Но в большинстве рассказов респонденты подчеркивают, что в военное время «...какие праздники?! Работали только, а *праздников-то мы не видали*» (В. Ф. Петухова, с. Ново-Обинцево). Женщины с благодарностью вспоминают тех председателей и уполномоченных, которые пытались, в том числе обманным путем, защитить своих колхозников от государства, когда те скрывали хлеб и не сдавали его государству, тайно засевали неучтенные полосы земли, тайно раздавали хлеб семьям колхозников.

Особую роль в соблюдении трудовой дисциплины играли партийные органы. Т. М. Тарасова (Климова) рассказывала: «Я вступила одна из первых в колхоз „Верный путь“ в 1930 г. Была активистка, заведующая яслями. А в войну бригадиром — из-под пули заставили. Тогда были политотделы. Начальник политотдела вынул наган: „Ты на кого работаешь?! На немцев? Сейчас я тебя расстреляю“. Я в слезы...» (с. Старо-Алейка). Но поведение руководителей зависело от их личных качеств, причем в их среде, как и в других сферах деятельности, произошел гендерный перекос. Многие

женщины-партийцы по-женски понимали проблемы рядовых колхозниц, проявляли солидарность. Бывшая инспектор комсомола рассказывала: «Колхозы им. Буденного, „Красная пашня", „Новый путь" план перевыполняли, но похитрее были. Там же лес кругом, они площадки посеют кругом, много площадок оставалось без учета, а значит, зерно оставалось. А у нас в Лежаново посеют 100 га, то 100 га и сдай. Я — грешница. Меня направляли в колхоз „Красная пашня" (Верх-Каменка). Приехали — женщины одни. А я полномочна от райкома комсомола — вот до грамма обмолоти, до грамма сдай, не выезжай. Председатель: „Ну что делать? Мы опять бабенок оставим без хлеба, а у них 4–6 детей". Я говорю: „Ну как сделать?" Он говорит: „Ну в чем дело? У тебя в сводке 60 га, значит, 60 га и сдавай". Ночью, чтобы никто не знал, никто не видел, я разрешила разделить по бабенкам. Но если бы только узнали — тюрьма» (М. Ф. Букшина).

В подобных текстах фактор «гендера» выступает как независимая от других параметров взаимодействия характеристика, достаточная для объяснения того или иного типа партийно-управленческого поведения. Сама рассказчица поведенческую стратегию соотносит с полом участника взаимодействия. Вместе с тем именно в устных военных источниках «гендерный» фактор оттесняется «статусным»: местом, которое человек занимает в структуре производственного или соседского взаимодействия (уполномоченный, бригадир, председатель), а не тем, мужчина он или женщина, как это было в деревенской традиционной среде. Поведение человека, его возможности, условия жизни стали определяться социально-административным положением. Динамика взаимоотношений в военное время, смешение ролевых статусов закрепляло в советской культурной традиции паритет мужчин и женщин, подрывало «половой стереотип», закрепленный на уровне обычного крестьянского брака и традиционной этики деревенского общества. Это усугублялось и тем, что в военное время изменилась значимость института семьи и института «соседства». Война сняла противопоставление этнокультурных интересов соседей (кержаков и мирян, католиков и православных) и ослабила традиционные представления о женских и мужских стратегиях поведения. В результате война стала важным фактором превращения традиционного патриархального мировоззрения с жесткими ролевыми и поведенческими стереотипами в советское мировоззрение, декларирующее равенство «полов», но приводившее к стратификации общества по должностям, административному и партийному положению, принадлежности к ранжированной социалистической идеологией социальной принадлежности — крестьяне, рабочие, интеллигенция.

Как и в устных рассказах о включении женщин в производственные сферы, в рассказах о женщинах, заменивших мужчин на руководящих должностях, респонденты нарушают грамматику русской речи, подменя-

Заготовка кизяков (с. Алтайское). Фото 1994 г.

ют женский род мужским. Одна из них вспоминает «*Я... там учетчик... была, а Анна Малышева — она заправщиком*». Сопоставление перечня обязанностей, видов и объемов работ женщин показывает переосмысление гендерных стереотипов в традиционной крестьянской культуре вообще. Война подорвала соподчиненную и детерминированную иерархию мужского/женского в трудовой и производственной культуре.

Вместе с тем следы традиционных норм поведения отчетливо просматриваются во взаимоотношениях по горизонтали: в совместной жизни в бригаде, взаимопомощи и поддержке. В производственных женских коллективах находилось место шутке, юмору: «...Сами идем мыться [в баню на бригаде], а мальчишки возьмут нас в базе подопрут... они наберут в дизельный насос воды холодной — и в это окошечко. Мы там по этой бане [бегаем, мечемся], не знаем, в какой угол бежать» (Е. Ф. Гребнева). Мощным стимулом коллективизма как фактора общинности являлась песня. Е. Ф. Гребнева рассказывала, что в военное время «хороводы водили, песни пели. В бригаду едут... они от дома и до самой бригады песни поют. И вечером тоже, хоть как устали, будут песни до самого дома, песни...

В войну доярки выходят вечером коров доить, споют песню, а только потом под корову идут».

Д. П. Шмакова вспоминала: «Клуб был, потом, в войну, стали телят туды загонять… База сломалася, завалилася, и они в клуб… Клуб деревянный, хороший. Большой клуб, ну скота загоняли… Пошлют нас весной, мы вымоем, а отоплять было нечем, не отоплялся он зимой… Ага, а летом и бяз его хорошо. Все на улице. Пойдем, в магазине крылечки здоровые. Гармонист сядет, а мы на улице пляшем». Объяснение такому веселью содержится в толкованиях самих женщин: «Было 16 лет, когда началась война. Но *иначе было нельзя, не выжили бы.* Вечерам собирались где-нибудь в избе, пели песни, плясали, играли. ...Из еды была лишь редька, картошка да тыква…» (В. К. Лапотько).

Сравнение женских и детских устных историй показывает, что мир детей военного времени существовал параллельно с женским, но их взгляды на войну формировались в несколько иных плоскостях. Оценки женщинами прошлых событий в устных рассказах менялись в зависимости от событий в семье, в деревне, на фронте, зависели от сведений, поступавших от мужа. Женщины понимали все детские проблемы в военное время, но не были вольны повлиять на обстоятельства. Восприятие военного времени детьми представляет собой единую картину этого отрезка жизни. Лейтмотивом детских воспоминаний является борьба с голодом. Детские истории показывают одинокость детей в этой неравной борьбе. Перед ним встала проблема выживания, и в ее решении они чувствовали себя одинокими. Д. П. Шмаковой (1928 г. р.) из Усть-Калманки было 13 лет, «отца взяли на фронт в 1941 году. И он погиб на фронте, отец у меня… Нас шестеро оставалося. Я была самая старшуха, от отца… Ну, жили мы, конечно, шибко плохо тут без отца… холодные, голодные, ели дохлятину, ели колоски, ели *кулгу* всякую… Знаешь? Вот в болотах-то растет, высокая-то. А ее дергаешь, там колга-то, называли — сметанка… знаешь, она широколистая такая. И вот как, цветок есть ишо такой, вот растет, как, ой, забыла, как… вот то лист подходит. Такая-то колга. Она гладкая, не колючая и высокая. А вот ее выдернешь, там корешок белый. Мы прямо с грязью, из болота… ну голодные. И прям там, в этом болоте, пополоскаешь и сидишь ешь. Ну, лишь бы его да накалкать, и все толкали. Ну тогда все, ну крапиву ели, знаешь? У нас одна девочка меньшая умерла с голоду, как отца взяли. Маленькая, полтора годочка ей было. Голод был невыносимый».

В особенно тяжелом положении оказывались дети, потерявшие родителей. Они рано взрослели и становились самостоятельными. П. М. Родионов, встретивший войну в 13 лет, так рассказывал о судьбе детей своей семьи: «Мать на быках дрова возила. Сестру забрали на меланжевый комби-

нат в Барнаул. А *потом мать умерла*. Мать была беременна… Семь ребятишек… *Через месяц похоронка — отца убили. Жили как могли. Ели ботву картофельную. Потом разбрелись по родственникам…* В школу ходил, с 6-го класса бросил. В колхозе сено косили, спали в шалашах, в субботу отпускали… Потом зерно возили в Бийск. У меня 2 лошади, у друга — 4. По 5 центнеров. Надо было еще с собой везти сено для лошадей, бочки под керосин. По неделе ехали».

Рассказы детей (1933–1935 г. р.) о военном времени можно назвать «бытовыми историями». Дети войны смотрели на происходящее «снизу вверх», и часто в их памяти откладывались не событийные, а бытовые сюжеты, которые определялись условиями их жизни. Они описывают повседневную жизнь, измеряя радости этой жизни пищей, одеждой: «Отца как взяли, мы тода все и шали, и полушалки, и какие были вещи, кому надо, какие побогаче, за кусок хлеба отдавали. И добились, и голые были. Учиться вот у нас последней девочке стало не с чем, и не в чем идтить в школу. Босяком и голяком. Вот *становиночку* мама из каких-то чулок сшила… была знакомая в Барнауле, на заводе [меланжевом комбинате] работала, а обрезки, обрезают вот там из чулок, и их бросают. Вот там на тряпки, там куда-то, на моторы посылали [обрезки]… Она ей взяла узялок да отдала. А она вот привезла и давай нам шить. Ну вот сшила, вот тут чулок примерно, иль там два, может быть, один лоскут попался, а вот тут с лямками, и сюда тода еще пришила, продольнюшку-то не с чего. Ну вот я ходила» (Д. П. Шмакова).

Типичным примером детских бытовых рассказов является отрывок из интервью-биографии А. Ф. Даниловой (Тогул): «В войну осталась мама. Отца репрессировали в 37-м. И трое детей. 11 лет мне было… в школу не в чем было ходить, платье одно на двоих. Пойду в школу, одеваю, она [сестра] в доме остается… Ходили босяком. Нас спасала только кирпичная печка. Насморк, лечились только печкой… Брат и сестра пошли на работу, мама работала. Я оставалась с дедом… Картошки не было. Дед валенки катал, за это картошку ему давали. 2–3 картошки найдет, наварим и наедимся. Ради деда [благодаря ему] мы выжили… В это время лебеда, ботва, листья… Зимой еще вырастим поросеночка, едим, а весной посадим картошку. Была еще корова, с молочком.

Во время войны писали между строчек в газетах. Не в чем ходить было, бросали школу. В 5-й класс пошла. У нас была своя школа. С 5-го класса десятилетку — было 3 класса — А, Б, В… В войну от школы нас собирали в колхозе, косили траву наравне со взрослыми… Сентябрь не учились — была уборка. Весной картошку садили, махорку. Тяпали, пасынки обрезали. Куришь не куришь, дома садили махорку. Срубали, вешали палки в специальный сарай, а там женщины сдавали в колхоз. Во время войны ра-

ботали женщины, дети, пахали на коровах. Пашешь, а она [корова] рванет в кусты. Корову-то не остановишь! Поймаешь и обратно пашешь. Пахали и на тракторах ночь. Впереди идет [женщина] с фонарем и за ней трактор, а на прицепе сидит пацан. Света не было. Дома была висячая лампа, „пузырь" называли. До этого еще флакончик небольшой вырезан; тряпочку в керосине намочишь, воткнешь во флакон, и горит. Так уроки учили. Спички продавали не в коробках, а на счет — доза и к ним коробка. Чикали — спичек не было. Посмотришь, у кого печка, и к нему. С угольками принесешь. Кизяками топили... много на зиму нужно кизяков, раз 8–9 протопить в день. Брали березовые чурки, щепали щепки и на печку, а сверху кизяк. Дров не было. Если дров надо, берешь билет у лесничего... Навоз вывозили, растает в июне. Теплые дни начинаются — корову запрягаешь... ставишь бочку — ездили за водой. Мужчина посередине встает и гоняет по кругу лошадей или быков. Навоз становится массой, начинаешь делать кизяки.

Варили мыло из кишок, свиней заколешь. Вши заедали. Волосы до 4-го класса стригли. Стирались — щелочь делали. Бани топились по-черному. Каменка, под ней дрова, зола, и в этой воде стирали. Волосы были ужасные. Били масло [сбивали из сметаны] перед баней. Остаток после масла сливали — сыворотка. Берешь в баню, намочишь волосы сывороткой, и мылись. Расчесывали гребенками и железными расческами. Чесали лен этой расческой. Чесали волосы и заплетали веревочкой... Одно платье на всех. Обувь деду кто-то принес [для ремонта], не помню как звать, туфлями назову. А он из этих пар сделал одну хозяевам, одну мне. Один носок красный, один черный. Я в них в школу ходила, хвасталась. А чтобы не позорно было, красный сажей замажу.

Новый год в школе был. Елка в 3-м или 4-м классе. Я сделала из газеты костюмчик, склеила картошкой: сваришь картошку, и прикрепляли полоской газетки, и пошли вокруг елки. Из бумаги делали игрушки. Один мальчик пошел в штанишках, а там дырочка и там сверкает... Родители увидели и сидят плачут.

Жили только на зелени. Медунки. На луга пойдешь — какой только травы нету. Называли корни сметанкой. Как утки, искали в болотах сметанку. Голод был, как весна наступит. Тут тяжко было, пока трава, лебеда не пойдет — что-нибудь да принесешь».

У военных детей, предоставленных самим себе, формировался свой мир, со своими радостями, обязанностями, впечатлениями. Но вместе с тем они хорошо понимали ситуацию. Старшие объясняли им все возможности взрослых, именно поэтому они воспроизводят по памяти и оплату труда их матерей, и нормы трудодней, нормы продуктов по карточкам: «Плохо жили... Питались крапивой, щавель, слизун, ягоды всякие. Зимой

картофель, солонина. Из травы варили супы. Хлеба не было. Давали по 200–300 грамм. Ставили палочки, по 100–200 грамм зерна. Мать работала одна. Работали на колесниках-тракторах... Все делали на коровах. Сено вывозить — тоже на корове... В школе было 5 книг на весь класс. Почитать домой один раз в месяц, а в классе 40 учеников. В первый класс пошла. Мне уже было 9 лет. Писали пером, к палочке привязывали. На речке камушков наберешь, намнешь, или сажей. В семье 7 человек было, всего двое валенок и сапоги рваные. *Спасала русская печка. Одежды не было*. Дерюжки были. Матрасов не было... *Во время войны на полях работала. За это кормили... в школе, когда училась, 5 соток нужно было вскопать, кто в классе был... дергали* [лен] *руками*...» (Н. М. Заречнева).

В устных повествованиях подростков (1926–1932 гг.) детские впечатления вытеснены воспоминаниями о работе. Иллюстрацией служит отрывок рассказа Д. П. Шмаковой, которой в год начала войны исполнилось 13 лет, и ее сразу включили в обойму трудовых ресурсов: «Пришла девочка, девушка, вот ишо помоложе, да со школьной семьи, семь классов кончила она, и постарше она меня, а я-то каво? Совсем молодая была. Да сколь лет мне тода было? 12–13? ...А я вот была так на работу шустрая... ребятишек [пять братьев и сестер], *вот мама на работе, а я день и ночь выхаживала их, водилась дома*. А она [девушка] и говорит: Даша, я подумала, подумала, некого, говорит, эти девчонки, есть какие-то, знаешь, есть леневатые, там все такое. А ты пойдем со мной в контору техничкой... Я, говорит, тебя научу. Я говорю: пол мыть умею, я говорю, я мою дома... И я пошла с ей. Она [девушка] сяла счетоводом в колхозе, а я техничкой к ней пришла... Зимой топила ей грубку [печь с подтопом], грубочка такая вот была сложена, ну просто колхозная грубка. И мыла пол, *трудодни мне начисляли*. Ну, не знаю, че тут давали, в общем, мне пайку стали давать... я шустрая. *Маме же дают пайку, она работает. И мне давали. А вот не помню, по сколь*. То ли по 400 грамм тут давали. А так *пайка, то овсяный кусок, то это просяной. Ну, какой есть, когда пшеничный дадут... А еще четверо у мамы, ага, и вот на этих вот пайках мы и жили*. Но коровушка у нас была, своя корова, молоко было, картошки посажали...».

Необходимость задействовать подростков на взрослых работах отрывала их от учебы, включала в разные производственные процессы. Вот как об этом рассказывает Ф. Абрамович, которой было 15 лет, когда началась война: «Всех мужчин каждый день провожали. Мужчин забрали и женщин... Таких вот, как я, собрали и на пихтовый завод... Паром ветки переваживают и гонят. Потом близко не стало веток, и за 30 и за 40 километров нас стали вывозить. По неделе не мылись. У кого дома остались родители — они огород насадят, корову держат, а у меня дед слепой, бабка не ходит. Картошки не хватало. Лепешечки из очистков делали. Дед попро-

сил председателя, здесь [мне] в деревне работать. Председатель — Юхин Иван Игнатьевич, его ранило и ногу оторвало. Его поставили руководителем. Дед говорит: „Давайте нам няньку, чтобы она за нами ухаживала!“ Председатель: „А будет ли она почту носить из Загадново в Мельниково, 5 километров?“ Начала я почту носить в августе 42–43-го года. А директор школы Загадново говорит: „А почему в школу не ходишь?“ — „За батей ухаживаю“. — „Ты приходи и к нам в школу, с 1 октября мы начнем занятия. Если тебя буран захватит, то в школе переночуешь!“ Я начала учиться в 43–45 гг. [17–19 лет]. Работала и училась».

Вследствие этого формировалось поколение малограмотных женщин, которые становились разнорабочими в колхозах и совхозах, без карьерных перспектив, но молодых и созревших для создания семьи и деторождения. Достаточно продолжить цитирование интервью Даши Булгаковой (Шмаковой), которую после работы в конторе «забрали в бригаду *поваром*… На молотягу, на машину, молотили… Трактором она гоняет машину, это молотит-то… А ребяты подавали снопы. Вот наверх, высоко, как вот потолок, туды кидали… *А там день и ночь молотят*, и вот три раза на день кормить. И *картошку едешь в поле черт-те куда, копаешь сам. Мешок вот накопаю*, и вот тода привезу. Конь у меня был, ездила за продуктами, получала сама. Но там недалеко, ну километра 3 от бригады, 4 — самое большое от колхоза. Недалеко поля были[1]… У меня будка была, будка… у нас она деревянная была, на санях… В будке была посуда. И там была. Это, вот уже *осенью варишь в будке,* котел там делали нам… И вот тода зиму, лето… До снегу, пока не кончишь, хлеб не уберешь… Вот *вода застынет, лед, я продолблю, в котел наливаю, разогревала. А варили соломой*. Вот машина молотит … [солома остается]… вот этой соломой. Котел, просто, вот на улице стоит… 3 ведра уходило в его. На машине, на молотяге 40 человек. Вот я их кормила, 40 человек… *Потом мне дали помощницу. А че дали помощницу? Еще моложе меня, еще совсем девочку*… она хорошая девочка была, и она — „Ой, Даша! Учи меня, учи, картошку не умею чистить“. *Научилась, все стала делать*. „Посуду так и так мой, доченька. Вот так ты помой на раз, на второй раз вымой и поклади. Ну там чашек если 10, сразу не выдавай их“. Кто из дому принесет, так есть своя, а казенных мало совсем было. Ничего не было в войну…

Уже *тут я стала взрослая* (15–16 лет), *меня послали щабаном. Опять же девки*… Девки на меня говорят: „Даш, пойдем к нам щабаном, щас знаешь, по скольку мы зарабатываем — по тыще трудодней“. А *сено сами завозили, и кормили, и поили из бочек*. Вот это. Водовоз был (девушка). Бо-

[1] До укрупнения колхозов в небольших деревнях все производительные угодья хозяйства были расположены в окрестностях. При отсутствии механизации это являлось важным фактором организации колхозного труда.

чек восемь *привезет на быку* (с речки, из пролуби, пролубь большая), пока всех не напоим. Вот возят бочки, *зимой лед настынет на руках, на ногах*. А *на ногах обмотки, вот обмотаешь чем-нибудь, привяжешь, то деревяшку какую-нибудь привяжешь к тряпке, завернешь*...»

Следствием гендерного перекоса в военное время стало нарушение традиционных брачно-семейных традиций в алтайской деревне. Наряду с изменением социальной роли женщины в обществе война внесла существенные коррективы в традиционные представления о возрасте брачующихся, о возрастной разнице между мужем и женой, в отношение к безбрачным связям и женщинам, рождавшим детей вне брака, ослабила претензии к поведению женщины, снизила требования, предъявляемые к мужчинам (возраст, состояние здоровья, этническая или конфессиональная принадлежность). Е. А. Болотова, сделавшая гендерный анализ брака в военные и послевоенные годы, цитирует мнения представителей военного поколения о таких девиантных формах поведения, как рождение женщинами детей вне брака: «Ой! Полно народили... Они [незамужние женщины или девушки] после войны родят да именины делают. Плясать пойдут... У нас приходил Семен, от него у пятерых были дети. Стань их осуждать — [они в ответ] „Ха, вы счастливые, до войны нарожали, а мы должны без детей жить“... У нас много было девок застарелых, у меня золовка двоих родила» (А. И. Антропова) [26, с. 108]. В предыдущий период, когда господствовали традиционные представления о браке, такое поведение осуждалось. Это выражалось в особой терминологии — «нагуляла», «сураза [ребенок, рожденный вне брака] родила» и т. д. Война списала все грехи, сделало общественное мнение более терпимым. Особенно концентрированно это проявилось в следующей цитате: «У нас тут одна родила, дак его сразу на улицу понесли [т. е. не постеснялись], а так-то надо маленько скрываться... — от чужого мужика стыдновато маленько» (А. М. Смирнова). Причины лояльности общества сами информанты называют без труда, среди них в первую очередь отсутствие брачных партнеров и высокую степень риска остаться без семьи для женщин 1920–1925 гг. р., что привело к росту числа «старых дев»: «У нас в Павловке девок 7–8 остались не замужем. А вот в войну... девкам по 22 [года], надо уж рожать, замуж выходить, а война — четыре года. Если ей перед войной 22, да война 4 года, это 26 [лет]. Вот эти и остались. А подросли [мальчики-подростки] — какой 18-летний 26-летнюю возьмет?» (А. Н. Антропова) [27, с. 107].

Последствиями военного времени являлись и «правонарушения» в колхозах, за которые в условиях военного времени виновных подвергали неадекватным мерам наказания. Основными причинами женских «правонарушений» являлись естественные потребности семьи, удовлетворить которые при отсутствии оплаты труда женщины не могли никакими путями,

кроме кражи хлеба. При колоссальной нагрузке люди жили впроголодь: «Платили крестиком, а выдавать ничего не выдавали. Хлеба не получали нигде и никогда. Морили. По хлебу ходили и хлеба не ели». Для М. С. Нисиной эти годы объединены нищетой и голодом: «Колхоз в войну ничего не давал. Вот только в бригаде варили: как пшеницу зачнем косить, так пшеницу запарим, потом мололи — запаривали (затирка). За работу палочку поставят, а в конце года придешь, еще и должен колхозу. Денег не платили [денежная реформа и связанная с ним политика снижения государственных розничных цен завершилась только в конце 1954 г.]. Полегче стало уже в 1950-е гг., стали копейку на трудодни давать, хлеб стали давать. Раньше только летом-то и лопаешь». С. И. Тырышкин вспоминает: «Я один год в колхозе, осенью пришел, а мне говорят: „Ты хлеба переел“. Председателем был Овчинников».

С. Я. Путинцев из Елунино рассказал: «Работали за трудодни, ничего вообще не давали в первые годы, кроме овсяного хлеба на день. Порою питались травою и ягодами. Держали одну корову. Больше не разрешали, да и то на нее давали план молока литров 400 на лето, доводили план по мясу, если не сдавали — судили. После войны выплату на трудодень добавили, но спустя лет 5–6. Трудные годы были, все в магазинах было, а купить не на что». М. М. Раченкова вспоминает, что «в войну почти ничего не трудодни не давали. Давали жмых хлопковый, 500 грамм на день, овес. В ступке толкли его и ели...»

Ситуация, когда нечем было кормить детей, провоцировала женщин на «правонарушения». Эта особенно сложная тема требует, с одной стороны, осторожного обращения с источниковым материалом, с другой стороны — воли государства к покаянию перед тысячами репрессированных женщин. Социальная же функция истории состоит в том, чтобы восстановить историческую справедливость и публично провести исследования о причинах деревенских «правонарушений» в военные годы. Для этого необходимо обратится к памяти людей: «Очень голодно было в деревне... Особенно женщинам было трудно. Все детям отдавали. Глядишь — умирают... Фронту помогали. У кого что, одежду, обувь... Был лозунг „Все для фронта!“ Насколько я помню, не дай бог насыпешь себе горсть [зерна] — в тюрьму садили. Общественность следила, партийные органы, милиция... Делали супы с молоком и ботвой картофеля. На полях ели траву» (Н. И. Якимович).

Под лозунгом «все для победы» колхозников ограничили во всем, даже в сборе оставшихся на поле колосков и падалика. Эти ограничения были закреплены «законом о колосках», предусматривавшим жесткие меры наказания. Введение военного положения в стране имело целью установление жесткой дисциплины и строжайшей экономии. Вот как рассказывала

об этом Л. А. Антипина (1925 г. р.): «Перебросили дядю на льнозавод… Работала с 1941 по 1944 годы. 1 200 снопов [льна] повяжешь — 1 кг хлеба получишь летом… На траве только и жили. В школу пойдешь, потом на льнозавод… Боярки, пестики, пучки собирали, щавель рос, собирали яйца куропатки, воробьиные. Костер разожжем, и пекли каждую весну в поле. Найдем слизун, русянки — всё собирали, всё ели. Спичек не было, уголечков возьмешь. Топили — идешь прутики посгибаешь, соломой топили. *Один раз ходила по полям в марте. Смотрю — веянка, а под ней ячмень. Насобирала килограммов 20… Так мужчина идет и говорит: „Ты зачем зерно колхозное воруешь?“ И отнял у меня. Я так плакала. Осенью комбайн жнет, а куски оставляет, и перебираешь их — зерно искали. Взрослых за это судили, и по году, и по четыре давали. А детей прощали. Жили все лето на траве*. А весной кому-нибудь огород покопаешь, и дадут картошки, ее садили и зимой ели…». Во всех деревнях помнят о наказанных «за колоски». При этом в самих рассказах переплетается описание самих «правонарушений» с причинами, которые их вызывали. Однако рассказчики, как правило, не связывают их друг с другом, а перечисляют в ряду других явлений повседневных буден. Но сам характер рассказа уже оправдывает «правонарушителей»: «В войну больше женщины работали. Я работала на бричке, а она ломалась. И мы с мамой делали. Я плачу: „Как поеду завтра?“ Дети копна возили. Молодых в деревне никого не было. Все на поле… *С колхозных полей воровали хлеб, зерно. Даже за колоски садили. В Тогуле одной 10 лет за колоски дали. В войну голод был*. У мамы много одежды было (ее отец был портной), и мама одежду меняла на картошку. *Многие от голода умерли. Это старики*. Льняное семя толкли: ступки деревянные были, и калачами стряпали. У нас в колхозе горох сеяли, мы варили его. И что останется — развозили: к маме, к другим. Моя мать в горох яиц, муки положит и блинов настряпает и мне посылает. А утром собирали корзины, кто работал [чтобы не увозили]…».

В военное время презумпции невиновности не существовало. Любые просчеты и проступки изначально рассматривались как преступления. Страх перед ними проявляется во всех рассказах. В рассказе П. Я. Климова, вынужденного, как и все подростки, работать, эта атмосфера страха проявляется в каждой фразе: «*Колоски ходили собирали. Не себе, в колхоз тащили*. 30 человек нас, с полмешка насобираем… В 1943 г. *первый раз повез масло с молоканки* в Бийск. На быках возили, в бричках. *Молодой был, глупый… Да и дед, дурак старый… Травы накосили и под тару с маслом подстелили. А она в куче-то горит, масло греется и бежит…* Ехали окружным путем, а от Тогула до Мартынова 30 километров — день пойдет. Ни воды, ничего. С Мартыново до Целинного, из Целинного в Верх-Мокрушку, а там Лог есть, и вода, и трава… неделю до Бийска. *Привезли, а*

сдавать боимся... Масло вытаяло... Ладно, бабы-приемщицы приняли у нас масло, записав, как надо...».

Созданная система надзора в лице уполномоченных и партийно-государственных управленцев, которым это вменялось в обязанность, должна была отслеживать все факты хищения. З. Т. Петранцова (Новоиушино) рассказывала, что «женщины колоски собирали, по дороге домой прятали в стогу сена. А председатель увидел и спичкой поджег стог сена и сказал: „Чтоб никому не досталось“». Однако у женщин не оставалось других способов помочь детям, и они шли на нарушение законов военного времени, хотя между ними всегда ходили слухи, что «каждый килограмм [украденного зерна] приравнивался к году, но общее наказание — не более 10 лет». Несмотря на это, женщины насыпали в карманы, «тюрили в рукавицы», прятали в валенках. Об одном широко распространенном способе рассказал Н. М. Игловский (с. Новоиушино): «Когда немцев [депортированных] пригнали, им давали квартиры. *Одна подрабатывала на зерне. Есть хочется, и она подтаскивала* [зерно]... *ремень на пояс и под юбку мешочек*. Обнаглела. Много натаскала, центнеров пять. Кто-то настучал на нее, в район сообщили... А пока уполномоченный ехал, ее предупредили. Они под яр высыпали».

В таких условиях основным способом прокормить семью стали подворье и огороды. Респонденты в интервью описывают формы и объемы государственных податей, которыми обложили личное подворье, неимоверно сузив возможности выживания. А. И. Абалихина рассказывала: «Война началась 22 июня, а мужа моего забрали 22 июля. А у меня трое детей. Тяжело было. Работать-то в Ульяновку из Усть-Таловки ходили. Под Рождество было: мне агент преподносит извещение о налоге, а у меня трое детей, я ему: „Отсылай, — говорю, — извещение обратно“. Он мне: „Иди, — говорит, — в сельсовет, Нюра, не расстраивайся“. Пришла я домой (Усть-Таловка), сказалась и иду в сельсовет. Буран, а я иду плачу, молитву пою. Пришла, говорю: „Почему такой налог у меня большой?“ А председатель говорит: „Я не знаю, кем у тебя мужик служит. Может, он керосин в лампочки наливает“. А муж-то мой грамотный, в письмах [с фронта] спрашивает: „Как дела? Снизили тебе налог?“ [семьям фронтовиков полагалось снижение налога]. А мне что ему описывать? *Агент — хороший человек*, сказал: „Пиши заявление в райсовет“. А секретарь не дает бумаги [в войну ее не хватало], не пишет. Ни в какую не пишут. Агент-то на них ругаться стал: „Почему не пишете, вы обязаны!“ Написать заставил. Я конверт взяла, а он его сам поехал и отправил. И через неделю налог мне сняли. Муж-то на фронте и детей трое».

Отсутствие оплаты колхозного труда, налоги на приусадебное хозяйство и регулярные реквизиции продовольствия в действующую армию при-

водили к голоду в деревне. Все информанты приводили истории о голоде. Вот одно из типичных воспоминаний: «С 41-го по 45-й вообще на траве жили. Вот мать сварит картошку… а она как клей. Суп вот варили с медунок… А потом вот идут почки, шкиры. Весной по полям ходили… колоски собирали. В общем незнамо чем питались» (Е. Ф. Гребнева). «Нам даже отходы давали, но все равно не хватало. Голодом все ходили» (Е. К. Мартынова, с. Ново-Обинцево). В таких условиях большую роль играла взаимопомощь.

Что касается пожертвований колхозников в пользу фронта, то они носили как добровольный, так и принудительный характер. В целом благотворительные пожертвования были известны крестьянскому обществу. В доколхозной истории алтайской деревни природные катаклизмы, военное лихолетье всегда вызывали к жизни традиционные механизмы взаимопомощи, среди них общественные «помочи» членам сельского общества, выделение работников овдовевшим крестьянкам, помощь натуральными продуктами и т. д. Наряду с этим в крестьянском обществе практиковались благотворительные пожертвования в виде сбора денежных средств, вещей, продуктов питания на нужды российской армии, беженцев и т. д. Они были связаны как с традиционными ментальными установками, так и с патриотическим подъемом среди населения. Их проявление в дореволюционный и советский период было обусловлено совершенно разными условиями и факторами. В традиционном обществе сбор пожертвований носил добровольный характер, инициировался, стимулировался и даже провоцировался благотворительными акциями. Например, существовали подписные листы, кружечные сборы и т. д., поступавшие в фонды благотворительных организаций. В советский период колхозно-совхозное крестьянское общество, как показывают устные источники, было несвободно в проявлении собственных волеизъявлений. Отличия заметны прежде всего в организации денежных пожертвований через государственные займы, которые были обязательны. Как правило, их приурочивали к расчету за трудодни или к выдаче заработной платы, требуя приобретать займы «под зарплату». По словам информанта, «каждый год распространяли займы. Я всегда подписывал на заработную плату[1]. Ежемесячно высчитывали… Займы — это как потеря» (К. А. Зенков). В первые годы после войны ежегодные обязательные «добровольно-принудительные» платежи (покупка разных государственных займов, обязательные страховые платежи и др.) составляли более 7% всего государственного бюджета СССР [10, с. 93].

[1] Мероприятия по сбору займов инициировались лозунгами «Трех-четырехнедельный заработок — взаймы государству!» и считались важнейшей политической кампанией.

Практика денежных заимствований у населения была прекращена лишь в 1958 г., когда постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 апреля «О государственных займах, размещаемых по подписке среди трудящихся Советского Союза» отказалось от выпуска займов, но выплаты по всем предыдущим видам военных и послевоенных заимствований денег у населения заморозили на срок от 20 до 25 лет, что фактически означало окончательное присвоение собранных ранее денежных средств (на 1 апреля 1958 г. внутренний государственный долг по ним составлял 260 млрд. руб.) [10, с. 252].

Вместе с тем сельское общество не утратило способности оказывать помощь многодетным семьям, семьям с малыми детьми, семьям, получившим похоронки и т. д. В этом видится проявление традиционной общинной психологии крестьянства, которая являлась механизмом выживания сельского общества в периоды катаклизмов, в том числе войн. Продолжением крестьянской традиции являлась и помощь фронту в виде посылки вещей, изготовленных своими руками, — шарфов, рукавиц, носков и т. д.

И лишь в красные праздники или в дни побед на фронте в деревне устраивали небольшие праздники с улучшенным столом, который отличался только количеством пищи и спиртными напитками: «Они вот из картошечки, из свеклы какую-нибудь там самогоночку сделают. Напарят тыквы, нарежут капусты, растительным маслицем польют, картошечки там круглой наварят. Этой окрошечки сделают. Ничего больше-то и не видели» (Е. Ф. Гребнева).

Особенно ярко трагизм женской судьбы в рассказах о бытовых условиях повседневной жизни женщин показывают их воспоминания о личной гигиене и санитарии: «Вот меня послали в Барнаул, а у меня ни плавок, ни штанов, ни рейтуз не было… одежды никакой. В отцовской шапке, в материнской шубенке, и рваные валенки…» (Е. Ф. Гребнева). В результате нередкими были случаи обморожения: «Пока доехали… у нас от мороза вот все ноги полопались, вот как ножом порезаны» (Е. Ф. Гребнева) Для информантов подросткового возраста отсутствие санитарии запомнилось педикулезом: «…Знаете, какие вши нападали… на солнце вылезут, и по подушке лазиют. Я собирала, а он [дед] их гирькой давил» (Е. Ф. Гребнева).

Женские истории реконструируют те внутренние резервы, которые помогли выжить им в период войны: «…Недоедали, и голы, и босы… а *жили как-то вместе…*». Под давлением психологической обстановки, обеспокоенности за судьбу мужчин, семейных потерь и невыносимых условий труда многие женщины обратились к вере; по их словам, «особенно отмечали вот Пасху».

Эта совместность судеб прежде всего помогала при самых тяжелых психологических травмах — потерях родных и близких на фронте. Женщи-

нам до сих пор трудно вспоминать минуты, когда им приходили похоронки или когда село оглашала плач и вой очередной женщины, получившей похоронку. Женщины говорят: «А всем селом плакали над похоронкой. И старались чем-то помочь, и словами, и у кого что. Ой, господи! *Одной ведь семьей жили*» (Е. К. Мартынова, Ново-Обинцево). Об этом говорит и Е. Ф. Гребнева: «Если вот у человека в нашем колхозе *какое-то горе, мы помогали чем могли друг другу*».

В заключение необходимо отметить, что в русле женской устной военной истории содержится контекст «реальной цены победы». В нее входят те составляющие победы, которые были сознательно удалены из официальных исторических повествований в результате государственной политики умалчивания многих неблаговидных действий советской власти, списанных на условия военного времени (принудительной подписки на государственные займы, принудительных налогов) или запрещены к публикации из-за их непривлекательности, негероичности — в частности, поступки осужденных женщин, скрытно носящих зерно из колхозных закромов умирающим детям. Их судьбы — это тоже «реальная цена победы». Недаром к устной истории обратилась часть военных историков, которые недовольны «заказным, постановочно-лакированным характером картин войны, которые были узурпированы государством в позднесоветскую брежневскую эпоху» [28, с. 450].

Немаловажное значение устные источники имеют для понимания происходившей в сельской среде трансформации мировоззрения крестьян, которые в российском обществе в силу своей консервативности, зависимости от этнокультурного опыта на протяжении нескольких столетий являлись хранителями этнической культуры, подпитывавшей светскую культуру. В дифференцированной сословно-социальной России каждая страта вносила свою лепту в развитие российского общества. Верхние образованные слои общества (дворяне в дореволюционной России, советская интеллигенция в СССР) аккумулировали достижения зарубежной мысли, перерабатывали опыт западных стран и вкрапляли ее в российскую культуру и общество, а консервативное крестьянство хранило наследие старины с самых истоков формирования сначала восточнославянской, а затем русской культуры, обогащая светскую культуру. Приверженность традициям, своеобразным регуляторам производственной и социальной жизни сельского мира, механизму адаптации к природно-климатическим условиям, государственно-политическим ситуациям была подорвана экстремальными военными условиями. Война ускорила отказ от традиционных представлений о месте женщины в обществе, внесла коррективы в отношения между мужчинами и женщинами, в брачные и семейно-бытовые нормы. В определенной степени этому способствовала и со-

циалистическая мораль, декларирующая свободу и равенство женщины в образовании, быту и на производстве. Совпадение этих двух факторов — последствий войны и социалистической модернизации — существенно изменило гендерную ситуацию в деревне.

Источники и литература

1. Джоан Скот. Гендер: полезная категория исторического анализа // Воспоминания женщин: устные истории переходного периода: Теория и практика : Сб. ст. Бишкек, 2001. С. 4–26.
2. Бердинских В. А. Россия и русские (Крестьянская цивилизация в воспоминаниях очевидцев). Киров : ОАО «Кировский завод «Маяк», 1998; Суринов В. М. Историческая память народа: сельское хозяйство Зауралья в образах и мыслях сибирского крестьянина. Тюмень, 1990; Голоса крестьян: Сельская Россия в крестьянских мемуарах. М., 1996; Он же. Очерки крестьянской цивилизации в России // Волга. 1991. № 1–3; Он же. Рядовые фронта и тыла // 1989. № 5, 6.
3. Фриш М. Устная история и «тяжелые времена» // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введ., общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2003. С. 52–64.
4. Мещерякова Е. Ю. Введение // Биографический метод: история, методология, практика. М.: Ин-т социологии РАН, 1994. С. 5–10.
5. Человек в истории. Россия, XX век: Конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников: Материалы в помощь участнику конкурса / Сост. И. Л. Щербакова. М., 2005.
6. Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. М. : Наука, 1989. С. 114–135.
7. Дубов И. Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопр. философии. 1993. № 5. С. 20–29.
8. Цит.: Усенко О. Г. К определению понятия «менталитет» // Русская история: проблемы менталитета. М., 1994. С. 3–7.
9. Сенявская Е. С. Психология Великой Отечественной войны: источниковедческие проблемы // «История»: Прил. к газ. «Первое сентября». 2001. № 40–41. Переиздано: Человек в истории. Россия, XX век: Сб. метод. материалов для внеклас. работы. М., 2003. С. 32–52; Она же. Повседневность фронтового быта российской армии в войнах XX в. (понятия, структуры, психология) // Там же. С. 53–59.
10. Финансы СССР. М., 1967.
11. Цит. по: Димони Т. М. Социальный протест в колхозной деревне 1945–1960 гг. (На материалах европейского Севера России): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Вологда, 1996.
12. Веселова И. С. Рассказчики и рассказчицы: наблюдения над типами речевого поведения // Мужские и женские биографии как конструктивный элемент повествовательной истории семьи. http//www.ruthenia.ru/folklore/cusckova1.htm.
13. СЗ СССР 1929 г. № 60. ст. 555.
14. Бугай Н. Ф. Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселения. Л. Берия — И. Сталину // История СССР. 1991. № 1. С. 144–145.

15. Матис В. И. Немцы Алтая. Барнаул, 1996.
16. Лурье С. В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 1997. С. 208–220.
17. Земсков В. Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльные, высланные // История СССР. 1991. № 5.
18. Сенявская Е. С. Психология войны: исторический опыт России в XX веке. М., 1996.
19. Ковальченко И. Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. 1995. № 1; Дискуссия о методологических поисках в современной исторической науке // Новая и новейшая история. 1996. № 3. С. 75–90.
20. Воспоминания женщин: устные истории переходного периода: теория и практика : Сб. ст. Бишкек, 2001.
21. Козлов В. Ф., Леонтьев Я. В., Щербакова И. Л. Человек в истории. Россия — XX век: Конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников: Материалы в помощь участнику конкурса / Сост. И. Л. Щербаков. М. : Мемориал, 2005.
22. Глюк Шерна. В чем особенности женщин? Устная история женщин // Воспоминания женщин: устные истории переходного периода: теория и практика: Сб. ст. Бишкек, 2001. С. 27–39.
23. Щербакова И. Места и области памяти // Цена победы: российские школьники о войне: Сб. работ победителей V и VI Всероссийских конкурсов старшеклассников «Человек в истории. Россия — XX век». М.: Мемориал, Новое издательство, 2005. С. 7–15.
24. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. М.: Весь мир. 2003.
25. Разумова И. А. Мужские и женские биографии как коструктивный элемент… // Мужские и женские биографии как конструктивный элемент повествовательной истории семьи. http//www.ruthenia.ru/folklore/cusckova1.htm
26. Крестьянство Сибири в период упроченния и развития социализма. Новосибирск, 1985.
27. Цит.: Болотова Е. А. Брак у русских Сотонского района Алтайского края в военные и послевоенные годы (гендерный анализ проблемы) // Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2005 г. : Археология, этнография, устная история. Вып. 2: Материалы II регион. науч.-практ. конф. 1–2 дек. 2005 г. Барнаул, БГПУ, 2006. С. 106–110.
28. Дубинин Б. Война: свидетельство и ответственность // Цена победы: российские школьники о войне: Сб. работ победителей V и VI всероссийских конкурсов старшеклассников «Человек в истории. Россия — XX век». М. : Мемориал, Новое изд-во, 2005. С. 449–453.

1950–1970-е годы: устная история «безмолвствующего большинства» в период укрупнения колхозов и ликвидации неперспективных сел

Мы перестали быть сами собой. А сами собой мы перестали быть, потому что умирает деревня… И человек растерялся. Он родные берега потерял, а другие найти не смог… и традиции, и законы общежития, и корни наши — оттуда, из деревни. И сама душа России — если существует единая душа — тоже оттуда. Деревню русскую начали уничтожать еще в советское время, а сейчас добивают окончательно. И корни эти, похоже, не способны дать побегов… Но Россия без деревни не Россия… Ведь деревня существовала не только на местности, но и внутри каждого из нас, кто из нее вышел… Без деревни Россия осиротеет.

В. Распутин

5.1. Устная история как источник и метод исследований новейшей сельской истории

В отечественной научной практике сложились определенные традиции «историописания» с опорой на значимые события (событийная история): жизни выдающихся личностей, массовые явления (войны, революции, реформы и т. п.), которые связаны с мегаполисами. Такая же позиция обусловила доминирующий подход при создании учебных пособий, в том числе региональных, которые зачастую представляют собой историю городов. Сельская история с малым числом участников в силу своей повседневной будничности занимает скромное место. Аграрная история (зарубежный аналог Rural history) сводится к анализу количественных и качественных изменений в развитии сельского хозяйства (урожайность, товарность, техника обработки). Широкое развитие в 1990-е гг. получило крестьяноведение, известное за рубежом как Peasantry. Собирательное назва-

ние расширяет объект исследования (например, социокультурные аспекты) с привлечением междисциплинарных методов исследования. Сдерживает развитие сельской истории ограниченность традиционной методической, методологической и источниковой базы. На современном этапе обозначилась потребность в поиске новых решений, в том числе в использовании опыта зарубежной практики.

Одной из особенностей сельской истории является массовость событий, обезличивающих историю. В условиях гуманизации исторических знаний целесообразно обратиться к опыту изучения и введения в историю голосов рядовых участников через интервьюирование участников и очевидцев переустройства алтайской деревни в XX в.: послевоенного укрупнения колхозов, ликвидации неперспективных сел и других реорганизаций деревни, отличавшихся массовым характером. Эти кампании стояли в череде мероприятий советского периода и, в отличие от таких переломных и трагических событий, как коммунарское движение, коллективизация, раскулачивание, военное лихолетье и репрессии, характеризовались будничностью и отсутствием яркости событий. Может быть поэтому они меньше привлекают внимание исследователей крестьянства и деревни. Но в то же время они носили массовый характер и коснулись каждой сельской семьи, сельского общества и в целом определили судьбу российского крестьянства, завершив процесс раскрестьянивания, являвшийся доминантой сельской истории в 1920–1980-е гг. [1]. Именно поэтому очень важно расширить источниковую базу через биографические интервью и семейную историю.

Сельская история этого периода в государственных архивах отложились преимущественно в официальных нормативно-распорядительных и статистических материалах. Жизнь людей в них не отражается, как не отражается отношение народа к историческим событиям и деятелям. В этом смысле сельская устная история является протестом против «безликой» истории и отсутствия в ней главного действующего лица — рядового человека. Зарубежные устные историки формулируют этот протест так: «Большинство книг и документов не могут рассказать обо всем. В основном они сконцентрировались на знаменитых и известных событиях, избегая обычных людей, которые могут рассказать о повседневной жизни… Каждое воспоминание — это смесь фактов и суждений, и каждое из них важно. Уже то, как люди воспринимают какие-либо события, само по себе является историей. У нас появляется возможность сравнить восприятия одного и того же события в разных интерпретациях» [2]. Крестьянский мир России, по мнению О. М. Вербицкой, также был вне поля зрения государства и историков, которые рассматривали деревню как некую «абстрактную систему единства производственных отношений и производи-

тельных сил» [3, с. 7]. Устная же история вводит в историческую науку сельского жителя.

Ш. Рейнхарц отмечает, что «устная история, в противовес письменной, более пригодна для получения информации о тех людях, которые в меньшей степени участвуют в создании письменных документов, а также для восстановления исторических отчетов о событиях, которые не отражаются в архивных материалах. Поэтому особенно подходящими кандидатами для исследований устной истории являются представители более уязвимых социальных групп» [4, с. 45]. К ним относятся рядовые селяне. Примеры уязвимости можно найти в жизненных историях колхозников, рабочих совхозов, МТС, леспромхозов, пунктов «Заготскот» и представителей интеллигенции. Достаточно привести отрывок из интервью сельской учительницы М. В. Петровой из ликвидированного села Ключи: «Когда я приехала, и речи не было, что село исчезнет. Это как-то враз произошло, когда стали села закрывать. Тогда Ключи в мелкие отнесли. До 1963 г. ни одна семья не собиралась ехать. Наоборот, приезжали, дома строили. Я в августе по запросу районо сделала перепись первоклашек… вдруг мне в совете говорят: „Село закрывается. Промкомбинат закрыли. Люди разъедутся. Школу закрываем…“ У меня в трудовой книжке числится запись о переводе в Верх-Алейку „в связи с закрытием школы“. Никакого другого сообщения не было. Из района приехали и объявили: „Поселок сносится“. Люди стали дома продавать. Можно сказать, разогнали село…» [5, с. 89].

Гражданская бесправность, незащищенность, зависимость как особенности жизни рядовых участников отразились в семейном опыте М. П. Калюжной, содержащей воспоминания о селе, попавшем под Гилевское водохранилище: «Дома обмеряли, обмеряли и ничего не говорили. А потом, в 1971 г. … заплатили, и делай что хочешь. Бросай дом, сжигай. На эти деньги шапку парнишке купили. Муж смеялся: дом продали, а шапку купили». Эмоциональное унижение особенно заметно в рассказах о попрании памяти предков, живших в селах, попавших под строительство водохранилищ, расширение площадей пахотных угодий, промышленные объекты. Так, при строительстве Гилевского водохранилища под воду ушли многие села (Вакулиха, Дмитриевка, Большой Луг, Троицкое и др.). Но наиболее значимое событие, отложившееся в памяти людей, — это перезахоронение умерших родственников. Е. И. Дмух вспоминает: «Когда стали делать плотину, из Барнаула приехали мужчина и женщина. Я спрашиваю: зачем могилки копать? — А чтоб не всплыли. Рыба будет их есть, а люди рыбу. Болезнь начнется. Могилы копали экскаватором. Кто поцелее, в гробах. Они кресты привозили — на гроб положат, чтоб не спутали. А в Староалейке выкопали канаву и всех в ряд хоронили, и каждый свою могилку обделывал. А кто плохо сохранился — в ящиках привезли в общую могилу. Бульдозе-

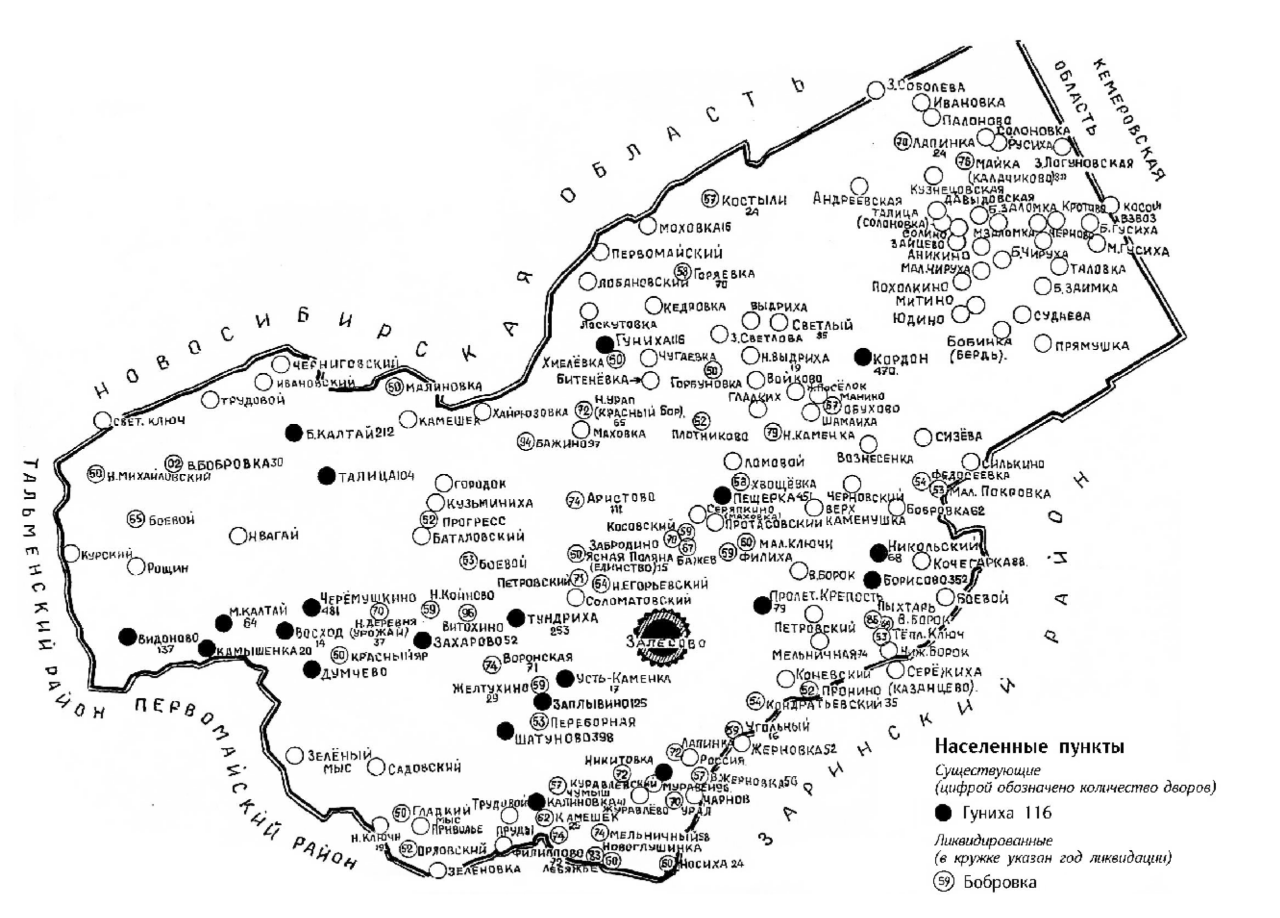
Гилевское водохранилище на месте сел Вакулиха, Дмитриевка, Большой Луг, Троицкое (Третьяковский р-н). Фото 2006 г.

ром закопали и палку воткнули». М. С. Нисина, у которой мать умерла в 1970 г., рассказывала: «Пришли. Гроб стоит, на нем крест. Я говорю: кого хороним? А у мамы на ногах сапоги войлочные были, просила, чтоб на том свете мягче ходить. Я говорю брату: давай проверим — одну плашку подняли. За два года мама стлела, кости да волосы. Ботинок взяли — он с ногой достался. Захоронили. Почти месяц возили по ночам».

Одним из упреков устной истории в традиционной исследовательской практике является достоверность устного источника. Однако сама постановка проблемы некорректна. Устная история рассматривает исторические события, значимые для сельских жителей, через их восприятие. Поэтому устная история не является уникальным методом, а использует методы истории, психологии, лингвистики, этнографии, социологии и одновременно переосмысливает эти дисциплины. С. Армитаж считает важным признавать междисциплинарный характер устной истории. В последнее время синонимом «устного исторического источника» часто выступает «интерпретация», «толкование», «истолкование способа мышления», «меморат», «личная история», «жизненная история», «воспоминание», «исторический рассказ» и т. д. Мы придерживаемся точки зрения, что устные истории не просто излагают факты, а *постигают опыт.* Устная история создает новые источники, которые не являются универсальными и совершенными, впрочем, как и письменные, но приближают исследователей к ком-

плексному анализу объекта исторической науки и объективной реконструкции прошлого. Методы устной истории (качественные) помогают понять количественные, с помощью которых выявляются закономерности, тенденции, кризисы, подъемы и т. д., и они дополняют друг друга.

Конечно в порайонных историко-этнографических экспедициях, собирающих новые источники, в том числе методом устной истории, воссоздается и фактологическая, событийная, а не только эмпирическая история, например, реконструируется и картографируется территориальная поселенческая сеть каждого района, создается картотека исчезнувших сел с информацией о производственной, культурно-бытовой базе, этнокультурных группах села, пофамильном составе жителей, участии односельчан в общественных движениях, войнах, освоении целины, судьбах раскулаченных и репрессированных, сельских праздниках, времени появления первого радио, света, кино и т. д. Но событийная сторона устного источника требует сопоставления устных свидетельств очевидцев с письменными источниками для выяснения точности факта. Поэтому нацеленность на фактологичность в устноисторических исследованиях является неправильной и даже вредной установкой историков-хроникеров. Конечно, устные свидетельства детализируют многие события, наполняют их конкретно-историческим содержанием, могут являться отправной точкой в изучении многих событий и процессов. Но ограничиваться устными источниками в изучении событийной истории нельзя. В любом полноценном исследовательском проекте речь идет о привлечении количественных и качественных методов. Вместе с тем в исторических изысканиях по новейшей истории нельзя ограничиваться только количественными методиками и архивными источниками: необходимо широко привлекать источники личного происхождения. К сожалению, до сих пор «личные свидетельства», как основанные на «субъективных показаниях», отрицались многими академическими историками, для которых важнейшими представлялись поиск статистических показателей, выявление общих закономерностей и тенденций. В последнее время эти стремления гиперболизируются в развитии математических методов обработки массовых статистических материалов. За полученными таким путем выводами не просматриваются судьбы людей. В устных же интерпретациях надо искать «взгляд» на события, придавая ему ценность. Как отмечает Т. Шанин, историческим событиям присущ дуализм [6, с. 318]: с одной стороны, фундаментализм, который поддается внешнему наблюдению и может быть представлен количественно; на основе количественных данных делаются обобщения (статистический анализ); с другой стороны — способность сельского сообщества и его членов (объекта исследования) по-разному реагировать на исторические события, рефлексия, право выбора, совершение ошибок и их



Карта-схема населенных пунктов Залесовского р-на до укрупнения колхозов и ликвидации неперспективных сел

Сеть школ Залесовского р-на в 1941/42 уч. г.

Сеть школ Залесовского р-на в 2000 уч. г.

предупреждение и тому подобные характеристики, для анализа которых требуются особые методологические подходы и средства. В устных источниках «чувство времени информантов не является строго линейным», а сами «устные свидетельства неоценимы для историков, ищущих такую информацию, которую трудно или невозможно найти в письменных документах». Что касается достоверности устного источника, то любой письменный источник также может создаваться предвзято и нести на себе классовую, политическую, национальную, половую, идеологическую субъективность. Ярким примером служат материалы всесоюзной переписи 1939 г. В тоталитарных государствах документоведение и формирование государственных архивов неизбежно подвергалось идеологической и политической фильтрации. Их интерпретация также была несвободна от субъективизма исследователя и заказа тоталитарного государств.

В этом смысле устная история используется для выявления *эмпирических закономерностей.* Отечественная практика прошла уже период гласности и переписывания истории, когда к устной истории относились только как к панацее от двух бед: 1) заполнение пустых мест в традиционной истории (в отечественной интерпретации — «белые пятна», или «лакуны»), обусловленных отсутствием в имеющихся источниках информации по тем или иным событиям. В частности, в период становления устной истории в России многие исследователи провели сбор воспоминаний по раскулачиванию, о депортации, о голоде в России в 1932 г. [20]; 2) написание «лучшей», или «более чистой», версии истории (в отечественной практике — освобождение от стереотипов, идеологем или мифологем). Но в современной историографии встречаются работы, в которых исследователи, освободившись от одних стереотипов, приобрели другие. Материалы интервьюирования показали, что государственная официальная и сельская народная жизнь развивались параллельно на протяжении всего XX столетия, а периоды их пересечений связаны с реформами в аграрной политике, во время которых сохранялось устойчивое противопоставление «она (власть) и мы», официальная и народная интерпретация событий. Отечественная официальная история находилась в огромной зависимости от идеологической конъюнктуры, в соответствии с которой она за советский период переписывалась неоднократно. Очередная смена власти вела к пересмотру оценок и трактовок истории государства, действий власти, исторических портретов руководителей, их соратников и приближенных, которые являлись главными субъектами истории. Освещение основных событий XX в. начиналось с анализа директив партии, создания «глянцевых портретов» ее руководителей, трансляции партийно-правительственных лозунгов и велось преимущественно в политизированной манере. Устная же история отражает в первую очередь взаимоотношения общества и вла-

сти через традиции, общественно-семейные ценности, жизненные и трудовые установки, жизненный или повседневный опыт, т. е. неформальные механизмы. Именно неформальные механизмы являлись важнейшей составляющей исторических процессов в советский период, не только будучи катализатором взаимоотношений власти и общества, но и сыграв важнейшую роль в период перестройки, став важнейшим фактором падения советского режима. Поэтому одной из важнейших источниковедческих задач на современном этапе является формирование адекватной источниковой базы по всем периодам советской истории. В этом отношении устные источники являются наиболее полной версией мнения «снизу» или настроений «на нижних этажах общества». В них отражается ментальность участников исторических процессов, их политическая культура, от которых зависел успех всех государственных преобразований.

Наиболее благоприятными для создания устных исторических источников являются послевоенные десятилетия советской истории (1950–1970-е гг.). Устные источники по истории первой четверти XX в., созданные историками в конце XX в., по форме и содержанию стоят ближе к принятому в академической истории и утвердившемуся в отечественной историографии представлению об их принадлежности к кругу идей «третьего мира», т. е. к «устной традиции», мифу, и по этой причине игнорировались в прошлом и зачастую игнорируются современной исторической наукой. В отличие от проблематики опроса по ранней истории XX в., интервьюирование по истории второй половины XX в. может убедить критиков устной истории в источниковом значении ее результатов, поскольку, как правило, информация и интерпретация исторических событий предоставляются непосредственными участниками, а технический способ фиксации закрепляет достоверность изложения. Именно с помощью технических средств XX в., по словам Д. Н. Хубовой, «устная история возродила метод исторического исследования и создания источника, превратив его из мифа в знание, в полноценный исторический источник» [11, с. 5]. Это позволяет скорректировать определение характера работы по устной истории, которая в одних случаях определяется только как «сбор устных исторических источников», в других — как «создание устных исторических источников». На наш взгляд, первая формулировка несет в себе традиционные представления о характере работы в области фольклористики или этнографии исследователей, занимающихся сбором памятников устного народного творчества (преданий, легенд, анекдотов, сказок, мифов и т. д.) и не отражает работы устноисторического исследователя. Вторая формулировка более адекватна характеру работы устного историка, так как показывает сам процесс, его результаты и роль самого исследователя в этом процессе. Во втором определении это «развивающееся челове-

ческое предприятие», продукцией которого является исторический источник, основанный на устной информации очевидца, созданный путем тематического опроса исследователя по его научной программе с охватом разных статусных и половозрастных групп респондентов при активной позиции историка, который не только инициирует воспоминания человека, но и руководит процессом, заставляя респондента выходить на нужные темы. Таким образом, это процесс создания документа по вопросам ученого, задающего цели и задачи опроса, а не собирающего готовые продукты, более того, отвечающего за репрезентативность полученного материала (количественный и качественный подбор информантов). Созданием (сбором) устных исторических источников деятельность историка не заканчивается, а только начинается. В обобщенном виде весь процесс работы устного историка по комплексному документированию описан Д. Н. Хубовой и включает три этапа:

1) «от памяти к артефакту» — процедура фиксирования информации, придающая постоянную форму тексту интервьюируемого. Неосязаемая память становится артефактом;

2) «от артефакта к источнику и документу» — процедура расшифровки информации, археографической обработки, герменевтического анализа записанного текста. Магнитная запись, артефакт, интервью, превращается в сохраняемый, полезный и доступный документ;

3) «от документа к истории» — толкование историком текстов, использование источника в различных формах для создания истории.

В зарубежной практике с конца 1970-х гг началось создание «устных архивов», была сформулирована их концепция, проработаны рекомендации ведения исторического интервью, методические рекомендации по созданию исторического источника и «устного архива». Этот опыт обобщен Д. Н. Хубовой в диссертации «Устная история и архивы: зарубежная практика и опыт», в том числе по таким направлениям, как взаимосвязи устной истории и архивов, особенности и свойства устных архивов, их практические и концептуальные основы, опыт и перспективы работы. Решение этих проблем дает «выход на опыт и перспективы устной истории применительно к архивоведению и источниковедению» и является весомым аргументом для тех, кто критикует формулировку «создание источников», как бы они ни назывались в мировой практике: «устные архивы», «фоно-мемористика», «фоно- и аудиоистории», «истории жизни» (life story), «устные генеалогии», «этнотексты», «устные исторические источники», «устные источники», «источники устного происхождения», «исторические интервью», «биографические интервью». Обилие появляющихся терминов не отменяет главного — родовой принадлежности к устной истории, т. е. акцентуации устности. Именно эта аргументация делает несостоятельны-

ми попытки некоторых исследователей ввести в практику формулировку «фоно-, аудио-, сонарная, звуковая история». Даже при широкой трактовке устной истории как «информации, передающейся *устно* в социальном общении», подчеркивается практикоориентированность устной истории как «наилучшего способа ее передачи и сохранения для будущего» как на бумажной основе, так и на аудиовизуальных носителях (А. Селдом, Д. Тэпот). Наиболее полно конструктивное, деятельное назначение устной истории отражается в определении Ква Чонг Гуан: «Устная история — это научно организованная методика интервьюирования участников прошлого с целью записи и сохранения устными свидетельствами их персональной памяти и опыта» [11, с. 20].

Использование метода устной истории и источников устного происхождения дает большие возможности для изучения культурно-исторической проблематики алтайской деревни новейшего времени, а задачи и направления создания «устных архивов» определяются самими исследователями исходя не только из научных интересов, но и из общественных потребностей. Но только при условии выполнения разработанных в мировой практике требований к организации сбора и создания устных исторических источников, соблюдения всех процедур по документированию исторической информации устного происхождения возможно создание в каждом населенном пункте архивов устных источников или так называемых устных архивов, аналогами которых в зарубежной практике выступают «живые архивы», «архивы памяти», которые могут использоваться в научно-практической и поисково-исследовательской практике в образовательных учреждениях и музеях, помогут сельским краеведам-исследователям компенсировать отсутствие государственных хранилищ письменных документов и библиотечный фондов в работе по проблематике новейшего периода отечественной истории.

5.2. Взаимоотношения власти и крестьянского общества: местная администрация и руководители государства глазами рядовых сельчан

Одной из базовых категорий, структурных элементов менталитета и исторического сознания является потестарное самосознание, т. е. отношение народа к верховной и местной власти. Его проявление в мироощущении колхозников и рабочих совхозов проходит красной нитью через любое тематическое интервью. При интерпретации событий прошлой жизни в советский период каждый респондент так или иначе выражает свое отношение к власти. Такое акцентирование не было характерно для традиционной крестьянской культуры, которая функционировала в более замкнутом патриархальном мире и концентрировалась на семейных и сель-

ских проблемах. Устные источники по потестарному сознанию советских колхозников предоставляют информацию для проведения аналогий, сравнительного анализа, выявления трансформаций в их мировоззрении на протяжении всего советского периода. Зеркальным отражением ментальных установок являлось социальное поведение, так как ментальность проявлялась через деятельность и поведение человека. В его поступках в повседневной жизни, в общественных и производственных отношениях, в оценках и установках отражалась позиция конкретного человека, его социальные, этнические, ментальные установки.

Устойчивым в устных источниках является эмпирическая закономерность противопоставления центральной (гарант справедливости) и местной власти («супостаты»). Особенно ярко это проявляется при характеристике сталинской эпохи, которая в оценке большинства информантов отличалась «образцовым порядком» (эмпирическая реакция на реалии сегодняшнего дня). Что касается беззаконий, то вина снимается со Сталина, который «ничего не знал, от него же все скрывали», а в «перегибах» обвиняется местное административно-партийное начальство. В этом проявляется инерционность традиционного сознания в отношении к власти, для которого характерен перенос негативного эмоционального отношения к верховной власти на местную администрацию. В традиционном крестьянском обществе все неудачи приписывались чиновникам, которые в представлении крестьян намеренно искажали политику и волю верховной власти (в Российской империи это проявлялось в сакрализации царя), что отражало традиционные потестарные представления крестьян. Устные источники содержат материал для анализа состояния и развития (сохранения или исчезновения) этой традиционной черты политической культуры крестьянства на протяжении XX века причин, условий и факторов ее развития. Так, сохранению оценки, оправдывающей верховную власть, в частности Сталина, даже после массовых публикаций источников и гласного обсуждения репрессий в современной прессе и литературе, способствовал ряд факторов прошлой жизни информантов: малограмотность крестьян, слабое развитие средств массовой информации, что обусловило информационную оторванность регионов и закрепило традиционные для российского крестьянства «монархические чувства». Крестьяне объясняют так: «Газет раньше не читали. Радио тоже не было, часов тоже не было. Только по солнышку да по месяцу узнавали. В колхозе сами „радио“ собирали — собрания были. Но я не слухала, а если слухала — ничего не понимала» (Е. И. Матысина). В такой обстановке сохранялась враждебность к местной и доверие к центральной власти.

Легитимность верховной власти в политической культуре крестьянства в этот период отражает традиционный тип мышления, основывающий-

ся на справедливости (святости центральной/царской власти), а негативность переносится на местные органы власти. Как образно высказалась старая казачка К. К. Кирьянова (с. Верх-Алейка), «деревню раскурочили начальники. Начальникам-то делать нечего». В этой интерпретации подоплекой является обвинение «начальников» в произволе. Жестокие методы раскулачивания и репрессий, которые ассоциировались «со своими же» (непосредственными исполнителями), выработали чувство беспомощности перед всемогуществом местной власти и традиции беспрекословного подчинения. Как образно сказала М. С. Нисина (с. Староалейское, Третьяковсий район), «раз верхние склоняют, куда ведут — иди». В этой фразе отразилась антитеза между нижними этажами сельского общества и верхними этажами сформировавшейся советско-партийной номенклатуры, реализующей на местах политику советского государства. Поэтому во время ликвидации сел срабатывал «инстинкт самосохранения»: «собрали колхозное собрание и сказали: „Вот так, кто куда желает, только чтобы из поселка уехали“» (с. Большой Луг, Третьяковский район).

В большинстве источников выявляется беспрекословность подчинения местных жителей распоряжениям власти: «С 1951 г. началось укрупнение. Три колхоза: „Красный партизан“, „Красное Знамя“ и Боровлянку — объединили. *Кидали людей туды-сюды, а люди-то ропотные, что скажут, то и сделают*» (И. Т. Трунов). Такую же позицию отражает и интервью с А. М. Гуляевой из ликвидированного с. Иконниково: «Потом колхоз присоединили к Катунскому — колхоз имени Шверникова стал. Работы не было, и стал народ разъезжаться. Все в основном в город уезжали. С 55–57 гг. люди стали разъезжаться. Фермы разогнали. Вся работа только летом была. Кому же понравится? *Никто ничего не знал. Раньше как было: что скажут, то закон.* Кому уезжать хотелось?»

Обобщенная оценка местной власти во многих интервью персонифицируется. В таком случае очевидцы переносят вину на конкретных местных «начальников», усматривая в их деятельности личные мотивы. Однако для большинства устных источников характерна иносказательная форма обвинения. Контент-анализ выявил наиболее употребляемые иносказания — «начальник», «начальники», «начальство», «директор», «верхи», «председатель» — обобщенные образы советской номенклатуры. Так, М. И. Казазаева связывала гибель села Сосновка Смоленского района с вновь назначенным начальником, которому были чужды интересы села: «Основная масса поехала в 1960 году. Там [с. Сосновка, расположенная в горах] и молодняк держали, и 2–3 дойных гурта, и дорога туда хорошая была, и продукты на машинах завозили. И сейчас можно было бы жить. Также и поля были, для себя [село] полностью обрабатывало и для государства. И овес сеяли и пшеницу. И силос закладывали для скота в ямы. *А поставили одного — он*

Место исчезнувшего села Быстренок (Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

свои цели преследовал, хотел в Сычевку [соседнее равнинное село]. *Снабжение стало плохое.* В основном поехали в Алтайский район — Булатово, Куяган, там поближе. Булатово вообще 6 км» (запись 1993 г.). Про соседнюю исчезнувшую Осиновку она тоже говорит с намеком на конкретных начальников: «Осиновка разъехалась примерно в 1958–1959 годы. Тоже очень большое село. *Кому оно помешало? Не пойму*. Прибыльное было село. Сосновку бы открыли, я бы уехала туда. И природа лучше. И также все в огороде выспевало: и огурцы, и помидоры, и тыква, и семечки…».

Жительница исчезнувшего села Искра О. Ф. Казанцева (Смоленский район) также связывает его ликвидацию с директором: «Я уехала почти последняя — в Черновой освободилась квартира. Мне некуда было деваться. Мне обещали мой дом сюда перевезти и поставить, а потом отдали другой. *Почему ее разогнали — не знаю*. Все сеяли, и *враз взяли и ее убрали. Начальство это сделало. Директор закрыл*. Собрание проводил: кто куда хочет — квартира есть в Сычевке или в Черновой…» Судьбу с. Максарово с действиями местного начальника связывала В. Т. Терещенко из Кытмановского района: «А такой *председатель* был сильный, что добился, чтобы центр в Червово. А все-то рассчитывали, что в Максарово центр будет, и мы к району ближе. *А вот ездил в район этот председатель. Взял такую силу и добился, чтоб центр здесь* [Червово] *сделали*». Все эти оцен-

Место исчезнувшего села Петровка (Павловский р-н). Фото 1991 г.

ки основаны на обвинениях чиновников в произволе и отражают гражданскую бесправность колхозников. Как сказал житель с. Ново-Тырышкино А. Н. Галахов, «было — слово против *начальника* не скажи. Он *имел право* тебя убить, сослать, под суд отдать. *Куда скажут, туда и идешь*».

В приведенных отрывках отражаются умонастроения определенной социальной группы — «рядовых сельчан» (колхозников, рабочих совхозов), обладавших самостоятельным «социальным сознанием». В этом смысле можно говорить о формировании уровней или дифференциации ментальности в советском обществе; в основе этого процесса лежала принадлежность к определенному социуму. В зарубежной исторической психологии «интерес к умонастроению простолюдинов» давно является объектом исследования. Но изучаются они за длительный исторический промежуток времени с использованием возможностей письменных источников. Хотя нужно брать во внимание и историографические споры о возможности существования «единой ментальности», т. е. рассмотрение ментальности вне связи с социальным. Устные источники, содержащие материал о взаимоотношениях власти и общества, показывают не только определенное дистанцирование, но и некоторую разницу в восприятии, манере чувствовать и предполагать у социальных верхов и социальных низов. Конечно, это спорный момент. Однако можно утверждать, что имеются большие потенциальные возможности для изучения социально-психологических явлений (ментальных установок) во взаимодействии разных социальных страт.

Наряду с обвинениями устные источники отразили своеобразную веру в хороших и плохих начальников. Вера во власть, способную заботиться о подчиненных, как показали устные источники, глубоко сидит в рассудке сельских жителей. С властями предержащими они связывают успехи и неудачи всего колхоза или совхоза. Типичность жизнеописательных ситуаций видна в отрывке из интервью П. И. Бухтоярова из с. Островное Мамонтовского района: «Я был в колхозе „Пятилетка". По тем временам вроде хорошо было. А вот в «Востоке» [соседний колхоз], там с голоду сдыхали. *Тут зависит от хозяина, руководства»*. Реже персонификация устных историй достигает поименного наречения «начальников». Как правило, более конкретную информацию дают рядовые сельчане для характеристики «давно ушедших дней». Конкретизация участников ликвидации сельских поселений осуществляется респондентами не только с целью обвинения или порицания начальников, но и для констатации их положительной роли. Но и в том и в другом случае это отражает перекладывание рядовыми сельчанами ответственности за село на местные органы власти. Примером является интерпретация обстоятельств ликвидации с. Смычка Смоленского района Е. Ф. Лапиной: «В 1957 г. началось укрупнение. Смычку включили в состав Линевского совхоза. Скориков, *бывший директор* [плохой начальник] напрямую заявил: *мне земля нужна, а люди мне не нужны*. Сначала закрыли школу, в которой было всего 4 класса. Угнали лошадей и свиней, оставили только скот, хотя и его поголовье было сокращено». По словам информанта, ему пытался противостоять директор совхоза в Смычке: «Сыроежкин [хороший начальник] пытался возродить село, начал строительство, но его через два года сняли, а начатое строительство заморозили. А *новый директор Волков* [плохой начальник] продолжил политику Скорикова. Жители были вынуждены покинуть село, хотя большинство не хотело». При этом сельчане не выходят на уровень размышления о причинах поведения «начальников», сводя все к личным мотивам, не связывают их поведение и позиции с политикой государства.

Закрепляло недоверие к местным советским управленцам и партийцам отсутствие у них крестьянского производственного опыта, который на первом этапе формирования советско-партийной номенклатуры в 1920–1930-е гг. был вторичен по сравнению с идеологической подкованностью молодых советских управленцев. Сопоставляя развитие крестьянской экономики с колхозно-совхозной, старожилы дают низкую оценку компетентности первых руководителей коллективных хозяйств. С. И. Тырышкин рассказывал, что в Ново-Тырышкино (Смоленский район) «было одиннадцать колхозов. Все поели: коров, лошадей. Распустили. Потом опять собрали. *Одиннадцать председателей, одиннадцать заместителей и одна старуха вяжет, они над ней командовали*. Возле магазина чайную

организовали для них [председателей]. Придешь — они там. Вино в бочках возили. Счет дают, что телег набрали, расплачивались за вино. Бочки из-под керосина были, на каждый колхоз по бочке». Такая оценка адекватна положению дел в руководящем составе колхозной деревни в 1930–1940-е гг. Для советской власти более важными были политические пристрастия новой номенклатуры, их вера в колхозно-совхозное строительство. Для управления колхозами на административные должности часто вербовали рабочих из города, бывших военных. Еще в начале коллективизации в советско-партийных документах постоянно указывалось, например, «поручить НКЗему и Колхозцентру провести массовую подготовку и переподготовку кадров, охватив месячными, 15- и 20-дневными курсами...» [21]. Над одним из присланных из города председателей колхоза респондент насмешничал, подчеркивая его незнание и неумение отличить обмолот зерновых от «мятья» конопли и льна: «В „Баррикаде“ председатель с завода. Бабы коноплю мяли, он говорит „Хорошо, на семена пойдут“. Просо привезли, он тоже — „на семена пойдут“». При этом в представлениях крестьян произошел разрыв между понятием «грамотный» как образованный человек и «грамотный» как знающий крестьянское дело — хозяин-управленец. Второе для них было более важным. Так, успехи молодого села Большевик Усть-Калманского района информанты связывали с председателем: «Председателем был Ф. П. Елагин. Одну букву „Е“ знал — расписывался. А хозяйство вел грамотно. Со всех колхозов, где плохо жили, приезжали, с Комаришки. У первых электричество появилось». Устные источники помогают выяснить и причины устойчивой враждебности общества и власти через оценки местной администрации: при негативной интерпретации укрупнения сел уже в 1950-е гг. сельчане одобряли то, что отражало эмпирические настроения, — удар «по начальникам». П. И. Бухтояров подвел итог укрупнению колхозов следующим образом: «Решили укрупнить села, а зачем — не знаю. Из мелких шести сел печати забрали, одному дали. Укрупнили — *меньше дармоедов стало, председатель один».*

Особенностью сельских устных источников является латентность информации в силу дуалистичности мировоззрения советских крестьян. Во-первых, только в последнее десятилетие постсоветского времени крестьяне научились открыто высказывать свои суждения, хотя до сих пор при интервьюировании часто используют эзопов язык (страх перед словом). Во-вторых, устные рассказы отражают глубинное историческое мироощущение, которое не совпадает с официальной историей. Рассмотрим это на примере рассказа крестьянки А. С. Косачевой-Ковыршинной: «Когда стали заставлять из Петровки наш дом перевозить в Чернопятово... мы с мужем в Касмалу вернулись. Взяли колхозный дом, отремонтировали. Тут приехали председатели колхоза и сельсовета: отдайте дом для но-

вого счетовода. А *я вечером в передний угол повесила портрет Ленина* [психологический прием, смешение православной традиции и политического экстремизма], и когда председатели снова пришли, я им говорю: „А вот вы сначала его вынесите! — и показываю на Ленина. — Остальное я сама вынесу“. Они опешили: как так? Я им: „Он нам не такую жизнь обещал!“ Долго нас не отпускали, мучили. Потом мы решили написать главному по сельскому хозяйству в Москве — Полянскому [монархические настроения, традиция аппеляции к верхам]. Письмо аж в Новосибирске спустили [традиционное неверие и уверенность в тотальном контроле и беспределе местных властей]. И все! Оставили нас!».

В данном случае устная сельская история предлагает пути интегрирования сельской жизни в историческую науку, исправляет перекосы в письменной документалистике и одновременно позволяет использовать подобные источники для изучения крестьянских традиций, прежде всего архетипов сознания крестьянства. В последнее время исследователи, обращаясь к эволюции мировосприятия крестьян, формулируют идею заступничества верховного правителя, осуществляющего социальную и политическую защиту своих поданных, как одну из составляющих архетипа крестьянского сознания [22]. Устные источники позволяют более обоснованно и адекватно заниматься проблемой отношений власти и народа. Апеллирование к верховной власти показывает, что она для крестьян носила патерналистский характер. Источником сохранения патернализма служили и сохранявшиеся в крестьянской семье патриархальные представления.

Вместе с тем на основе сравнительных жизнеописаний участников событий устная история отражает палитру мнений и чувств и одновременно выявляет в советском времени социальную дистанцию. Официальная история — это интерпретация исторических событий через восприятие истории чиновничье-партийным персоналом, которые вспоминают историю не так, как крестьяне. Устные же истории делаются двумя пересекающимися в оценках группами: «голоса» колхозников и рабочих совхозов расходятся с голосами партийно-колхозно-совхозной элиты. В этом смысле «личные истории» при том или ином событии «полезны для того, чтобы представить какую-либо социальную группу более зримо». Один из классиков устной истории М. Фриш говорит, что необходимо учитывать принадлежность говорящего к определенной социальной группе, его социальный статус, что дает возможность в устной истории показать «историю снизу», историю рядового человека. Однако, возможно, важнее то, какое положение человек занимал по отношению к рассматриваемым событиям.

Большинство респондентов рассказывает о своей частной, никому, кроме них самих, не известной и не интересной жизни, имеющей историческое значение лишь как частица общего процесса, а не в своих индивиду-

Место исчезнувшего села Петровка (Павловский р-н). Фото 1991 г.

альных проявлениях. Другие же, напротив, были главными действующими лицами (председатели колхозов и совхозов, главы районных органов власти и т. д.), и их субъективные воспоминания, таким образом, имеют общественный интерес, что вполне осознают они сами. В целом этот спектр частного и публичного опыта прошлого совпадает с положением человека в социокультурной структуре сельского общества, так как, по мнению М. Фриша, «речь идет о носителях власти, рядовых гражданах, пострадавших от советской власти, кого она подняла из нищеты» и т. д. Наш опыт устноисторических исследователей позволяет утверждать, что «персонализированная форма рассказа» помогает формировать социополитическое понимание событий и стоящих за ним сил, структуру взаимоотношений. В этом плане удачным представляется использование термина «толкование» для обозначения интерпретации происходящих событий очевидцами и участниками, а для самих рассказчиков — «толкователи». Такой подход отражает аргументы каждой стороны, позволяет сравнивать позицию той и другой стороны и диагностировать перспективу социального и политического развития. Особенно перспективными являются устные источники в форме «сравнительных жизнеописаний». В 1950–1970-е гг. это устные толкования двух групп участников, субъектов процессов укрупнения и ликвидации сел — тех, кто реализовывал политику, и тех, кто являлся объектом эксперимента. Сопоставление этих рассказов показывает структуру взаимоотношений власти и общества. Именно сравнение историй таким паралелльным, контекстуализированным образом (на уровне

социального сознания групп колхозно-совхозного общества) выявляет социальную дистанцию.

На разных полюсах находится два устных толкования укрупнения колхозов в Павловском районе. Первое толкование принадлежит председателю сельского совета (Чернопятово, П. И. Дулепин): «…Разорил Петровку я. Жалко было [реакция по-человечески]. Местность хорошая, но воды не было… [фраза-размышление], сейчас бы современной техникой дали воду. Начали укрупнять в 1954 г.». После этого — фраза-оправдание: «Казусов не было, люди спокойно отнеслись. Колхоз помогал перевозить дома. Необходимо было сконцентрировать на центральной усадьбе и технику, и школу, чтобы людям было удобно. *Мы разговаривали с людьми, объясняли постановление партии* [реакция партийца-чиновника]. Ну если бы укрупнения не было, села бы до сих пор жили. Были люди, которые не хотели уезжать [личная оценка]». Подобные устные интерпретации содержатся у небольшой группы опрошенных, ограниченных пределами «сельской элиты» (управленцы и интеллигенция).

Второе «толкование» — жителя исчезнувшего соседнего села Быково И. Н. Зазвонова: «Дома (в селе) были большие и круглые. Три двухэтажных дома [показатель крестьянского благополучия]… Рядом через реку Касмалу было село Российка [исчезло] — богатые люди жили, и дома большие были [фраза-недоумение, так как видимые признаки благополучия налицо]… Остальные самые лучшие дома люди сами перевезли. *Колхоз не помогал* [фраза-обвинение]…». Далее — фраза-размышление: «А поехали потому, что фермы ликвидировали — перенесли на гору, а контору в Нагорное. Школу закрыли, перевезли в Чернопятово… Думали, что все из Быково в Нагорное переедут. А как людям дом перевезти? Нужен новый лес. Колхоз дома не помогал переносить, лесу не выпросишь [расхождение в оценках рядового колхозника и руководителя]. Если бы помогал, то все бы сюда перетащились [фраза — обвинение власти]. И колхоз не стал народ держать [обвинение в безответственности и равнодушии местной номенклатуры]. Едут, ну и пусть едут».

Выявление неформальных механизмов взаимоотношения общества и власти с использованием устных источников требует от историка учета определенной логики социального массового и индивидуального поведения сельского населения. Для жителей деревни реализация управленческих решений вследствие кулуарности в принятии судьбоносных решений в советское время ассоциировалась прежде всего с местными исполнителями. Но, в отличие от толкований поведения местных чиновников, особенностью устной народной истории о государственных лидерах является ее персонификация. В устной традиции поступательность исторического развития респондентами определяется партийно-политическими

фигурами и обозначается фразами «при Ленине…», «при Сталине…», «при Хрущеве…», «при Брежневе…» и т. д. В отличие от разноцветной палитры в описании неформальных механизмов взаимоотношений крестьян с властью на «нижних этажах» общества, характеристика партийных вождей и их соратников отличается небольшим количеством вариантов, более трафаретна. В некоторых случаях они приобретают мифологизированную форму в виде предания, в котором народная молва отражает обобщенное представление о вожде, его доминирующие черты, например простодушие и простоту Н. С. Хрущева. В частности, на всей территории Алтайского края (независимо от реальных событий во время приезда Н. С. Хрущева на Алтай) бытует предание о его простом поведении при посещении деревенского магазина. В любом районе Алтайского края они начинаются так: «Когда Хрущев был на Алтае, он приехал к нам в Мамонтово (Зональное, Шелаболиху…). Зашел в магазин и попросил свешать пряников. А у продавщицы не во что было завернуть… Он *снял шляпу* [знаковый стереотип Н. С. Хрущева] и протянул ей. Она высыпала в нее пряники…».

Вместе с тем государство как самостоятельная сила присутствует в толкованиях сельчан и в обобщенных образах. Контент-анализ выявил наиболее употребляемые определения государства как одного из участников разрушения сел — «вверху», «верхи», «свыше», «приказ». Как правило, в устных интерпретациях политики реорганизации деревни, даже когда вина возлагается на государство, деятельность местной администрации все равно получает негативную оценку, так как на нее возлагается роль исполнителя. Типичность жизнеописательных оценок раскрывается в отрывке воспоминаний жителя исчезнувшего села Михайловка В. И. Глушкова: «Деревня начала уничтожаться в 57-м году. *Михайловку гоняли то в Точильное, то в Смоленское, а потом в совхоз присоединили. Совхоз ее и уничтожил*. Магазин убрали, делали все, как в Камышенке. *Свыше пришло указание укрупнять*». Рядовые жители отчасти осознавали зависимость местной администрации от центра. Это проявляется в их попытках понять создавшуюся в 1950–1960-е гг. ситуацию: «Нас сначала и с Огнями сливали, вот наши документы, вот я-то пошла на пенсию, вот они в Огнях. Передали в Огни… *Приказ — и всё*, приедут, расскажут, что сливают: о, хорошо будет! Ну, *известно, наговорят*. Уполномоченные ездили какие-то… Ну, а жить-то уже ни при чем стало. Мы говорим: школу убрали зачем? До 4 классов была школа, и ту убрали. Это где же лучше будет? Вы что?! *Ну а че, это не от нас зависит. Нам приказывают. Вот и всё*» (Д. П. Шмакова).

Однако наиболее часто определение «свыше», «сверху», «вверху» используют в своих рассказах представители местной сельской администрации и партийных организаций. Их интерпретация процесса принятия решений отражала жесткую иерархическую лестницу советско-партийной

номенклатуры, которая хорошо просматривается в интервью бывшего председателя райисполкома (Н. Г. Присухин, Мамонтовский район): «*Когда объявили* [речь идет о спущенных в районы схемах расселения], что этот поселок неперспективный, — начали. С чего начать? Надо наперво определить тех, которые ребятишки учатся в школе, магазин не закрывали до тех пор, пока последние не уехали, и даже больница так же была, работала. Фельдшерский пункт, там одна врачиха и санитарка, не врачиха, а фельдшер и санитарка. Тоже не убирали, долго держали их <…> *Процесс такой и порядок такой. Дадут согласие* [на колхозном собрании], и *на сессии* [совета районных депутатов] решают вопрос сельского совета, и *потом уже район пишет краю,* а край потом уточняет. Смотрите, чтоб ни одного человека там не осталось.

Интервьюер. А кто определял, как определялось, какое село неперспективное?

Респондент. Для того, чтобы подать вот это предложение в край, вот эта процедура начиналась с того, что сход граждан — это, так сказать, юридическая организация. А потом уже *сельский совет ходатайствует перед районом, а потом уже в край*.

И. А какова роль районных властей в инициативе?

Р. Да никакой.

И. Никакой?

Р. Никакой, потому что *раз было принято постановление ЦК, значит, то какая ж тут роль. Чтоб по шапке не ударили…*

И. А из края как-то настаивали, что такое-то количество сел должно быть неперспективно?

Р. Нет, нет, инициатива района.

И. Ну, а район мог вообще не укрупнять, не ссылать, не ликвидировать?

Р. Видите как, какая зацепка: сразу смотрят в районо [районный отдел народного образования]: как школа, есть ли печать, медицина, — с этого начиналось. Торговая точка, она убыточна была, не приносила так называемый доход. *Еще связывали с электроэнергией, водоснабжением, колодцы были. Ну раз школы нет, зачем я буду жить, мучить детишек, возить* [я — как председатель райсполкома]. *Значит, стали искать убежища в селах* и на центральную усадьбу ехали…».

Приведенный целиком отрывок показывает, что устная история — это содержательно богатый источник, предоставляющий, в отличие от других источников, возможности изучения субъективной стороны жизни людей в прошлом, их представления, политическую культуру. Устная история, как и массовые статистические обследования, отражает восприятие и отношение людей к социальным явлениям, но, в отличие от них, она по-

Место исчезнувшего села Быково (на заднем плане — с. Нагорное). Павловский р-н. Фото 1991 г.

казывает это восприятие в контексте истории жизни отдельного человека. Такое субъективное восприятие жизни имеет большую ценность не только как материал, относящийся к отдельному человеку, но и как историческое свидетельство, характеризующее культуру всего общества. В каждом интервью отражается определенная система координат всей культуры, определяющая те правила, по которым человек воссоздает свою жизнь в прошлом. Можно сказать, что отдельные человеческие жизни черпают свой смысл из этой общей культуры, а их жизнеописательные истории отражают культуру, маркированную оценками происходящих событий. Как сказал об этом Роберт Левин, «субъективная человеческая карьера может быть представлена в образах и понятиях, созданных как коллективно, так и индивидуально, при этом индивидуальные образы и понятия насквозь пронизаны смыслом, общим для данной культуры» [23, с. 183].

На наш взгляд, интересным представляется рассмотрение феномена советской модернизации сознания в ракурсе анализа данного интервью как целостного текста — исторического и человеческого. Тематика, образный строй, язык, структура текста интервью — все претерпело огромное влияние идеологии. Респонденты (большинство опрошенных руководящих работников) были воспитаны советской властью и впитали пропагандистскую информацию или подчинились пропагандистскому натиску. Подобные интервью являются следствием вытеснения из сознания этой категории респондентов социальной субстанты и замещения этой социаль-

ной пустоты идеологическими клише или способом, манерой, психологией мышления, которые были свойственны эпохе «тотальных идей» и «единственных истин».

В данном интервью отразилась субкультура советской партийно-чиновничьей номенклатуры: на нижних этажах власти исполнители первого звена были жестко ориентированы на решения ЦК партии («раз было принято постановление»), а ответственность за это несли промежуточные этажи власти (район, край), для которых было важно, «чтоб по шапке не ударили». В приведенном отрывке схема взаимоотношений звеньев разных этажей власти предстаёт жестко соподчиненным механизмом. Приводом являлись решения (постановления) партии и правительства, шатуном, приводящим его в движение, — центральный государственно-партийный аппарат, а звеньями — три этажа власти: краев (областей), районов, сельских администраций. Согласования и обсуждения на этих этажах представляли собой некое задание сверху с обязательными актами. В первом акте — театрализованное действие: сход «решил», сельсовет «ходатайствует перед районом», «потом район пишет краю»… Во втором акте: «край уже потом уточняет», чтобы «ни одного человека там не осталось». И как только решение принималось, движение начиналось в другую сторону. В третьем акте решения краевых властей являлись обязательными для исполнителей нижних этажей власти, хотя на ее ступенях встречались представители партийной номенклатуры, по-человечески жалеющие исчезнувшие села. В целом толкование прошлого бывшими руководителями указывает на усвоение (на определенном уровне) ими агитпроповских метафор, применяемых партийным государством для продвижения своей политики.

Вместе с тем в представлениях и отношениях к власти рядовых колхозников и чиновников-партийцев местных администраций выявляется много общего, источником которого является та же традиционная черта политической культуры — неприязнь к региональной (районной, краевой) власти и надежды на высшие инстанции. Только у колхозников и рабочих совхозов неприязнь и критическое отношение выражается более открыто; руководящее звено коллективных и государственных хозяйств ограничивались репликами в отношении непосредственных начальников. При этом и у тех и у других проявляется общий принцип по отношению к власти: чем выше на иерархической лестнице располагался орган власти, тем большей легитимностью, с их точки зрения, он обладал и более авторитетной апелляционной инстанцией считался. В этом смысле в личных интерпретациях прослеживается дифференциация отношения к власти.

Вместе с тем жалость многих партийцев и администраторов к ликвидируемым селам свидетельствовала о разной степени модернизации их сознания под влиянием партийной доктрины. Толкования данной категории

управленцев содержат признание объективно существующих неблагоприятных условий послевоенной жизни сельчан, которые, по их мнению, давали достаточно оснований для реформирования сел по пути укрупнения и ликвидации: необходимость электрифицировать деревню, которая освещалась керосиновыми лампами, радиофицировать, создать централизованное водоснабжение взамен колодцев или речной воды, связать их дорогами и т. д. Но характеризуют они эти условия агитпроповскими штампами партийных документов: «В 60-м году я переехал в село и стал директором совхоза, проработав 30 лет. *Я считал, что деревня должна жить лучше города*. Село должно быть большим. Дома — минимум трехкомнатные [в послевоенной алтайской деревне преобладали однокамерные избы и двухкамерные пятистенки], *с центральным отоплением, с удобствами*. Я присоединил Песчаное, Смычку. Центральная усадьба в селе Линевское. Построил маточную ферму. Позже Смычку совсем ликвидировал. Смычку переселили — в добротные дома. *В совхозе сделали среднюю школу*, раньше была восьмилетка, а еще раньше семилетка. В Смоленском районе она самая лучшая — на 460 мест. Есть интернат, бесплатное питание, 5 автобусов, столовая, поликлиника, дом культуры, было ателье, был стадион. *Кадры растили для себя*, почти вся молодежь возвращалась в родное село». Это интервью принадлежит одному из успешных руководителей хозяйства в с. Линевском Соленского района Алтайского края. Его отношение к миру отражало ценности советского человека, транформацию сознания, а язык показывает влияние «верхов» на формирование нового человека, хотя сам информант не считает себя приверженцем партии: «Хотя я с 56-го года в партии, но к Сталину отношусь отрицательно. Когда он умер, я закричал „Ура!“ И Ленина *перестал* уважать. Так как они *для народа никогда не жили*» (Ю. Т. Волков).

В целом интервьюирование представителей руководящего звена показывает, что они в 1950–1970-е гг. являлись носителями социалистического мировоззрения, в котором переплелись миссионерские настроения, искренняя вера в преобразующую роль партии, убежденность в правильности аграрной политики. По их мнению, реализованные в 1950–1970-х гг. программы (слияние колхозов, ликвидация неперспективных сел) являлись объективно обусловленными и имели большой потенциал для развития деревни по пути модернизации. В отношении устных свидетельств представителей советско-партийной власти, выражаясь словами А. Ф. Гуревича, «правомерно говорить о „социальной истории идей“, существеннейшим образом отличающихся от истории идей в „чистом виде“. Для их социального сознания, социально-психологических установок характерно умонастроение, сформированное в период реализации и внедрения социалистических идей.

Таким образом, устные источники представляют довольно противоречивую информацию, анализ которой позволяет не только фиксировать и анализировать потестарное самосознание советского крестьянства, но и выявлять динамику в его развитии как на разнопоколенном уровне, так и у разных социальных групп. С одной стороны, потестарное сознание колхозного крестьянства содержит веру в разумность высшей власти, ее третейство во взаимоотношениях народа и местных начальников, апеллирование к высшей власти, недоверие к низшим чиновникам. С другой стороны, устные источники содержат личностный материал, который ставит под сомнение такую черту традиционного потестарного мировоззрения, как сакрализация и идеализация высшего начальства.

Для изучения политического сознания как части менталитета большой интерес представляют устные материалы об отношении сельского населения к советско-партийным лидерам. Этот пласт «субъективных свидетельств» отличается персонификацией. Во всех оценках советско-партийных лидеров проявляется признание решающей роли одной личности в жизни огромного государства, что позволяет говорить о его толерантности. Народные интерпретации почти ставят знак равенства между культовостью монарха и генсека. В высказываниях почти не прослеживается изменений в общем настрое по отношению к главе государства на протяжении всего XX столетия, начиная с дореволюционного времени. Это проявляется в той периодизации, которая используется рассказчиками в повествовании об их жизни. Они абсолютно разделяют условия и возможности жизни на каждом этапе развития советского государства и оперируют оценками прошлого: «при Сталине», «при Хрущеве», «При Брежневе»…

В устных оценках Ленина и Сталина проявляются традиционные установки потестарного мировоззрения, но с оправдательными резюме. Большинство бывших колхозников признают за Сталиным право на деспотичность, жестокость, требовательность. Можно предположить, что такое отношение, по сути дела, отражает повседневный обмен мнениями в прошлом и настоящем, свидетельствует о некой форме коллективного сознания, «не отфлектированного и не систематизированного посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и теоретиков» (А. Я. Гуревич). А можно считать это реакцией сельских жителей на современную ситуацию в деревне, которая больше, чем город, пострадала в постперестроечное время. Эти два фактора (прошлое коллективное мнение и современные коллизии) обусловливали оценки всех последующих партийных лидеров. Необходимо учитывать весомое влияние времени проведения интервью. При оценках прошлых лидеров респондент неосознанно сопоставляет условия жизни современной и прошлой эпохи (для советской истории эпохи ассоциировались с советско-партийными главами государства –

Лениным, Сталиным, Маленковым, Хрущевым, Брежневым, Горбачевым). При этом действует механизм рефлексии, в котором прошлое связано с лучшей порой жизни — детством, юностью. Нельзя сбрасывать со счетов и постоянное внимание к аграрному сектору экономики, к декларируемому лидерству крестьянства как класса в советское время.

На современном этапе отношение к И. В. Сталину со стороны крестьян неоднозначно, но с тенденцией оправдания: «К Сталину относились по-разному, не знаю как кто, но, по-моему, Сталин был хороший руководитель. При том ведь мы отступали почти до Москвы — он не уехал никуда. А когда он умер, плакали все. Плакали, что он войну вынес. А щас какие у нас руководители?! Суртаев (председатель сельсовета), он только деньги получал, а не руководил... Сейчас что украдут — хоть ходи, хоть не ходи в милицию» (Зональный район, 2002 г.). «Сталина, Ленина на картинках-то мы знали. К Сталину как-то плохо относились, а Ленин хороший был. От счас его отменили, а то все по его пути работали. Сталина как-то недолюбливали» (Заринский район, 1999 г.).

При всем разнообразии оценок практически все информанты рассматривают Сталина как великого государственного деятеля, приведшего народ к победе в Великой Отечественной войне и державшего в стране порядок. Ему приписывают и все достижения советского государства, и социальное равенство, и социальный оптимизм. В целом информанты одобряют политику Сталина, несмотря даже на то, что она тяжело отразилась на жизни многих людей. «О сталинских репрессиях я не слышал, а при Сталине закон был лучше, чем сейчас. Потому что если ты заслужил, то и получишь. Сейчас человека убивают и ни черта не судят их, и никакого наказания. За такое наказание расстреливать надо, а не так, как сейчас делают. Вот при Сталине постоянно давали статью № 58 — „враг народа" — и приговаривали к смертной казни. Враг народа — если изменил, надо было наказывать. А если за неправду. *Конечно, может, много и неправды там было, что много расстреливали невинных — по закону надо было так делать*» (Заринский район, 1999 г.).

Подобные многочисленные мысленные конструкты не столько были порождены индивидуальным сознанием, сколько отражали повседневное коллективное мнение, рожденное определенной социальной средой. Но эти индивидуальные конструкты, сформированные определенной эмоциональной (победа в войне) и мыслительной (влияние идеологии) почвой видоизменяются, упрощаются или искажаются под влиянием современных рассказчику социально-политических условий. Поэтому в оценках Сталина содержится как бы противопоставление прошлого и настоящего. При этом в прошлом находят то, что противостоит негативным проявлениям в настоящем. Например, современный «бардак» в законах вызывает нос-

тальгию по регламентированности прошлой жизни, «беспредел» власти и денег в современности — по вымуштрованности и зависимости советско-партийной номенклатуры в прошлом (при Сталине), невнимание современной власти к деревне — акцентуацию внимания на крестьянстве и многочисленных программах развития деревни в советский период и т. д.

В интерпретациях же респондентов из младшей возрастной группы колхозников, живших в послесталинскую эпоху, более заметно влияние «умственных усилий теоретиков» через современные СМИ и научно-популярную литературу. Примером является следующее рассуждение: «Политика Сталина известна была. Слышала про него, когда училась. Сталин настаивал, чтоб на свое. Чтоб совместить эту жизнь, много людей Сталин погубил тогда. *Не знаю, винные они были или невинные*. Так люди говорят, вообще-то старше нас. Когда его убрали. При Сталине в жизни не было ничего хорошего. Обувать и одевать нечего». Противоречиво и следующее рассуждение: «Сталин держал дисциплину, хотя, считаю, грубо, но в такое время — перелом! Он считал правильным держать, делал дисциплину. Скажуть… вон тот человек безвинный — враг народа, и все… несправедливо он поступал, не разбирался» (Заринский район, 1999 г.).

Современная эмоциональная почва с ее негативными эмоциями вызванными последствиями современных реформ 1990-х гг. для сельчан закрепляет на бытовом уровне оправдательные оценки Сталина, который «целеполагал», исходя из интересов «простолюдинов», в отличие от российской постперестроечной власти и ее представителей, которые «целеполагают», исходя из интересов современных «богатеев». Для оценки деятельности Сталина также характерно то, что многие трудности и негативные проявления политики сталинской эпохи рассказчики не связывают с его именем. Трудности экономического положения объяснялись военным временем, а в послевоенное время — необходимостью восстановления народного хозяйства. «Сталин же войну не проиграл. Люди знали, что после войны должно быть лучше. И было лучше. А сейчас довели — что завоевали — то продали, пропили, прогуляли и распродали». Таким образом, оценки Сталина, как правило, рождаются на противопоставлении настоящего и прошлого, что косвенно свидетельствует о негативной оценке постсоветской России, противоречие между установками, полученными в советское время, доминировавшими в период их молодости и зрелости, с установками современного государства и общества. При этом рассказчики берут из прошлого то, что соответствует их нереализованным потребностям на современном этапе. Поэтому многие оценки Сталина по сути являются рефлексией или резонансом на то, что не нравится в современном обществе. В колхозной среде проявляется осознание различий между проходящей политической «модой» или «увлечениями» и более глубоким, по

их мнению, охватывающим сознание общества на разных уровнях стремлением к «порядку» и «социальному равенству».

Вместе с тем в цитируемых мнениях и толкованиях отмечаются следы политики по насаждению культа личности Сталина, что до сих пор влияет на его оценки: «Помню, я в школе учился в 38-м году. Так мы каждое утро, как перекличку сделают, мы песню такую пели, наподобие анекдота: „Породил нас Ленин, вырастил нас Сталин". Вот эти слова я сроду не забуду. За Сталина все были горой. И сейчас его все поминают» (Зональный район, 2002 г.). Особенно ярко вождистские настроения проявляются в оценках военного поколения. И это объяснимо: война закрепила культ личности Сталина. В крестьянской среде, склонной к патернализму, образ Сталина ассоциировался с «отцом народов» в прямом смысле. Для крестьян он являлся гарантом защищенности, стабильности, надежности. Об этом говорят воспоминания о смерти Сталина и о развенчании культа личности его последователями. Многие крестьяне не только восприняли осуждение политики Сталина с непониманием, но и осуждали его. «Сталина хвалили. И когда он умер, все плакали в клубе. А через 3–4 дня у бабки бригадир начал топтать его большой портрет, сказал, что он — враг народа» (Зональный район, 2002 г.). «Обязательно траур был после его смерти. Все плакали, весь народ заставили. А когда культ приписали, я токарем работал в эмтээсе [МТС], секретарь политотдела царапает [снимает] портрет Сталина в конторе. Я, правда, солидный [выпивший] был, да еще и больной. Я его за плечо взял, как хватанул, перевернул — хотел вообще избить. Я говорю: «Ты, ...ка, что делаешь! Ты вчера плакал — Сталин умер, а культ личности приписали, какой же ты коммунист — начал царапать портрет со стены". Так он после этого меня бояться стал» (Зональный район, 2002 г.).

Персонифицированные оценки государственных и партийных лидеров отражают общую атмосферу и духовный климат общества на конкретном этапе, что позволяет, например, говорить о сформировавшихся советских умонастроениях, и вместе с тем эти оценки содержат специфические вариации, отражающие конкретно-исторические особенности того или иного этапа советской истории, связанного с личностью советско-партийного лидера. Примером является достаточно стабильная и однозначная память колхозников о таком краткосрочном лидере, как Маленков. С деятельностью Маленкова все крестьяне связывают облегчение налогового гнета и наступившее в связи с этим улучшение экономических условий жизни на селе. «После Сталина был Маленков, но политбюро его сразу убрало. Он освободил налоги все с крестьянина. Мясо не стали брать, в общем, все. С крестьянина до этого был налог: 40 килограмм мяса сдавали, 110 яиц, 300 литров молока, центнеров 20 картошки. Это все с крестья-

нина. И вот этот Маленков отменил» (Заринский район, 1999 г.). «Маленков освободил от налогов. Говорили так:

„Товарищ Берия вышел из доверия,

А товарищ Маленков надавал ему пинков".

Потом Жуков арестовал Берию» (Зональный район, 2002 г.).

Вместе с тем оценки Маленкова отражают изменения, происходящие в индивидуальном сознании крестьян по отношению к власти, которая после смерти Сталина теряет свою сакральность, безгрешность, неподсудность. Сами рассуждения демократизируются и переносятся на уровень повседневного языка, бытовых проблем. В этом плане оценки всех последующих государственно-партийных лидеров менее «заштампованы» и мифлогизированы и более самостоятельны. В них отсутствует напряженность: «Вот Сталин умер, после него заступил Маленков. Он все убрал: и мясо, и займ этот. Займ был государственный, не помните такой? Он назывался добровольным. Тоже, можно сказать, под пистолетом. Нет денег у колхозников. Они начали получать деньги только в конце пятидесятых годов. При Маленкове налоги были подсильны» (Заринский район, 1999 г.).

Десакрализацию ускорила и замеченная крестьянами борьба между последователями Сталина за власть, среди которых они не видели равной умершему вождю фигуры и испытывали растерянность и недоверие к новым лидерам, между которыми возник раздор. Усугубило трансформацию сакральности то, что жертвой борьбы стал функционер, получивший признание за «народную» политику. Крестьяне восприняли последующую перестановку как результат интриг в борьбе за власть. Вышедшие на всеобщее обозрение разногласия не способствовали росту авторитета преемника Сталина и повлияли на отношение ко всем последующим советским лидерам, в том числе Хрущеву. А закрепило эту тенденцию в среде рядовых сельчан публичное развенчание культа личности Сталина. Они часто объясняли это продолжением борьбы за власть, когда все средства хороши, в том числе и «опорочивание» Сталина. Потеря слепого доверия к «верхам» проявилась и в интерпретации причин отстранения Маленкова: «Но он руководил мало. Он был год всего, *не по правильной линии шел»*. «Он же и дал свободу крестьянину, народу. За это его и убрали, то что он дал свободу. Не надо было так делать. *Он что-то не так делал,* ему предложили, а не убрали. Уходил самовольно (Заринский район, 1999 г.). В принципе такая ситуация и всплеск настроений имел место и в прошлом России. Аналогом является эпоха Бориса Годунова, когда народ стал свидетелем борьбы за власть после смерти Ивана Грозного. И оценки сопоставимы с мнениями послесталинской «пересменки» власти. Отмечается и еще одна особенность: в сформировавшиеся стереотипы послесталинских руководителей мирного времени заложены не только личные черты нового лидера,

но и те направления политики, реализуемые кампаниями, которые существенно меняли условия жизни «нижних этажей власти». При этом эта связь особенно заметна у сельчан, связанных с производственным сектором. Для них важны были последствия для их семьи, в первую очередь материальные условия жизни. Для сельской интеллигенции приобрели значение геополитические последствия — усиление позиции страны на международной арене, а во внутренней политике — изменение общественной жизни, проявлявшееся в ослаблении или ужесточении контроля за умонастроениями и предпочтениями людей. И все эти изменения обусловили формирование портрета Н. С. Хрущева.

Рассуждения о Н. С. Хрущеве в современном сельском обществе отражают цельный образ, состоящий из расхожих представлений, типичных оценок, стереотипов. Однако именно в оценках Хрущева проявилась сформировавшаяся социальная структура советского общества, в которой выделялись группы, связанные с производством, советская интеллигенция и советская номенклатура. Их мнения стали различаться. В деятельности Хрущева рядовые сельчане выделяют несколько запомнившихся всем событий: кукуруза, целина, совнархозы, подсобное хозяйство, тогда как интеллигенция выделяет Карибский кризис, Кеннеди, «ботинком по трибуне», «оттепель». Политическим кампаниям крестьяне дают разные оценки. В отношении целины практически все информанты выделяют неправильные методы ее вспашки, игнорирование конкретных природных условий и негативные последствия. «Где надо было целину поднимать, там и надо было поднимать. А вот что у нас здесь на Алтае, всю землю перепортили. Это целиной перепортили, с глиной перемешали, урожая не стало, а надо было пахать, как пахали раньше. А вот сейчас стали пахать получше и помельче, и лучше урожай стал — ведь его вообще не было» (Заринский район, 1999 г.). Положительных оценок встречается меньше, и в них, в отличие от негативных, больше заметна обработка сознания средствами массовой информации. Как правило, они даются представителями колхозно-совхозной администрации: «...Много целинных земель подняли — это хорошо было. Ниче не повредило. Повлияло для развития».

Отрицательное отношение у рядовых сельчан вызвало насаждение кукурузы: «При Хрущеве было такое положение: хлебушко был из кукурузы. Для того, чтобы ребенку взять саечку белого хлеба — только по справке врача. Мы и кукурузу-то до Хрущева не сеяли. Это уже он привез с Америки, подсмотрел. Хлеб тот невкусный, его только свиньям. А в 30-е годы мы получали лебеду — траву под решето. Ездили зерно возить, а кто сидел дома — те лебеду получали» (Заринский район, 1999 г.). «При Хрущеве-то сеяли кукурузу, хлеба не стало». «Тут и анекдоты пошли: „На Марсе кукурузой накормят“» (Зональный район, 2002 г.). Бышие управленцы

мыслят «по-государственному» и видят другую сторону кукурузной кампании: «Много он сделал для народа. Ввел кукурузу, подняли животноводство. Базу, кормовую базу он создал, кукурузу. Тут начало — и молоко пошло, и все».

Обычно с негативных позиций рассматривается и завершение Н. С. Хрущевым укрупнения колхозов и ликвидации сел: «*Думали, укрупнение хорошо будет, а оказалось не так хорошо. Вот меньше колхозы были — и лучше работали, к себе не тащили*, и в каждом колхозе был председатель там, ревелезорная комиссия. *Собирали собрание* и колхозники выступали, хотя бы неграмотные были, но все они говорили, то, что они работали — *они имели право говорить*» (Заринский район, 1999 г.). И. М. Сорокин из с. Мамонтово так определил его роль: «Хрущев создал *совнархозы*, он взялся за народное хозяйство. И начал создавать *агрогорода*… Вот Сыропятовка была село. Оно — неперспективное, переселить его в Крестьянку. Курган — это неперспективный, а он в 22-м году выселен с Мало-Бутырок [выселок с. Мало-Бутырское]. Вот прожил эту жизнь, теперь неперспективный. Его соединить надо с Бутырками, поскольку один колхоз сделают, чтоб был *агропрод*. Но ведь хорошо то, что хорошо, если б такой агрогород, да он сказал, да сразу создался. Но ведь люди должны жить десятилетиями, пока создадут благо. Нельзя же сразу их в один год переселять».

С деятельностью Н. С. Хрущева связывает ликвидацию с. Поручиково М. М. Раченкова: «Когда Хрущев пришел, укрупнение началось [первый этап укрупнения начался в 1950-е гг. при Сталине, но в памяти респондентов кампания по укрупнению связана с Хрущевым]. Наш поселок маленький был, а жил хорошо. А потом то с Плоским нас сольют, то с Ключами, а то с Михайловкой два раза сливали. Люди разъехались, в Михайловку мало кто приехал. Последние 3 семьи уезжали, было это в 77-м году».

Таким образом, Хрущеву приписали начатую еще при Сталине кампанию по укрупнению колхозов. Сакрализация Вождя (Сталина) привела к хронологическим сдвигам в памяти информантов, когда плохое переносилось на Хрущева, в противопоставление «хорошему» Сталину. Лишь единицы связывают ликвидацию малых поселений с фигурой И. В. Сталина: «В 50-м году Сталин создал указ — укрупнять колхоз. Два дня бились жители и не хотели соединяться с Новоалейкой. Приехали с райкома, заставили. Сначала соединили с Раздольем, а затем с Шипунихой. Дома свои кто продавал, кто бросал. Многие уехали в Усть-Каменогорск».

В устных суждениях образ Хрущева воспроизводится как антипод Сталину. И в этой антитезе Сталин олицетворял Вождя, Хозяина, приближался к Монарху, а Хрущев не годился на эту роль. Его просторечие, «простецкий» облик вызывали отрицательные эмоции: «Он мужик так ничего был, но болтун, трепач он был. Хвалился, моря дарил японцам, что ли, или ук-

раинцам» (Заринский район, 1999 г.). Можно сказать, что манеры Хрущева не вписывались в народные представления о Вожде, что повлияло и на отношение к нему. Вместе с тем следствием манеры поведения Хрущева стало признание послаблений в личной и общественной жизни: «Больше свободы стало»;. «при нем много отдыхали»; «Хрущев — он и счас, наверное, есть. Знали, что Хрущев, но не знали, живой ли он. Хрущева тоже одобряли, что-то наверное хорошего делал» (Заринский район, 1999 г.). Смелость высказываний в адрес самого Хрущева является своеобразным результатом его политики («оттепели») и показывает изменение политического сознания сельских жителей. В этом смысле устные свидетельства являются важнейшими источниками по выявлению переломного этапа в отношении сельского населения к верховной власти. Это проявляется в характере рассказов про Сталина и про Хрущева. Если в отношении первого информанты до сих пор проявляют сдержанность и осторожность в оценках: его образ более мифологизирован и соответствует народному представлению о лидере (его недоступность, его «нечеловечность», сакральность, отличие от простого человека), то при характеристики второго они не боятся шутить, насмешничать, применять крепкие выражения. В этом смысле в образах Ленина и Сталина прослеживается сакрализация, с Хрущева начинается десакрализация. В определенной степени этому способствовала и формируемая в после хрущевский период официальная оценка его жизни и деятельности.

В этом плане устные источники особенно важны для исследований, так как содержат материал по социально-психологическим установкам низших страт советского общества. В них нащупывается богатейший пласт коллективных ценностей, традиций, представлений и практических действий, которые в совокупности представляют собой как индивидуальный, так и социально-детерменированный менталитет. Как заметил А. Я. Гуревич, «без учета этого слоя общественного сознания нельзя понять ни содержания и реального воздействия идей на человеческие умы, ни поведения людей, группового или индивидуального» [25, с. 132]. Материал о политическом менталитете, его изменении содержится в рассказах об эпохе Л. И. Брежнева. Во многом качественность этих источников для исследования ментальностей определяется отсутствием экстремальных условий, которые в предыдущий период так или иначе корректировали социальное поведение людей, влияли на их мысли и чувства. Об этом говорит возрождение патерналистских настроений, проявление устойчивой связи всех успехов и провалов в политике с личностью и деятельностью первого человека государства.

С Л. И. Брежневым и периодом его правления сельское население связывает значительное улучшение жизни в селе. «Жить хорошо стали, день-

ги стали давать на трудодни — это при Брежневе. Жизнь наладилась, жить в колхозах неплохо стали. Брежнева одобряли, он 19 лет проработал — мы научились хлеб исть» (Заринский район, 1999 г.).

Сбор оценок крестьян важен еще и как народная история, альтернативная сложившейся в последнее время современной новейшей истории, содержащая неадекватные и поверхностные оценки деятельности Л. И. Брежнева, издевки и насмешки. По сути, представители современной интеллектуальной элиты, чьи взгляды выражают ангажированные публицисты, СМИ, стремящиеся к сенсации, некоторые работающие на заказ историки, определили параметры характеристики «эпохи застоя» и тем самым, как и в советское время, монополизировали право на оценку Л. И. Брежнева и интерпретацию его роли. Вследствие этого сложилась традиция освещения его эпохи преимущественно с точки зрения лишь представителей советской элиты, которая монополизировала содержание образования и способствовала неглубокому поверхностному изучению личности и эпохи Л. И. Брежнева. Поэтому и важно историкам зафиксировать информацию, идущую от «безмолствующего большинства» — широких слоев населения деревни — и наряду с традиционно доступной официальной информацией уловить, услышать и другие оценки — оценки «снизу», содержащие реальные результаты брежневского периода. Например, «а Брежнев попивал, ну и людям. Люди жили. Зарплату вовремя давал — все. Начали крестьяне. Тут зажили. При Брежневе-то мы пожили… хорошо. Ты знаешь, как строительство открыли, все дома стали строить, машины покупать, в костюмчиках стали ходить. Застойное время — это такая предположительность?! Знаешь, что много болтунов. Но главное — дело было. Застой — все. А то все государство, все растащили, разбазарили! Вот представьте себе в данное время при Брежневе. Мясо было по 4 рубля, трактор — тыщи четыре. Колхоз 10 коров сдаст — трактор. Начиная с брежневых времен все крестьянину давали — хлеб, смотря какой председатель был. У нас вот Мишка был, и колхозники у него работали, и все время план выполняли» (Заринский район, 1999 г.). Или другое рассуждение-оценка: «Период Брежнева, люди говорят, был периодом застоя. Он тоже на готовом, все, что Сталин приобрел. Они маленько держались, ну все-таки и работали, а сейчас довели, не знаю, что дальше будет, как эта молодежь будет управлять и как вами будет управлять» (Заринский район, 1999 г.).

В определенной степени это можно связать с отсутствием резких или радикальных преобразований в эпоху Брежнева. В воспоминаниях правление Брежнева представляется как динамичный процесс развития деревни, сопровождавшийся непрерывным улучшением материальных и социокультурных условий жизни. В большинстве устных свидетельств, одоб-

ряющих Брежнева и его политику, информанты с ностальгией вспоминают о времени его правления. «Я бы сто очков фору дал, чтобы у нас был Брежнев сейчас. Брежнев Леонид Ильич. Были другие времена. Бардака такого не было, как сейчас, чтобы в институт поступить, деньги не платили. Был порядок. И уценки были, и талоны, правда, были. Но люди как-то жили лучше» (Зональный район, 2002 г.). В данном случае устный историк предоставляет возможность порассуждать об осознанности, неосознанности или неполной осознанности как признаков ментальности. Информант в данном случае неосознанно показывает такую черту советской ментальности, как «инфантильность» и «потребительское» отношение, сформированные государством, полную зависимость от государства, доверие к нему и упование на него. Эти черты ментальности отражали и модель социального поведения в советское время. Устные источники являются необходимым материалом по изучению советского образа жизни, поведения, установок и отношения к миру. В этом смысле устные источники, отражая способы восприятия происходящего, манеру чувствовать и мыслить, помогают раскрыть то, о чем изучаемая эпоха вовсе не хотела и не собиралась сообщать потомкам через письменные источники. Устные свидетельства являются невольными посланиями, не отфильтрованными и не процензуренными в умах тех, кто рассказывает и рассуждает. Как определил А. Ф. Гуревич, «в них эпоха как бы помимо своей собственной воли „проговаривается“ о самой себе, о своих секретах. В этой особенности метальности заключена огромная ее познавательная ценность. На этом уровне удается расслышать такое, о чем нельзя узнать на уровне сознательных высказываний» [24, с. 115].

В целом в оценках Хрущева, Брежнева и других поздних советских лидеров советской страны закрепилась тенденция политизации потестарного мировоззрения крестьян. Они преодолели в своем сознании барьер «святости», «непогрешимости» верховной власти. Модернизация их мировоззрения не только освободила их от идеализации вождей народа, но и сформировала критический настрой по отношению к ним. Накопление негативных оценок немало способствовало тому, что в период перестройки и постсоветский период основная масса сельского населения отказалась от всего, что символизировало «социализм» и «советскость», в том числе и ассоциировалось с образом советских верховных правителей. Вместе с тем анализ народных оценок советских партийных лидеров показал определенную долю самостоятельности в обобщении прошлого сельской частью российского общества. Несмотря на мощные информационные каналы, транслирующие определенные стереотипы Сталина, Брежнева, толкование сельских информантов базируется на собственном опыте, и в своих интервью они заочно вступают в дискуссию с авторами стереотипов.

При этом на современном этапе увеличивается разрыв между оценками рядовых сельчан и интеллигенции. Все больше проявляется протестное настроение, когда очевидцы прошлого не только высказывают несогласие с навязываемыми через СМИ образами, но и в целом неодобрительно относятся к попранию советского прошлого. И в ходе этого протестного поведения против замалчивания или искажения позитивных преобразований того или иного лидера забываются или упускаются те издержки власти, о которых объективно говорят критики прошлого. Такая ситуация в обществе небезопасна для перспектив его развития, в чем необходимо разбираться и политологам, и историкам, и философам, и культурологам.

А оценки колхозно-совхозным крестьянством партийно-советских лидеров предоставляют возможность анализировать «историю взаимоотношений крестьянского общества и власти» в советский период и выделить это направление исследований в самостоятельный аспект исторической антропологии, для которой устные источники необходимы и позволяют сопоставлять общественную жизнь и общественные настроения людей, их ценности, психологию, отношение к жизни в советскую эпоху и на современном этапе. Введение пестрой палитры устных свидетельств «безгласного большинства» в исследовательскую сферу позволяет выявить внутренние глубинные механизмы взаимоотношений общества и власти. Демонстрируемая современной отечественной историографией установка на научность и объективность требует изучения динамики системы ценностей представителей разных социальных групп через их интерпретации и толкования. Отказ от идеологических клише советской историографии, опиравшейся на тенденциозный отбор источников, и замена их под влиянием новой политической конъюнктуры новыми клише с новым набором источников является большим соблазном для современных исследователей. Перед каждым исследователем стоит выбор между научной достоверностью и утрированием, а в отдельных случаях — деформацией исторических знаний и очередной ревизией источников. Создание фондов устной истории является важнейшей предпосылкой для панорамного видения истории. Отражение в устных исторических источниках нюансов взаимоотношений, субъективизма оценок в освещении событий представляет для историка самостоятельную ценность. Однако работа с устными источниками требует от историков особого мастерства, отказа от «иллюстративного метода» в источниковой оснащенности устноисторических исследований. Именно в устных источниках путем сложной реконструкции можно выявить мотивацию массового поведения и действий рядовых участников советской истории в период многочисленных переустройств деревни.

5.3. Реорганизация деревни в 1950–1970-е годы: представления и суждения на «нижних этажах» сельского общества

История коллективной жизни человека на протяжении многих тысяч лет проходила в созданных им поселениях. Одни создавались в связи с производственной необходимостью, другие — с оборонительной. Многие существуют века, другие — десятки лет. Миграционные процессы и развитие сети сельских населенных пунктов, в том числе гибель одних и возникновение других, составляют часть исторического процесса. На разных этапах процессы развития сети сельских населенных пунктов определялись комплексом объективных и субъективных факторов. Доминирующее влияние последних (волюнтаризм, администрирование, идеологизация) особенно характерны для советской эпохи. В предыдущий период (до 1930-х гг.) формирование и развитие сельских населенных пунктов (число, формы) определялись производственной необходимостью и крестьянской традицией. За последующий советский период число сельских населенных пунктов Алтайского края сократилось в 3,6 раза: с 5800 в 1926 г. до 1 624 в 1989 и 1 611 — в 1991 г. К 1989 г. произошла перегруппировка населения между городом и деревней. В 1926 г. в селах проживало 92,2% населения, в городах — 7,8%, а в 1989 г. — соответственно 57,9% и 42,1%. Переломным периодом в демографической переориентации являлись 1950–1970-е гг. связанные с очередным переустройством российской деревни. Если в 1939 г. сельское население составляло 82,6%, городское — 17,4%, то в 1959 г. (после первого этапа укрупнения колхозов) сельское население сократилось до 66,6%, в 1970 г. (после кампании ликвидации неперспективных сел) — до 52,8%. А в 1975 г. численность городского населения края впервые превысила численность сельского и составила 50,5%, сельского — 49,5% [8].

Реорганизация деревни в 1950–1970-е гг. осуществлялась традиционным для советской практики путем — «кампаниями» и отличалась динамичностью. Ритмичность поступательного развития формировалась государственными усилиями по реформированию аграрного сектора советской экономики, в соответствии с которыми развитие села прошло в послевоенное время ряд этапов, каждый из которых начинался с новой директивы партии и правительства: укрупнение колхозов и ликвидация неперспективных сел. В советской и постсоветской историографии развитие села и история советского крестьянства на этих этапах получили достаточно развернутую характеристику как на всесоюзном, так и на региональном уровнях.

Представляет интерес сравнение оценок реализации этих реформ «сверху» (официальная советская история) и их интерпретации «снизу» (устная народная история).

5.3.1. Укрупнение колхозов: история снизу вверх

Методы устной истории выявляют повторяющиеся формы человеческих взаимодействий как результат многофакторности развития: с одной стороны — государственной политики, идеологии, с другой стороны — ментальности, мировоззрения рядовых участников, их отношения к преобразованиям. Анализ нормативных актов показывает устремления государства, декларируемые методы и пути преобразований. Устные источники содержат их толкование в народной среде, отражают реалии, которые отличались от заявленных государством способов. Объективность народной интерпретации подтверждают массовость и однотипность оценок сельчан в разных регионах Алтайского края. Народные интерпретации государственной политики в алтайской деревне в 1950–1960-е гг. расходятся в деталях, повторяясь в общем. Для устноисторической практики ценность представляют как субъективные оценки (детали), так и типичные характеристики (общее). Первые представляют большой интерес для специалистов разных исторических направлений (гендерная история, историческая психология, история ментальности), а также представителей других гуманитарных и социальных наук (этнографов, лингвистов, культурологов, этнопсихологов, этнопедагогов и т. д.). Выявление общего традиционно является целью исследователей многих исторических и социальных наук, таких как политология, история, социология, теология и др. в силу востребованности их результатов практиками, современными политиками.

Послевоенные преобразования алтайской деревни начались с укрупнения колхозов в 1950-е гг. — слияния мелких колхозов в крупные через концентрацию производственной базы на центральных усадьбах. Для государства на первом этапе причинами переустройства алтайской деревни стали поиски средств укрепления экономики разрушенных войной колхозов (концентрация малосильного производства в колхозном секторе за счет объединения нескольких хозяйств в одно), решение кадровой проблемы (низкая профессиональная подготовка управленцев), эффективное внедрение новой техники и т. д. [9]. Практически новая политика предложила механический путь решения проблем сельского хозяйства и села: слить мелкие колхозы в крупные, объединить технику, рабочую силу, семенной фонд, земли, скот. Такой путь в финансовом отношении был менее затратен, чем распыление средств на тысячи мелких сел. Он имел и политическую подоплеку — укрупнение хозяйств как продолжение процесса коллективизации по пути превращения коллективных сельских хозяйств в подобие промышленных комплексов с последующей централизацией власти. В ходе очередной кампании собственно деревни как населенные пункты не являлись объектом заботы. За основу брались производственные показатели коллективных хозяйств в них, без научного прогнози-

рования развития собственно сети населенных пунктов. Статистические показатели развития и реорганизации колхозов в 1950-е гг. достаточно полно отложились в государственных архивах. Они показывают, что процесс укрупнения вылился в соревнование региональных партийных организаций и администраций за высокую степень обобществления колхозного производства: с 1 января по 15 июля в Алтайском крае из 4 220 сельхозартелей было объединено 1 149, из которых организовано 485 колхозов. Всего к концу пятой пятилетки в крае вместо 4 220 мелких колхозов появилось 1 215 крупных коллективных хозяйств [10, с. 124]. Перегибы на местах вынудили частично заняться разукрупнением. К декабрю 1950 г. на Алтае были разукрупнены 32 колхоза-гиганта.

Второй этап укрупнения планировался в 1958–1960 гг. Реализация новой директивы была перевыполнена за год. Слабые колхозы не рассчитали финансовые возможности в закупке техники. Это отрицательно сказалось на их экономике (затратили не только средства неделимого фонда, но и часть оборотных средств). Многие из них прекратили самостоятельное существование. Началось стихийное сокращение сети населенных пунктов, переезд людей из отделений колхозов на центральные усадьбы и вообще из деревни, сформировался культурно-бытовой и материально-технический разрыв между центральными усадьбами и их отделениями.

Судьбы рядовых участников и последствия реформ для индивидуальной крестьянской семьи в официальных документах об укрупнении не фиксировались. В данном случае можно говорить о том значении устной истории, с которого она начиналась в США в 1940-е гг., — как отрасль архивного дела, т. е. восполнение нехватки источникового материала. Документально-источникового значения устной истории в отечественной практике придерживаются архивисты, музейщики. Об источниковом значении устной истории для исторической науки в последнее время много пишет московская исследовательница Д. Н. Хубова [11]. Акцент на документализме (развитие устной истории в 1930–1950-е гг. в США) нацеливал устную историю на «дополнение письменных источников», «заполнение лакун» в письменной документации, а устных историков — на сбор «материала для будущего его использования другими исследователями» [12, с. 8]. В этом смысле индивидуальные «истории снизу вверх» («история безмолвствующего большинства») по реорганизации колхозов и других сельских населенных пунктов имеют источниковое значение, в том числе для конкретно-исторической реконструкции, например для восстановления поселенческой структуры районов края: реконструкция всей сети населенных пунктов с микросистемами до массовой реорганизации.

В качестве конкретно-документального назначения устного исторического источника можно рассматривать интерпретацию Е. Г. Горюновой

(Малые Бутырки, Мамонтовский район) укрупнения колхозов на территории Мамонтовского района: «Соединили Михайловку. У нас было два колхоза в деревне — Орлы и Красные Орлы. Сначала их соединили, потом соседний Курган и Михайловку. Все в один колхоз сделали. Ну и стали разъезжаться. Была Березовка, Вознесенка, потом еще Север [самостоятельное поселение как отделение колхоза]. Нет там ничего [ничего не осталось от последнией]. А вот там Покров, там были… Ключики, Махаиха — села. Сейчас их нет. Все поразорили». На основе этого рассказа воссоздается и картографируется сеть исчезнувших сел. На сегодняшний день последствия преобразований по укрупнению колхозов для состояния и развития поселенческой инфраструктуры всего Алтая изучены слабо. В данном случае при использовании устных исторических источников можно говорить о традиционных ожиданиях историков — восстановлении фактологической информации, которой недостает в архивных письменных источниках: сравнительное хронологическое картографирование поселковой сети в 1940–1980-е гг., динамика ее развития, выявление степени социально-экономической освоенности территории Алтайского края, создание каталогов и картотек исчезнувших населенных пунктов.

Нельзя сказать, что историками не предпринимаются попытки реконструировать сеть населенных пунктов. Интересные результаты получают научные коллективы при использовании информационных технологий для обработки статистических источников, в том числе переписей, и создании компьютерных схем расселения. Однако историческая информатика, как и другие направления исторических исследований, опирающиеся на количественные методы и массовые источники, допускает неточности в картографировании, отличается схематизмом реконструкции сети населенных пунктов (от переписи к переписи), являющимся следствием несовершенства и неполноты письменных источников, в том числе переписей. В отличие от компьютерных порайонных карт-схем населенных пунктов, созданных на основе статданных, карты-схемы, составленные на основе устной информации жителей районов, отражают динамизм развития сети постоянных и сезонных населенных пунктов, их производственную обусловленность, в том числе географическими условиями, содержат подворную характеристику, планировку, застройку, расположение и привязку к местности, сведения об укладе и образе жизни населения, особенности функционирования малых коллективов, жизнь последних жителей и т. д. Работа по реконструкции разновременной сети населенных пунктов на основе опроса и интервьюирования с подробной информацией о них может быть выполнена сегодня не только историками-исследователями, но и краеведами, учителями, школьниками.

Место исчезнувшего поселка Марчиха (Бийский район). Фото 2003 г.

Анализ устных исторических источников позволяет предположить, что в производстве колхозно-совхозной экономики в 1930–1950-е гг. приходилось иметь дело со сложившейся в первые десятилетия XX в. поселенческой структурой, которую на Алтае даже после коллективизации отличало более или менее равномерное распределение населенных пунктов по территории Алтая. При этом частая поселковая сеть колхозных и совхозных микросистем сочетала малодворные и многодворные, сезонные производственные и постоянные поселения. Это сглаживало такие объективные негативные условия проживания в деревне, как разбросанность и оторванность друг от друга отдельных населенных пунктов, отсутствие транспортного сообщения между поселениями, плохие сельские дороги, отсутствие техники, информационно-коммуникативных связей и т. д.

В то же время в ходе послевоенной модернизации поселенческой инфраструктуры была проведена перегруппировка населенных пунктов с уменьшением их численности. С помощью устных рассказов старожилов можно восстановить изменения в территориальном расселении на всех послевоенных этапах (с 1950 г.), каждый из которых (с 1958, с 1960 г.) сопровождался гибелью поселений. Устные источники могут использоваться для картографирования исчезнувших сел: сначала (на микроуровне) центральная усадьба с относящимися к ней селами или территориями сельских советов (администраций); затем (на макроуровне) — район и край. К. Ф. Томилова в своем интервью назвала несколько сел вокруг Крестьянки Мамон-

Место исчезнувшего села Зорниково (Кытмановский район). Темная линия на склоне — поскотина. Фото 2001 г.

товского района: «И вот стали соединять колхозы. Крестьянка — это вообще село хорошее было, оно *справедливое, трудолюбивое* [обида за свои «перетащенные» в Крестьянку села не уничтожили чувство справедливости. По мнению информанта, сама Крестьянка не виновата]. А потом как начали… в той стороне Мироновка была, как сюда посогнали, начали эти дома двухэтажные строить. Вот Харьковка наша, еще Сыропятово… все сюда согнали. А Харьковка и Сыропятовка только построились…». Ее сведения дополняют другие информанты. В результате реконструируется вся сеть сезонных и постоянных малодворных и многодворных селений. Как правило, конкретная историческая информация сельчан является достаточно полной, с локализацией населенных пунктов на местности, схемой распложения улиц и усадеб, пофамильным перечислением дворов.

На территории Алтайского района, по данным полевых исследований, был разрушен целый ряд сел, информация о которых лишь отрывочно представлена в официальных статистических отчетах в силу краткости истории их существования (1920–1950-е гг.): Верх-Айченок, Каим, Щебенистый, Верх-Комар, Маралье, Сосновка, Светлый Луч, Дресвянка, Кыркыла, Шубинка, Верх-Каменка, Горный Партизан, Новопокровка, Сорокино, Усть-Широкий, Советский Самолет, Красный Октябрь, 20 лет Октября, Ждановка, Ильинский, Усть-Кыркыла, Нижне-Булухта, Троицкий, Николаевка, Погорелка, Светленький, Сумной, Малая Кыркыла, Пихтовый и др. Дополнение устноисторических исследований картографированием и анализом статданных формирует полую фактологическую источниковую базу и представляет исследователю эмпирический материал. Таким образом,

конкретно-исторический (краеведческий) результат устноисторических исследований в источниковом русле (документоведение) состоит в восстановлении географического размещения поселенческой инфраструктуры, включая сезонные, производственные, временные формы освоения территории на уровне разных административно-территориальных единиц: край, район, сельский совет (сельская администрация).

Массовое укрупнение (слияние) колхозов привело не только к количественному сокращению населенных пунктов, но и к их унификации. Послевоенная поселенческая сельская инфраструктура Алтайского края, потеряв в 1930-е г. такие традиционные формы проживания крестьян, как хутора, выселки, заимки, односелья, приобрела новые советские производственно-жилые единицы, обслуживающие колхозно-кооперативный сектор экономики — МТС (машинно-тракторные станции) — обособленные от колхозов парки сельскохозяйственной техники, обслуживающие колхозные поля; «Заготскот» — государственные пункты закупки-заготовки скота; «Заготзерно» — закупка (сдача) зерна, опытные станции — государственные научно-исследовательские селекционные учреждения, МТФ — молочно-товарные фермы, культстаны колхозов, отраслевые совхозы: льносовхозы, свеклосовхозы, зерносовхозы, племсовхозы и т. п. На их усадьбах в 1930–1950-е гг. сформировались жилые секторы. Многие из этих поселений оказались недолговечными. В ходе реорганизации колхозов производственная база обслуживающая их поселения реформировалась, что привело к исчезновению многих советских населенных пунктов. Например, реорганизация МТС и перераспределение техники между колхозами путем ее приобретения привела к ликвидации поселков при МТС, образовавшихся вследствие перевода в 1953 г. механизаторов на положение штатных работников МТС и развернувшегося повсеместного переселения механизаторов с семьями на те усадьбы МТС, которые создавались не на базе существоваших населенных пунктов, а с выносом их из жилого сектора на свободные земли. Фактически на территории каждого района существовали населенные пункты под названием «МТС» [13]. Лишь часть созданных при МТС населенных пунктов сохранилась, трансформировавшись в колхозно-кооперативные или совхозные хозяйства. Ярким примером является история пос. Мирный Зонального района, который возник путем преобразования Чемровской МТС в поселок Мирный. А вот поселок МТС Буланихинского сельского совета этого же района был ликвидирован.

Конкретно-историческая информация устных источников, как и письменных, может проверяться, сопоставляться, сравниваться, дополняться. Это традиционная для историков работа с документальным материалом. А вот с эмпирическим материалом устных источников еще не научились работать, тогда как именно эмпирика отличает документальные устные

источники от письменных (архивных) и позволяет представить события изнутри (из народа, из «массы»). «Взгляд изнутри» или «голоса снизу» показывают, что скрывалось за цифрами показателей укрупнения колхозов, за цитатами отчетов, за лозунгами директив. В устных историях можно найти ответы на вопросы: ч т о представлял собой процесс укрупнения на нижних этажах общества; к а к проводилось укрупнение на местах; ч е м закончился процесс укрупнения сельского общества или крестьянской семьи; н а с к о л ь к о он изменил жизнь человека; к а к о в а судьба человека в период кардинальных государственных преобразований? Основанные на жизненном опыте устные ответы необходимо сопоставлять с оценками официальной или академической истории, основанной на других источниках. Например, адекватность государственной политики реальному состоянию послевоенной деревни, согласованность административных усилий с колхозным самоуправлением, совпадение устремлений партийно-государственной номенклатуры с интересами сельских жителей и т. п.

Рассмотрим попытку анализа эмпирического материала из устного рассказа представителя «безгласного большинства» Я. Ф. Серебрянникова, который рассказывает о своем участии в решении судьбы колхозов с. Куяча: «Мы как раз [были] на Большой Заимке [село], пилили тес, а Терентий Прокопович возил тес. Вот он как-то приезжает и говорит: „Велели ехать на собрание“. — „На какое?“ — „Да вот хотят колхозы сливать. „Партизан“ с „Красным знаменем“ [оба располагались в с. Куяча]. Мы говорим, что не поедем, *зря время терять* [отрывали от работы], а *внесем предложение,* чтобы в один все колхозы слить. *Земля-то вся куячинская будет* [а не разделенная на два колхоза, из-за чего все население также поделили на две группы], *одного хозяина* [сопоставление с единоличным хозяйствованием]. А то *опять недовольство* будет [воспоминание о земельных спорах в период разделения земли между колхозами]. „14-й октябрь“, он вот здесь, в середине, колхоз[1]. Все поля, все пашенные земли — за ним. А они не успевают ее обрабатывать, а у нас нету земли — на щебнях да на камнях. Согры. А у „Парижа“ — там тоже только согры, да осока растет. Уехал Терентий. И говорю Першину: „Тимофей, надо *отдохнуть* [т. е. сделать перерыв в работе и съездить]. *Причина уважительная*[2], собрание... Ну приехали, а один мужик идет и говорит: «Мы уже кончили собрание, а вы только идете. Колхозы-то все в один *сплели* [объединили]. Председателем Варнавский будет».

Анализ этого отрывка показывает, что для рядовых колхозников — бывших крестьян целесообразность слияния колхозов виделась в объеди-

[1] Лучшие сельхозугодья достались этому колхозу после наделения колхозов землей в период колхозного землеустройства.

[2] Колхозная дисциплина была жесткой, норма выработок учитывалась при годовой оплате, поэтому без причин колхозники старались не отрываться от дела.

нении сельхозугодий, которые были разделены между колхозами одного села (Куяча) в период землеустройства. Данное суждение совпадало с аргументами политических директив о концентрации средств производства, которые выдвигались представителями власти на колхозных собраниях. Пропустивший собрание Я. Ф. Серебрянников выразил то, что было адекватно общественному настроению. Оно показывает, что в целом возражений или неприятия предлагаемого слияния колхозов не существовало, прежде всего в том случае, когда колхозы располагались в одном селе. Крестьяне действительно видели основания для реформирования нескольких колхозов в одном селе. Значение агитпроповской аргументации в формировании отношения крестьян к реорганизации деревни показывает отрывок интервью А. П. Грищенко из Третьковского района: «По укрупнению что я могу сказать? Многие села погибли из-за него. Помню партийное собрание в 65-м[1]. Были из райкома люди. Выступали, говорили, мол, маленькие села, неперспективные. Их нужно соединять с крепкими, сильными хозяйствами. До многих сел были очень плохие дороги. Вот, например, до Вакулихи, Чеканово весной, осенью, после дождей вообще не доехать». Вместе с тем голоса очевидцев показывают отстранение самих колхозников от принятия решения.

Темпы реализации и использование административного ресурса (колхозное собрание проводилось наспех, без сбора всех его членов) не способствовало участию колхозников в обсуждении и принятии решений. В поведении колхозников, как видно из интервью с Я. Ф. Серебрянниковым, отразилось и недоверие к колхозному самоуправлению, его способности самостоятельно решать вопросы в интересах сельского общества. Колхозники голосовали за предлагаемый сверху вариант слияния, в частности за объединение нескольких колхозов «Партизан», «Красное знамя», «Париж» в одном селе Куяча. В устных интерпретациях укрупнения колхозов отражается реальное состояние колхозной демократии и отчуждение крестьян от решения вопросов.

Совсем иные мнения колхозников, как показывают «голоса снизу», существовали при слиянии колхозов, созданных в малых селах, в каждом из которых, как правило, был свой колхоз, как это произошло, по свидетельству жителя с. Филелеев Лог Д. Н. Агапова, с колхозами небольших горных сел в Алтайском районе: «В 1948 году слились пять колхозов: „Красная пашня“ (Верх-Каменка), „Буденный“ (Сорокино), „Новый путь“ (Лежаново), „Красная заря“ (Филелеев Лог). А потом слили нас в 1953 году с „Мичуриным“, а потом с Пролетарской [с. Пролетарское] сливали, а потом разли-

[1] Хронологическая неточность информанта, но она отражает общую тенденцию реформирования деревни: и слияние колхозов, и ликвидация неперспективных сел вели к укрупнению.

ли» (Агапов Д. Н.). Если в первом случае (объединение колхозов одного села) сельское общество выигрывало, то во втором случае, при объединении колхозов нескольких малодворных населенных пунктов, население укрупняемых колхозов-сел, по оценкам их жителей, оказывалось в невыгодных условиях. Жительница села, исчезнувшего в результате слияния колхозов, М. М. Раченкова так сформулировала распространенную в интервью позицию респондентов: «Когда Хрущев пришел, укрупнение началось. Наш поселок маленький был [речь идет о Поручиково Третьяковского района], а жил хорошо. А потом то с Плоским нас сольют, то с Крючками, а то с Михайловкой два раза сливали. Люди разъезжались…».

Людей возмущало улучшение материально-технической и культурно-бытовой базы центральной усадьбы одного села за счет малых сел-колхозов, для которых это означало их разорение, а затем гибель. Отсюда и две полярные позиции респондентов — от одобрения политики укрупнения колхозов жителями центральных усадеб, которые со стороны наблюдали за процессом присоединения маломощных хозяйств и выигрывали от укрепления производственной базы, до обвинения власти в «разграблении», «растаскивании», «уничтожении» малых сел жителями, чьи села-колхозы попали под укрупнение, которые оказались «жертвами» и непосредственно на себе испытали неорганизованность процессов переселений, отсутствие помощи со стороны государства, грубое вмешательство в жизнь семьи. Как сказала Д. П. Шмакова, «колхоз-то стали разгонять „Соцмаяк“ (Усть-Калманский район), уже и магазин убрали, и школу убрали, и стали уже вообще колхоз разгонять. Уже тут стали разгонять колхозы… соединять, разъединять, с Мировым, с Огнями. *Тут пыркали, пыркали; гоняли, гоняли по этим… уже стали из колхоза угонять… И так мы и жили, пока нас не разогнали… сначала соединили* с Огнями, передали документы в Огни… *потом разъединили,* потом в „Мировой“ нас *перебросили жить, начальства нету, магазин убрали, школу убрали. А учить-то детей надо*».

Старожилы укрупненных колхозов, а позже исчезнувших сел воспроизводят одни и те же ситуации, которые создавались в результате объединения сел-колхозов. Вокруг с. Шипунихи Третьяковского района располагалось несколько сел со своими колхозами, которые исчезли, как показывает интервью с А. Ф. Елизаровой (с. Шипуниха), в результате укрупнения колхозов: «Исчезли вокруг нас Новопутинка, Кураевка, Ключи, Петровск, Чесноки, Семеновка, тоже то откроют их, то закроют. В Семеновке рудник был, свинец там добывали и в Змеиногорск возили. В школу из этих поселков ходило немного, из Раздолья человек 6, но в этих селах были свои начальные школы, в основном однокомплектные… Сначала в Шипунихе было три колхоза — „Кагановича“ и др., в Ивановке был колхоз, в Семеновке. А потом их объединили в колхоз „Кагановича“, а потом сделали колхоз „40

лет Октября“... Из этих сел уезжали в основном в Усть-Каменогроск. Сюда из этих сел никто не переехал... В Раздолье остались только люди пожилого возраста, сейчас там держат овечек...».

В ходе укрупнения колхозов сформировались миграционные настроения. Жизненные истории воссоздают условия и факторы их вызревания, появления устойчивого стремления покинуть село после соединения колхозов малых деревень с центральной усадьбой. Из интервью в интервью повторяются фразы: «снабжение стало плохое», «скот угнали», «нечем было заняться», «школу закрыли». В рассказах меняются только названия сел, чьи колхозы укрупнили, соединив с колхозами соседних сел: «Черновая нас обидела, скот забрала», «погнали дойных коров в Ульяновку», «Сосновка могла бы и сейчас жить, если бы скота не убрали», в Поручиково «скот угнали оттуда, школу убрали, и мы разъехались... свои дома за бесценок отдавали» (А. П. Теплухин).

Сопоставление устных источников, в которых отражаются настроения колхозников-мигрантов в период до и после укрупнения колхозов, показывает, что начавшийся в 1950-е гг. отток сельского населения был спровоцирован реорганизацией колхозов, повлекшей за собой реорганизацию сети сельских поселений. Для колхозников стало проще порвать с крестьянским образом жизни в момент вынужденного переезда. Так, на территории Смоленского района записаны последствия укрупнения колхозов для сел Устауриха, Сосновка, Осиновка, Искра. Все они имели небольшие производственные коллективы, так как располагались в горах и специализировались на животноводстве и промышленном артельном производстве. Их объединили со степными земледельческими селами. Например, Устауриху «как с Ульяновкой слили, так скот угнали, и люди стали спускаться». А. Ф. Тырышкина вспоминает: «Как погнали дойных коров в Ульяновку, мы с напарницей не отстали: „Пойдем за коровами!“ И перебрались в Ульяновку. В Устаурихе еще после нас многие жили. А потом спустились. А до войны в деревне было до 50 дворов. Жили Путилины, Сухинины, Тырышкины, Воробьевы, Казанцевы, Чернышевы, Абалихины, Уймовы». Основой их экономики было мясное скотоводство, «дойных-то коров не держали, потому что молоко по камням не довезешь». Поэтому слияние колхозных стад лишило их работы. Вслед за ликвидацией скота в Устаурихе разрушили и оставшуюся производственную социальную базу — промартель, начальную школу, ФАП. По такой же схеме произошло слияние-разрушение и соседней Осиновки, в которой было до 25 дворов, школа, ФАП.

Устные свидетельства воспроизводят обиду за свои села. Усиливает чувство несправедливости и обиды жителей исчезнувших сел осознание положительных сдвигов в послевоенной деревне, являвшихся результатом самоотверженного труда крестьян по подъему сельского хозяйства,

разрушенного войной. Этот клубок чувств и настроений колхозников адекватно отражен в интервью И. В. Первутинского: «Вроде поднялись, тут пошло укрупнение. Стали мелкие поселки убирать в один колхоз. Некоторые переезжали в этот колхоз, а большинство разъехалось. Нас сначала с Раздольем соединили, а потом с Шипунихой укрупнили. Коней всех добрых в Шипуниху перевели. Никто нас не спрашивал. *Как укрупнение пошло, так вроде кто по рукам ударил. Весь поселок растащили.* Сперва магазин закрыли, через год школу. Все разъехались, в Шипуниху всего 7 семей переехало».

В результате объединение значительного числа мелких колхозов в один повлекло за собой ликвидацию самих населенных пунктов, а в ходе организационных мер произошла подмена такой формы колхозного самоуправления, как общие собрания колхозников, собрания уполномоченных, которые не отражали общего мнения, не могли отстаивать мнение своих односельчан, фактически превращалиьсь в формальные образования, с помощью которых государство проводило свою политику, сохранив внешнюю форму колхозного самоуправления.

5.3.2. Перевод колхозов в совхозы: социальные отношения в советской деревне — вызов устной истории

На горе колхоз,
Под горой совхоз,
А мне миленький
Задавал вопрос.

Задавал вопрос,
Сам смотрел в глаза:
Ты колхозница,
Тебя любить нельзя.

Что колхозница,
Не отрицаю я,
И любить тебя
Не собираюсь я.

Я пойду туда,
Где густая рожь,
И найду себе,
Кто на меня похож.

(Народная песня)

В 1950-е гг. формой поддержки аграрного сектора стал перевод маломощных колхозов (колхозно-кооперативная собственность) в совхозы (государственное финансирование). В отличие от колхозов совхозы давали рядовому труженику материальную выгоду — гарантированную зработ-

ную плату взамен, как говорят респонденты, колхозных «палочек» за трудодни и натурального расчета. Для бывших колхозников это означало переход в материально более обеспеченную группу с общегражданскими правами (денежная оплата труда, отпуска и т. д.). Устные исторические интервью являются незаменимыми источниками по социальным отношениям в советской деревне. Социальная история советского государства является одним из самых слабоизученных мест советской историографии.

В советской историографии акцент делался на успехах колхозно-совхозного строительства, а в социальной сфере — на тенденциях развития социально и этнически однородного советского общества — советского народа. Ангажированность проявлялась в политизированной и идеологизированной манере исторического повествования, в заданных параметрах формирования единого советского обществ. Декларирование всеобщего социального и национального равенства приводило на практике к формальному уравниванию разных социальных, национальных и этнических групп, прежде всего в официальной сфере: в выборах в органы власти всех уровней — от поселковых советов до Верховного Совета СССР (квоты во время выборов устанавливались для всех категорий с регулированием процентного соотношения: крестьянства, рабочих, интеллигенции, а внутри них — мужчин и женщин, возрастных групп, национально-этнических групп), в проведении официальных торжеств, в комплектовании руководящей и управляющей коммунистической партии и т. д. Жесткое регулирование преследовало целью соблюдение равенства и единых для всех групп и категорий гражданских прав. Таким образом, государство формально гарантировало заявленное равенство и социальную однородность. Однако между государственными формальными механизмами, нашедшими свое подтверждение в нормативно-законодательной и статистической источниковой базе государственных архивохранилищ, и неформальными механизмами, сложившимися на нижних этажах советского общества (вследствие той же государственной социально-экономической политики), существовала пропасть. Устная история отражает в первую очередь взаимоотношения между разными социальными группами внутри сельского общества, через традиции, общественно-семейные ценности, жизненные и трудовые установки, т. е. неформальные механизмы. Именно неформальные механизмы являлись важнейшей составляющей исторических процессов в советский период, играя роль катализатора взаимоотношений власти и общества. В этом отношении устные источники являются наиболее полной версией мнения «снизу», настроений на «нижних этажах» общества.

Исторические интервью показывают формирование значительной социальной дифференциации в сельском населении советского общества. В ее основе лежали иные по сравнению с доколхозным периодом факто-

ры, связанные с государственной социально-экономической политикой и идеологией. Происходило формирование социальных групп как в результате репрессивной политики советского государства (раскулаченные, депортированные, инакомыслящие и др.), так и через складывание их в производственных секторах социалистического производства, различавшихся формами социалистической собственности, с которыми были связаны труд и жизнь сельчан. Общество алтайской деревни состояло из неоднородных социальных групп, отличавшихся материальными возможностями и гражданскими правами. Это проявлялось в отсутствии паспортов у колхозников, в регулировании земельных наделов у сельских групп, в размерах государственных пайков, в существовании лиц с ограниченными правами («враги народа», жены и дети «врагов народа») и т. д.

Устные свидетельства показывают, что более стабильное материальное положение и социальные преимущества имели группы сельского общества, работавшие в государственном секторе, например жители сельских населенных пунктов, сформировавшихся вдоль железных дорог для их обслуживания, около вольфрамовых рудников, предприятий пищевой или лесной промышленности и т. д. Их привилегированное положение осознавалось современниками: «Престижнее было работать с лесом. В селе был леспромхоз — огромное предприятие. Было 30 МАЗов, возили из тайги… работало около 600 человек… Было три смены по 8 часов. Десятники, нормировщики… В Тогульском районе еще было 12 лесхозов… Работающие получали скидки, льготы на производимую продукцию (плахи, тес, штакетник). Очередь нужно было выждать для получения льгот. Зарплата деньгами…» (Г. Ф. Веснина).

Среди населенных пунктов, связанных с сельскохозяйственным производством, более привлекательной для населения оказалась государственная сеть отраслевых хозяйств — совхозов (советских хозяйств), создававшихся в 1920–1930-х гг. как для племенной или селекционной работы, так и для производства хлеба, молока, мяса (племсовхозы, откормсовхозы, зерносовхозы, МТФ, ОТФ, СТФ, опытные станции и др.), а также сельские населенные пункты, связанные с системой перерабатывающих предприятий (маслосырзаводы, льнозаводы), предприятий по изготовлению стройматериалов, заготовке гравия и песка, с цементным и кирпичным производством. Внутри сельского общества отличались своим социальным статусом работники системы образования, здравоохранения, соцкультбыта и т. д.

Особый интерес представляют сравнительные материалы исторических интервью, записанных от двух социальных групп сельского населения — колхозников и рабочих совхозов, сформировавшихся в двух секторах социалистической экономики: колхозно-кооперативном и совхозном. Устные источники показывают, что население государственного (совхоз-

ного) сельскохозяйственного производства было группой с более устойчивым положением. В отличие от колхозов, совхозы давали рядовому труженику материальную выгоду — гарантированную заработную плату. Особенно яркой аргументация является в интервью о послевоенных государственно-партийных кампаниях по переустройству деревни, прежде всего по слиянию колхозов с постепенным переводом их в совхозы. Жизненные истории показывают, что для бывших колхозников начавшийся перевод нерентабельных колхозов в совхозы в 1950–1960-е гг. означал переход в материально более обеспеченную группу с общегражданскими правами (денежная оплата труда, отпуска, социальные гарантии и т. д.).

Устноисторический материал об огосударствлении колхозов показывает, что «им [совхозам] завидовали». Материальное, техническое и финансовое положение совхозов было крепче. Во всех интервью, взятых у бывших колхозников, подчеркивается преимущество условий труда и жизни в финансируемых государством совхозах, благодаря чему формировался своеобразный раскол деревенского сектора на нищие колхозы и более финансово и технически обеспеченные совхозы, а деревенского общества — на колхозников и рабочих совхозов. Это способствовало формированию своеобразной социальной иерархии советского общества с ощущением превосходства на повседневном уровне у одних групп и приниженным положением других.

Эта дифференциация влияла на взаимоотношения населения разных населенных пунктов с разной формой хозяйствования (колхоз—совхоз). Эмпирический опыт колхозников отражает обиду на совхозы: «Совхоз был на Большой Заимке, Маркитанке и Белом. Грань между колхозом и совхозом шла по пасеке. *Че-нибудь купить — совхозу везут и машины и плуги, а колхозу — ничего.* У нас даже косилок не было. Колхозы считали за ерунду. *Издевались.* Сразу на Маркитанке [совхоз] поставили 2 двора скотских и на Заимке [совхоз] — 2 двора. Там работают на деньги, а здесь — бесплатно» (Я. Ф. Серебрянников).

Среди преимуществ жизни в совхозах колхозники выделяют самые значимые для них материальные выгоды — гарантированную плату и предоставление жилья. На совхозных усадьбах за счет государственного финансирования проводилось благоустройство. Так, в Куячонке после создания совхоза бывшим колхозникам стали предоставлять жилье: «Сначала жили по 3–4 семьи в доме. А потом, в 50-е годы, стали строить дома, и нам один дом построили. Только и жить бы. Это власть все сделала — разогнали все деревни. Люди так бы и жили». Массовый перевод колхозов в совхозы сопровождался улучшением материального положения сельского населения и вызвал формирование миграционных настроений, сначала из колхоза в совхоз, а затем из села в город. Многие колхозники стара-

лись переехать из колхозов в совхозы: «Уехали из Куягана в Куячонок, потому что в Куягане колхоз был, жили плохо. *А в Куячонке совхоз был, деньги давали и хлеб пекли*, пекарня была, а у нас денег не было» (А. Д. и М. И. Гурашкины). В Куячонок, по словам Я. Ф. Серебрянникова, стали уезжать и из соседней Куячи: «*Когда был совхоз* [в Куячонке], *так туда все лезли, в Куячонок. Многие даже бежали в совхоз.* Паспорта выдали только недавно, а так не было ни в совхозе, ни в колхозе. А если куда ехать, выдавали документы из сельского совета». П. Н. Гурова (Зональный район) так характеризует обозначившееся в крестьянской среде стремление переехать из колхозов в совхозы: «Мои родители из Буланихи сюда приехали (пос. Восход). Потому что здесь совхоз, отделение образовалось, и здесь совхоз. А там колхоз. И вот сюда, в совхоз, родители приехали, а дома побросали. А здесь землянку на горочке выкопали. Там [в колхозе] все как-то отбирали, а здесь деньги. И вроде *совхоз как деньги давал. За деньгами побежали сюда...*».

Рост совхозного производства и увеличение численности населения в селах с совхозным производством привели к появлению «копай-городов» — окраинных жилых районов с дерновыми жилищами. Опыт копай-городов был приобретен еще в 1930-е гг. при крупных стройках социалистической индустриализации, в послевоенных селах и в период массового совхозного строительства (1950–1960-е гг.). Об одном из копай-городов — в совхозе «Красный Партизан» Чарышского района, сформировавшемся около р. Чарыш, — очевидцы рассказали следующее: «Дети подросли, мужики с фронта вернулись. Строили землянки: резали пласты с землей, дети их носили на носилочках, взрослые укладывали. Между рядами хворостинку бросят для связки. Сразу окна и двери планировали. Дом двухкомнатный был. На потолок набирали какого придется материала. Сверху дерн укладывали с небольшим скатом на две стороны, чтобы стекало. Затем снаружи и изнутри мазали глиной, включая пол. Для проемов из какого придется материала делали косячки. Рядом с домом, вплотную, вырыли погреб, над ним такую же землянушку. На проход из нее в избу повесили занавесочку. Спали и на полу, и на печи, и на голбце. Телят и поросят зимой в дом заносили, толкали под голбец. Там же держали курей. В этом копай-городе и калмыки жили. Им поручили отары овец. Для прикорма скота на вертолетах привозили жмых (соевый, из подсолнечника). Везли по воздуху в виде больших кругов, под днищем вертолета. Его ели и люди. Отломят кусочек соевого жмыха, растеребят, зальют водой. Вертолеты сбрасывали с воздуха. Бывало, попадали и на крыши землянок. У нас так пришлось заделывать потолок и крышу землянки у бабушки. Ее построили в 1948 г. Простояла до 1955 г. Строили если всем миром, то за лето» (В. Ф. Хохлова).

Устные источники показывают, что модернизация колхозно-деревенского сектора проходила быстро: материальная заинтересованность толкала поколения советских крестьян в совхозы. Этому способствовал предшествующий опыт колхозной жизни. Особенно интересные оценки колхозов содержатся в высказываниях старшего поколения 1905–1915 г. р. — потомственных крестьян. Эмпирический опыт этой категории включал несколько моделей хозяйствования с изменением статуса крестьянина на протяжении их жизни: единоличник — колхозник — рабочий совхоза. В их интерпретации пробивается чувство оскорбленного достоинства. К ним относится интервью Я. Ф. Серебрянникова, 1905 г. р., выходца из крепкой старообрядческой (поморцы) семьи с. Куяча, вынужденного стать в 1930-е гг. колхозником: «Раз я кошу дома [в куячинском колхозе]. Приходят, говорят: надо пособить совхозу, сено убирать. Мы уже поставили стога. Уже хлеб убираем. Председатель дает указание бригадиру — отправьте машину в совхоз. Мне говорит: „Яков, поедешь в Куячонок [совхоз] помогать косить". — „Дак ведь хлеб [колхозный] надо убирать!" — „Хлеб — это ерунда. Надо помочь совхозу. Ехай. Вот неделю проработаешь [в совхозе], садись и ехай домой". — „А если отпускать не будут?" — „Не разговаривай". Приехал в Куячонок и говорю управляющему: „Приехал от колхоза вам помогать". — „Вон там косят Андрей с Ерофеем, с ними будешь косить за горой"... Неделю прокосил с ними... А они мне: „Не поедешь [домой], мы договоримся, ты еще будешь неделю". — „Уж когда договоритесь, а мне велено ехать. У нас хлеб стоит, убирать надо. Рабочих мало. Солома уже ломается, вязать-то как?" А осенью, когда Я. Ф. Серебрянников приехал за заработанными деньгами в совхозную контору, то оказалось, что в первую очередь расплачивались с рабочими совхозов: „А нету на тебя еще ничего". Как летом косил, так еще ничего и нету. Ну, потом забёг. Раза три я заходил. Так и ничего. Да и то уж последний раз поехали... Спрашиваю: есть наряд? — „Есть, Яков Федорович. Ты там-то косил, да? Обедал, ужинал. А мясо было, да? Тебе приходится 5 руб. 60 коп..." [вычли из зарплаты и выдали меньше, чем колхозник заработал]. До войны-то мы все в колхозе жили. Здесь их было 4, колхоза-то. А уж после войны перевели в совхоз».

Таким образом, сформировавшиеся в советский период социальные группы дистанцировались в повседневной жизни через производственные отношения. На самой нижней ступени советского деревенского общества стояли колхозники, хотя информанты, работавшие вне колхозов, обычно говорят и о некоторых преимуществах колхозного общества, которые им виделись в том, что колхозы «жили сами по себе», были «сами себе хозяева». Они должны были выполнять государственные задания, а все, что оставалось после сдачи зерна, молока, мяса, оставалось в хозяйстве и распределялось, в том числе на трудодни колхозникам, или продавалось

для приобретения техники. Сами они выбирали и колхозное правление, включая председателя. А совхозы управлялись назначаемым директором, им «спускали» государственные планы, регламентировали заработную плату и т. д. Но самостоятельность колхозов, в интерпретациях респондентов, при низком уровне материально-технической базы и финансовой беспомощности колхозов, без помощи государства, оборачивалась для колхозников нищим существованием, тогда как в совхозах издержки сельскохозяйственного производства в случае неурожая, неблагоприятного сезона и т. д. компенсировалась государством. Как вспоминают работники совхозов, если план перевыполняли, то рабочим совхозов выдавали премии, а если с планом не справлялись, то совхоз объявлялся убыточным, но на заработной плате это не отражалось. А колхозники жили «сами по себе», что проявлялось в «самообеспечении» колхозного общества «со своим правлением», и «они сами решали, что и когда сеять, но все равно им что-то доводилось [государством]» и «сколько у них останется [после сдачи государству], они рассчитывали колхозников и давали на трудодни». Но при слабой технической оснащенности и маломощности колхозного производства такая самостоятельность колхозов не способствовала росту жизненного уровня колхозников: «После войны отменили талончики и карточки. Если в войну их потеряешь, то не дадут… А в колхозе хлеб делили… В войну траву ели. После войны появились лошади. Голод был после войны… Все зерно забирало государство, а в колхозах оставались лишь семена. Голодные 1947–1948 гг. Люди голодовали. Неурожай пшеницы…» (Н. Якимович, с. Тогул). Таким образом, на бытовом уровне формировалось определенное противостояние между населением колхозов и совхозов соседних сел.

По мере советской модернизации сельскохозяйственного сектора экономики социальная дифференциация формировалась на повседневном уровне внутри сельских обществ. Например, устные свидетельства показывают, что «белой костью» на деревне были рабочие МТС — трактористы, комбайнеры, не говоря уже об инженерах. Как вспоминают колхозники, они «подолгу женихались», посещая все колхозные вечерки, были «завидными женихами» на деревне. Пренебрежительное отношение к колхозным конюхам, скотникам с их стороны определялось их социально-материальным превосходством. Социальное неравенство формировалось в ходе советской модернизации деревни вопреки декларируемым принципам социального равенства. Устные исторические источники показывают, что сформировавшаяся социально-статусная дистанция играла большую роль во взаимоотношениях сельского населения. Например, о сложных отношениях в быту и повседневной жизни между колхозниками и рабочими леспромхоза рассказывали респонденты в с. Топтушка Тогульского

Мост через р. Тогул в с. Тогул (Тогульский р-н). Фото 2006 г.

района из семей рабочих леспромхозов: «В селе был колхоз, а потом перевели из Женихово (в 1962 г.) лесхоз, потом леспромхоз. Мы детьми были. Отец в леспромхозе работал, зарплату получал. Так мы в кино идем и сразу пятак за вход отдаем, а колхозные дети сначала бегут в магазин, яички продадут, а потом только в кино идут. Им приходилось продавать яйца, молоко за деньги, чтобы куда-нибудь сходить». В этом отрывке отразилось превосходство членов семей работников леспромхозов, получавших заработную плату. Дальнейшее повествование рассказчика показывает, что для колхозников эта ситуация была болезненной, поэтому они формировали определенную систему защиты. Колхозники Топтушки также отвечали на создавшуюся ситуацию. Лесхозовцы жили в верхней части села, а колхозники — в нижней, около р. Коптелки, у запруды, которую они считали своей: «Мы на речку идем, пинков наполучаем. Били детей лесхозовских, когда те шли купаться на речку. А в магазин придем — пока колхозники не купят, нас не пускают. В конец [очереди] всех отправляют. А там уже покупать нечего. В последнюю очередь продавали даже самое необходимое. Зато когда мы свой орсовский магазин открыли с колбасой, то мы их не пускали. У нас продавали дефицитные товары — тушенка, колбаса, молоко. Они нас не любили. Мы когда сюда приехали, стали лес колхозу

Село Топтушка (Тогульский р-н). Фото 2006 г.

ограничивать. Раньше-то они сами себе хозяйничали в лесу. В отместку колхозники зажимали нас в покосах. Иногда приходилось уже в сентябре лесхозовским для своей скотины косить...» (А. П. Демаков).

Установлению неравенства разных социальных групп алтайской деревни способствовала и декларируемая государством регламентация земельных прав, норм трудовой выработки и оплаты труда при разных формах социалистической собственности. Свою обиду на колхозников имели и рабочие МТС. Сравнивая положение колхозников со своим, они говорят: «В МТС у рабочих норма: если у рабочих МТС комбайн — 12 гектаров убрать, если пашешь на тракторе — 6 или 8 га, в зависимости от гона [количество разворотов на поле: на маленьком — много, на большом — меньше, что сказывалось на трудозатратах]. Одна норма равнялась 5 трудодням. Но, в отличие от колхозников, нам давали 2 кг пшеницы и 50 коп. [колхозы расплачивались за работу МТС продукцией], а колхозникам — ничего. У них не было обязательного минимума, т. е. не нормировалось. И если колхоз все зерно сдал, то ничего не осталось, то и ничего не платили» (А. В. Фролов). В таких условиях, созданных государственной политикой, материальное положение колхозников было хуже, чем других категорий сельского населения. Т. А. Иушина (Тогул) вспоминает: «После войны были

налоги. Деньги мы не видели. В колхозе работали за хлеб. После войны совхозы стали, деньгами платили».

«Самостийность» и маломощность колхозов, высокая доля ручного труда способствовали тому, что работы в колхозном хозяйстве выполнялись всем взрослым населением, уравнивая и мужчин и женщин, пожилых и молодых. Как говорят информанты, «делали всё подряд», если посевная — все на поле, если сенокос — все на покосе и т. д. Н. И. Якимович вспоминает: «Три колхоза было в Тогуле, совхозов в то время не было. Заработной платы не было, а работали за трудодни, 1 трудодень — 1 руб. На него корму — кто-то больше, кто меньше. Женщины-трактористы работали в МТС. Получали копейки. Сеном могли дать за трудодни и деньгами. МТС отдельно от колхозов. Потом стали появляться трактора, а в основном — лошади. Все делали вручную. МТС не зависело от колхозов. Тракторы — своего хозяйства. Так же работали женщины. *Лучше было механизатору* [в МТС] — они знали свою работу. В МТС работать лучше — 10–70 руб. в месяц, а в колхозе — по полстакана меда… А там лучше. Каждого не брали [в МТС] трактористом — учились, работали. А в колхозе все работали, я не помню, какое у них образование. *Вся деревня работала в колхозе.* Совхозы появились после войны. *В них* [совхозах] *появилась техника, денежная плата туда, разделена работа, а в колхозе все подряд*».

Такая производственная ситуация в колхозном хозяйстве стирала гендерную дистанцию, уравнивая в производстве мужской и женский труд. Уравнение прав мужчин и женщин приводило к перекосу в трудовой сфере, уродовало природу женщин. Женщин в общей группе отправляли на обязательные лесозаготовки, сажали на трактора, превращали в чабанов и т. д. Интервью Т. А. Иушиной показывает, как меняется положение деревенской женщины в маломощных колхозах: «Колхозы начали появляться. Сено косили, заготавливали для скота. *Я всю мужскую работу знала.* Зимой мы по дорогам возили, а оглобля лопнет — я руками голыми запрягу. *Я запрягала лошадей.* Косили, скирдовали, молотили. Скирдовали снопы большие. Их укладывали в больше скирды, соединяли большими снопами и свершают, как крышу. Я, бывало, на бричке по полосам ездила и накладывала полную. Мою подружку убило — мотор разорвался. *Дома не знали*… как спят… зиму в тайге. Месяцами не мылись… Я училась на тракториста и комбайнера в Буланихе (Зональный район). Маленько работала. Техники было мало [в колхозе]. *ЧТЗ, я плугарила на нем*, один на весь колхоз. МТС в Антипино был. Горючее возили оттуда. Ездили вдвоем по две лошади. Летом в поле ночевали. Мне было 18 лет. *Мешки таскала тяжелые. Пахала, как мужик, и завсегда первая была. На стенке* [доске почета] *висела.* Пашешь, глаз не видно, одни зубы… Работали без выходных. С темна начнешь и кончишь потемну…».

На всех колхозных работах побывала и Н. А. Родионова, являясь, как и все женщины, универсальной рабочей силой в колхозном производстве: «*Я работала на прицепе*... Трактор ЧТЗ и прицеп с ним... *На лесозаготовку ездили в тайгу*... был план [государственные задания], сколько заготовить: с колхоза людей сгоняли, и когда вода поднималась — сплавляли до Тальменки [р. Уксунай — Чумыш]... Жили в бараке в тайге, метров 60, трехъярусные нары, печки ставили. Все колхозы выезжали. По человек 15–20. Я и *поварихой работала,* и в полеводческой бригаде, а тракторная бригада отдельно — 2–3 трактора есть, и уже бригада. И вручную косили, и снопы вязали, *стахановцы были*... Я в войну работала на зяби, хлеб убирали, а весной вспашку делали. Я *работала на прицепе,* а он [муж] — на тракторе. Лобогрейка — хлеб на лошадях убирали, я сижу, граблями кучки делала, а девчонки вяжут в снопы. В обед выпрягали лошадей... *Лен дергали руками,* приходил учетчик и считал, сколько я связала, и *вечером вывешивали листок с результатами*... *Телят пасли, на корове пахали,* полыньей топили, напекешь картошку-печенку. *Кизяки делали*... Жили на картошке, терли ее, отжимали, кисель ели... *Ткали сами холст*... дорожки изо льна делали...».

В том и в другом интервью рассказчицы подчеркивают, что, наряду с мужским, их разнорабочий неквалифицированный, но добросовестный труд материально не вознаграждался, отмечался лишь общественным одобрением и поощрялся «всенародным» признанием их трудовых заслуг традиционными советскими способами морального поощрения (в конкретных рассказах это признание проявилось в фразах «завсегда первая была. На стенке висела» и «стахановцы были»). При советской системе моральной мотивации труда колхозники, в отличие от работников совхозов, материальных вознаграждений почти не имели. Как они говорили в своих интервью, «грамоту дадут... медаль», «иногда женщине шелковый платок правление подарит», а так все больше «словами отмечали», «переходящее знамя давали» и т. д., а за работу не получали: «распишешься в конце года и еще должен останешься». Большую стимулирующую роль в организации колхозного труда играли меры наказания за любое уклонение от работы: «Раньше за отказ от работы по 6 месяцев тюрьмы. Дисциплина была строгая. Очень даже хорошо. На бригаде пьяного не увидишь... На север [ссылка] за ведро [пшеницы]... Так и надо... XX съезд — ненавистники Сталина» (В. Г. Апарин).

Таким образом, воспоминания колхозников показывают напряженный ненормированный неквалифицированный труд всего взрослого населения колхозов, без гарантии оплаты труда. Жили, как они говорят, своим хозяйством. Держать его приходилось еще и потому, что колхозники обязаны были расплачиваться с государством за ведение личного подсобно-

го хозяйства. Каждый колхозный двор должен был расплачиваться по государственной разнарядке. Стандартный набор, установленный для всех одинаковым, включал «государственный оброк» за коров, овец, свиней, кур. Даже если их не держали, каждый двор должен был сдать молоко, яйца, шкуры. По рассказам колхозников, им приходилось для «государственного оброка» покупать те виды продукции, которых у них не было. Вот как это звучит в рассказе Н. М. Заречневой: «После войны стало легче, зерна больше стали давать [на трудодни]. Сметанка. Курицы. Государству сдавали 300 литров молока в год, если жиры нормальные [4,4%, в противном случае объем сдаваемого молока увеличивался]. 100 яичек, хоть есть курица или нет... Мясо государству сдавали. Один сдает, а 10 человек покупает [если не было своего мяса, то покупали и сдавали]. Свиней держали. Денег не было. Продавать приходилось, чтоб купить что-нибудь. Мылись, мыло свое варили. Скот умирает, соду покупали и варили из дохлого мяса. Потом нарезаешь. Щелоком мыли волос. У мамы были косы, длинные. Керосином мазали — вшей выводили».

В результате такой политики в отношении колхозов колхозники, в отличие от других категорий сельского общества, жили в 1940–1950-е гг. натуральным хозяйством, не только не имея денег, но и испытывая недостаток продуктов собственного хозяйства. В послевоенных колхозах, главных производителях хлеба, сложилась парадоксальная ситуация, когда не хватало главного продукта — хлеба для тех, кто его выращивает. И эта ситуация воспроизводится из рассказа в рассказ: «После войны стало лучше — за год 17 кг пшеницы. Денег никогда не видали... Меняли вещи на муку... Потом пенсию мама получала — 6 руб. [колхозная пенсия], потом прибавили — 8 руб., потом 12 руб.» (А. Ф. Данилова). Таким образом, заработанного на трудодни зерна не хватало на хлеб, который пекли сами. А в колхозных магазинах хлеб не продавался. Как вспоминает Л. П. Шеина, «в 1948–1949 гг. получше стало... Но хлеб не продавали... В Бийске покупали. В деревне хлеб появился после 50-го года». Изменить же свой социальный статус колхозники не могли, так как их «прикрепили к колхозам», отказав им в выдаче паспортов и тем самым поставив их в бесправное положение по сравнению с другими социальными группами алтайской деревни. Та же Н. М. Заречнева своеобразно прокомментировала эту ситуацию в контексте опроса о советской праздничной системе: «Гулянок не было. Ни разу даже. День рождения не знали, не праздновали, пока паспорт не получили».

Наряду с колхозниками, рабочими совхозов, МТС, лесхозов в алтайской деревне обособились социальные группы, чей труд не был связан с производством, — работники образования, здравоохранения, финансово-экономических и административных служб, работающие в государственном секторе. Сами респонденты делят сельское население 1930–1950-х гг.

на тех, кто «состоял в колхозе», и тех, кто «не был в колхозе». В качестве иллюстрации можно привести отрывок из интервью с В. М. Зенковым: «В 1928 г. был образован колхоз „Большевик“ (с. Антипино, Тогульский район). Коммуна им. С. Разина в 1926 г. развалилась, и самостоятельно стал колхоз „Большевик“. Он существовал до 1950 г. Антипинский объединили с колхозом „Пограничник“ и „Большевик“, и стал колхоз им. Сталина. А в Тогуле в 1931 г. образовались колхозы Буденного, Молотова, 12 октября. *В колхоз входило семей тысячи полторы. Учителя, агрономы, КБО (комбинат бытового обслуживания), почта не входили в колхоз. МТС были отдельно*... Родители не были колхозниками. Мама работала в сельсовете: регистрация рождения, браков, смерти. Отец работал в заготовительной госконторе (мед, ягоды, и всё, всё)». Иногда информанты объединяют их в одну группу — «специалисты». Они появлялись в колхозной деревне по направлениям государства и, как правило, были приезжими. Их высокий статус определялся рядом факторов, среди них колхозники называют заработную плату и образование. То и другое накладывало отпечаток на образ жизни, одежду, бытовую обстановку. Заплату они стабильно получали от государства, а жилье обязан был предоставить колхоз. Если в 1930–1940-е гг. их подселяли на квартиры в дома колхозников, то в 1950-е гг., как правило, от колхозов требовали предоставлять специалистам отдельное жилье, как в совхозах. П. М. Родионов сказал об этом так: «Строиться начали уже после целины. Задание было колхозу — вот столько-то домов построить... План был строить жилье. Специалисту приехавшему предоставляли жилье».

Можно рассмотреть социальную дистанцию между колхозниками и «специалистами» на примере положения сельского учителя. А. Антипина (Тогул) из своих детских воспоминаний, отмечая разницу между учителем и колхозниками, вспоминает: «Учитель лучше одевался. В школу пошла с 9 лет в Мартыново. В Аксеново школы не было. А я ходила [в школу] очень бедно, в материных галошах ходила, а зимой — в старой фуфайке. Зимой нас возили на лошадях, и старались мы вперед лошади бежать, чтобы не замерзнуть. Когда пурга и сильные морозы были, тогда возили. А так пешком 3 км ходили».

Так формировалась сельская интеллигенция, являвшаяся частью советской интеллигенции, которая в социальной стратификации социалистической общественной модели называлась «прослойкой», в отличие от двух классов — рабочих и крестьян. Ее формирование шло под контролем государства и при его вмешательстве. И в этом был определенный смысл. Государство формировало определенные каналы влияния на деревенское общество. Учитель являлся проводником новой социалистической культуры и мировоззрения в селе, ставленником советского государства, кото-

рое выучило его на государственные деньги и содержало на государственное жалованье. Ему отводилась роль транслятора нового мировоззрения в сельское общество. Поэтому учителям не только давали образование, но и прививали понятия о социалистических ценностях и установках, в том числе путем разработанных инструкций и внедряемых образов. Бывшая учительница с. Тогул С. И. Шабалина, начавшая работать в школе перед войной, так отразила положение учителя в сельском обществе: «В журнале „Начальная школа“ критиковали учительницу за то, что она купила брошь — божью коровку. У меня девочка была, у ней зимой не в чем ходить. Ее мать в байковом одеяле приносила. Питались больше картошкой… Учитель был всем на селе… Мы вели агитационную работу. Сколь общественных работ? Займы, подарки на фронт собирали… Было запрещено, чтобы ученики дарили подарки. Один раз в 7-й класс принесли букет цветов, а в нем шелковый платок».

У колхозников формировалась тяга к «государственной службе» и к образованию как пути «выбиться в люди». Так, мать А. Ф. Абрамович, колхозница, дала дочери образование через бухгалтерские курсы и посоветовала ей ехать в совхоз, где ее должны были обеспечить квартирой и выдавать заработную плату деньгами: «Потом в Шумиху позвали бухгалтером работать. Мама мне сказала: „Езжай! Работай! Квартира там обеспечена будет“. И мы уехали [из колхоза в с. Улусово]… Пшеницу, сено, дрова совхоз привез: пожалуйста, держи хозяйство».

По этим же причинам из общей массы колхозного общества выделялись фельдшера, агрономы, даже продавцы. Последние при советской торговой системе, построенной на распределительном принципе, были особенно уважаемыми людьми. Про них в деревне ходило много нелестных слухов, их недолюбливали, завидовали, но предпочитали дружить с ними, так как все дефицитные товары, в число которых входили и предметы первой необходимости (ситец, тушенка, чай, сгущенное молоко, конфеты и т. п.), как правило, не доходили до прилавка, а распределялись по родственникам и знакомым. Как сказал один респондент, «мы по соседству жили с продавцом магазина, друг другу помогали» (М. А. Гудкова).

Положение служащих и работающих на государственных предприятиях в колхозной деревне отличалось получением «живых» денег, но, по устным свидетельствам очевидцев, их ограничивали в количестве приусадебной земли. Колхозникам она была нужна, так как при отсутствии денег и гарантированной оплаты труда подсобное хозяйство являлось важнейшим средством существования. Даже рабочих МТС ограничивали в наделении землей. В. Г. Апарин, работавший в Старотогульской МТС, сравнивая свое положение с положением колхозников и отмечая, что у рабочих МТС было больше возможности заработать деньги и им давали больше

хлеба, чем колхозникам, высказал обиду, что им урезали огороды: «Деньги платили… Хлеб давали… Питались по 200 г на карточку [в колхозе по 100 г на трудодень]… Работников МТС прижимали. У колхозников огороды и до 50 соток, а нам по 15–20 соток. Они с огородов жили…» Муж С. И. Шабалиной также работал в МТС и получал хлеба больше, чем колхозники: «Муж работал в тракторном отряде учетчиком. Им давали 300 г хлеба. Хлеб серый, с примесью, даже с сорняком — кырлык». Об этом же рассказывал Б. С. Иванов (Тогул): «В войну у госслужащих было 15 соток, а у колхозников — до 50 соток. Но им давали большую часть земли за селом, и там садили картошку [которая и спасла сельчан в войну]. Загораживали заборы колючим боярышником, чтобы скот и дети не лазили: копали канавку, сверху закладывали боярышником, стволами в огород, колючками наружу. Но мы все равно лазили за мерзлой картошкой. А мы старались, у себя все постройки плотно делали, чтобы землю освободить. Зато нам давали карточки на работника и на иждивенца, а колхозникам только трудодни — по 50 г хлеба за трудодень. Они жили только огородами и подсобным хозяйством. А мне, как иждивенцу, и маме, она работала в ОРСе [организация, снабжавшая леспромхозы продуктами], давали по 250 г хлеба».

Образование совхозов после слияния колхозов изменяло положение рядовых сельчан. Существенную роль в материальном улучшении жизни колхозников сыграла советская политика по поддержке двух производительных классов — рабочих и крестьян. В советском рабоче-крестьянском государстве стандартной являлась ситуация, когда в городе рабочий завода получал больше инженера, а в деревне передовая доярка — больше директора совхоза. Рассказчики хорошо помнят, что раньше «тракторист мог заработать больше, чем председатель… Совхозы были богатые» (М. П. Ащеулов, Тогул). Первоочередность для рядовых работников устанавливалась и в распределении путевок на санаторно-курортное лечение, существовали разнарядки и на вступление в партию. Обо всем этом рассказывается в семейных историях.

Результатом такой политики стало то, что административная элита совхозного сектора в 1920–1950-е г. материально мало отличалась от остальных жителей деревни, не говоря уже о колхозной администрации. Директора совхозов, агрономы, зоотехники, ветеринары входили в группу «специалистов», которых на этапе формирования (1920–1940-е гг.) системы отраслевого совхозного сектора (зерносовхозы, льносовхозы, племсовхозы и т. д.) особенно тщательно отбирали из числа политических активистов — большевиков, бывших партизан, фронтовиков и т. д. Их отношение к труду стимулировалось государством с помощью моральных факторов и партийной дисциплины. Это была особая социальная страта убежденных и искренних строителей коммунизма с высоким чувством долга и от-

ветственности, преданных социалистическим идеям. Об одном из таких советских управленцев, своем отце К. А. Зенкове, георгиевском кавалере, а затем алтайском партизане, попавшем в дивизию Третьяка и вступившем в 1920-е гг. в партию большевиков, рассказал его сын М. К. Зенков: «Отец мой в 1930-е гг. окончил барнаульскую партшколу. Он был большевик. В 1928–1929 гг. его отправили в Ельцовку. Он был инструктором райкома партии. Он выполнял директивы: как идет уборка урожая. Была идеология партии и ее распространение, отдел пропаганды. Они ездили по деревням, агитаторы были во время кампаний, а этот инструктором. После Ельцовки он был директором МТС. В 1933–1935 гг. построил мастерскую, гараж, получили трактора, обучили трактористов. После перешел в систему „Сибленконоптрест", в него входили алтайские заводы (льнозаводы)… Потом он был директором… После Быстрянки его призвали в армию… его взяли в 1936 г. и 6 месяцев обучали в Новокузнецке, а позже его отправили в Райсоветавиахим, он проходил сборы, он там работал. Назначили в Алтайский район на сырзавод. 24 июня 1941 г. его забрали в армию. Он был на востоке… в учебном батальоне комиссаром… обучал кадры для фронта… И семья моталась за ним».

Таким образом, государство создавало мобильные группы советских управленцев, используя их на важнейших участках государственной, политической, экономической, общественной жизни. Они являлись опорой советской власти. В частности, К. А. Зенков участвовал в самых масштабных социалистических преобразованиях молодой советской власти — формировании системы отраслевых совхозов, строительстве МТС, маслосырзаводов и т. д. Условия повседневной жизни семей управленцев в 1930–1950-е гг. имели некоторые отличия, выделявшие их из основной массы рядового сельского населения. М. К. Зенков говорил: «Отличались не сильно от других. Так как моя мама была мастерица, в холщовых штанах не ходил… Отец получал зарплату большую… и 300, и 400 руб. Мама не работала». Лишь в 1960–1980-е гг. советская сельская номенклатура в условиях сформировавшейся распределительной системы оторвалась от рядовых сельчан и стала более материально обеспеченной, получая вне очереди книги, автомобили, мебель и т. п.

Но особый диссонанс в сельское общество, где все знали друг друга, в рассматриваемый период внесла репрессивная политика советского государства. Самое бесправное и униженное положение в советской деревне в этот период было у тех сельчан, чьи отцы или матери были репрессированы. Устные свидетельства показывают, что репрессии 1930-х гг. внесли раскол в социальную инфраструктуру. Об этом говорят жены и дети раскулаченных, репрессированных, депортированных. А. Ф. Данилова (Тогул) вспоминает: «В 37-м году отца забрали, отправили в Магадан, 15 лет лише-

ния свободы, 5 лет лишения голоса, без переписки, через 10 лет прислал письмо: „Жив, здоров“. В 53-м году он вернулся... Нас преследовали по деревне. Мы учились в школе, выйдешь на перерыв, *дразнили: „Кулачка! Кулачка!“* Дети кулака. Ради деда [благодаря ему] мы выжили. Дед [имел три сына] поедет, нарубит, на корове подвезет — забирают его вместе с коровой и отбирают всё. *Одно объяснение — „враг народа“. Долго преследовали...* Уже во время войны у деда два сына ушли на фронт... Написали в Москву. Прислали ответ, что, дескать, он отец двух сыновей на фронте. Его не стали преследовать... Но все равно!»

Их социальную приниженность и ухудшение материального положения усугубляли в годы войны обязательные для семей, не имевших родственников на фронте, выплаты государству налогов молоком, яйцами, шкурами. Если семьям, в которых отцы, мужья, сыновья воевали, налог отменяли, то для семей, также оставшихся без мужчин в период раскулачивания или репрессий, этот фактор не учитывали. Так, матери А. Ф. Даниловой, несмотря на то, что ее муж был репрессирован, приходилось выплачивать весь объем. А. Ф. Данилова считает, что это было своего рода продолжение наказания за отца. Об этом говорят ее фразы «присудили [налог]», «придумали [налог]»: «Со школы придешь, корову подоишь. 240 л надо было сдать при жирности 4,4%. Если жирность маленькая — несешь и несешь... сдаем и сдаем... Мясо сдать — обязательно, даже если скотину не держишь. Яйца сдай, хоть и кур нету... *Присудили* по 100 яиц... Покупали у соседей и сдавали. *Придумали, чтобы шкуру сдать!* Тоже было! Штраф платить, если не сдашь».

Для А. А. Братенковой (Тогул) арест отца и его осуждение как «активного участника контрреволюционной повстанческой организации» (из архивной справки краевого управления КГБ, выданной дочери) привел, по ее словам, к «раздавленной и уничтоженной жизни моего отца, жизни моей матери и моей — 13-летней девчонки». Ее отец был продавцом в с. Бураново: «Там было три колхоза — Калинина, „Красное поле“, „25 января“. Отец в колхозе не был. Не пил, не курил. Его вызвали в Тогул, больше не вернулся. Никто ничего не объяснял. Прокурор говорил: „Был бы человек, а статью найдем!“ Догадывались...» Отца забрали 16 февраля 1938 г. И, по ее словам, «еще 10–12 человек набрали, и под конвоем пешком до Бийска шли. Бурановский мужчина видел их. Мама пошла в Антипино и заблудилась... Отец заставлял мать в колхоз идти. Она не пошла. В столовую устроилась... Но *жена врага народа.* Маму по-первости уволили из столовой. Потом в больнице стала работать... купили домик в Тогуле, но заведующий районо И. В. Карасев нас с мамой выгнал и выкинул наши пожитки ночью в грязь. Двоюродная сестра работала в райкоме партии. Они к нам не ходили, а мы ходили. Поздновато, они сказали, что мы нахальные. *Им*

запрещали с такими семьями, как наша, связь иметь. В 1940 г. я уже работала в 42-й трудармии, в шахте в Киселевске. С 3 июля 1943-го по 28 ноября 1945-го служила… Это не пошло мне плюсом… *Унижения продолжались* до реорганизации района. *Не доверяли.* После войны устроилась кассиром в Госбанк. В. М. Сергеев, зав. сберкассой, мне сказал: „Я тебе не доверяю. Не уволишься — в трудовой книжке напишу так, что тебя никто, нигде и никогда не примет". Из банка меня взяли в леспромхоз кассиром. А он опять давай сюда ходить. Он комсомолец был, из Ленинграда. А главбух сказал ему: „Не ходи больше сюда"… Раз зашла в райком партии, а А. Н. Стариков мне сказал: *„Ты, дочь врага народа,* еще смеешь переступать порог райкома партии? Вон из здания!" Я только успела спросить: „Я-то чем провинилась?" Во всех газетах пишут, что самое дорогое у человека — жизнь, а она ни черта не стоит».

Таким образом, устный исторический источник является важной базой по изучению социальной истории советского общества. Относительно 1930–1950-х гг. как переходного периода от доколхозной к советской деревне (1960–1980-е гг.), времени интенсивной социалистической модернизации, можно сказать, что социальная структура сельского общества представляла собой сложное, динамичное явление. Советские политические и социально-экономические эксперименты проводились в ускоренном жестком режиме. Следствием этого являлась социальная дифференциация. Особенно ярко она проявлялась при сравнении двух социальных групп, связанных с сельским хозяйством, — рядовых тружеников колхозов и совхозов. Социальная дистанция влияла на взаимоотношения в производстве, быту, жизни. В силу разных причин отечественная историческая наука лишь начала серьезные исследования социального развития советского общества. Его осмысление требует привлечения новых методов и источников.

5.3.3. Ликвидация неперспективных сел: сельские голоса

Финансовое бремя по содержанию увеличивающегося государственного сектора в сельской местности оказалось непосильно для государства. В 1960-е гг. начался новый этап преобразований, основным содержанием которого стала политика сокращения сети поселений. Для этого были введены категории перспективных и неперспективных сел с последующей ликвидацией последних. Как все предыдущие кампании, реорганизация проводилась по инициативе советского государства, без согласования и учета мнений и интересов крестьян. Причиной политики ликвидации сел была заявлена неудовлетворительная социальная база сельских поселений, для улучшения которой требовалось рациональное развитие населенных пунктов колхозов и совхозов, решение проблем водоснабжения, электрификации, транспортных коммуникаций, радиофикации и т. д. XXII съезд

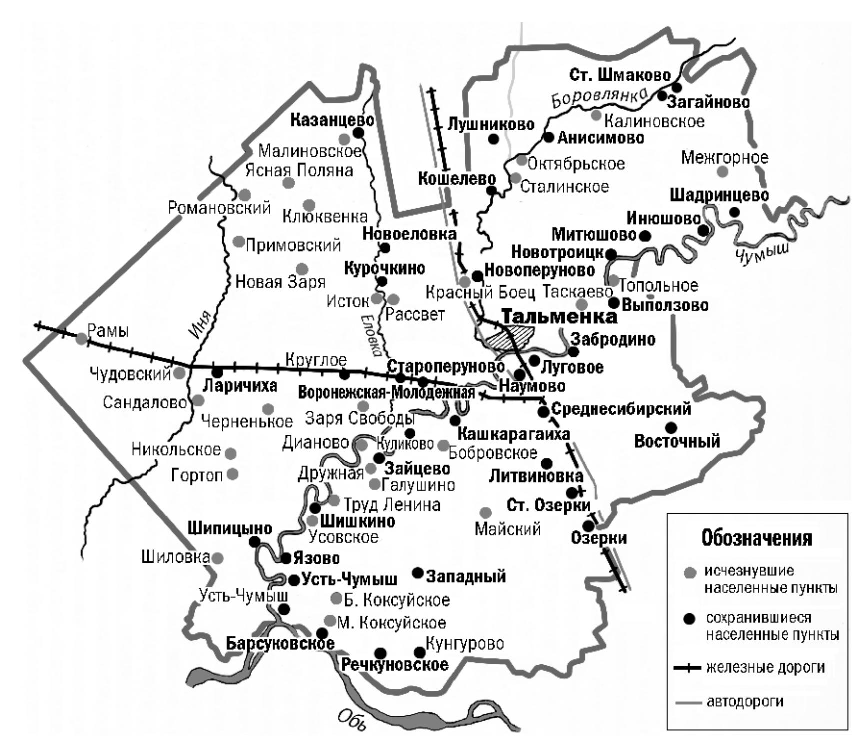


Схема сети населенных пунктов Тальменского района (XX в.). Составлена автором

выдвинул установку на постепенное преобразование колхозных деревень и сел «в укрупненные населенные пункты городского типа с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием», на ликвидацию социально-экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней [14, с. 143]. К. М. Пахорукова так прокомментировала результаты реализации новой политики: «*Обещали — все будет, все сделаем, как в городе*. Работу отобрали. Хрущев скот забрал. Хотел, чтоб все в магазин ходили. *А все тронулись из сел*». Респондент метко подметила завершение формирования миграционных настроений крестьян, психологически созревших для разрыва с крестьянским прошлым.

Фактически процесс реорганизации колхозов в совхозы явился первым шагом к политике ликвидации малых неперспективных сел, послужившей причиной гибели сотен населенных пунктов Алтайского края. Нерентабельные совхозы не могли сами решить свои культурные, бытовые, технические проблемы. Государству же не хватало финансовых средств, чтобы

Схема сети населенных пунктов Алтайского района (1993 г.). Подчеркнуты названия исчезнувших сел. Составлена автором

модернизировать техническую и социально-бытовую базу колхозов, и оно решило сэкономить на содержании малых сел. Это было сделано в ходе очередной кампании — ликвидации неперспективных сел, сселения жителей малых сел на центральные усадьбы. Только в Алтайском районе были ликвидированы Большая Заимка, Куячонок, Маркитантка, Надеждинка, Теплое, Светлое, Лежаново, Верх-Каянча, Нижняя Устюба, Тавдушка, Тавда, Бирюкса, Луговской, Верх-Устюба, Мещанка, Прямая Сосновка, Верх-Баранча, Прожектор и др. Большинство из них прошли традиционный путь: колхоз — совхоз (его ферма) — неперспективное село. Их сначала огосударствили, а потом сократили. Этот путь прошла исчезнувшая Дресвянка, где, по рассказу респондента, был колхоз «Стахановец». В колхозном хозяйстве «имели дойный гурт, держали молодняк, были кони, плуги (на лошадях пахали и боронили). Как старики жили до 1949 г. Хлеб сеяли. Хлеб сдавали в Куяган и молоко в Куяган — на сырзавод… В колхозе были трудодни до

Здание первого Дома культуры в с. Залесово. Построено в 1930-е гг.

1957 года. *Пока мы не перешли на совхозную жизнь. В 1957 году объединили „Стаханов“ (Дресвянка), „Победа“ и „Киров“ (Куяган). Из них стал единый совхоз.* До 1965 года школа прикрылась. У меня тоже были дети, и я поехал в Куяган… *Вся причина в объединении. Стали объединять: в Куягане — радио, свет, в Дресвянке — не было. Если бы не объединяли, то они бы выжили, расстроились бы»* (Н. А. Красилов, с. Куяган). Последняя фраза показывает отсутствие у самих крестьян стремления уехать из села. Миграционные настроения сформировались вследствие государственной политики модер-

Залесовский Дом культуры (с. Залесово). 1980-е гг.

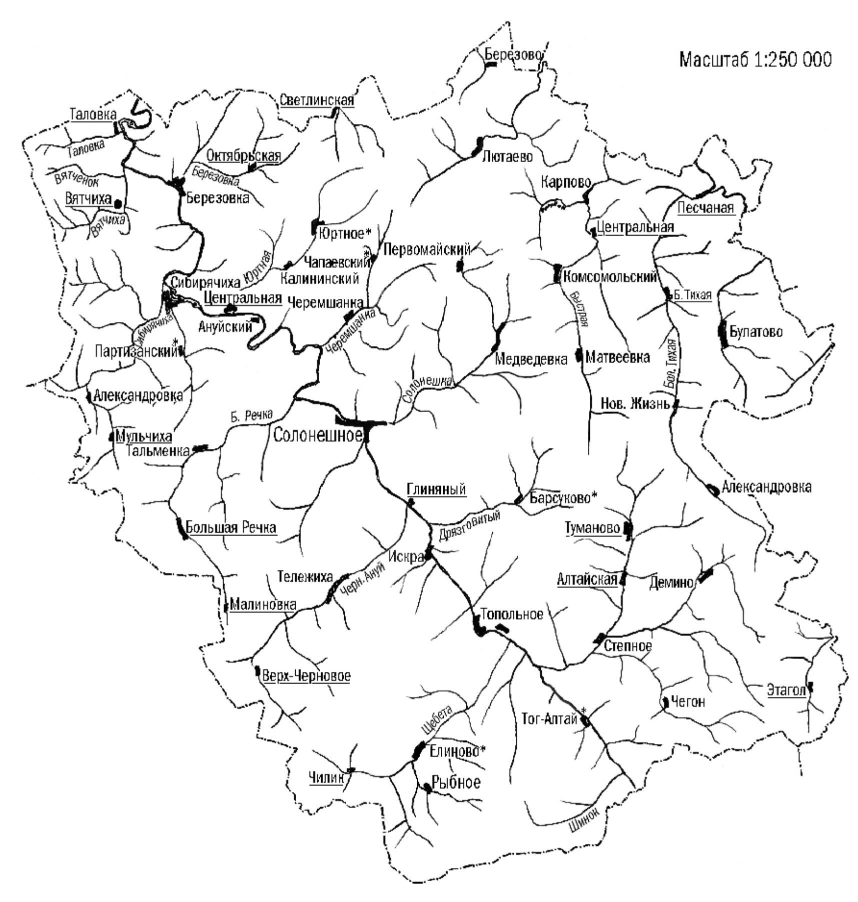


Схема сети населенных пунктов Солонешенского района на 1990 г. (подчеркнуты названия исчезнувших сел, звездочкой отмечены села, находящиеся на грани исчезновения). Составлено автором

низации деревенской жизни, и прежде всего в период кампании ликвидации неперспективных сел, развернувшийся в 1960-е гг.

Для формирования новой схемы расселения создавались научно-исследовательские институты, преимущественного технического профиля, расположенные в отрыве от преобразуемых ими регионов (Москва, Новосибирск). Решения принимались без глубокой проработки, обследования территории, учета региональной специфики, без выявления закономерностей развития локальных сельских систем расселения, аккумулирующих крестьянский опыт освоения конкретной природно-климатической зоны.

Ликвидация неперспективных сел началась с массовых работ по составлению схем районной планировки. Основные материалы были подготовлены НИИ градостроительства и районной планировки Академии строительства и архитектуры СССР с участием ВНИЭСХ ВАСХНИЛ. Принцип градостроительных решений в зависимости от численности жителей (для центральных поселков рекомендовалась численность 3–5 тыс. человек, для поселков производственных участков — 1–1,2 тыс. человек) был перенесен на сельскую поселковую сеть. В поселковой структуре выделили перспективные села с размещением нового строительства и неперспективные, намеченные к постепенной ликвидации. Таким образом, в качестве единственного пути реорганизации поселковой инфраструктуры предлагалась концентрация сельского расселения. Реализация этой политики привела к массовым миграциям населения из сельской местности. Чистая потеря населения для села вследствие сселения составила две трети (более 60%) жителей ликвидируемых поселений. За период между переписями 1959 и 1970 г. в Сибири городское население приросло на 31,6%, а сельское сократилось на 12,2%. Для Алтая эти показатели были еще выше, с 1959 по 1970 гг. численность сельского населения сократилась на 30,3%, т. е. на 504,7 тыс. человек [15]. Реализация этой политики продолжалась до очередной кампании — перестройки 1985 г., которая началась традиционно, именно как кампания, а переросла в «революцию». Так, постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 20 марта 1974 г. была определена программа по переустройству села, продолжавшая сселение жителей малонаселенных пунктов на центральные усадьбы колхозов и совхозов. Каждому району устанавливались соответствующие задания, жители включались в списки переселенцев, для них предусматривались ссуды (3,5 тыс. руб.) сроком на 15 лет (35% за счет госбюджета). Однако на деле большинство опрошенных ничего не знали о возможности получения кредита и переселялись за свой счет. В лучшем случае колхоз предоставлял лишь бесплатный транспорт для переезда.

В результате на территории Алтайского края с 1959 г. по 1979 г. число сельских населенных пунктов сократилось на 48,8% (1 939 пунктов). Порайонно картина более показательна: в Мамонтовском районе исчезли 15 поселений (Миронов Лог, Харьково, Потеряевка и др.), в Зональном районе — 21. Среди них были и малочисленные (Талица — 9 человек, Угловой — 34), средние (Слава —126, Раздолье — 297) и крупные. В число неперспективных сел Павловского района попали старинные и большие села: Касмала, Харьково, Черемно-Подгорное, Фунтовка; Солонешенского района — Таловка, Калиниха, Большая Речка, Малиновка; Третьяковского района — Ключи, Поручиково, Лифляндка, Харьково и др. Многие из них в результате реорганизации исчезли, другие сохранились, численно сократившись и

перейдя в разряд малодворных поселений. Полевые обследования границ жилого сектора этих сел, сохранивших следы бывших улиц и домов на окраинах, позволяют определить их прошлые размеры. Старожилы всегда с грустью говорят о потерянных возможностях. Так, Ново-Тырышкино Смоленского района раньше тянулось вдоль р. Песчаной на 5 км, Черновая — вдоль р. Черновой на 4 км. Как вспоминают старожилы, «раньше в Черновой селились там, где Сычевские сопки [соседнее село], селились в логах вдоль речки. До 1968 г. было много населения» (Е. И. Матысина).

Процесс концентрации сельского населения в крупных поселениях отрицательно сказался на развитии поселковой сети вопреки задачам улучшения условий жизни, обеспечения демографической базы для создания полноценной социально-культурно-бытовой системы учреждений обслуживания. Эти мероприятия обернулись снижением уровня заселенности территории. Средняя густота сельских населенных пунктов уменьшилась в Сибири за период 1959–1978 гг. почти в 2 раза, средние расстояния между ними увеличились в 1,5 раза. Средняя людность сельского населения в Сибири составила 450–455 человек, что в 1,8–1,9 раза выше среднероссийских. Показатели Алтайского края были самыми высокими в Сибири — 610 жителей на одно село, а в селах, насчитывающих свыше 1000 человек, стало проживать 60% населения [16].

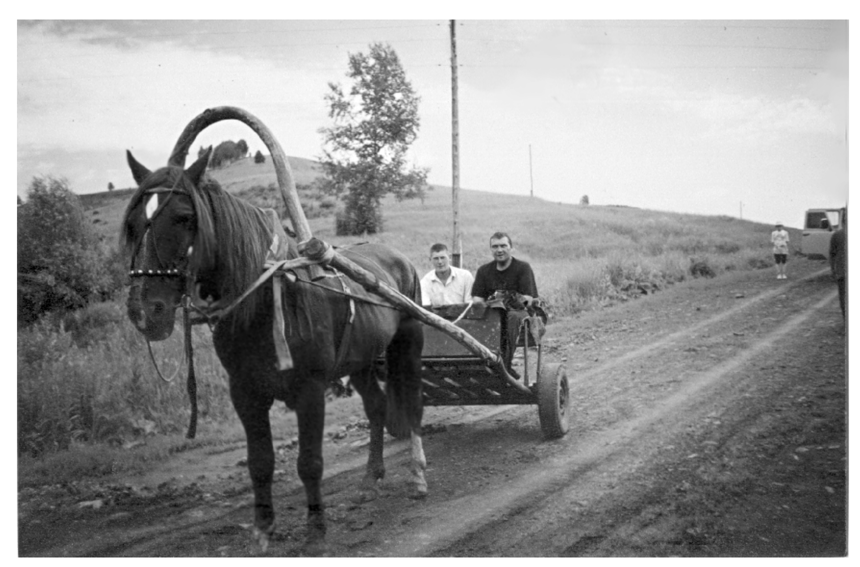
Такое перераспределение населения негативно отразилось на развитии сельского хозяйства, которое носит сезонный характер и поэтому требует мобилизации больших физических усилий и учета природно-климатических особенностей конкретной местности. На Алтае с резко-континентальным климатом хозяйствовать на земле по команде сверху оказалось неэффективно: сроки посевов и уборки отличаются не только по административным районам, но и сельским окрестностям — на возвышенности и в низинах, на таежных и степных участках, на сограх и в ложка́х. В период развития сети малодворных сел все сельскохозяйственные работы определял индивидуальный опыт хозяйствования крестьянина на конкретной земле. Адаптация производительных процессов в конкретной природно-климатической зоне осуществлялась столетиями и была потеряна за десятилетия.

В повторяющихся в интервью формах человеческих взаимодействий реализация политики ликвидации неперспективных сел действительно выглядит логичным продолжением политики укрупнения колхозов и перевода нерентабельных колхозно-кооперативных хозяйств в государственные совхозы. Для информантов они сливаются в единый процесс, завершившийся ликвидацией укрупненных сел. Показательным является отрывок интервью с В. И. Курочкиной, жительницей исчезнувшего в период ликвидации сел населенного пункта Маралье, в котором начало миграции

Деревенские дороги. Тогульский р-н. Фото 2007 г.

положило первое укрупнение, во время которого «в 1953 году с верхнего края уже уехали Киселевы, Свиридовы, Батурины, Сидоровы, Зиновьевы, Казазаевы. А где-то в 1959–1960 годах село вообще начало рушиться. Кто уехал в Кыркылу, кто в Сарасу. Все там закрыли, школу закрыли. У всех дети, внуки — учить надо. Сначала слили и две Сосновки (Прямую и Косую), а потом с Маральим, потом с Сарасой, Белым. *Дословали — что все разъехались.* Началось все разваливаться. И поехали…» (В. И. Курочкина).

Можно утверждать, что укрупнение подготовило почву для «превращения» сел в неперспективные и последующую ликвидацию, так как укрупнение приводило к уничтожению в них материально-технической и культурно-бытовой базы, отказу от совершенствования транспортных коммуникаций. Поэтому в интервью респонденты называют те причины ликвидации сел, которые обозначились в результате укрупнения колхозов: «В период укрупнения Петровское (Третьяковский район) и Ключи соединили. А чуть позже… присоединили нас вместе с Петровским к Семеновке. В это время люди и стали уезжать из деревни. Это было связано с трудностями, которые стали возникать из-за объединения этих деревень: сообщение между ними плохое, трудности с доставкой товаров» (Е. В. Никитина). Как правило, рассказы основываются на эмоциональной стороне произошедшего, описывают свою «раскуроченную» деревню в самых ярких красках, считают, что там был все условия для жизни, например, «и речка, и лес, и луга рядом, а *здесь всех в одну кучу, одна ругань только*».



Самый надежный деревенский транспорт (с. Чайное, Чарышский р-н, окрестности исчезнувшего села Октябрьское). Фото 2004 г.

Вместе с тем основания для реформирования деревни, по мнению сельчан, действительно существовали. Одной из веских причин ликвидации поселков они называли отсутствие дорог. Например, в ликвидированное село Межгорное Тальменского района напрямую можно было добраться только зимой, когда замерзало болото, а летом — в объезд или «гать через болото стелили». Село «Заря Свободы» этого же района находилось от центральной усадьбы на другом берегу Чумыша, куда зимой можно было ходить пешком, весной, когда сойдет лед, — на лодках, а летом — по мосту, который каждый год настилали на сваи, а осенью настил убирали. До Клюквенки Тальменского района также никакого сообщения не было: «Ни зимой, ни летом не проехать. Дождь летом брызнул — на машине не проедешь. Зимой снег пошел — уже не проедешь. Возили только что на лошадях». Именно эта проблема обозначена главной в устных рассказах жителей ликвидированных сел. Одна часть респондентов проявляла готовность вернуться на старые места; примером служит рассуждение жительницы Сосновки Смоленского района: «*Кому они* [села] *помешали? Не пойму. Прибыльное было село Сосновка*. Сосновку бы *открыли* [лингвистический дискурс отражает представление респондента об административном пути развития сети населенных пунктов] — я бы уехала туда. И природа лучше. И также в огороде все выспевало». Но многие респонденты отмечали оторванность населенных пунктов, при отсутствии надежных транс-

портных коммуникаций, как причину своего отрицательного отношения к возрождению деревни. А. К. Дорофеева про ту же Сосновку говорила: «Пусть бы организовалась Сосновка — я бы сейчас не поехала *из-за дороги: никуда не доберешься*. Дети у меня учились в Черновой. Весной начинает таять, у нас все водой заливало. А вот смотришь, и покуда видно — по брюхо в воде на лошадях детей везут. Потом лугом пройдешь и опять водой. И покеда они не вернутся из школы [недельного интерната], и беспокоишься неделю — то ли доехали?» От соседней Устаурихи до Ульяновки также можно было добраться «только пешком да на лошадях: по Березовке ручьи да камни, а по Слюдене вымыло рытвы» (А. Ф. Тырышкина).

Такое бездорожье было ощутимо для каждой сельской семьи прежде всего по причине отсутствия условий для образования детей и здравоохранения для взрослого населения. Как правило, в этих селах существовали только начальные школы, в приведенном отрывке из интервью А. К. Дорофеевой ближайшая восьмилетняя — в Черновой (Смоленский район) и Булатово (Солонешенский район), а десятилетняя еще дальше, только в Сычевке. Среди неблагоприятных условий респонденты называлы отсутствие социально-бытовых условий, отвечавших санитарно-гигиеническим требованиям. Например, исчезнувшее село Кураевка «стояло на пригорке.. внизу была речка, и мы с ней поливали огороды. Сейчас она пересохла. Воду таскали с Алея и пили. Колонок-то мы не знали, колонка одна в последние годы появилась… Начали было дома строить хорошие, фундаменты заливали, а тут все это началось, и все побросали» (Н. Е. Первутинская).

Вместе с тем устные источники показывают, что не сами жители выступили инициаторами переезда по причине плохих дорог, отсутствия школ или нерешенности бытовых вопросов. Эти причины были сформулированы в государственно-партийных документах. К переезду подтолкнула сама власть, которая реальные проблемы, например бездорожье, предложила решать путем ликвидации сел, отнесенных на основании отсутствия дорог, средних школ, больниц к неперспективным. Несомненно, решения государства имели основания. Например, в той же Сосновке Смоленского района было около 30 дворов, на всю деревню была одна начальная школа. Как рассказывала Ю. Г. Тутова, «когда я работала, было около 30 учащихся. Со мной работала вторая учительница. После окончания школы дети ездили в восьмилетнюю школу в Чернову (около 20 км), а средняя была в Сычевке. Я 4 класса кончала в Сосновке, потом семилетюю в Булатово (Солонешенский район) и десятилетку в Сычевке… Был еще клуб рядом со школой. Одно время построили маслозавод… Был фельдшерский пункт. Сосновка находилась от Черновой 20 км, от рудника Белокуриха 12 км, до Осиновки 3 км. Дорога идет через Песчанку (она извили-

Деревенский транспорт (Тогульский р-н). Фото 2006 г.

стая)… Мой тесть уехал в 1967 г., и после все поехали. Почему стало распадаться? Закрыли школу, магазин. Стало мало детей — стали возить в Черновую. Где-то в 68–69 гг. там два-три домика были».

Опрос жителей исчезнувших сел показывает, что, несмотря на трудности, сами они не помышляли о переезде. А. И. Абалихина говорит об Усть-Аурихе: «*Место-то золотое… Подъезд плохой.* Дорогу можно было бы направить. 5 км всего. А сейчас город был бы!» В результате сами жители, о которых беспокоилась власть, с неодобрением восприняли партийно-государственные решения, но наиболее негативно они оценили способы решения их проблем путем реализации политики ликвидации неперспективных сел. Старожилы в устных интерпретациях называют эту политику «стихией», подчеркивая, что «на развал этих поселков повлияло отсутствие внимания к их нуждам и развитие производственной и социокультурной базы: «если бы обратили внимание на людей, которые там живут, и создали условия, никто никуда бы не поехал. А уж коли сами так построили, чтобы люди уехали, — поэтому вынуждены были уехать. И поселки самоликвидировались. И остался один пепел».

Устные свидетельства показывают, что методы преобразований 1960-х гг. в период ликвидации неперспективных сел продолжили традиции 1930-х гг. — инициирование преобразований государственной властью сверху, без согласования с общественностью и без учета опыта, на-

строения и мнений крестьянского мира. Жители ликвидированных сел до сих пор не осознают и не понимают причин их переселения: «*Народ дружный был. Все работали и работали до часу ночи. А потом что-то перевернулось, и пошло: скот угнали, коров.* Доить некого. Люди уехали». Опрос очевидцев показал, что несмотря на объявленный принцип добровольности, ликвидация сел и принятие решений об этом не зависели от желания и интересов крестьян и носили добровольно-принудительный характер. Респонденты подчеркивают, что насильственных действий власть не совершала, по мере ухудшения условий жизни после укрупнения колхозов, крестьяне сами принимали решение: «В 60-х годах село стало распадаться. Детям нужно было где-то учиться, школ не было, а им далеко было ходить в Новоалейку. *Сами стали разъезжаться*» (М. Ф. Иванов). Об этом говорит А. Ф. Карпова: «когда начали укрупнять колхозы, вот тут-то все и разъехались — кто в Шемонаиху, кто в город, кто в Новоалейку... Село наше [Кураевка] распалось по себе. Никто никого не принуждал... *молодежь стала разъезжаться в более перспективные села, кто в города. И все село разъехалось*» (А. Ф. Карпова). Об этом же в своем интервью говорит А. Ф. Елизаров: «Где-то в 65–66 годах уже эти села исчезли. *Сами уезжали из этих сел, постепенно все разъезжались, в основном из-за детей. Я не знаю, чтобы кто-то кого-то выселял*... Кампания по ликвидации неперспективных сел здесь ярко не проявилась. *Уезжали отсюда сами по себе.* Школы закрывали, молодые уезжали, пожилые умирали или уезжали к кому-нибудь...» (А. Ф. Елизарова).

Объективность оценок рядовых сельчан подтверждают и воспоминания руководящих работников. Как правило, они также однотипны, например, «в хозяйства выезжали закрепленные лица. Но в основном эта работа велась в активах. Вызывали председателей колхозов. Постоянно, в течение нескольких лет, требовали выселить. Часто, если квартир нет, уезжали в разные города, в другие районы. Где были фермы — убеждали, что экономически невыгодно держать их, что на центральной усадьбе механическая дойка будет». Вышестоящие органы власти регулярно требовали отчеты о ходе переселения у районного начальства. Те, в свою очередь, «прорабатывали» на активах председателей колхозов, чтобы те старались переселить жителей малых деревень к запланированному сроку и отчитаться. Но большинство опрошенных уезжали из-за отсутствия школы, объектов соцкультбыта — в малонаселенных деревнях было запрещено строительство.

В крестьянских толкований отсутствие широкого контекста свидетельств и оценок процессов преобразований отражает однотипность оценок усилий власти, благодаря которым и началась ликвидация сел: «*Разъезжание началось с того, что начали укрупнять села, соединять.* У нас бы-

ла школа там до трех классов, а у нас уже до семи было. А там фермы были, люди работали на фермах. А потом начали соединять в Крестьянку (Мамонтовский район). Ферму перегнали, людям делать нечего, пришлось ехать сюда. А учеников тоже учить не стали. Школу закрыли, тоже пришлось уезжать. А кто куда! Кто в Крестьянку, кто в Мамонтово… *Уехали, кому куда любо было*». Последняя фраза показывает важнейший перелом в сознании крестьян. Если при укрупнении колхозов и переводе колхозов в совхозы миграционные устремления носили внутренний характер (из плохого колхоза — в хороший, из колхоза — в совхоз), то в период ликвидации неперспективных сел уже сформировались мысли ехать «куда любо было». Подтверждением этому служит типичный по рассуждению отрывок из интервью М. Петровой (с. Ключи, Третьяковский район): «Сначала закрыли школу, потом магазин в Петровском. По первости еще ездили в магазин то в Семеновку, то в Верх-Алейку. Еще можно было бы жить. Там старики одни оставались, но магазина не было. Так последние уехали». Хотя будущее у Петровки было: «В войну еще и после войны дома строили».

Контекст всех интервью, воспроизводящих однотипную ситуацию, отражает и однотипность поведения жителей неперспективных сел — «многие старожилы пытались сохранить село… но условия жизни ухудшались»: закрыли ферму — люди еще остались жить; закрыли магазин, ФАП — люди пытались жить; закрыли школу — и «люди поехали». Характер устных источников подтверждает вывод сделанный историками, работающими в русле англоязычной историографии «истории снизу вверх», о значении опыта (experience) интервьюера, через который «формируется самосознание человека и целых социальных групп», в данном случае крестьянства [12, с. 13]. Изучение опыта сельской социальной группы через субъективное восприятие истории, через призму отдельной личности является характерной для устной истории как объективного метода изучения истории. В этом смысле устные интервью являются важнейшим источником по изучению жизненных установок, ориентиров, ценностей, позволяют выявить рубежные состояния или определить время переориентации человека и ее причин. Устные источники показывают, что значительную роль в выхолащивании крестьянских ценностей сыграли не лозунги и модернизационная доктрина советской власти, а методы их реализации (методы модернизации).

«Сельские голоса» утверждают, что на практике местные партийные и хозяйственные органы использовали не только методы разъяснения, но и открытого давления, тем, что создавали условия для вынужденной миграции населения — лишали население работы (переводили фермы, технический парк на центральные усадьбы или в села, отнесенные в разряд перспективных населенных пунктов), закрывали школы, здравпункты, клу-

бы. А. Качаринская из с. Черемное (Павловский район) объяснила: «*Стало исчезать (Зеленый Клин), потому что не стало работы. Потому что угнали скот в Солоновку, убрали от полеводства риги и т. д., и молодежь не стала оставаться.* Потом *убрали школу,* магазин. Стали, укрупнять в 1963, а в 1968 начался массовый отъезд. Мы увезли свой дом в 1970 г. Работы в последнее время не было, все работали на свекле. *У кого дети подрастали — уезжали: детей надо было растить*». Особенно остро встал именно вопрос о будущем детей. Вопрос образования для детей становился решающим в оттоке населения из сел: «Когда школы закрыли, а у каждого же дети, а в Крестьянке [село, получившее статус перспективного] до 7-го класса сначала было, а теперь уже 10–11, а у нас в Харьковке, в Сыропятовке только до 4 было. Вот и пришлось людям ехать. *И по двое, трое и по четверо детей-то было,* а учить-то надо было. И… *школы-то прикрыли и все, и давай разъезжаться все сюда.* Тут Крестьянки третьей части-то нет [старожилов], только со всех сторон съехались» (К. Ф. Томилова, Мамонтовский район).

Государственная практика ликвидации неперспективных сел не включала организацию переселений из неперспективных сел на центральные усадьбы. Переселенцы обычно вспоминают: «Нас никто не заставлял. Сами поехали». Как вспоминает А. Ф. Елизарова, «где-то 65–66 гг., к этим годам уже эти села исчезли. Сами уезжали из этих сел, постепенно все разъезжались, в основном из-за детей. Я не знаю, чтобы кто-то кого-то выселял». С закрытием школы, магазина, ликвидацией производственной базы (ферм, технического парка, конюшни и т. д.) создавались условия, при которых не было перспективы для жизни, работы, учебы, и люди сами стали разъезжаться: «Мы уехали из „Прожектора“ где-то в 1960-е годы из-за школы. Школы не было. *Потом все уехали из-за школы. Учителей не было, возить совхоз не хотел.* Последние уехали в 1968 году…» В Дресвянке «*в 1957 колхоз на совхоз перешел. Лет через пять школу закрыли. А куда ребенка водить? Народ поехал.* Также поселок под одно ликвидировали. И Дресвянку, Осиновку, Сосновку, Сумной…» Жителям Сосновки объявили, «что невыгодно держать эти села», к жителям с. Маралье «*начальники приехали* из бригад и сказали, что нас соединили с Сарасой», раньше там люди жили. *Старики не шевелились до самой смертоньки*». Н. Е. Первутинская вспоминала про Кураевку Третьяковского района: «Ферма была небольшая, коней было много. Как сливание было, их всех в Шипуниху забрали. После войны стали все разъезжаться, а тут еще как сливание сделали, все убрали, магазин, лавочка была небольшая. Разъезжались люди кто куда, и в Казахстан, и в Шипуниху, и в другие места. *Мы ее хотели на ноги, Кураевку, поставить, но ничего у нас не вышло. Уезжали мы почти последние.* Последние года разводили там овец тонкорунных. *Переехали мы*

сюда из-за школы, дочка последняя в первый класс пошла». Жителям Поручиково «пришло указание, и нас переселили. Тут [в с. Михайловка] дома стали строить, свои дома нам помогали перевозить бесплатно. Михайловка меньше была, чем сейчас. Нас оттуда [из Поручиково] переселили. Она больше стала… Школа там была до 4 классов, закрыли ее и клуб закрыли, детей возили в школу на тракторе, а потом все переехали. Магазин там был до последнего. Мелочь в основном продавали, за крупными покупками в Шемонаиху ездили».

Устные свидетельства показывают, что вся предыдущая жизнь крестьян, жестокие методы раскулачивания, суровая дисциплина в военные годы, использование централизованной и карательной системы государства выработали у крестьян привычку к беспрекословному подчинению складывающимся обстоятельствам. В период ликвидации неперспективных сел крестьяне фактически не оказывали сопротивления: «*Нам говорили, что будет лучше* — вы будете в агрогородке жить, *у вас будет все*. Агрогородки — это была хрущевская политика. Дети в школу будут ходить. *Лозунг дали, и пошло объединение*. И все эти мелкие поселки, села объединяли и укрупняли». Многие старожилы с тоской говорят о своих селах, об их окрестностях, о желании возрождения и возвращения в родные места: «*Политика такая*. У меня *тетя жила допоследу* (с. Лежаново, Алтайский район) так долго не хотела уезжать, *такая усадьба хорошая, а что сделаешь — ни магазина нет, ничего*. Она последняя (Аксинья Ивановна Зиновьева) уезжала оттуда. Приехала с Украины и прожила на этом месте, детей родила. Потом пришлось бросить. И все уезжали так. Я не знаю*, с радостью-то кто уезжал?!* А ведь *только мосты построить, и не надо трогать*». Д. П. Шмакова (У.-Калманка) сказала: «Да я бы щас ушла туда [Соцмаяк] пешком, даже хоть бы наша избушка стояла… Ой, я уже четыре года, однако, не была, как не больше. Как охота — страшно! У нас же могилки там. Хоть бы поглядеть. Там много похоронено у меня родни… говорят, что мало уже их там осталось. Там Мировой, видишь, пасут скота, и посевы пахали, под самую под речку, и дома были — все под посевами».

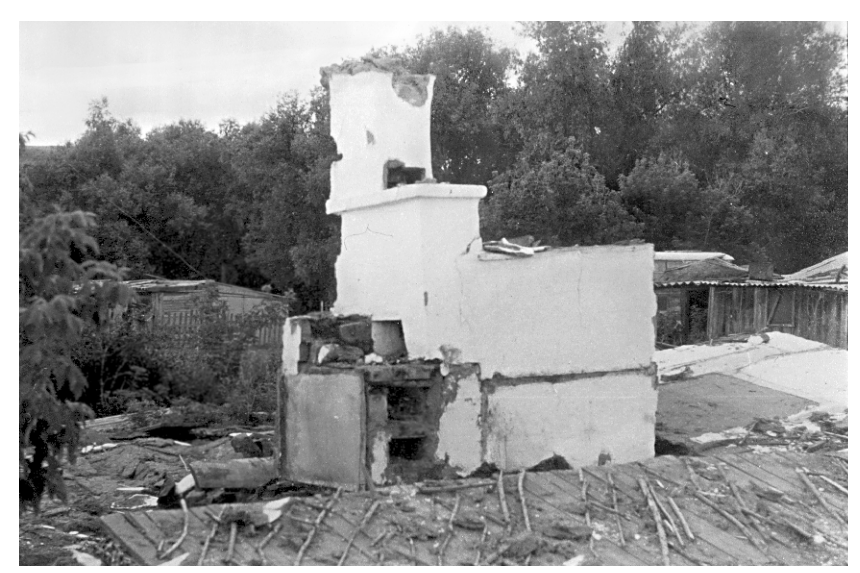
Респонденты «нижних этажей социальной лестницы» советского общества довольно низко оценивают результаты реорганизации сети населенных пунктов: «Все поразъехались. Никому ничего не надо стало. *Все ломать стали. Задумали укреплять деревни,* переселили людей из Семеновки в Порошино, Михайловку. *А толку-то нет. Сеять, пахать туда же ездят*» (И. Г. Богомолов). В Третьяковском районе на месте Раздолья «остались только люди пожилого возраста, сейчас там держат овечек. Там прекрасное место, красивая долина, много грибов, ягод, черемуха, боярка, река Алей течет. Гора Черный камень закрывает от северного ветра» (А. Ф. Елизарова), «на месте Кураевки сейчас как выпаса, отары три. Зерно-

Заброшенный дом в с. Лютаево (Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

хранилище еще там стоит. Пасеку там одна наша кураевская держала, так ее отравили, все пчелы погибли. Остались там фундаменты от домов, кладбище..» (Н. Е. Первутинская).

Народные истории отражают одинокость крестьян в период реорганизации сети поселений. Каждая семья самостоятельно выбирала свою траекторию дальнейшего обустройства, рассчитывая на свои силы. В их рассказах не прослеживается даже попытки апеллировать к государственной власти или опереться на колхозное самоуправление и профсоюзные организации. Каждый сам для себя решал вопросы организации переезда, направления миграции, места работы. Отчасти этим объясняется большой промежуток времени, который заняла ликвидация сел. Основная часть населения покидала села по мере сужения возможностей для работы и обучения и ликвидации материально-технической базы. Но многие крестьяне в силу разных причин до конца оставались в заброшенных населенных пунктах, даже без коммуникаций, света, радио. Поэтому процесс ликвидации, начавшись в начале 1960-х гг., затянулся до начала 1980-х гг.

В определенной степени затянутость процесса ликвидации неперспективных сел и проживание отдельных семей на месте разъехавшихся деревень можно объяснить не до конца утраченной самостоятельностью крестьян, которые «в одиночку», без поддержки государства в период кресть-



Печь на месте разобранного дома (с. Антошиха, Третьяковский р-н). Фото 1992 г.

янской цивилизации были способны осваивать огромные целинные земли. Многие оставались в заброшенных селах до полутора десятков лет, используя возможности единоличного крестьянского хозяйствования на земле и адаптации к экстремальным условиям за счет развития собственного хозяйства и крестьянского труда. М. И. Казазаева (с. Черновое, Смоленский район) рассказывала: «Моя мать и ее родная сестра (Дарья и Татьяна Степановна Черемнёвы) *уехали из села* [Сосновка, Смоленский район] *последние, в 1973 году. До этого пять лет жили одни.* У них была лошадь. Приезжали на лошадях [в Черновую], покупали продукты, пенсию получать, а остальное свое было. Они держали корову, поросенка, кур. Летом там пастухи жили. А бабули жили зимой, печь топили. Кругом дома пустые были». По воспоминаниям Д. П. Шмаковой, в с. Соцмаяк в 1962 г. «мы поехали почти последние. Там оставалось дворов 7, не больше, а уже ни школы, никого не было. И опять же наш дед, моей золовки дед, брался овечек пасти единоличных, ну вот собственных своих (с личных подворий колхозников). Он их там пас и жил. И около яго ешо дворов 5 или 6 жили. И все, старухи оставались, уже не знали, куда ехать…».

Интервью показали, что кто-то из оставшихся жить в ликвидированных селах жалел бросать дома, кто-то зарабатывал пенсию. М. К. Останина рассказывала о своей судьбе и судьбе последних жителей с. Спартак: «Те уехали на Сосниху, в Ново-Калманку… А мы до пенсии еще дорабатыва-

Дом, перевезенный из исчезнувшего села Молоково (с. Быково, Шелаболихинский р-н). Фото 2005 г.

ли. Жезков жил, Артамониха и мы. Жезков потерял варежки, за соломой ходил. Взял фонарь и пошел. Артамониха замкнула хату, прибежала ко мне. Говорит: „Волки ходют...“ Они в деревне бродили, волки. А потом мы глядим — Жезков. А она тогда: „О! Это Жезков ходит. А мы думали — волки“... Без света. Да каво? Лампа керосиновая. А надо было мне доработать до пенсии. Я охраняла телят — тогда ведь еще телятник был. А к зиме их в Нижнее-Бураново угоняли... Лето тут пасут, а на зиму угоняли. Вот мы и дорабатывали до пенсии... А Жезков, он жил, ему дом деревянный жалко бросить было. Ну он жил, жил... Я уехала.. Артамониха уехала... И Жезков уехал к сыну тогда. Литухи, стены стояли. Потолки-то они разобрали, а потом тракторами все сгрузили и засеяли пшеницей наши дома. Все пшеницей засеяли да гречихой, и пасеку сделали».

Привязанность к земле отражают и рассказы о многочисленных попытках крестьян вернутся в места исчезнувших сел. О. Ф. Казанцева рассказывала о своем односельчанине из Искры Смоленского района: «У нас из Искры был Витька Черничев. *Он ходатайствовал, чтобы поставить дом* [в неперспективных селах строительство было запещено]. Все время хотел вернуться. *Его потом отсель смыли — не дали дом построить.* Хотел на старом месте поставить дом. Почему ему не разрешили?» Непонимание власти и общества, иногда перераставшее в противостояние, усугубило неготовность и нежелание власти организовать переезд людей и их обустройство. Поэтому индивидуальные оценки реорганизации деревни в этот период в устных рассказах часто зависели от судьбы конкретной семьи в

период ликвидации родного села. Так, О. Ф. Казазаева одной из последних уехала в 1974 г. из Искры: «Мне некуда было деваться. Мне обещали мой дом сюда перевезти и поставить, а потом отдали другой. В Черновой освободилась квартира». А у А. К. Дорофеевой осталась благодарная память. Она «боялась ехать в Тырышкино [Ново-Тырышкино], рушить все в Сосновке. А нас так встретили хорошо: коней дали [перевозиться], забросили [перевезли] лес, отцом заготовленный. А пока строили [сами], у родственников в избушонке жили».

Вместе с тем ее последующие комментарии этих событий показывают, что судьба их семьи была нетипична: «Мы свой дом перевезли, а кто продавал — на степи [Сосновка располагалась в горах] купят. *Колхоз другим не помогал перевозить дом*». Некоторые пытались продавать дома. Д. П. Шмакова (У.-Калманка) рассказывала: «Мы потом уехали сюда, дом остался у нас [в Соцмаяке]. Мы побоялись, не знали, не стали продавать. Тятя ишо оставался, там жил… а мы когда уехали, поехали к нему из Огней покупатели… И мы за тыщу рублей отдали его… *А был крестовый дом*, знаешь, *листвянный, высокий, окна старинные*… А приехали, тоже не на что тута, каво? *Купили избушечку себе, веришь*? Вот такие две комнатки… А че, уже трое ребятишек было. А в колхозе денег не было. *А колхоз не помогал*. Не! Даже разговору не было. *Уезжайте, ничего вам нет. Разговору даже не было, чтоб колхоз помогал, ни одному, не знаю даже, чтоб хто-нибудь сказал, что помогали*. Вот так и продали в Огни». Анализ рассказов о реструктуризации сел в определенной степени показал лицемерие центральной власти, возложившей на финансово маломощные хозяйства колхозов и совхозов организацию переезда. Это способствовало укреплению недоверия к местной администрации.

Устные свидетельства показывают, что ликвидация сел по сути подорвала общинную традицию «жизни миром». Административное решение реорганизации сети поселений разрушало сельские трудовые общества, в которых существовали сложившиеся традиции и отношения. Многие переселенцы из своих сел на центральные усадьбы говорили о чужеродности в деревенском мире нового местожительства. Вспоминая жизнь в с. Искра, его жительница рассказывала про своих односельчан: «Хорошо там было. *Там и люди были „сходливые", а тут вот не такие*. В Черновой [куда она переехала после ликвидации Искры] все собрались своим клубком, а я как посторонняя. Я приехала сюда — иду доить дояркой — прошу лошадь. Хожу, хожу по деревне и запрячь некому — „едь в свою Искру". Не любили искровских [в Черновой]. Не надо было искровских сюда». Об этом же говорят и другие участники «перетусовывания» деревень. Как образно определила Д. П. Шмакова, «ну когда уже колхозы и совхозы слилися, тут уже *сами по себе стали*». Для сельского жителя сложившиеся родственные и со-

седские отношения являлись стабилизирущим фактором в трудных бытовых условиях. Они рассчитывали на помощь и взаимовыручку своего общества. В этом свете можно задуматься над высказываниями тех историков, которые призывают «обратить внимание на организационное сходство колхозов и сельских общин, особенно в бедных селениях» [26. с. 639]. В этом плане административная «перетусовка» населения в период ликвидации малых сел подрывала преемственность в историческом развитии деревенского общества в доколхозный, колхозный и реорганизационный периоды. До сих пор в сельской среде центральных усадеб сохранилось деление на своих и приехавших из ликвидированных отделений колхозов и совхозов. Такая дифференциация маркируется в прозвищах: это «куранихинские», «сосновские», «ревневские», которые противопоставляются друг другу. Такая ситуация проецируется на все аспекты и уровни жизни — повседневной, общественной, трудовой; от детских забав и подростковых игр до выборов в органы сельского самоуправления — из «своих» или из «чужих».

Массовость однотипных устных свидетельств позволяет говорить о высокой степени достоверности народных оценок методов аграрной политики. Прежде всего народная интерпретация отразила традиции партийно-государственной практики, которая расходилась со «словом» административно-партийных документов и инструкций. В нормативных документах, в частности, объявлялся добровольный принцип укрупнения: «объединение мелких колхозов в более крупные проводить на добровольных началах, широко организуя разъяснительную работу среди колхозников о целесообразности этого мероприятия» а при безальтернативной ликвидации неперспективых сел предполагалась финансовая поддержка людей, переселявшихся из неперспективных сел [17, с. 615]. Анализ воспоминаний показывает, что, несмотря на провозглашенный принцип добровольности, укрупнение колхозов и последующая ликвидация неперспективных сел проводились чисто командно-административными методами, без научного прогнозирования и перспективной оценки развития населенных пунктов, без учета настроения местного населения, без финансовой поддержки переселений из ликвидируемых сел. В результате повсеместно начался процесс принудительно-добровольного переселения: как сказала М. С. Нисина, «раз верхние склоняют, куда ведут — иди. Сначала соединили Дмитриевку, Троицкое, Большой Луг и Вакулиху, и стал один колхоз. Потом соединили со Староалейкой». Интересно преломились в памяти простых колхозников аргументы агитаторов: «Собрали колхозное собрание и сказали: вот так, кто куда желает, только чтоб из поселка уехали. Объясняли, чтобы колхоз большой был. Что, дескать, по поселкам ездить. У кого один трактор, у кого ни одного». В аргументах агитаторов крестья-

не восприняли то, что их самих волновало. «Меньше, дескать, начальства будет, а то на каждый поселок по 30–40 начальников: у каждой бригады свой бригадир и помощник, и бухгалтер, и счетовод… Вот и соединили, чтоб начальства меньше стало. У нас один бригадир стал на 4 поселка». В этом плане устные источники обладают большим потенциалом в изучении такой важнейшей проблемы социальной истории, как взаимоотношения на производстве между нижними этажами (рядовые колхозники, рабочие совхозов) и верхними этажами (администрацией). В частности, исследование такого вопроса, как роль интересов и настроений в трудовых коллективах во взаимодействиях с «начальством», помогают понять современную социальную ситуацию постперестроечной России.

В результате в представлениях крестьян реорганизация деревни, ее этапы (укрупнение колхозов, перевод колхозов в совхозы, ликвидация неперспективных сел) слились в единый процесс: «…Как *объединили в колхозы*, так почти потом сразу и *совхозом стали*. А потом *присоединили* Б. Заимку, Куяча, Таурак и Куяган. Совхоз один — в Куягане центр. Булатово, Казанка, наши, Никольское. Семь сел в один совхоз… Потом Б. Заимка *начала исчезать, как объединили в колхозы*, и там кто в Алтайское, кто в Куячу, и *все разъехались* и *весь совхоз растянули*. Было два двора в Маркитанке, скота было два гурта. По сотне голов в гурту на Заимке. *Сейчас там даже столбика нету*. Дома кто куда — какие на дрова, какие дома увезли в Алтайское. Остался один дом с яманами (козы), с них пух чесали» (Я. Ф. Серебрянников).

В народной интерпретации процесс сокращения населенных пунктов получил единое название — «укрупнение», «присоединение», «соединение», «объединение», «слияние». Этот процесс был для них искусственным. В определенной степени представления о его искусственности опирались на предшествующий опыт доколхозной деревни. До 1930-х гг. в развитии сети населенных пунктов шел процесс разукрупнения крупных сел на выселки, хутора, заимки, общество которых определяло свои возможности, границы обрабатываемой земли. С коллективизации 1930-х гг. начался инициированный государством противоположный процесс — укрупнение населенных пунктов, объединение земельного фонда, что повлекло за собой сокращение поселковой инфраструктуры.

Респонденты, путая время, названия, сущность партийных кампаний по реорганизации деревни, совершенно точно определяют, что генеральной линией стало укупнение населенных пунктов и последующее сокращение их численности: «Село [Зеленый Клин] стало исчезать, потому что не стало работы. Потому что угнали скот в Солоновку, убрали школу, магазин. Стали укрупнять в 1963 г., а в 1968–1969 гг. начался массовый отъезд. Мы увезли свой дом в 1970 г. Работы в последнее время не было, все

работали на свекле. У кого дети подрастали — уезжали: детей надо было растить». Тем самым крестьяне выделяют логическую нить, на которую нанизывалась вся партийно-государственная политика: создание крупного производственного сектора в деревне и трансформацию крестьянской деревни в поселки городского типа и ликвидация малодворных сел.

В характере, структурировании и построении рассказов о гибели родных сел прослеживается традиция устного народного творчества. В них есть добрые и злые силы, есть завязка и развязка, есть определенный ритм повествования. Все рассказы начинаются одинаково: «жили — не тужили». Концовки также похожи: «разъехались кто куда… жалко… плакали». Такая одинаковость отражала объективность толкований реализации аграрной политики и одновременно традицию устного рассказа. Эта традиция отражается прежде всего в эмоциональности устных источников. К сожалению, она не воспроизводится при письменной передаче устного рассказа. Это особенно справедливо по отношению к народной речи. Ее словарный запас может быть довольно беден, а грамматические конструкции крайне просты. Эта особенность зачастую сбивает с толку начинающего устного историка-практика, создает впечатление, что все говорят одно и то же. Действительно, респонденты из разных сел и разных административных районов используют одни и те же слова, одни и те же выражения. Но эта повторяемость отражает общую оценку, сформировавшуюся у людей с различным жизненным опытом, что позволяет говорить о достоверности их субъективных толкований. В частности, характеризуя деятельность государственных органов по ликвидации сел, респонденты используют глаголы «растащили», «разорили», «раскурочили», «нарушили»: «В 70-м году нас разорили, весь народ разъехался, кто куда», «когда *деревню нарушать стали*», «большая была деревня — *все раскурочили*», «*нарушили весь поселок*». Для примера приведем два отрывка крестьян из Третьяковского района: «Деревня была небольшая, дворов 68. Сейчас все там выпаса, коров доят. Наше Поручиково был один колхоз „Заветы Ленина“, году в 51-м нас сначала соединили с Михайловкой, потом года 2–3 мы были соединены с Крючками, а потом соединили с Плоским. И потом дали нашему колхозу название „Прогресс“. Это уже было, когда нас присоединили к Михайловке. В 70-м году *нас разорили*, весь народ разъехался кто куда, сюда [Михайловка] человек 20 переехало… Предлагали, когда *сливание* было, чтобы все свои дома перевозили, но куда их везти, это же не так просто. Место там золотое, песочек, зелень, цветы. Речушку запружали постоянно… Когда деревню [Поручиково] *нарушать стали,* в первую очередь клуб, школу ликвидировали. И люди, у кого дети были, сразу переехали. Когда дома перевозили, говорили, что деньги брать не будут [за перевозку], но и дом потом твоим считаться не будет» (З. М. Шишаева).

Подобным образом выражает свое отношение к советской политике жительница ликвидированного с. Петровское: «Прожили мы там 4 года. Домов там было много, большая была деревня — *все раскурочили. Поселок там был хороший*. Там была бригада, скота много держали, хлеба сеяли, семечки и траву, и ячмень, и овес. Ну как же не сеяли, там вон какие поля, все сеяли… С Новоалейки приехал у нас один: всё, говорит, не будет Петровского». Всё прикрыли, а жить кем? *Вот так нарушили весь поселок*» (В. А. Коломина, 1924 г. р.).

В этих отрывках устное повествование отличается примитивностью с точки зрения грамматического строя, содержит много избыточных выражений и отклонений от темы, эмоционально. Но именно эти «излишества» показывают эмоциональные переживания рассказчиков, указывают на характер их участия в описываемой истории и на то, как излагаемые события воздействуют на них. А паузы, интонации, понижения и повышения голоса напоминают эпический стиль повествования. Именно поэтому необходимо использовать технические средства записи, поскольку без эмоционального контекста теряется часть информации, отражающей личное отношение человека к событиям. Именно поэтому большинство историков считают правомерным выделение устной истории в качестве самостоятельного и нового направления исторических исследований только при условии применения звукозаписывающей аппаратуры (аудио- и видео-). Благодаря ей удалось зафиксировать общее мнение крестьян, что советские аграрные преобразования «разрушили» или «раскурочили» деревню.

Партийно-государственная агитационная деятельность завершилась деформацией психологии сельчан: формировалось чувство превосходства горожан над деревенскими, утверждался более низкий социальный статус колхозников (крестьян) в обществе, возникли уничижительные прозвища «дерёвня», «колхозник», «деревенщина». У крестьян под воздействием неотвратимости гибели периферийных сел утвердилось суждение, что село доживает свой век и рано или поздно из него все разъедутся. Народная молва закрепила массовый отток сельского населения и гибель малодворных сел. Сельчане не видели перспективы для своих детей. Под влиянием государственных преобразований продолжалось выхолащивание экономической самостоятельности индивидуального хозяйства, формировалось иждивенчество колхозов и совхозов. Значительная часть крестьян разучилась самостоятельно вести хозяйство, ожидало помощи от государства. Земля потеряла свою ценность, и крестьяне стали стремиться переезжать в город. Большинство людей уже в 1960-е гг. психологически были готовы покинуть малую родину. Об этом свидетельствует тот факт, что большая часть населения исчезнувших сел мигрировала на значительные расстояния (покинув не только ареал сельской местности, но и родной ре-

гион); только часть из них оставалась в ближайших селах. Этот факт подтверждают как материалы статистики, так и живые свидетели: «Исчезли вокруг нас Новопутинка, Кураевка, Ключи, Петровское, Чесноки, Семеновка тоже... Из этих сел уезжали в основном в Усть-Каменогорск. Сюда [на центральную усадьбу, с. Раздолье] из этих сел никто не поехал. В Раздолье остались только люди пожилого возраста» (А. Ф. Елизарова).

Подобную переориентацию и трансформацию ценностей иллюстрирует М. Ф. Ляпина в рассказе о ликвидации с. Петровское: «В 60-е годы село стало распадаться, когда было укрупнение сел, соединили Новоалейку и Верх-Алейку. Люди разъехались по городам — в Усть-Каменогорск, Лениногорск, в деревни — Верх-Алейку. В Верх-Алейку переехали из Петровского — Бунина, Блиновы...».

Такая психологическая установка способствовала продолжению по инерции процессов сокращения сети сельских поселений в Алтайском крае до сегодняшних дней, что усугубляется отсутствием конструктивной программы развития села. Если с конца 1980-х г. процесс гибели сельских поселений замедлился: в 1989 г. исчезло 12 поселений, а в 1990 г. — 1, в 1991 г. с учета не было снято ни одного пункта, то с 1992 г. процесс снова начал набирать силу: только в 1992 г. исключены из учетных данных из-за выбытия населения 6 поселений: Сережиха Заринского района, Половниковка Калманского района, Макарово Кытмановского района, Малиновка и Покровка Топчихинского района, Федотовка Ключевского района; в 1994 г. — Таврический Верх-Суетского района; в 1995 и 1997 гг. — Новенькое Немецкого национального района; в 1996 г. — Преображенка Табунского района, Еропаново и Шумиха Солтонского района. А в период проведения переписи (2002 г.) с учета было снято 9 поселений. Особенно активно в последние годы сокращается сеть поселений с населением менее 500 человек. Запущенный государством процесс ликвидации сельских поселений стал необратимым и является разрушительным для аграрного Алтайского края с его глубокими культурно-историческими традициями крестьянского мира.

5.4. Крестьянская традиционная и советская административная модель поселенческой инфраструктуры в толковании крестьян

Народная интерпретация развития поселенческой инфраструктуры разных районов Алтайского края в доколхозный период отражала адаптацию крестьянского семейно-общинного производства к «кормящему ландшафту» и товарно-производственную дифференциацию сельских сообществ. В начале XX в. в соответствии с природно-климатическими условиями формировалась хозяйственная специализация семейного производства алтайской деревни — земледельческая и земледельческо-скотоводче-

ская (центральные лесостепные районы), скотоводческо-земледельческая (предгорные и горные районы), скотоводческая, кустарная (таежно-горные и лесные районы), скотоводческо-кустарная (таежные, лесные территории). Жизнедеятельность поселковой сети с сочетанием многодворных и малодворных поселений базировалась на товарообмене. Традиции натурального товарообмена сохранились и при колхозно-совхозной модели в период начала технической модернизации. Слабая техническая оснащенность усиливала зависимость сезонного сельского хозяйства от климатических условий конкретной производственной местности. Преобразование деревни в 1950–1960-е гг. с укрупнением сельскохозяйственного производства и администрированием не учитывало сложившегося географического разделения труда и районирования сельскохозяйственного производства, отличавшегося в резко-континентальном климате Алтайского края дробностью производства сельскохозяйственных культур в границах небольших территорий. Реорганизация сети населенных пунктов для всех товарно-экономических районов сельскохозяйственного производства проводилась одинаково — сверху вниз. «Истории снизу вверх» отразили негибкость управления сельским хозяйством при использовании модели управления сверху вниз. Это показывает сравнение советской сельской инфраструктуры в разных по природно-климатическим условиям зонах сельскохозяйственного производства на Алтае.

Восточная таежная и притаежная зона. Особенностью развития поселковой инфраструктуры восточных районов, которые расположены в бассейне р. Чумыш, притока Оби (Залесовский, Кытмановский, Заринский, Тогульский, Целинный районы), в доколхозный период являлось скотоводческая и кустарная специализация производства. Территория Причумышья — это наиболее пониженная, хорошо дренированная речной сетью равнина с заболоченными впадинами, старыми руслами рек (Чумыш часто называют землероем за его способность постоянно менять русло) и холмообразными повышениями, образованными в основном отложениями песчаного характера. Крайняя восточная часть Причумышья относится к Салаирскому кряжу, занята осиново-пихтовыми лесами, называемыми черневой тайгой. Климатические условия, обусловленные понижением (впадиной) и Салаирским кряжем, не являются особенно благоприятными для хлебопашества. В растениеводстве преобладают рожь, ячмень, овес, кормовые и технические культуры. Это традиционно места для занятия скотоводством, пчеловодством, собирательством (сбор грибов, ягод, папоротника), лесозаготовками и т. д. Уже в советское время территория Причумышья попала в две экономико-географические зоны: Бийско-Чумышскую (левобережье) с характерным зерно-скотоводческим направлением, с мясо-шерстным полутонкорунным овцеводством, развитым сви-

новодством, посевами сахарной свеклы, и Присалаирскую (правобережную) с выращиванием льна-долгунца, заготовкой леса, лесными промыслами, пчеловодством, охотой.

Хозяйственная адаптация поселенцев к природно-климатическим условиям Причумышья в крестьянский период обусловила вариативность поселково-хозяйственной системы. Сложившаяся сеть имела разнообразные перспективы хозяйственного развития. Комбинация специализаций производственного сектора зависела от конкретного ландшафта. Например, территория Кытмановского района делилась на две зоны: левобережье Чумыша — лесостепная холмистая местность с развитой сетью сельскохозяйственных поселений, правобережье — предтаежная и таежная часть с развитой системой кустарно-скотоводческих заимок, хуторов, лесных поселков. Только хуторов в 1920-е гг. на территории района было свыше 30, многие из них переросли в поселки (например, Золотое Корыто). Хозяйственная адаптация малодворного крестьянского хозяйства этой зоны отразилась в пословице «воткнешь оглоблю в землю — телега вырастет». Соседний Целинный район раньше назывался Яминским, так как его деревни располагались в «природной яме» — низменности. Климат Кытмановского и Яминского районов отличается резкими перепадами температур, поздними весенними и ранними осенними заморозками, что не способствовало земледельческому производству. Наличие развитой гидросети, начинающаяся салаирская тайга обусловили широкое развитие промыслов, в том числе по заготовке леса и скотоводству. Хозяйственная специализация в условиях таежного «кормящего ландшафта» носила более потребительский характер, населенные пункты были малолюдны с большими производительными угодьями, являвшимися источниками сырья для кустарных промыслов. Скотоводство также требовало обширных пастбищ и сенокосов. Именно поэтому правобережье Чумыша обросло большим количеством хуторов, основанных мигрировавшими на Алтай в столыпинский период выходцами из Прибалтики, для которых малодворные поселения являлись традиционной формой освоения территории. По такой же схеме заселялись другие восточные территории Алтайского края: достаточно привести примеры Залесовского, Заринского, Кытмановского районов.

На первом этапе упорядочивания колхозного землепользования в этих районах в 1930-е гг. исчезло большинство малодворных хуторов и кустарных поселков. В 1950–1960 гг. процесс продолжился. Так, в Кытмановском районе исчезло 5 населенных пунктов — поселок Атаманиха, поселок Заготской, поселок Александровка, деревня Большая Пановка, деревня Черемнов Лог (укрупнили, соединив с Дмитро-Титово). К 1970 г. исчез поселок Синюха, который был основан переселенцами из Латвии. Его судьба

была типична. По воспоминаниям Мильды Мартыновны Калковской (Смейл), ее родители приехали из Латвии в 1905 г. В самом поселке насчитывалось около 40 дворов, остальные поселенцы жили по хуторам: в 4,5 км от Синюхи находилась Неждановка, в 7–10 км — Кружало, в 9 км — Хмелевка, в 3 км — Таловка. Респондент вспоминает, что вокруг Синюхи было мало пахотной земли, таежные условия отличались частыми заморозками, поэтому там сеяли не пшеницу, а рожь, просо, лен. Хлеб же жители поселка «покупали» «на степи» (так называли села левобережья Чумыша). Благодаря обилию леса сельчане занимались изготовлением посуды из дерева, заготавливали дрова, которые продавали или выменивали на хлеб «в степи». К 1940 г. в поселке были образованы свой колхоз «Целтне», что в переводе означало «Подъем», и коммуна «Строитель». С включением поселка в административный сектор (колхозно-кооперативный) в Синюхе стали «заниматься клевером», «сдавали семена государству». Как говорят старожилы, «клевер выручал»: за центнер клевера давали 4 центнера пшеницы. Именно в это время в поселок стали съезжаться люди из окрестных деревень. В 1950-е гг. Синюху соединили с Хмелевкой затем с Таловкой, потом к ним присоединили Макариху, образование и развитие которой также было обусловлено природно-климатическими условиями.

Макариха была образована кустарями-переселенцами, преимущественно из Вятской губернии (Урал), заселившими привычные для них таежно-лесостепные зоны с наличием сырьевой базы (дерево, глина, известняк и т. д.). Поселок стоял на притоке р. Сунгай. Как говорят старожилы, земли было мало, «жили промыслами». Население славилось своим гончарным промыслом, «вятские» гнали деготь, пихтовое масло и жгли известь и древесный уголь. Мастера из Макарихи возили продавать свой товар «на степь» по деревням, многие земледельцы сами приезжали в поселок для покупки глиняной посуды. В начальный период колхозного строительства (1930-е гг.) на основе производственных традиций вятских в поселке была создана промартель, где работало над изготовлением мебели около 10 человек. На базе кустарных сел (Макариха, Синюха и др.) был образован крупный государственный леспромхоз. Села исчезли в 1970-е гг. Причины гибели села респонденты толкуют так: «Когда лес был вырезан, тогда все и поразъехались». Предпоследним из Синюхи, примерно в 1975–1976 гг., уехал Эрнест Августович Вейс. Жителям, которые умели извлекать товарную выгоду из ресурсов окрестных мест, в условиях укрупнения и администрирования производства делать было нечего. Огосударствливание труда вынуждало их вливаться в другие производственные коллективы, выполнявшие государственные заказы.

В целом с 1970 по 1980 гг. на территории Кытмановского района исчезло 11 селений, с 1980 по 1990 гг. — 4 (3 поселка и 1 село) [18]. Всего с карты

Кытмановского района с 1950 г. исчезло 19 поселков и 8 селений. В результате густая сеть кустарно-скотоводческих малодворных поселений правобережья Чумыша была уничтожена. Территория обезлюдела. В постперестроечный период, после начавшейся реорганизации колхозно-совхозного производства, ухудшавшей положение сельского товаропроизводителя, процесс сокращения сети населенных пунктов продолжился. С 1991 г. исчезли поселки Врублевский (60 человек), Крумово (27 человек), село Заречное, поселки Антолинский и Ключи. Крестьяне продолжили искать промышленные заработки в шахтерской Кемеровской области. Такие же процессы возобладали в Залесовском, Заринском, Тогульском районах. Тяготение населения этих районов к промышленно развитой Кемеровской области сформировалось еще в колхозно-совхозный период. Е. С. Малютина (Малиновка, Заринский район) вспоминает: «Молодежь уходила, где-то там приглянулось… и два дня выходных [на предприятиях], а в колхозе же не было выходных, как возьмешь матушку-литовку и начнешь вкалывать. Больше всего почему-то стали уезжать отсюда в Гурьевское, в Кемеровскую область. Там шахты были, там заработок был хороший. Туда уезжали».

Мебель, изготовленная в промартелях, была широко распространена в сельском быту в 1940–1960-е гг. Заринский р-н. Фото 1999 г.

Эти негативные процессы являлись следствием советской модернизации через коллективизацию и концентрацию производства по пути укрепления и укрупнения поселений с административным нивелированием и выхолащиванием крестьянской поселенческой инфраструктуры. Более того, государство стремилось к большей универсализации сельскохозяйственных предприятий с возможно большей независимостью от природно-географических условий, навязывая единую схему развития, которая была разрушена уже в постсоветский период. Примером является развал со-

Заготовка леса (Тогульский р-н) Фото 2006 г.

ветской системы лесозаготовок и льняной отрасли причумышских сел. Уже в советское время вся причумышская территория превратится в крупнейший район заготовки леса не только для Алтая, а всей России, река Чумыш — в артерию для сплава леса, а горные речушки, берущие свое начало в горах, — в капилляры этого лесосплава. Именно в тайге вдоль этих гор зимой заготавливали лес и далее по вскрытии речушек мулем (свободным плаванием) пускали его до Чумыша, а по Чумышу — до Тальменки на Алтайскую железную дорогу, где он вылавливался и отправлялся по железной дороге. Эта самостоятельная страница истории Причумышья, связанная с развитием лесного хозяйства, которое с 30-х годов XX в. стало стремительно опромышляться, что было связано с необходимостью увеличения лесозаготовок — лес шел как на внутренние нужды, так и на экспорт, обеспечивая стране валютные поступления. Причумышье относилось к обеспеченным лесом территориям, где лесохозяйственный сектор оказывал существенное влияние на характер и динамику социально-экономического развития. Лесозаготовки и лесосплав являлись важнейшим и значимым типом хозяйственной деятельности причумышских хозяйств. Сегодня лесосплав практически ушел в прошлое и больше не возродится, хотя он еще сохраняется в памяти многих поколений как тяжелый, но более доходный по сравнению с сельским хозяйством труд. Если в досоветский период заготовка леса в крестьянских хозяйствах осуществлялась

Подготовка к зиме на сельском подворье. Тогульский р-н. Фото 2006 г.

своими силами, то с образованием советского государства появляются специальные предприятия — лесхозы и леспромхозы, которые занимались, в том числе и заготовкой леса, как для организаций и хозяйств местного значения, так и для общегосударственных нужд. Таежные леса Салаирского кряжа, наряду с лесами Приобского массива и горными лесами Алтая были отнесены к лесопромышленной зоне. Например, Тогульский лесхоз (с 1968 г. — леспромхоз) имел свои отделения в ряде населенных пунктов: Ивановка, Тогул, Старый Тогул, Антипино, жители которых и работали на лесозаготовках. Однако заготовка леса для всего населения, особенно в военные и послевоенные годы, стала обязательным трудом, так как рабочих рук не хватало, а заказы на лесозаготовке увеличивались. Поэтому в заготовку леса были втянуты и колхозы, которые, в том числе для собственных нужд, организовывали бригады в зимнее время на лесозаготовки.

Местные жители рассказывали, что колхозу устанавливался план по заготовке леса. Работы для колхозников начинались с ноября. Валку леса проводили вручную, поперечной пилой, затем доставляли его к берегам крупных рек, таких как Уксунай, Тогул, Чумыш. Перед тем как «сваживать» лес к берегу, его «креживали» по 4–4,5 метра, в зависимости от заказа. Возили лес в основном на лошадях монгольской породы, так как в войну всех хороших лошадей забрали на фронт. Для перевозки леса использовались сани и полусанки. Полусанки использовались в случае большой

длины бревна, при этом на сани клали «комель», а на полусанки — вершину дерева (Н. Я. Саунин, с. Тогул). Зимой по сопкам лес старались не перевозить на санях, поскольку это могло привести к гибели лошадей, а тащили волоком. На берегу лес «таборили», то есть складывали в кучу, в несколько рядов. Между рядами клали так называемые «лёжки», чтобы бревна не примерзали друг к другу. Благодаря лёжкам лес легче было сваливать весной в реку: «На эти лёжки накатаешь брёвен, и снова лёжку кладешь. И так рядов пять. Это чтобы не пристывало, и скатывать-то потом легче» (П. Г. Савинцев, с. Тогул). На лесозаготовках, колхозники работали бригадами по 5–6 человек. Одна бригада работала месяц-полтора, затем ее сменяла другая. Для организации работ на лесозаготовках леспромхоз обязан был построить на участке: бараки, баню, конюшню и обеспечить медицинское обслуживание. Но условия работ были очень тяжелыми. Колхозники, приезжая на заготовки, везли с собой продукты питания: муку, горох, гречиху, мясо, сахар, табак: «Хлеб нам привозила повариха, продукты, мясо — барана, бывает, заколет. Ну, в общем, кормили нас. Но я не желал бы то есть...» (Н. Я. Саунин, с. Тогул). Заработную плату же они, в отличие от лесхозовских рабочих, колхозники не получали, им выставляли трудодни. Отработки для них были принудительными, в связи с чем нередки были случаи побегов с рабочих мест.

В отличие от колхозников, леспромхозовцы являлись кадровыми рабочими и заготавливали лес круглый год. Рабочий день начинался с 8 часов утра и продолжался до темноты. Рабочие леспромхоза обеспечивались спецодеждой: летом — верхонки и железная каска, зимой — валенки, фуфайка и штаны. Проживали рабочие леспромхоза также, в бараках, по 100–200 человек. В самом бараке был продовольственный ларек, в который привозили предметы первой необходимости: табак, конфеты, сахар, спички. Работа велась по графику: перед началом сплава леспромхоз выделял отдельную бригаду, которая проводила чистку берегов от тальника; с приходом весны начиналась работа по сплаву леса. Перед самым паводком лесозаготовители сталкивали бревна в реку и лес плыл мулём, или, как еще называют, «плавежом». За плывущим лесом двигалась бригада «зачистки». В ее обязанности входило спускать по течению бревна, выброшенные на берег. Бригада зачистки проходила по берегам вдоль реки. Рабочие были снабжены длинными баграми, дождевыми плащами и сапогами. По реке зачистка велась на плотах и лодках. Плоты сооружались на лесозаготовительном участке самими сплавщиками. Одновременно по зачистки шло сразу несколько плотов. Каждый из них имел свое назначение: это мог быть и магазин, и столовая, и будка для ночлега (И. М. Сапронов, с. Шумиха). Иногда в процессе зачистки рабочие останавливались около деревень, которые располагались близко к реке: здесь местные жи-

тели продавали им хлеб, яйца, молоко. Когда лес шел по реке, часто образовывались заторы. В этом случае на помощь сплавщикам приходила бригада взрывников, которая устраняла преграду. По воспоминаниям респондентов, на сплаве встречались бревна-«утопленники», которые намокали и уходили на дно. Иногда лесное хозяйство организовывало вылавливание «топляков», и они шли на дрова в школы, больницы, общественные здания. Лесное хозяйство и лесозаготовки, начавшись в 1930–1950-е гг. при низком уровне механизации и технического оснащения, пройдя через техническую модернизацию 1960–1980-х гг. и выжив в 1990-е гг., начинают возрождаться в Причумышье на новой коммерческой основе, с лесопитомниками, санитарными рубками, лесовосстановлением, шишкосушилками, а переработка пиломатериалов превращается в доходное предприятие: пиломатериалы, столярные изделия, брус, шпалы, срубы идут на реализацию потребителям не только Алтая и Сибири, но Китая.

Одежда для лесосплава (с. Тогул). Фото 2006 г.

Визитной карточкой Причумышья стало развитие льноводства. На его территории выращивается замечательная культура — лен-долгунец, из которого производится льноволокно. На некоторых территориях лен-долгунец занимал в структуре посевных площадей до трети. Конечно, как и в любой другой отрасли хозяйства, в льноводстве большое значение имели исторически сложившиеся традиции и специализация районов, в частности опыт в возделывании льна и обработке волокна. Лен занимал большое место в крестьянском хозяйстве. Первые переселенцы вместе с зерновыми везли с собой небольшие мешочки с семенами льна. Каждая семья засевала им 1–0,3 десятины.

Льняное волокно. Тогульский льнозавод.
Фото 2006 г.

Первым крупным частным текстильным предприятием на Алтае стал Бийский льнокомбинат, основанный в 1907–1910 г. братьями Бородиными. На него работала вся крестьянская зона Причумышья. Уже в советское время на восточной причумышской территории края была создана целая сеть льнозаводов: Залесовский, Черемушинский, Яновский, Мироновский, Среднекрасиловский, Тогульский (позже была создана льносеменостанция на его основе), Нелинский, Чесноковский. Конечно, ассортимент продукции в 1930-е гг. был небогат: в основном – мешковина, брезент, грубая ткань (двунитка), пожарные рукава. Для управления развивающейся льноотрасли был создан льнотрест, среди агрономов были подготовлены специалисты по льну (в 1946 г. их было около 400). И уже к концу 1940-х гг. в крае насчитывалось 673 льносеющих колхоза и 248 хо-

Залесовский льнозавод. Фото 1980-х гг.

зяйств, выращивавших коноплю. Однако с переходом текстильных предприятий на среднеазиатский хлопок посевные площади льна сократились с 60 тыс. га в 1932 г. до 10 тыс. га в 1947 г. А в 1999 г. в Алтайском крае льном было засеяно всего 5,6 тыс. га, на полях Бийского льнокомбината — 44 га. Крупнейшее современное предприятие льноотрасли края — «Бийская льняная компания», которая является заказчиком с трудом возраждающегося в причумышской деревне льноводства. Возобновили свою работу тогульский и залесовский льнозаводы. В цехах их предприятий производится многооперационная работа, известная еще крестьянам причумышской деревни: растение мнут, потом треплют и чешут, потом прядут… На сегодня Бийская льняная компания, возможно является единственным предприятием на территории России, которое поддерживает полный цикл производства — от посадки до выработки льняного волокна и переходит на импортную технику и семенную базу.

Однако серьезной проблемой льноводческой отрасли является реализация льна. В Сибири ни одно предприятие не работает на этом сырье, приходится отправлять его в европейскую часть России. Если закроются на реконструкцию заводы в Иваново, то льноводческая отрасль Причумышья останется без основного рынка сбыта. Тогда будет потеряна еще одна культура — лен, как и многие другие сельскохозяйственные культуры Причумышья, которые из-за удаленности потребителя или отсутствия переработки ушли из производства. Проведенное в мае 2000 г. администрацией Алтайского края совместно с ассоциацией «Сибирское соглашение» межрегиональное совещание «Пути повышения эффективности льняного комплекса Сибири», где присутствовали делегации из 20 субъектов Российской Федерации, дает надежду на развитие этой отрасли Алтайского края, так же как и тот факт, что уникальные свойства льна ставят его производство в разряд стратегических.

В последние годы отток населения из этих районов усилился. Так, на территории Тогульского района осталось всего 8 сельских администраций и 15 поселений (исчезло более 50), перспектива развития которых крайне неблагоприятна. Многие из них находятся на грани исчезновения. Так, исследования 2006 г. на территории Шумихинской администрации показали, что в самой Шумихе осталось 34 жилых двора, хотя по переписи 2002 г. значится гораздо больше. Проживают в них около 80 человек (значатся более 200). Сельская администрация точной информации не имеет — дают адреса старожилов, которые уже не проживают в селе. Соседи сообщают, что они уже уехали. В школе учатся 7–8 человек. Сами жители говорят, что скоро село погибнет. Усугубляют положение принятие нового закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и начавшиеся в

связи с реформами в образовании мероприятия по оптимизации сети школ (слияние мало- и однокомплектных школ на базе одного села). Малые села живы, пока есть школа. А в 2,5 км от Шумихи еще числится село Малиновая грива — Малиновка. Ее основали переселенцы-белорусы. В нем стоит 3 дома, из них 2 пустых. В одном из них без света и коммуникаций живет случайный приезжий, которого не удалось опросить, так как он с утра уже «принял тройной одеколон». А в середине XX века на территории этой сельской администрации располагалось больше десятка сел — Большая Речка, Русянка, Богдановка, Мочище, Малое Мочище, Гудок, Соколовка, Приисковый и др.

Такая же перспектива и у с. Новоиушино Тогульского района, в котором по переписи 2002 г. числится 589 человек. Но только в 2005 г. из него уехали 33 человека, а к июлю 2006 г. — уже 22. Сами сельчане называют Ново-Иушино «умирающей деревней». В селе много брошенных добротных домов. Они все закрыты на замки или заколочены. Символом умирающей деревни выглядят найденные в одном из брошенных домов два сундука с лежащими на них пачками пожелтевших фотографий. В одном из них оказались вышитые рушники, на верхнем вафельном полотенце иголка с ниткой воткнута в конец незаконченной вышивки. А в другом сундуке лежало «смертное», которое готовят для себя бабушки в последний путь: одежда, покрывало и даже черная бахрома для обивки гроба. В остальных дворах люди живут подсобным хозяйством, в основном «за счет пасек и свиней»; производство в селах отсутствует, работы нет. В прошлом Тогульский район, как и другие районы Причумышья, славился племенным животноводством, льноводством, лесозаготовками. Таким образом, исторический опыт развития Причумышья показывает, что по своим географическим характеристикам он являлся благоприятной зоной для сельскохозяйственного производства. Но природно-климатические условия благоприятствовали для небольших крестьянских хозяйств, учитывающих особенности конкретной местности. Массовая ликвидация малодворных поселений, прогрессизм и стремление к «цивилизаторству», идущему вразрез с традиционным адаптированным опытом, сузили возможности динамического и прогрессивного развития этой замечательной в природном отношении территории. Причумышская деревня хранит в себе прошлое и пытается найти путь в будущее, опираясь на достижения крестьянской цивилизации. Хозяйства причумышской зоны с трудом приспосабливаются к рыночным условиям, делают ставку на модернизацию традиционных отраслей производства, пытаются восстанавливать предприятия лесного комплекса, льнозаводы, маслосырзаводы, мясные комбинаты. Но на сегодняшний день больше всего пригодился опыт лесных товарных заготовок в тайге, направления которых постоянно меняются в соответствии с конъюнк-

Упаковка папоротника-орляка (с. Залесово). Фото 2005 г.

турой рынка. В советское время, например, собирали много березового сока и поставляли его в Повалиху, где раньше существовал консервный завод. Сейчас популярной является заготовка папоротника-орляка, ставшая наиболее доходным направлением заготовки дикоросов, в том числе грибов, ягод, колбы, трав. Папоротник — это многолетнее травянистое споровое растение высотой до 1 метра. Заготавливают его побеги весной, они растут поодиночке, и их сбор требует много рабочих рук. Вкусовые и биологические качества папортника высоко ценятся японцами, которые закупают его ежегодно сотнями тонн, но все больше привлекают и россиян. Только в Залесовском районе на сегодняшний день действует несколько заготовительных предприятий. Предприятия «Феникс» и «Кедр» вместе заготавливают до 500 т, а райпо — 30–40 т. Эти же предприятия вернулись и к крестьянским лесным промыслам — сбору даров природы, предоставляя сельским жителям дополнительные рабочие места. Суммарно они заготавливают грибов (рыжиков, опят, груздей) до 10 т, боярышника и черемухи — до 10–12 т, зверобоя и душмянки — до 100 т. Лес Причумышья является также источником дров и строительных материалов, местом сбора грибов, ягод, лекарственных трав, местом охоты, рыбалки и выпаса скота. В настоящее время развивается и пчеловодство в притаежной зоне, которая славится великолепной природой, обилием разнотравья, экологической чистотой. Алтайская пчелопродукция ценится во всем мире: прополис, цветочная пыльца, маточное или трутневое молочко, медово-перговая

На рыбалке (с. Новоиушино, Тогульский р-н). Фото 2006 г.

смесь, воск, гомогенаты. Но главное, что хотят взять с собой все побывавшие на Алтае, — это ароматный целебный мед: майский, луговой кипрейный, липовый, гречишный, облепиховый, мед подсолнечника, мед с дягиля и т. д. Пытаются возродить и промысловую охоту.

Кризис в сельском хозяйстве имеет одно достоинство — сокращение обработки земли, вспашки и внесения химудобрений привело к расширению мест обитания животных. Рост численности барсуков, бобров, рябчиков, лис, сурков, зайцев создает идеальные условия и для любительской охоты. Особенно увлекаются охотой на медведя, лося, косулю. Воссоздаются охотхозяйства, которые ведут зимний маршрутный учет (подсчитывается поголовье животных по следам), фиксируют и корректируют популяции, подкармливают зимой косуль, пресекают браконьерство, следят за пожарной безопасностью. Но в условиях отсутствия государственной программы развития села и сельского производства все подобные попытки обречены на неудачу. Набравший темпы отток населения ведет к опустошению огромных территорий Алтайского края.

Горная и предгорная зона Алтайского края. На условиях товарообмена функционировала густая сеть поселений сельскохозяйственной и кустарно-скотоводческой специализации в предгорных и горных районах Ал-

Деревенская пасека (с. Верх-Коптелка, Тогульский р-н). Фото 2006 г.

тайского края (Солонешенский, Алтайский, Смоленский, Усть-Калманский, Краснощековский, Третьяковский). Самостоятельную перспективу развития, в толковании крестьян, имела группа кустарных сел — Никитинское, Чесноки, Зареченское и «казачьи» Ключи в Третьяковском районе. В первых жили выходцы с Урала (вятские), которые адаптировались на родине к непригодным для земледелия природно-климатическим условиям и при переселении на Алтай выбирали аналогичные территории. В результате выходцы из Вятской, Пермской, Тобольской губерний обживали таежные предгорные и горные территории, основывали небольшие поселки. В интерпретации очевидцев, села Никитское, Чесноки, Зареченское основали «российские, из Перми... Еще при Николае пришли. Российские и основали и Чеснокову, и Никитинское», «хлеб-то не сеяли, а кустарством занимались». Бывшая жительница Никитинского образно охарактеризовала состав населения: «Мой дед был кустарь, так и борозды не знал. И муж. Как где найдут осину на „обечайки", так туда и едут. Всю жизнь на ней работали», «другие в Никитинском — кто лопаты стругал вручную, срубы рубили, тес пилили вручную, деготь с берез» (С. С. Нечаева). На базе кустарных сел в начальный период колхозно-совхозного строительства были образованы промышленные артели, в которых население занималось при-

Село Лютаево (Солонешенский р-н). Фото 1990 г.

вычным для себя работами «с деревом». Так, с учетом наличия леса и ремесленных навыков жителей в Ключах был создан промкомбинат по производству мебели, кухонной утвари, инструментов, срубов, в Петровском создали мастерскую, недалеко открыли заводик: «Масло пихтовое гнали... Женщины лазили на пихту – рубили лапу [хвойную], мужики возили». В приусадебном хозяйстве крестьяне заводили пасеки, изготовляли ульи, держали скот. Личное хозяйство кормило семьи артельщиков. В ходе переустройства деревни 1950–1970-х гг. малодворные кустарные поселки были ликвидированы. М. В. Петрова оценивала последствия ликвидации Ключей следующим образом: «Там был промкомбинат, производили плахи, тес, дуги, табуретки, стулья, тумбовые столы, парты. За партами к нам ехали из других районов. Сейчас спохватились, а где взять лопату, столы? Спохватились, а людей не вернуть – все разъехались».

В предгорной и горной зоне Алтайского района с более мягким климатом за счет ликвидации малых сел сократились сельскохозяйственные производительные угодья района: заброшены небольшие пашни на склонах гор (мощная техника непригодна для их обработки), вытоптаны сенокосы, пашни, огороды и усадьбы на месте и вблизи исчезнувших сел. Так, на месте с. Лежаново Алтайского района сделали пригон, угоняли на лето дойный гурт, сейчас держат молодняк. В Дресвянке этого же района при

единоличном хозяйстве «главное богатство — скот. А для хлеба земли мало. Все ложки на лошадях пахали. А сейчас на этих отлогих местах на горах, солнцепеке, на технике не пропашешь. Сейчас на них овец пасут. У отца при единоличной жизни была лошадь. Вдвоем сбрасывались и пахали на пригорках. А кто раньше жил — у тех по логам пашня, кто позже, уж что останется». Поэтому особенно ценили в горах пригодные для хлебопашества земли, например в горном Филелеевом Логу: «Были ужасные поля. Там обширность большая (наше Маралье уже мне меньше нравилось). Поля большие. Какое раздолье!»

Интересную аналогию между хозяйственным развитием исчезнувшей Сосновки Смоленского района (20 км от Черновой в расщелине гор) в советское и в дореволюционное время проводит Ю. Г. Тутова: Основали село переселенцы. Мои родители были из Вятской губернии. „Вятские — люди хватские. Семеро тащили корову на баню пастись"... Были еще из Тамбовской губернии. Сосновку назвали по реке Сосновке. И кругом был сосновый лес. Деревня была — одна улица вдоль реки Песчаной... Мы жили на высоком берегу Сосновки и Песчаной. В Песчаной мы купались, в Сосновке брали питьевую воду (холодная, хорошая). Колодцев в селе не было — речная вода». В советское время, рассказывала Юлия Георгиевна, «основное направление села — животноводство. А хлеб сеяли только для скота. А вот до революции какие хлеба сеяли! Мама говорила: когда земли распределялись, много сеяли просо, пшеницу, ячмень, овес».

Вместе с тем апробированные десятилетиями сельхозугодья, оплодотворенные трудом крестьян и пригодные по своим качествам, климатическим и почвенным условиям поля, пашни, сенокосы до сих пор используются современными хозяйствами. Так, в наши дни ежедневно возят доярок из с. Алтайское за 18 км на место с. Лежаново, где раньше были ферма и выпасы. Показателен пример Надеждинки Алтайского района, где существовали более благоприятные условия для хлебопашества: меньше гор, камней, невысокие холмы. Надеждинка «давала основные хлеба» Пролетарке, а затем Сарасе. Основной причиной записи Надеждинки в неперспективные села было отсутствие хорошей дороги, невозможность добраться до нее. Село было разогнано, а когда его уже не стало, была сделана гравийная дорога, и в летнее время «кажный день возят из Сарасы за 30 км 1-ю и 2-ю бригады. А при вывозе хлеба половину теряют по дороге». То же произошло с Сосновкой: «*Объявили, что невыгодно держать село*. Когда все разъехались, тогда дорогу сделали, людей возили работать. И сейчас скот стоит» (И. П. Грец, с. Алтайское). Таким образом, сократилась в горах сеть небольших населенных пунктов, основанных крестьянами в местах пригодных для земледелия и скотоводства и ухудшились возможности сельского хозяйства в горной части Алтайского района.

Летняя печь (с. Верх-Коптелка, Тогульский р-н). Фото 2006 г.

Малые села выполняли свою функцию: места выпасов, заготовки сена, посева зерновых. В горном Солонешенском районе всего 20 км разделяли села Лютаево и Светлинское, но лишь около Светлинского можно было заниматься хлебопашеством. Однако оно было зачислено в разряд неперспективных. Н. И. Жиров, бывший председатель сельсовета, пытавшийся отстоять село, услышал в ответ: «Мы вон в космос летаем, а ты в Светлинскую за 20 км от центральной усадьбы, что ли, не сможешь добраться?» Подобная история произошла в Третьяковском районе, имевшем одинаковые условия с Солонешенским районом, где в горах каждый пригодный для пашни участок земли ценился крестьянами. Крестьянский опыт привел бывших жителей с. Петровское Третьяковского района, имевшего благоприятные условия для хлебопашества, к правильным выводам: *«Хоть маленькая кучечка народу была, а хлеб садили и сено косили.* Потом хотели восстановить [после ликвидации с. Петровское]. Покаялись, что разогнали. А кто восстановит? Которые умерли, кто уехал» (Н. М. Бутина). В. Д. Петрова подчеркивала значение села: «Основное направление хозяйства Петровки было откорм молодняка и хлеб выращивали. Много хлеба собирали. Возили в Кураевку, Раздолье (исчезнувшие села). Дойных коров было мало, а выращивали молодняк — хорошие выпаса. Откормят и сда-

дут. Опять с Верх-Алейки и Ново-Алейки пригоняли. *Такие поселки разогнали»*. В ходе кампаний по ликвидации малых сел разрушалась десятилетиями формировавшаяся производственная специализация, обусловленная природными условиями и навыками коренных жителей. Старожилы помнят, что еще при единоличном хозяйстве вокруг Петровки были поля жителей Ключей, Чесноков и др.: «Столько оттуда в Верх-Алейку хлеба привозили». И до сих пор в окрестностях бывшей Петровки пасут молодняк, заготавливают сено, сеют хлеб. А вот работу выполнять едут издалека.

Лесостепная и степная зона Алтайского края. Благоприятное соотношение многодворных и малодворных сел сложилось в сельскохозяйственных зонах, расположенных в степных и лесостепных зонах центральной и западной части Алтайского края. Традиционный крестьянский способ освоения сельскохозяйственных угодий заложил основу инфраструктуры с крупными базовыми селами и сетью населенных пунктов, создаваемой вблизи производственных угодий — сезонных и постоянных малодворных поселений в виде заимок, хуторов, выселков. В 1950–1960-е гг. многие из них использовались как отделения колхозов и совхозов, часть из них являлась центральными усадьбами государственных и коллективных хозяйств. Более того, густонаселенные территории степной зоны в советский период расширили свою поселковую сеть советским путем — через коммуны, артели, отделения колхозов и фермы совхозов. Примером является реорганизация поселенческой структуры Усть-Калманского района, расположенного в благоприятном для хлебопашества степном Причарышье. В крестьянский период это был хлебородящий центр Верхнего Приобья с многочисленными крестьянскими заимками. В советское время на основе заимок сформировалась плотная колхозно-совхозная поселковая сеть с развитым рентабельным земледельческим производством. Производимый коллективными хозяйствами хлеб стекался на элеватор Усть-Пристани. В период сбора урожая очереди машин с зерном, по словам старожилов, растягивались на несколько километров.

Устные источники отразили эволюцию в советское время крестьянской поселковой модели освоения сельхозугодий Усть-Калманского и Усть-Пристанского районов в колхозно-совхозную структуру с последующим ее сокращением. В результате начавшейся реорганизации сети населенных пунктов в 1960-е гг. (ликвидация неперспективных сел) произошло массовое сокращение, под которое попали как старые крестьянские, так и молодые советские села.

На территории Усть-Калманского района исчезло крестьянское село Кахтатово, история которого началась с заимки крестьянина Кахтатова в конце XIX в. В 1960-е гг. село тянулось в длину на 3 км при ширине 1,5 км, насчитывало около 90 дворов. До войны на его усадьбе был организован

колхоз, который в 1957–1958 гг. был реорганизован в совхоз с центральной усадьбой в Приятельске. В 1963 г. Кахтатово вместе с другими отделениями совхоза — Трудовик и Ясная Поляна — было признаны неперспективным. С ликвидацией производственной и культурно-бытовой базы люди в началу 1970-х гг. разъехались. Исчезло село Большевик. Оно было основано на месте заимок Старыгиных, семей Братенкова и пяти братьев Черниковых, за что заимку называли «Черникова забока» или «Черников околок». На месте заимки была основана коммуна, затем артель, в 1929 г. — колхоз. Началась его быстрая застройка. В новом селе появились 4 улицы по 8 домов каждая и 7 домов за рекой Калманкой, ферма, ток, сад, рушка, кузница, пасека. Уже к 1937 г. колхоз «Большевик» стал передовым. К 1940 г. число дворов увеличилось до 120. В 1953–1954 гг. три колхоза, в том числе Большевик, им. Крупской, им. Кирова, объединили, а в 1957 г. передали в Усть-Калманский совхоз. Тем не менее строительство жилого сектора продолжалось до определения Большевика неперспективным селом. К 1974 г. оно прекратило существование.

В благоприятной земледельческой зоне Усть-Калманского района часть ликвидированных сел была создана в советское время: среди них село Спартак (Заветы Ленина), которое было основано на свободных землях между Бураново и Кабаново в 1928 г. председателем партийной ячейки П. Ф. Бобровым как артель «Спартак», затем преобразовано в коммуну «Заветы Ленина», в 1930-е гг. — в колхоз «XVI партсъезд»; в 1950-е гг. решили «собрать хозяйства в одно целое» (Ново-Бураново, Усть-Ермилиха, Нижне-Бураново, Спартак), затем преобразовали в совхоз с центральной усадьбой в Ново-Бураново с 5 отделениями с последующим укрупнением. Село Спартак определили бригадой от отделения, а затем отнесли к неперспективным. К 1967 г. оно исчезло, но до сих пор его окрестности летом используются для выпасов скота с его перегоном на зиму в Ново-Бураново. Советское село Соцмаяк также возникло в 1920-е гг. как коммуна около с. Огни. Затем был образован колхоз. Рядом с ним было основано новое село — колхоз «Мировой Октябрь». Каждое село насчитывало перед войной по 60 дворов. После войны создавалась культурно-бытовая база, расширялась производственная база, провели свет. В 1958 г. их объединили с Огнями; с образованием в 1960 г. совхоза их перевели и фермы и отделения «Соцмаяк» и «Мировой Октябрь» и они стали 1-м и 2-м отделениями совхоза. После этого были ликвидированы производственные базы сначала с. Соцмаяк, затем «Мирового Октября». В 1963–1964 гг. оба села исчезли. Советская «Крестьянка» возникла как коммуна «Парижская коммуна» в 3 км от Михайловки Усть-Калманского района. Затем ее объединили с коммуной Ленина от Антоньевки Петропавловского района, а в 1930–1931 г. на их базе создали колхоз «Крестьянская газета», построили школу.

В 1957 г. Крестьянку слили с Михайловкой и преобразовали в Михайловский совхоз. Всего с карты Усть-Калманского района исчезло более 10 сел, образованных в советское время. Численность населения района сократилась с 33 277 человек в 1939 г. до 20 536 человек в 1989 г. [19, с. 25].

В итоге развернувшиеся кампании по благоустройству сельскохозяйственных сел привели к резкому уменьшению сельского населения и непроизводительному использованию сельскохозяйственных угодий исчезнувших сел. В Павловском и Шелаболихинском районах до 1950-х гг. на правом берегу Оби было около двух десятков сел: Зыряновка, Тиховское, Нечаевка, Ирба, Октябрьское, Шиловка и др. Левобережные села Павловского и Шелаболихинского районов имели земледельческие хозяйства и являлись центральными усадьбами, правобережные села Оби были их животноводческими отделениями. Последние имели благоприятные для животноводства условия: заливные луга (старожилы говорили: «скот свободно гулял», «отъедался»), богатые покосы. Такая хозяйственная специализация сформировалась еще в доколхозный период. В том, что крестьяне когда-то имели заимки на «полях, пастбищах, пасеках» на территории правобережья Оби, был большой смысл: экономили силы, средства, труд. Правобережные села Павловского и Шелаболихинского районов были укрупнены с селами на высоком сухом левом берегу Оби: Елунино, Боровиково, Ново-Обинцево, где все земли были распаханы, не было пастбищ. Но их ликвидация создала только проблемы для животноводства районов, которое успешно развивалось лишь благодаря выпасам и заготовке кормов на правобережных заливных лугах. После их ликвидации в 1970-е гг. каждую весну на пароме через Обь левобережные хозяйства перевозили гурты колхозного скота и молодняка на другой берег; каждый день утром и вечером паромы везли доярок туда и обратно на дойку; каждый день во время сенокоса перевозились техника и рабочая сила. В конечном счете левобережные села сократили гурты и отказались от животноводства. На правом берегу из нескольких десятков сел осталась только Иня, где население до сих пор занимается рыболовством, промышленной заготовкой живицы, сбором и сдачей предпринимателям из Барнаула и Новосибирска папоротника, ягод, грибов. В результате в приречных зонах (Обь, Алей, Чарыш) нарушалась традиционная крестьянская экология.

Большую роль в подрыве деревни сыграло развернувшееся в советское время строительство водохранилищ и гидроэлектростанций. В частности, ситуацию в Тальменском, Павловском и Шелаболихинском районах усугубило планировавшееся строительство Каменской ГЭС, в связи с которым началась вырубка реликтовых сосновых боров. В 1950-е гг. она была запланирована среди нескольких других гидроэлектростанций на Оби, началась заготовка леса, очищались от леса прибрежные террито-

рии. Но в 1958 г. советское правительство в лице Н. С. Хрущева закрыло проекты строительства ГЭС из-за их дороговизны. Ставка была сделана на более дешевые ТЭЦ, строительство которых требовало меньше времени, труда и средств. Но многим прибрежным обским селам Алтайского края начавшаяся подготовка к строительству ГЭС принесла гибель. В Третьяковском районе строительство Гилевского водохранилища на Алее сузило возможности для занятия животноводством на степных землях. Жители ушедших под воду сел Дмитриевка, Троицкое, Вакулиха, Большой Луг и др. рассказывали: «На увалах были пашни, а пастбища около Алея. А плотину сделали — теперь пасти негде стало. Столько забоки по Алею было, столько чащи загубили. Корболиха без пастбищ осталась. Сейчас в угле откажут, и останемся без дров. Раньше-то по Алею рубили и сушили» (М. П. Калюжная).

Таким образом, одним из негативных последствий укрупнения и ликвидации сел в приобских зонах Алтайского края явилось сокращение производительных сельскохозяйственных угодий, ухудшение их обработки, потеря плодородия вследствие спешности работ и массового применения крупногабаритной техники. Так, после присоединения колхоза «Наше сознание» (Клюквенка) к колхозу Ново-Еловки Тальменского района «*саму деревню уже в 70–80-е гг. перепахали. Сначала травы засеяли, потом хлеб.* Только кладбище осталось. *Потом на месте деревни держали 2–3 гурта молодняка для нагула. Раньше-то у нас под самое крыльцо пахали. Скотину хоть на привязи держи. Сейчас заросло все бурьяном кругом».*

Процесс сокращения сети населенных пунктов в сельскохозяйственных зонах, начавшись с идеи экономии средств путем отказа от экономической поддержки малых сел и укреплению за их счет центральной усадьбы, затянулся с середины 1950-х до середины 1980-х гг. Так, в с. Кунгурово сначала была ферма Тальменского совхоза, затем Озерского откормсовхоза. Его земли переходили из рук в руки, от одного хозяина к другому. Вначале решили, используя хорошие водоемы, основать утиную ферму. Затем, учитывая хорошие выпаса и места под сенокос, построили ферму крупного рогатого скота, соорудили по последнему слову техники арочные дворы. Однако управление хозяйством отделения с центральной усадьбы Озерки, за 30 км от него, не способствовало эффективности производства. Падали удои и привесы. В начале 1960-х гг. оставалось уже 15–20 домов, а с переводом гуртов на центральную усадьбу оставшееся население выехало. Производительные угодья также поросли бурьяном.

Экспедиционные материалы показывает, что на месте некоторых исчезнувших сел энтузиасты пытаются создать фермерские хозяйства. Бывшие поселки имели выгодное положение, которое привлекает современных фермеров. Так, вокруг отделения в пос. Заря Свободы Тальменского

района находилось около 200–300 га пашни колхоза «Родина» с центральной усадьбой в с. Зайцеве, сенокосы, ферма. «Они и хлеб растили, и животноводством занимались. Дойного стада не было, а была ферма молодняка, ближе к кормам. Они заготавливали корма и возили в Зайцево. Сенокосы у „Родины" в основном были на „Заре Свободы". Они зимой горючее завозили и весной сев начинали, как все. Потом колхоз „Родина", в который „Заря Свободы" входила как отделение, стал меньше обращать внимания на них. Сначала сеять стали меньше. Луга в основном образовывали. Стали заготавливать меньше, скот забрали». И в конце 1970-х гг. поселок исчез. На его месте современные фермеры на свой страх и риск пытаются реанимировать животноводческое хозяйство.

Таким образом, развитие сети сельских поселений в советское время показало нецелесообразность ориентации на преимущественное развитие центральных поселков без существования малых сел. Администрированием были ликвидированы малые села. Развитие базы общественного сельскохозяйственного производства требовало разнообразных форм и размеров сельских поселений, сочетания крупных, средних и мелких форм хозяйствования. Для развития сезонного сельского хозяйства, зависящего от природно-климатических условий, требовалась высокая доля индивидуального труда на конкретной земле. В доколхозный период это реализовывалось через формирование опорных крупных сел и деревень и сети малодворных пунктов (выселки, заимки, хутора), ориентированных на обработку отдаленных производственных угодий. Одна община имела большие массивы земли, обработку который сообразно необходимости обслуживали распределенные на его территории поселения. По опыту зарубежных стран начавшиеся процессы индустриализации и урбанизации закреплялись хуторским хозяйствованием. В России же в колхозный период число мелких сельскохозяйственных поселений сократилось, произошло укрупнение оставшихся. Так, в Зональном районе с карты исчезли 5-е отделение зерносовхоза, Соколовский откормпункт № 5 Буланихинского сельского совета, откормпункты № 5 и 6 Луговского сельского совета и др.

Особенно негативно все это стало сказываться на современном этапе расформирования крупного коллективного хозяйства (отказа от государственной поддержки колхозов и совхозов), которое сопровождается запустением значительных производительных угодий. Это снижает заселенность и усиливает неравномерность социальной освоенности территории края, ухудает условия транспортного обеспечения сети поселений, их обслуживания. Необдуманная и необоснованная ликвидация в колхозах и совхозах небольших рентабельных ферм, малодворных отделений привела к сокращению производительной базы сельского хозяйства и числа квалифицированных потомственных сельскохозяйственных производителей.

Переселение крестьян привело к уменьшению численности трудоспособного населения, так как значительная часть переселенцев не желала оседать в предложенных селах. Они стремились уехать в города, поселки городского типа. С территории Алтайского района много крестьян уехало в Кузбасс с его развитой промышленной базой на заработки. Необдуманная политика переселения людей из мелких хозяйств в крупные содействовала миграции населения в города. Способствовали урбанизации недостаточная материальная заинтересованность колхозников, низкая оплата труда, нелегкие условия труда и быта, а также постоянный спрос на рабочую силу со стороны промышленности, переживавшей на Алтае в 1950–1970-е гг. бурное развитие. Решение социально-бытовых вопросов было поставлено в жесткую зависимость от механического процесса ликвидации «неперспективных сел» и свелось к ликвидации мелких населенных пунктов. А современная политика отказа от финансовой поддержки сельскохозяйственного производителя привела к еще более массовому запустению производительных угодий, уменьшению численности сельского населения и сокращению сети населенных пунктов.

Богатый опыт реформирования сел в советское время позволяет сделать следующие выводы: нельзя допускать административного разрушения деревни и самоликвидации малых сел из-за недостаточного развития в них общественного обслуживания и путей сообщения. Специфика сельскохозяйственного производства требует разнообразных форм и размеров сельских поселений, благоприятного сочетания крупных, средних и мелких форм хозяйствования.

Источники и литература

1. Щеглова Т. К. Методика сбора устных исторических источников // Школьное краеведение. Москва, 1993. С. 3–24; Она же. Устная история и краеведение // Преподавание истории в школе. 1998. № 5. С. 60–66.
2. Oral history Association (United Kingdom) www.ohs.org.ru, январь 2003
3. Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 1940-х — начало 60-х годов. М., 1992.
4. Рейнхарц Шуламит. Феминистская устная история // Воспоминания женщин: устнгые истории переходного периода. Теория и практика: Сб. ст. Бишкек, 2001. С. 40–60.
5. Щеглова Т. К. Исторический очерк сел Алтайского края // Алтайский сборник. Вып. XVI. Барнаул, 1995. С. 67–92.
6. Шанин Теодор. Методология двойной рефлексии в исследованиях современной российской деревни // Ковалев Е. М., Штейнберг И. Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: Логос, 1999. С. 317–371.
7. Сангстер Джоан. Рассказывая наши истории: дебаты феминисток и использование устных историй // Воспоминания женщин: устные истории переходного периода. Теория и практика: Сб. ст. Бишкек, 2001. С. 61–76.

8. Щеглова Т. К. Предисловие: Об изменении числа и состава сельских населенных пунктов Алтайского края за 1939–1991 гг. // Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 гг. Барнаул, 1992. Ч. 1. С. 3–15; Она же. К вопросу о развитии сельских населенных пунктов Алтайского края в советское время (20–80-е годы) // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул: АГУ, 1994. С. 190–193.
9. Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле. Постановление ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 г.// Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. М., 1967.
10. Алтай в послевоенный период / Под ред А. Н. Лизиной. Барнаул. 1974. С. 124.
11. Хубова Д. М. Устная история и архивы, зарубежные концепции и опыт: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1992.
12. Лоскутова М. В. Введение // Хрестоматия по устной истории. СПб., 2003. С. 5–31.
13. О развитии колхозного строя и реорганизация машинно-тракторных станций. Постановление Пленума ЦК КПСС. 26 февраля 1958 г. На его основе принят соответствующий закон от 31 марта 1958 г.
14. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1961–1965. М., 1986. Т. 10. С. 143.
15. Щеглова Т. К. Предисловие // Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 гг. Барнаул, 1992. С. 3–15.
16. Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960–1980 гг. Новосибирск, 1991.
17. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. М., 1967.
18. Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1931–1991 годы. Барнаул, 1992. С. 242–246.
19. Щеглова Т. К. К истории населенных пунктов Усть-Калманского района в советское время: по материалам экспедиции 1995 г. // Ползуновские чтения 1996 года: материалы научно-парктической конференции. Барнаул – Усть-Калманка, 1996. С. 25–28.
20. Бердинских В. А. Крестьянская цивилизация в России. М.: АГРАФ ЛТД, 2001. 427 с.; Он же. История одного лагеря (Вятлаг). М.: АГРАФ ЛТД, 2001. 463 с.
21. Постановлении СНК РСФСР от 14 декабря 1930 г. «О плане весенней посевной кампании 1931 г.» // СУ РСФСР 1930 г. № 61, ст. 750.
22. Гордон А. В. Крестьянство Востока: исторический субъект. Культурная традиция, социальная общность. М., 1989.
23. Цит. по: Харевен Т. Время семьи и время промышленности // Хрестоматия по устной истории / Под ред. М. В. Лоскутовой. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2003.
24. Гуревич А. Я. Смерть как проблема исторической антропологии: о новом направлении в зарубежной историографии // Одиссей. Человек в истории. Исследования по социальной истории и истории культуры. М.: Наука, 1980. С. 114–135.
25. Соколов А. К. Направления источниковедческого синтеза // Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практик: Учеб. / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, В. В. Борисова / Под ред. А. К. Соколова. М.: Высш. шк., 2004. С. 620–687.

Заключение

История деревни и крестьянства Алтайского края неразрывно связана с общероссийскими историческими процессами. Микроподход позволяет более глубоко вникать в их сущность, более успешно решать дискуссионные проблемы социальной, политической, экономической, этнокультурной истории России. Тематика изучаемого вопроса продолжает оставаться научно значимой и актуальной, поскольку формирование и выработка теоретико-методологических подходов и концепций новейшей истории России, в том числе крестьяноведения, на современном этапе невозможны без включения в исследовательскую лабораторию историков новых методов исследования и анализа, без формирования полновесной и адекватной источниковой базы.

Изучение новейшей истории всегда вызывало и вызывает у исследователей трудности и сложности. С одной стороны, существует мнение, что давать оценки событиям новейшего времени или современного момента лучше спустя определенное время («по прошествии многих лет»): время рассудит более объективно. С другой стороны, многие историки призывают не упускать возможности формирования комплексной источниковой базы «по горячим следам», собирая все свидетельства, оценки, мнения, толкования, суждения тех, кто участвовал в этих событиях «изнутри», чтобы с учетом разного жизненного опыта, через человеческий ресурс, через атмосферу рассматриваемого времени стремиться к полной исторической реконструкции.

Устноисторический подход к изучению истории деревни и крестьянства Алтайского края в XX в. показал, что коллективная и индивидуальная историческая память сельского населения обладает огромным источниковым потенциалом, который должен быть востребован учеными. Но сбор и интерпретация этой информации должны основываться на научных принципах. Обращение к носителям информации как метод познания прошлого никогда не уходило из исследовательской практики исторической науки, а в конце XIX – XX вв. являлось одним из способов развития массового краеведческого движения. Но научную базу под этот род деятельности подвело только новое научное направление исторических исследований – устная история, предложившая методику создания нового типа устных исторических источников (УИИ), их документирования, архивирова-

ния и интерпретации. Соблюдение научной методики сбора устных исторических источников позволяет ставить вопрос о включении этого вида источников в источниковую классификацию. Последние работы ряда отечественных методологов и теоретиков истории показывают, что они обратили внимание на устную историю и историческое интервью и если и не вводят новый тип источника, то по крайней мере признают его право на существование и ищут ему место в группе источников личного происхождения, таких как мемуары, дневники, письма и т. п.[1]

Вместе с тем монографическое исследование показывает, что введение их в научный оборот требует создания методики научной интерпретации с привлечением исследовательского арсенала целого комплекса социальных и гуманитарных наук, дисциплин, научных направлений. Связано это с насыщенной информативностью, многоаспектностью устных исторических источников и разнообразием форм хранения информации в них. Поэтому в монографии особенности этих источников рассматриваются дифференцированно на материалах какой-либо конкретной исторической проблемы. Например, во многих устных исторических источниках часть информации или личная позиция рассказчика может быть сознательно завуалирована либо бессознательно закодирована, т. е латентна. Анализ данной особенности этих источников проводится при рассмотрении вопросов о разрушении церкви, при характеристике отношения к происходящему свидетелей или участников событий. Для выявления латентной информации привлекались лингвистические и психологические приемы анализа цитируемых отрывков. В этом же направлении проводилась и работа при рассмотрении гендерных вопросов, в частности влияния колхозного производства и войны на статус и самооценку женщины в крестьянском обществе, или при рассмотрении взаимоотношений крестьянского социума с разными уровнями государственной власти (местной и центральной) на всех этапах советской модернизации.

Одной из проблем исторической реконструкции, по мнению автора, является и игнорирование или недооценка этнокультурных факторов в политических, социальных и экономических процессах в деревенской среде. Анализ в «истории снизу» таких дискуссионных тем, как гражданская война, коммунарское движение, социальная дифференциация в доколхозной деревне, коллективизация, раскулачивание, показал, что без учета этно-

[1] Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: Учеб. / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, В. В. Борисова / Под ред. А. К. Соколова. М.: Высш. шк., 2004; Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Н. И. Смоленский. М.: Изд.центр «Академия», 2007; Методологические проблемы истории: учеб. пособие для студентов, магистрантов и аспирантов ист. и филос. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / В. Н. Сидорцов и др.; под общ. ред. В. Н. Сидорцева. Мн.: ТетраСистемс, 2006.

графической (этнокультурной и этносоциальной) принадлежности участников исторических событий многие выводы официальной истории оказываются искажены либо утрированы. В данном ракурсе в монографии говорится о значении такой особенности устного исторического источника, как «субъективность», для полновесного, многовариативного историописания, особенно при разрушении идеологем, мифологем и стереотипов как советской, так и постсоветской отечественной истории. Эти источниковедческие характеристики даются при рассмотрении таких проблем, как «эксплуатация» и «батрачество» в доколхозной деревне при единоличном хозяйстве с его общинными и семейными традициями. По-другому воспринимается и «институт нянек» и споры вокруг таких категорий, как «кулак» и «батрак». К проблемам, требующим учета этнокультурной информации, относятся и рассматриваемые вопросы о развитии сети населенных пунктов, переселениях и отношениях в деревне, когда эта информация с помощью лингвистического дискурса позволила в монографии скорректировать ряд устоявшихся представлений. Например, можно говорить о большой разнице в представлениях о «белых» и «красных», о революции и гражданской войне, о кулаках и раскулаченных на территории Алтайского края и в Центральной России или на Кубани, о различиях в представлениях о бедности и богатстве между алтайскими старожилами и российскими переселенцами и т. п. В монографии делается вывод, что этнокультурный фактор прослеживается в устных исторических источниках до 1930-х гг. включительно, причем его важно учитывать и при рассмотрении коллективизации и раскулачивания.

Именно устные исторические источники позволили зафиксировать и «время перемен» в мировоззрении крестьянского населения. Начатую унификацию индивидуального и коллективного сознания эносоциокультурных групп деревни Алтайского края закрепила Великая Отечественная война. С помощью устных исторических источников делаются выводы о больших сдвигах в психологии и сознании как той части сельского населения, которая оставалась носителем традиционной культуры, так и формирующегося советского крестьянства с модернизированным мышлением. На основе устных исторических источников делались «срезы» психологии и сознания сельского населения на разных отрезках советского времени, у разных социальных групп. В частности, в разделах монографии, посвященных повседневной жизни и быту доколхозной и колхозной деревни, показано, как меняются мотивация труда, критерии благополучия, представления о сытости и «хорошей жизни». Динамизм достигается сравнением оценок единоличников и колхозников разной поры, например в период коллективизации, войны, «застоя». Одновременно с этим устные исторические источники позволили проследить и традиционность, преемствен-

ность в крестьянском обществе, например при рассмотрении взаимоотношений крестьянства с властью, в частности сохранения патерналистских настроений и установок.

Необходимо отметить, что устные исторические источники выводят исследователей и на многие проблемы, выпавшие из поля зрения историков или не получившие достаточного внимания. В монографии это значение устных исторических источников показывается при рассмотрении целого комплекса проблем при анализе истории крестьянства и деревни в период реорганизации 1950–1970-х гг. Среди них интересная проблема социальных отношений в советской деревне, которые, как показали устные исторические источники, характеризовались не только дифференциацией социальных групп в одном населенном пункте или соседних деревнях, но и определенной конфронтацией. Анализ исторических интервью убедительно доказывает, что в основе этих явлений лежали как экономические факторы (наличие разных форм собственности, ярким примером которого явилась разница между колхозниками и рабочими совхоза), так и социополитические, в соответствии с которыми выделялись раскулаченные, «враги народа», жены и дети «врагов народа», депортированные и спецпереселенцы и т. д.

Таким образом, эти и другие особенности устных исторических источников, возможности их использования рассматриваются при анализе конкретных исторических проблем. Через анализ истории крестьянства и деревни, с одной стороны, и источниковой базы, с другой стороны, в монографии даются рекомендации по научно-методическому обеспечению и сопровождению устноисторической деятельности. При этом автор разграничивает понятие «устный источник» и «устный исторический источник». Эта проблема особенно подробно рассматривается на примере развития системы расселения крестьянства и процессов селообразования. Сравнение старожильческих и переселенческих историй об основании сел позволило показать процесс мифологизации исторической информации, разницу между функционированием устной традиции, которая существует в готовых формах (эпос, предание, легенда, быличка, присловье и т. д.) и собирается фольклористами, лингвистами, историками (в монографии показана также происходящая на современном этапе мифологизация реальных исторических событий, связанных с разрушением церквей и судьбой разрушителей) и созданием устных исторических источников путем особым образом организованной работы историков, начиная с этапа научной и методической разработки интервью, опроса или беседы и заканчивая их оформлением, документированием и архивированием. При этом автор приходит к выводу, что далеко не каждое общение с респондентом завершается созданием устных исторических источников. В связи с такими

проблемами (подробно освещенными в монографии), как влияние на респондента позиции интервьюера и текущей общественно-политической ситуации, существование разных форм кодирования информации (пауз, «эзопова языка», междометий, мимики, жестов), делается вывод об обязательном использовании технических средств для фиксации интервью или беседы, что позволяет сохранить, во-первых, полноценную версию текста рассказчика, во-вторых, все формы информации (диалект, интонации и т. д.), в-третьих, дает возможность отследить внешние факторы, влияющие на рассказчика.

Таким образом, монографическое исследование показало, что применение устной истории является перспективным в изучении новейшей истории. Информационные возможности устных исторических источников, отражающих «взгляд изнутри», или, как говорят зарубежные устные историки, «историю снизу», ощущения представителей «нижних этажей» общества, позволяют вносить коррективы в научную интерпретацию многих событий и процессов новейшей истории деревни и крестьянства Алтайского края, использовать их для решения исследовательских задач. В заключение необходимо отметить, что многие поднятые в монографии вопросы и проблемы в области как источниковедения, так и крестьяноведения носят постановочный или дискуссионный характер и требуют коллективных усилий по их решению.

Список респондентов[1]

Аболихина А. И., 1905 г. р., с. Ново-Тырышкино, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.

Абрамович А. Ф., 1926 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Агапов Д. Н., 1928 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.

Агапова Г. И., 1929 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.

Александрова М. И., 1919 г. р., с. Малоенисейское, Бийский р-н. Записано в 2003 г.

Антипина А., 1925 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Апарин В. Г., 1930 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Арзамасцева А. И., 1912 г. р., с. Черемное, Павловский р-н. Записано в 1991 г.

Архипов П. С. 1928 г. р., с. Куяган, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.

Ащеулов М. П., 1928 г. р. с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Башкова А. В., 1928 г. р. с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Богомолов И. Г., 1928 г. р., с. Порошино, Кытмановский р-н. Записано в 2001 г.

Бодрягина (Климова) А. С., 1918 г. р., с. Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.

Божанова В. А., 1938 г. р., с. Ново-Обинцево, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.

Бородина М. И., 1920 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Братенкова А. А., 1924 г. р. с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Брюханов И. А., 1926 г. р., с. Кытманово, Кытмановский р-н. Записано в 2001 г.

Букшина М. Ф., 1919 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.

Букшин Н. Т., 1907 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.

Бутина Н. М., 1936 г. р., с. Верх-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.

Бухтояров П. И., 1914 г. р., с. Островное, Мамонтовский р-н. Записано в 2000 г.

Вдовина Е. И., 1920 г. р., с. Шубенка, Зональный р-н. Записано в 2002 г.

Веснина Г. Ф., 1939 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Волженина Е. Е., 1919 г. р., с. Новоалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.

Волженина А. Ч., 1908 г. р., с. Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.

Волков Ю. Т., 1931 г. р., с. Линевское, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.

Волокитина Ф. Ф., 1916 г. р., пос. Восход, Зональный р-н. Записано в 2002 г.

Галахов А. Н., 1914 г. р., с. Ново-Тырышкино, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.

Геер К. П., 1932 г. р., с. Стан-Бехтемир, Бийский р-н. Записано в 2003 г.

[1] Автор выражает благодарность всем жителям алтайской деревни, принявшим участие в интервьюировании.

Глушков В. И., 1927 г. р., пос. Кировский, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Гольцгаузе Э. И., 1929 г. р., с. Новиково, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Горбатова А. М., 1930 г. р., пос. Восход, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Гордюшкин П. Г., 1913 г. р., с. Кытманово, Кытмановский р-н. Записано в 2001 г.
Горюнова Е. Г., с. Малые Бутырки, Мамонтовскиий р-н. Записано в 2000 г.
Гребнева Е. Ф., 1926 г. р., с. Макарово, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Грец И. П., Сосновка, с. Куяган, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Грищенко А. П., 1936 г. р., Карболихинский с/с, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Гудкова М. А., 1930 г. р. с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006г.
Гуляева А. М., 1937 г. р., с. Ново-Тырышкино, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Гурашкины А. Д. и **М. И.**, 1927, 1930 г. р., с. Куяган, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Гурова Н. П., 1931 г. р., пос. Восход, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Данилов А. Ф., 1931 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Данилова А. Ф., 1930 г. р. с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Девятириков П. П., с. Малоугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Демаков А. П., 1955 г. р., с. Топтушка, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Демина П. Н., 1922 г. р., с. Шелаболиха, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Денисов Л. Т., 1910 г. р., с. Сибирячиха, Солонешенский р-н. Записано в 1990 г.
Дмух Е. И., 1908 г. р., с. Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Доровских П. Д., 1913 г. р., с. Тальменка, Тальменский р-н. Записано в 1996 г.
Дорофеева А. К., 1916 г. р., с. Ново-Тырышкино, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Дулепин П. И., 1923 г. р., с. Чернопятово, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Дутенгефер И. И., 1936 г. р., с. Красный Партизан, Чарышский р-н. Записано в 2004 г.
Егоркина А. Я., 1910 г. р., с. Шубенка, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Егорова Н. Е., 1914 г. р., с. Михайловка, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Елизарова А. Ф., 1936 г. р., с. Шипуниха, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Елясова А. Ф., 1912 г. р., с. Смоленское, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Епихин И. П., 1927 г. р., с. Ясная Поляна, Бийский р-н. Записано в 2003г.
Еремкин А. Я., с. Тальменка. Тальменский р-н. Записано в 1996 г.
Жиров Н. И., 1935 г. р., с. Карпово, Солонешенский р-н. Записано в 1990 г.
Загуменная А. З., 1923 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Зазвонов И. Н., 1927 г. р., с. Чернопятово, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Зайцева У. Л., 1914 г. р., Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Заречнева Н. М., 1932 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Захаров А. И., 1927 г. р., с. Сараса, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Зенков М. К., 1927 г. р., с. Антипино, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Золотухина П. Д., 1919 г. р., с. Новиково, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Зырянова А. Я., 1929 г. р., с. Шубенка, Зональный р-н. Записано в 2003 г.
Зяблицкий С. И., 1917 г. р., с. Большеугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Иванов Б. С., 1931 г. р. с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Иванов Б. С., 1931 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Иванов М. Ф., 1935 г. р., Новоалейский с/с, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Иващенко В. И., с. Стан-Бехтемир, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Игловский Н. М., 1924 г. р., с. Ново-Иушино, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Ильина М. Т., с. Колыванское, Павловский р-н.
Иушина Т. А., 1922 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Йорк М. Е., 1923 г. р., пос. Мирный, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Каверзина П. Н., 1921 г. р., с. Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Казазаева О. Ф., 1923 г. р., с. Верх-Черновое, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Казазаева М. И., 1921 г. р., с. Черновое, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Казаков А. А., 1911 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Казанцев А. И., 1929 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Казанцева В. А., 1921 г. р., с. Черновое, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Калиниченко А. А., 1915 г. р., с. Черемное, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Калюжная М. П., 1917 г. р., с. Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Карлов В. С., 1937 г. р., с. Иня, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Карпова А. Ф., 1924 г. р., Новоалейский с/с, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Кириллов Ф. П., 1916 г. р., с/с Садовый, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Кирьякова К. К., 1912 г. р., с. Верх-Алейка, Третьяковский р-н. Записано в 1993 г.
Клещева Р. Ф., 1917 г. р., с. Касмала, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Ковалик, 1927 г. р., пос. Красный Партизан, Чарышский р-н. Записано в 2004 г.
Ковалькова Е. Н., 1930 г. р., с. Малоугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Кожемякин В. Г., 1931 г. р., пос. Урожайный, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Кожемякина М. Д., 1932 г. р., пос. Урожайный, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Коломина В. А., 1924 г. р., с. Новоалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Косачева-Ковыршина А. С., 1926 г. р., с. Касмала, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Красилов Н. А., 1932 г. р., с. Куяган, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Краснова А. А., 1927 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Кузнецова Х. А., 1907 г. р., с. Михайловка, Усть-Калманский р-н. Записано в 1995 г.
Кузьмин М. С., 1928 г. р., Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Курочкина В. И., 1929 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Лапина Е.Ф., 1928 г . с. Смычка, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.

Лапотько В. К., 1926 г. р., Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Лебедева Н. И., 1917 г. р., с. Смоленское, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Лель А. Е., 1915 г. р., с. Соколово, Зональный р-н. Записано в 2202 г.
Леонгарт П. Л., 1927 г. р., с. Усятское, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Лобецкая Л. В., 1950 г. р., пос. Мирный, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Ляпина М. Ф., 1918 г. р., с. Верх-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Ляпунова К. Г., 1921 г. р., Тальменка, Тальменский р-н. Записано в 1926 г.
Ляшенко В. М., 1918 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Макрушин М. В., 1930 г. р., с. Соколово, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Малюгина Е. С., 1929 г. р., с. Малиновка, Заринский р-н. Записано в 1999 г.
Малютина Е. С., с. Малиновка, Заринский р-н. Записано в 1999 г.
Марков А. Д., 1923 г. р., с. Черновое, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Мартынова Е. К., 1920 г. р., с. Ново-Обинцево, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Матысина Е. И., 1916 г. р., д. Верх-Черновая, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Медведев И. А., 1912 г. р. с. Усть-Калманка, Усть Калманский р-н. Записано в 1995 г.
Медведева В. Г., 1933 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Миронова А. К., 1934 г. р., с. Лесное, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Михалева А. З., 1918 г. р., с. Шубенка, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Михалева С. М., 1921 г. р., с. Шубенка, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Михина В. И., 1934 г. р., пос. Мирный, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Москалев И. А., 1925 г. р., с. Лютаево,Солонешенский р-н. Записано в 1990 г.
Нагибин П. Н., 1913 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Нагибина (Иевлева) П. Я., 1914 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Нагибина З. А., 1934 г. р., с. Большеугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Неданов Е. И., 1911 г. р., с. Суслово, Мамонтовский р-н. Записано в 2000 г.
Немчинов А. Т., 1907 г. р., с. Ивановка, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Нечаева С. С., 1909 г. р., с. Верх-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Никитин Г. М., сс. Михайловка, Ивановка, Третьяковский р-н. Записано в 1993 г.
Никитина Е. В., 1927 г. р., Новоалейский с/с, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Нисина М. С., 1913 г. р., с. Староалейское, Третьяковсий р-н. Записано в 1992 г.
Новокрещенова А. И., 1922 г. р., с. Червово, Кытмановский р-н. Записано в 2001 г.
Новокрещенова Ф. Ф., 1919 г. р., с.Черемное, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Новоскольцев И. Г., 1925 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Нормадских Д. М., 1917 г. р., с. Лютаево, Солонешенский р-н. Записано в 1990 г.
Останина М. К., 1914 г. р., с. Усть-Калманка, Усть-Калманский р-н. Записано в 1995 г.
Останников, 1932 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.

Отпущенников Ф. А., 1924 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Очаковский М. В., 1908 г. р., Сибирячиха, Солонешенский р-н. Записано в 1990 г.
Паршина (Кузнецова) П. Я., 1913 г. р., с. Смоленское, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Пахорукова К. М., 1910 г. р., с. Елунино, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Пенкин В. Ф., 1907 г. р., с. Михайловка, Усть-Калманский р-н. Записано в 1995 г.
Первутинская Н. Е., 1926 г. р., с. Ново-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Первутинский И. Ф., 1922 г. р., с. Ново-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Первушин И. Г., 1924 г. р., с. Мамонтово, Мамонтовский р-н. Записано в 2000 г.
Первушина Н. Е., 1930 г. р., с. Ново-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Первушинский И. Ф., 1922 г. р., Третьяковский р-н.
Петранцова З. Т., 1930 г. р., с. Ново-Иушино, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Петров Н. И., 1929 г. р., с. Михайловка, Усть-Калманский р-н.
Петрова М. Ф., 1918 г. р., с. Верх-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Петрова В. Д., 1939 г. р., Верх-Алейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Петухова В. Ф., 1927 г. р., пос. Ново-Обинцево, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Плотицин И. Г., 1921 г. р., с. Большеугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Присухин Н. Г., 1932 г. р., с. Мамонтово, Мамонтовский р-н. Записано в 2000 г.
Пройдакова Н. И., 1936 г. р., с. Иня, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Путинцев С. Я., 1923 г. р., с. Елунино, Павловский р-н. Записано в 1991 г.
Разумова К. В., 1922 г. р., с. Первомайское, Бийский р-н. Записанов 2003 г.
Раченкова М. М., 1914 г. р., с. Михайловка, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Родионов М. М., 1928 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Родионова Н. А., 1920 г. р. с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Рожков В. М., 1914 г. р., с. Большеугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Рожков В. М., 1940 г. р., с. Большеугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Рохлина А. В., 1912 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Рудаева А. М., 1928 г. р., с. М. Курья, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Русскова Э. Ф., 1933 г. р., с. Луговское, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Ручкина Е. Г., 1902 г. р., с. Сибирячиха, Солонешенский р-н. Записано в 1990 г.
Рыбникова А. С., 1909 г. р., с. Соколово, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Рыженко П. Ф., 1928 г. р., с. Победа, Целинный р-н. Записано в 2001 г.
Савин Н. А., 1930 г. р., с. Новиково, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Савченко М. Ф., с. Первомайское, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Сарычева А. М., 1920 г. р., с. Коробейниково, Усть-Пристаньского р-на. Записано в 1997 г.

Саткина П. М., 1910 г. р., с. Усятское, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Седых Л. П., 1926 г. р., с. Новомихайловка, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Серебрянников Я. Ф., 1905 г. р., с. Куяча, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Сидоренко В. К., 1939 г. р., Ново-Иушино, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.
Симонова Е. И., 1917 г. р., пос. Соколово, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Скирдова Е. И., 1925 г. р., Новоалейский с/с, Третьяковский р-н. Записано в 1991 г.
Сковородникова Л. И., 1941 г. р., с. Большеугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Соколов И. М., 1923 г. р., Смоленское. Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Сорокин И. М., 1922 г. р., с. Мамонтово, Мамонтовский р-н. Записано в 2000 г.
Струкова Г. Е., 1929 г. р., с. Шубенка, Зональный р-н. Записано в 2002 г.
Субботина М. И., 1908 г. р., Лютаево, Солонешенский р-н. Записано в 1990 г.
Сизинцева М. З., 1917 г. р., с. Смоленское, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Тапилова К. Ф., 1927 г. р., с. Крестьянка, Мамонтовский р-н. Записано в 2000 г.
Тарасова Т. М., 1904 г. р., с. Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1991 г.
Теплухин А. П., с. Михайловка, Третьковский р-н. Записано в 1993 г.
Терещенко В. Т., 1924 г. р., **Терещенко М. П.**, 1929 г. р., с. Червово, Кытмановский р-н. Записано в 2001 г.
Титова А. А., 1926 г. р., с. Первомайское, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Трофимова С. М., 1924 г. р., с. Малая Курья, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Трунов И. Т., 1911 г. р., Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.
Тутов П. Г., 1924 г. р., с. Катунское, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Тутова Ю. Г., 1923 г. р., с. Катунское, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Тырышкина А. Ф., 1923 г. р., Ново-Тырышкино, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Тырышкина Е. И., 1911 г. р., Ново-Тырышкино, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Тырышкин С. И., 1913 г. р., Ново-Тырышкино, Смоленский р-н. Записано в 1993 г.
Ундалов И. Е., 1932 г. р., Третьяковский р-н. Записано в 1993 г.
Успенская У. А., 1912 г. р., с. Маяк, Чарышский р-н, г. Барнаул. Записано в 1990 г.
Феллер К. К., с. Коробейниково, Усть-Пристанский р-н. Записано в 1997 г.
Фефелова А. И., 1912 г. р., с. Каянча, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Филиппов, 1927 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Филиппова В. Н., 1927 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Фликов С. Д., 1914 г. р., с. Сростки, Бийский р-н. Записано в 2003 г.
Фоминский В. П., 1909 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.
Фролов А. В., 1932 г. р., пос. Льнозавод, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.
Холодков Н. Н., 1910 г. р., Тальменка, Тальменский р-н. Записано в 1996 г.

Хохлова В. Ф., 1935 г. р., с. Красный Партизан, Чарышский р-н. Записано в 2004 г.

Хроменко Н. В., 1947 г. р., с. Красный Партизан, Чарышский р-н. Записано в 2004 г.

Чепурных Т. А., 1926 г. р. пос. Урожайный, Зональный р-н. Записано в 2002 г.

Черникова А. Г., 1928 г. р., с. Новая Чемровка Зональный р-н, Записано в 2002 г.

Чернышева Е. М., 1906 г. р., с. Усятское, Бийский р-н. Записано в 2003 г.

Чернышова А. И., 1927 г. р., с. Усятское, Бийский р-н. Записано в 2003 г.

Чеснокова Т. К., 1919 г. р., с. Староалейское, Третьяковский р-н. Записано в 1992 г.

Чувашева В. И., 1924 г. р., с. Большеугренево Бийский, р-н. Записано в 2003 г.

Шабалина С. И., 1922 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Шадрина В. Н., 1933 г. р., с. Соколово, Зональный р-н. Записано в 2002 г.

Шаромов Г. Л., 1910г. р., с. Соколово, Зональный р-н. Записано в 2002 г.

Шатохина Е. М., 1917 г. р., с. Шубенка, Зональный р-н. Записано в 2002 г.

Шевелева Ф. Н., 1928 г. р., с. Шелаболиха, Шелаболихинский р-н. Записано в 2005 г.

Шеин А. А., 1925 г. р., с. Малоугренево, Бийский р-н. Записано в 2003 г.

Шеина Л. П., 1930 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Шипунова М. И., 1910 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.

Шишаева З. М., 1929 г. р., с. Михайловка, Третьяковский р-н. Записано в 1999 г.

Шмакалов Г. Я., 1929 г. р., с. Алтайское, Алтайский р-н. Записано в 1994 г.

Шмакова Д. П., 1928 г. р., с. Усть-Калманка, Усть-Калманский р-н. Записано в 1995 г.

Юрлов А. Н., 1925 г. р., с. Б. Аникино, Бийский р-н. Записано в 2003 г.

Якимович Н. И., 1928 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Якимович Н. И., 1928 г. р., с. Тогул, Тогульский р-н. Записано в 2006 г.

Оглавление

Contents

Научное издание

Щеглова Татьяна Кирилловна

Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история

Оформление и компьютерная верстка: *Н. Васильева*

Подписано к печати 22.01.08. Формат 60 90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Маргарита». Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,0.
Тираж 1000 экз. Заказ №

ОАО «Алтайский полиграфический комбинат»
656023, Барнаул, ул. Г. Титова, 3